Робер Мерль

МАЛЬВИЛЬ

Робер Мерль

МАЛЬВИЛЬ

♦

Robert Merle

MALEVIL

PARIS

1972

Робер Мерль

МАЛЬВИЛЬ

РОМАН

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

РОСТОВ-НА-ДОНУ
РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988

ББК 84
М 52

Текст печатается по изданию:
Мерль Р. Мальвиль. М.: Прогресс, 1977
Перевод Г. А. Сафроновой (стр. 5—277)
и Ю. Я. Яхниной (стр. 277—526)

Оформление **Н. А. Фарбер**

Мерль Р.
М 52 Мальвиль: Роман/Пер. с фр. Г. А. Сафроновой и Ю. Я. Яхниной; Оформление Н. А. Фарбер.— Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1988.—528 с.

Роман-предостережение известного современного французского писателя Р. Мерля своеобразно сочетает в себе черты жанров социальной фантастики и авантюрно-приключенческого повествования, в центре которого «робинзонада» горстки людей, уцелевших после мировой термоядерной катастрофы.

М $\frac{4703000000-013}{М 156(03)-88}$ 29—88 ББК 84

Фернану Мерлю

ГЛАВА I

Был у нас в Высшем педагогическом училище один преподаватель — горячий поклонник прустовского гимна бисквитному пирожному. Под его влиянием и я восторженно проштудировал сей знаменитый текст. С тех пор немало воды утекло, и сейчас уже мне кажется, что от этого изящного кондитерского изделия здорово отдает литературщиной. Да, конечно, я прекрасно знаю, что и вкусовое ощущение, и обрывок мелодии действительно могут с пронзающей остротой воскресить в памяти пережитое когда-то мгновение. Но оно вспыхивает на долю секунды. Кратчайшее озарение — и тут же снова опускается завеса и действительность властно вступает в свои права. А ведь и впрямь, как было бы упоительно вновь обрести свое прошлое, проглотив кусочек смоченного в липовом настое бисквита.

Мне не случайно вспомнилось пирожное Пруста: как-то на днях в глубине письменного стола я обнаружил старую-престарую пачку посеревшего от времени табака, видимо, принадлежавшую дяде. Я отдал ее Колену. Ошалев от счастья, что сейчас втянет в себя свое драгоценное зелье, о котором он и мечтать забыл, Колен набил трубку и жадно ее раскурил. Я смотрел на него, и, едва вдохнул клубы табачного дыма, перед глазами всплыло дядино лицо, промелькнули картины минувшей жизни. У меня даже дыхание перехватило. Но повторяю, это длилось всего лишь миг.

А Колен заболел. Или он начисто отвык от никотина, или табак оказался слишком уж старым.

Завидую Прусту. Упиваясь прошлым, он опирался на весьма прочную основу: вполне надежное настоящее и неоспоримое будущее. Но для нас прошлое стало прошлым вдвойне, время вдвойне утрачено, потому что вместе со

временем мы утратили и самый мир, в котором текло это время. Произошел обрыв. Поступательное движение веков прервалось. И нам уже неведомо, когда, в каком веке мы живем и будет ли у нас хоть какое-то будущее.

Само собой разумеется, мы маскируем свое отчаяние словами. Мы прибегаем к иносказаниям, говоря об этом обрыве. Сперва, следом за Мейсонье, любящим громкие слова, мы называли его «День Д». Но это звучало слишком уж по-военному. И тогда мы остановились на более скромном, гораздо более уклончивом выражении, которое нам подсказала по-крестьянски осмотрительная Мену: «День происшествия». Можно ли сказать безобиднее?

Именно слова помогли нам навести некоторый порядок в хаосе и даже установить линейное течение времени. Мы говорим: «до», «в День происшествия», «после». Таковы наши лингвистические ухищрения. Мы обманываем себя словами, и, чем больше удается нам этот самообман, тем увереннее мы себя чувствуем. Ведь слово «после» обозначает и наше зыбкое настоящее, и наше весьма условное будущее.

Без всякого пирожного и клубов табачного дыма мы постоянно думаем о нашем мире «до». Каждый про себя, каждый в своем углу. Но в разговоре мы следим друг за другом: обращение к прошлому не приносит никакой пользы нашему настоящему, жизни тех, кто уцелел. Мы избегаем умножать эти воспоминания.

Другое дело, когда остаешься один. Хотя мне едва перевалило за сорок, но со Дня происшествия меня, будто глубокого старца, мучает бессонница.

И вот ночами я вспоминаю. Я намеренно употребляю глагол без дополнения, так как дополнение варьируется из ночи в ночь. Чтобы оправдать в собственных глазах эту слабость, я внушаю себе, что мир «до» существует теперь только в моем сознании и, если я не буду думать о нем, он перестанет существовать.

С некоторых пор я стал делить свои воспоминания на «воспоминания привычные» и «воспоминания случайные». Я даже разобрался, в чем между ними разница: привычные воспоминания служат для того, чтобы убедить себя в том, что я действительно существую, а убежденность в этом мне крайне необходима в мире «после», где все ориентиры исчезли. Свои бессонные ночи я заполняю

теперь тем, что в зыбучих песках этой бескрайней пустыни, в этом прошлом, которое стало прошлым вдвойне, я расставляю вехи, чтобы не потерять уверенности, что я не утратил себя самого. Не утратил ощущения, что я существую.

1948 год — одна из этих вех. Мне двенадцать лет. Я только что получил — и несказанно этим горжусь — лучший в департаменте аттестат об окончании начальной школы. За обедом в кухне нашей фермы «Большая Рига» я пытаюсь убедить своих родителей в необходимости распахать все наши целинные земли. По моему убеждению, сам здравый смысл это подсказывает. Из сорока пяти гектаров у нас — как, впрочем, и у всех в здешних краях — всего десять отведено под луга и пашню. Остальную площадь занимает лес, да еще лес, не приносящий никакого дохода, с тех пор как в нем больше не собирают каштанов и не заготовляют ветви на обручи.

Мои предки меня почти не слушают. Все равно что обращаться к кочкам. Да они и цвет свой словно позаимствовали от земли — оба темнолицые, темноволосые. Я такой же, как и они, вот только голубые глаза унаследовал от дяди.

Теперь я вижу эту сцену из такой дали, глазами взрослого человека, многое в ней стало мне понятней, но даже сейчас она вызывает у меня досаду.

Взять хотя бы мать. Только и знает, что жаловаться да попусту языком молоть. К тому же она страдает пороком, свойственным всем недалеким людям: постоянно сваливать вину на кого-то другого. Удобнейшее оправдание для косных натур. Чего ради разбиваться в лепешку, когда все идет из рук вон плохо. Мое предложение взяться за целинные земли ее явно раздражает.

— А на какие это шиши?— насмехается она.— Может, ты деньжат подбросишь, чтобы нанять бульдозер?

Но какое бы презрение ни звучало в ее голосе, я-то знаю, что у них на книжке есть деньги, обесценивающиеся из месяца в месяц. Я знаю, почему они обесцениваются, мне все объяснил дядя. И теперь я втолковываю им это, понятно, без ссылки на дядю. Впрочем, тщетная осторожность.

Отец хоть и слушает, но помалкивает. А мать мои доводы оскорбляют. Они скользят по поверхности ее непробиваемого черепа, покрытого жидкими волосами. Она

даже не смотрит на меня. Через мою голову она кидает отцу:

— Мальчишка — просто вылитый твой братец Самюэль. Одна спесь. Только бы других учить. А теперь со своим аттестатом совсем нос задрал, башка дурацкая.

Мои младшие сестры Полетта и Пелажи прыскают, сидящую ближе ко мне я пинаю под столом ногой, и девчонка тут же ударяется в рев.

— А в придачу у него еще и злое сердце,— заключает мать.

И начнет нудить о моем злом сердце. За это время можно съесть две тарелки супа и приготовить шаброль. В матери пропадает бухгалтерский гений. Она держит в памяти все мои былые провинности и при каждом новом прегрешении заново пережевывает их. Тот факт, что за них я уже понес наказание, не имеет для нее ровно никакого значения. Мои преступления не прощены, не забыты, они по-прежнему висят на мне тяжким грузом.

Она нудит с какой-то удивительной плаксивостью в голосе, и этого я не в силах вынести. Итак, Пелажи воет, Полетта — кстати, до нее я даже не дотронулся — хнычет. И наконец, финал: Пелажи приподнимает подол юбочки и показывает покрасневшую ляжку. Материнские стенания тут же обрываются, и, мгновенно меняя тон, она переходит на крик:

— Чего ты смотришь, Симон? Влепи как следует своему сынку.

Да, я, конечно, только его сынок, к ней я не имею никакого отношения. Отец молчит. Такова его роль в нашем доме. Недоступная доводам разума, чуждая всякой логике, мать никогда не прислушивается к его словам. Она довела его до немоты, до полного порабощения своей единственной доблестью: неудержимым словоизвержением.

— Ты меня слышишь, Симон?

На всякий случай я кладу на стол нож и вилку и начинаю отклеивать зад от стула, готовясь увернуться от отцовской пощечины. Но отец даже не пошевельнулся. Думаю, это стоит ему немалого мужества, так как он знает, что сегодня вечером в супружеской постели его ждет хорошая взбучка, уж тогда-то мать ему припомнит все, в чем он был виноват.

Но это мужество труса. Я вспоминаю, как однажды дядя — незабываемое зрелище! — выскочил с грохотом из-за стола и вложил ума своей супруге, как две капли воды похожей на мою мать — два брата женились на двух сестрах. Иногда я задумываюсь, что же все-таки была у них за семейка, почему они обе такие сухие, неуживчивые, занудные и склочные.

Тетка не выдержала. Она скончалась сорока лет от ненависти к жизни. И дядя вознаградил себя, он начал ухлестывать за молоденькими девчонками. Я не осуждаю его, я поступил точно так же, став взрослым.

Опасность, кажется, миновала. Я так и не схлопотал затрещины — ни от отца, ни от матери. Мать — та, конечно, с превеликим удовольствием влепила бы мне ее. Но недавно я поставил на этом точку: не выходя из рамок сыновнего повиновения, я, выдвинув вперед локоть, отпарировал готовый обрушиться на меня удар. И это не было пассивной защитой: я силой удержал материнскую руку.

— Ты не получишь сладкого пирога,— после минутного раздумья заявила мать.— В другой раз будешь знать, как обижать маленьких.

Отец только прищелкнул языком. Это все, на что он был способен. Я горделиво промолчал. Пользуясь тем, что отец с унылым видом уткнулся носом в тарелку, а мать отошла к плите взглянуть на какой-то лечебный отвар, который она настаивала со вчерашнего дня, я скорчил страшную рожу хныкавшей Пелажи. Та взревела с новой силой и, обладая весьма скудным запасом слов, пожаловалась матери, что я на нее «посмотрел».

— Что же,— сказал я, невинно тараща глаза (они казались еще более невинными оттого, что были голубыми),— теперь мне и взглянуть на тебя нельзя?

Молчание. Я притворяюсь, что без всякой охоты доедаю вкуснейшую материнскую похлебку. У меня даже хватает мужества отказаться от добавки, которую у нас заведено предлагать. И пока они всей семьей с упоением чавкают, я не спускаю глаз с засиженной мухами гравюры, висящей над низким буфетом. Это репродукция с «Возвращения блудного сына».

У хорошего сына, скромно стоящего в углу картины, очень грустная рожа. И я его вполне понимаю. Ведь он так вкалывал на своего отца, а тот пожалел ему какого-то жалкого барашка, чтобы он мог угостить своих приятелей.

А вот для второго сыночка, для этого негодяя, когда он снова притащился на ферму, промотав со шлюхами выделенную ему долю, отец тут же, не задумываясь, закалывает жирного тельца.

Стиснув зубы, я с горечью думаю: «Все равно как у нас. Посмотреть на моих сестер: дурехи и недотепы. А вот мать всегда и во всем им потакает, только и знай, что поливает их одеколоном, причесывает да завивает им локоны». Я хихикаю себе под нос. В прошлое воскресенье я неслышно подкрался к девчонкам сзади и нацепил на их прекрасные кудри паутину.

Только это счастливое воспоминание и поддерживает сейчас мой дух, сейчас, когда, готовый уже впасть в отчаяние, я отрываю свой взгляд от «Блудного сына» и устремляю его на сундук, где ждет своего часа благоухающий, круглый, с золотистой корочкой абрикосовый пирог. Как раз в этот момент мать медленно поднимается с места и не без некоторой торжественности водружает его на стол прямо мне под нос.

Я тотчас же встаю и, засунув руки в карманы, направляюсь к двери.

— А ты разве не съешь кусочек пирога?— спрашивает отец хриплым голосом, какой обычно бывает у людей, привыкших молчать.

Опомнился наконец, но я даже не чувствую благодарности за эту запоздалую поддержку. Я оборачиваюсь и, не вынимая рук из карманов, сухо бросаю через плечо:

— Перебьемся!

— Ишь язык распустил! Ты как разговариваешь с отцом!— тут же встревает мать.

Я не собираюсь выслушивать, что она понесет дальше. Теперь эта волынка надолго. Мало того, что она меня лишила удовольствия, сейчас она отобьет всякий аппетит у отца.

Я вылетаю во двор фермы и, засунув в карманы сжатые кулаки, с яростью шагаю из конца в конец. У нас в Мальжаке отца считают добрейшим человеком, мягким, как свежевыпеченный хлеб. Правильно считают. Но уж слишком много в нем мякиша и совсем нет корки.

Моя мысль лихорадочно работает, жгучая горечь и гнев переполняют меня. С этой стервой (я именно так ее называю) невозможно поговорить серьезно. Чуть что — набрасывается на меня, выставляет на посмешище перед

этими дурехами, да еще и наказывает. Нет, я вправду не могу простить ей этого пирога. И дело тут, конечно, не в самом пироге, а в том унижении, которое я из-за него испытал. Расправив уже хорошо развитые плечи, со стиснутыми кулаками в карманах, я продолжаю мерить шагами двор. Оставить без сладкого первого ученика департамента!

Вот она, пресловутая последняя капля: чаша моего терпения переполнена. Я задыхаюсь от бессильной злобы. С тех пор прошло более тридцати лет, но я до сих пор помню, какая во мне тогда клокотала ярость. Бросая взгляд в прошлое, я понимаю, что не был рожден Эдипом. Даже в помыслах я не посягал на свою Иокасту. Роль Иокасты в моей судьбе было суждено сыграть другой женщине — Аделаиде, хозяйке бакалейной лавки в Мальжаке. Эта пышная блондинка заразительно смеялась, щедро угощала конфетами и, кроме того, обладала умопомрачительным бюстом. Роль отца-соперника в этом «эдиповом комплексе» я подкинул (ну и жаргон!) своему дяде. Он (в ту пору я об этом не догадывался) был в близких отношениях с нашей прекрасной лавочницей. Таким образом, добровольно отказавшись от своей семьи, я, сам того не зная, завел себе новую, истинную.

Было у меня в детстве и еще одно дорогое моему сердцу семейство, созданное моими собственными руками: так называемое Братство. Архитайное общество из семи членов, учрежденное мной в школе Мальжака (население 401 человек, церковь XII века), это было мое детище, моя семья, и в качестве главы этой семьи я мог проявить в полной мере дух предприимчивости, которого начисто был лишен мой собственный родитель и который крепчал во мне с каждым днем под моей внешней мягкостью.

Видимо, меня слишком жестоко обидели, если я принял решение: укроюсь в лоне созданной мною семьи. Надо только дождаться, когда, выйдя из-за стола, отец отправится вздремнуть после обеда, мать начнет мыть посуду, а ее драгоценные завитые дочки будут крутиться у ее юбки. Тогда я проберусь к себе на мансарду, соберу вещевой мешок (подарок дяди), затяну его потуже и сброшу на дрова, сложенные в поленницу под самым моим окном. Покидая отчий дом, я оставляю на столе записку, адресованную по всей форме господину Симону Конту, земледельцу, ферма «Большая Рига», Мальжак.

Дорогой папа!

Я ухожу. В этом доме ко мне относятся совсем не так, как я того заслуживаю.
Обнимаю тебя.

Эммануэль.

И пока мой бедняга отец безмятежно спит за плотно закрытыми ставнями, даже не подозревая, что у его фермы нет больше наследника, я что есть духу лечу на велике по солнцепеку в сторону Мальвиля.

Мальвиль — огромный, полуразрушенный замок-крепость XIII века на выступе гигантской отвесной скалы, возвышающейся над долиной реки Рюны. Нынешний владелец замка бросил его на произвол судьбы, а с тех пор как тяжеленная каменная глыба, оторвавшись с галереи, опоясывающей донжон, задавила какого-то туриста, вход в замок запрещен. Общество по охране архитектурных памятников вывесило свои таблички, а единственную дорогу в Мальвиль, идущую по склону холма, мэр Мальжака приказал затянуть четырьмя рядами колючей проволоки. И как бы подкрепляя проволочные заграждения — мэрия здесь уже ни при чем,— тянутся еще метров на пятьдесят непроходимые заросли колючего кустарника, разрастающегося с каждым годом вдоль старой дороги, идущей от скалы и отделяющей головокружительный Мальвиль от холма, где прилепилась ферма моего дяди —«Семь Буков».

Это здесь. Под моим дерзновенным началом Братство нарушило все запреты. Мы проделали с ребятами невидимую лазейку в колючей проволоке, прорубили в гигантском кустарнике туннель, который заканчивался столь хитроумным коленом, что его невозможно было разглядеть с дороги. На втором этаже донжона — главной башни замка — мы частично восстановили пол и перекинули от балки к балке мостки, сколоченные из старых досок, позаимствованных мною в дядином сарае. Теперь через огромный зал можно было пробраться в комнату, и Мейсонье, в ту пору уже вовсю работавший в столярной мастерской своего отца, вставил там оконную раму и навесил дверь, запирающуюся на замок.

Дождь и снег в башню не попадали. Ребристые сводчатые потолки устояли перед натиском времени. В нашем

пристанище имелась также печка и, кроме того, стол, табуретка и старый тюфяк, покрытый мешками.

Мы умели хранить свою тайну. Уже целый год как мы оборудовали себе этот уголок, но никто из взрослых о том не догадывался. Вот в этом убежище я и решил укрыться до начала учебного года. По дороге я сумел перекинуться словечком с Коленом, он обо всем расскажет Мейсонье, тот — Пейсу, а Пейсу — уже всем остальным. Так что, пустившись в эту авантюру, я принял меры предосторожности.

Я провожу в заточении весь вечер, ночь и весь следующий день. Это вовсе не так приятно, как представлялось мне вначале. Стоит июль, и мои товарищи помогают взрослым в поле, я увижу их не раньше вечера. Сам я не решаюсь высунуть нос из Мальвиля. Из «Большой Риги», верно, уже сообщили жандармам.

В семь часов раздается стук в дверь. Я жду долговязого Пейсу, он должен подбросить мне пропитание. Отодвинув задвижку, я грубо кричу со своего сурового ложа, где целый день провалялся с полицейским романом в руках:

— Входи, кретин здоровый!

Входит мой дядя Самюэль. Он протестант, отсюда и его библейское имя. Вот он предо мной, собственной персоной, в клетчатой рубахе с распахнутым на сильной шее воротом и в старых галифе (он служил в армии в кавалерийских частях). Он стоит в проеме низкой двери, касаясь лбом каменной перемычки, и, нахмурившись, смотрит на меня, но я вижу, что его глаза смеются.

Мне бы хотелось остановить этот кадр. Ведь растянувшийся на тюфяке мальчишка — это я. Но и стоящий на пороге дядя — тоже я. В ту пору дяде Самюэлю было на год меньше, чем сейчас мне, а все в один голос утверждают, что между нами разительное сходство. Мне кажется, что в этой сцене, где было сказано так мало слов, я вижу, как сошлись вместе мальчуган, каким я когда-то был, и взрослый мужчина, каким я стал теперь.

Нарисовать портрет дяди — это почти что изобразить самого себя. Дядя был мужчиной высокого роста, крепкого телосложения, очень широкоплечий, но с узкими бедрами, на его квадратном, опаленном солнцем лице над голубыми глазами будто углем были нарисованы густые брови. У нас в Мальжаке люди необычайно словоохотливы.

Но дядя предпочитал молчать, когда сказать ему было нечего. А если он говорил, то говорил очень кратко, без лишних слов, сразу о главном. И жесты у него тоже были скупые.

Особенно мне нравится в нем твердость характера. Ведь в моей семье и отец, и мать, и сестры — все такие вялые. Нет у них четкости в мыслях. И речи как-то растекаются.

Меня также восхищает дух предпринимательства, живущий в дяде. Он давно распахал все принадлежащие ему земли. Запрудив один из рукавов Рюны, он устроил садки, и у него там водится форель. У дяди прекрасная пасека с двумя десятками ульев. Он даже купил по случаю счетчик Гейгера и собирается поискать уран в вулканической породе, выступающей на склоне холма. А когда повсюду начали появляться ранчо и коневодческие фермы, он тут же продал коров и стал разводить лошадей.

— Я знал, что ты здесь,— сказал дядя.

Я уставился на него, онемев от изумления. Но уж мы-то с ним хорошо понимали друг друга. И дядя тут же ответил на мой безмолвный вопрос.

— Всё доски,— сказал он.— Доски, которые ты прошлым летом спер у меня из сарая. У тебя не хватило силенок тащить их, и ты тянул их по земле. Вот я и пришел сюда по твоему следу.

Значит, целый год ему была известна наша тайна! И он никому и словом не обмолвился, даже мне ничего не сказал.

— Я проверил,— продолжал он.— На галерее вокруг донжона вроде бы все в порядке, больше с нее уж ничего не грохнет.

Меня захлестнула волна благодарности к дяде. Значит, он тревожился за меня, следил, чтобы тут со мной ничего не случилось, но не говорил об этом, не докучал мне. Я взглянул на него, но дядя отвел глаза в сторону — недоставало еще расчувствоваться. Он схватил табуретку, проверил, устойчива ли она, и, широко расставив ноги, оседлал ее, словно лошадь. И тут же понесся галопом прямо к цели.

— Вот что, Эммануэль, они никому ничего не сказали. Даже жандармам не заявили.— Он улыбается.— Ты же знаешь *ее* — больше всего боится, как бы люди не стали судачить. Я тебе вот что хочу предложить. Поживи-ка

у меня до конца каникул. А когда начнется учебный год, тут все само собой образуется, ты снова вернешься в свой пансион в Ла-Роке.

Молчание.

— А по субботам и воскресеньям? — спрашиваю я.

У дяди вспыхивают глаза. Я перенимаю его манеру: разговариваю полунамеками. Если я мысленно уже «вернулся» в школу, выходит, я согласен пожить до конца каникул в его доме.

— Если хочешь, будешь приезжать ко мне, — говорит он поспешно, махнув рукой.

Снова недолгое молчание.

— Время от времени будешь обедать в «Большой Риге».

Этого совершенно достаточно, чтобы соблюсти приличия, любящая моя мамочка. Я прекрасно понимаю, что подобное соглашение всех вполне устроит.

— В общем, — легко вставая с табуретки, говорит дядя, — если согласен, затягивай свой мешок и топай ко мне, на берег Рюны, я там заготавливаю корм для лошадей.

Дядя тут же уходит, а я уже затягиваю свой вещевой мешок.

Пробравшись через туннель в кустарнике и лазейку в колючей проволоке, я скатываю под горку на велике в старое русло пересохшей ныне речушки, отделяющее отвесный утес Мальвиля от холма с пологими склонами, принадлежащего дяде. Я до смерти рад, что наконец выбрался из своего убежища. В ложбине царит полумрак; деревья, которыми поросли развалины крепостных стен, отбрасывают мрачные тени, и я вздыхаю полной грудью, только когда вырываюсь на простор, в залитую солнцем долину Рюны. Самым чудесным, предзакатным солнцем, какое бывает только летом на ущербе дня.

Дядя открыл мне волшебство этого часа. В знойном воздухе разливается томительная нега. На всем лежит золотистый свет, изумрудом наливается зелень лугов, и длиннее становятся тени. Я прямиком лечу к красному дядиному трактору. За трактором тянется прицеп с высоченной кучей пожелтевшей травы. А еще дальше, вдоль берега Рюны, высаженные ровными рядами, шелестят серебристой листвой тополя. Я люблю этот шум, он напоминает мне веселый летний дождь.

Дядя молча подхватывает мой велосипед, забрасывает его на верхушку стога и привязывает веревкой. Затем снова берется за руль трактора, я пристраиваюсь сбоку. Мы не произносим ни слова. Даже не глядим друг на друга. Но по тому, как слегка дрожит его рука, я догадываюсь, что он сейчас очень счастлив: наконец-то и у него появился сын, ведь моя тощая тетка так и не подарила ему ребенка.

Мену ждала меня на пороге дома, скрестив на плоской груди свои неправдоподобно худые руки. Ее иссохшее, словно у мумии, личико съежилось в улыбке. Ее слабость ко мне подкреплена той ненавистью, какую она питает к моей матери. И какую она питала к моей тетке при ее жизни. Не подумайте бог знает что. Мену не спала с моим дядей. Да и служанкой ее не назовешь. У нее есть своя земля и водятся деньжата. Дядя косит траву на ее лугах, она ведет его хозяйство, и он кормит ее.

Мену — олицетворение худобы, но худоба ее вовсе не унылая. Она никогда не ноет и даже ворчит как-то весело. Весит она сорок килограммов вместе со всем своим черным одеянием. Но ее маленькие черные глазки в глубоких глазницах так и горят любовью к жизни. Если сбросить со счета грехи молодости, Мену — воплощение всех добродетелей, куда входит и чрезвычайная бережливость. «Вот до чего экономия довела,— говорит дядя,— мяса-то на заднице совсем не осталось, сидеть не на чем».

И работает она как зверь. Надо видеть, с каким дьявольским проворством мелькают ее тоненькие как спички руки, когда она обрабатывает свой виноградник! А тем временем ее единственный восемнадцатилетний сын Момо тянет за веревку игрушечный паровозик и с упоением «дудукает».

Видимо, для того чтобы придать жизни какую-то остроту, Мену без конца спорит с дядей. Но дядя — ее бог. Сияние этого божества озаряет и мою персону. Готовясь встретить меня в «Семи Буках», Мену закатила такой обед, что мне пришлось распускать пояс. Понятно, не без задней мысли она увенчала обед огромным сладким пирогом. Если бы я был киношником, я бы крупным планом изобразил этот пирог с наплывом на flashback*: год 1947, лето «до».

---

* Короткий «обратный кадр» *(англ.)*.

Еще одна веха.

Мне одиннадцать лет, я влюбляюсь в Аделаиду, организую Братство в Мальвиле и меняю свое отношение к религии.

Я уже упоминал, какую роль для меня сыграла бакалейщица из Мальжака. Аделаиде в ту пору было тридцать лет, и она своими зрелыми прелестями буквально околдовала меня. Должен признаться, что даже сейчас, имея за спиной такой жизненный опыт, я благодаря этой женщине неизменно связываю щедрость людской плоти с добротою, а худоба для меня — вы понимаете, благодаря кому — всегда ассоциируется с душевной сухостью. К сожалению, вовсе не это является темой моего повествования. Иначе я бы охотно изложил свою точку зрения по этому вопросу. Когда аббат Леба, подозревавший нас во всех тяжких прегрешениях, свойственных нашему возрасту, заговорил на уроке катехизиса о «плотском грехе», мне трудно было представить — поскольку сам я нервы и мускулы,— что у меня имеется еще какая-то «плоть». Воплощением «плоти» для меня была Аделаида, и, когда я думал о ней, плотский грех казался мне восхитительным.

Меня ничуть не смущало то, что мой несколько тяжеловесный кумир, по слухам, был довольно легкого поведения. Напротив, это вселяло в меня надежду на будущее. Но пройдут еще долгие годы, пока молодой петушок превратится в петуха.

А до тех пор, во всяком случае летом, у меня хватало дел и без нее. Ведь у нас бушевала война. И доблестный капитан-гугенот Эммануэль Конт, укрывшись со своими единоверцами за стенами крепости Мальвиль, героически отражал атаки злодея Мейсонье, командующего войсками Лиги. Конечно, это был самый настоящий изверг, ведь он собирался разграбить замок и вырезать его обитателей-еретиков — мужчин и женщин. Женщин у нас изображали увесистые вязанки хвороста, детей — вязанки поменьше.

Мы не договаривались заранее, кто должен был победить, победа добывалась в честном бою. Каждый, в кого попадало или даже кого слегка касалось копье, стрела или камень — а в рукопашном бою острие шпаги,— должен был вскрикнуть: «Готов!» — и рухнуть наземь. Было дозволено законом после окончания битвы добивать раненых и умерщвлять женщин, но строго запрещалось насиловать их, как это однажды пытался сделать верзила Пейсу, на-

бросившись на объемистую вязанку хвороста. Мы были чисты и суровы, подобно нашим предкам. Во всяком случае, на людях. А хочешь распутничать в одиночку — твое личное дело.

Однажды мне выпала редкая удача: пустив стрелу с крепостной стены, я угодил в самую грудь Мейсонье. Вождь Лиги упал. Высунув голову из бойницы и потрясая кулаком, я громовым голосом крикнул:

— Смерть тебе, католическая сволочь!

Мой трубный глас поверг в оцепенение противника. Нападающие забыли даже, что у них есть щиты, и гугенотские стрелы тут же поразили их всех до единого.

Тогда я медленно вышел из крепости, приказал своим лейтенантам Колену и Жиро прикончить Дюмона и Конда́, а сам перерезал шпагой горло Мейсонье.

Долговязого Пейсу я прежде всего лишил предмета его особой мужской гордости, а затем, вонзив ему шпагу в грудь, я несколько раз повернул ее в ране, «ледяным голосом» вопрошая, нравится ли это ему. Я всегда приберегал долговязого Пейсу напоследок, уж очень здорово он умел хрипеть.

Но вот и кончился день жаркого сражения. Мы снова собрались в своем пристанище, в главной башне замка, выкурить по сигаретке, а потом пожевать резинку, чтобы отбить запах курева.

И тут я заметил по характерной для него манере двигать челюстями, что Мейсонье чем-то расстроен. Под узким лбом, увенчанным коротким ежиком волос, его серые, близко посаженные глаза непрестанно и часто моргали.

— Слушай, Мейсонье,— спрашиваю я дружеским тоном.— Чего это с тобой? Ты вроде сердишься?

Ресницы прыгают еще быстрей. Он не решается меня критиковать, зная, что все обернется против него самого. Но есть чувство долга, и оно, как видно, сжимает его узкий череп.

— По-моему, ты зря,— наконец с горячностью бросает он,— обозвал меня католической сволочью...

Дюмон и Конда что-то одобрительно бормочут, Колен и Жиро верноподданнически молчат, но я улавливаю некий оттенок в этом молчании. И только у большеголового Пейсу широкое лицо растянуто в добродушной улыбке, он пребывает в полном благодушии.

— Ты что! — с вызовом восклицаю я. — Ведь это же просто игра! А по игре я — протестант, так что же, по-твоему, я должен называть «миленьким» католика, который приперся, чтобы убить меня?!

— В игре тоже не все разрешается! — твердо стоит на своем Мейсонье. — И в игре одно — можно, другое — нет! Вот, например, когда ты представляешь, что отрубил ему... ну я говорю о Пейсу... ты же на самом деле этого не делаешь.

Физиономия Пейсу еще шире расплывается в улыбке.

— И потом, мы не договаривались, что можно оскорблять друг друга, — опустив глаза, не унимается Мейсонье.

— А уж тем более религию, — вставляет Дюмон.

Я смотрю на Дюмона. Вот уж кто обидчив-то, я его знаю как облупленного.

— А тебя-то я вообще никак не оскорблял, — выпаливаю я резко, чтобы отделить его от Мейсонье. — Я обращался к Мейсонье.

— Какая разница, — отвечает Дюмон, — я ведь тоже католик.

Я воплю:

— А я-то сам что, разве не католик?!

— Католик, — отрезает Мейсонье. — И ты не должен был оскорблять свою религию.

В разговор неожиданно вмешивается долговязый Пейсу. Он заявляет, что, мол, все это мура и, вообще, что католики, что протестанты — один черт.

Тут уж на Пейсу набрасываются со всех сторон. В тебе только и есть что силища да похабство! Вот и оставайся при них. А в религию лучше не суйся!

— Ты ведь даже десяти заповедей не знаешь, — с презрением бросает ему Мейсонье.

— А вот как раз и знаю, — отвечает долговязый Пейсу.

Он вытягивается, будто на уроке закона божьего, и с жаром начинает перечислять заповеди, но, дойдя до четвертой, внезапно умолкает. Ребята освистывают его, и, посрамленный, он опускается на свое место.

Этот неожиданный эпизод с Пейсу дал мне возможность собраться с мыслями.

— Ну ладно, — начинаю я покладистым тоном. — Допустим, я был виноват. А когда я виноват, то я не как некоторые, я тут же признаю свою вину. Так вот, я виноват, теперь ты доволен?

— Этого недостаточно — признать, что ты виноват,— раздраженно заявляет Мейсонье.

— Что же, по-твоему, я еще должен сделать?— кипя от негодования, спрашиваю я.— Ты, может, надеешься, что я перед тобой на коленочки встану за то, что обозвал тебя сволочью?

— Да мне начхать на сволочь,— говорит Мейсонье.— Я и сам могу назвать тебя сволочью, но ты назвал меня «католической сволочью»!

— Верно,— говорю я,— я оскорбил не тебя, я оскорбил религию.

— Точно,— говорит Дюмон.

Я смотрю на него. Мейсонье потерял своего лучшего союзника.

— Хватит! Надоело уж!— вдруг бросает малыш Колен, повернувшись к Мейсонье.— Конт признал свою вину, чего еще тебе надо?

Мейсонье открывает рот, чтобы ответить, но в этот самый момент Пейсу, довольный, что может отыграться, кричит, размахивая руками:

— Все это мура!

— Слушай, Мейсонье,— говорю тогда я, стараясь казаться справедливым.— Я обозвал тебя сволочью, ты обозвал меня сволочью, вот мы и в расчете.

Мейсонье вспыхивает.

— Я совсем не обзывал тебя сволочью,— говорит он с возмущением.

Я обвожу взглядом членов Братства, печально качаю головой и ничего ему не говорю.

— Но ты же сам сказал, что можешь тоже назвать его сволочью!— уточняет Жиро.

— Но это совсем другое дело,— говорит Мейсонье.

Он прекрасно чувствует, но не умеет выразить разницу между предполагаемым и действительным оскорблением.

— Ну чего ты цепляешься?— говорю я с грустью в голосе.

— Ничего я не цепляюсь,— кричит Мейсонье в последнем порыве.— Ты оскорбил религию и не можешь этого отрицать.

— Но я и не отрицаю этого!— говорю я с полнейшей искренностью, разводя в стороны открытые ладони.— Я ведь только что сам в этом признался. Правда, ребята?

— Правда! — подтверждает Братство.

— А поскольку я оскорбил религию, — говорю я решительно, — я должен просить прощения у того, кто вправе меня простить. («Кто вправе» — дядино выражение.)

Товарищи смотрят на меня с тревогой.

— Не будешь же ты впутывать в наши дела кюре? — восклицает Дюмон.

По нашему общему мнению, у аббата Леба мозги набекрень. Каждый раз на исповеди он всячески старается нас унизить; он считает ерундой все наши грехи, за исключением одного. Исповедь обычно протекает следующим образом:

— Отец мой, я грешен в том, что возгордился.

— Ладно, ладно. А что еще?

— Отец мой, я обманул учителя.

— Так, так, что еще?

— Отец мой, я грешен в том, что плохо говорил о ближнем.

— Ничего, ничего, что еще?

— Отец мой, я стащил десять франков у матери из кошелька.

— Хорошо, хорошо. А что еще?

— Я занимался непотребными делами.

— Ага! — восклицает аббат Леба. — Ну вот, наконец-то мы и добрались!

И тут начинается допрос с пристрастием. С девочкой? С мальчиком? С какой-нибудь скотиной? Сам с собой? Раздетый или в одежде? Лежа или стоя? На постели? В уборной? В лесу? Может быть, в классе? А не перед зеркалом ли? Сколько раз! О чем ты думал, когда занимался этим? (О чем? О том и думал, что занимаюсь этим, ответил Пейсу.) О ком ты думал? О какой-нибудь девочке? Или о товарище? А может, о взрослой женщине? О какой-нибудь родственнице, например.

Создав свое Братство, мы прежде всего дали клятву не проболтаться о нем аббату Леба, поскольку никто из нас не сомневался, что священник ни за что не поверит в невинность наших отношений, раз это общество секретное и собирается тайком от взрослых где-то в укромном месте. И тем не менее наше Братство было действительно «невинным» в том самом смысле, в каком это понимал аббат Леба.

Я пожимаю плечами.

— Ясно, я не стану докладывать о наших делах кюре. Об этом даже не думайте. Я сказал, что попрошу прощения у того, кто вправе меня простить. И теперь я ухожу.

Я встаю и отрывисто бросаю:

— Идешь со мною, Колен?

— Конечно,— отвечает малыш Колен, чрезвычайно гордый, что я выбрал именно его.

И, копируя каждое мое движение, он удаляется следом за мной, оставив онемевших от изумления сотоварищей по Братству.

Наши велосипеды запрятаны в зарослях кустарника, неподалеку от замка.

— Чешем в Мальжак,— коротко командую я.

Мы мчимся бок о бок, не произнося ни слова, даже когда наши велосипеды катятся по равнине. Я очень люблю малыша Колена, и я всячески поддерживал его, когда он только поступил в школу, потому что среди этих здоровенных парней, которые в двенадцать лет уже сами водили трактора, он казался легким и хрупким, как стрекоза,— с быстрыми и хитрыми глазками орехового цвета, бровями домиком и улыбчивыми, так и ползущими вверх уголками губ.

Я надеялся, что в церкви уже никого нет, но, едва мы уселись на скамье у исповедальни, из ризницы, шаркая ногами, вышел согбенный аббат Леба. В полутьме я с содроганием заметил, как появился из-за колонны его длинный крючковатый нос и торчащий вперед подбородок. Как только он завидел наши фигуры в этот неурочный час в церкви, он набросился на нас, будто хищный коршун на лесных мышат, вперив пронизывающий взгляд в наши глаза.

— Чего это вы сюда заявились?— грубо спрашивает он.

— Я зашел немного помолиться в храме,— отвечаю я, глядя на священника простодушным, ясным взором, благопристойно скрестив ладони на гульфике штанов. И елейным голосом добавляю:— Как вы нас учили...

— А ты?— строго обращается он к Колену.

— Я тоже,— отвечает Колен, но его смешливый рот и хитрые глаза ставят под сомнение серьезность ответа.

От нахлынувшего подозрения у кюре даже расширились глаза, он поочередно смотрит то на меня, то на Колена.

— А уж не покаяться ли в чем вы сюда пришли? — спрашивает он, обращаясь ко мне.

— Нет, господин кюре,— говорю я с твердостью в голосе. И добавляю: — Ведь я исповедовался только в эту субботу.

Кюре с негодованием распрямляет согбенную спину и говорит, многозначительно глядя на меня:

— Ты хочешь сказать, что с субботы по сей день у тебя не было грехов?

Я слегка тушуюсь. Увы, священнику известно о моей преступной страсти к Аделаиде. Во всяком случае, я считаю ее таковой с той минуты, когда кюре на исповеди воскликнул: «Стыдись! По возрасту эта женщина годится тебе в матери.— И непонятно почему добавил: — И ведь она весит в два раза больше, чем ты». Как будто в любви имеют какое-то значение килограммы. Тем более когда все сводится только к «дурным мыслям».

— Были, конечно, но ничего серьезного.

— Ничего серьезного! — восклицает с возмущением священник, сцепляя пальцы.— Что же, например?

— Я солгал отцу,— наобум говорю я.

— Так, так,— бормочет аббат Леба.— А что еще?

Я смотрю на него. Не заставит же он меня насильно каяться в грехах прямо так вот сразу, посреди церкви! Да еще в присутствии Колена!

— Больше ничего,— не дрогнув, отвечаю я.

Аббат Леба бросает на меня испытующий взгляд, я решительно отбиваю его простодушной ясностью своих глаз, и этот взгляд сникает, скатываясь куда-то вниз по длинному носу.

— А у тебя? — спрашивает он, обернувшись к малышу Колену.

— У меня то же самое! — отвечает Колен.

— У тебя то же самое! — хихикает священник.— Ты, значит, тоже солгал отцу и считаешь это несерьезным грехом.

— Нет, господин кюре,— говорит Колен,— я солгал не отцу, а матери.— И уголки его смешливого рта ползут вверх.

Я боюсь, что аббат Леба сейчас взорвется и выставит нас из святого храма. Но ему удается совладать с собой.

— Значит,— говорит он, по-прежнему обращаясь к Колену, и в голосе его слышится угроза,— значит, тебе при-

шла в голову благая мысль зайти в церковь и помолиться богу?

Я уже открываю рот, готовясь ответить, но аббат резко обрывает меня:

— Помолчи, Конт! Вечная история! Слова никому не дашь сказать! Пусть отвечает Колен!

— Нет, господин кюре, эта мысль пришла в голову не мне, а Конту.

— Ах, значит, Конту! Чудесно! Чудесно! Это уже начинает походить на правду,— с тяжеловатой иронией замечает кюре.— А где вы были, когда эта мысль осенила его?

— На дороге,— говорит Колен.— Мы ехали на велосипедах, и вдруг ни с того ни с сего Конт говорит мне: «Послушай, не заехать ли нам помолиться в церковь?» А я говорю: «Ну что ж, это идея». Ну, вот мы и заехали.— И уголки его губ невольно снова ползут вверх.

— «Послушай, не заехать ли нам помолиться в церковь»,— передразнивает его кюре, едва сдерживая ярость. И вдруг добавляет, словно наносит стремительный удар шпагой:— А где вы были, позвольте узнать, прежде чем оказались на этой дороге?

— В «Семи Буках»,— не моргнув глазом отвечает Колен.

Это просто гениально со стороны малыша, ведь единственный человек во всем Мальжаке, к которому кюре уж никак не может обратиться, чтобы выяснить, правду ли мы говорим,— это мой дядя.

Мрачный взор кюре, оторвавшись от моих ясных глаз, натолкнулся на ладьеобразную ухмылочку Колена. Он попал в положение мушкетера, у которого во время дуэли шпага отлетела метров на десять в сторону, во всяком случае, такой образ мне рисуется, когда спустя некоторое время я пересказываю наш разговор с кюре своим приятелям.

— Ну что же, помолитесь, помолитесь!— говорит наконец аббат Леба язвительно.— И тому и другому это не помешает, ох еще как не помешает!

Он поворачивается к нам спиной, словно отдает нас в руки Дьявола. И своей шаркающей походкой, сгорбившись, выставив вперед длинный нос и тяжелый подбородок, медленно удаляется в ризницу, и дверца гулко захлопывается за ним.

Когда снова воцаряется безмолвие, я, молитвенно скрестив на груди руки, устремляю взор на слабый свет, исходящий из дарохранительницы, и говорю тихо, но так, чтобы было слышно Колену:

— Господи, прости меня за то, что я оскорбил религию!

Если бы в этот момент дверцы дарохранительницы, озарившись вдруг ярким светом, разверзлись и оттуда раздался торжественный и звучный, как у диктора, голос: «Я прощаю тебя, дитя мое, но в наказание повелеваю тебе прочитать десять раз ,,Отче наш''», — меня бы, видимо, это даже не удивило. Но голос не прозвучал, и волей-неволей мне пришлось самому наложить на себя наказание: десять раз прочитать «Отче наш». Я уже готов был для ровного счета десять раз отбарабанить и «Богородицу», но сообразил, что, если паче чаяния сам господь бог — протестант, ему может оказаться неугодным, что я так возвеличиваю Деву Марию.

Я успел лишь трижды прочесть молитву, когда Колен, толкнув меня локтем в бок, проговорил:

— Чего ты там бормочешь? Пошли!

Я повернул к малышу голову. И строго взглянул на него.

— Подожди! Я должен отбыть наказание, которое он на меня наложил.

Колен молчит. Он молча простоит рядом со мной все это время. Не проронив ни слова. Ни о чем не спрашивая. Не удивляясь.

Я не задумываюсь сейчас над тем, был ли я тогда достаточно чистосердечен. Для мальчишки одиннадцати лет — все игры, серьезных проблем еще просто не существует. Но меня поражает то мужество, с которым я, минуя посредничество аббата Леба, решился выйти на прямую связь с господом богом.

Апрель 1970 года: следующий межевой столб. Я перескакиваю через целых двадцать лет. Мне не очень легко сразу же, сбросив короткие штанишки, облачиться в брюки взрослого человека. Вот я уже 34-летний, директор школы в Мальжаке, мы сидим с дядей на кухне в «Семи Буках», друг против друга, и он попыхивает своей трубкой. Торговля лошадьми идет у него удачно, вернее, даже слишком удачно. Чтобы расширить дело, дяде нужно прикупить земли. Но стоит ему приглядеть земельный уча-

сток, как цена его тут же удваивается — Самюэля Конта считают богатым человеком.

— Взять хотя бы Берто. Ты его знаешь. Два года морочил мне голову. А сейчас заломил такую цену! А в общем, плевать я хотел на эту ферму Берто. Я ведь о ней подумывал только на худой конец. Скажу тебе, Эмманюэль, без утайки: вот что бы мне хотелось заполучить, так это Мальвиль.

— Мальвиль!

— Да,— говорит дядя,— Мальвиль.

— Да на кой черт он тебе сдался?— с искренним изумлением спрашиваю я.— Там же ничего нет, кроме леса да развалин.

— Эх, братец ты мой,— вздыхает дядя,— видно, придется тебе объяснить, что же такое Мальвиль. Прежде всего это шестьдесят пять гектаров отличной земли, правда, сейчас она поросла лесом, но лес-то молодой, ему не больше пятидесяти лет. Мальвиль — это также виноградник, который давал лучшее в нашем крае вино еще во времена моего папаши. Виноград, конечно, придется сажать заново, но ведь земля-то — какая она была, такая и осталась. А знаешь, какой в Мальвиле подвал, второго такого в Мальжаке не сыщешь: со сводчатыми потолками, прохладный и огромный, как внутренний двор в школе. Кроме того, Мальвиль — это крепостная стена, приладь к ней навесы, а из камня — его там хоть завались, и уже обтесанного, только изволь наклониться да поднять — строй сколько душе угодно стойла да конюшни. И потом, Мальвиль здесь, рядом, рукой подать, одна лишь стена отделяет его от «Семи Буков». Можно подумать,— добавил он, не улавливая всей комичности этих слов,— что замок служит продолжением фермы. Как будто когда-то он уже принадлежал ей.

Наш разговор состоялся после ужина. Дядя сидел боком к кухонному столу, потягивал трубку, он распустил ремень, штаны чуть сползли, и мне виден был его впалый живот.

Я смотрю на дядю, и он понимает, что я угадал его мысли.

— Да ничего не попишешь,— говорит он.— Запорол я такое дело!— Новая затяжка табачком.— Разругался вдребезги с Гримо.

— Кто такой Гримо?

— Доверенное лицо графа. Пользуясь тем, что граф — а тот постоянно живет в Париже — полностью доверяет ему и без него шагу не шагнет, этот самый Гримо решил содрать с меня взятку. Он назвал ее «вознаграждение за переговоры».

— Ну что ж, звучит вполне прилично.

— И ты так считаешь?— говорит дядя. Он снова затягивается.

— И сколько же?

— Двадцать тысяч.

— Силен!

— Конечно, сумма немалая. Но можно было поторговаться. А вместо этого я взял да и написал графу. А граф-то, этот дурак набитый, взял да и переслал мое письмо Гримо. И этот подлец пожаловал ко мне выяснить отношения.

Дядя вздыхает, и вздох его тонет в клубах табачного дыма.

— Тут я снова дал маху. И на этот раз окончательно все испортил. Я отчехвостил этого проходимца. Как видишь, и в шестьдесят лет случается делать глупости. В делах нельзя распускать свой норов, запомни это хорошенько, Эмманюэль. Даже когда сталкиваешься с самым отпетым негодяем. Потому что и у негодяя, и у самого последнего подонка, оказывается, все-таки есть самолюбие. Он не простил мне нашего с ним разговора. Я послал еще два письма графу, но он ни на одно мне так и не ответил.

Мы молчим. Я слишком хорошо знаю дядю, чтобы лезть к нему в минуты неудач с пустыми словами утешения. Он не терпит, чтобы его жалели. Вот он уже расправляет плечи, кладет ноги на стул, запускает большой палец левой руки за пояс и говорит:

— Да, ничего не скажешь, прогорело дельце, прогорело... А вообще, обойдусь и без Мальвиля. Ведь жил я без него до сих пор, и неплохо жил. Зарабатываю я вполне достаточно и главное — занимаюсь делом, которое мне по нутру. Я сам себе хозяин, и никто мне особо не докучает. Я нахожу, что жизнь — забавная штука. Здоровье у меня крепкое, лет двадцать я еще наверняка протяну. А больше мне и не надо.

Дядя явно просчитался. Мы разговаривали с ним в воскресенье вечером. А в следующее воскресенье, возвра-

щаясь с футбольного матча из Ла-Рока, дядя вместе с моими родителями погиб в автомобильной катастрофе.

От Мальжака до Ла-Рока всего каких-то пятнадцать километров, но этого оказалось достаточно, чтобы невесть откуда налетевший автобус раздавил нашу малолитражку, прижав ее к дереву. Если бы все шло обычно, дядя отправился бы на матч с подручными в своем микроавтобусе «пежо», но машина стояла в мастерской на ремонте, а грузовичка «ситроен», служившего для перевозки лошадей, не было на месте — один из дядиных клиентов настоял, чтобы купленную лошадь выслали к нему в воскресенье. Я тоже мог оказаться в родительской малолитражке, но случилось так, что в это самое утро один из моих великовозрастных учеников разбился на мотоцикле и во второй половине дня мне пришлось отправиться в Ла-Рок в больницу, узнать, как он себя чувствует.

Будь жив аббат Леба, он сказал бы: «Провидение спасло тебя, Эмманюэль». Да, но почему именно меня? Самое ужасное заключается в том, что, сколько ни задавай себе вопросов, на них все равно не найти ответа. Лучше об этом вообще не думать. Но вот это-то и не удается. Насколько нелепым было случившееся несчастье, настолько же было велико и желание осмыслить его.

Три изуродованных тела привезли в «Семь Буков», и мы с Мену оставались при них, поджидая, пока приедут мои сестры. Мы не плакали и даже не разговаривали. Момо, забившись в угол, сидел на полу и на все обращенные к нему слова отвечал только «нет». Уже к ночи заржали лошади — Момо забыл накормить их. Мену взглянула на сына, но тот с диким видом только замотал головой. Я поднялся и пошел насыпать лошадям ячменя.

Едва я успел вернуться в комнату к усопшим, как из главного города департамента приехали на машине мои сестры. Их поспешность меня несколько удивила, а еще больше удивило их одеяние. Мои сестры были в глубоком трауре — как будто заранее приготовились ко дню погребения своих близких. Не успев перешагнуть порога «Семи Буков», даже не сняв шляпок с вуалями, они разлились потоками слов и слез. Зажужжали, будто осы, попавшие в стакан.

Их манера разговаривать просто бесила меня. Каждая из них по очереди как бы становилась эхом другой. То,

что говорила Полетта, повторяла за ней Пелажи, или же Пелажи задавала какой-нибудь вопрос — и Полетта тут же повторяла его. Слушать их было противно до тошноты. Две вариации одной и той же глупости.

Они и внешне были очень похожи: бесцветные, какие-то дряблые, с одинаковыми локонами, и обе излучали притворную мягкость. Я говорю «притворную», поскольку, несмотря на овечью внешность, и та и другая отличались цепкостью и жадностью.

— А почему,— проблеяла Полетта,— отец с матерью лежат не в своей постели в «Большой Риге»?

— Да, вместо того чтобы лежать здесь,— вторит ей Пелажи,— у дяди, будто у них не было своего дома.

— Ах, бедный папа,— снова заводит Полетта,— если б он мог сейчас чувствовать, как бы он сокрушался, что умер не у себя дома.

— Что ж делать, если смерть настигла его так неожиданно — не дома, а в машине?— говорю я.— Не мог же я разорваться и одновременно сидеть над телами покойных родителей в «Большой Риге» и здесь, у дяди, в «Семи Буках».

— И все-таки...— нудит Полетта.

— И все-таки,— плаксивым эхом откликается Пелажи,— бедный отец был бы так недоволен, что лежит здесь. Да и мать тоже.

— Особенно мать,— вторит ей Полетта.— Ты же знаешь, как она относилась к бедному дяде.

Необычайная деликатность. И слово «бедный» тоже меня раздражает, поскольку к своему дяде они не питали никаких нежных чувств.

— Подумать только,— продолжала Пелажи,— в «Большой Риге» сейчас нет никого, кто бы позаботился о скотине.

— А ведь коровы отца уж никак не хуже лошадей.

Она все-таки сдерживается и не добавляет «дядиных лошадей», потому что дядя лежит здесь, перед ее глазами, страшно изуродованный.

— За ними присмотрит Пейсу,— говорю я.

Они переглядываются.

— Пейсу!— восклицает Полетта.

— Пейсу!— повторяет Пелажи.— Вот как, значит, Пейсу!

Я грубо обрываю их.

— Да, именно Пейсу! Что вы против него имеете? — И коварно добавляю: — Вы не всегда так плохо к нему относились.

Они пропускают мимо ушей мою шпильку. Сестры готовятся открыть шлюзы, и на меня сейчас снова обрушатся потоки слез. Когда они схлынут, начнется драматическое представление с продуванием носа и промоканием глаз. Затем Пелажи снова бросается в атаку:

— Пока мы здесь сидим, — говорит она, многозначительно переглянувшись с сестрой, — Пейсу небось творит там все, что его душеньке угодно.

— Уж конечно, он и глазом не моргнет, перероет все ящики, — добавляет Полетта.

Я пожимаю плечами. И молчу. Сестры снова заливаются слезами, громко сморкаются, причитают. До возобновления дуэта проходит довольно много времени. Но дуэт все-таки возобновляется.

— Просто покоя не дают мне эти бедные коровы, — говорит Пелажи. — Надо бы все-таки съездить взглянуть на них, может, тогда поспокойней будет.

— Конечно, — говорит Полетта. — Пейсу-то, наверно, и не подошел к ним.

— Ничего не скажешь, пустили козла в огород.

Если бы в эту минуту вскрыть сердца моих сестер, там, конечно бы, обнаружился оттиснутый в натуральную величину ключ от «Большой Риги». Они подозревают, что ключ у меня. Но не знают, под каким предлогом попросить его. Ведь не для того же, чтобы проведать бедных животных.

У меня не хватает терпения слушать дальше эти двухголосные причитания, и я рублю сплеча. Не повышая голоса, я говорю:

— Вы знаете отца, он не мог уехать на футбольный матч, не заперев все в доме на замок. Когда из машины вытащили его тело, ключ был при нем. — Я продолжаю, отчеканивая каждое слово: — Ключ у меня. С тех пор как в «Семь Буков» привезли тела погибших, я ни на минуту не отлучался отсюда, вам это может подтвердить каждый. В «Большую Ригу» мы поедем все вместе послезавтра, после похорон.

Высоко взлетают черные вуали, и сестры с негодованием вскрикивают:

— Но мы тебе полностью доверяем, Эммانюэль! Мы же знаем, что ты за человек! Неужели ты мог поду-

мать, что нам эдакое в голову придет. Да еще в такой момент!

В утро похорон Мену попросила меня помочь ей искупать Момо. Мне уже приходилось как-то участвовать в этой процедуре. Это было дело нелегкое. Надо было неожиданно схватить Момо, содрать с него одежду, как шкуру с кролика, запихнуть этого детину в чан с водой и с огромным усилием удерживать его там: он вырывался как бешеный и орал истошным голосом:

— Атитись атипока! Не люпу оту. (Отвяжись ради бога! Не люблю воду.)

В это утро он отбивался с невиданным ожесточением. От чана, стоявшего на мощеном дворе под апрельским солнцем, поднимался пар. Я схватил Момо под мышку, а Мену стащила с него штаны вместе с трусами. Едва его ступни снова коснулись земли, он с такой силой лягнул меня, что я растянулся во весь рост. А сам в чем мать родила бросился наутек, с поразительной быстротой перебирая худущими ногами. Сбежав вниз по склону, он кинулся к одному из дубов, обступивших луговину, подпрыгнул, уцепился руками за ветку, подтянулся и проворно начал взбираться вверх, все выше, и вскоре стал недосягаем.

Я уже был одет, да и меньше всего был настроен затевать сейчас идиотскую погоню, прыгая за Момо с дерева на дерево. Тут подоспела запыхавшаяся Мену. Оставалось только приступить к переговорам. Хотя я был на шесть лет моложе Момо, он, видимо, считал меня двойником дяди и слушался почти как родителя.

Однако я ничего не смог добиться. Передо мной была непробиваемая стена. Момо не кричал, как обычно: «Отвяжитесь ради бога». Он помалкивал. Только смотрел на меня с высоты, жалобно подвывая, и его черные глазки поблескивали среди нежной весенней листвы.

Что бы я ни говорил, в ответ мне неслось: «Неду!» (Не пойду.) Момо не вопил, как обычно, он твердил эту фразу совсем тихо, но очень решительно и движением головы, туловища, рук достаточно красноречиво подтверждал свой отказ. Но я продолжал упорствовать!

— Послушай, Момо, ну будь же умником! Тебе надо помыться, ведь ты идешь в церковь (я сознательно говорю «церковь», потому что слово «храм» ему непонятно).

— Неду!

— Ты не хочешь идти в церковь?

— Неду! Неду!

— Но почему? Ведь ты всегда любил ходить в церковь.

Он сидит на толстой ветке, непрестанно двигает перед собой руками и грустными глазами смотрит на меня сквозь мелкие, будто покрытые лаком, листочки дуба. Все. Мне ничего не добиться, кроме этого скорбного взгляда.

— Придется его оставить тут,— говорит Мену, она притащила с собой одежду сына и теперь раскладывает ее у подножья дуба.— Он все равно не спустится, пока мы не уйдем.

И, повернувшись, она уже карабкается вверх по склону холма. Я бросаю взгляд на часы. Время не терпит. Впереди долгая официальная церемония, не имеющая ничего общего с теми чувствами, какие я сейчас испытываю. Момо прав. Если бы я мог, как и он, забравшись на дерево, повыть там, вместо того чтобы со своими безутешными сестрицами участвовать в этом гротескном действе, демонстрирующем сыновнюю любовь.

Я тоже поднимаюсь вверх по косогору. Сегодня он кажется мне необыкновенно крутым. Я иду, глядя себе под ноги, и вдруг с удивлением замечаю, что весь склон покрыт ярко-зелеными пучками молодой травы. Только что проклюнувшись, она необыкновенно подалась за эти несколько солнечных дней. У меня проносится мысль, что меньше чем через месяц нам с дядей придется косить эту луговину.

Обычно при этой мысли у меня всегда весело на душе, и странная штука — я чувствую и сейчас, как во мне начинает подниматься радость. И вдруг словно обухом по голове. Я останавливаюсь как вкопанный. И накипевшие слезы ручьями текут по моим щекам.

ГЛАВА II

Затем события начали развиваться в стремительном темпе. Следующую веху придется поставить совсем рядом. Спустя год после несчастного случая. Однажды из Ла-Рока мне позвонил мсье Гайяк и попросил заглянуть к нему в контору.

Когда в назначенный день и час я приехал туда, нотариуса еще не было и старший клерк проводил меня в его пустой кабинет. Получив любезное предложение «немного

отдохнуть», пока не придет шеф, я уселся в одно из тех кожаных кресел, где до меня томилось столько человеческих тел, объятых страхом чего-то лишиться.

Убитое время. Бесплодные минуты. Я обвел глазами комнату, ее обстановка действовала угнетающе. Вся стена позади письменного стола мсье Гайяка состояла из выдвижных ящичков, набитых завещаниями покойных. Она удивительно напоминала ячейки колумбария, где хранятся урны с прахом. Ох уж эта человеческая мания — все раскладывать по полочкам. Темно-зеленые шторы на окнах, зеленой тканью обтянуты стены, в зеленый цвет выкрашены выдвижные ящички, и зеленой кожей обит верх письменного стола. На этом столе, рядом с монументальной чернильницей из фальшивого золота, помещалась довольно зловещая вещица, и я как зачарованный не мог отвести от нее глаз: мертвая мышь, вделанная в кусок прозрачного, как стекло, пластика. Видимо, мышь тоже подверглась классификации.

Мне подумалось, что ее, вероятно, поймали на месте преступления, в момент, когда она вгрызалась в угол какого-нибудь досье, и, вынеся ей смертный приговор, заключили в этот пластик. Наклонившись к столу, я взял в руки мышку вместе с ее одиночной камерой. Она оказалась довольно тяжелой. И тут я вдруг вспомнил, что лет тридцать назад, когда вместе с дядей я как-то заезжал к нотариусу, отец нынешнего мсье Гайяка пользовался этой штуковиной в качестве пресс-папье. Я смотрел на этого мелкого грызуна, обреченного на вечность. Когда мсье Гайяк-сын в свою очередь уйдет на покой, он завещает мышь вместе с ящиками колумбария и целым кладбищем папок на чердаке своему сыну. При мысли об этих нотариусах, передающих из поколения в поколение дохлую мышь, мне стало как-то невесело. Не знаю отчего, но на меня так и повеяло смертью.

Но вот входит мсье Гайяк-сын. Темноволосый, долговязый, цвет лица желтоватый, довольно сильная проседь. Он с несколько утомительной галантностью встречает меня. Затем, повернувшись спиной, выдвигает один из ящичков, извлекает оттуда папку, из папки — запечатанный сургучной печатью конверт и, прежде чем передать мне, вялым движением пальцев, стараясь сделать это незаметно, ощупывает его — видимо, нотариуса смущает невесомость конверта.

— Вот, мсье Конт.

А затем своим бесцветным голосом пускается в пространные комментарии, кстати абсолютно бесполезные, ведь я уже успел прочесть, что́ написано на конверте дядиным почерком, с нажимом на каждую букву:

«Передать моему племяннику Эммануэлю Конту через год после моей смерти, если он, на что я надеюсь, будет это время заниматься хозяйством на ферме «Семь Буков».

Я не сразу вернулся домой, мне пришлось в городе заезжать еще по разным делам. И весь день письмо дяди пролежало нераспечатанным в кармане моего пиджака.

Я прочел его вечером, после ужина, закрывшись в маленьком дядином кабинетике на мансарде в «Семи Буках». У меня слегка дрожали пальцы, когда я вскрывал конверт подаренным мне дядей ножом для разрезания бумаги в форме кинжала.

Эммануэль!

Сегодня вечером, сам не пойму почему, ведь я чувствую себя вполне здоровым, я все думаю о смерти и вот решил написать это письмо. Мне даже чудно представить, что, когда ты его прочтешь, меня уже не будет и ты вместо меня станешь заниматься лошадьми. Говорят, двум смертям не бывать, а одной не миновать. По-моему, глупо говорят, мне и одна ни к чему.

Я оставляю тебе в наследство не только «Семь Буков», но также свою Библию и десятитомный словарь Ларусса.

Я знаю, что ты теперь неверующий (но кто виноват в этом?), и все же читай иногда Библию в память обо мне. В этой книге не надо обращать внимания на нравы, главное в ней — мудрость.

При моей жизни никто, кроме меня, не открывал словарь Ларусса. Когда ты откроешь его, ты поймешь почему.

Еще, Эммануэль, хочу тебе сказать, что без тебя моя жизнь была бы пустой, ты мне доставил столько радости.

Вспомни день твоего побега из дома, когда я пришел за тобой в Мальвиль.

Обнимаю тебя,

Самюэль.

Я прочел и перечел это письмо. Дядино великодушие заставило меня устыдиться. Всю жизнь я что-то получал от него, и теперь он же меня еще благодарит. От его слов:

«ты мне доставил столько радости» у меня защемило сердце. Может, и не очень ловкая фраза, но за этими словами я почувствовал такую любовь к себе, что не знал, как и оправдать ее.

Я в третий раз перечитал письмо, и теперь мой взгляд царапнула фраза «но кто виноват в этом?». Я узнал вечную дядину манеру говорить намеками. Он предоставлял мне возможность самому подставить недостающие слова. Виноват ли отец, принявший «дурную веру»? Или поразительная душевная скудость моей матери? Или аббат Леба, этот инквизитор плоти?

Я подумал также: чего это ради дядя намекает на свой тогдашний приход в штаб-квартиру Братства, в Мальвиль? Для того ли, чтобы назвать один из тех дней, доставивших ему много радости, или за этим кроется что-то более значительное, о чем он не хотел сказать прямо? Мне слишком хорошо была знакома дядина манера выражаться уклончиво, чтобы сразу же решиться ответить на этот вопрос.

Достав из кармана огромную связку дядиных ключей, я без труда отыскал среди них ключ от дубового шкафа, так хорошо мне знакомый. Ключ был плоский, с зубчатой бородкой, он вставлялся в хитроумный замок, запирающий дверку на вертикальный металлический засов, скрепляющий верх и низ шкафа. Я открыл его и там на полках, до отказа набитых папками, обнаружил стоящие в один ряд словарь Ларусса и Библию — всего четырнадцать томов, так как Библия оказалась в роскошном издании: в переплете из коричневой тисненой кожи, в четырех томах. Я выложил все четыре тома на стол и перелистал их один за другим. Меня потрясли иллюстрации к ней. Они были исполнены подлинного величия.

Художник меньше всего заботился о том, чтобы приукрасить персонажей Священной истории. В его изображении они скорее напоминали свирепых и диких вождей древних племен. При взгляде на этих костлявых, худых, босоногих людей казалось, что от них исходит запах бараньего жира, верблюжьего навоза и песков пустыни. Они жили напряженной, суровой жизнью. И сам господь бог в представлении художника не слишком отличался от этих грубых кочевников, исчисляющих свои богатства количеством голов детей и скота. Он только был более могуч и еще более жесток. Достаточно было на него взглянуть,

чтобы понять: он и впрямь создал этих людей «по своему образу и подобию». Если только, конечно, не наоборот.

На последней странице Библии я обнаружил написанный карандашом дядиной рукой длинный список слов, который меня сразу же заинтриговал. Назову десять первых: алкалоид, анестезия, аркебуза, архаика, ареопаг, баобаб, барокамера, блицкриг, блокгауз, буланжеризм.

Мне сразу бросилось в глаза, что слова были отобраны явно искусственно, хотя, вероятно, с каким-то расчетом. Я взял первый том Ларусса и открыл его на слове «ареопаг», и там между двух листков я обнаружил прикрепленную двумя кусочками скотча к середине страницы акцию достоинством в 10 000 франков. Другие акции — разного достоинства были размещены во всех десяти томах Ларусса на страничках с редкими словами, указанными в списке, составленном дядей.

Общая сумма —315 000 франков — удивила меня, но отнюдь не потрясла. Должен отметить, что посмертный дар дяди ни на минуту не заставил меня почувствовать себя собственником. Напротив, у меня возникло ощущение, что капитал, как прежде и хозяйство «Семи Буков», вручен мне на хранение и я обязан отчитываться в нем дяде.

Мое решение было принято настолько быстро, что я даже подозреваю, не созрело ли оно во мне еще до моей находки. И я тут же приступил к его осуществлению. Помню, я взглянул на часы и, увидев, что стрелка показывает половину десятого, испытал почти детскую радость оттого, что звонить еще не поздно. В дядиной записной книжке я отыскал номер телефона Гримо и тут же ему позвонил.

— Мсье Гримо?

— Он самый.

— С вами говорит Эммануэль Конт, бывший директор школы в Мальжаке.

— Чем могу служить, господин директор? — Голос звучал доброжелательно, почти сердечно, на это я меньше всего рассчитывал.

— Я хотел бы задать вам один вопрос, с вашего разрешения. Замок Мальвиль все еще продается?

Молчание, затем тот же голос, ставший вдруг осторожным и сухим, процедил:

— Насколько мне известно, да.

Теперь замолчал я. И Гримо пришлось первым нарушить молчание.

— Скажите, пожалуйста, господин директор, владелец «Семи Буков» Самюэль Конт — ваш родственник?

Я ждал этого вопроса и был готов к нему:

— Я его родной племянник, но я не знал, что дядя был с вами знаком.

— Представьте себе,— ответил Гримо все тем же колючим, настороженным тоном.— Это он дал вам номер моего телефона?

— Его уже нет в живых.

— Вот не знал,— совсем другим голосом проговорил Гримо.

Я молчал, чтобы он мог высказать свои соболезнования и сожаления, но он не добавил ни слова. Тогда снова заговорил я:

— Мсье Гримо, когда мы смогли бы с вами увидеться?

— Когда вам будет угодно, господин директор.— И голос его вновь обрел свою первоначальную сердечность. — Может, завтра до обеда?

Он даже не стал притворяться, что сильно занят.

— Приезжайте, когда вам угодно, я всегда на месте.

— В таком случае в одиннадцать.

— Пожалуйста, если вас устраивает, господин директор, я в вашем распоряжении. Приезжайте, если хотите, в одиннадцать.

Он стал вдруг настолько предупредителен и вежлив, что понадобилось целых пять минут, чтобы закончить разговор, суть которого была исчерпана в двух словах.

Я положил трубку, взглянул на красные шторы, закрывавшие окно в кабинете дяди. Меня раздирали противоречивые чувства: я был счастлив, что решился на этот шаг, и взволнован огромностью задачи, которую взваливал на свои плечи.

Владелец замка был далеко, его поверенный в делах не отличался излишней щепетильностью, а напористый покупатель действовал весьма решительно, в результате через неделю в Мальвиле появился новый хозяин. Шесть лет, последовавших за этим событием, прошли в непрестанном труде.

Я начал наступление сразу по всему фронту: продолжал разводить лошадей в «Семи Буках», в Мальвиле распахивал целинные земли и реставрировал замок. Мне было

тридцать пять лет, когда я взялся за освоение Мальвиля, и стукнуло уже сорок один, когда работа была успешно завершена.

Я вставал чуть свет, ложился за полночь и сетовал только на то, что мне дана всего одна жизнь: я отдал бы и несколько, чтобы осуществить все задуманное. Мальвиль стал моей страстью, моей усладой, вознаграждением за мой исступленный труд. У банкиров Второй империи были танцовщицы. Мне их заменял Мальвиль. Впрочем, была и у меня своя танцовщица, но о ней чуть дальше.

Надо сказать, что приобретение Мальвиля вовсе не было какой-то блажью, для меня это становилось насущной необходимостью, коль скоро я собирался расширить дядино дело; семейные неурядицы вынудили меня продать «Большую Ригу» и выплатить сестрам их долю наследства деньгами. В «Семи Буках» мне просто негде было развернуться, поголовье лошадей непрерывно росло: одних я разводил на ферме, других покупал, чтобы потом перепродать, третьих брал на пансион. В мои намерения входило, купив Мальвиль, разделить свою кавалерию: часть лошадей разместить в конюшнях замка — причем мы с Момо и Мену должны будем переехать в Мальвиль,— другую часть, под присмотром Жермена, моего конюха, оставить в «Семи Буках».

Таким образом, реставрация Мальвиля совсем не явилась актом бескорыстного спасения шедевра феодальной архитектуры.

К тому же, несмотря на свою привязанность к Мальвилю, я могу совершенно безболезненно для своего самолюбия признать, что при всей мощи и внушительности стен мой замок отнюдь не отличался особой красотой. В этом он, безусловно, уступал другим средневековым замкам нашего края, с их идеально выдержанными пропорциями, плавными контурами, которые так гармонично вписывались в окружающий пейзаж.

А пейзаж наш и впрямь восхитителен, в нем все радует глаз: и быстрые светлые речки, и луга на отлогих склонах, и зеленые перекаты холмов, увенчанные каштановыми рощами. И среди этих волнистых и мягких линий вдруг откуда ни возьмись вздымает свои стены к небу угловатый и суровый Мальвиль.

Он воздвигнут на берегу Рюны (некогда, в средние века, она, вероятно, была широкой и полноводной рекой),

на уступе отвесной скалы, которая нависает над ним всей своей громадой с севера. Эта скала в полном смысле слова неприступна со всех сторон. И я уверен, что пришлось возводить искусственную насыпь для сооружения единственной дороги, ведущей к каменистой площадке уступа, где задумано было построить укрепленный замок с примыкающим к нему городищем.

На противоположном берегу Рюны, как раз против Мальвиля, возвышался другой замок — Рузи, тоже феодальная крепость, но крепость изящная, ее удачно расположенные невысокие круглые башни, где даже галереи с бойницами казались кружевным орнаментом, ласкали глаз и не только защищали, но и украшали замок.

Стоило взглянуть на Рузи, как сразу становилось ясным, что Мальвиль — чужак в этих краях. Хотя камни, из которого сложены его стены, были добыты в местных карьерах, но его архитектурный стиль явно вывезен издалека. Мальвиль — английский замок. Он был построен захватчиками-англичанами во время Столетней войны и служил пристанищем Черному принцу.

Можно представить себе, как понравился этот солнечный край англичанам, вырвавшимся из своих туманов, и как им пришлись по душе его виноградные вина и темноволосые девушки. Всеми силами они старались удержаться на нашей земле. Это чувствуется и в архитектуре Мальвиля. Мальвиль был задуман и построен англичанами как замок-крепость: укрывшись за его неприступными стенами, горсточка вооруженных захватчиков могла держать в повиновении весь обширный край.

Тут нет и в помине изящества и плавных линий. Тут все подчинено строгой необходимости. Взять хотя бы въезд в крепость. В замок Рузи ведет сводчатая, изящно выгнутая арка безупречных пропорций, с прелестными круглыми башенками по обеим сторонам.

В Мальвиле англичане просто-напросто сделали в зубчатой стене ворота, а рядом возвели прямоугольную трехэтажную башню, высокие голые стены которой сплошь продырявлены длинными бойницами. Все здесь добротно, все угловато, но в оборонном отношении, я в этом уверен, очень эффективно. Крепостную стену со всеми въездными сооружениями они окружили защитным водяным рвом, выбитым в скале, он был по крайней мере раза в два шире, чем в соседнем замке Рузи.

Миновав крепостные ворота, вы не сразу попадаете к замку, сначала вы окажетесь во внешнем дворе размером пятьдесят на тридцать метров, где когда-то располагался город. В этом таился хитрый смысл: замок брал на себя обязательство защищать город, но город принимал на себя первый удар. Враг, взявший приступом крепостные ворота и первый пояс укреплений, должен был теперь вести неверный бой среди тесных улочек города.

Если он одерживал победу и в этом бою, трудности тем не менее не кончались. Перед ним вырастал второй пояс укреплений, который, как и первый, тянулся от нависавшей на севере скалы до отвесного склона и защищал — да и сейчас защищает — самый замок.

Эта зубчатая стена с бойницами гораздо выше первой, и водяной ров вокруг нее куда глубже. Кроме того, осаждающие встречали здесь дополнительное препятствие — подъемный мост, над которым возвышалась маленькая квадратная башенка, тогда как через первый ров шел обычный перекидной мост.

Эта квадратная башенка была не лишена изящества, но, как мне кажется, английские зодчие здесь ни при чем. Просто необходимо было построить помещение для механизмов, приводящих в действие подъемный мост. А с пропорциями им повезло: они оказались выдержаны.

Когда опускают подъемный мост, по левую руку от него, подавляя исполинской мощью своих стен, выступает главная башня замка — великолепный сорокаметровый квадратный донжон, сбоку к нему примыкает еще одна, тоже квадратная башня. Эта башня имеет не только оборонительное значение, она снабжает замок водой. Устроенный в ней колодец питается бьющим из скалы источником, излишек воды — здесь ничего не пропадает зря — переливается в защитные рвы.

Справа от моста — каменные ступени, ведущие в тот самый огромный подвал, который в свое время соблазнил моего дядю, а прямо против моста, в центре внутреннего двора, под углом к донжону расположено красивое двухэтажное строение, приятная неожиданность среди всей этой пуританской строгости, к нему примыкает такая же очаровательная круглая башенка с винтовой лестницей внутри. Во времена Черного принца этого замка не было. Его построил гораздо позже, в эпоху Ренессанса, во времена несравненно более мирные, какой-то фран-

цузский феодал. Но мне пришлось сменить в нем венцы и почти полностью реставрировать тяжелую крышу, крытую плоским камнем, и то и другое оказалось гораздо менее устойчивым ко времени, чем каменный свод донжона.

Таков Мальвиль, с ног до головы английский замок, угловатый и суровый. И я его люблю таким.

Кроме того, и для дяди, и для меня в детстве, в Мальвиле таилась особая притягательная сила еще из-за того, что во времена религиозных войн он служил убежищем одному капитану-гугеноту, который, укрывшись в нем со своими единоверцами, до последнего вздоха сдерживал мощный натиск солдат Лиги. Этот капитан, так яростно отстаивавший свои принципы и независимость перед лицом власти, был первым идеальным героем моего детства, которому мне хотелось подражать.

Я уже говорил, что от города во внешнем дворе остались одни камни. Этих камней и сейчас еще целые груды — они очень пригодились мне во время строительных работ. Именно из них к южной крепостной стене были сделаны пристройки, защищающие отвесный склон — хотя он и сам по себе был прекрасно защищен,— а к северной стене, к скале,— стойла для лошадей.

Почти в самом центре внешнего двора в скале имелся вход в довольно глубокую и обширную пещеру, когда-то в ней были обнаружены следы поселения древнего человека, не столь значительные, чтобы считать пещеру памятником доисторической цивилизации, но явно свидетельствующие о том, что еще за тысячелетия до того, как был построен замок, Мальвиль уже служил убежищем человеку.

Мне в хозяйстве пригодилась и эта пещера. Дощатый помост разделил ее на два этажа, наверху я разместил основные запасы сена, а внизу устроил стойла для скота, который по каким-либо причинам находил нужным изолировать, сюда помещали какую-нибудь норовистую лошадь, вдруг задурившего быка, только что опоросившуюся свинью, кобылицу или корову, готовящихся разрешиться от бремени.

Поскольку будущие матери составляли основной контингент обитательниц этих стойл, прохладных, хорошо проветриваемых, где их не беспокоили слепни, Биргитта — я расскажу о ней попозже,— которую невозможно было

даже заподозрить в зачатках остроумия, прозвала эти помещения Родилкой.

При реставрации донжона, этого шедевра английской основательности, мне пришлось только обновить перекрытия и переделать бойницы, пробитые уже французами в более позднюю эпоху, на окна в свинцовых переплетах. На всех трех этажах донжона — на первом, втором и третьем — планировка была одна и та же: два небольших зала по двадцать пять квадратных метров выходили на огромную площадку (десять на десять). На первом этаже я оборудовал котельную и кладовые. На втором этаже поместил ванную и спальню, на третьем — две спальни.

Я выбрал себе спальню-кабинет на третьем этаже — уж очень живописный вид на долину Рюны открывался из ее окон, выходящих на восток, и, хотя это было довольно неудобно, ванную пришлось устроить на втором этаже, как раз в той комнате, где когда-то проходили сборища нашего Братства. Колен, компетентный в подобных делах, уверял меня, что вода, которая собирается в квадратной башенке, не сможет подняться до третьего этажа просто из-за слабого напора, а слушать в Мальвиле истошное гудение электронасоса мне не хотелось.

И вот летом 1976 года на третьем этаже донжона в соседней со мной комнате я поселил Биргитту. Это предпоследняя веха моей жизни, и как часто ночами, лежа без сна, я мысленно тянусь к ней памятью.

Несколько лет назад Биргитта работала у дяди в «Семи Буках», и вдруг на Пасху 1976 года я получил от нее письмо, где она довольно навязчиво предлагала мне свои услуги на июль и август месяцы.

Для начала хочу здесь заметить, что по природе своей, как мне кажется, я создан добрым семьянином, способным преданно любить свою нежную подругу. И тем не менее в этом плане я не преуспел. Возможно, тут сыграло роль и то обстоятельство, что в семьях, которые я наблюдал в детстве — я имею в виду своих родителей и семью дяди,— отношения между супругами были слишком далеки от совершенства. Но так или иначе трижды в жизни у меня была реальная возможность жениться, и каждый раз в конце концов что-то не слаживалось. В двух первых случаях по моей вине, а в третий раз, в 1974 году, все рухнуло по вине моей избранницы.

1974 год — это тоже веха, но я вырвал ее из своей памяти. Моя последняя пассия — это коварное создание — надолго отвратила меня от женщин вообще, и даже сейчас мне не хотелось бы вспоминать о ней.

Короче говоря, уже в течение двух лет я вел монашеский образ жизни, когда в Мальвиле вдруг появилась Биргитта. Не то чтобы я влюбился в нее. Нет! Тут было совсем другое. К тому времени мне уже исполнилось 42 года, и у меня был слишком богатый и в то же время слишком печальный опыт, чтобы поддаться на подобные чувства. Но именно потому, что в наших отношениях с Биргиттой не могло быть и речи о высоких чувствах, они пошли мне на пользу. Не знаю, кому принадлежат слова, что чувственная страсть может излечить душу. Но я верю в это, поскольку сам испытал.

Я меньше всего рассчитывал на этот курс лечения, когда получил письмо от Биргитты, хотя бы потому, что в ее прошлый приезд в «Семь Буков», когда я попытался приударить за ней, меня быстро поставили на место. Я не стал упорствовать, поскольку понял, что веду охоту во владениях дяди. Тем не менее, когда она написала мне на Пасху 1976 года, я ответил, что жду ее. Для дела она была незаменима. Первоклассная объездчица: терпеливая и методичная, она к тому же великолепно «чувствовала» лошадь.

Должен сказать, что я был немало удивлен, когда за первым же обедом она начала отчаянно со мной кокетничать. Ее заигрывания были настолько явными, что их заметил даже Момо. Он был так потрясен, что забыл открыть, как обычно, окно и подозвать ласковым посвистыванием свою любимицу кобылу Красотку, а когда Мену, убирая со стола, прошипела на местном диалекте: «Сперва был дядюшка, а теперь принялась за племянничка», он, придя в дикий восторг, завопил: «Астигася, Мамуэль!» (Остерегайся, Эмманюэль.)

Биргитта, баварская немка, была высокой девицей с копной золотистых волос, уложенных короной на голове, ее маленькие бесцветные глазки и слишком тяжелый подбородок делали ее лицо мало привлекательным. Но тело ее было великолепно — упругое, гибкое, сильное. Она сидела за столом напротив меня и ничуть не выглядела утомленной после долгого пути, розовая и свежая, будто только что пробудилась от сна. Поглощая один за другим громад-

ные куски ветчины, она заодно пожирала глазами и меня. Она подстрекала меня улыбками, взглядами, вздохами, особой манерой потягиваться всем телом или катать на столе шарики из хлебного мякиша.

Помня, как грубо она осадила меня в прошлый приезд, я не знал, что и подумать, вернее, боялся слишком прямолинейных выводов. Зато старая Мену, лишенная всех этих деликатных соображений, в конце обеда, отправляя в тарелку Биргитты увесистый кусок пирога, с непроницаемым лицом буркнула на местном диалекте и даже бровью не повела: «Ну вот, клетку присмотрела, теперь стреляет в сокола».

На следующее утро я встретил Биргитту в Родилке, она сбрасывала в люк охапки сена. Я подошел и, не говоря ни слова, обнял ее — мы были с ней одного роста — и тут же устремился на завоевание могучих форм этого монументального воплощения арийского здоровья. Она с неожиданным для меня пылом ответила на мои ласки, а ведь я считал ее корыстной.

Она, конечно, такой и была, но сразу в двух планах. Я было уже расширил сферу своего наступления, но тут меня вспугнул Момо, который, с удивлением заметив, что к нему вниз больше не летит сено, подставил лесенку, высунул в люк свою косматую голову и дико загоготал, выкрикивая: «Астигася, Мамуэль!» И тут же исчез, я услышал его удаляющийся топот, вероятно, он побежал во въездную башню рассказать матери, какой оборот принимают события.

Биргитта поднялась с сена, куда я ее повалил, и, сверкнув в мою сторону холодными маленькими глазками, произнесла на своем тяжеловесном, хотя и правильном французском языке:

— Я никогда не отдамся человеку, который имеет такие взгляды на брак, как вы.

— У дяди были точно такие же взгляды,— отпарировал я, едва оправившись от удивления.

— Это совсем другое дело,— стыдливо отвернувшись, промолвила Биргитта.— Он был уже старенький.

Так, значит, с ее точки зрения, я в том возрасте, когда еще могу жениться на ней. Я посмотрел на Биргитту, ее простодушие меня ужасно забавляло.

— Я не собираюсь жениться,— твердо заявил я.

— А я не собираюсь отдаваться вам.

Крыть мне было нечем. Но чтобы показать ей, как мало я придаю значения всей этой словесной ерунде, я снова принялся ее ласкать. Лицо ее мгновенно смягчилось, и она не противилась мне.

В последующие дни я не пытался больше ее уговаривать, но всякий раз, когда она оказывалась в пределах досягаемости, я не упускал случая пустить в ход руки, и надо полагать, что отвращения это у нее не вызывало, так как подобных случаев становилось все больше. И тем не менее ей понадобилось добрых три недели, чтобы смириться с провалом своего плана № 1 и ограничиться планом № 2. И даже тогда это не превратилось в беспорядочное отступление, она уступала методически, строго по расписанию, в соответствии с намеченным планом.

Однажды вечером, когда я заглянул к ней в комнату — у нас уже дошло до этого,— она мне сказала:

— Завтра, Эмманюэль, я тебе отдамся.

— Но почему не сейчас?

Биргитта не предвидела такого оборота дела и была явно захвачена врасплох, на минуту она, видимо, даже заколебалась в своем решении.

Но верность плану победила.

— Завтра,— сказала она твердо.

— В котором точно часу? — насмешливо осведомился я.

Но моя ирония не дошла до Биргитты. И она вполне серьезно ответила:

— После обеда.

С той самой сиесты (это случилось в июле 1976 года, помню, стояла страшная жара) я поселил Биргитту в комнате рядом с моей спальней.

Биргитта была в восторге от этого соседства. Она приходила ко мне в постель по утрам — на заре, в два часа дня — во время послеобеденного отдыха, и по вечерам, и тогда оставалась допоздна. Я всегда был рад ее приходу, но в те дни, когда она бывала нездорова, я испытывал даже некоторое облегчение: можно было наконец всласть отоспаться.

Меня подкупала в Биргитте ее полнейшая естественность. Она требовала наслаждения, как ребенок пирожного. И, получив его, вежливо меня благодарила. Она без конца твердила, что мои ласки доставляют ей какое-то особое удовольствие. («Ах, Эмманюэль, что у тебя за

руки!») Честно говоря, я не видел оснований для таких восторгов, так как сверх обычного я с ней ничего не делал, а тискать молодое тело кому ума недоставало.

Кроме того, самым отрезвляющим образом на меня действовало то, что, как я понимал, для Биргитты во мне существовали только мои руки, мужская сила и мой бумажник. Я говорю о бумажнике потому, что каждый раз, как мы с ней попадали в город, она замирала у витрин с разными «финтифлюшками», как называл их мой дядя, и ее маленькие поросячьи глазки расширялись от вожделения, когда она мне показывала на выбранную ею вещь.

Даже самые простые люди не так уж просты, как кажутся. Биргитта, не отличаясь умом, сумела разгадать мой характер и, не будучи натурой тонкой, обладала совсем неплохим вкусом. С безошибочной интуицией она угадывала, где следует остановиться в своих притязаниях, а купленные ею вещи никогда не вызывали у меня раздражения.

Поначалу я временами задумывался над ее нравственной сущностью. Но очень скоро я понял, что мои раздумья беспредметны. Биргитта не была ни доброй, ни злой. Просто она была. И этого вполне достаточно. Она устраивала меня сразу в двух планах: когда я сжимал ее в своих объятиях и когда я покидал ее, поскольку я тут же забывал о ее существовании.

Август близился к концу, и я предложил Биргитте остаться еще на недельку. К моему удивлению, она отказалась.

— У меня же родители...— сказала она.

— Да тебе на них наплевать.

— Это почему же?— спросила она, оскорбленная.

— Да ты им ни разу не написала.

— Просто я большая лентяйка на письма.

Будущее показало, что на письма она была совсем не лентяйка. Но просто намеченная дата — есть намеченная дата. И план есть план. Отъезд был назначен на 31 августа.

В последние дни Биргитта скисла. Ее в Мальвиле хорошо приняли. Парнишка, работавший с ней в паре, угождал ей во всем. Оба рабочих, особенно Жермен, были в полном восторге от ее габаритов. Момо, засунув руки в карманы, исходил слюной, глядя на нее.

И даже Мену, если отбросить в сторону ее скорее принципиальное, нежели органическое отвращение к сексуальной распущенности, питала к ней уважение.

— До чего же здорова девка,— говорила она.— А в работе — прямо зверь.

Да и Биргитте житье у нас пришлось по вкусу. Ей нравилось и наше жаркое южное солнце, и наша кухня, и бургундские вина, и «финтифлюшки», и мои ласки. Я сознательно упоминаю о себе в последнюю очередь, так как совершенно не представляю, какое место в иерархии этих приятных для нее вещей занимал я. Ясно одно, что все это, вместе взятое, отнюдь не заглушило в ней голоса здравого смысла и рассудительности. Что значат все радости французского рая по сравнению с тем, что сулит ее немецкое будущее? Ведь где-то там какой-то доктор каких-то наук рано или поздно предложит ей руку и сердце.

Двадцать восьмое августа пришлось на воскресенье, и Биргитта, которая не принадлежала к тем женщинам, что откладывают сборы до последней минуты, начала не спеша укладывать вещи и готовиться к отъезду. И тут ее охватила паника: она поняла, что в ее чемоданах не хватит места, чтобы затолкать туда все мои щедрые дары. В воскресенье и понедельник магазины закрыты. Придется ждать до вторника, то есть волей-неволей она все-таки дотянет — и для нее это было кошмарно — до пресловутой «последней минуты».

Я извлек ее из бездны отчаяния, предложив воспользоваться одним из моих чемоданов. По ее настоятельной просьбе я накатал для нее на клочке желтой оберточной бумаги, попавшейся мне в эту минуту под руку, те нежные слова, что я шептал ей накануне вечером в ресторане, с подробным описанием ласк, ждущих ее по возвращении в Мальвиль. Исполнив сей труд, я передал листок Биргитте. И хотя литературные достоинства этой писанины были весьма сомнительны, Биргитта блестящими глазами пожирала мои слова и ланиты ее пылали. Она мне обещала, вернувшись в Германию, перечитывать их каждую неделю на сон грядущий.

Мне бы и в голову не пришло требовать от нее подобного. Она обещает мне это по собственной инициативе, заливаясь слезами, и бережно убирает желтый листочек в чемодан, приобщая его к остальным трофеям, полученным в Мальвиле.

Биргитте не удалось приехать на Рождество, я даже не подозревал, что это может меня так расстроить. Ведь для меня Рождество и так не слишком радостный день. Пейсу, Колен и Мейсонье весело праздновали его в семейном кругу. А я оставался один среди своих лошадей. И кроме того, зимой Мальвиль, несмотря на комфорт, созданный там моими стараниями, уж никак не назовешь уютным гнездышком. Хотя какой-нибудь влюбленной парочке, может быть, и не было бы зябко за его могучими стенами, и они нашли бы все вокруг весьма романтичным.

Я и словом не обмолвился о своем настроении, но Мену сразу же все почуяла, и утром, а оно выдалось студеным и вьюжным, за рождественским столом, моя неприкаянная, холостяцкая жизнь стала предметом одного из тех нескончаемо нудных монологов, которые теперь, после смерти дяди, видимо, в качестве его наследника приходилось выслушивать мне.

Сколько возможностей я упустил! Взять хотя бы Аньес. Вот как раз сегодня она встретила ее в лавке у Аделаиды, Аньес приехала на праздники в Мальжак к родителям, и даже сейчас — а ведь она уж давным-давно замужем за своим книготорговцем из Ла-Рока — она с таким интересом все выпытывает обо мне. И до чего же Аньес крепкая девушка, очень бы она мне подошла.

В конце концов, нельзя уж так на все махнуть рукой. Ведь представлялись и другие случаи. Да и сейчас, взгляни, сколько хороших девушек в Мальжаке. И я бы мог, несмотря на свой возраст, выбрать себе по вкусу, стоит только захотеть, ведь теперь я богат и собою еще мужчина видный, вот так и надо поступить: лучше жениться на девушке из своих краев, чем на какой-нибудь немке. Правда, в работе Биргитта не девка, а зверь, но все-таки немцы какие-то чудны́е, не сидится им спокойно на одном месте. Ведь они уже трижды лезли к нам. Если моя француженка и окажется чуть похуже этой немчуры, надо помнить, что женишься совсем не удовольствия ради, а чтобы обзавестись детьми. Ради чего так вкалывать, если некому будет даже оставить свой Мальвиль.

В последующие месяцы я хоть и не выбрал себе жены, но зато нашел друга. Ему было двадцать пять лет, и звали его Тома́ Ле Культр. Я повстречал его в лесу, неподалеку от «Семи Буков». Он сидел на корточках в перепачканных землей джинсах около огромного мотоцикла «хонда» и точ-

ными легкими ударами дробил молотком камень. Я узнал, что он пишет диссертацию о кремне. Я пригласил его посетить Мальвиль и раза два-три давал ему дядин счетчик Гейгера, а когда узнал, что его не слишком устраивает жизнь в семейном пансионе в Ла-Роке, предложил ему комнату в замке. Он согласился. И с тех пор остался жить у меня.

Тома привлекал меня строгостью ума и ясностью характера, хотя его страсть к булыжникам порой казалась мне загадочной. И еще мне нравилась его внешность: Тома был красив и, что самое замечательное, даже не догадывался об этом.

У него были правильные, как у греческой статуи, черты, а также строгое и спокойное, почти бесстрастное выражение лица.

* * *

Апрель 1977 года: последняя веха.

Теперь, вспоминая эти несколько недель счастливой жизни, еще остававшиеся на нашу долю, я не могу без чувства горькой иронии подумать, что дело, владевшее тогда всеми нашими помыслами, казавшееся нам чрезвычайно важным, дело, в которое мы вкладывали столько страсти и сил, наш великий всеобъемлющий замысел сводился к тому, чтобы ниспровергнуть на предстоящих выборах муниципалитет Мальжака (412 жителей) и самим занять места в мэрии. О, мы не преследовали никаких корыстных целей. Мы старались для общего блага!

В апреле — до выборов оставались считанные дни — мы жили как в лихорадке. 15-го или 16-го, во всяком случае, это было в воскресенье утром, я решил собрать оппозицию у себя в Мальвиле, в большой зале ренессансного замка, поскольку учитель мсье Пола́ счел неэтичным созывать нас под сводами вверенной ему школы.

Я только что закончил меблировку этой залы и сейчас, шагая из угла в угол в ожидании своих единомышленников, с удовольствием и гордостью разглядывал свое творение. В центре залы, в окружении дюжины стульев с высокими спинками, обитыми гобеленовой тканью, стоял восьмиметровый монастырский стол. Простенок между двумя окнами в свинцовых переплетах был весь увешан старинным холодным оружием. Вдоль противоположной стены

тянулась витрина с документами, относящимися к истории Мальвиля, по обе стороны от нее — пузатые комоды в стиле деревенской мебели эпохи Людовика XV . Я перевез их из «Большой Риги», Мейсонье заменил у них ножки и привел в порядок ящики, а его жена Матильда, не пожалев сил, до блеска надраила их. Темное ореховое дерево комодов, будто излучающее тепло, казалось мне восхитительным на фоне каменной, с золотистым отливом стены. Большие каменные плиты пола тоже сверкали, их только что вымыла Мену. И хотя косые лучи солнца проникали сквозь цветные квадратики окон, Мену, поплакавшись на то, «какой нынче стоит холод», разожгла жаркое пламя сразу в двух огромных каминах, расположенных друг против друга,— понимала старая, что пылающий в очаге огонь лишь придаст благородство убранству нашей парадной комнаты.

Я попросил Мену ударить в колокол въездной башни, как только она услышит, что машины моих приятелей остановились на стоянке перед внешней крепостной стеной. Момо, получив от меня строжайший наказ начать спуск подъемного моста, едва лишь наши гости появятся, сидел в башенке с подъемными механизмами, не сводя глаз с крепостных ворот.

Не спорю, во всех этих приготовлениях было нечто театральное. Но ведь и замок-то был необыкновенный, да и в гости я ждал не просто случайных знакомых.

Как только загудел колокол, я выбежал из залы и, перепрыгивая через две ступеньки, одним духом взлетел в квадратную башенку, где Момо уже старательно крутил во́рот. Все шло чудесно: с глухим надрывным грохотом хорошо смазанные цепи величаво и медленно опускали на землю опорные балки, к концам которых были прикреплены другие цепи, поддерживающие платформу моста. Целая система блоков и противовесов облегчала подъем моста и тормозила его спуск. Момо с исполненной важности физиономией, согнув в три погибели свое тощее тело, придерживал, как я его учил, рукоятку вала, чтобы мягко опустить мост на землю.

Через квадратное смотровое оконце я видел, как по внешнему двору крепости, устремив глаза вверх (метров пятьдесят отделяло их от защитного рва), шагали плечом к плечу трое моих приятелей. Они шли безмолвно и неторопливо, будто тоже включились в нашу игру.

Впрочем, в самом воздухе, казалось, было разлито торжественное ожидание чего-то. Это ощущение усиливалось еще оттого, что лошади на конюшне, как по команде, высунули морды из своих стойл, так что образовалась длинная ровная линия голов, и, с тревогой устремив прекрасные, печальные глаза к подъемному мосту, прядая ушами, прислушивались к скрежету цепей.

Как только площадка моста мягко опустилась на землю, я сбежал вниз, чтобы открыть моим друзьям ворота, вернее, маленькую дверцу в правой створке ворот.

— Вот это, я понимаю, встреча! — восклицает с улыбкой малыш Колен, и, как всегда, уголки его губ при этом ползут вверх и он с хитрецой поглядывает на меня живыми глазами.

Широкая физиономия верзилы Пейсу расплылась в блаженной улыбке, все тут вызывает у него восхищение: и размеры опорных балок, и могучие цепи, и добротность настила, обитого железом.

Мейсонье молчит. В его суровом сердце члена коммунистической партии нет места подобному ребячеству.

Пейсу тут же решает взобраться в квадратную башенку, он хочет сам поднять мост. Только он без всякой надобности напрягает свои мощные бицепсы, малыш Колен, на половине подъема отвоевавший у него ручку ворота, без малейшего усилия завершает эту операцию. Само собой, поднятый мост приходится вновь опустить. Ведь должен еще прийти мсье Пола. Но тут в дело энергично вмешивается Момо. Не желая уступать никому свои законные права, он вопит: «Отвяжитесь, ради бога». Мейсонье, следующий за нами, молчит, словно воды в рот набрал, ему, конечно, противен этот «реакционный» восторг перед феодальной архитектурой.

Как только мы уселись за длинный стол в зале, Пейсу тут же справляется: что новенького слышно о Биргитте? И когда мы снова увидим здесь нашу распрекрасную наездницу?

— На Пасху.

— На Пасху? — повторяет дылда Пейсу. — Не очень-то разрешай ей тогда мотаться одной на твоих клячах по лесу. А то ведь, если повстречаю ее, чикаться не стану — ты меня знаешь. Начну-то я, конечно, вежливо, обходительно, скажу: «Мадемуазель, лошадка-то у вас расковалась!» Она, ясное дело, удивится: «Быть того не мо-

жет!» — и прыг на землю. А я тут как тут: затащу ее в мох, прямо в сапогах.

— Смотри не повредись о шпоры,— замечает малыш Колен.

Все хохочут. Даже Мейсонье улыбается. Эта шуточка насчет Биргитты совсем не нова. Пейсу повторяет ее с небольшими вариациями каждый раз, как мы собираемся вместе. А ведь надо сказать, что Пейсу сейчас уже средних лет фермер, степенный, добропорядочный семьянин. Но он считает своим долгом оставаться верным тому образу, какой сложился у нас еще со времен Братства. И мы ему благодарны за эту верность.

Разговор становится серьезным, как только появляется мой преемник — новый директор школы — мсье Пола. Он одет во все черное, цвет лица у него нездоровый, щеки ввалились, а на лацкане пиджака академические пальмы. Его встречают очень вежливо, первое доказательство того, что его здесь не считают своим. Его резкое произношение настолько отличается от нашего юго-западного, что мы чувствуем себя даже как-то неловко, и уж совсем непривычно для нашего слуха звучит его сухая, невыразительная, лишенная всякого смака французская речь. А главное, мы прекрасно понимаем, что хотя он в принципе как будто бы присоединяется к нашим действиям, но, разговаривая с нами, облачается в броню из недомолвок и вечно у него что-то свое на уме. Например, он едва удостаивает рукопожатия Мейсонье. Мейсонье — член коммунистической партии и в качестве такового представляется мсье Пола воплощением дьявола. От него в любую минуту можно ожидать, что он того и гляди собьет с истинного пути своих союзников, помимо их воли, совратит их вольнолюбивую душу и ждет только победы своей партии, чтобы уничтожить их и физически. Колен, конечно, на его взгляд, человек порядочный, но простой водопроводчик, Пейсу вообще болван и деревенщина, а обо мне что и говорить-то: оставил пост директора школы и заделался коневодом!

— Господа, разрешите прежде всего от вашего имени, а также от себя лично поблагодарить мсье Конта за столь любезно оказанное нам гостеприимство. Тем более что я не счел себя вправе созвать наше совещание в стенах школы, находящейся в материальной зависимости от мэрии.

Довольный собой, он умолкает. Мы довольны куда меньше. Все в его маленькой речи показалось нам не-

уместным — и самый тон ее, и содержание. Мсье Пола забыл великий республиканский принцип: светская школа принадлежит всем. Поэтому слова его наводили на мысль, что, тайно поддерживая оппозицию, мсье Пола в то же время всячески старается сохранить наилучшие отношения с мэром.

Пока он говорил, я поглядывал на своих приятелей. Мейсонье сидел, склонив к столу свое острое, узкое лицо, и, хотя мне не был виден взгляд его близко посаженных глаз, я мог безошибочно сказать, что́ он в эту минуту думал о своем визави.

Пейсу — я это читал по его открытой симпатичной роже — был также не лучшего мнения об учителе. Мсье Пола не заблуждался на его счет, наш Пейсу и впрямь не отличался особым умом и к тому же не получил почти никакого образования. Зато он обладал качеством, на мой взгляд недоступным мсье Пола: в нем была особая чуткость, заменявшая тонкость ума. Тактика учителя — «чтобы волки были сыты и овцы целы» — не ускользнула от него, и, кроме того, он прекрасно понимал, с каким пренебрежением тот к нему относится. А в глазах Колена, когда я встречался с ним взглядом, вспыхивал огонек.

Наступила тягостная тишина, но ее значение не доходило до мсье Пола, и он снова взял слово:

— Мы собрались здесь, чтобы обсудить события, которые недавно имели место в Мальжаке, и выработать свою линию поведения в этой ситуации. Но прежде, мне кажется, было бы неплохо уточнить некоторые факты, я, например, слышал две версии, и мне бы хотелось внести полную ясность.

Таким образом, поставив себя над схваткой и заняв удобную роль арбитра, мсье Пола умолк, уступая другим честь запятнать себя, обвиняя мэра. По всей очевидности, этим другим был для него Мейсонье, на которого он многозначительно поглядывал, когда говорил, что хорошо бы уточнить факты, как будто «версия», исходящая от коммуниста Мейсонье, уже заранее должна была возбудить недоверие порядочного человека.

Мейсонье все это понял. Но он мыслил слишком прямолинейно, да и речь его была лишена даже самой элементарной гибкости. Его ответ мсье Пола дышал таким бешенством, что чуть ли не доказывал правоту его противника.

— О каких двух версиях идет речь,— начал он высокомерно,— есть только одна версия, и она тут всем известна. Наш мэр, этот отпетый реакционер, не постеснялся обратиться в епископство, чтобы в Мальжак назначили кюре. И епископ ответил: что ж, назначим, если вы отремонтируете дом священника и проведете туда воду. Мэр тут же бросился выполнять этот приказ. Вырыли траншею, пустили по ней воду из родника и ухлопали уйму денег на ремонт дома. А деньги-то чьи? Понятно, наши.

Мсье Пола прикрыл глаза и, уперев локти в стол, соединил кончики пальцев обеих рук. Установив сей символ равновесия и меры, он качнул им взад и вперед и с уничтожающей справедливостью произнес:

— Пока я тут не вижу ничего такого, за что следовало бы предавать *анафеме.*

При словах «предавать анафеме» он позволил себе чуть заметно улыбнуться, как бы желая показать, что не следует ни в коей мере относить на его счет это церковное словечко.

— Мсье Нардийона поддерживает католическое большинство, откровенно говоря, не представляющее какой-либо серьезной силы, которое мы надеемся опрокинуть. Вполне естественно, что мэр стремится выполнить желание этого большинства и заполучить в Мальжак своего собственного кюре (снова улыбка), а не делить, как было до сих пор, служителя культа с Ла-Роком. К тому же дом священника — старинная постройка XVII века, со слуховыми оконцами, украшенными резными наличниками, и с фронтоном над входной дверью. И было бы очень обидно довести его до полного разрушения.

Мейсонье покраснел и наклонил вниз свое острое лицо, будто готовясь броситься в атаку. Но я опередил его. И сам взял слово.

— Мсье Пола,— вежливо начал я,— если большинство населения Мальжака желает, чтобы кюре жил здесь, и если его можно заполучить, только отремонтировав его дом, я полностью с вами согласен: в этом нет ничего, за что следует «предавать анафеме» (мы обмениваемся с ним понимающими улыбками). Точно так же я вполне согласен с вами, что муниципалитет обязан поддерживать в порядке здания, вверенные его заботам. Но при этом все-таки следует соблюдать некоторую очередность. Ведь дому священника не угрожало полное разрушение. Даже крыша

была у него в прекрасном состоянии. Поэтому вряд ли можно признать справедливым, что в этом доме взялись перестилать полы прежде, чем привели в порядок школьный двор, где собираются дети всего Мальжака, независимо от убеждений их родителей. Достойно сожаления и то, что воду к дому священника подвели прежде, чем построили водопровод для всех жителей Мальжака, как это должно было быть сделано уже давно. Еще более досадно, что трубы, проведенные к дому священника, проходят мимо лачуги вдовы, у которой нет колодца и вообще никакого водоема поблизости, а мэру даже не пришло в голову сделать отвод к ее двору, чтобы несчастной женщине, обремененной пятью детьми, не таскать на себе воду от колонки.

Мсье Пола, опустив глаза и не расцепляя пальцев, покачал несколько раз головой и произнес:

— Конечно.

Мейсонье снова собирался заговорить, но я сделал ему знак помолчать. Мне хотелось, чтобы в возникшую паузу Пола при всех нас недвусмысленно осудил поведение мэра. Не тут-то было, он только еще раз покачал головой и сокрушенно повторил:

— Конечно, конечно!

— Но хуже всего то, господин директор,— произносит малыш Колен с уважением в голосе, которое, впрочем, мало вяжется с его ухмылочкой,— что все расходы на дом священника ухнули впустую, потому как, едва старый священник убрался из Ла-Рока, недели не прошло, а уж епископ назначил нового кюре — и опять разъездного, одного на Ла-Рок и Мальжак, правда, он посоветовал ему жить в Мальжаке. Но новому кюре больше по душе Ла-Рок.

— Откуда вы взяли эту историю?— спрашивает мсье Пола, строго глядя на Колена.

— Да от самого аббата Раймона, нашего нового кюре,— говорит Колен.— Может, вам известно, мсье Пола, что, хотя сам я живу в Мальжаке, у меня небольшое слесарное заведение в Ла-Роке и я брал подряд у мэра на работы в доме священника.

Мсье Пола нахмурил брови.

— И новый кюре будто бы вам сказал...

— Он не «будто бы мне сказал», мсье Пола. Условное наклонение тут ни при чем. Просто: он мне сказал.

С любезной улыбкой, не повышая голоса, Колен здорово уел директора. Худое и желтое лицо мсье Пола так и передернулось.

— Он сказал мне,— не унимался Колен,— «Жилье можно выбирать: хоть Мальжак, хоть Ла-Рок. Правда, епископ советует обосноваться в Мальжаке. Но согласитесь, Мальжак — это настоящая дыра. В Ла-Роке по крайней мере есть молодежь. А я считаю, что мое место рядом с молодыми».

Наступило молчание.

— Ясно,— сказал мсье Пола.

Вот и все. Потом заговорил Мейсонье, о том, как следует «ответить» на имевшие место события,— я мог наконец ослабить внимание, ведь «ответ», отнюдь не суливший приятных минут мсье Пола, я приготовил заранее. Оставалось просто подстеречь подходящий момент, когда спор между ними зайдет в тупик, и выложить свое предложение — а для этого достаточно было лишь краем уха прислушиваться к разговору.

Я смотрел на Колена, улыбаясь одними глазами. Меня очень порадовало то, что он осадил господина учителя да еще так ловко сумел ввернуть грамматику и условное наклонение.

Пока Мейсонье говорил, я тихонько барабанил пальцами по столу и во мне понемногу росло чувство тревоги. До прихода мсье Пола все казалось таким простым: на муниципальных выборах оппозиция должна была выставить против списка мэра список Союза прогрессистов и одержать победу, пусть даже с небольшим перевесом голосов. Колен, Пейсу, Мейсонье, я и еще двое фермеров, разделяющих наши взгляды, вошли бы в муниципальный совет, а Мейсонье был бы избран мэром.

Несмотря на некоторую пристрастность в своих политических привязанностях, он стал бы хорошим мэром. Преданный делу, лишенный всякой корысти и тщеславия, он был к тому же гораздо терпимее в своих взглядах, чем это могло показаться со стороны. С таким мэром, как Мейсонье, мы бы, конечно, провели в Мальжаке водопровод, установили электрическое освещение на перекрестках, соорудили бы стадион для наших молодых футболистов и насосную станцию на реке, что позволило бы земледельцам наладить орошение табачных и кукурузных плантаций.

А мсье Пола, по крайней мере в данную минуту, расстраивал наши планы. У него были городские взгляды на политику, да и в душе он был склонен к центризму. Он хотел быть своим в каждом лагере, быть избранным левыми, чтобы управлять при поддержке правых. Но мы в Мальжаке не были столь циничны в политике.

Мсье Пола сидел за столом напротив меня, и я разглядывал его, пока шли дебаты. Было что-то безвольное, каучуковое в его курносой, желтой, как карамель, физиономии. Слишком большой язык, казалось, не помещался во рту, он то и дело высовывался между толстыми губами, отчего речь учителя была нечеткой и неразборчивой, и при этом он еще брызгал во все стороны слюной. В уголках рта залегли глубокие складки, свидетельствующие о дурном пищеварении, а на затылке над белым воротничком краснели небольшие фурункулы. Я предвидел, что, после того как я разделаюсь с ним, их высыплет еще больше.

И в то же время он вызывал у меня даже некоторое чувство жалости. По моим наблюдениям, такие вот желтушные, истощенные, страдающие от фурункулеза люди обычно никогда не бывают счастливы в жизни. Честолюбия и престижа ради он занимается совсем не тем, что по-настоящему доставило бы ему удовольствие, а отдается делам, которые принято считать важными.

Бывает так, что людей следует только слушать, а иногда слушать их ни к чему, достаточно их видеть. Колен, например, бурлил, как доброе вино. Мсье Пола здорово смахивал на слизняка. Мейсонье вызывал в памяти образ одного из тех деятельных, четко исполнительных людей, которые составляют силу армий и политических партий. Пейсу, несмотря на свою грубоватую оболочку, был легко возбудим и так и вибрировал. Впрочем, сейчас он уже не вибрировал. Глядя, как, развалившись на стуле стиля Людовика XIII, он с упоением ковыряет в носу, я понял, что он крепко заскучал и что спор застыл, видимо, на мертвой точке.

Поймав на лету обрывки фраз, я убедился, что это действительно так.

— И тем не менее нам следует что-то предпринять,— сказал я.— Мы должны как-то отреагировать на события. У меня есть предложение, которое я хотел бы поставить на общее голосование.— Помолчав немного, я продолжал:— Я предлагаю обратиться к мэру с письмом. Собст-

венно, я уже составил текст, и, с вашего разрешения, я вас сейчас с ним ознакомлю.

И тут же, не дожидаясь разрешения, достаю из кармана письмо и начинаю читать.

— Нет, нет!— дрожащим голосом выкрикивает мсье Пола и, протянув вперед ладони, как бы отталкивает письмо от себя.— Никаких писем! Никаких писем. Я категорически возражаю против подобных методов.

Господин учитель брызжет слюной, заикается, он вне себя. Пойди-ка откажись потом от письма, да еще от письма, направленного против мэра, когда под ним стоит твоя подпись!

Целых полтора часа отходных маневров выдержал тогда мсье Пола и в конце концов, прибегнув к крючкотворству, потребовал отложить дебаты. Но я тотчас потребовал провести голосование по этому пункту. В ответ на это мсье Пола выдвинул контртребование — предварительно проголосовать об уместности данного голосования. И дважды был побит.

— Скажите-ка, мсье Пола,— примирительным тоном говорю я,— с какими же, собственно, пунктами в этом письме вы не согласны?

Господин учитель снова взвивается. Я пытаюсь оказать на него давление! Подступаю с ножом к горлу! Это тирания!

— И потом,— добавил он,— я затрудняюсь судить о письме на слух! Текст достаточно длинный, его необходимо внимательно изучить.

— Пожалуйста,— отвечаю я и протягиваю ему через весь стол копию своего письма к мэру.

Текст напечатан на желтой бумаге, и, хотя я очень взволнован дискуссией, в голове мелькают воспоминания о Биргитте.

Далее следует великолепная мизансцена.

— Нет, нет!— твердит мсье Пола. Его голос, голова, плечи — все выражает протест, а руки тем временем тянутся к письму, но, заполучив его, он тут же делает движение, словно хочет его отбросить. И говорит раздраженным тоном:— Я отнюдь не сторонник заранее подготовленных текстов. Нам слишком хорошо известно, как политические партии, и в частности коммунистическая партия, пользуются и даже злоупотребляют этой процедурой.

Я делаю знак Мейсонье, чтобы он не отвечал на этот выпад. Хотя слова Пола в применении к данному случаю и не были лишены справедливости.

— Этот текст,— говорю я скромно,— всего лишь резюмирует мысли, которые мы сообща обсуждали сотни раз. Он предельно ясен, лаконичен, выдержан в умеренном тоне, в нем нет ровно ничего нового. Я просто не понимаю, что вам в нем не нравится.

— Я, по-моему, не сказал, что он мне не нравится,— с отчаянием в голосе говорит мсье Пола.— В общих чертах я согласен...

— Тогда какого же рожна,— грубо обрывает его Мейсонье,— вот и голосуйте, за него!— Он не простил мсье Пола его выпада против компартии.

Мсье Пола пренебрегает вмешательством Мейсонье.

— Господин Пола,— обращаюсь я к нему с любезной улыбкой,— может быть, вы объясните, в чем же все-таки вы расходитесь с нами.

— Уж во всяком случае, не сейчас, не в 1.30 пополудни,— говорит он, взглянув на свои часы.— Господа,— продолжает он, и голос у него дрожит,— я прекрасно понял, что вы решились совершить насилие над моей совестью. Что же, в таком случае я считаю своим долгом предупредить: вы не получите моего голоса.

Все замерли.

— Ну что ж, давайте голосовать,— говорит Колен.— Я — за.

— За,— говорит Мейсонье.

— За,— говорит Пейсу.

— За,— говорю я.

Все смотрят на мсье Пола. Он пожелтел и съежился еще больше.

— Воздерживаюсь,— цедит он сквозь зубы.

Верзила Пейсу смотрит на него, разинув рот от изумления. Затем, повернув ко мне свою здоровенную, грубо вытесанную физиономию, спрашивает, вытаращив глаза:

— Что это означает: воздерживаюсь?

— Просто-напросто я воздерживаюсь от голосования,— ехидно поясняет мсье Пола.

— А разве он имеет право так поступать?— снова спрашивает меня Пейсу, он так растерян, что говорит «он», будто мсье Пола уже нет в комнате.

Я киваю.

— Да, мсье Пола имеет на это полное право.

— А по-моему,— говорит Пейсу, минутку подумав,— отказываться голосовать или голосовать против — один черт.

— Ничего подобного!— запальчиво выкрикивает мсье Пола.— Прошу не путать. Я не против данного текста. Я просто отказываюсь за него голосовать, поскольку считаю, что мне не дали достаточно времени всесторонне его обсудить.

Пейсу медленно поворачивает голову к мсье Пола и молча, с задумчивым видом его рассматривает.

— И все-таки вы не «за»,— говорит он.— Тогда бы вы и голосовали «за».

— Я ни «за», ни «против»,— взвивается мсье Пола, брызгая от негодования слюной.— Я воздерживаюсь от голосования. Это совершенно разные вещи.

Пейсу обдумывает его ответ, озадаченно уставившись своими серыми глазами в лицо мсье Пола. Мейсонье ерзает на стуле, похоже, что сейчас он начнет ораторствовать. Я взглядом прошу его не ввязываться в разговор. Я молча слушаю. И Колен тоже молчит. Мейсонье нехотя следует нашему примеру. Мы все ждем развязки. И развязка не заставляет себя ждать.

— Одного я только не возьму в толк,— снова говорит Пейсу,— почему же вы сидите здесь с нами, если вы ни «за», ни «против».

Мсье Пола бледнеет и поднимается с места.

— Если мое присутствие вам нежелательно, я могу уйти,— произносит он почти невнятно, язык с трудом повинуется ему.

Тогда поднимаюсь и я.

— Зачем же так, мсье Пола, у Пейсу и в мыслях ничего подобного не было и т. д. и т. п. ...

Минут пять я рассыпаюсь мелким бесом, чтобы хоть немного смягчить ему горечь поражения, перед тем как он нас покинет. И тем не менее я замечаю, что, ответствуя мне, мсье Пола вчетверо складывает листок с письмом мэру и опускает его в свой карман. Я тут же прошу его вернуть мне письмо для «архива». Мгновение он колеблется, потом вынимает письмо и отдает его мне с кислой улыбкой. Таким он мне и запомнился навсегда — с этой кислой улыбкой.

После ухода мсье Пола я провожаю своих приятелей на автостоянку перед крепостью. Я молчу как убитый. Возможно, я просто устал от нашего затянувшегося собрания, но я чувствую себя подавленным. А ведь, в сущности, это был такой мелкий, такой ничтожный эпизод. Впрочем, не менее мелким событием были и сами муниципальные выборы, столь взволновавшие наших соотечественников в начале 1977 года. А может, не менее ничтожными были в ту самую пору и проблемы, тревожившие наше правительство, хотя они и создавали у него иллюзию, что в его руках находятся наши судьбы.

На стоянке перед въездом в Мальвиль неожиданно произошла техническая неувязка. У Колена забарахлил «рено», малыша охватило смятение. Ему необходимо было встретить жену с двумя ребятишками в столице департамента, куда они прибывали скорым поездом 14.52. Было воскресенье, и ни один хозяин гаража не взялся бы чинить повреждение. А времени оставалось в обрез, город находился в 60 километрах. Кончилось тем, что я на своей машине подбросил Колена к поезду.

Я останавливаюсь на этих строчках и, перечитав только что написанное, буквально цепенею. Хотя, казалось бы, сама фраза не содержит в себе ничего потрясающего. «Я на своей машине подбросил Колена к поезду». Чего уж проще! Но слова «машина», «поезд» с отчаянием вопияли об изломе, расколовшем надвое нашу жизнь. Пропасть, лежащая между нашими двумя существованиями: «до» и «после»,— настолько бездонна, что я уже не могу с полной отчетливостью представить себе, что во времена «до» я производил одно за другим эти невероятные действия: выводил из гаража машину, заправлялся у бензоколонки, мчался с другом к поезду и еще задолго до вечера возвращался домой, проделав за два часа 125 километров по прекрасной дороге, не встречая на пути никаких опасностей, кроме скорости моей собственной машины. Каким же все это кажется мне далеким! И как прекрасен был мир, в котором так просто совершались подобные дела.

Слава богу, я научился не думать о нем. Но нет-нет и вспыхнет предательское воспоминание. Или же, как вот сейчас, я увлекусь, описывая наш прежний мир «до», такой надежный и легкий, такой простодушно ребячливый.

ГЛАВА III

Я ошибаюсь. Наша гонка с Коленом на вокзал столицы департамента не была моим последним воспоминанием о прежнем мире «до». Сегодня, уже к самой ночи, сердце вдруг полоснуло другое воспоминание. Я слишком хорошо знаю, почему пытался забыть о нем.

Во вторник я получил письмо от Биргитты. Со свойственной ей немецкой педантичностью она писала мне каждое воскресенье. Ее послания состояли из простеньких, грамматически правильно построенных французских фраз, которые она щедро и не всегда к месту пересыпала идиоматическими выражениями.

Все они были составлены по одному шаблону. Вначале она коротко справлялась о моем житье-бытье, потом на четырех страницах рассказывала о своей собственной жизни. Третья часть отводилась теме любовной.

Но даже здесь Биргитта была до ужаса однообразна. В субботу вечером перед сном она прочитала мой «желтый листочек», легла в постель, раздевшись донага и укрывшись только простыней, думала обо мне и обо всем, что я написал ей в «желтом листочке», особенно о том, как я ее ласкал («Ах, Эммануэль, какие же у тебя руки!»), и она чувствовала себя «безумно возбужденной». И потом, подчеркивала она, долго-долго не могла уснуть.

Почему именно в субботу вечером? Вероятно, потому, что в воскресенье она не работает и можно будет отоспаться после бессонной ночи, а к понедельнику она снова обретет отличную форму.

Уж я-то знал, как добросовестна Биргитта в работе. Я прочитал, потом перечитал ее письмо, вернее, ту часть, где она живописала свои плотские томления, и хотя я знал наперед каждое ее слово и меня забавляла вся эта дурацкая писанина, она тем не менее имела надо мной несомненную власть. Ну, хватит. Я ведь тоже добросовестный, надо приниматься за работу. Я встаю и, вкладывая письмо в конверт, вдруг замечаю постскриптум. В понедельник она ложится в клинику удалять аппендикс, она посылает мне адрес и надеется, что я ей напишу.

Предстоящая операция Биргитты напомнила мне о собственном аппендиците, мне тоже нужно было оперироваться — величайшая небрежность, как говорил мой

врач,— и я дал себе слово, что после Пасхи, независимо от того, много ли будет работы, выкрою неделю, чтобы отделаться наконец от своего отростка. Я написал Биргитте и позвонил хозяину парфюмерного магазина в столице департамента с просьбой послать флакон духов «Шанель 5» в мюнхенскую клинику.

Целую неделю от Биргитты не было никаких известий. Я начал беспокоиться, не случилось ли какого-либо осложнения, и еще раз написал ей. Через две недели пришел ответ.

Письма Биргитты никогда не отличались особой сложностью. Но это могло служить шедевром простоты. Оно состояло всего из десяти строк.

«В клинике,— писала Биргитта,— *я познакомилась с одним молодым человеком, он влюбился в меня. Я тоже его люблю и выхожу за него замуж. Конечно, мне будет недоставать твоих ласк, ведь ты так избаловал меня ими, и спасибо за подарки, Эммануэль. Крепко, крепко тебя целую. Биргитта.*

P. S. Я очень счастлива».

Я сложил письмо, сунул его в конверт и вслух произнес: «Те же без Биргитты». Но беззаботно легкий тон мне явно не удался, и, сидя за своим столом, я пережил скверные минуты. У меня вдруг сдавило горло, руки мерзко задрожали, меня охватило мучительное ощущение тяжкой утраты, полного краха, бессилия и безнадежности. Я не любил Биргитту, и тем не менее довольно прочная нить связывала меня с ней. Должно быть, я пал жертвой свойственного христианству извечного разделения возвышенной любви и чувственного наслаждения. Поскольку я не любил Биргитту, я не придавал большого значения своей привязанности к ней.

Но в жизни все получалось не так. Моя мораль оказалась лживой, мои психологические выкладки — ошибочными. Так или иначе, я снова по-настоящему страдал. Я был уверен, что уж эта история пройдет для меня совершенно безболезненно. Я считал (принимая во внимание бессердечие Биргитты), что любовь к ней — для меня ноль, дружба — едва ли немногим больше, уважение — понятие весьма условное. Поэтому я относился к ней с какой-то долей иронии, держался на известном расстоянии и задаривал ненужными подарками.

А все похоть, как сказал бы аббат Леба. Между тем похоть — совсем не то, что обычно понимают под этим словом. Но аббат Леба ничего не смыслил в таких вещах, да, впрочем, откуда было знать о них старому девственнику? Сила чувственных уз по своей природе глубоко нравственна, вот почему порой, когда они рвутся, человек так тяжело страдает. Наконец я встал из-за стола, бросился на постель и тут-то дал волю своему горю. Ужасные минуты. Стараясь разобраться в своих мыслях, я окончательно запутался, где же граница между душой и телом, и понял только то, что граница эта искусственна. Тело тоже способно мыслить! Оно думает, оно чувствует независимо ни от какой души. Ведь не воспылал же я вдруг любовью к Биргитте, нет, вовсе нет! Эта девка — бесчувственное чудовище. Я так же крепко презирал ее, как крепко она меня целовала. Но при мысли, что больше никогда я не сожму в объятиях ее щедрое тело, сердце мое переворачивалось. Я говорю «сердце», будто в романах. Впрочем, это или другое слово — неважно. Я-то знал, каково мне переживать все снова.

Сейчас, когда я вспоминаю о тогдашних своих терзаниях, они кажутся мне просто смешными. Ничтожное горе в рамках одной ничтожной человеческой жизни, и уж совсем смехотворно оно в сравнении с тем, что вскоре произошло. Ведь именно во время этой моей мизерной личной драмы грянул День происшествия и придавил нас своим ужасом.

В потребительском обществе наиболее ходким продуктом является оптимизм. Казалось бы, с тех пор как на нашей планете появились средства, способные полностью уничтожить ее, а вместе с ней в случае надобности и близлежащие планеты, невозможно уже было спать спокойно. Но странное дело: то, что смертоносное оружие накапливалось в избытке и возрастало число наций, владеющих им, воспринималось скорее как успокаивающий фактор. То обстоятельство, что ни одна из держав после 1945 года еще не применила его, вселяло надежду, что на это «не осмелятся», да и вообще ничего не произойдет. Для той мнимой безопасности, в которой мы жили, придумали даже специальный термин, обосновав его соображениями высокой стратегии, — «равновесие страха».

Впрочем, надо сказать и другое: ничто, абсолютно ничто в течение недель, предшествовавших Дню происшест-

вия, не предвещало катастрофы. Правда, где-то вспыхивали войны, шла резня, кто-то голодал. То здесь, то там совершались злодеяния. Одни — неприкрытые — в слаборазвитых странах, другие — более завуалированные — в цивилизованных. Но в общем ничего такого, чего бы мы уже не наблюдали за последние тридцать лет. Да и все это происходило, впрочем, на вполне устраивающем нас расстоянии, у народов, живущих где-то за тридевять земель. Конечно, это не могло оставить нас равнодушными, мы возмущались, выносили резолюции, подписывали протесты, порой даже жертвовали немного денег. Но в то же время, коль скоро эти беды случались не с нами, в глубине души мы были спокойны. Известно ведь, что смерть — это для других, не для меня.

Mass media*— у меня сохранились последние номера «Монд», и как-то на днях я перечитал их — не внушали особой тревоги. Вернее, они не видели непосредственной угрозы для нашего поколения. Взять хотя бы загрязнение атмосферы. Было установлено, что через сорок лет наша планета окажется на краю гибели. Сорок лет! Это казалось нереальным. Если бы нам были отпущены эти сорок лет!

Совершенно очевидно, я говорю это без малейшей иронии, она была бы здесь просто неуместна, но такие мощные средства обильной, если и не всегда точной массовой информации, как печать, радио и телевидение, ни в коей мере не предвидели на данном этапе мирового катаклизма. А когда удар обрушился на Землю, они уже не могли его прокомментировать задним числом: они просто перестали существовать.

Впрочем, возможно, ничего и нельзя было предусмотреть. Был ли тут роковой просчет в плане какого-то государственного деятеля, которому генеральный штаб сумел внушить мысль, что в его руках абсолютное оружие? Или внезапное безумие ответственного лица или даже простого исполнителя где-то в среднем звене, передавшего приказ, которого уже потом никто не смог отменить. Или технические неполадки, вызвавшие цепную реакцию ядерных ударов одной стороны и атомный контрудар противника, и так до полного взаимоуничтожения.

---

* Средства массовой информации *(англ.)*.

Можно гадать до бесконечности. Нам все равно не дано узнать истины: средства узнать ее были уничтожены.

С непроглядной ночи начинается этот пасхальный день, когда оборвалась за отсутствием объекта История: цивилизации, о которой она рассказывала, пришел конец.

* * *

В восемь часов я спустился за свежей почтой во въездную башню, где жила Мену с сыном. Как обычно, я застал там нашего почтальона Буденó, кудрявого парня с красивым, хотя и уже несколько обрюзгшим и излишне румяным лицом — стаканчики, которые ему подносили на каждой ферме, сделали свое дело. Сейчас, сидя за кухонным столом, он потягивал мое вино и, увидев меня, чуть приподнял зад со стула в знак приветствия. Я говорю, чтобы он не трудился вставать, забираю лежащую на столе корреспонденцию, а Мену тем временем открывает стенной шкаф, достает оттуда стакан и наливает мне вина. Как и каждое утро, я отказываюсь, и Мену тут же выпивает его сама — не пропадать же в самом деле добру. Подзаправившись, она заводит деловой разговор. Надо, мол, Эмманюэль, наконец разлить нынче утром вино, а то непочатых бутылок осталось всего ничего. Я нетерпеливо повожу плечом.

— В таком случае давай займемся этим сейчас же,— говорю я,— а то в десять часов мы с Жерменом едем в Ла-Рок.

— Ну, я пошел,— как человек тактичный, вставая, говорит Будено.

Он так и остался в моей памяти: темноволосый, кудрявый, с широкой улыбкой и веселыми глазами, прощаясь, он снова пожимает мне руку, он твердо держится на ногах, вино лишь горячит ему нутро, он счастлив оттого, что каждое утро видит множество людей и разъезжает по всей округе в желтой почтовой малолитражке, удобно устроившись с сигаретой в зубах на сиденье,— прекрасное ремесло для красивого парня, получившего к тому же образование, уж он не ошибется, выплачивая почтовый перевод. И так до того самого дня, пока не уйдет на пенсию. Будено поворачивается, и его широченная спина закрывает весь проем низкой двери.

Позже нам удалось опознать обломки его искореженной и обуглившейся желтой малолитражки. Но от самого Будено не осталось ничего, ни единой косточки.

Я вернулся к себе, прихватил пуловер и кстати позвонил Жермену в «Семь Буков». Я предупредил его, что заеду за ним не раньше половины одиннадцатого и тогда мы отправимся в Ла-Рок. Во внутреннем дворе, у выхода из донжона, меня ждала Мену, я посоветовал ей одеться потеплее, так как в подвале прохладно.

— Да что ты, я не замерзну. Вот Момо — другое дело.

Пока Мену говорила, я смотрел на нее с высоты своего роста, и она мне казалась совсем маленькой. Помню, в эту минуту мое внимание привлек сущий пустяк. Мену была в какой-то черной залоснившейся блузе с квадратным вырезом, за вырезом торчал чуть ли не десяток английских булавок, сначала я с удивлением подумал: зачем вообще здесь булавки, а потом — к чему они пристегнуты, ведь не к лифчику же, чего ему, бедняге, там поддерживать.

— И все-таки, Мену,— сказал я, не отрывая глаз от строя булавок,— надень-ка лучше какую-нибудь кофту. В подвале прохладно, чего ради простужаться.

— Я ж тебе говорю, что я никогда не мерзну,— не то строго, не то горделиво, я так и не понял, повторила Мену.

В довольно мрачном расположении духа я приладил свою цедилку для вина и уселся на табурет шагах в двадцати от Мену. Подвал был огромный, побольше школьного двора. Освещали его электрические лампочки, скрытые в нишах, а на случай аварии я установил в нескольких бра толстые свечи. В подвале была идеальная влажность воздуха, а температура зимой и летом поддержива ла +13°, о чем свидетельствовал настенный градусник, висящий над водопроводным краном. Другого такого холодильника днем с огнем не сыщешь, уверяла Мену. Она хранит здесь все консервы, а к сводчатому потолку подвешены окорока и колбасы.

К водопроводному крану Мену придвинула все свое «хозяйство»: ежик для мытья бутылок, прикрепленный у бачка с водой, поступающей туда из крана, сушилку для бутылок со сточной решеткой и машинку для автоматической закупорки бутылок. Мену с головой ушла в свои хлопоты, и у нее в отличие от меня прекрасное настрое-

ние. Для нее, хотя она пьет вполне умеренно, разливать вино — священный обряд, языческое празднество, счастливое подтверждение нашего изобилия и залог грядущего веселья. Для меня это тяжелая обуза. И мне не на кого переложить эту обузу. Вообще-то, здесь вполне достаточно двух человек: один разливает вино в бутылки, другой закупоривает их, но ни одной из этих операций нельзя доверить Момо. Если ему поручить разливку, то, приладив сифон и убедившись, что вино течет как положено, он, прежде чем опустить трубку в горлышко бутылки, сует ее себе в рот. Если он закупоривает бутылку, то, прежде чем вставить пробку, отхлебнет здоровый глоток.

Итак, я обеспечиваю разливку, Мену будет закрывать бутылки, а Момо перетаскивать их: от нее ко мне — порожние и от меня к ней — полные. Но даже при такой расстановке сил у нас постоянно вспыхивают конфликты. Время от времени я слышу, как Мену кричит: «Ты что, под зад коленкой захотел?..» Мне незачем даже поднимать голову. Я и так знаю, что в этот момент Момо с лихорадочной поспешностью сует обратно в металлическую корзину бутылку с изрядно поубавившимся содержимым. Знаю потому, что минуту спустя — хотя Момо и пойман на месте преступления — раздается его полный возмущения голос:

— Я нисё неде! (Я ничего не делаю!)

Вино, вырываясь из бочки, так стремительно наполняет бутылки, что зевать здесь не приходится. Даже странно, что такая, казалось бы, немудреная, почти механическая работа начисто лишает возможности думать. К тому же отвлекает нудная музыка, несущаяся из транзистора Момо, который он носит на ремне через плечо (недавно, на мою беду, Мену подарила ему этот проклятый транзистор).

Как-то незаметно мое мрачное настроение рассеялось, хотя особого подъема в работе я по-прежнему не испытывал. Да и не такое уж опьяняющее занятие — разливать вино по бутылкам, разве что для Момо. Но эту работу необходимо было выполнить. Вино мое. И я им даже гордился, и в общем мне было приятно работать рядом с Мену, хотя меня и раздражали проделки Момо и его надоедливая музыка. Короче, я переживал самую будничную, самую обычную минуту своей жизни, когда во мне всплывали и гасли тускловатые мимолетные противоречи-

вые чувства, довольно вяло и неувлекательно работала мысль и где-то глубоко еще гнездилась тоска.

Вдруг, будто в трагедиях Шекспира, раздался глухой стук в дверь, и сразу вслед за тем, но уже без малейшего драматизма в подвал шумно ввалился Мейсонье в сопровождении Колена и долговязого Пейсу. И я тут же догадался, что Мейсонье чем-то чрезвычайно расстроен.

— Где мы только тебя не искали! — воскликнул он, направляясь прямо ко мне в дальний угол подвала. Колен и Пейсу шагали за ним следом.

Я с досадой заметил, что они оставили открытыми обе двери, ведущие сюда из коридора со сводчатым потолком.

— Ничего не скажешь, ловко запрятался! Хорошо еще, что встретили Тома, он нас и послал сюда.

— Как, — говорю я, протягивая ему через плечо левую руку и не спуская при этом глаз с уровня вина в бутылке, — разве Тома еще не ушел?

— Нет, сидит на солнышке на ступеньках донжона и мусолит свои карты, — говорит Мейсонье, и по голосу его ясно, что парень, тратящий столько времени на изучение камней, вызывает у него уважение.

— Мое почтение, господин граф*, — говорит Колен, Ему кажется забавным величать меня так с тех пор, как я стал хозяином Мальвиля.

— Привет, — бросает верзила Пейсу.

Я не смотрю на них. Я неотрывно слежу за струей вина, наполняющей бутылку. Воцаряется молчание, мне оно кажется несколько принужденным.

— Ну как, — спрашивает длинный Пейсу, чтобы разрядить атмосферу, — твоя немка еще не прискакала?

Это уж тема верная. Так по крайней мере считает он.

— Она и не приедет, — небрежным тоном отвечаю я. — Она выходит замуж.

— Ты мне об этом не говорил, — с упреком замечает Мену. — Скажите-ка, — продолжает она насмешливо. — Замуж выходит.

Я вижу, что Мену не терпится высказать свои соображения по этому поводу, но, должно быть, припомнив, как ей самой удалось подцепить муженька, она решает промолчать.

---

* Фамилия Эмманюэля „Конт" звучит по-французски так же, как слово «граф». — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

— Ну и дела! — восклицает долговязый Пейсу.— Биргитта выходит замуж. Вот жалость-то какая, значит, я так и прособирался...

— Теперь ты останешься без помощницы,— говорит Колен.

Я не могу обернуться, чтобы взглянуть на Мейсонье, уровень вина в бутылке поднимается слишком быстро. Но про себя отмечаю, что он хранит молчание.

— В конце месяца у меня будет три помощника.

— Девки или парни? — спрашивает Пейсу.

— Парень и две девушки.

— Ого! Две девки! — Но ничего больше он не добавляет, и снова повисает тягостное молчание.

— Мену, пойди-ка принеси три стаканчика для этих господ.

— Не стоит беспокоиться,— говорит Пейсу, облизывая губы.

— Момо,— перепоручает Мену,— сходи за стаканами, ты же видишь, я занята.

На самом-то деле ей просто не хочется уходить из подвала сейчас, когда разговор принимает такой интересный оборот.

— Ниду! (Не пойду.),— отвечает Момо.

— Под зад коленом захотел? — прикрикивает Мену, угрожающе поднимаясь с табуретки.

Момо отскакивает в сторону и, очутившись в безопасности, в ярости топает ногами и кричит:

— Ниду!

— Пойдешь! — говорит Мену, делая шаг по направлению к нему.

— Момо ниду! — с вызовом кричит он, а сам хватается за ручку двери, готовый в любую минуту улепетнуть.

Мену прикидывает расстояние, отделяющее ее от сына, и как ни в чем не бывало снова опускается на табуретку.

— Сходишь за стаканами,— говорит она мирным тоном, принимаясь за работу,— я тебе к ужину картошки поджарю.

Плохо выбритое лицо Момо расплывается в сладострастной улыбке, его маленькие черные глазки, глазки зверя, живые и наивные, плотоядно вспыхивают.

— Падя? (Правда?),— с живостью спрашивает он, запустив одну пятерню в свою черную всклокоченную шевелюру, а другую — в карман штанов.

— Коль обещала, значит, поджарю,— отвечает Мену.

— Ду,— с восхищенной улыбкой говорит Момо и исчезает так быстро, что забывает закрыть за собой двери. Слышно только, как по каменным ступеням лестницы гулко стучат его грубые, подбитые гвоздями башмаки.

Долговязый Пейсу поворачивается к Мену.

— Как погляжу, трудновато тебе с ним приходится,— вежливо говорит он.

— Да, он у меня с характерцем,— отвечает она, довольно посмеиваясь.

— Ну вот и придется тебе поплясать сегодня вечером у плиты,— говорит Колен.

Худое, как у мумии, лицо Мену собирается в морщинки.

— Да ведь я и так собиралась поджарить сегодня к ужину картошку, но он совсем об этом забыл, бедненький мой дурачок.

Почему на местном диалекте это звучит гораздо смешнее, чем по-французски, я не берусь объяснить. Возможно, тут играет роль интонация.

— Ну и хитрый народ бабы,— говорит со своей неизменной ладьеобразной ухмылочкой малыш Колен.— Ничего им не стоит водить нашего брата за нос!

— Эх, если бы только за нос,— бросает Пейсу.

Мы все хохочем и почти с умилением глядим на него. Такой уж он есть, наш долговязый Пейсу. Все тот же. Вечно пакости на языке.

Потом снова воцаряется молчание. В Мальжаке всему свой черед. Тут не принято сразу приступать к сути дела.

— Вы ничего не имеете против, если я буду разливать вино, а вы мне обо всем расскажете?

Я вижу, как Колен подмигивает Мейсонье, но тот по-прежнему хранит молчание. Его острое лицо сейчас кажется особенно длинным, и он часто-часто моргает.

— Ну ладно,— говорит Колен,— мы тебе объясним, что к чему, а то здесь, в Мальвиле, ты вроде как на отшибе. В общем, с письмом к мэру получилось все как надо. Оно ходит по рукам, и люди с ним согласны. В этом смысле — порядок. Ветер подул в другом направлении. А вот с Пола — худо.

— Значит, речь пойдет об этом подонке?

— Вот именно. Теперь, когда учитель увидел, что дело-то обернулось против мэра, он всюду, где только можно, твердит, что согласен с письмом. И даже пустил слушок, будто сам его и составил.

— Ну и ну! — удивляюсь я.

— И что не подписал он его, видите ли, потому, что не хотел поставить свою подпись рядом с коммунистом.

— Зато он охотно бы согласился, чтобы на выборах его имя значилось в одном списке с коммунистом, лишь бы тот не стоял в списке первым.

— Правильно, — сказал Колен. — Ты все понял.

— Да, а первым в списке, конечно, должен был стоять я. Меня выбрали бы мэром. Пола стал бы моим первым помощником, и, поскольку я слишком занят, чтобы заниматься делами мэрии, он согласился бы взять их на себя.

Я привернул кран и оглянулся на приятелей.

— Ну чего это вы? Какое нам дело до всех этих махинаций Пола? Чихать мы на них хотели, и все тут?

— Да, но люди-то вроде согласны.

— С чем согласны?

— С тем, чтобы ты стал мэром.

Я расхохотался.

— Вроде бы согласны, говоришь?

— Ну уж так сказалось. А люди и правда очень даже этого хотят.

Я взглянул на Мейсонье и снова принялся наполнять бутылки. Когда в 1970 году, отказавшись от директорства в школе, я взялся за дядино дело, в Мальжаке считали, что я совершаю весьма опрометчивый шаг. А когда к тому же я еще купил Мальвиль — тут уж сомнений не оставалось: Эмманюэль хоть и получил образование, но такой же сумасброд, как его дядюшка. Но вот шестьдесят пять гектаров, сплошь заросших кустарником, превращены в плодородные поля. Но вот виноградники Мальвиля приведены в божеский вид и уже дают первоклассное вино. Но скоро я еще стану зашибать денежки, и немалые, открыв за́мок для посещения туристов. И самое главное — я вернулся в лоно мальжакских традиций, вновь завел коров. Таким образом, в течение шести лет в глазах общественного мнения я совершил колоссальный скачок. Из безумца превратился в ловкача и делягу.

И почему бы ловкачу, так бойко умевшему устраивать свои личные дела, не сделать того же самого и для всей коммуны?

Одним словом, Мальжак ошибался дважды: в первый раз — считая меня безумцем, и теперь — собираясь доверить мне дела мэрии. Из меня никогда бы не получилось хорошего мэра, этого рода деятельность меня не слишком интересовала. Но Мальжак в своей слепоте не видел, что у него под самым носом есть человек, действительно созданный для роли мэра.

Снова, не закрыв на собой двери — правда, на этот раз у него были заняты обе руки,— в подвал ввалился Момо, он притащил не три, а целых шесть стаканов, явно не забыв собственную персону. Стаканы были вставлены один в другой, и на стенках самого верхнего отпечаталась его грязная пятерня. Я встал.

— Дай-ка сюда,— сказал я и побыстрее забрал у Момо стаканы. И тут же вручил ему верхний, испачканный стакан. Затем, открыв бутылку с вином урожая 1975 года, на мой взгляд самого у меня удачного, я, несмотря на традиционные отнекивания и отказы, поднес каждому по стаканчику. Как раз в эту минуту в подвал спустился Тома. Он-то, конечно, тщательно прикрыл за собой обе двери и с бесстрастным лицом прошагал в глубину подвала, более чем когда-либо похожий на греческую статую, хотя и обряженную в современный черный дождевик и каску мотоциклиста.

— Возьми-ка,— сказал я, протягивая ему свой стакан.

— Нет, спасибо,— ответил Тома,— я с утра никогда не пью.

— Еще раз здрасьте!— дружелюбно заулыбался ему длинный Пейсу.

И поскольку Тома взглянул на него, не ответив на его приветствие, даже не улыбнувшись, он смущенно пояснил:

— Мы уже с вами сегодня здоровались.

— Всего двадцать минут назад,— все с тем же неподвижным лицом ответил Тома. Ясно, он не видел никакой необходимости здороваться вторично, раз это уже было сделано.

— Я зашел тебя предупредить,— обратился он ко мне,— чтобы ты сегодня не ждал меня к обеду.

— Да прикрути ты хоть немного свою тарахтелку! — крикнул я Момо.— Никакого терпения не хватает!

— Слышал, что тебе Эммануэль говорит,— прикрикнула на сына Мену.

Момо, прижав к себе левой рукой транзистор, отскочил на несколько шагов в сторону, свирепо взглянул на нас и даже не подумал уменьшить звук.

— Ну и хорошенький же подарочек ты ему поднесла к Рождеству,— сказал я Мену.

— Горемыка мой бедненький! — отвечала старуха, моментально меняя фронт.— Так ему все-таки повеселее чистить твои конюшни.

Я обалдело взглянул на нее, но тут же решил улыбнуться, слегка нахмурив брови, что, как я полагал, признавало за Мену ее правоту, не умаляя при этом моего достоинства.

— Я говорю, что не вернусь к обеду.

— Ладно.

И поскольку Тома уже повернулся к нам спиной, я сказал Мейсонье на местном диалекте:

— В общем унывать тут нечего. На выборах мы найдем средство нейтрализовать этого самого Пола.

В это самое мгновенье, словно в музее Гревена, где восковые исторические персонажи навеки застыли в привычных мизансценах, все замерло и таким врезалось мне в память. В центре небольшая группа: Мейсонье, Колен, долговязый Пейсу и я,— со стаканами в руках, оживленными лицами, все четверо крайне озабоченные будущим поселка, где всего четыреста двенадцать жителей, затерявшегося на планете с населением в четыре миллиарда душ.

От этой группы, крупно шагая, удаляется Тома. А между ним и нами — Момо, поглядывающий на меня с вызовом, в одной руке у него уже наполовину осушенный стакан, в другой — по-прежнему запущенный на полную катушку транзистор, из которого несется идиотская песня наимоднейшего кумира. Рядом с ним, всегда готовая его защитить, совсем крошечная Мену со сморщенным как печеное яблочко лицом, но глаза ее все еще сияют торжеством одержанной надо мной победы. А вокруг нас и над нами — огромный подвал с высокими ребристыми сводами, подсвеченными снизу и отбрасывающими на нас мягкий приглушенный свет.

Конец света или, точнее, конец того света, в котором мы до сих пор жили, начался совсем просто и отнюдь не драматично. Погасло электричество. В наступившем мраке послышался чей-то смех, кто-то сказал, что, должно быть, произошла авария, дважды щелкнула зажигалка и вспыхнувший огонек осветил лицо Тома.

— Может, ты зажжешь свечи?— спросил я, подходя к нему.— Или лучше дай-ка мне зажигалку. Я сам зажгу. Я знаю, где они расположены.

— А я и в темноте мимо рта стакан не пронесу,— сказал голос Пейсу.

И кто-то, вернее всего Колен, ядовито хихикнул:

— Еще бы! В такую пасть да не попасть!

Держа перед собой мерцающий огонек зажигалки, я прошел рядом с Момо и только тут обратил внимание, что его транзистор больше не орет, хотя шкала по-прежнему освещена. Я зажег два самых ближних ко мне бра, всего четыре свечи, но после кромешной тьмы свет их показался нам удивительно ярким, хотя и освещал он лишь небольшую часть подвала. Бра были довольно низко подвешены на стенах, чтобы не нарушать строгого рисунка древних сводов, и наши тени, скользящие на потолке, казались гигантскими и изломанными. Я вернул Тома его зажигалку, он сунул ее в карман дождевика и направился к двери.

— Ну, прикончил наконец свою свистопляску?— сказал я Момо.

— Не чил,— ответил он, с обидой глядя на меня, словно это я накликал беду на его приемник.— Не абобо. (Не работает больше.)

— Не работает!— с возмущением вскричала Мену.— Это совсем-то новенький транзистор! Да я только вчера поставила новые батарейки в Ла-Роке.

— И действительно, странно,— проговорил Тома, возвращаясь к нам, и лицо его снова выплыло из темноты.— Интересно, ведь только что он работал.

И он спросил:

— А ты не вынул оттуда батарейки?

— Ни, ни,— замотал головой Момо.

— Ну-ка, дай взглянуть,— сказал Тома, кладя свои карты на табурет.

Я не сомневался, что сейчас Момо вцепится в свое сокровище, но он тут же протянул приемник Тома с таким точно видом, с каким встревоженная мать доверяет врачу

больное дитя. Тома выключил транзистор, затем снова включил, до предела повернув регулятор громкости, и повел стрелку по шкале настройки. Раздался сильный треск, но звука по-прежнему не было.

— Когда отключилось электричество, ты случайно не грохнул его? Ни обо что не ударил?

Момо отрицательно мотнул головой. Тома вынул из кармана красный перочинный нож и самым тонким лезвием отвернул винты коробки транзистора. Затем, приоткрыв крышку, поднес приемник поближе к свечке и внимательно осмотрел его внутренность.

— Здесь все нормально,— произнес он.— По-моему, транзистор в полном порядке.

Тома один за другим снова завинтил винтики, и я подумал было, что сейчас, вернув транзистор Момо, он направится к выходу, но он почему-то остался. Он стоял неподвижно, с озабоченным лицом, и медленно водил стрелкой транзистора вдоль шкалы.

Все семеро, притихнув, мы вслушивались, если можно так выразиться, в молчание транзистора, когда вдруг раздался тот чудовищный, неслыханный грохот, описать который я могу, лишь прибегая к сравнениям, на мой взгляд, в данных обстоятельствах совершенно смехотворным: громовые раскаты, удары пневматического молота, вой ошалелой сирены, неистовый рев самолетов, преодолевающих звуковой барьер, сумасшедшие вопли паровозных гудков. Так или иначе, с адским воем, лязгом и скрежетом на нас обрушилась невиданной ярости лавина грохота, где все высокие и все низкие тона, дойдя до наивысшего предела, слились в единый неведомый звук, превосходящий возможности человеческого восприятия. Не знаю, способен ли убить звук, достигший подобной силы? Но думаю, если бы он еще продлился — то смог бы. В отчаянии я напрасно зажимал уши ладонями, согнулся в три погибели, присел на корточки и вдруг заметил, что я дрожу всем телом, как в лихорадке. Уверен, что охватившая меня конвульсивная дрожь была чисто физиологической реакцией организма на неслыханную мощность звука. Ведь испугаться в ту минуту я еще просто не успел. Я совсем одурел, оцепенел и был не в состоянии о чем-либо думать. Мне даже не пришло в голову, что грохот был ослаблен двухметровой толщиной стен подвала, уходившего на целый этаж под землю.

Я судорожно сжимал виски ладонями, мне казалось, будто голова моя сейчас расколется, дрожь по-прежнему колотила меня. И в то же время самые нелепые мысли копошились в мозгу. Я возмущался тем, что кто-то опрокинул мой стакан и он откатился в сторону, на несколько шагов от меня. Я никак не мог понять, почему Момо, обхватив голову обеими руками, лежит ничком на полу, уткнувшись лицом в каменные плиты, и почему Мену так трясет его за плечи, а сама широко раскрывает рот, но не издает при этом ни звука.

Впрочем, слова «вой», «грохот», «раскаты грома» не дают ни малейшего представления о силе обрушившегося на нас шума. Я не могу уточнить теперь, сколько времени он длился. Вероятно, несколько секунд. Я заметил, что он оборвался, только когда меня внезапно перестало трясти и Колен, сидевший все это время на полу по правую от меня руку, прошептал мне что-то на ухо, из чего я различил только одно слово — «шумище». Мне послышалось также какое-то жалобное подвывание. Это скулил Момо.

Я осторожно отвел ладони от мучительно ноющих ушей, и стоны Момо стали громче, я услышал также, как Мену уговаривает и утешает его на местном диалекте. Потом скулеж Момо прекратился. Мену замолчала, и после нечеловеческого грохота, обрушившегося на нас, в подвале залегла тишина, такая неестественно глубокая, такая мучительная, что и меня охватило желание завыть. Казалось, именно этот неистовый грохот поддерживал меня, а теперь, когда он стих, я словно повис в пустоте.

Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и поле моего зрения настолько сузилось, что, кроме Момо и Мену, которые лежали рядом со мной на полу, я никого не видел, даже Колена, хотя, как он утверждал впоследствии, он за все это время не сдвинулся с места.

Меня охватило чувство ужаса, порожденное, как ни странно, наступившей тишиной. Я задыхался, весь покрылся испариной. Я снял, вернее, сорвал с себя пуловер, который надел, отправляясь в подвал. Но я не испытал почти никакого облегчения. Крупные капли пота текли у меня по лбу, скатывались по щекам, струились по груди и вдоль спины. Меня мучила безумная жажда, губы запеклись, во рту так пересохло, что язык прилип к нёбу.

Спустя мгновенье я заметил, что сижу с открытым ртом и дышу часто и прерывисто, как охотничий пес, но ощущение удушья от этого не проходит. Меня вдруг подмяла волна нечеловеческой усталости, и, сидя на полу, привалившись спиной к бочке, я почувствовал, что не в силах даже шевельнуться, вымолвить хоть слово.

Все хранили полное молчание. В подвале царила немота склепа, нельзя было уловить ни единого звука, кроме тяжкого, свистящего дыхания. Правда, теперь я различал лица друзей, но как бы сквозь туман, да к тому же я совсем ослаб, меня мутило, как перед обмороком. Я закрыл глаза. Усилие, которое потребовалось, чтобы оглянуться вокруг, исчерпало мои последние силы. Я ни о чем не думал, не задавал себе никаких вопросов, даже не попытался понять, почему я задыхаюсь. Как смертельно раненный зверь, я беспомощно забился в угол, обливаясь ручьями пота, прерывисто и тяжело дыша, и сердце мое затопила смертная тоска. Я был совершенно уверен, что умираю.

Внезапно передо мной возникло лицо Тома, постепенно черты его становились все более отчетливыми. Он был до пояса голый, бледный как полотно и весь взмок от пота. Он выдохнул:

— Раздевайся!

Я удивился, что сам не додумался до этого. Я снял с себя рубашку и майку. Тома помог мне. К великому счастью, я не надел сапог с ботфортами, потому что даже с помощью Тома мне не удалось бы стащить их с ног. Каждое движение стоило неимоверного труда. Я трижды делал передышку, снимая с себя брюки, и стянул их только благодаря Тома.

Почти касаясь губами моего уха, он проговорил:

— Термометр... над краном... семьдесят градусов...

Я отчетливо расслышал каждое его слово, но не вдруг сообразил, что Тома по градуснику, висящему над водопроводным краном, определил: температура в подвале поднялась с +13 до +70° С. Мне сразу стало легче. Я понял, что умираю не от какой-то неведомой болезни, а умираю от жары. Слова «я умираю» для меня все еще оставались образом. Я не в состоянии был даже представить себе, что температура в подвале может подняться еще выше и стать действительно смертельной. Ведь ничто в моем предшествующем жизненном опыте не подсказыва-

ло мне такой ситуации, когда кто-то погиб от жары в подвале.

Мне удалось встать на колени и ценою невероятного напряжения доползти на четвереньках до бака, где мы полоскали бутылки. Уцепившись обеими руками за его край — в глазах у меня было темно, я задыхался, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди,— я приподнялся, встал на ноги и погрузил голову и руки в воду. И сразу же меня охватило восхитительное ощущение свежести, вероятно, вода в баке еще не успела нагреться. Я простоял так довольно долго и не захлебнулся, конечно, лишь потому, что уперся ладонями в дно бака,— это удерживало меня на поверхности. Тут только я заметил, что глотаю эту грязную, смешанную с вином воду, оставшуюся здесь после мытья бутылок. Зато теперь я мог держаться на ногах и довольно отчетливо видел своих приятелей. Кроме Колена — а он, вероятно, слышал, что сказал мне Тома,— все были по-прежнему одеты. Пейсу вроде бы спал, глаза его были закрыты. Просто непостижимо, но Момо все еще был в своем толстом свитере. Он неподвижно лежал на полу, голова его покоилась на коленях Мену. А сама Мену с закрытыми глазами сидела, прислонившись к бочке, и ее бескровное худое лицо казалось сейчас лицом покойницы. Совсем обессилевший Мейсонье смотрел на меня глазами, полными отчаяния. Я понял, что он видел, как я пил, и сам умирает от жажды, но не в силах добраться до бачка.

Я сказал:

— Разденьтесь все!

Я надеялся произнести эти слова внушительно и твердо, но не узнал собственного голоса. Так он был беззвучен и слаб.

И я добавил с какой-то дурацкой вежливостью:

— Очень прошу вас!

Пейсу не шевельнулся. Мену подняла веки и начала было стаскивать свитер с Момо, но это оказалось ей не по силам, и, обливаясь потом, она снова осела у круглого ската бочки. Она дышала, как-то особенно страшно и мучительно открывая и закрывая рот, точно рыба, выброшенная из воды. Мейсонье взглянул на меня, и его пальцы начали расстегивать рубашку, но двигались они с такой медлительностью, что я понял: никогда ему не расстегнуть ее до конца...

Сам я снова сполз на пол и сидел теперь у бачка, тяжело дыша, но не отводя взгляда от полных отчаяния глаз Мейсонье, готовый помочь ему, если только у меня достанет на то сил. Приподнявшись на локте, я натолкнулся на металлический ящик с шестью гнездами, в котором Момо подтаскивал бутылки от Мену ко мне. Я насчитал в нем шесть бутылок. Голова моя работала так вяло, что мне пришлось их пересчитывать дважды. Я вытащил бутылку, что была поближе. Она показалась мне ужасно тяжелой. Напрягая последние силы, я поднес ее к губам, и я пил и пил, с удивлением думая, чего ради мне было глотать грязную воду, когда вокруг столько вина. Вино оказалось горячим и терпким. Я выпил почти половину бутылки. И сразу же меня прошиб пот, он катился со лба так обильно, что даже мои густые брови были ему не помехой. Пот заливал мне глаза, слепил. И тем не менее вино настолько подкрепило меня, что я смог направиться к Мейсонье уже не на четвереньках, а ползком на левом боку, держа в правой руке початую бутылку.

Тут только я заметил, что каменный пол подо мной раскалился. Чтобы немножко отдышаться, я остановился. Я весь взмок от пота, будто только что вылез из ванны. Откинув голову назад, чтобы по́том не заливало глаз, я увидел над собой стрельчатые своды потолка. В слабом свете трудно было рассмотреть его хорошенько, но мне показалось, будто своды, раскаленные добела, сверкают. Все так же задыхаясь и глядя, как на обжигающие плиты пола с меня ручьями стекает пот, я ошалело подумал, что мы сейчас словно цыплята, сунутые жариться в печь,— у них уже вздулась кожа и обильно сочится жир. И даже в ту минуту, сумев довольно точно определить наше положение, я воспринимал это как некий образ. Логическое мышление отказало, я не мог представить себе, что́ произошло там, наверху. Более того, если бы у меня нашлись силы открыть створки обеих дверей, ведущих в коридор со сводчатым потолком, подняться по лестнице и выбраться наружу, я бы непременно сделал это, в полном убеждении, что, как и час назад, меня встретит там все та же прохлада.

Ползком добравшись до Мейсонье, я протянул ему бутылку, но тут же понял, что он ее не удержит. Тогда я сунул горлышко в его пересохшие, слипшиеся губы. Сперва вино лилось мимо, но, как только нёбо увлажни-

лось, губы алчно стиснули стекло бутылки, и он начал глотать быстрее. Я испытывал огромное облегчение, видя, как пустеет бутылка, мне стоило колоссального напряжения удерживать ее у рта Мейсонье, и у меня едва хватило мочи отставить ее в сторону, когда он ее прикончил. Мейсонье повернулся ко мне, но не проронил ни звука, он смотрел на меня так жалобно, с такой по-детски трогательной благодарностью, что, будучи и сам в состоянии крайней слабости, я едва удержался от слез. Но в это же время сознание, что я хоть чем-то облегчил его положение, придало мне духу. Я помог Мейсонье раздеться. Затем я подсунул под него, чтобы не так жгли плиты пола, его одежду, сам пристроился сбоку, мы сидели с Мейсонье рядом, привалившись к бочке, наши головы соприкасались, и тут я, должно быть, на несколько секунд потерял сознание, потому что, очнувшись, не сразу понял, где я и что я тут делаю. Все передо мной расплывалось, дрожало мутными пятнами, и я решил, что это пот застилает мне глаза. Сделав над собой огромное усилие, я попытался протереть их. Но мутная пелена не спадала, а сил у меня больше не было.

Когда наконец я вновь обрел четкость зрения, я увидел, что Колен и Тома хлопочут вокруг Пейсу, стоя на коленях, раздевают его и пытаются напоить; с трудом повернувшись направо, я обнаружил Момо и его мать: они лежали совершенно голые бок о бок, веки у Мену были опущены и она вся скорчилась, напоминая те доисторические скелетики, что находят при раскопках курганов. Я мельком подумал, как хватило у нее сил раздеться самой, а главное — раздеть сына, но эта мысль тут же улетучилась, я уже обдумывал план, поглощавший все мои силы: доползти до бака с водой и погрузиться в него по самую шею. Не представляю, как мне удалось осуществить свое намерение, но тем не менее по раскаленным плитам пола я дополз до бачка и теперь делал отчаянные попытки залезть в него. Чтобы помочь себе, я оперся было левой ладонью о стенку и тут же отдернул руку, словно от раскаленного докрасна железа. Но видимо, я все же преуспел в своем начинании, потому что опомнился уже в воде: я сидел, высоко подтянув колени, и упирался в них подбородком так, что голова торчала из воды. Вспоминая об этом купанье, я ничуть не сомневаюсь, что то была самая горячая ванна, когда-либо принятая мною в жизни,

но в ту минуту, погрузившись в воду, я испытал лишь сладостное ощущение поразительной свежести. Время от времени я большими глотками пил эту воду. Потом я, вероятно, вздремнул и проснулся внезапно, вздрогнув всем телом, когда дверь в подвал распахнулась и на пороге появился человек.

Я смотрел на него. Он сделал два шага вперед, и его качнуло. Человек был гол. От волос и бровей у него ничего не осталось, а багровое тело раздулось так, будто его продержали несколько минут в кипятке. Но страшнее всего — у меня даже похолодело все внутри — были окровавленные лохмотья кожи, свисавшие с его груди, боков и ног. И все-таки, уж не знаю каким чудом, человек держался на ногах, и, хотя вместо лица у него было кровавое месиво, я узнал его по глазам. Это был Жермен, мой рабочий из «Семи Буков».

Я крикнул:

— Жермен!..

И тут, словно он только и ждал моего зова, Жермен тяжело рухнул на пол и застыл неподвижно, распластавшись на плитах, вытянув ноги и широко раскинув руки. В то же самое время в распахнутую дверь ворвался и устремился прямо на меня поток такого раскаленного воздуха, что я решил вылезти из своего бака и закрыть дверь. И удивительное дело: я добрался до двери ползком или, возможно, на четвереньках, не помню, и навалившись всей тяжестью тела на массивную дубовую дверь, с огромным облегчением заметил, что она наконец поддалась и язычок замка щелкнул, войдя в свое гнездо.

Я задыхался, я исходил потом, раскаленные плиты пола жгли тело, и я с невыразимой тоской думал, что вряд ли сумею вновь добраться до бака. Я стоял на четвереньках, опустив голову, всего в нескольких шагах от Жермена, но у меня не было сил доползти до него. Впрочем, это было бесполезно. Я уже знал, что Жермен мертв. И в этот самый миг, на грани полного изнеможения, не в силах поднять голову и оторвать от раскаленного пола обожженные колени и локти, борясь против искушения сдаться и умереть, я, глядя на труп Жермена, в каком-то внезапном озарении вдруг понял, что нас окружает бушующий океан огня и все, что населяло землю — люди, животные, растения,— погибло в его пламени.

ГЛАВА IV

Сейчас, перечитав написанное, я обнаружил в своем рассказе кое-какие пробелы и неточности. Так, например, я подумал о том, как же удалось несчастному, умирающему Жермену, с которого огнем содрало не только одежду, но и кожу, добраться к нам в Мальвиль. Вернее всего, получив неожиданно какой-то срочный заказ от одного из наших клиентов и зная, что до меня сейчас не дозвониться, поскольку я разливаю вино в подвале, Жермен отправился к нам на мотоцикле и взрыв застал его при въезде в Мальвиль, то есть когда он уже в какой-то мере был защищен скалой от огненного смерча. Пронесшись вихрем с севера на юг, смерч только лизнул его краешком исполинского языка. Вероятно, лишь этим можно объяснить, что Жермен не был испепелен тут же на месте, как жители Мальжака, от которых под слоем пепла уцелели одни обуглившиеся кости.

Если бы Жермен всего на несколько секунд раньше попал во внутренний двор донжона, возможно, он остался бы в живых. Ведь сам замок пострадал в общем не слишком сильно. Огромный утес, прикрывающий Мальвиль с севера, заслонил его от огненного смерча своей громадой. Поразило меня также и следующее: как только в подвал ворвался бешеный грохот поезда (повторяю, сравнение это кажется мне смехотворным), сопровождавшийся адской жарой, меня и моих приятелей словно бы парализовало, атрофировались мышцы, речь и даже мысль. Мы почти не говорили, а двигались и того меньше, и самое удивительное — до появления Жермена я не имел ни малейшего представления о том, что же произошло наверху. Но даже и после этого мой мозг работал настолько вяло, что я не способен был ни к каким логическим обобщениям, никак не мог увязать между собой внезапное отключение электричества, упорное молчание радиостанций с нечеловеческим грохотом и чудовищным скачком температуры.

Вместе со способностью логически мыслить я потерял и ощущение времени. Даже сейчас я не могу сказать, сколько времени прошло с момента, когда погас свет, до той минуты, как распахнувшаяся дверь пропустила в подвал Жермена. Думаю, объясняется это выпадениями восприятия действительности, я то и дело куда-то проваливался, а вынырнув, слишком тупо реагировал на происходящее.

Утратил я также всякое представление о нравственных нормах. Правда, утратил не сразу, ведь я все-таки изо всех сил старался помочь Мейсонье. Но это было как бы последним проблеском. Тогда мне даже в голову не пришло, что я действую не по-товарищески, завладев единственным баком с водой,— я залез в него и долго сидел там. Но с другой стороны, если бы я не сделал этого, разве достало бы у меня духу ползком добраться до двери, распахнутой Жерменом, и закрыть ее? Позже я сообразил, что никто из моих друзей не сдвинулся с места, хотя их полные страдания глаза были обращены к зияющему просвету двери.

Я уже говорил, что в полном изнеможении, свесив голову, стоял на четвереньках всего в каком-нибудь метре от Жермена, но у меня не хватило силы доползти до него. Честнее будет сказать: не хватило мужества, поскольку до облюбованного мною бака с водой я все-таки сумел добраться. В сущности, я был еще под впечатлением только что пережитого ужаса, когда перед нами вдруг предстало разбухшее, кровоточащее тело Жермена, на котором, словно клочья разорванной в драке рубахи, болтались лохмотья кожи. Жермен и вообще-то был широкоплечий и высокий, но в ту минуту, оттого ли, что я смотрел на него снизу, или оттого, что тень его на сводах потолка в мерцании свечей разрослась до невероятных размеров, мне почудилось, будто в подвал вошла сама чудовищно огромная смерть, а не жалкая ее жертва. Кроме того, Жермен еще держался на ногах, а все мы от слабости не могли подняться с пола. И к тому же он шатался, сверля меня своими голубыми глазами, и в этом тоже мне мерещилась угроза: вот сейчас он рухнет и погребет меня под собой.

Я снова добрался до бака с водой, но на этот раз отказался от своего намерения погрузиться в него, так как, опустив руку, обнаружил, что вода слишком нагрелась. Мне следовало бы сообразить, что это ощущение обманчиво и в действительности просто воздух в подвале начал охлаждаться, но, конечно, подобное умозаключение в ту минуту было мне не по плечу и я даже не взглянул на висевший над краном термометр. Только одна мысль сверлила мозг: избежать прикосновения раскаленных плиток пола. Не без труда взобрался я на стоявшие бок о бок две винные бочки и удобно расположился на них: улегся поперек ложбинки, образованной крутыми скатами этих бо-

чек, так что туловище мое возвышалось над одной из них, а ноги свешивались с другой. Прикосновение к дереву дало мне обманчивое ощущение прохлады и облегчения, но длилось это недолго, страдания мои возобновились, хотя теперь это были страдания иного рода. Я уже не обливался потом и не задыхался, как раньше, но ладони рук, колени, бедра — словом, все части моего тела, которые соприкасались с полом, сейчас нестерпимо горели. Я услышал где-то рядом жалобные негромкие стоны, с тревогой прислушался к ним, мельком подумал о своих приятелях и вдруг со стыдом обнаружил, что стонут не они, а я сам. Но осознал я это много позже. Нет ничего субъективнее боли, муки, которые я тогда испытывал, вряд ли соответствовали тяжести моих довольно поверхностных ожогов. Едва, собравшись с силами, я начал действовать, как начисто забыл о них. Боль от ожогов, видимо, была вполне терпимой, так как вскоре я уснул и проспал, вероятно, довольно долго: проснувшись, я заметил, что толстые свечи в ближних к нам бра догорели и кто-то зажег новые, подальше. Тут только я понял, что страшно замерз, тело было совсем ледяное, особенно застыла спина. У меня зуб на зуб не попадал. Поискав взглядом свою одежду и не обнаружив ее, я решил слезть со своего насеста, чтобы пойти взглянуть на градусник. Каждый шаг был для меня настоящей пыткой, мышцы ног одеревенели, их сводило судорогой, нестерпимо ныли обожженные ладони. Термометр показывал +30°, но напрасно я себе внушал, что при такой температуре смешно дрожать от холода, дрожь не унималась. Разум оказался бессилен. Возвращаясь на свое место, я увидел, что Пейсу встал и, опираясь на бочку, натягивает на себя одежду. Странное дело, я видел лишь его одного, хотя остальные пятеро тоже были здесь. Казалось, мои воспаленные глаза в состоянии охватить только один предмет.

— Одеваешься? — тупо спросил я.

— Да, — ответил он слабым, но своим обычным голосом. — Одеваюсь. Пора возвращаться домой. Иветта, наверное, беспокоится.

Я взглянул на него. Когда Пейсу заговорил о своей жене, мысли мои мгновенно прояснились. Удивительная вещь, но озарившая меня истина имела свою окраску, форму и температуру. Она была белоснежно-белая, холодная как лед и точно лезвие ножа полоснула мне по серд-

Я смотрел, как одевается Пейсу, и лишь теперь с беспощадной ясностью осознал, какое событие мы только что пережили.

— Ты что на меня уставился? — задиристо спросил Пейсу.

Я опустил голову. Не знаю почему, но я почувствовал, что ужасно виноват перед ним.

— Да ничего я не уставился, старина, — ответил я слабым голосом.

— Нет, уставился, — повторил он все так же воинственно, но руки его до того дрожали при этом, что он никак не мог натянуть штаны.

Я ничего не ответил.

— Чего уставился-то? Может, скажешь, нет? — снова повторил он, устремив на меня полный ненависти взгляд. Но сам он был так слаб, что гнев его вызывал только жалость.

Я молчал. Мне хотелось заговорить, но сказать было нечего. Я обвел подвал взглядом, как бы ища поддержки. И на этот раз увидел своих товарищей. Или, вернее, увидел каждого в отдельности, одного за другим, это стоило мне такого мучительного напряжения, что меня даже затошнило.

Мертвенно-бледная Мену сидела, положив себе на колени голову Момо, и легким движением поглаживала его по сальным волосам. Мейсонье и Колен с отрешенным видом неподвижно сидели рядом, закрыв глаза. Тома стоял, прислонясь к бочке, в одной руке он держал транзистор Момо с освещенным экраном, другой как-то удивительно медленно вертел регулятор настройки, водя по шкале из конца в конец стрелкой, тщетно ощупывая мир в поисках человеческого голоса. Сейчас напряженное его лицо не только чертами напоминало статую, оно казалось таким же беломраморным.

Никто из моих приятелей не ответил мне взглядом. И вдруг, как сейчас помню, я смертельно на них обиделся, во мне поднялось то же чувство бессильной ненависти, с какой Пейсу только что смотрел на меня. Подобно тому как новорожденный кричит от боли, впервые глотнув воздуху, так и мы, пережившие, каждый в одиночку, эти долгие мучительные часы, сейчас с великим трудом преодолевали барьер отчужденности, вступали в контакт друг с другом.

Мне в душу прокралось подленькое искушение разрешить Пейсу действовать, как ему заблагорассудится. Помнится, я даже про себя прошептал что-то удивительно пошлое: «Раз уж так приспичило, скатертью дорога! Одним меньше...» Собственная низость до того меня поразила, что я тут же перекинулся в другую крайность и слезливо пробормотал: «Бедный, бедный, старый мой дружище Пейсу!»

Я поник головой. Я был в полной растерянности. Я не узнавал себя, и то и другое было мне абсолютно не свойственно. Я проговорил робко, словно чувствуя за собой какую-то вину:

— Может быть, выходить еще опасно?

Едва успев произнести эту фразу, я понял, как нелепо она звучит применительно к случившемуся. Но даже эти безобидные слова привели Пейсу в бешенство, стиснув зубы, он злобно проговорил, хотя голос его был так же слаб, как и мой:

— Опасно? Это почему же опасно? Тебе-то откудова это знать?

Но слова его прозвучали как-то фальшиво. Будто он разыгрывал комедию. Я слишком хорошо понимал какую, и мне захотелось плакать. Я снова опустил голову, и тут на меня опять накатила волна неодолимой усталости, сломившей во мне последнюю волю. Из этого состояния меня вывели глаза Пейсу. В них по-прежнему горела злоба, но где-то в глубине затаилась мольба. Его взгляд молил меня промолчать, оставить его в ослеплении, словно мои слова обладали властью сотворить из разрозненных обрывков одно огромное горе, его горе.

Теперь-то я уверен, что он понял все, равно как и Колен и Мейсонье. Но если те двое пытались отстранить от себя нестерпимо жестокую правду, застыв в безвольной неподвижности и оцепенении, то Пейсу, напротив, не мог усидеть на месте, ему нужно было действовать наперекор здравому смыслу, бежать очертя голову к своему родному дому, уже обращенному в пепел.

Я составил в уме несколько фраз и почти остановился на одной: «Сам подумай, Пейсу, если судить по температуре в подвале...» Но нет, разве вымолвишь такое? Все было и без того слишком ясно. Я снова опустил голову и твердо произнес:

— Тебе нельзя идти в таком состоянии.

— Уж не ты ли это мне запретишь? — запальчиво воскликнул Пейсу. Голос его был все так же бесцветен и слаб, но при этом он делал жалкие попытки расправить свои богатырские плечи.

Я ничего не ответил. Уже некоторое время в нос и в глотку мне лез какой-то непонятный сладковато-тошнотворный запах. Когда погасли оба светильника — в каждый было вставлено по две толстые свечи,— кто-то, вернее всего Тома, зажег третий светильник, и теперь та часть подвала, где находился я, поблизости от крана, почти полностью погрузилась во мрак. Я не сразу понял, что преследующий меня запах исходит от едва различимого в темноте трупа Жермена, лежавшего на полу у самой двери.

Я дошел до того, что просто забыл, что он и сейчас там, как будто впервые его увидел. Пейсу, не спускавший с меня полных ненависти и мольбы глаз, проследил за моим взглядом и, увидев труп, на мгновенье будто окаменел. Потом он быстро и как-то стыдливо отвел глаза, делая вид, что ничего не заметил. Единственный из всех нас он был одет и, хотя путь к двери был свободен и я не в силах был помешать ему, не двинулся с места.

Я снова проговорил убежденно, но без нажима:

— Вот видишь, Пейсу, ты не можешь идти в таком состоянии.

Мне не следовало этого говорить, мои слова только подстегнули его, и он сделал несколько нетвердых и не слишком решительных шагов куда-то вбок, в сторону двери.

В эту самую минуту я получил поддержку оттуда, откуда меньше всего ее ждал. Мену, приоткрыв глаза, сказала на местном диалекте так, как если бы она хлопотала у себя на кухне во въездной башне, а не валялась сейчас на полу в подвале голая, бледная до синевы:

— Послушай-ка, долговязик миленький, ведь Эммануэль-то правильно говорит, нельзя тебя так отпускать, надоть сначала чуток перекусить.

— Что ты, что ты,— ответил ей Пейсу тоже по-местному.— Спасибо, но мне ничего не надо. Спасибо.

Но он остановился, попав в ловушку крестьянских потчеваний, с их сложным ритуалом отнекиваний и согласий.

— Нет уж, уважь, откушай чего-нибудь,— продолжала Мену, разыгрывая шаг за шагом всю церемонию, предусмотренную обычаем,— вреда тебе от этого не будет, от-

ведай хоть самую малость. Да и нам тоже не мешает подкрепиться. Господин Культр,— продолжала она, обращаясь к Тома уже по-французски,— позвольте-ка ваш ножичек.

— Я же тебе говорю: мне ничего не надо,— продолжал твердить Пейсу, но слова старухи были для него великой отрадой, он и смотрел на Мену с детской благодарностью, цепляясь за нее, за тот привычный, близкий, такой спокойный, внушающий доверие мир, который она воплощала.

— Ну уж нет, так просто я тебя не отпущу,— продолжала Мену с невозмутимой уверенностью, на которую он сразу поддался.— Ну-ка, пусти,— сказала она, сталкивая со своих колен голову Момо,— дай-ка я встану.— Но, так как Момо, жалобно подвывая, вцепился ей в колени, она звучно хлопнула его по щеке и добавила на местном диалекте:— А ну хватит, дурачина.

До сих пор для меня загадка, откуда в этом тщедушном теле такой неиссякаемый запас сил, ибо, когда она поднималась с пола, голая и щупленькая, особенно заметно стало, что вся она только кожа да кости. Но она без посторонней помощи размотала нейлоновый шнурок, на котором у нас над головой висел окорок, опустила его и сняла с крюка, а Момо с бледным, перепуганным лицом смотрел на мать и, всхлипывая тихонько, звал ее, как малый ребенок. Когда она вернулась обратно и, положив окорок на бочку, сняла с него кожу, Момо перестал хныкать; засунув в рот большой палец, он с упоением принялся его сосать, окончательно впав в детство.

Я смотрел, как Мену, отчаянно превозмогая слабость, нарезает небольшие, но толстые ломтики ветчины, крепко вцепившись худыми пальцами в торчащую из окорока кость, чтобы не дать ему соскользнуть с бочки. Вернее, я рассматривал ее тело. Как я и предполагал, старуха действительно не нуждалась в лифчике — там, где полагается быть груди, у нее висели два крошечных мешочка иссохшей сморщенной кожи. Живот был втянут, тазобедренные кости резко выступали вперед, лопатки торчали наподобие крыльев, а тощие ягодицы были размером с кулачок. Обычно, когда я произносил «Мену», это было только имя, окрашенное для меня любовью, уважением, порой досадой — из чего складывались наши с ней отношения. Сегодня, впервые увидев ее голой, я понял, что «Мену» — это еще и тело, и, возможно, тело единственной

оставшейся на земле женщины; и, глядя на эту жалкую, немощную плоть, я преисполнился великой печали.

Мену положила ломтики ветчины на правую ладонь, как колоду карт, и оделила нас всех, начав с меня и кончив своим сыном. Получив свою долю, он с негромким рычанием целиком засунул кусок в рот да еще затолкнул поглубже пальцами. Он сразу же побагровел и, конечно, задохнулся бы, но мать, разжав ему силой челюсти, запустила свою худую руку ему в глотку и вытащила оттуда ветчину, затем ножичком Тома разрезала обслюнявленный ломоть на мелкие кусочки и один за другим стала вкладывать их в рот Момо, ругая его и хлопая по щекам всякий раз, как он прикусывал ей пальцы.

Я безучастно наблюдал эту сцену, мне было ни смешно, ни противно. Едва на ладонь мне шлепнулся ломоть ветчины, рот у меня наполнился слюной, и, зажав кусок обеими руками, я впился в него с неменьшим сладострастием, чем Момо. Ветчина была ужасно соленая, и, поглощая сейчас эту соль — о свинине я уже не говорю,— я чувствовал себя на верху блаженства. Я заметил, что все мои приятели, в том числе и Пейсу, ели с такой же жадностью, как и я, все старались держаться поодаль друг от друга, настороженно и даже злобно озираясь, будто опасались, что у них отнимут их долю.

Я разделался с ветчиной первым и, найдя взглядом ящик с бутылками вина, убедился, что он пуст. Значит, не я один утолял свою жажду вином. Это доставило мне даже некоторое облегчение, так как меня уже начинали мучить угрызения совести, что я один и так долго пользовался бачком. Я взял две пустые бутылки, направился к бочке с вином, наполнил их, потом раздал стаканы, даже не вспомнив, что один из них был захватан грязными пальцами Момо, и пустил вино по кругу. Мои приятели пили, так же как и ели, в полном молчании, но их запавшие, часто моргающие глаза были обращены к окороку, лежащему на бочке, о которую опиралась Мену, нарезая его. Старуха прекрасно поняла значение этих взглядов, но сердце ее не дрогнуло. Допив свое вино, она привычными, точными движениями натянула на остатки ветчины кожу и подвесила окорок на прежнее место, вне пределов досягаемости, высоко над нашими головами. Кроме Пейсу, мы все еще были раздеты и, стоя в полном молчании на подгибающихся от слабости ногах, уставившись

горящими, жадными глазами на мясо, подвешенное к темному высокому потолку, мало чем отличались от первобытных людей, живших неподалеку от Мальвиля в пещере мамонтов в долине Рюны в те далекие времена, когда человек только-только становился человеком.

Колени и ладони у меня все так же ныли, но силы и ясность мысли постепенно возвращались ко мне, и тут я подумал, как мало мы вообще говорим и как старательно обходим молчанием свершившееся. И впервые я застеснялся своей наготы. Мену, должно быть, испытала то же чувство неловкости, потому что хоть и вполголоса, но весьма неодобрительно сказала:

— Да как же это я так!

Произнесла она эти слова по-французски, на языке официальных вежливых формул. И начала тут же одеваться, а за ней и все остальные, но, одеваясь, Мену продолжала уже на местном диалекте, громко и совсем другим тоном:

— Ведь не такая уж я красавица, чтобы соблазнять добрых людей.

Одеваясь, я украдкой поглядывал на Колена и Мейсонье и избегал смотреть на Пейсу. Лицо Мейсонье с впалыми щеками неправдоподобно вытянулось, он безостановочно моргал глазами. Губы Колена по-прежнему были растянуты в улыбку, казалось, она так и застыла у него на лице, но стала какой-то искусственной, совсем не вязавшейся с той тоской и болью, которая читалась в его глазах. А Пейсу, хотя теперь у него больше не было никакой зацепки, чтобы сидеть здесь — ведь он и поел, и выпил,— по-видимому, не собирался уходить, но я боялся даже взглянуть в его сторону, чтобы не натолкнуть его на прежние мысли. Его добрые толстые губы дрожали, щека конвульсивно дергалась, он стоял с безжизненно повисшими руками, слегка согнув колени, то был человек, утративший последние проблески надежды, полумертвый от горя. Я подметил, что он то и дело поглядывает на Мену, словно ждет от старухи совета, как ему следует поступить.

Я подошел к Тома. Его лицо виделось мне как в тумане, в этом углу погреба было совсем темно.

— Как по-твоему,— спросил я тихо,— выходить еще опасно?

— Если ты имеешь в виду температуру воздуха, то нет. Она упала.

— А что, ты еще чего-то опасаешься?

— Конечно. Радиоактивных осадков.

Я уставился на него. Мне даже не приходила в голову мысль о радиации. У Тома, как я понял, не было никаких сомнений в истинной природе взрыва.

— Тогда лучше обождать?

Тома пожал плечами. Его лицо было безжизненным, и говорил он бесцветным, прерывающимся голосом.

— Осадки могут выпасть и через месяц, и через два, и через три...

— Как же тогда быть?

— Если не возражаешь, я схожу за счетчиком Гейгера, он у тебя в шкафу. Тогда сразу все будет ясно. По крайней мере на данный момент.

— Но ты можешь облучиться!

Ни один мускул не дрогнул на этом лице мраморной статуи.

— Видишь ли,— ответил он все тем же тусклым, каким-то механическим голосом,— в любом случае наши шансы выжить весьма невелики. Без флоры и фауны все равно долго не протянешь...

— Потише, пожалуйста,— шепнул я, заметив, что мои приятели, не осмеливаясь подойти ближе, прислушиваются к нашему разговору.

Я молча вынул из кармана ключ от шкафа и протянул Тома.

Тома очень медленно натянул на себя дождевик, перчатки, надел каску мотоциклиста и огромные очки с темными стеклами. В этом одеянии выглядел он довольно зловеще — каска и дождевик были черного цвета.

— Ты считаешь, это может предохранить?— спросил я сдавленным голосом, касаясь его рукой.

Глаза из-за темных стекол смотрели на меня по-прежнему хмуро, но подобие саркастической улыбки мелькнуло на неподвижном лице.

— Будем считать, что так все-таки безопасней, чем в голом виде.

Как только Тома закрыл за собой дверь, ко мне подошел Мейсонье.

— Что он собирается делать?— тихо спросил он.

— Измерить радиоактивность.

Мейсонье смотрел на меня в упор своими запавшими глазами. Губы у него дрожали

— Он думает, это бомба?
— Да.
— А ты?
— Я тоже.
— Так...— протянул Мейсонье и замолчал.

Он ничего не добавил к этому «так». Он даже перестал мигать и опустил глаза. Его длинное лицо казалось сейчас совсем восковым. Я перевел взгляд на Колена и Пейсу. Они смотрели на нас, не решаясь подойти. Раздираемые противоположными чувствами — желанием все узнать и ужасом услышать самое страшное,— они словно впали в столбняк. Их лица не выражали ничего.

Минут через десять вернулся Тома в наушниках и со счетчиком Гейгера в руках.

Он отрывисто бросил:

— Во внутреннем дворе радиации нет. Пока нет.

Затем, опустившись на колени перед Жерменом, он провел счетчиком вдоль его тела.

— Тоже нет.

Обернувшись к своим приятелям, я произнес решительным тоном:

— Сейчас мы с Тома поднимемся в донжон и постараемся уточнить, что именно произошло. До нашего возвращения из подвала не выходить. Мы вернемся через несколько минут.

Я ждал возражений, но все промолчали. Они находились в том состоянии прострации, тупого оцепенения и растерянности, когда безропотно выполняется любой приказ, отданный властным тоном. Теперь я был уверен, что никто из них в наше отсутствие не покинет подвала.

Как только мы выбрались наружу, Тома знаком велел мне не двигаться с места, а сам начал методично прочесывать счетчиком маленький двор между донжоном, ренессансным замком и подъемным мостом. Стоя у двери подвала, я с пересохшим горлом наблюдал за его действиями. Меня сразу же обволокла жара, температура здесь действительно была много выше, чем в подвале. В этом можно было убедиться, взглянув на термометр, который я захватил с собой, но я почему-то не стал этого делать.

Небо было свинцово-серым, все вокруг подернуто тусклой мглой. Я взглянул на часы, они показывали 9 часов 10 минут. Пробиваясь мыслью, словно сквозь вату, я тупо пытался понять, что́ у нас сейчас: вечер Дня Д или уже

наступило утро следующего дня. Совершив неимоверное, почти болезненное насилие над своей мыслью, я пришел наконец к выводу: на Пасху в 9 часов вечера уже темно, значит, сейчас утро — Д 2; таким образом, мы провели в подвале целые сутки.

Над головой не было больше ни сияющей синевы, ни плывущих облаков — темный, мертвенно-серый покров давил на землю, будто прикрывая ее колпаком. Слово «колпак» как нельзя лучше передавало ощущение духоты, тяжести, полумрака, как если бы небо действительно плотно накрыло нас. Я осмотрелся. На первый взгляд замок не пострадал, только в той части донжона, что слегка выступала над вершиной скалы, побурели опаленные пламенем камни.

С лица у меня снова ручьями полил пот, и тут только я догадался взглянуть на термометр. Он показывал +50°. На древних каменных плитах мощеного двора, там, где сейчас бродил Тома со своим счетчиком, валялись трупы полуобгоревших птиц — голубей и сорок. Это были постоянные обитатели галереи донжона, порой мне здорово досаждало и голубиное воркование, и сорочья трескотня. Теперь уж некому будет мне мешать. Кругом царила мертвая тишина, но, напрягши слух, я где-то очень далеко различил непрерывную череду свистящих и хлопающих звуков.

— И здесь ничего,— произнес, подходя ко мне, Тома, весь взмокший от пота.

Я понял, но, не знаю почему, его лаконичность меня разозлила. Воцарилось молчание. Тома стоял как вкопанный, напряженно вслушиваясь, и я нетерпеливо спросил его:

— Все еще продолжается?

Он взглянул на небо и ничего не ответил.

— Ну хватит, идем,— сказал я с плохо скрытым раздражением. Конечно, раздражение было вызвано крайней усталостью, отчаянием и нестерпимой жарой. Слушать людей, говорить с ними и даже смотреть на них — все было трудно сейчас. Я добавил:

— Схожу-ка я за своим биноклем.

В моей спальне, на третьем этаже донжона, жарища была одуряющая, но, как мне показалось на первый взгляд, все было цело и невредимо, расплавились только свинцовые переплеты окон, и свинец местами образовал потеки

на наружной стороне стекол. Пока я искал бинокль, обшаривая один за другим все ящики комода, Тома поднял телефонную трубку, поднес ее к уху и несколько раз нажал на рычаг. Обливаясь потом, я метнул на Тома злобный взгляд, будто упрекая его за то, что своим жестом он на какое-то мгновение зажег во мне искру надежды.

— Молчит,— сказал он.

Я гневно пожал плечами.

— Но все-таки нужно еще раз проверить,— сказал Тома даже вроде с какой-то досадой в голосе.

— Вот он, бинокль!— воскликнул я, несколько пристыженный.

И все-таки я не мог сейчас до конца побороть в душе бессильную злобную неприязнь к себе подобным. Повесив бинокль на шею, я стал подниматься по винтовой лестнице. Тома следовал за мною. От жары здесь можно было задохнуться. Несколько раз нога соскальзывала с истершихся каменных ступеней, я хватался правой рукой за перила, и от этого начинала гореть обожженная ладонь. Бинокль мотался у меня на груди. А ремень от бинокля давил шею. Поднявшись по винтовой лестнице, мы вышли на плоскую крышу донжона, но не увидели ничего, со всех сторон площадку окружала стена в два с половиной метра высоты. Узкие каменные ступеньки, выбитые в стене, вели на парапет в метр шириной, но без ограждения. С этого парапета, куда меня, двенадцатилетнего мальчишку, боялся пускать дядя, открывалась бескрайняя панорама окрестностей.

Я остановился, чтобы отдышаться. Неба не было. Все тот же свинцово-серый колпак висел над землей, закрывая ее до самого горизонта. Воздух в полном смысле слова был раскален, колени у меня дрожали, из последних сил карабкался я по ступеням, дыша прерывисто, со свистом, и капли пота, стекая с лица, падали на камни. Я не решился выбраться на парапет. Кто знает, сумею ли я сохранить равновесие. Так я и остановился на верхней ступеньке, Тома стоял ступенькой ниже.

Я обвел глазами округу и оцепенел. Должно быть, меня шатнуло, потому что я почувствовал, как рука Тома поддержала меня, прижав к стене.

Первое, что я увидел — для этого мне даже не понадобился бинокль,— была догорающая ферма «Семь Буков». Обвалившаяся кровля, обгоревшие двери и оконные рамы,

рухнувшие стены — вот все, что от нее осталось. Кое-где на фоне серого неба виднелись обуглившиеся руины и то здесь, то там, как колья, торчали из земли черные обрубки деревьев. Воздух был неподвижен. Черный густой дым столбом поднимался к небу, а внизу по земле еще пробегали длинные красные языки пламени, они то вспыхивали, то опадали, словно огонь в очаге.

Чуть дальше, по правую руку, я с трудом различил Мальжак. Церковная колокольня исчезла. Почта тоже. Обычно легко было распознать это одноэтажное нескладное здание, стоявшее на склоне холма у самой дороги в Ла-Рок. Казалось, будто кто-то ударил по поселку кулаком и, расплющив, придавил к земле. Нигде ни деревца. Ни черепичной крыши. Все пепельно-серое, лишь кое-где языки пламени, но и они, вспыхнув, почти тут же угасали.

Я поднес к глазам бинокль и настроил его дрожащими руками. У Колена и Мейсонье были в поселке дома, у одного в центре, у другого немного на отшибе, у спуска к Рюне. От дома Колена не сохранилось и следа, но по уцелевшему коньку крыши я установил местоположение дома Мейсонье. От фермы Пейсу, обсаженной великолепными елями, остался лишь низенький черный холмик.

Я опустил бинокль и тихо сказал:

— Больше ничего нет.

В ответ Тома молча склонил голову.

Следовало бы сказать «больше никого нет». Ведь с первого взгляда становилось ясно, что, кроме нескольких человек в Мальвиле, все живое в нашем краю погибло. Мне так давно и во всех подробностях был знаком пейзаж, открывающийся с донжона. Когда дядя впервые дал мне свой бинокль, мы провели на башне замечательный день с ребятами нашего Братства, растянувшись на парапете (я и сейчас ощущаю тепло нагретого солнцем камня), мы узнавали окрестные фермы, раскинувшиеся на склонах. Вот уж когда мы всласть покричали, похулиганили, распустили свои языки.

— Ну ты, старый кретин, взгляни-ка, ведь это же вроде Фавелар, вон там, между Бори и Вольпиньером.

— Ты что, офонарел? Это же самый настоящий Кюсак.

— Кюсак? Задница это твоя, а не Кюсак, хочешь — спорим на пачку «голуаз», это не Кюсак.

— Нет, Кюсак, он слева от Галина́, уж его-то я всегда узнаю по табачному складу.

А сейчас там, где с детства я привык видеть фермы Фавелар, Кюсак, Галина, Бори, Вольпиньер, а дальше за ними еще десятки других — я знал все их названия, но не всех их хозяев,— теперь остались лишь груды черных развалин, а вокруг догорали леса.

Чего-чего, а лесов в наших краях хватало. Если летом бросить с высоты донжона взгляд вниз, там до самого небосклона колыхалось темно-зеленое море тенистых и кудрявых каштановых деревьев, местами в них вклинивались сосняк и дубовые рощи, в долинах ровными рядами стояли тополя, и, хотя их высадили здесь с чисто практической целью, они живописно перерезали пейзаж вертикальными линиями. У каждой фермы высился одинокий провансальский кипарис, это было не простое дерево, его сажали ради собственного удовольствия и для пущей важности.

Теперь больше не было ни тополей, ни кипарисов, ни дубов, ни сосен. Бескрайние каштановые леса, которыми сплошь поросли холмы — разве что на вершине или на пологом скате оставались проплешины, и люди строили там себе жилье и распахивали луга,— наши знаменитые леса погибали в пламени, временами из этого пламени выныривали черные обуглившиеся колья и тут же умирали со свистом и треском, которые я услышал, выйдя из подвала. А вся махина рухнувших ветвей догорала у подножия холмов, так что казалось, будто пылает сама земля.

На дороге, ведущей к Рюне, немного ниже замка Рузи, тоже почерневшего и развороченного взрывом, я заметил дохлую собаку. Я рассмотрел ее во всех подробностях — дорога проходила поблизости, а бинокль у меня был очень сильный. Естественно, вы скажете: подумаешь, дохлая собака, когда погибло все человечество. Все это так, но разница между тем, что знаешь, и тем, что видишь, очень велика. Я знал, что в поселке и на фермах, разбросанных вокруг Мальвиля, сгорели, как факелы, тысячи живых существ, но труп этой собаки, не считая обгоревших птиц во дворе замка, был первым увиденным мною во всех деталях, и страшная картина этой гибели потрясла меня. Должно быть, выскочив откуда-то из-за забора или с хозяйского двора, собака бросилась по знакомой и привычной для нее дороге, но лапы ее тут же увязли в расплавленном гудроне и несчастное, намертво схваченное животное изжарилось на месте.

Не глядя на Тома, вернее просто не замечая его присутствия, словно теперь, после всего свершившегося порвались все связи между людьми, я полушепотом, не в силах удержать это маниакальное бормотание, твердил: «Какой ужас, какой ужас, какой ужас». Горло сжимало, будто тисками, руки тряслись, со лба, заливая глаза, катился пот, и, кроме вновь охватившего меня леденящего страха, в мозгу не было ни единой мысли. Налетел порыв ветра, я жадно вдохнул в себя воздух и тут же почувствовал, как в мою грудь с силой ворвался омерзительный запах тления и горелой плоти, и мне даже почудилось, что этот запах исходит от меня. Это было тошнотворно. Еще не умерев, я стал трупом, собственным трупом. Гнилостный, сладковатый и въедливый смрад вошел в меня и останется во мне,должно быть, до конца моих дней. Мир превратился в гигантскую братскую могилу. Кругом навалом одни трупы, а меня и моих товарищей оставили в живых, чтобы хоронить мертвецов и жить, вдыхая запах тления.

Заметив, что мысли мои начинают путаться, я обернулся и сделал знак Тома, что пора спускаться, и, уже очутившись на площадке, отгороженный высоким парапетом от затухавшего пожарища, я бессильно сполз на каменные плиты, опустошенный, раздавленный, не способный больше ни двигаться, ни чувствовать. Не знаю, сколько времени провел я в этом полузабытьи, когда еще сохраняются проблески сознания, но полностью исчезают и рефлексы, и воля.

Я почувствовал, как сбоку на меня надавило плечо Тома. Я повернулся к нему с неестественной медлительностью, удивившей меня самого, и увидел, что он пристально смотрит на меня. Я не сразу смог остановить на нем свой взгляд, но, взглянув ему в лицо, тотчас понял, о чем говорили глаза Тома, сейчас они говорили красноречивее слов, которые он, ослабев, как и я, не способен был произнести.

Я смотрел на губы Тома. Они совсем побелели и до того пересохли, что ему с трудом удалось расклеить их, он сумел вымолвить лишь одно слово:

— ...Выход...

Глаза у меня снова застлало пеленой, я с великим трудом старался удержать в фокусе куда-то проваливающееся лицо Тома, понимая, что вот-вот снова впаду в оцепенение.

Мучительно выдавливая из себя слова, пугаясь звука собственного голоса, настолько он был слаб, я спросил:

— ...Какой... выход?..

Ответа пришлось ждать так долго, что я решил — Тома потерял сознание. Но плечом я чувствовал его напрягшееся плечо и понял, что он просто собирается с силами, чтобы заговорить. С большим трудом я расслышал его шепот:

— ...Подняться...

И, чуть приподняв руку — видимо, даже такое усилие причиняло ему боль,— он согнутым указательным пальцем ткнул в сторону парапета. И выдохнул:

— ...Броситься... И конец.

Я посмотрел на него. Потом отвел глаза. На меня вновь наплывало безразличие. В голове кружились бессвязные мысли. Но тут, пробившись сквозь этот сумбур, одна мысль приобрела достаточную ясность, и я, уцепившись за нее, старался сосредоточиться. Если бы, как у Колена, Мейсонье и Пейсу, у меня были жена, дети и если бы они тоже остались в живых, значит, род человеческий не был бы обречен на полное исчезновение и я знал бы тогда, во имя кого мне бороться. А сейчас мне предстояло вернуться в подвал к моим товарищам, потерявшим свои семьи, и вместе с ними дожидаться часа, когда на земле исчезнет последний человек.

— Ну?— едва слышно прошептал Тома.

Я покачал головой.

— Нет.

— Почему?— беззвучно, одними губами спросил он.

— Другие.

То, что я довольно четко выразил свою мысль, пошло мне на пользу. Я тут же зашелся в отчаянном кашле, и мне подумалось, что причина охватившей меня одури не только в пережитом неслыханном моральном потрясении, но также и в горячем ядовитом дыме, которым я вдосталь надышался.

Превозмогая слабость, я поднялся на ноги.

— В подвал...

И, не дожидаясь Тома, я шагнул к узкой винтовой лестнице и, то и дело оступаясь, спустился, вернее, скатился вниз. К счастью, для удобства ожидаемых туристов в Мальвиле на стенах вдоль лестничных маршей были укреплены металлические поручни, и сейчас, соскальзывая со ступеней, я всякий раз хватался за них, раздирая в кровь

обожженные ладони. В маленьком дворике между донжоном и ренессансным замком меня догнал Тома.

— Лошади...— проговорил он.

Я замотал головой и, подавив рыдание, ускорил шаг. При одной мысли увидеть, что сталось с моими лошадьми, я холодел от ужаса. Я не сомневался, что все они погибли. Сейчас мною овладело единственное желание — скорее укрыться в нашем подземелье.

В подвале мне показалось очень холодно, я сразу же прозяб до костей, и первое, что я сделал: схватив свой пуловер, набросил его на плечи и завязал рукава под горлом. Я увидел, что Колен разливает вино из бочки, Мейсонье подтаскивает полные бутылки к Мену, а она их закупоривает. Я был совершенно уверен, что весь этот конвейер наладила старуха. Она, конечно, рассудила, что нет никакого резона бросать на полпути начатое дело. Так или иначе, увидев их за работой, я испытал огромное облегчение. Я подошел к ним, взял бутылку, жадно отпил и передал ее Тома, а потом, прислонившись к бочке, утерся рукавом пуловера. Хотя меня и била дрожь, пот ручьями тек по лицу. Понемногу ко мне возвращалась ясность мысли.

Через некоторое время я сообразил, что мои приятели, застыв как каменные изваяния, смотрят на меня с ужасом и мольбой. Впрочем, они, конечно, поняли, что́ произошло, потому что ни у кого из них: ни у Мейсонье, ни у Колена, ни у Пейсу — не хватало мужества задать мучивший их вопрос. Одна лишь Мену явно сгорала от желания послушать меня, но и она не проронила ни слова, поглядывая на своих помощников, понимая, что́ таит мое упорное молчание.

Затрудняюсь сказать, сколько оно продлилось. В конце концов я не выдержал, решив, что говорить менее жестоко, чем молчать. И я сказал очень тихо, глядя на них:

— Далеко мы не ходили. Мы только поднялись на донжон.— И пересохшими губами добавил:— Все так, как вы и думали. Больше ничего нет.

Они ждали этого, и тем не менее мои слова добили их. Внешне отреагировал только Пейсу, он, качаясь, сделал три шага вперед и, вцепившись в рукав моего пуловера, глядя на меня выкатившимися из орбит глазами, завопил не своим голосом:

— Неправда!

Я не ответил. У меня на это просто недоставало духу. Но, схватив руки Пейсу, судорожно вцепившиеся в мой рукав, я попытался разжать их. Во время нашей короткой схватки рукава пуловера разлетелись в стороны, открыв висевший у меня на шее бинокль. Пейсу тут же узнал мой бинокль и уже не мог отвести от него исполненного ужаса взгляда. Уверен, что в эту секунду ему тоже вспомнился тот далекий день, когда, растянувшись на парапете донжона, мы старались угадать, где что расположено в округе. Его лицо исказило отчаяние, руки бессильно разжались, и, уткнувшись лицом мне в плечо, он зарыдал навзрыд, как ребенок.

И тут в подвале вдруг все пришло в движение, и все, что делалось, делалось без предварительного сговора, но дружно, и таким волнующим было это зрелище, что, по-моему, именно с этой минуты во мне снова проснулось желание жить. Обняв Пейсу, я притянул к себе своего долговязого друга (он был почти на полголовы выше меня), и сразу же к нам подоспели Колен с Мейсонье, один положил ему руку на плечо, другой гладил по голове, и оба, как могли, утешали его просто, по-мужски. Меня потрясла эта сцена, ведь сами они, потеряв все на свете, с такой душевной щедростью старались помочь своему товарищу... Мне почему-то припомнилось, что в ту пору, когда нам было лет по двенадцати, мы с Коленом вот так же крепко держали Пейсу, чтобы Мейсонье легче было «накидать ему по морде». Но воспоминание это ничуть не уменьшило моего волнения, скорее наоборот, окончательно растрогало меня. Помню, тогда мы все втроем навалились на этого нескладного увальня, все разом что-то кричали, намяли ему бока, тузили почем зря и тихо ругались: «Ну что, хватит с тебя, болван здоровый». На что он, заливаясь слезами, жалобно твердил: «Пустите меня, да пустите же, я с вами не вожусь».

Постепенно его рыдания смолкли, и мы отошли в сторону.

— Надо бы все-таки пойти посмотреть,— сказал Мейсонье, мертвенно-бледный, с ввалившимися глазами.

— Да, надо бы сходить туда,— с огромным усилием ответил Колен. Но ни тот ни другой не двинулись с места.

— Не знаю, пройдете ли вы,— вмешался Тома.— Леса

еще горят. А отсюда до Мальжака сплошной лес. Да кроме того, не исключена возможность радиации. Вы рискуете.

— Рискуем?— спросил Пейсу, отрывая от лица ладони.— А на кой черт мне теперь жить?

Ответом ему было молчание.

— А нам для чего?— спросил я, глядя на него.

Пейсу пожал плечами, открыл было рот, но передумал и промолчал. Однако движение его плеч было куда выразительнее его молчания. Оно означало: разве можно даже сравнивать. Он не сказал этих слов только потому, что и мы для него что-то значили.

Тут заговорила Мену. Манера разговаривать была у нее довольно своеобразная: сначала она что-то бурчала скороговоркой для себя самой, а уж потом высказывала свои соображения вслух или просто вставляла в общую беседу словечко на местном диалекте.

Сейчас Мену разразилась целой речью, и она произнесла ее по-французски, что доказывало важность, которую она придавала своим словам, хотя при этом и не выпускала из рук машинку для закупорки бутылок.

— Сынок,— сказала она, глядя на Пейсу,— не от нас зависит это, жить нам или умереть. Но коли уж мы выжили, значит, надо жить и дальше. Ведь жизнь что работа. Не годится ее бросать на полпути, даже если тебе и невмоготу.

С последними словами она опустила рычажок своей машинки, и пробка беззвучно вошла в горлышко. Пейсу взглянул на старуху, хотел было что-то сказать, но передумал. Я решил, что Мену этим и ограничится, но она, подставив под машинку следующую бутылку, продолжала:

— Ты небось думаешь: Мену легко говорить, Мену ничего не потеряла, ее Момо при ней. Оно, может, и так. Но если бы я даже потеряла Момо (отложив машинку, она перекрестилась), я бы тебе сказала то же самое, что сейчас сказала. Ты жив, сынок, и живи с богом. А чему быть, того не миновать. Смерть, она человеку не подружка.

— Все правильно, мать,— подтвердил Колен. По возрасту Мену действительно могла бы быть его матерью, но до сих пор никому из нас это как-то в голову не приходило.

— Пошли,— сказал Мейсонье и на негнущихся ногах сделал несколько шагов к двери.

Я догнал его и отвел в сторону.

— Постарайтесь с Коленом не оставлять Пейсу одного,— сказал я полушепотом.— Сам понимаешь почему. Вообще было бы лучше, если бы вы все время держались вместе.

— Я уже об этом подумал,— ответил Мейсонье.

К нам подошел Тома со счетчиком Гейгера в руках.

— И я с вами,— сказал он как раз в ту минуту, когда Колен и Пейсу присоединились к нам.

Все трое остановились и посмотрели на него.

— Тебе-то зачем идти, тем более если есть какой-то риск,— сказал Колен, забыв, что до сих пор он всегда был с ним на «вы».

— Я буду вам нужен,— ответил Тома, показывая на счетчик.

Воцарилось молчание, потом Мейсонье произнес хриплым голосом:

— Давайте вынесем тело Жермена, положим его пока у входа во внешний двор, а потом и похороним.

Я наспех поблагодарил его, но был ему так признателен — в такую страшную для себя минуту он все-таки вспомнил о Жермене. Я смотрел, как они уходят. Тома шел впереди со счетчиком Гейгера в руках, наушники, настроенные на прием, висели у него на груди. Мейсонье и Пейсу с трудом тащили грузное тело Жермена. Колен замыкал шествие, сейчас он казался каким-то особенно маленьким и хрупким.

Дверь закрылась, а я стоял перед ней как вкопанный, полный тревоги и страха за своих друзей, раздумывая, не пойти ли с ними и мне.

— Ну вот и управилась, все бутылки позакрывала,— раздался за моей спиной спокойный голос Мену.— Может, ты еще разольешь?

Я вернулся к бочке, снова уселся на свою табуретку и принялся разливать вино. Я буквально умирал от голода, но заставлял себя не думать об этом, мне не хотелось подавать дурной пример и по-хозяйски распоряжаться своими запасами. Правильно поступила Мену, сразу взяв в свои руки запасы продовольствия. И в том, что она будет действовать справедливо, можно было не сомневаться.

— Ну-ка, Момо, подсоби,— сказала Мену, заметив, что пустые бутылки кончились.

И, видя, что Момо поднялся и ставит бутылки в корзину, она добавила, не повышая голоса, но твердым тоном:

— Только смотри, не вздумай отпивать по дороге, ведь теперь выпьешь лишнего — другим достанется меньше.

Я подумал было, что Момо пропустит мимо ушей слова матери, но я ошибся. Момо все понял. А может быть, на него просто подействовал тон, каким она произнесла эти слова.

— Уж больно ты пожадничала с окороком,— сказал я немного погодя.— Думаешь, мне приятно, что они ушли совсем голодные?

И, показав рукой на сводчатый потолок, добавил:

— Тем более что у нас их вон сколько.

— Нас семеро,— ответила Мену, проследив взглядом за моей рукой,— и когда кончится все, что там висит, навряд ли нам еще когда-нибудь доведется отведать свининки. И винца попить вволю. Ведь винограда-то больше не будет.

Я взглянул на нее. Ей было семьдесят шесть, моей Мену. Она понимала, что нас ждет голодная смерть, и тем не менее ее воля к жизни была непоколебима.

Внезапно дверь в подвал распахнулась, между створками просунулась голова Тома. Он прокричал с необычайным для него волнением в голосе:

— Эммануэль, не все животные погибли!

И тут же снова исчез. Вскочив с места, я тупо уставился ему вслед, не смея поверить своим ушам. Мену тоже встала и, глядя на меня, спросила на местном диалекте, словно желая проверить, правильно ли она поняла Тома, говорившего по-французски:

— Он сказал, что не вся скотина погибла?

— Ду та! (Иду туда.),— завопил Момо и бегом бросился к двери.

— Обожди, обожди! Слышишь, что я говорю, обожди меня!— кричала Мену, семеня за ним со всей скоростью, на какую была способна. Она быстро перебирала своими худыми ногами и походила сейчас на маленькую старую мышку. Я, услышав, как по ступеням процокали подбитые гвоздями башмаки Момо, тоже пустился бежать, быстро обогнал Мену и настиг Момо как раз в ту минуту, когда, промчавшись по подъемному мосту, он ворвался во

внешний двор. Ни Тома, ни трех моих товарищей здесь не было. Значит, Тома вернулся, только чтобы предупредить меня, и тут же кинулся догонять остальных.

Нас встретил нестройный хор: и жалобное лошадиное ржание, и чуть слышное мычание коровы, и похрюкивание свиньи. Звуки неслись из пещеры, прозванной Биргиттой Родилкой.

Обогнав Момо, я стремительно рванулся к пещере, чуть не задохнулся, весь взопрел, сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. В стойлах, расположенных в самой глубине пещеры, я обнаружил Красотку — четырнадцатилетнюю кобылу, любимицу Момо, со дня на день готовую ожеребиться; Принцессу — одну из великолепных голландских коров Мену, тоже стельную, и свою Амаранту, еще слишком молодую для случки, ее я перевел в подземное стойло из-за ее дурных повадок. И наконец, немыслимых размеров супоросную свинью, которую Мену без моего ведома нарекла Аделаидой.

Животные изрядно пострадали. Они без сил лежали на боку, прерывисто и тяжело дыша, но все-таки они были живы — прохлада, царившая в глубине пещеры, спасла их. Я не успел подойти к Красотке, Момо, бросившись к своей любимице, плюхнулся рядом с ней прямо в навоз и, обняв лошадь за шею, тихонько, с нежностью заржал. Но когда я вошел в стойло, где на соломе лежала Амаранта, она чуть приподняла голову, потянулась мордой к моей руке и трепещущими ноздрями обнюхала ее. Добравшись до пещеры, Мену даже не подумала отругать Момо за то, что он весь перемазался в навозе, она внимательно осматривала Принцессу, ощупывала ее и жалобно причитала: «Ой ты, моя бедненькая, ой ты, моя старенькая!» Потом заглянула к свинье, но, опасаясь ее злобного нрава, старалась держаться на почтительном расстоянии.

Я проверил автопоилки. Вода была горячая, но они действовали исправно.

— Ду за ясем (Пойду за ячменем.),— заявил Момо и полез было по приставной лесенке на верхний этаж, где я держал сено и другие корма.

— Нет, нет!— сказала Мену.— Какой там еще ячмень! Сейчас наболтаю всем отрубей с водой да добавлю туда винца. Слазь давай, дурак здоровенный,— прикрикнула она на Момо,— гляди-ка, все портки в дерьме отделал, ведь от тебя вонять будет похлеще, чем от Аделаиды!

Я оставил Амаранту и вышел из Родилки, приняв мужественное решение пойти взглянуть, что же происходит в других конюшнях и хлевах. Но по доносившемуся оттуда смраду я уже догадался, что произошло. Чтобы не задохнуться от зловония, я вынужден был зажать нос платком. Вся скотина погибла: она не сгорела, а задохнулась от жары. Скала защитила от пламени пристроенные к ней стойла. Но большие плоские камни, служившие им крышей, вероятно, накалились до огромной температуры, так как даже балка под ними из старого, прочного, как металл, дуба обуглилась.

Вскоре вернулась Мену с двумя бутылками вина, вылив его в воду, она насыпала туда отрубей и разложила месиво по кормушкам. Я снова вошел к Амаранте, она еще не поднялась на ноги, тогда я взял пригоршню довольного густого месива и подложил его к самой ее морде. Лошадь обнюхала его, раздула ноздри, с отвращением приподняла губу и, еле двигая челюстями, по крохам съела его. Когда она кончила, я зачерпнул еще одну пригоршню и снова протянул ей. Амаранта ела понемногу, неохотно и как-то удивительно медленно. Я принял это чуть ли не за насмешку. Я сам был до того голоден, что, кажется, готов был съесть эту малоаппетитную мешанину, которой пренебрегала даже лошадь. Я слышал, как в соседнем отсеке Момо, безуспешно пытаясь накормить Красотку, то обрушивал на нее потоки нежности, то честил на чем свет стоит. По другую сторону от меня Мену в более спокойных тонах уговаривала Принцессу. Свинье она просто сунула под нос ведро с жидким месивом, и, судя по грохоту в ее стойле, только эта скотина и воздала должное нашему угощению.

— Ну как там у тебя, Мену? — спросил я, стараясь говорить погромче.

— Не шибко, а у тебя?

— Прямо измучился. А что у тебя, Момо?

— Ука! (Сука.), — ответил он с яростью.

— Главное, им ничего не объяснишь, — продолжала Мену. — Хоть говори, хоть нет — все зазря. Возьми вот Принцессу. Ведь до чего жрать хочет, но так ослабела, что никак этого в толк не возьмет.

От неудобной позы на корточках ноги у меня совсем одеревенели, но я терпеливо ждал, пока Амаранта подберет последние крохи. Я с удивлением заметил, что ругаю

ее тоже с нежностью в голосе. Я отлично понимал, что теперь от этой скотины зависело все наше будущее. Сейчас, когда на земле не осталось ни бензина, ни даже какой-нибудь солярки, без лошади не обработаешь даже клочка земли.

Амаранта упорно отказывалась принимать пищу. Она лежала, не в силах оторвать подщечины от земли, и ее безучастная поза не предвещала ничего доброго. Хватая лошадь за челку между ушами, я заставлял ее поднять морду и протягивал на ладони теплое месиво. Она не брала еду, только косила на меня своим грустным и нежным глазом, словно хотела сказать: «Оставь же меня в покое, зачем ты меня мучаешь?» Мену, которая была неспособна долго находиться на одном месте, твердыми быстрыми шажками сновала от одного стойла к другому — подходила к свинье, потом возвращалась к Принцессе и не переставая рассуждала, то про себя, то обращаясь ко мне.

— Ну и здорова же эта потаскуха Аделаида! Все как есть умяла. До чего крепка скотина! Когда подумаешь, сколько коров у меня пропало или чуть не пропало во время отела. А у тебя, Эмманюэль, какие лошади дохли, чуть щипнут молоденькой люцерны или обожрутся тисовыми листьями. Лошади на брюхо слабоваты, коровы — на низок. А попробуй умори эту хавронью. Погляди только на ее сиськи, во где силища-то. Ведь последняя тварь, а посмотреть — памятник, да и только! Враз прямо по дюжине поросят выпекает, и хоть бы хны. А как-то выдала целых шестнадцать, подумать только, шестнадцать!

Я очень тревожился за Амаранту, и то, что Мену так буднично суетилась, так привычно разговаривала со скотиной, будто вообще ничего не случилось, поддерживало мой дух. Судя по тому, что из соседнего отсека до меня по-прежнему доносились угрозы, ругань, чередующиеся с нежным бормотанием и ржанием, Момо, видимо, все-таки добился каких-то успехов с Красоткой. Мену просунула голову в дверку.

— Получается что-нибудь, Эмманюэль?

— Нет, дело плохо.

Мену взглянула на Амаранту.

— Пойду принесу-ка ей воды с вином да сахаром. А ты пока присмотри за Принцессой.

Я перешел в стойло Принцессы. И хотя дядя сумел внушить мне известное предубеждение против коров, наша толстая добрая Принцесса с ее квадратной мордой вызывала у меня почти нежные чувства. Она лежала на боку, по-матерински терпеливая, выставив свой огромный живот и вымя, которому предстояло кормить нас. От одного только взгляда на нее — я был так слаб, что с трудом держался на ногах, а от голода у меня мучительно сводило живот — мне безумно захотелось молока. Не то чтоб я забыл, что Принцесса уже сухостойная, я просто отбросил в сторону это несколько осложняющее обстоятельство. В моем мозгу, распаленном голодом — так что временами у меня даже кружилась голова,— мелькнула мысль о Ромуле и Реме, вскормленных волчицей, и мне представилось, как я сам лежу, уткнувшись лицом в упругое вымя Принцессы, и, сладострастно ощупывая его, сжимаю губами огромный набрякший сосок, из которого вот-вот в глотку мне хлынет струя теплой жидкости.

Я весь был во власти этой упоительной мечты, когда вернулась Мену, неся в руках килограммовую пачку сахара в стандартной коричневой упаковке. Да, для скотины ей, конечно, ничего не жаль. Я поднялся и как зачарованный пошел к ней. Я смотрел, не в силах оторвать взгляда, с полным слюны ртом на великолепные куски белоснежного блестящего сахара, который Мену бросала своей худой и темной рукой в воду. Она подметила мой взгляд.

— Бедненький ты мой Эммануэль, как тебе есть-то хочется.

— В общем да.

— Только я ничего не могу тебе дать, пока другие не вернутся.

— А я ничего у тебя и не прошу,— гордо ответил я, но голос мой прозвучал фальшиво.

К счастью, Мену, не обратив внимания на мой ответ, дала все-таки мне три кусочка сахара, и я их покорно принял. Свою долю получил и Момо и тут же запихнул весь сахар сразу в свою широкую пасть. А я, чтобы продлить удовольствие, предварительно расколол каждый кусочек пополам. Я заметил, что себе Мену ничего не взяла.

— А тебе, Мену?

— Что ты, я такая маленькая, разве мне столько надо, как вам.

Теплая, подслащенная вода с вином пришлась по вкусу Амаранте, она с жадностью выпила ее, и теперь пошли в ход и отруби. Я с великим наслаждением наблюдал, как лошадь слизывала протянутое ей месиво, пригоршню за пригоршней. Помнится, я подумал тогда, что даже в деревне, где домашних животных в общем любят, их все-таки недостаточно ценят. Видно, так повелось от веку, что они и возят нас, и служат нам, и нас кормят. И, глядя в косивший на меня глаз лошади, где, окруженный голубоватой белизной, черным угольком пугливо сверкал зрачок, я еще раз подумал, что, конечно, мы недостаточно благодарны им, недостаточно их ценим.

Я поднялся с пола. Взглянул на ручные часы. Мы провели здесь целых три часа. С трудом держась на ногах, я выбрался наружу и вспомнил, что собирался похоронить Жермена до возвращения своих товарищей. Ко мне подошли Мену и Момо.

— Ну, может, еще и пронесет,— сказала Мену.

Ни за что на свете она не сказала бы, что животные спасены. Она побоялась бы искушать господа бога или дьявола, ведь любая неведомая сила может подслушать да тут же и наказать за излишние надежды.

ГЛАВА V

Они вернулись после полудня, с ног до головы покрытые пеплом, с почерневшими руками и лицами, глубоко запавшие глаза их блуждали. Пейсу был до пояса голый. Свою рубаху он превратил в мешок и принес в нем кости, вернее, те обуглившиеся остатки костей, которые им удалось собрать на месте своих бывших домов. Они не проронили ни слова. Мейсонье лишь попросил у меня доски и инструмент; все они отказались от еды и не стали умываться, пока Мейсонье не сколотил маленький ящичек размером тридцать на шестьдесят сантиметров. До сих пор не могу забыть их лица, когда Мейсонье, закончив работу, начал косточку за косточкой складывать в гробик.

Похоронить их решили на автостоянке у самой крепостной стены, там, где скала чуть расступалась, оставляя небольшой клочок земли, рядом с могилой Жермена — я все-таки успел похоронить его до их возвращения. Пейсу выкопал могилу сантиметров шестьдесят в глубину, вы-

брасывая землю влево от себя. Маленький ящичек стоял рядом с ним. В самой его крохотности было что-то, невыносимо щемящее душу. В сознании с трудом укладывалось, что здесь заключено все, что осталось от трех семейств. Правда, мои друзья не собрали пепел, покрывавший кости, боясь, что к нему примешается и пепел от сгоревших вещей.

Опустив ящик на дно могилы, Пейсу навалил на крышку несколько крупных камней, видимо, из опасения, чтобы яму не разрыла собака или лисица. Предосторожность более чем излишняя, поскольку весь животный мир на земле, видимо, был уничтожен. Засыпав могилу, Пейсу соорудил из оставшейся земли небольшой прямоугольный холмик и тщательно выровнял его края лопатой. Потом обернулся ко мне:

— Нельзя их закопать просто так. Над ними надо прочитать молитвы.

— Но я не знаю ни одной на этот случай,— смущенно ответил я.

— У тебя в доме, должно быть, найдется молитвенник?

Я сказал, что найдется.

— Ты бы сходил за ним.

Я проговорил вполголоса:

— Тебе же известны, Пейсу, мои взгляды на религию.

— При чем тут это? Не для тебя это нужно — для них.

— Какие еще молитвы?— пробурчал Мейсонье, глядя куда-то под ноги.

— Разве твоя Матильда не ходила к мессе?— спросил Пейсу, повернувшись к нему.

— Оно, конечно, так...

Мы вели этот спор сдержанно, вполголоса, и после каждой фразы повисала долгая пауза.

— А моя Иветта,— продолжал Пейсу, опустив глаза,— каждое воскресенье ходила в церковь. А по вечерам, как спать ложиться, уже в ночной рубашке, опустится на колени на коврик перед кроватью и уж обязательно прочтет «Отче наш».— Эта картина, видимо, настолько ясно представилась глазам Пейсу, что бедняга не выдержал. У него перехватило дыхание, и несколько секунд он молчал не в силах произнести ни слова.

— Ну а уж коли она молилась при жизни, как же я допущу, чтобы она ушла из нее без молитвы,— проговорил он наконец.— А тем более детишки.

— Он прав,— сказал Колен.

Неизвестно, что по этому поводу думала Мену, поскольку она хранила молчание.

— Сейчас пойду за молитвенником,— помолчав немного, сказал я.

Позже я узнал, что после моего ухода Пейсу попросил Мейсонье сколотить крест на могилку, и Мейсонье без лишних слов выполнил его просьбу. Когда я вернулся, Пейсу обратился ко мне:

— Спасибо тебе, Эмманюэль, но, если тебе это уж очень в тягость, мы с Коленом можем и сами прочитать молитвы.

— Нет, почему же,— ответил я,— мне это нетрудно, раз ты говоришь, что это нужно им.

Комментарии Мену я выслушал позже, когда мы остались с ней вдвоем.

— Если бы ты отказался, Эмманюэль, я бы ничего тебе не сказала, потому как о религии у каждого свое понятие. Но по правде говоря, в душе я бы тебе попеняла. А потом, ты же так славно прочел молитвы, куда кюре до тебя, он ведь бормочет себе под нос, а что — и понять нельзя — видно, мысли-то его где-то далеко гуляют.

Надо было располагаться на ночлег. Я предложил Тома перебраться на диван ко мне в спальню, и таким образом соседняя комната освободилась для Мейсонье. А Колен с Пейсу устроились в спальне второго этажа.

Вытянувшись на постели, я лежал измученный, без сна, с широко открытыми глазами. Кругом полнейшая тьма. В обычную ночь мрак содержит в себе все оттенки серых тонов. Эта ночь была аспидно-черная. Невозможно было различить ничего вокруг, даже самых расплывчатых очертаний, даже собственной руки, поднесенной к глазам. Рядом, на диване, стоящем у самого окна, ворочался с боку на бок Тома. Я это слышал. Но видеть не мог.

Вдруг кто-то стукнул в дверь. Я подскочил и машинально крикнул: «Войдите!» Дверь скрипнула и отворилась. Каждый звук в темноте казался неестественно резким.

— Это я,— сказал Мейсонье.

Я повернулся на его голос.

— Входи же. Мы не спим.

— Я тоже,— сказал он, хотя это было понятно без слов.

Он замер на пороге, не решаясь войти. Во всяком случае, я так предполагал. Будь мы только бесплотные тени иного мира, мы были бы столь же невидимы.

— Садись. Кресло у письменного стола, прямо перед тобой.

По звукам я следил за его движениями. Вот он закрыл дверь, сделал несколько шагов вперед, налетел на кресло. Чертыхнулся, он, видимо, был босиком. Потом старые пружины протяжно заскрипели под тяжестью его тела. Значит, это была не бесплотная тень. То было человеческое тело, объятое, как и мое собственное, ужасом смерти и не менее сильным ужасом перед дальнейшей жизнью.

Я думал, что Мейсонье заговорит, но он молчал. Колен с Пейсу были вдвоем в спальне на втором этаже, мы с Тома здесь, на третьем. А Мейсонье оказался один в спальне Биргитты. У него просто не хватало духа вынести все сразу: и темноту, и бессонницу, и одиночество.

Я вдруг вспомнил жену Мейсонье — Матильду и их вечные распри. И мне стало неловко оттого, что я не могу припомнить имена его двоих сыновей. Я не в силах был даже представить, как выдерживает Мейсонье тяжесть обрушившегося на него горя. Ведь у меня, кроме Мальвиля да моего дела, ничего не было. Но он-то, он... Что должен был чувствовать человек, у которого все, что он любил, было зарыто в крохотном ящичке под землей?

Я лежал в постели, раздетый донага, и обливался потом. Мы не знали, оставлять ли открытым окно. В комнате стояла такая духота, что сначала мы распахнули окно настежь. Но вдыхать едкий запах гари оказалось ничуть не лучше. Невиданный по своим размерам костер дожирал планету. Пламени больше не было видно, оно разрывало бы мглу. Теперь в распахнутое окно врывался лишь трупный запах дымящейся земли. Уже через минуту я попросил Тома закрыть окно.

В непроглядной тьме комнаты слышно было лишь тяжелое дыхание трех человек, а там, за окном, за раскалившимися стенами лежала мертвая планета. Ее убили в самый разгар весны, когда на деревьях едва проклюнулись листочки и в норах только что появились крольчата. Теперь нигде ни одного зверя. Ни одной птицы. Даже насекомых. Только сожженная Земля. Жилища обратились в пепел. Лишь кое-где торчат обуглившиеся, искореженные колья, вчера еще бывшие деревьями. И на развалинах

мира — горсточка людей, возможно оставленных в живых в качестве подопытных морских свинок, необходимых для какого-то эксперимента. Незавидная доля. В этой всемирной гигантской мертвецкой осталось всего несколько работающих легких, перегоняющих воздух. Несколько живых сердец, перегоняющих кровь. Несколько мыслящих голов. Мыслящих. Но во имя чего?

Я заставил себя заговорить только ради Мейсонье. Мне стало невмоготу от сознания, что он все так же молча сидит в темноте у моего письменного стола, поглощенный своими невеселыми думами.

— Тома!

— Да?

— Чем, по-твоему, можно объяснить отсутствие радиоактивности?

— Вероятно, это была литиевая бомба,— ответил Тома. И добавил слабым, но спокойным голосом:— Это так называемая чистая бомба.

Я услышал, как Мейсонье зашевелился в кресле.

— Чистая,— мрачно повторил он.

— То есть не дающая радиоактивных осадков,— произнес голос Тома.

— Понятно,— сказал Мейсонье.

И снова тишина. И снова одно только тяжелое дыхание. Я стиснул ладонями виски. Если бомба и впрямь была чистая, значит, сбрасывая ее, рассчитывали захватить чужую территорию. Теперь, увы, уже ничего не захватить. Сбросивший погиб и сам: об этом свидетельствовало молчание всех радиостанций мира. У Франции даже не было времени осознать, что она вступает в войну. Видимо, в рамках глобальной стратегии было решено разрушить Францию и обосноваться на ее территории. Или помешать противнику сделать это. Небольшая предварительная мера предосторожности. Жалкая пешка, которую жертвуют заранее, она была обречена, употребляя военный термин, на массовое уничтожение.

— Неужели хватило всего одной бомбы, Тома?

Я не стал добавлять, «чтобы уничтожить Францию». Но он понял.

— Всего одной сверхмощной бомбы, взорванной на высоте сорока километров над Парижем.

Он замолчал, считая, что продолжать бесполезно. Он говорил каким-то бесстрастным тоном, четко выговаривая

каждое слово, будто диктовал школьникам условия задачи. Как я сам не додумался до такой задачки в те времена, когда был школьным учителем. Это звучало бы куда как современнее, чем задачка с двумя бассейнами. Известно, что взрывная волна не распространяется на большой высоте из-за разреженности воздуха, известно также, что действие теплового излучения уменьшается пропорционально высоте взрыва. На какой высоте должна быть взорвана бомба над Парижем в столько-то мегатонн, чтобы были уничтожены города Страсбург, Дюнкерк, Брест, Биарриц, Пор-Вандр и Марсель? Впрочем, условия можно было бы и варьировать. Ввести вместо одного два икса, подсчитать мощность бомбы одновременно с высотой, на которой произошел взрыв.

— Уничтожена не только Франция,— вдруг произнес Тома,— но и вся Европа. Весь мир. Иначе можно было бы поймать какую-нибудь радиостанцию.

И я снова увидел эту картину: Тома стоит в подвале с транзистором Момо в руках и упорно водит по шкале стрелкой. Аналитический склад ума спас ему жизнь. Не будь этого необъяснимого молчания радиостанций, он бы уже успел подняться наверх.

— Ну а если на пути тепловой волны окажется какая-то преграда? Высокая гора или скала, как, скажем, в Мальвиле?

— Да,— ответил Тома,— кое-где именно так, видимо, и было.

«Кое-где» для Тома было просто оговоркой, ограничивающей условия. Я воспринял это иначе. Слова лишь подтвердили то, о чем я уже думал. По-видимому, и в самой Франции разрушено не все, а значит, остались и люди, избежавшие гибели. И при этой мысли горячая волна необъяснимой надежды затопила все мое существо. Я говорю «необъяснимой», потому что человек доказал только что содеянным, что не заслуживает права на жизнь, и встретиться с ним сейчас было отнюдь не безопасно.

— Пойду лягу,— сказал Мейсонье.

Он пробыл у нас минут двадцать и не произнес при этом и трех слов. Он постучался к нам, чтобы избавиться от одиночества, но одиночество было в нем самом. Оно пришло вместе с ним в нашу комнату, и сейчас он снова уносил его с собой.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи,— сказал Тома.

Мейсонье не ответил. Я услышал только, как скрипнула закрывавшаяся за ним дверь. Минут через пятнадцать я встал и постучался к нему.

— Тома уснул,— солгал я.— Я тебя не потревожу?

— Ну что ты,— ответил он слабым голосом.

Я вошел в комнату и ощупью добрался до плетеного столика, который когда-то поставил здесь для Биргитты. Я сказал, чтобы хоть чем-то заполнить молчание:

— Ни зги не видно.

И Мейсонье ответил мне странно бесцветным голосом:

— Не знаю, наступит ли вообще завтра.

Я нашарил в темноте маленькое плетеное кресло Биргитты, и едва прикоснулся к нему ладонью, как воспоминания нахлынули на меня. Когда в последний раз я сидел в этом кресле, Биргитта обнаженная стояла около меня и я ласкал ее. Должно быть, слишком сильна была власть этого воспоминания, потому что, вместо того чтобы опуститься в кресло, я замер, вцепившись обеими руками в его спинку.

— Тебе тут очень тоскливо одному, Мейсонье? Может быть, перейдешь в комнату к Колену и Пейсу?

— Нет уж, покорно благодарю,— ответил он угрюмо и все тем же сдавленным голосом.— Чтобы слушать, как Пейсу без конца говорит о своих. Покорно благодарю. С меня хватит собственных дум.

Я надеялся, что он заговорит, но тщетно. Теперь я уже знал: он не скажет ничего. Ни слова. Ни о Матильде, ни о своих двух мальчиках. Неожиданно в моей памяти всплыли их имена: Франсис и Жерар. Одному было шесть, другому четыре года.

— Как знаешь,— сказал я.

— Спасибо тебе, ты очень любезен, Эммануэль,— сказал он, и, видимо, привычка к затверженным формулам вежливости была настолько сильна, что голос его на несколько секунд обрел обычный тембр.

— Тогда все, я ухожу,— сказал я.

— Я не гоню тебя,— проговорил он тем же тоном.— Ты у себя дома.

— Там же, как и ты,— воскликнул я с жаром.— Теперь Мальвиль принадлежит нам всем.

Мейсонье воздержался от ответа.

— Значит, до завтра.

— И все-таки,— неожиданно проговорил он своим угасшим голосом,— сорок лет — это еще не старость.

Я ждал, что́ он скажет дальше, но Мейсонье молчал.

— В каком смысле не старость?— спросил тогда я, подождав немного.

— Ведь если мы выживем, у нас впереди еще лет по тридцать. И никого, никого...

— Ты имеешь в виду жену?

— Не только...

Он, видимо, хотел добавить «и детей», но у него не хватало мужества выговорить это слово.

— Держись, дружище, я пошел.

В темноте я нащупал его руку и крепко пожал ее Мейсонье ответил мне слабым рукопожатием.

Я почти физически ощутил, какую муку он испытывал в эту минуту, будто он заразил меня своей болью, и было это так невыносимо, что, вернувшись к себе в спальню, я почувствовал чуть ли не облегчение. Но здесь меня ждало испытание, пожалуй, похуже. Именно в силу сдержанности и чистоты.

— Ну как он там?— спросил вполголоса Тома, и я был признателен ему за то, что он так участливо заговорил о Мейсонье.

— Сам, верно, понимаешь.

— Да, понять нетрудно.— Он добавил:— У меня ведь были племянники в XIV округе.

И еще две сестры и родители, я это знал. Все они жили в Париже.

Я сказал:

— У Мейсонье было два сына. Он души в них не чаял.

— А жена?

— Тут дело обстояло хуже. Она ему житья не давала из-за политики. Считала, что он из-за этого теряет клиентов.

— И это было действительно так?

— Отчасти да. В Мальжаке бедняге приходилось сражаться сразу на два фронта. Против мэра и всей церковной клики. А у себя дома — против собственной жены.

— Ясно,— ответил Тома.

Но голос его прозвучал как-то сухо и даже несколько раздраженно — видно, слишком велика и неизбывна была собственная мука, чтобы сострадать другим. Только мы с

Мену, не потерявшие никого из близких, еще были способны живо отзываться на чужие муки. Своих сестер близкими я не считал.

Тома как-то незаметно затих в темноте, а я, лежа без сна, разрешил себе чуточку помечтать. Я думал о Ла-Роке. Я думал о Ла-Роке потому, что этот небольшой городок — старинная укрепленная крепость, воздвигнутая на склоне холма,— был расположен всего в пятнадцати километрах от нас и его так же, как и Мальвиль, прикрывала с севера гигантская скала. Сегодня утром с высоты донжона я не мог разглядеть Ла-Рока, и не мудрено — ведь от нас он был виден только в самые ясные дни. Добраться же пешком в Ла-Рок и убедиться во всем собственными глазами — об этом пока не могло быть и речи, если учесть, сколько времени потребовалось Тома и его спутникам, чтобы преодолеть полтора километра, отделяющие нас от Мальжака.

— А метро и подземные автостоянки,— вдруг проговорил Тома.

В его голосе, так же как и у Мейсонье и, вероятно, у меня самого, звучала даже не скорбь, а скорее мрачное удивление. Мой ум был словно окутан туманом, и мысль пробивалась сквозь него с удручающей медлительностью. Я с трудом связывал воедино эти отдельные мысли, мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять замечание Тома.

— Знаешь подземную стоянку на Елисейских полях? — все тем же слабым голосом, но по-прежнему отчетливо выговаривая каждое слово, продолжал Тома.

— Да.

— Шансы ничтожные. Но так хочется верить, что люди, которые находились в метро или на этой стоянке в момент взрыва, уцелели. Только что́ их ждет в дальнейшем?

— Как что?

— А то, что они превратятся в крыс. В полном мраке будут метаться от выхода к выходу. А выходы наглухо завалены обломками.

— Может, не все,— сказал я.

Снова залегла тишина, и, чем дольше она длилась, тем сильнее росло во мне нелепое ощущение, будто еще непроглядней становится окутавшая нас тьма. Спустя несколько минут, когда я догадался, что Тома, говоря о гор-

сточке выживших парижан, думает о своих близких, я повторил:

— Возможно, не все.

— Допустим,— согласился Тома.— Но ведь это лишь отсрочка. В деревне натуральное хозяйство, у вас тут есть все: колбасы, копчености, зерно, полно консервов, варенья, меду, тонны масла и даже соли, которой вы присаливаете сено. А в Париже?

— В Париже огромные продовольственные магазины.

— Рухнули или сгорели,— сурово отрезал Тома, будто решив раз и навсегда отказаться от малейшей надежды.

Я молчал. Да, Тома прав. Сгорели, рухнули или разграблены, разграблены ордами уцелевших людей, которые теперь истребляют друг друга. Внезапно мне представилось апокалипсическое видение: громады городов, уничтоженных взрывом. Тонны рухнувшего бетона. Километры и километры исковерканных зданий. Хаос, в котором немыслимо ориентироваться. Немыслимо пробиться сквозь горы развалин. Пустыня, тишина, запах гари. А под руинами миллионы человеческих тел.

Я прекрасно знал подземную стоянку на Елисейских полях. Прошлым летом, когда я возил Биргитту на два дня в Париж, я оставлял там машину. Само по себе сооружение малоприятное. И я без труда мог себе представить, как в полном мраке мечутся обезумевшие люди, пытаясь выбраться наружу, но все выходы намертво блокированы.

Наконец, сраженный усталостью, я забылся тяжелым, полным страшных кошмаров сном, где подземная стоянка на Елисейских полях переходила в туннели метро, а они в свою очередь сливались с сетью канализационных труб, и толпы оставшихся в живых людей в панике метались под землей вместе со стаями крыс. И я сам как будто тоже превратился в крысу, в то же время с ужасом наблюдая себя со стороны.

Наутро нас разбудил Момо, забарабанив в двери. Мену неожиданно для всех приготовила удивительный завтрак. В большой зале она накрыла длинный монастырский стол пестрой, кое-где подштопанной полосатой скатертью (самой старенькой из дюжины хранившихся в теткином комоде. Мену с ревностной заботой берегла их для меня, словно мне предстояло прожить два века). На столе стоя-

ли бутылки с вином и стаканы; каждому на тарелку было положено по куску ветчины и сала — явный признак, что режим экономии несколько ослаб, с тех пор как Мену узнала, что Аделаида, готовая со дня на день принести нам приплод, жива. У каждой тарелки — толстый ломоть хлеба, щедро намазанный топленым салом: видно, Мену рассудила, что «лучше в нас, чем в таз». Хлеб, испеченный три дня назад, совсем зачерствел. И масла не было. Масло растаяло в выключившемся холодильнике.

Когда все собрались в зале, я опустился на стул, предоставив каждому по его собственному желанию выбрать себе место; Тома сел справа от меня, Пейсу слева, Мейсонье напротив, по правую руку от него — Колен, по левую — Момо и в самом конце стола — Мену. Не берусь утверждать, что привычка складывается с первого же шага, но этот порядок в дальнейшем не менялся — во всяком случае, пока нас в Мальвиле было семеро.

Я испытывал ощущение чего-то нереального, сидя на стуле за столом, покрытым свежей скатертью, с ножом и вилкой в руках и поглощая завтрак, который почти не отличался от тех, что каждое утро Мену готовила для Будено в этой нашей парадной зале, где ничто не напоминало о только что пережитом кошмаре, разве вот потеки расплавившегося свинца, застывшие на цветных квадратиках окон, да серый налет пепла и пыли на потолочных балках. Правда, Мену была полна великих хозяйственных замыслов, она собиралась обмести потолки, вымыть каменный пол и как следует надраить мебель орехового дерева, словно своей волей к жизни, суетой будничных дел пыталась стереть само воспоминание о Происшествии.

Но ей не удалось даже стереть выражение отчаяния, застывшего на лицах моих друзей. Все трое ели молча, уставившись в свои тарелки, стараясь не делать лишних движений, словно боясь, что резкий жест, брошенный в сторону взгляд могут вывести из оцепенения, притуплявшего их муки. Я понимал, что возврат к жизни будет для них ужасным, и это, конечно, опять приведет их — особенно Пейсу — к новым приступам отчаяния. После разговора с Тома и ночных кошмаров под утро я долго лежал без сна, обдумывая наше положение, и пришел к выводу, что единственное средство, способное предотвратить новые рецидивы отчаяния, это занять моих друзей каким-нибудь делом и самому тоже взяться за дело.

Я дождался, когда они кончили завтракать, и сказал:

— Послушайте, ребята, хочу попросить вашей помощи и совета.

Все подняли головы. Какие же потухшие у них были глаза! И тем не менее я понял, что они не остались глухи к моему призыву. Я не называл их «ребятами» с далеких времен Братства, и, назвав так сейчас, я как бы входил в свою прежнюю роль и ждал того же от них. К тому же само слово «ребята» означало, что всем вместе нам предстоит какое-то нелегкое дело.

Я продолжал:

— Основная проблема такова. Во внешнем дворе настоящая свалка павшей скотины: там одиннадцать лошадей, шесть коров и четыре свиньи. О зловонии, которое оттуда идет, говорить нечего, не я один его чувствую, и ясно, что жить в таких условиях нельзя. Кончится тем, что мы и сами окочуримся. Так вот,— продолжал я.— Самый первый и самый неотложный вопрос: как нам избавиться от этой груды падали.— На слове «груды» я сделал ударение.— К счастью, мой трактор стоял в Родилке и он уцелел. Есть и газолин, не сказать, что много, но все-таки есть. Есть также веревки и даже канаты. Посоветуйте-ка, куда девать все эти туши.

Мои друзья оживились. Пейсу предложил дотащить «разнесчастную» скотину до общественной свалки под Мальжаком и бросить там. Но Колен заметил, что в нашей местности преобладают западные ветры и, значит, они непременно нагонят в Мальвиль зловоние. Мейсонье пришла мысль развести костер где-нибудь у дороги, неподалеку от свалки. Но тут уж возразил я, так как считал, что для устройства подобного аутодафе понадобится слишком много дров. А в дровах у нас и без того будет огромная нужда предстоящей зимой: и для отопления, и для приготовления пищи. Конечно, заготовка топлива станет одним из самых трудных наших дел, его придется собирать повсюду, порой даже далеко от дома, будем пилить недогоревшие ветки и стволы и доставлять их в Мальвиль.

И вдруг Колена осенила мысль, он вспомнил о песчаном карьере у Рюны. Карьер был совсем недалеко. Дорога к нему шла под гору, что значительно облегчало нашу задачу. Свалив туда трупы животных, мы можем затем засыпать их песком.

Не помню уж, кто именно заметил, что, если закапывать лопатами, это займет слишком много времени.

Тома обернулся ко мне:

— По-моему, ты мне говорил, что, когда в Мальвиль прокладывали электрический кабель, вы с Жерменом на скалистых участках пользовались динамитными шашками.

— Да.

— У тебя их не осталось?

— Целый десяток.

— Это более чем достаточно,— ответил Тома.— Теперь работать лопатами не придется. Я постараюсь взорвать песчаный склон, и он рухнет прямо в карьер.

Мы переглянулись. Теоретически задача была решена, но каждый отчетливо представлял, какую омерзительную операцию нам предстояло выполнить.

Мне не хотелось оставлять друзей под гнетом столь мерзкой перспективы.

— Кроме того, нужно срочно решить, как быть с посевами. Собственно, вопрос сводится вот к чему: стоит или нет пойти на риск и пересевать хлеба. У меня в Мальвиле достаточные запасы сена и ячменя. Их вполне хватило бы, чтобы прокормить двадцать животных до следующего урожая. Я имею в виду, как вы сами понимаете, урожай 77-го года. Но теперь, коль скоро на нашем скотном дворе осталось всего три головы, с имеющимися запасами ячменя и сена можно продержаться и до урожая 78-го года. Для свиньи тоже найдется корм, и в предостаточном количестве. Выходит, думать-то сейчас надо о нашем с вами пропитании.— Я добавил:— Труднее всего будет с хлебом. У меня почти нет зерна, не считая небольшого семенного фонда.

Атмосфера мгновенно стала напряженной, и лица моих друзей помрачнели. Я взглянул на них. В их души вползал тот извечный животный страх остаться без хлеба, идущий откуда-то из недр вековой истории человечества. Потому что не только они сами, но и их отцы никогда, даже во время войны, не знали, что такое голод. «В наших краях,— любил рассказывать дядя,— в сороковом году пустили в ход старые пекарни и подпольно, невзирая на продовольственные карточки, введенные режимом Виши, в изобилии выпекали хлеб». «Бывали, конечно, трудные времена,— говорила Мену,— мой папаша часто мне о них

рассказывал. Но знаешь, Эммануэль, никогда я не слыхивала, чтобы кому-то хлеба не хватало».

Значит, даже из устных традиций исчезли рассказы о голоде былых времен, и тем не менее инстинктивный страх перед ним по-прежнему жил в сознании крестьянина.

— Об урожае этого года я тебе вот что скажу,— проговорил Пейсу.— Когда мы вчера возвращались из Мальжака, я слегка копнул палкой землю на поле, где у меня была посеяна пшеница. (Мне показалось добрым признаком, что после всего, что ему пришлось пережить, Пейсу не утратил рефлекса землепашца.) И там не было ничегошеньки,— закончил он, раскрыв на столе обе ладони.— Ровным счетом ничегошеньки. Землю всю выжгло. Одна только пыль и осталась.

— На сколько гектаров хватит у тебя зерна?— осведомился Колен.

— Гектара на два.

— Ну, это уже кое-что,— заметил Мейсонье.

Мену отошла немного в сторонку, чтобы дать поговорить мужчинам, но она стояла, вытянув вперед шею, вся обратившись в слух, и взгляд у нее был тревожный. Все это волновало ее ничуть не меньше нас. А так как в это время Момо, изображая паровоз, топал огромными ножищами, бегая вокруг стола, она влепила сыну увесистую затрещину, и он со злобным ворчанием поплелся в угол.

— По-моему,— сказал Мейсонье,— ты ничем не рискуешь, если вспашешь и засеешь полгектара земли.

— Ничем не рискуешь!— взорвался верзила Пейсу, укоризненно взглянув на Мейсонье.— Ничем не рискуешь, кроме загубленного зерна. По-твоему, столяр, это ерунда? (Эта манера обращаться к собеседнику по его ремеслу была распространена во времена Братства, тут выражались и симпатия к человеку, и несколько ироническое к нему отношение.) Я же тебе говорю: земля сейчас такая, что из нее за все лето и одуванчика не вылезет. Если даже ты ее поливать станешь.

Он пристукнул по столу ладонью и тут же, взяв стакан вина, опорожнил его единым духом, как бы утверждая свою точку зрения. Я посмотрел на него с облегчением: в споре он становился прежним Пейсу.

— Я согласен с Пейсу,— вмешался Колен.— Ведь пролысина на лугу, где ты на Пасху сжигаешь сорные травы,

так и не затягивается все лето. И зарастает только следующей весной. А что такое кучка сгоревшей травы по сравнению с тем пожарищем, который спалил всю землю.

— И все же,— не унимался Мейсонье,— если землю глубоко перепахать, поднять на поверхность нижние пласты, почему же она не сможет родить?

Я глядел на своих друзей, я внимательно слушал их. Убедили меня вовсе не доводы Мейсонье, а соображения совсем иного порядка. Не в моей власти было вернуть их погибшие семьи, но в моих силах было дать им в руки дело и наметить хоть какую-то цель. Иначе, захоронив скотину, они снова будут обречены на бездействие и тоска изгложет им сердце.

— А теперь выслушайте меня,— сказал я.— В основном я согласен с Пейсу и Коленом. И все-таки можно попробовать, пойти, так сказать, на эксперимент.— Я сделал небольшую паузу, чтобы они смогли оценить всю весомость этого слова.— И при этом не расходуя много зерна.

— Как раз об этом я и говорил,— сказал Мейсонье.

Я добавил:

— У меня есть маленький участок в долине Рюны, всего каких-нибудь пять соток, он лежит чуть ниже ближайшего к Мальвилю рукава реки, но еще при дяде его хорошо дренажировали, так что в этом смысле все благополучно. Прошлой осенью я его на совесть удобрил и глубоко перепахал вместе с навозом. Вот там-то и можно было бы попробовать посеять пшеницу, понятно, перед этим землю надо снова перепахать. На пять соток потребуется не так уж много зерна. И если весной не пойдут дожди, поле нетрудно будет поливать, ведь до Рюны рукой подать. Меня смущает другое,— продолжал я,— хватит ли нам газолина, чтобы вспахать участок, после того как мы зароем скотину. Придется самим изготовить плуг.— Взгляд в сторону Мейсонье и Колена.— А там впряжем в него Амаранту.— Взгляд в сторону Пейсу — он всегда обрабатывал свой виноградник с помощью лошади.

— Интересно будет взглянуть на твой урожай,— пошел на уступки наш осмотрительный Пейсу.— Коль уж тебе не жалко загубить немного семян.

Я посмотрел на него.

— Не говори «тебе», говори «нам».

— Это почему же?— спросил Пейсу.— Ведь Мальвиль-то твой!

— Нет,— сказал я, тряхнув головой.— Это раньше Мальвиль был моим. Раньше. Но вообрази, что завтра я умру от какой-то болезни или несчастного случая, что будет тогда! Где нотариусы? Где права наследования? Где наследники? Нет, отныне Мальвиль принадлежит всем тем, кто здесь работает, вот так.

— Я вполне с тобой согласен,— с явным удовлетворением сказал Мейсонье. На сей раз мои высказывания полностью соответствовали его убеждениям.

— Но все-таки...— недоверчиво протянул Пейсу.

Колен не сказал ни слова, но взглянул на меня, и на губах у него мелькнула тень его былой улыбки. Всем своим видом он говорил: я согласен, согласен, но что от этого меняется?

— Ну, значит, решено,— сказал я.— Зароем скотину, изготовим плуг и засеем участок у Рюны.

В ответ раздался одобрительный гул голосов, я встал, а Мену сердито начала убирать со стола. Своим заявлением, что Мальвиль отныне принадлежит всем, я как бы приравнял ее ко всем, лишил ее роли единственной уважаемой и полновластной хозяйки, стоящей на капитанском мостике бок о бок со мной. Однако в последующие дни она решила, что мое предложение о коллективизации Мальвиля было всего лишь актом вежливости со стороны хозяина, желавшего, чтобы его гости чувствовали себя здесь как дома, и успокоилась.

Не хочется даже рассказывать, как мы захоронили скотину, слишком это ужасно. Пожалуй, всего тяжелее было извлечь лошадей из стойл, их раздувшиеся трупы не пролезали в дверь и пришлось ломать стены.

Настало время подумать и об одежде — у Колена, Мейсонье и Пейсу не было ничего, кроме тех рабочих костюмов, в которых они явились ко мне в День происшествия. Нам удалось подобрать полный гардероб для Мейсонье из вещей, оставшихся после дяди. Куда хуже обстояло дело с Коленом. Я с трудом уговорил Мену отдать Колену одежду ее покойного мужа, которую она хранила в нафталине уже два десятилетия, не надеясь даже, что она может пригодиться, поскольку Момо был куда крупнее отца. Но это, считала она, вовсе еще не основа-

ние, чтобы отдавать одежду. Вовсе нет! Даже Колену! Мы навалились на нее всем скопом, мы и кричали, и грозились, что заберем у нее силой эти одеяния полувековой давности, и только тогда она уступила. Но уж решившись, она не стала мелочиться. Она даже подогнала все Колену по росту, он оказался на пять сантиметров ниже ее супруга. И это ее почему-то растрогало.

— Ты понимаешь, Эмманюэль,— сказала она мне,— как-то уж всегда низенький мужчина глянется низенькой женщине. Я ведь, сколько ни тянись, всегда была только метр сорок пять.

Но совсем безнадежно обстояло дело с экипировкой Пейсу. Он был на полголовы выше нас с Мейсонье и косая сажень в плечах, так что мои пиджаки трещали на нем по швам. Можно представить, какой ужас испытывал наш бедняга великан при мысли, что в один прекрасный день ему придется щеголять в полной натуре. К счастью, нам удалось выйти из положения, ниже я расскажу, каким образом.

Мену, лишившаяся всех привычных удобств, брюзжала с утра до ночи. Десять раз на день она нажимала какие-то кнопки, по привычке включала кофемолку (у нее в запасе имелось несколько килограммов кофе в зернах) и каждый раз чертыхалась с разнесчастным видом. Она обожала свою стиральную машину, свой электрический утюг, свою духовку, свое радио, кототорое слушала (или не слушала), стряпая на кухне, не говоря уж о телевизоре — она неукоснительно смотрела все передачи каждый вечер, до последней минуты. Обожала она также разъезжать на машине и еще при жизни дяди с редкой изобретательностью придумывала всевозможные предлоги, чтобы он отвез ее среди недели в Ла-Рок, а по субботам они всегда отправлялись туда на ярмарку. Теперь, когда не стало больше врачей, она вдруг обнаружила, что не может без них обходиться, хотя прежде никогда к ним не обращалась. Перспектива побить рекорд собственной матери и «дотянуть до ста лет» ныне представлялась ей весьма сомнительной, и она без конца печалилась об этом. «Я часто думаю,— сказал мне как-то Мейсонье,— какую же галиматью несли леваки о потребительском обществе. Прислушайся, что говорит Мену. Ведь для нее нет ничего ужаснее общества, где потреблять больше нечего».

Равно как и для самого Мейсонье — общества, где больше нет партийной прессы. Потому что ему до ужаса не хватало газет. Впрочем, как и разделения мира на два лагеря — лагерь социализма и лагерь капитализма, ведь именно их существование придавало смысл и остроту жизни: первый лагерь боролся за правое дело, второй пребывал в вечном заблуждении. Теперь, когда оба лагеря были уничтожены, Мейсонье совсем растерялся. Как убежденный коммунист, он искренне верил в «поющее завтра». А теперь было ясно, что будущее уже ни для кого не станет «поющим завтра».

Кончилось тем, что Мейсонье обнаружил в котельной целый комплект номеров газеты «Монд» (за 1956 год, год победы республиканского фронта). Он утащил их к себе, хотя с презрением мне сказал:

— Уж эта «Монд»! Ты же знаешь, какого я мнения об объективности этой газеты.

И тем не менее он с упоением перечитал все номера, от первой до последней страницы. Он порывался читать и нам отдельные статьи, но Колен без излишних церемоний оборвал его:

— Плевать я хотел на твоего Ги Молле и его войну в Алжире. С тех пор двадцать лет прошло!

— Слышишь? Ги Молле теперь уже оказывается мой! — с негодованием взывал ко мне Мейсонье.

От Мену мне стало известно, что Колен и Пейсу плохо уживаются в одной комнате, а потом они и сами стали жаловаться друг на друга. Пейсу то и дело ворошил свое страшное горе, его воспоминаниям и рассказам не было конца, а это выводило из себя Колена.

— Ты ведь знаешь Колена,— в свою очередь говорил мне Пейсу,— обидчивее его у нас никого не было, а теперь такой вредный стал, только и слышишь: болван здоровый, болван здоровый. Да к тому же сигарет у него больше нету, уж не выкуривает по пачке в день, как раньше, и вот чуть что — закипает, как молоко, только и знай попрекает меня моим ростом. Будто я назло ему такой вымахал.

Я спросил у Мейсонье, не согласится ли он перейти вместо Колена в комнату к Пейсу. Единственное, что я знал точно: одного Пейсу оставлять нельзя.

— В общем, я из тех, кого всегда приносят в жертву,— ответил Мейсонье.— Еще во времена Братства все

самые неприятные поручения доставались на мою долю. Пейсу был не шибко умен, на Колена нельзя было положиться, ты только и знал, что командовать. О других я не говорю.

— Ну ладно, ладно,— улыбнулся я в ответ,— уж если на то пошло, к неприятным поручениям ты попривык, как секретарь своей ячейки.

Он пропустил мою реплику мимо ушей.

— Учти,— продолжал он,— я ставлю Пейсу несравненно выше Колена, хотя Колен всегда был твоим любимчиком. Он, конечно, может быть обаятельным, но уж больно мелочный. Пейсу же отличный малый. Но если я перейду к нему в комнату, пусть он со своими воспоминаниями завязывает, у меня и самого от воспоминаний голова пухнет.

Он весь словно окаменел, его глаза часто-часто заморгали, уголки губ вдруг опустились, и казалось, все черты лица поползли вниз.

— Знаешь, разное вспоминается, но одно меня мучает сильнее всего. Сейчас я тебе расскажу, и больше никогда об этом ни слова. Не к чему пережевывать. Утром в День происшествия мой малыш Франсис просил взять его с собой в Мальвиль, посмотреть замок, и я ему уже пообещал, но тут вмешалась Матильда, начала кричать, что не хватало только втягивать дитя малое в нашу грязную политику. Я не знал, как поступить. Прекрасно помню, что все колебался. Уж очень у малыша был расстроенный вид. Но накануне вечером мы поругались с Матильдой, и опять из-за политики, а ты знаешь, что такое женщины: я, бывало, пытаюсь ей что-то доказать, говорю, говорю, а потом надуюсь и молчу, и так никогда у нас эта волынка не кончалась. Ладно. Мне все как-то вдруг обрыдло. Ладно, говорю, держи своего сыночка при себе, поеду один. Просто я не хотел новой сцены, да еще сразу же после вчерашней. В общем, смалодушничал. И вот что получилось. Франсис остался дома. Мальчонка смотрел на меня и заливался слезами. Не будь я такой тряпкой, понимаешь, Эмманюэль, мальчик был бы сейчас здесь, со мной.

Сказав это, он замолчал. Молчал и я. Но мне показалось, что ему все-таки полегчало, когда он поделился тем, что так мучило его. Не помню уж, о чем мы заговорили с ним после, но о чем-то мы говорили. А про себя я все думал, как бы потактичней сказать долговязому Пейсу, что-

бы он попридержал свой язык. Хотя, в сущности, он был в своем праве. Мейсонье только что мне это доказал.

Аделаида дождалась, когда мы выполнили наконец свою отвратительную миссию могильщиков, и только тогда опоросилась. Поначалу нам показалось, что она произвела на свет дюжину поросят. Но так как на сей раз свинья была особенно неприступна, точный подсчет мы смогли произвести, лишь когда она поднялась с подстилки: поросят оказалось пятнадцать — что и говорить, число немалое, однако не превышавшее ее былые рекорды. Первым забил тревогу Момо: весь всклокоченный, он ворвался в парадную залу во время обеда и, воздев руки к небу, истошно завопил:

— Мамуэль, Абебаиожае! (Эмманюэль, Аделаида рожает.)

Мы выскочили из-за стола и бросились в Родилку, где, постанывая, лежала, распластавшись на земле, Аделаида. Вероятно, она с удивлением заметила, что над перегородкой вдруг выросло семь голов, семь болтливых, алчно глядящих на нее людей. Свинья злобно захрюкала, но, видя, что ей не угрожает опасность, снова принялась за свое дело и одного за другим произвела на свет божий еще несколько поросят. А мы, упершись подбородками в стойку (полтора метра высотой — стойло предназначалось для лошадей), и Мену — чтобы ничего не упустить, она вскарабкалась на две огромные, лежавшие одна на другой плиты,— мы уже с восторгом обсуждали дарованную нам в изобилии пищу и строили планы, как наиболее рационально ее использовать. К сожалению, мы не могли себе позволить роскошь вырастить всех пятнадцать поросят. Значит, придется пожертвовать пятком сосунков, как только мать перестанет их вскармливать, о чем мы говорили с позиций высшей объективности, якобы жалея несчастных детенышей, а у самих, что называется, слюнки текли при мысли о поросятине, поджаренной на вертеле над пламенем очага. Я заметил тогда, что в нашем чревоугодии появилось что-то болезненно-лихорадочное. Это не было, как прежде, проявлением радости жизни, скорее, здесь таился страх перед будущим. Воспоминания о былых пиршествах занимали явно ненормальное место в наших разговорах, а это доказывало, что по-прежнему каждого втайне мучила мысль о возможном голоде.

Спустя два дня отелилась и Принцесса, она принесла нам крепенького бычка, обеспечив таким образом ценою будущего кровосмесительства сохранение своего рода. Отел был не из легких, и Мену, выбившись из сил, решила позвать себе на помощь Пейсу. Но Пейсу только замахал руками. Он заявил, что у него и раньше-то к этому сердце не лежало, он боялся причинить скотине боль, так что его Иветта всегда сама управлялась с коровой, а уж если приходилось очень туго, посылала его за Коленом.

— Тогда давай сюда Колена,— скомандовала Мену.

Снова все мы собрались в Родилке, уже стемнело, я, опустившись на корточки, светил Мену, держа в руке толстую свечу, принесенную из подвала, и воск, плавясь, капал мне на пальцы. Я весь взопрел от волнения и крепкого коровьего духа, который с трудом выносил. Принцесса маялась целых четыре часа, и мы буквально оцепенели от тревоги за нее. В конце концов, оттого ли, что я так долго держал свечу, или меня просто доконало это зрелище, но мне стало не по себе, я вручил свечу Мейсонье, и так ее передавали каждые четверть часа из рук в руки. Момо ни на что не годился: забившись в стойло к Красотке, он ревел там, как теленок, от ужаса, что мы, чего доброго, потеряем нашу единственную корову, да, может, и его любимицу Красотку, которая тоже должна была на днях ожеребиться. Все свои страхи он изливал вслух, в потоке жалобных и нудных причитаний, так что Мену раза два, подняв голову, отчитала его, правда, без своих обычных крепких выражений, слишком она сама была встревожена. Момо уловил состояние матери, и окрики ее не производили поэтому на него должного впечатления. Он ненадолго замолкал, а потом начинал снова тихо и жалобно подстанывать, будто рожал он сам.

Когда наконец бычок появился на свет, лишенный отныне пастбищ, Мену без ненужных потуг на оригинальность нарекла его Принцем.

Оттого, что Принцесса быстро оправилась и принесла нам потомство мужского пола, у нас тут же поднялось настроение, мы преисполнились самых радужных надежд, которые, к сожалению, померкли несколько дней спустя, когда Красотка, не причинив особых хлопот, ожеребилась и подарила нам кобылку.

Красотке было четырнадцать лет, Амаранте — три года, а Вреднухе (так окрестил ее Момо, возможно, пото-

му, что она обманула наши надежды) — всего один день. Все кобылы были разного возраста и разных статей, но всем была уготована общая судьба: ни одна из них уже не принесет потомства.

Невеселый мы провели вечер в большой зале.

Сразу же после того, как мы захоронили животных — а эта процедура пожрала до последней капли наши запасы газолина,— я решил использовать весь имеющийся у нас бензин за распилку дров, оставив неприкосновенной на всякий случай только пятилитровую канистру. А пока Мейсонье с Коленом переделывали плуг, который я водил за трактором, на гужевой, мы с Пейсу и Тома взялись заготавливать дрова на зиму. Делали мы это с величайшей осторожностью, не трогали даже самые искореженные стволы, если обнаруживали в них хоть какие-то признаки жизни.

Амаранта довольно легко привыкла к постромке, как раньше легко привыкла ходить под седлом и, в общем, не слишком артачилась, когда мы впрягли ее в оглобли, которые, прежде чем взяться за плуг, удлинил Мейсонье. Почерневшие стволы деревьев мы сваливали в груды там, где нам удавалось их напилить, иногда очень далеко от Мальвиля, и потом перевозили на телеге в замок и складывали в одном из стойл во внешнем дворе. Природе понадобится бесконечное время, чтобы восстановить леса, в мгновение ока уничтоженные пламенем, зато у нас было одно преимущество — мы были единственными потребителями этих бескрайних выгоревших лесов. И тем не менее осторожности ради, а также чтобы никто не сидел без дела, я не успокоился до тех пор, пока мы не забили снизу доверху все стойло и не натолкали дров даже еще в соседнее, а это, по моим подсчетам, обеспечивало нас топливом на две зимы, при условии, что мы будем топить только один очаг и на нем же готовить пищу.

С самого дня катастрофы небо нависло над нами зловещим серым шатром. Было холодно. Солнце так и не показалось ни разу. Дождя тоже не было. Сухая земля, покрытая пеплом, превратилась в мелкую пыль, и теперь при малейшем дуновении ветра она черным облаком взмывала в воздух, застилая весь горизонт. В Мальвиле, защищенном от внешнего мира своими вековыми стенами, еще чувствовалась жизнь. Но когда мы опускались по склону, отправляясь за дровами, мы попадали в царство

смерти, все подавляло нас: и обуглившийся пейзаж, и обгоревшие скелеты деревьев, и свинцовый колпак неба над головой, и молчание мертвых долин. Я заметил, как мало и тихо мы говорим, будто на кладбище. Но как только серое небо становилось хоть чуточку светлей, мы начинали ждать возвращения солнца, но тут же снова опускалась тьма, теперь с утра до ночи мы были ввергнуты в тусклый полумрак.

Тома высказал мысль, что пыль от атомного взрыва, в значительном количестве заполнив стратосферу, преграждала путь солнечным лучам. По его мнению, чем дольше не будет дождя, тем лучше. Потому что, если была взорвана не литиевая бомба, пусть даже на очень значительном расстоянии от Франции, вместе с осадками на землю могут выпасть радиоактивные элементы. Каждый раз, как мы отправлялись подальше от Мальвиля, Тома настаивал, чтобы мы непременно клали в телегу плащи, перчатки, сапоги и головные уборы — хоть и не слишком надежная, но все-таки защита.

Вечером в маленьком ренессансном замке стоял такой холодище, что после ужина мы шли на непредвиденные расходы дров, разжигали огонь в огромном камине и усаживались вокруг, чтобы поговорить немного, «ведь не заваливаться же дрыхнуть, как скоты», по выражению Мену.

Обычно я сидел на низенькой скамеечке, прислонившись к консоли камина, и читал, держа в руках книгу под таким углом, чтобы на нее падал огонь, и временами включался в общий разговор. Мену устраивалась на приступке камина, и, когда пламя начинало замирать, она ворошила поленья или подкладывала вниз веточки — запас их хранился под скамейкой.

В своем посмертном письме — я знал его наизусть — дядя советовал мне читать Библию и добавлял, что «не надо останавливаться на нравах, главное в ней — мудрость». Но я был настолько увлечен своим Мальвилем и после смерти дяди у меня оказалось столько забот с моим конным заводом, что я так и не удосужился выполнить его пожелание. Но теперь, хотя я был измотан пуще прежнего, я каким-то образом сумел выкроить для этого время, теперь оно, как ни странно, стало словно бы податливее.

В тот вечер, когда Красотка подарила нам Вреднуху (смешно подумать, что на ее нрав могло повлиять данное ей имя, но в жизни своей я не встречал лошади более

строптивой, а ведь родилась она от нашей смирной Красотки), наше сумерничанье в большой зале, как я уже говорил, было особенно унылым. Мы поужинали в полном молчании. Потом расставили стулья и уселись у очага, Момо и Мену расположились друг против друга на приступках, а я привалился спиной к консоли; молчание длилось так долго, что мы были почти благодарны Колену, когда он заметил, что через двадцать пять лет на земле вообще не останется больше ни одной лошади.

— Почему же через двадцать пять! — воскликнул Пейсу.— Ей-богу, я видел у Жиро — не у того, что жил в Вольпиньере, а у Жиро из Кюсака — мерина, которому шел двадцать восьмой год, слеповатый, правда, был и от ревматизма на ходу поскрипывал, но Жиро на нем еще обрабатывал свой виноградник.

— Ладно, допустим, даже через тридцать,— сказал Колен,— всего на пять лет больше. Через тридцать лет успеет околеть даже Вреднуха. И Амаранта тоже. К тому времени не будет уже и нашей Красотки.

— Да замолчи ты! — прикрикнула Мену на сына, сидящего, вернее, лежащего напротив нее. Момо заревел, услыхав о будущей кончине своей любимицы.— Ведь говорят не о том, что случится завтра, а о том, что будет через тридцать лет, а через тридцать лет с тобой-то самим что станет, дубина ты стоеросовая?

— Ну, еще бабушка надвое сказала,— заметил Мейсонье.— Сейчас Момо сорок девять, через тридцать лет ему будет семьдесят девять — не такая уж это старость.

— Вот что я тебе на это скажу,— ответила Мену.— Моя матушка умерла девяноста семи лет, но я не надеюсь дожить до ее возраста, особенно сейчас, когда врачей нету. Привяжется какой грипп — и капут.

— Это ты зря,— возразил Пейсу.— Ведь когда и были врачи, в деревне к ним не часто обращались, а люди жили подолгу. Ну, хоть, например, мой дед.

— Ладно, возьмем пятьдесят лет,— продолжал Колен с ноткой раздражения в голосе.— Через пятьдесят лет никого из нас уже не будет в живых, никого, разве только Тома, ему будет в ту пору семьдесят пять. Вот, старик, имеешь шанс повеселиться, когда останешься один в Мальвиле.

Залегла такая тяжелая тишина, что я поднял голову, оторвавшись от книги,— впрочем, сегодня я не прочел ни

строчки, настолько тяжко у меня было на сердце после рождения Вреднухи. Я не видел лица Мену, поскольку она сидела позади меня, и плохо видел скорчившегося Момо — из-за дыма и отблесков пламени,— зато я мог разглядеть остальных четырех человек, сидевших лицом к камину, так что мой пристальный взгляд не стеснял их.

Тома, как обычно, был невозмутим. Стоило только посмотреть на добрую круглую физиономию Пейсу, с крупным ртом, мясистым носом, большими, слегка навыкате глазами и таким низким лбом, что казалось, еще немного — и полоска волос наползет на брови, чтобы понять, как ему тяжело. Хотя, пожалуй, горе Колена вызывало еще бóльшую тревогу. Это горе не согнало с его лица обычной улыбочки, зато лишило ее всякой веселости. Мейсонье походил сейчас на собственную старую фотографию, потускневшую в ящике стола. Вроде он был все тот же, то же худое, длинное лицо, точно лезвие ножа, близко посаженные глаза и щеточка волос над узким и высоким лбом. Но у него в душе что-то погасло.

— Совсем не обязательно,— сказал Пейсу, повернувшись к Колену.— Совсем не обязательно, что Тома, хоть он сейчас самый молодой, останется последним в Мальвиле. Если так считать, то на кладбище в Мальжаке лежали бы одни старики, а ты сам знаешь, что лежат там не только они. Не в обиду тебе, Тома, будь это сказано,— слегка наклонившись к нему, добавил он с обычной своей крестьянской вежливостью.

— Во всяком случае, если я останусь один, долго раздумывать я не стану,— невозмутимо проговорил Тома,— на донжон — и бац оттуда!

Я рассердился на Тома за эти слова, он не должен был так говорить при этих людях, переживавших тяжелейшую душевную депрессию.

— А я вот, мой милый, думаю совсем по-другому,— сказала Мену.— Если бы я, например, осталась в Мальвиле одна, я бы не полезла прыгать с башни, кто бы тогда за скотиной стал ходить?

— Правильно,— одобрил Пейсу,— скотину не бросишь.

Я был ему благодарен, что он сразу и так горячо откликнулся на эти слова.

— Скажешь тоже,— возразил Колен с горьким оживлением, так не похожим на беззаботную веселость, кото-

рой раньше было окрашено каждое его слово,— скотина прекрасно и без тебя обойдется. Не сейчас, конечно, когда все кругом погорело да пропало, а вот когда снова трава вырастет — открой им тогда ворота, Аделаида и Принцесса сами раздобудут себе все, что им надо.

— А потом,— сказала Мену,— что ни говори, с животными тоже можно компанию водить. Вот, помню я, когда Полина осталась одна на ферме — у мужа ее приключился удар и он сорвался с прицепа, а ихнего сына убило во время алжирской войны,— она мне говорила: ты не поверишь, Мену, но я целый день со скотиной разговариваю.

— Полина была совсем старая. А люди, чем старше, тем больше хотят жить. Прямо даже не пойму, почему это так.

— Поймешь, когда сам состаришься,— ответила Мену.

— Ты это на свой счет не принимай,— тут же поправился Пейсу, как человек деликатный, он всегда боялся кого-то обидеть.— Да разве тебя можно сравнить с Полиной. Та едва ноги таскала. А ты все бегаешь, все бегаешь.

— Да, правильно, все бегаю!— отозвалась Мену.— И добегаюсь, видно, до того, что в один прекрасный день окажусь на кладбище. Да не реви ты, дурень здоровый,— добавила она, обращаясь к Момо,— ведь говорят тебе, это еще не завтра будет.

— А я,— сказал Мейсонье,— с тех пор как у Аделаиды и Принцессы появился приплод, я все об одном думаю. Через пятьдесят лет на земле не будет ни одного человека, а коров и свиней разведется до черта.

— Верно,— сказал Пейсу, упершись огромными ручищами в широко расставленные колени и подавшись всем телом к огню.— Я об этом тоже думал. И знаешь, Мейсонье, я прямо с ума схожу, как представлю себе, что вокруг Мальжака снова стоят леса, луга зеленые, коровы бродят — и ни одного человека.

Снова залегло молчание, все мы мрачно и тупо уставились на языки пламени, как будто там мелькали картины будущего, каким нам живописал его Пейсу: вокруг Мальжака поднялся молодой лес, зеленеют луга, пасутся коровы — и нигде ни одного человека. Я смотрел на своих приятелей и видел на их лицах отражение собственных мыслей. Человек — единственный вид животного, способ-

ный постичь идею собственной смерти, и единственный, кого мысль о ней приводит в отчаяние. Непостижимое племя! С каким ожесточением они истребляют друг друга и с каким ожесточением борются за сохранение своего вида!

— Так вот,— сказал Пейсу, будто подвел итог долгим размышлениям.— Выжить — это еще не все. Чтобы жизнь тебя интересовала, нужно знать, что она будет и после тебя.

Он, должно быть, подумал об Иветте и двух своих детях, потому что его лицо вдруг окаменело и сам он словно застыл и так и сидел, упершись руками в колени, с полуоткрытым ртом, глядя остановившимися глазами на огонь.

— Ведь еще неизвестно,— немного помолчав, сказал я,— может быть, выжили не только мы одни. Мальвиль спасла прикрывающая его с севера скала. Как знать, может, люди уцелели и в других местах, и, может, даже недалеко отсюда, если у них оказалась такая же надежная защита, как у нас.

Я не хотел называть Ла-Рок, не хотел слишком обнадеживать их, боясь будущего разочарования, если это окажется не так.

— Но ведь такой подвал, как в Мальвиле, встретишь не часто,— заметил Мейсонье.

Я кивнул.

— Мы спаслись не только потому, что оказались в подвале, нас прикрыла скала. Ведь выжили же животные в Родилке.

— Родилка,— сказал Колен,— запрятана очень глубоко в пещере, и не забывай, какая там толщина, камень и сверху и с боков. А потом неизвестно, может, животные выносливее, чем люди.

— Не скажи,— ответил я,— нам здорово помогла сила духа.

— По-моему,— проговорил Тома,— животные страдали меньше. Они приняли на себя тепловой удар, возможно, даже более сильный, но более короткий срок находились под его воздействием. Воздух там охладился скорее. И они не пережили такого состояния, будто тебя сунули в печь, как было у нас в подвале.

И, глядя на меня, он добавил:

— Но я не могу не согласиться с твоей мыслью, что люди, видимо, уцелели кое-где. Даже в городах.

Он остановился и крепко сжал губы, будто запретив себе говорить на эту тему.

— А я вот, знаешь, в это не верю,— сказал Мейсонье, тряхнув головой.

Колен снова поднял брови, а Пейсу пожал плечами. Они так ушли в свое горе, что ни о чем больше не желали слышать, словно в самых глубинах их отчаяния было некое безопасное прибежище и они страшились его утратить.

Снова воцарилось долгое молчание. Я взглянул на часы: еще нет и девяти. В очаге не сгорело и половины дров. Так жаль было расставаться с теплом и расходиться по своим ледяным комнатам. Я снова уставился в книгу, но ненадолго.

— Чего ты там все читаешь, бедненький мой Эммануэль?— спросила Мену.

«Бедненький» было в ее устах ласкательным словом. И вовсе не значило, что она жалеет меня.

— Ветхий Завет.— И я пояснил:— Священную историю, если тебе так больше нравится.

Я был уверен, что Мену знакома с Библией только в кратком и сильно подслащенном изложении, полученном в школе на уроках закона божьего.

— Так вот оно что,— сказала Мену,— теперь я узнаю эту книгу, ее часто листал твой дядюшка.

— Как?— удивился Мейсонье.— Неужели ты действительно читаешь Библию?

— Я обещал это дяде,— коротко ответил я. И добавил:— К тому же нахожу это чтение интересным.

— Постой-ка, Мейсонье,— сказал Колен, и на губах у него появилось что-то похожее на его прежнюю улыбочку.— Ты разве забыл, что всегда был первым по закону божьему!

— А ведь точно, Мейсонье,— хохотнув, подтвердил Пейсу.— Бывало, отчеканишь лучше, чем в книге. А я только и помню, как братья запродали в рабство младшего в семье парнишку. В семье-то оно,— заключил он после минутного раздумья,— только и гляди, чтобы с тобой не учинили какую-нибудь пакость.

Снова помолчали.

— А может, почитаешь нам вслух?— предложила Мену.

— Вслух?— удивился я.

— Мне бы, например,— сказал Пейсу,— доставило удовольствие послушать снова все эти истории, я ж тебе говорю, что все перезабыл.

— Дядя Эммануэля, бедненький, уж такой был добрый, читал мне, бывало, по вечерам рассказы из этой книги.

— Эммануэль, не заставляй себя просить,— сказал Колен.

— Валяй, начинай,— сказал Пейсу.

— Но может быть, это вам покажется скучным?— спросил я, избегая смотреть на Тома.

— Что ты, что ты!— возразила Мену.— Уж куда лучше, чем нести всякую чепуху или сидеть да молчать при своих мыслях.— Она добавила:— Особенно теперь, когда телевизора нет.

— Я с тобой вполне согласный,— заявил Пейсу.

Я взглянул по очереди на Мейсонье, потом на Тома, но оба они отвели глаза в сторону.

— Ну что же, пожалуйста, если нет возражений,— сказал я, помолчав с минуту. И так как те оба по-прежнему молчали, уставившись на пламя очага, я спросил:— Не возражаешь, Мейсонье?

Мейсонье не ожидал столь прямой атаки. Он выпрямился, прислонился к спинке стула.

— Я,— ответил он мне с достоинством,— я материалист. Но поскольку никто не навязывает мне веру в бога, я совсем не против послушать историю еврейского народа.

— А как ты, Тома?

Тома и бровью не повел, засунув руки в карманы и вытянув перед собой ноги, он рассматривал носки ботинок.

— Раз ты читаешь Библию про себя,— сказал он равнодушным тоном,— почему бы тебе не читать ее вслух?

Ответ был явно уклончивый, но меня он вполне устраивал. Мне подумалось, что чтение пойдет на пользу моим приятелям. Днем они были заняты, но по вечерам, когда особенно не хватало тепла семейного очага, им приходилось переживать тяжелые часы. Наше молчание становилось невыносимым, во время этих молчаливых посиделок я почти физически ощущал, что моих товарищей не оставляют мысли о пустоте и бессмысленности своего существования. И кроме того, жизнь библейских примитивных племен чем-то напоминала ту, какой теперь начинали жить мы сами. Я был уверен, что книга их заинтересует.

И я надеялся также, что они почерпнут силы в той воле к жизни, которую проявляли евреи.

Прихватив табуретку, я перешел с закрытой книгой к другой консоли камина, чтобы согреть озябший левый бок. Мену подбросила в огонь несколько сухих веточек, сразу стало светлее, я открыл Библию на первой странице и начал с Книги Бытия.

Я читал, и меня охватывало волнение, пусть даже к нему примешивалась ирония. Конечно, это была великолепная поэма. Она воспевала сотворение мира, а я читал ее сейчас в уничтоженном мире, читал людям, которые потеряли все.

КОММЕНТАРИИ ТОМА

Поскольку многие детали еще свежи в памяти читателя, я хотел бы указать на две неточности в рассказе Эмманюэля.

1. Думаю, что, находясь в подвале, Эмманюэль неоднократно терял сознание, потому что я все время был рядом с ним, но он по большей части не замечал моего присутствия и не отвечал на мои вопросы. Во всяком случае, в категорической форме утверждаю, что я *не видел, как он погружался в бак для мытья бутылок.* И никто этого не видел. Вероятно, находясь в бредовом состоянии, он лишь мечтал об этом, а потом его начали мучить угрызения совести за свой «эгоизм».

2. Дверь в подвал после появления Жермена закрыл не Эмманюэль, а Мейсонье. Будучи в полусознательном состоянии, Эмманюэль, должно быть, вообразил себя на месте Мейсонье, и, что удивительно, он с такой точностью описал все его движения, словно и впрямь совершал их сам. Особенно поражает эпизод, когда Мейсонье, на четвереньках добравшись до двери, не решается приблизиться к телу Жермена.

Хотел бы еще заметить следующее.

Будучи атеистом, я отнюдь не являюсь антиклерикалом, и, если я без большого энтузиазма согласился на предложение Эмманюэля читать по вечерам Библию, произошло это только потому, что мне казалось, будто эта церемония — вероятно, слово найдено не очень точно, но другое не приходит мне в голову — лишь закрепит сложившуюся ситуацию: отношение окружающих к Эмма-

нюэлю носило и без того характер почти религиозного культа. К тому же читал он Библию прекрасным низким голосом, проникновенно звучащим от волнения. Я охотно признаю, что Эмманюэль — человек, обладающий блестящим даром воображения, и эмоции его скорее от литературы. Как раз это-то мне и кажется опасным: вносимое им в души смятение.

Называть «великолепной поэмой» Книгу Бытия — это значит полностью игнорировать ошибки, которыми она изобилует.

ГЛАВА VI

Первые недели после Происшествия оставили во мне ощущение сплошной серости — и на Земле, и в нашей жизни: глухое отчаяние, бесцельное топтание на месте, бессмысленные усилия и давящее свинцовое небо. Мы трудились не покладая рук, часто выполняя скучнейшие работы, но в силу царившей у нас дисциплины всегда доводили их до конца; не слишком цепляясь за жизнь, мы тем не менее пытались организовать ее так, чтобы выжить.

Пока Мейсонье и Пейсу доделывали плуг, в который собирались впрячь Амаранту, мы с Пейсу и Тома занялись делом, может быть и не столь неотложным, но не менее важным для будущего: мы повсюду собирали, рассортировывали и, занеся в реестр, относили в кладовую все металлические предметы, даже казавшиеся на первый взгляд бросовыми, но теперь, когда их невозможно было произвести, ставшие бесценными.

Понятно, что мы начали с инструмента, гвоздей, гаек, болтов и шурупов. До катастрофы я не слишком бережно относился к этому хозяйству, ведь в ту пору было так легко заменить новыми какие-нибудь запропастившиеся или заржавевшие в траве клещи. Теперь же мы твердили себе, что подобное ротозейство равносильно почти что преступлению.

На первом этаже донжона я устроил склад для всей этой утвари, поместив ее в специальных стеллажах, предназначенных в свое время для хранения яблок из ныне уже не существующего фруктового сада. Самые ценные инструменты мы разложили в запиравшиеся на ключ

ящики, а распорядителем этого склада единодушно и с его полного согласия выбрали Тома. Теперь любой инструмент на складе выдавался только под расписку и в книгу заносилось даже время выдачи.

Когда это дело было завершено, я вспомнил, что во время восстановления Мальвиля в пустую конюшню во внешнем дворе я свалил старые доски, не вытащив из них гвозди, доски эти предназначались для растопки печей в зимнее время. Чудовищные намерения! Теперь о подобном расточительстве не могло быть и речи. Мы подбирали все, что можно было подобрать: каждый клочок бумаги, любую тару, пустые консервные банки, пластмассовые флаконы, жалкий обрывок веревки или шнурка, не говоря уже о гвоздях, даже самых кривых и ржавых.

Мы вытащили из конюшни старые каштановые доски, извлекли из них клещами все гвозди, стараясь не повредить шляпок. А потом, выпрямив их на плоском камне, разложили по диаметрам в ячейки стеллажей на складе. Не желая тратить горючее на бензопилу, мы вручную отпилили от досок сгнившие и изломанные куски — эти отбросы пойдут на растопку,— а доски тщательно очистили с обеих сторон от штукатурки и цемента, рассортировали по толщине и аккуратно уложили в штабель, прижав их кольями, чтобы не покоробились за зиму.

Готовясь встретить в Мальвиле туристов, я закупил огромные свечи. У меня оставалось две дюжины в упаковке, четыре почти нетронутые свечи в подвале и две наполовину сгоревшие.

Мы решили сохранить их про запас, поскольку у меня было две бочки орехового масла, Колен из узких, цилиндрической формы консервных банок изготовил коптилки, загнув с одной стороны край так, что получилось что-то вроде рожка, куда вставлялся фитиль-волоконце, выдернутый из пеньковой веревки, а к противоположной стенке припаял моим паяльником ручку-петлю, вырезанную из крышки. Таких коптилок он изготовил по числу спален в Мальвиле, то есть четыре. По вечерам после наших посиделок у очага каждый поджигал сухой веточкой свою коптилку, при ее дрожащем свете добирался до своей спальни и устраивался на ночлег. Масло поручили разливать Мену, на ее ответственности была и вторая бочка с маслом, выделенная для приготовления пищи и пока еще непочатая.

Из узкой дощечки, которую он предварительно хорошенько промыл и обстругал, Мейсонье сделал специальный щуп с делениями, при помощи которого нам удалось установить, что к концу двух первых недель уровень масла почти не уменьшился. Как подсчитал Тома, этих запасов масла при теперешнем его потреблении нам хватит на шесть лет. А затем придется изыскивать иные источники света, поскольку вряд ли среди всеобщей гибели сохранилось хоть одно ореховое дерево.

Были у меня еще два электрических фонаря с двумя почти новыми батарейками. Один я отдал Мену, для въездной башни, другой оставил в донжоне, мы условились, что пустим их в ход только в случае какого-то чрезвычайного события.

Тома пришла в голову мысль усовершенствовать ванную комнату, для чего он предложил сваливать навоз от наших трех лошадей на каменные плиты двора у водонапорной башни. Под этими плитами проходили водопроводные трубы с холодной водой. По словам Тома, при разложении навоза выделяется достаточно тепла для того, чтобы согреть эти трубы. Поначалу мы отнеслись к этому довольно скептически, но опыт увенчался успехом. Это было нашей первой победой, нашим первым завоеванием, не говоря уже об удобствах. Колен клялся, что, если бы его заведение в Ла-Роке уцелело, он использовал бы этот принцип для установки центрального отопления.

Пейсу был в восторге, когда к нему в комнату переселился Мейсонье, но сколько понадобилось дипломатических ухищрений, чтобы убедить Колена обосноваться одному в комнате Биргитты. Видимо, он надеялся занять место Тома в моей спальне. А я делал вид, что не замечаю его намеков. Мои приятели всю жизнь упрекали меня, что Колен ходит у меня в любимчиках и что я «все спускаю ему с рук». Но я-то прекрасно знал его недостатки. И сделал бы непростительную глупость, променяв на Колена такого спокойного, молчаливого и выдержанного соседа, как Тома.

К тому же Тома и так держался несколько особняком в силу своей молодости, своего характера, своего образа мыслей и оттого еще, что был горожанин, да к тому же не понимал нашего местного наречия. Мне не раз приходилось просить Мену и Пейсу не слишком увлекаться родным языком — французский был для них полуродным,—

потому что, когда за столом они заводили беседу на здешнем диалекте, мало-помалу все начинали им вторить и Тома чувствовал себя среди нас чужаком.

Надо, впрочем, сказать, что сам Тома нередко ставил в тупик моих друзей своей необщительностью. Держал он себя холодно. Говорил кратко, подчас резковато. В нем не было и тени приветливости. Но наибольшим его грехом для нас было полное отсутствие чувства юмора, он вообще не понимал, почему люди смеются, и сам никогда не смеялся. Его невозмутимая серьезность, столь необычная для нас, могла сойти за гордыню.

Даже самые очевидные достоинства Тома почему-то не привлекали к себе. Я заметил, что Мену, питавшая определенную слабость к красивым парням (вспомним хотя бы почтальона Будено), и та относилась к Тома весьма сдержанно. Дело в том, что красота Тома была непривычна для нашего глаза. Лицо греческой статуи и безупречный профиль отнюдь не являлись для нас эталоном красоты. С нашей точки зрения, здоровенный носище или тяжелый подбородок ничуть не портили дела, лишь бы внутри у тебя пылал огонь жизни. У нас любили крупных, плечистых парней, насмешников и балагуров, при случае умевших и прихвастнуть.

А кроме того, Тома был «новеньким». Он не входил в наше Братство. Он не мог участвовать в наших воспоминаниях. И чтобы хоть как-то скрасить его обособленность, я старался уделять ему побольше внимания, и это вызывало ревность у остальных, особенно у Колена, который то и дело цеплялся к нему. А Тома был абсолютно неспособен отбить мяч в словесном пинг-понге. Для этого он слишком медленно, неторопливо и основательно думал. Он просто не отвечал на эти наскоки. Его молчание воспринималось как знак презрения, и Колен, высмеяв его, сам же потом на него дулся. Волей-неволей приходилось вмешиваться, воздействовать на Колена и обходить острые углы.

Чтение Библии продолжалось из вечера в вечер, и это оказалось делом куда менее нудным, чем я предполагал поначалу, видимо, благодаря живейшим замечаниям, которыми оно то и дело прерывалось. Так, например, Пейсу почему-то принял слишком близко к сердцу несправедливость господа бога в отношении Каина.

— Ты что же, считаешь, это правильно? — говорил он мне. — Парень знай себе вкалывает, овощи выращивает.

Он тебе и ломом землю долбает, и поливает, и пропалывает, а это потяжелей, чем прогуливать баранов, но господь даже и не глядит на его дары. А у того подонка только и была забота, чтобы овечек щупать, так за это, что ли, ему все милости?

— Господь, должно быть, уже догадывался, что Каин убьет Авеля,— вмешивалась Мену.

— Тем более он не должен был сеять раздора между братьями, где же справедливость?— возмущался Колен.

Мейсонье наклонялся к огню, уперев локти в колени, и произносил со скрытым удовлетворением:

— Потому как он всеведущий, он и должен был предвидеть это убийство. А если он предвидел его, чего ж он ему не помешал?

Но это коварное рассуждение повисало в воздухе, должно быть, оно оказалось чересчур абстрактным, и товарищи не подхватили его.

Чем больше Пейсу размышлял, тем больше он отождествлял себя с Каином.

— Выходит, куда ни сунься, везде свои любимчики. Взять хотя бы мсье Ле Кутелье в школе: его драгоценный Колен всегда на первой парте, рядышком с печкой. А я знай себе стою в углу, да еще руки за спиной. А что я такого сделал? Ничего.

— Не преувеличивай,— сказал Колен, и уголки его губ поползли вверх.— Кутелье, если память мне не изменяет, ставил тебя в угол, когда ты на уроках играл в карманный бильярд.— Все так и грохнули при этом воспоминании.— И руки за спиной он заставлял тебя держать все по той же причине,— уточнил Колен.

— И все-таки, когда на тебя валятся все шишки, хочешь не хочешь, а это озлобляет. Ведь вот этот несчастный Каин только и знал, что растить морковку и таскать ее богу. И накось, на нее даже не взглянули. А это доказывает,— добавил он с горечью,— что власти и тогда не интересовались сельским хозяйством.

И хотя властей на земле уже больше не существовало, замечание Пейсу встретило общее одобрение. Наконец вновь воцарилась тишина и я смог продолжить чтение. Но когда я дошел до места, где Каин познал свою жену и она родила ему сына Еноха, чтение прервала Мену.

— Откудова она взялась, эта самая?— спросила она с живостью. Мену сидела за моей спиной на приступке ка-

мина, задремавший Момо — напротив нее. Я оглянулся на нее через плечо.

— Кто эта самая?

— Жена Каина.

Все озадаченно переглянулись.

— Может, господь где-нибудь изготовил еще одного Адама и Еву.

— Нет, нет,— заявил наш ортодоксальный Мейсонье,— тогда об этом было бы в книге.

— Значит, выходит, что это его родная сестра, что ли?— спросил Колен.

— Чья еще сестра?— заинтересовался Пейсу, уставившись на него.

— Сестра Каина.

Взглянув на Колена, Пейсу замолк.

— А куда ему было деться?— заключила Мену.

— Ну, знаешь!— протянул Пейсу.

Все ненадолго замолкли. Каждый с чисто галльской развязностью мог бы сказать многое, но странное дело, у всех словно язык к небу прилип при мысли об этом кровосмесительстве. Может быть, потому, что и у нас в деревнях такое случается.

Я снова начал читать, но чтение скоро прервалось.

— Енох,— вдруг заметил Пейсу,— это еврейское имя,— и добавил авторитетным тоном человека, осведомленного в таких делах:— На военной службе у меня был один дружок, его Енохом звали, еврей был.

— Что ж тут удивительного,— сказал Колен.

— Как что?— спросил Пейсу и, снова весь подавшись вперед, посмотрел на Колена.

— Да ведь родители Еноха были евреи!

— Евреи?— переспросил Пейсу, вытаращив глаза и растопырив на коленях свои здоровенные пальцы.

— И дедушка и бабушка тоже.

— Как!— воскликнул Пейсу.— Адам и Ева евреи были?

— А то как же?

У Пейсу отвалилась челюсть, с минуту он сидел неподвижно, уставившись на Колена.

— Но ведь мы-то произошли от Адама и Евы?

— Ну да!

— Тогда, значит, и мы евреи?

— Конечно,— невозмутимо ответил Колен.

Пейсу бессильно откинулся на спинку стула.

— Вот бы уж чего никогда не подумал!

Переживая это открытие, он, должно быть, и тут искал какой-то подвох, подозревая, что его снова в чем-то обошли, потому что спустя некоторое время с возмущением воскликнул:

— Тогда почему же евреи считают, что они больше евреи, чем мы?

Все, кроме Тома, так и грохнули. Глядя, как он сидит вот так, в полном молчании, скрестив руки, уткнув в грудь подбородок и вытянув перед собой ноги, я понимал, насколько ему были неинтересны наши разговоры, как, впрочем, и само порождавшее их чтение. Думаю, он уходил бы сразу после ужина спать, не будь у него той же потребности, что и у всех нас, в капельке человеческого тепла после трудового дня.

То, что мы иногда смеялись во время наших сборищ, поначалу меня удивляло. Но потом я вспомнил, как рассказывал дядя о таких же вот вечерах, когда они собирались все вместе в немецком лагере для военнопленных: «Ты не думай, Эмманюэль, что, когда в Восточной Пруссии мы сидели вокруг печурки, мы ныли да плакались на свою судьбу. Ничуть не бывало. Фрицы диву давались, глядя, как мы веселимся. Бывало, поем, хохочем, анекдоты рассказываем. А на сердце, понимаешь, Эмманюэль, кошки скребут. Веселье-то было монастырское. А за ним пустота. И все же, когда рядом товарищи, это большая подмога».

Да, веселье монастырское. Именно это слово приходило мне в голову, когда с томом Библии на коленях я слушал споры своих товарищей. И так как у меня снова закоченел левый бок (ну и холодище в мае месяце!), я встал и перекочевал вместе со своей табуреткой и книгой к другой консоли, но усидеть там долго не смог, рядом со мной оказался Момо, а близ очага исходящий от него запах был настолько нестерпимым, что меня начало мутить. Я подумал, что завтра же надо поговорить с Мену и провернуть операцию с его купанием.

На стене позади моих товарищей плясали их огромные тени, наползая на потолочные балки. Я не мог видеть глубины залы, она была слишком велика, но слева от меня вспышки пламени освещали стену каменной кладки между двумя окнами в свинцовых переплетах, всю

увешанную холодным оружием. За спиной Пейсу тянулся наш длинный стол, до блеска натертый Мену, справа возвышались пузатые комоды, вывезенные из «Большой Риги». Под ногами — широкие каменные плиты, они же служили и сводом подвала.

Строгое убранство: каменный пол, каменные стены, никаких штор, никаких ковров, ничего мягкого, уютного, что бы говорило о присутствии женщины в доме. Жилище одиноких, бездетных мужчин, ожидающих смерти. Некое аббатство или монастырь. Со всеми его атрибутами: работой, «весельем», благочестивым чтением вслух.

Не знаю почему, но сразу же после разговора о евреях, «считающих себя евреями больше, чем мы», речь зашла о том, как выяснить, выжил ли кто-нибудь в Ла-Роке. Мы говорили об этом каждый вечер. Строили планы, собирались вскоре отправиться туда, хотя знали, что это будет нелегкое дело. С величайшим трудом мы расчистили дорогу, ведущую из Мальвиля в Мальжак, от стволов деревьев, поваленных взрывом. А дорога между Мальвилем и Ла-Роком все пятнадцать километров шла по холмистой местности, заросшей каштановыми лесами. И по тому ничтожному отрезку, который мы видели, можно было представить себе, насколько велики были завалы, а у нас кончился последний газолин, и мы не могли пустить трактор для расчистки. В прежнее время требовалось не меньше трех часов, чтобы добраться пешком до Ла-Рока. Если пробиваться туда через все завалы, нам понадобится целый день и еще день, чтобы вернуться обратно, то есть сорок восемь часов, а мы не могли позволить себе такой роскоши, пока не засеем поле.

По крайней мере я всех убеждал в этом. Держа объемистый том на коленях, я молча слушал своих приятелей. Я сам заронил надежду, что в Ла-Роке выжили люди. И оттого, что мы говорили об этом целыми вечерами, мое робкое предположение превратилось в реальность. Но чем реальнее становилась для них эта надежда, тем несбыточнее казалась она мне. Я не пытался ускорить экспедицию в Ла-Рок. Как раз наоборот. Пока Мейсонье и Колен сооружали свой плуг, я предпочитал сидеть в Мальвиле и вместе с Пейсу и Тома вытаскивать гвозди из старых досок и раскладывать их по секциям стеллажа.

Я прекрасно понимал, что сдаюсь, отступаю от своих принципов. С каждым днем я тупел и чувствовал себя

уже почти монахом. И вот сейчас, слушая краешком уха эти разговоры, верный своей тактике — тактике перемежающегося внимания, я, прижавшись затылком к каменному цоколю камина, спрашивал себя, что изменилось бы, будь я действительно верующим. О, безусловно, это лишь поставило бы передо мной новые проблемы, в частности — как мог всевышний допустить, чтобы им же созданный человек разрушил творение рук его? Но даже если отбросить, так сказать, всю философскую сторону вопроса, смогла бы вера по крайней мере хоть согреть мне сердце? Не знаю. Не думаю. Все-таки это очень далеко от меня. И уж слишком абстрактно. Помыслы мои обращены отнюдь не к богу.

Меня преследуют два, навязчивые до бреда, образа. Один вполне жизненный, сознательно вызываемый мною в бессонные ночи, другой — не зависящий от меня, являющийся только во сне. Когда я лежу без сна, прижавшись к матрасу всем телом, каждой его клеточкой, грудью, бедрами, животом, я взываю к Биргитте. И когда она наконец обретает плоть и я ощущаю ее всю — живую, горячую, я набрасываюсь на нее, осыпаю неистовыми поцелуями, впиваясь зубами в ее атласную кожу. Нет, я не просто кусаю, я поглощаю ее всю, пью ее, ем. Потому-то, должно быть, она так быстро и исчезает и с каждым разом мне все труднее вызвать ее образ.

Другой образ, менее зыбкий, является мне во сне, из ночи в ночь, и почти без изменений. Ясным утром я спускаюсь по лестнице в Симьезе над Ниццей. Эта лестница знакома мне до боли, хотя в жизни я спускался по ней лишь раз. Широкая лестница, ярко залитая волнами солнечного света, льющегося сквозь высокие окна. Мне снится, что навстречу мне по этой лестнице бежит, грациозно уронив руки вдоль бедер, совсем молоденькая девушка с распущенными волосами. Красивая грудь ее чуть вздрагивает от бега. Когда она достигает площадки, разделяющей два лестничных марша, бьющее сзади солнце золотит ее волосы. Между нами остается всего несколько ступенек, она бежит, подняв ко мне лицо, и, хотя я ее не знаю, девушка приветливо улыбается. Улыбаются ее губы, улыбаются глаза. И это все. Но я чувствую себя (как бы поточнее сказать) словно помолодевшим и обновленным, будто только что вдохнул аромат лилий.

Прошлой ночью я проснулся сразу после этого сна, и возвращение к реальности было особенно тягостным. Вместе с нечеловеческой тоской я ощутил и физическую боль. Казалось, что грудная клетка безжалостно давит на сердце, и оттого, что боль эта слилась с моим отчаянием, меня охватило ужасное ощущение своего одиночества. Точнее, одиночество стало для меня сейчас словно физическая боль, засевшая в груди. Я сел на постели, глубоко вздохнул, и, к моему великому изумлению, мне это удалось. И сердце, и легкие работали как обычно, у меня ничего не болело, только сильно теснило грудь и было странное чувство, что напряжение все нарастает, еще немного — и что-то во мне оборвется. Разрядка не заставила себя ждать — из глаз ручьями хлынули слезы.

И пока беззвучные слезы лились по моим щекам, в голове, как назойливый припев, звучала изводившая меня мысль: я не женат, у меня нет детей. Человеческому роду приходит конец. И я увижу этот конец. Потому что вдруг я пришел к нелепому убеждению, что все мои приятели, даже Тома, который на целых семнадцать лет моложе меня, уйдут раньше и я останусь совсем один. И мне представилось, как, старый и сгорбленный, я без конца шагаю по огромным комнатам замка и шаги мои гулко отдаются под сводами парадной залы, моей спальни в донжоне и в подвале.

Это была первая светлая ночь после Происшествия, а возможно, просто уже наступило утро. Рядом со мной, на диване, куда более низком, чем моя деревенская кровать с ее высокими ножками, я различаю лицо Тома, он лежит, смежив веки, прижавшись щекой к подушке, и в позе его чувствуется что-то беспомощное; одеяло он натянул до самого подбородка да еще подоткнул его под затылок, защищаясь от потоков холодного ветра, врывающегося в окно. Я невольно вновь залюбовался красотой этого лица, с его классически правильным носом и великолепным рисунком рта и щек. Я заметил, что во сне у него пропадало обычное для него выражение суровости. Больше того, в нем появлялось что-то ребячье, беззащитное. Светлая борода его отрастала медленно. Он брился через день. И так как он побрился только вчера, на лице у него не успела еще пробиться щетина. Оно казалось гладким и бархатистым, и я впервые увидел у уголков его губ две неглубокие ямки. Волнистые светлые воло-

сы, коротко подстриженные в тот день, когда я впервые встретил его в подлеске, теперь сильно отросли и делали его похожим на девушку.

Резким движением я повернулся к стене, и у меня промелькнула мысль, что пора уже перераспределить спальни, чтоб чувствовалась хоть какая-то перемена, и почему именно Тома должен жить со мной в комнате, ведь моя комната самая удобная в замке. При этом я испытывал чувство странной тревоги и какой-то смутной виноватости, которая, однако, не давала мне уснуть, мысли у меня путались, и лишь на короткие мгновения я погружался в дремоту. Но эти короткие провалы прерывались кошмарами, столь тягостными и унизительными, что в конце концов я вскочил с постели, схватил сваленную кучей на стуле одежду, выбежал из комнаты и спустился этажом ниже, в ванную комнату. Но и здесь, пока я брился, гнусные и мучительные видения преследовали меня. Потом я долго стоял под душем. И только тогда я очистился от наваждения.

Когда я вышел во двор из донжона, часы показывали пять утра. Как и всегда после Дня происшествия, рассвет был холодным и мутным. Я один бодрствовал в Мальвиле в этот ранний час. Звук моих шагов гулко раздавался на мощеном дворе. Высокий донжон, крепостные стены и внутренние строения давили на меня всей своей громадой. До первого завтрака было еще два долгих часа одиночества.

Я прошел по подъемному мосту и, выйдя во внешний двор, направился к Родилке. Красотка спала стоя, как и ее дочка, прижавшаяся к материнскому боку, но, едва только я положил подбородок на верх дверцы, аккуратные ушки лошади встали, она открыла глаза, увидела меня и, выдохнув воздух, тихонько и дружелюбно заржала. Она шагнула ко мне, и кобылка, даже не проснувшись как следует, качнулась, но тоже сделала шаг вперед на своих длинных, тонких, нетвердых ногах и снова привалилась к еще не опавшему материнскому чреву. Красотка, перекинув голову через дверцу, без лишних церемоний положила ее мне на плечо, и я, поглаживая ей морду, смотрел на жеребенка. Все-таки удивительно трогательное зрелище — детеныши животных, так же как и человеческие детеныши. Вреднуха унаследовала от матери гнедую мáсть и белую пролысину на лбу, она внима-

тельно и удивленно разглядывала меня своими прекрасными наивными глазами. Мне ужасно хотелось войти в стойло и приласкать малышку, но я не знал, придется ли это по вкусу ее матери, и во избежание неприятностей воздержался. А Красотка тем временем, уткнувшись подщечиной, а затем и нежными влажными ноздрями мне в шею, снова фыркнула. Как видно, ей было хорошо сейчас. Мы лелеяли ее, кормили отборным зерном, и у нее была маленькая Вреднуха. Она и ведать не ведала, что это ее последний детеныш и что род ее, так же как и род человеческий, уже обречен.

День прошел в монотонной работе. А вечером повторилась все та же сцена: поставив локти на Библию, я сижу, подперев кулаком подбородок, и вполуха слушаю разговоры о Ла-Роке. Пламя догорает, и Мену, вздремнувшая было на своей лежанке, встает, давая тем самым понять, что вечернее наше сборище окончено, и сразу же раздается стук каблуков, шумно двигая стульями, мои товарищи расставляют их вокруг стола. Ловко орудуя щипцами, Мену сгребает угли в кучу, так, чтобы завтра без труда раздуть огонь. Я поднимаюсь позже всех, и, хотя, стоя с Библией под мышкой, я шучу и болтаю со своими друзьями, внутри у меня все холодеет от сознания, что сейчас я лягу в постель и снова моя мысль, словно арестант в тюремном дворе, пустится по привычному кругу.

Прекрасно помню и этот вечер, и то отчаяние, с которым я думал о предстоящей бессонной ночи. Я так отчетливо запомнил его потому, что со следующего дня в нашей жизни все изменилось, все сдвинулось с мертвой точки.

Как в классической трагедии, событие было возвещено особыми знамениями. Погода стояла по-прежнему холодная, таким же тусклым казалось небо, все так же был безнадежно сер горизонт. С тех пор как на свет появился Принц, у нас к завтраку подавалось молоко, каждому чуть ли не полная кружка, Тома пришлось провести немалую разъяснительную работу о пользе этого продукта для организма человека, иначе бы его не пили, так как Мейсонье, Пейсу и Колен терпеть его не могли. Зато Момо пил молоко с наслаждением. Зажав кружку в грязных ладонях, он, предвкушая удовольствие, даже постанывал и, прежде чем поднести кружку ко рту, впивался в нее своими черными, блестящими глазками, наслаждаясь

белизной молока, а потом с жадностью и так стремительно заглатывал содержимое, что только две белоснежные тоненькие струйки стекали на грязную шею по его не бритому уже недели две подбородку.

— Послушай, Мену,— сказал я,— надо все-таки собраться и отскоблить сегодня твоего отпрыска.

Я с умыслом выбирал слова, которые не привлекли бы внимания Момо, чтобы до последней минуты он не догадался о задуманной операции, которая могла закончиться удачно лишь в случае внезапного налета.

— Я тоже так разумею, что оно в самый бы раз,— довольно неопределенно и не глядя на сына ответила Мену.— Но ведь одной-то мне... сам знаешь.

И добавила:

— В общем, когда скажешь.

— Тогда давай сразу же после завтрака, когда Пейсу уйдет пахать участок на Рюне. Думаю, вчетвером управимся.

Я был уверен, что Момо не поймет слов «отскоблить» и «отпрыск». Именно поэтому я и употребил их. Пока мы вели этот разговор, я, так же как и Мену, не смотрел в его сторону. Но несмотря на все наши предосторожности, инстинкт не обманул Момо. Он посмотрел на меня, потом на мать, вскочил со стула, опрокинув его, и закричал как бешеный:

— Атитись атипока, нелупуоту! (Отвяжитесь ради бога, не люблю воду.) — И тут же всей пятерней вцепился в кусок ветчины, лежавший на его тарелке, и пустился наутек.

— Что, съели?— со смехом сказал верзила Пейсу.— На сегодня баня накрылась.

— Вот уж нет,— возразила Мену,— ты его плохо знаешь. Он тут же все забудет. У него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Потому-то у него и нет никаких забот. Все сразу из головы улетучивается.

— Везет некоторым,— сказал Колен, и тень былой улыбки промелькнула на его лице.— А вот у меня просто голова пухнет от мыслей. Все крутятся, крутятся. Лучше уж быть идиотом.

— Никакой он не идиот!— возмутилась Мену.— Дядя Эммануэля говорил, что Момо даже смышленый. Просто он не умеет как следует говорить. Поэтому он не может ни на чем сосредоточиться.

— Да я не хотел тебя обидеть,— вежливо сказал Колен.

— А я и не думала обижаться,— ответила Мену, улыбнувшись ему, и живые ее глаза, вспыхнув, осветили бескровное, ссохшееся, как у мумии, личико, чудом державшееся на тощей шее.— А знаешь, где его надо искать после завтрака? Скажу тебе точно: в стойле у Красотки, он там сейчас с ней милуется. Его надо кликнуть оттудова и, как выйдет, хватать, и все тут. Если четверым навалиться на него, это все равно что игра.

— Хороша игра!— воскликнул я.— Играл я уже в эту игру. Прежде всего следите за его ногами. Мы с Мейсонье схватим его за руки и повалим на землю. Ты, Колен, берись за правую ногу, Тома — за левую. Только будьте осторожны: он лягается. Вы не представляете, какая дьявольская у него в ногах силища.

— Вот гляжу я сейчас на вас и думаю,— заметил Пейсу, и его круглую физиономию озарила улыбка,— ведь на меня-то в детстве вы точно так же налетали скопом и колошматили. Ну и гадская компания,— добавил он с нежностью.

Мы дружно рассмеялись, но смех внезапно оборвался, так как дверь с грохотом распахнулась и в зал влетел Момо, до крайности возбужденный и не помня себя от радости. Воздев руки, он завопил, отплясывая на месте:

— Тавобо! Тавобо!

Хотя теперь я стал не менее крупным специалистом лексики Момо, чем его мать, я ничего не понял. Я посмотрел на Мену. Она тоже в полной растерянности. На языке Момо «мне больно» — звучит «бобо!», да к тому же его ликование никак не вязалось с мыслью, что он откуда-то грохнулся или поранился.

— Тавобо! Тавобо!

— Вобо?— спросила наконец Мену, вставая.— Что это еще за «вобо» такое?

— Вобо!— заорал он, даже подпрыгнув от злости.

— Постой, Момо,— сказал я, тоже поднимаясь со стула и подходя к Момо,— объясни спокойно, что значит «вобо»?

— Вобо!— как оглашенный вопил Момо, словно надеясь, что этот неистовый крик может облегчить нашу задачу. То ли от возбуждения, то ли от досады, что мы ничего не понимаем, Момо глухо рычал, топал ногами, на глаза

у него навернулись слезы, изо рта брызгала слюна. Даже нас, привыкших к его обычной необузданности, и то удивило его теперешнее состояние.

— Вобо!— прорычал он снова. И вдруг, вытянув руки вровень с плечами, замахал ими сверху вниз, будто полетел.

— Ворон!— вдруг осенило меня.

— Та, вобо!— ответил он, и его лицо озарилось улыбкой.— Ми Мамуэль, ми Мамуэль! (Милый Эммануэль.) — Он наверняка бросился бы на меня с поцелуями, если бы мне не удалось удержать его на расстоянии вытянутой руки.

— Постой, Момо, а ты не ошибся? В Мальвиле появился ворон?

— Та! Та!

Мы недоверчиво переглянулись. Ведь взрыв навсегда уничтожил всех птиц.

— Дём!— кричал Момо, вцепившись мне в руку, в ту, что удерживала его на расстоянии. Я вырвал руку, и он тут же пустился бежать. Я несся следом за ним по каменным плитам двора, под цоканье его подбитых гвоздями башмаков, за мной спешили все обитатели замка, включая Мену, которая хоть и отстала от нас, но не так уж сильно, как можно было бы предположить, я заметил это, только выбежав во внутренний двор.

Вдруг Момо застыл на подъемном мосту. Я тоже остановился. И действительно увидел ворона метрах в двадцати от нас, как раз у самой Родилки, и не какого-нибудь еле живого или искалеченного, напротив, его иссиня-черные сверкающие перья говорили о полном здоровье, и он грозно подпрыгивал, подбирая зерна своим мощным клювом. При нашем появлении он прервал свое занятие и, повернувшись боком, чтобы следить за нами маленьким бдительным черным глазом, вытянул шею, хотя полностью и не разогнулся, и стал ужасно похож на согбенного старика, заложившего за спину руки, искоса поглядывающего на вас с мудрым и настороженным видом. Мы боялись шевельнуться, и наша неподвижность, должно быть, испугала ворона; взмахнув темно-синими широкими крыльями, он пролетел на бреющем полете, каркнув один-единственный раз, понемногу набрал высоту, опустился на крышу въездной башни и притаился там за трубой, но уже через секунду оттуда выглянул его сильный, от-

вислый клюв и на нас уставился черный и зоркий глаз. Мы двинулись к нему, задрав кверху головы, разглядывали то малое, что он оставил нам для обозрения.

— Во елки-палки! — воскликнул длинный Пейсу. — Скажи мне, что я когда-нибудь обрадуюсь, увидев ворона, ни в жисть бы не поверил.

— Да еще будешь смотреть на него так близко, — подхватила Мену. — Ведь эти дьяволы такие недоверчивые и хитрые, чуть что — тут же смываются и нипочем не подпустят к себе ближе, чем на сто метров.

— Особенно если ты в машине, — добавил Колен.

При слове «машина» всех обдало холодом, ведь это слово принадлежало тому, прежнему миру. Но холод тут же растопился в общем нашем счастье, которое мы пытались скрыть под лавиной слов, от чего, впрочем, оно не становилось менее острым. Мы все сошлись на мысли, что в День происшествия, случайно или повинуясь инстинкту, ворон залетел в один из гротов, которыми изрешечены скалы в нашей местности (во время религиозных войн в них скрывались гугеноты). У него хватило благоразумия забиться поглубже и отсидеться там, пока земля пылала. Когда же воздух охладился, он, вылетев оттуда, питался падалью, возможно даже, трупами наших лошадей. Но зато мы крепко поспорили о причинах, заставивших ворона искать нашего общества.

— Я же тебе говорю, — утверждал Пейсу, — он очень даже рад, что встретил людей. Он знает: там, где люди, и ему всегда найдется что пожрать.

Но это материалистическое толкование нас не слишком устроило, и, что всего удивительней, опроверг его не кто иной, как Мейсонье.

— Что и говорить, он тут кормится, — авторитетно заявил он, широко расставив ноги и задрав кверху нос, — но вы объясните, зачем он ищет нашего общества? Ведь зерно повсюду у нас рассыпано в Родилке — одна Аманта что творит: так жадно жрет, что добрая четверть зерна каждый раз летит на землю, — значит, он мог бы прилетать клевать ночью.

— Я с тобою согласен, — сказал Колен. — Ворон — птица недоверчивая, особенно когда они в стае, уж очень их гоняют повсюду, но, когда ворон один, его можно приручить как миленького. Помнишь, в Ла-Роке был сапожник...

— Та! Та!— вскричал Момо, он помнил того сапожника из Ла-Рока.

— Да, ничего не скажешь, башковитая птица,— проговорила Мену.— Помню, как-то летом дядя Эммануэля подложил петарды на кукурузном поле, потому как от этих разбойников прямо спасу не было. Только и слышалось: бах, бах! Ты поди не поверишь, но вороны на них почти внимания не обращали, на петарды-то, под конец даже взлетать перестали. И преспокойно клевали себе и клевали.

Пейсу расхохотался.

— Ну и черти!— сказал он с уважением.— А сколько мне они крови попортили! Только раз мне все-таки удалось прикончить одного из дробовика Эммануэля.

Тут на разные голоса пошло обстоятельное и длиннейшее восхваление ворона, вспомнили всё: и его сообразительность, и долголетие, и как здорово иногда человеку удается его приручить, и его лингвистические способности. И когда Тома, удивленный нашими восторгами, заметил, что прежде всего ворон — птица вредная, это столь неуместное замечание мы дружно пропустили мимо ушей. Ну конечно же, со временем этой вредной птице можно будет объявить войну, войну без ненависти, даже с некоторым оттенком уважения, посмеиваясь над его хитроумными проделками, понимая, что ворон тоже есть хочет. И кроме того, этот ворон, прилетевший к нам будто для того, чтобы поддержать надежду, что где-то еще есть живые существа, становился для нас священным, отныне он принадлежал Мальвилю, и мы решили ежедневно отсыпать ему небольшую долю зерна.

Наши разглагольствования прервал Пейсу. Накануне вечером мы переправили плуг, изготовленный Мейсонье и Коленом, на маленький участок на берегу Рюны, и теперь Пейсу не терпелось увести туда Амаранту и поскорее взяться за пахоту. Когда Пейсу своей раскачивающейся походкой направился к Родилке, я подмигнул Мейсонье, и Момо не успел даже охнуть, как мы, навалившись, скрутили его по ногам и рукам и, проворно подхватив, словно тюк, потащили в донжон, а за нами поспешила Мену, семеня своими худущими маленькими ножками, и каждый раз, как ее сыночек заводил истошным голосом свое: «Отвяжитесь ради бога! Я не люблю

воду!», счастливо посмеиваясь, твердила: «Ведь надо же тебя когда-нибудь отмыть, грязнуля ты здоровенный!» Хотя Мену купала сына уже полвека, начиная с самого его рождения, это было для нее не тяжкой повинностью (правда, она не упускала случая поплакаться по этому поводу), а ритуалом, до сих пор умиляющим ее материнское сердце, несмотря на солидный возраст ее дитятка.

По моей просьбе в это утро никто не принимал душ, поэтому мы легко наполнили ванну теплой водой и «замочили» в ней Момо, а Мейсонье тем временем принялся за его бороду. Подавленный нашей численностью, бедняга Момо совсем пал духом и даже не оказывал сопротивления, так что спустя некоторое время я счел возможным исчезнуть, шепнув Колену, чтобы он на всякий случай закрыл за мной дверь на задвижку. Я прошел в свою спальню, взял бинокль и поднялся на верх донжона.

Пока мы вели свой спор у Родилки, мне почудилось, будто в унылом сером небе появился какой-то просвет, и я подумал, что сегодня, возможно, и удастся увидеть Ла-Рок. Но едва взглянув в ту сторону, я сразу понял всю тщету своих надежд. Бинокль лишь подтвердил мои догадки. Все то же свинцовое небо, все то же отсутствие живых красок и видимость, равная нулю. На лугах не видно ни единой травинки, на полях, засыпанных толстым бесцветным слоем пыли, ни единого всхода. В ту пору, когда ко мне из города приезжали гости и любовались видом, открывавшимся с высоты башни, они в один голос восторгались тишиной, которая царила в Мальвиле. Но тишина эта казалась столь глубокой, слава богу, лишь одним горожанам. Где-то на дороге у Рюны нет-нет и прогудит автомобиль, или слышно, как в поле работает трактор, то вскрикнет птица, пропоет петух, или где-то заходится в лае собака, а летом звенит саранча, стрекочут кузнечики, гудят в плюще пчелы. А вот теперь и впрямь залегла мертвая тишина. И в небе, и на земле — одна свинцовая серость. Да еще неподвижность. Природа умерла. Планета погибла.

Приставив к глазам бинокль, я вглядывался в ту сторону, где расположен Ла-Рок, и не различал ничего, кроме все той же серости, не различал даже границы, где серая земля переходит в серый тяжело нависший над нами небосвод. Я постепенно опускал бинокль, желая взглянуть на участок у Рюны, который Пейсу уже пашет сейчас.

Хоть здесь я увижу какую-то жизнь. Я поискал в бинокль лошадь, как наиболее заметный объект, и, уже начав нервничать оттого, что она никак не попадает в поле моего зрения, опустил его. И тут же невооруженным глазом увидел, что плуг стоит посреди участка, рядом с ним на земле, раскинув руки, неподвижно лежит Пейсу. А Амаранты и след простыл.

Как безумный я пробежал по винтовой лестнице два этажа и начал отчаянно бить ногой в дверь ванной, я даже повернул защелку, забыв, что она заперта изнутри; совсем потеряв голову, я барабанил обоими кулаками в массивные створки и, надрываясь, орал:

— Скорее, скорее, с Пейсу беда!

Не дождавшись, пока они выйдут, я бросился бежать. Чтобы добраться до пашни, надо было спуститься дорогой, идущей по откосу, потом сделать длинную петлю налево, снова пройти у подножия замка, пересечь пересохшее русло ручья и по нему — до первого рукава Рюны. Я бежал сколько хватало духу, в висках стучало, я не представлял себе, что же могло случиться. Амаранта была такая кроткая, такая послушная, мне даже в голову не приходило, что, ранив хозяина, она вырвалась на волю. Да, впрочем, куда ей было бежать. Ведь сейчас на земле ни единой травинки, а в Мальвиле ее вдоволь кормили и сеном, и ячменем.

Вскоре я услышал позади себя цоканье башмаков по каменистой почве — это неслись за мной вдогонку мои товарищи. Оставалось всего метров сто до нашего участка на Рюне, когда Тома, бежавший очень быстрым, широким шагом, обогнал меня и ушел далеко вперед. Еще издали я увидел, как, опустившись на колени рядом с Пейсу, он осторожно перевернул его и приподнял голову.

— Жив! — крикнул он, обернувшись ко мне.

Совсем выбившись из сил, с трудом переводя дыхание, я опустился на корточки рядом с ним; Пейсу поднял веки, но его затуманенный взгляд блуждал, нос и левая щека были заляпаны землей, а из раны на затылке струилась кровь, заливая рубашку Тома, который его поддерживал. Момо в костюме Адама, еще весь мокрый, Колен и Мейсонье подоспели, как раз когда я начал осматривать рану, довольно обширную, но, как мне показалось на первый взгляд, не очень глубокую. Последней сюда добралась Мену, но она успела забежать к себе во въезд-

ную башню и прихватила там бутылку водки и мой банный халат, в который тут же, еще даже не взглянув на Пейсу, укутала Момо.

Я плеснул немного водки прямо на рану, и Пейсу что-то проворчал. Затем влил ему хорошую порцию в рот и, смочив водкой носовой платок, стер землю с его лица.

— Нет, Амаранта не могла его так отделать,— сказал Колен.— Тогда бы он и лежал совсем по-другому.

— Пейсу,— спросил я, растирая ему водкой виски,— ты меня слышишь? Что тут произошло?— И, уже обращаясь ко всем, сказал: — Ведь Амаранта не лягается.

— Я это давно заметила,— подтвердила Мену.— Даже когда играет. Эта кобыла и задницы-то вскинуть не умеет.

Наконец Пейсу удалось сосредоточить свой взгляд, и он слабым, но вполне внятным голосом произнес:

— Эмманюэль.

Я дал ему еще хороший глоток водки и снова принялся растирать виски.

— Что случилось? Что же случилось?— упорствовал я, хлопая Пейсу по щекам и пытаясь поймать его вновь убегающий куда-то взгляд.

— Да, удар какой-то непонятный,— сказал Колен, поднимаясь с земли,— но он очухается, посмотрите, у него уже сейчас вид получше стал.

— Пейсу! Ты слышишь меня, Пейсу?

Я поднял голову.

— Мену, дай-ка сюда пояс от моего халата.

Я положил пояс к себе на колени, свернул вчетверо носовой платок, смочил его водкой и осторожно приложил к ране, которая по-прежнему сильно кровоточила; попросив Мену придержать платок, я прижал его сверху поясом и завязал узлом на лбу у Пейсу. Мену безмолвно выполняла все мои просьбы, не спуская при этом глаз со своего сыночка, который мог бы запросто «застудиться», пробежав нагишом по такому холоду.

— Не знаю,— вдруг произнес Пейсу.

— Не знаешь, как все случилось?

— Да.

Он снова закрыл глаза, и я снова начал хлопать его по щекам.

— Погляди-ка, Эмманюэль!— вдруг крикнул Колен.

Он стоял у самого плуга спиною к нам и, повернув голову, через плечо смотрел на меня в упор, его лицо исказилось от волнения.

Поднявшись, я бросился к нему.

— Взгляни-ка,— сказал он чуть слышно.

Когда мы в первый раз запрягали Амаранту, то обнаружили, что у нас не хватает ремня с пряжкой, сдерживающего оглобли. Мы заменили его нейлоновым шнурком, прикрепив его к оглобле целой серией хитроумных узлов и петель. Этот шнурок был перерезан.

— Это сделал человек,— проговорил Колен.

Он был бледен, и губы у него пересохли. Он добавил:

— Ножом.

Я поднес шнурок ближе к глазам, разрез был совсем свежий, кончики ничуть не разлохматились. Я молча кивнул головой. Говорить я не мог.

— Человек, который распряг Амаранту,— продолжал Колен,— стал отстегивать пряжки на подпруге. Левую пряжку он отстегнул запросто, а вот когда дошел до наших узлов с правой стороны, начал нервничать и вытащил нож.

— А еще до этого,— сказал я, и голос мой дрогнул,— он ударил Пейсу по затылку.

Я заметил, что Мену, Мейсонье и Момо подошли к нам. Они не спускали с меня глаз. Тома тоже смотрел на меня, стоя одним коленом на земле, к другому, согнутому, он прислонил, приподняв, голову Пейсу.

— Ну и дела, ну и дела,— проговорила Мену, с ужасом озираясь вокруг, и, схватив Момо за руку, притянула его поближе к себе.

Все молчали. В меня тоже вползал страх, не лишенный, однако, некоторого оттенка иронии. Одному богу известно, с каким жаром, с какой надеждой каждый из нас в минуты отчаяния молил господа, чтобы на Земле оказались еще и другие люди. И вот теперь мы могли быть в этом уверены: люди есть.

ГЛАВА VII

Я схватил карабин (подарок дяди в день моего пятнадцатилетия), Тома — двуствольное охотничье ружье. Было решено, что Мейсонье, Колен, Мену и Момо укроются в замке, в их распоряжении оставалась одна-един-

ственная двустволка. Что и говорить, незавидное вооружение, но зато они были под защитой самого Мальвиля, с его крепостными стенами, водяными рвами и галереями с навесными бойницами.

Дойдя до того места, где дорога из Мальвиля, делая поворот в виде петли, переходила в тропу, ведущую в долину Рюны, я бросил долгий взгляд на замок. От меня не ускользнуло, что Тома тоже смотрит на него. Обмениваться своими переживаниями у нас не было необходимости. С каждым шагом мы чувствовали себя все более беззащитными и уязвимыми. Мальвиль был нашей цитаделью, нашим укрепленным гнездом. Пока он сумел уберечь нас ото всех бед, включая и ту, что принесло величайшее научное открытие нашего времени. Жутко было покидать его, жутко пускаться в этот долгий путь, шагая друг за другом. Над головой только серое небо, вокруг серая земля с обуглившимися остатками деревьев, ввергнутая в оцепенелое молчание смерти. А единственные живые существа в этой пустыне подкарауливали нас в засаде, чтобы убить.

И в этом я ничуть не сомневался, ведь похитившие лошадь великолепно понимали, что следы ее не могут исчезнуть на выжженной, покрытой пылью земле, они предвидели погоню и затаились в засаде в какой-то неведомой точке пустынного горизонта. Но выбора у нас не было. Мы не могли допустить, чтобы безнаказанно нападали на наших людей и угоняли наших животных. Если мы не желаем показаться слабыми, мы должны действовать их же методами. С той минуты, когда я заметил, что Пейсу недвижимо лежит на пашне у Рюны, и до того мгновения, когда мы покинули Мальвиль, прошло не более получаса. Похитителям явно мешало продвигаться вперед сопротивление Амаранты. Я угадывал места, где лошадь начинала артачиться, топталась на месте, выписывала круги. Эта смирная лошадь была так привязана ко всем нам, к Мальвилю, к Красотке, обитающей в соседнем стойле, на которую она сколько угодно могла глядеть через решетчатое окошечко, прорезанное в смежной стене. К тому же это была совсем молоденькая кобыла, и ее пугало буквально все: любая лужица, шланг для поливки, камень, попавший ей под копыта, обрывок газеты, подхваченный ветром. Отпечатки ног рядом со следами копыт свидетельствовали о том, что конокрад не от-

важился сесть на неоседланную лошадь. А это значило, что всадник он был никакой. Поистине чудом было то, что, как ни упиралась Аманта, она все-таки следовала за похитителем.

Долина Рюны, шириной метров в сто, тянулась между двумя рядами холмов, прежде покрытых лесом, ее пересекали два рукава реки, текущей с севера на юг, а у подножия холма, замыкающего долину с востока, шла колея проселочной дороги. Вор не пошел по этому пути, там бы он был как на ладони, он предпочел более извилистую дорогу, петляющую у подножия западных холмов, где заметить его было куда труднее. В общем, я надеялся, что нам не грозит опасность, пока он не доберется до своего логовища. Он и его сообщники нападут на нас не прежде, чем спрячут Аманту в надежном месте, в какой-нибудь конюшне или в загоне.

Однако я по-прежнему держался начеку и, сняв ружье с плеча, нес его в руке: вглядываясь в следы на земле, я старался в то же время не выпускать из поля зрения и долину. Мы не обмолвились с Тома ни словом. Однако внутреннее напряжение было слишком велико, и, несмотря на прохладный день, я обливался потом, особенно почему-то потели ладони; Тома, по крайней мере внешне, держался так же спокойно, как и я, но, когда он, чтобы передохнуть, снял ружье и, положив его на плечо, понес, придерживая за ствол, я заметил влажное пятно в том месте, где проходил ремень.

Мы шли уже полтора часа, когда след Аманты, внезапно оборвавшись в долине, свернул под прямым углом и пошел теперь между холмом и утесом. По географическому положению это место удивительно напоминало Мальвиль: такая же отвесная скала прикрывала его с севера, но у изножия скалы вровень с низкими берегами неслась быстротечная полноводная речка, которая уже давно пересохла у нас в Мальвиле. Было очевидно, что никто не приложил руки, чтобы расширить ее русло, и речушка, выплескиваясь из берегов, полностью затопила небольшую долину (метров сорок шириной), лежащую между скалой и холмом, превратив ее в тряское болото. Мне вспомнилось, что по этой причине дядя запрещал пасти здесь своих лошадей из «Семи Буков». И мы, ребята, еще во времена Братства предпочитали обходить стороной эту топь, откуда вряд ли выбрался бы и трактор.

Но тем не менее я знал, что за люди жили в пещере, уходящей в глубь скалы и заложенной толстенной кирпичной стеной с пробитыми в ней окнами. Они слыли у нас нелюдимами, отпетыми негодяями, их подозревали во всех смертных грехах, а главным образом в браконьерстве на землях соседей. Мсье Ле Кутелье за их пещерное существование прозвал этих людей «троглодитами». Нас, мальчишек, это прозвище приводило в полнейший восторг. Но для Мальжака они просто были «пришлыми» и в силу какого-то недоразумения — глава семьи был родом с севера — считались «цыганами». Недоверие к ним вызывало и то обстоятельство, что они никогда не появлялись в Мальжаке: продукты они покупали в Сен-Совёре. Но еще более подозрительными и опасными «троглодиты» казались оттого, что толком о них никто ничего не знал. Не знали даже, насколько многочисленно их племя. Ходили слухи, что отец семейства — дядя мне говорил, что всем своим обличьем и походкой он смахивает на кроманьонца,— дважды «хватанул тюряги». В первый раз за нанесение кому-то увечья и ран, второй — за изнасилование собственной дочери. Эта самая дочка была единственным членом семьи, о котором мне хоть что-то было известно. Я знал, что ее зовут Кати и она живет в служанках у мэра Ла-Рока. Как говорили, это была красивая девчонка с на редкость бесстыдными глазами, и ее поведение всегда вызывало множество сплетен. Даже то обстоятельство, что она подверглась насилию, ни в коей мере не отвратило ее от мужчин.

Ферма «троглодитов» носила имя, интриговавшее нас в детстве: она звалась «Пруды». Интриговало это нас потому, что, естественно, никаких прудов там не было, не было там ничего, кроме топи, зажатой между скалой и крутобоким холмом. Ни электричества, ни настоящей дороги. Узкая сырая нора, куда никто из местных жителей никогда не заглядывал, даже почтальон; он оставлял почту, точнее сказать, одно-единственное письмо в месяц, в Кюсаке — чудесной ферме, лежащей на склоне холма. От почтальона Будено мы и узнали, что фамилия пришлых — Варвурды. По общему мнению, такую фамилию могли носить только нехристи. Будено также утверждал, что хотя отец и чистый дикарь, но человек далеко не бедный. У него был и скот, и тучные земли на откосе холма.

Я догнал Тома, схватил его за руку, остановил и, наклонившись, прошептал ему прямо в ухо:

— Здесь. Теперь я пойду первым.

Он огляделся, бросил взгляд на часы и так же тихо ответил:

— Мои четверть часа еще не истекли.

— Не дури! Я знаю эти места.— И я добавил:— Пойдешь за мной метрах в десяти.

Я обогнал его, прошел несколько шагов, потом, не отнимая руки от бедра, повернул к нему ладонь, знаком приказывая остановиться, и остановился сам. Затем вынул из футляра бинокль, поднес его к глазам и оглядел местность. Заболоченная луговина, лежащая между холмом и скалой, узкой полоскою плавно поднималась вверх, кое-где ее перерезали стены из песчаника. Голый и почерневший холм мало чем отличался от тех, что мы встречали раньше. Но луг, стиснутый между двумя скалами и надежно защищенный с севера, пострадал во время взрыва, так сказать, несколько меньше. Правда, растительность выгорела, но не обуглилась, и почва — вероятно, оттого, что ее задолго до Дня происшествия насквозь пропитала влага,— не казалась такой серой и пропыленной, как повсюду. Кое-где даже виднелись желтоватые пучки, видимо, ранее бывшие травой, и два-три хоть и почерневших и искореженных, но не поваленных взрывом дерева. Я спрятал бинокль и осторожно пошел вперед. Но меня снова ждала неожиданность. Почва под ногой оказалась сухой и твердой. Должно быть, в день катастрофы вода под действием небывалой температуры вырвалась из земли, как струя пара из чайника. А так как с того дня не выпало ни единого дождя, болото пересохло.

Голова у меня была ясная, мозг с предельной четкостью отмечал мельчайшие детали, но зато какие штучки выкидывало со мной тело: мои руки отчаянно потели, сердце как бешеное колотилось в груди, в висках стучало, и, убирая в футляр бинокль, я заметил, что у меня к тому же дрожат пальцы, а это, если придется стрелять, меткой стрельбы, естественно, не предвещало. Я заставил себя дышать глубже и ровнее, приноравливая дыхание к ритму шагов, не спуская при этом глаз с долины и в то же время вглядываясь в следы Амаранты. А в воздухе — ни дуновения ветерка, нигде никакого, даже от-

даленного звука. Только в десяти метрах от меня невысокая стена из песчаника.

Все произошло молниеносно. Вдруг я заметил кучу конского навоза, как мне показалось, еще совсем свежего. Я остановился и, желая убедиться, теплый он или нет, наклонился, чтобы коснуться его тыльной стороной ладони. В этот самый миг что-то со свистом пролетело над моей головой. Секунду спустя рядом со мной оказался Тома, он тоже присел на корточки, в руке он держал стрелу. На ее черное, очень тонко заточенное острие налипла земля. Тут снова раздался тот же пронзительный свист, что и в первый раз. Я бросился на землю и пополз под укрытие стенки из песчаника. Преодолел я это расстояние столь стремительно, что не сомневался: Тома не успел еще и с места сдвинуться. Каково же было мое удивление, когда, положив карабин рядом с собой и взглянув налево, я увидел около себя Тома, который, стоя во весь рост, сооружал бойницу, громоздя на стену рухнувшие с нее плиты песчаника. Все-таки удивительный он человек: не забыл прихватить с собой и стрелу. Она лежала теперь рядом с ним, и обрамлявшие ее желтые и зеленые перья были единственным цветовым пятнышком среди окружающей нас тусклости. Я смотрел на нее. И не верил своим глазам! «Троглодиты» обстреливают нас сверху из лука!

Я скользнул взглядом поверх стены. Метрах в пятидесяти от нас, пересекая узкую долину, возвышалась еще одна стена из песчаника. Чуть ниже торчало когда-то могучее, а теперь обгоревшее, но не рухнувшее ореховое дерево. Позиция у противника была явно удачная, но «троглодиты» совершили промах: им следовало бы дождаться, когда мы переберемся через первую стенку, и атаковать нас на неприкрытой местности. Они поторопились начать обстрел — видимо, слишком привлекательную мишень являл собою я, нагнувшийся над кучей навоза.

Снова раздался свист, и я, сам не знаю почему, подтянул ноги. На сей раз инстинкт спас меня, так как стрела, будто пущенная с неба, впилась глубоко в землю в полуметре от моих ног. Желая придать стреле нужную траекторию, ее запустили в воздух под определенным углом. И мишенью для стрелка, как я тут же понял, служила бойница, сооруженная Тома. Сделав ему знак, что-

бы он следовал за мною, я отполз вдоль стены метров на десять влево.

Снова свист, теперь точно над самой бойницей, от которой мы только что отползли, приблизительно в метре от предшествующей. Как только стрела впилась в землю, я начал медленно считать: раз, два, три, четыре, пять. На счет «пять» снова раздался свист, следовательно, стрелку понадобилось ровно пять секунд, чтобы достать стрелу, натянуть лук, прицелиться и спустить тетиву. Значит, стреляли не из двух, а из одного лука. Стрелы летели одна за другой, но ни разу — обе вместе.

Я снял со своего карабина оптический прицел. Он только мешал мне целиться, хотя бы просто из-за своих размеров. И тихо сказал:

— Тома, как только я дважды выстрелю, высунься из-за стены, пальни наугад пару раз и тут же переползай на другое место.

Тома пополз. Я следил за ним взглядом. Как только он занял новую позицию, я оттянул взвод предохранителя, встал на колени, пригнул голову чуть не к самой земле, держа карабин обеими руками почти параллельно стене. Потом резко вскочил на ноги, вскинул ружье на плечо, успев при этом, как мне показалось, заметить торчащую из-за орешины верхушку лука, два раза выстрелил и снова нырнул вниз. И тут же, пока я отползал со своего места, раздались два выстрела Тома, они прозвучали гораздо внушительнее, чем слабенькие и сухие разрывы моих пуль.

Мы ждали ответа. Но ответа не было. Вдруг, к моему великому изумлению, я увидел, что Тома в каких-нибудь десяти метрах от меня поднимается с земли и стоит как ни в чем не бывало, привалившись бедром к стенке, вскинув ружье к плечу. Если возможно прорычать шепотом, то я сделал именно это:

— Ложись!

— Они подняли белый флаг,— спокойно ответил он, поворачиваясь ко мне с медлительностью, от которой можно было сойти с ума.

— Ложись, тебе говорят!— с яростью прокричал я.

Тома повиновался. Я подполз к бойнице и взглянул оттуда на стену, за которой прятались наши враги. Невидимая рука размахивала над стеной луком — на сей раз мы его прекрасно видели,— к дуге лука был привязан

белый носовой платок. Я поднес бинокль к глазам и, оглядев всю стену, не заметил ничего подозрительного. Тогда, убрав бинокль, я сложил руки рупором и, приставив ко рту, прокричал на местном наречии:

— Чего ты размахался своей белой тряпкой?

Ответа не последовало. Я повторил вопрос по-французски.

— Я сдаюсь!— ответил мне по-французски молодой голос.

Я прокричал:

— Тогда возьми свой лук, подыми его обеими руками над головой и спускайся сюда.

В ответ ни звука. Я снова схватил бинокль. Лук и белый флаг будто замерли. Тома почесал ногу и переменил позу. Я сделал ему знак, чтобы он не шевелился, и стал напряженно вслушиваться. Мертвая тишина.

Обождав минуту, я прокричал, по-прежнему не опуская бинокля:

— Ну, чего ж ты ждешь?

— А вы не пристрелите меня?— спросил голос.

— Конечно, нет.

Прошло еще несколько секунд, потом я увидел, как из-за стены появился человек — в бинокль он мне показался гигантом,— он держал лук обеими руками над головой, как я ему приказал. Я отложил бинокль в сторону и схватил карабин.

— Тома!

— Да!

— Когда он будет здесь, укройся за бойницей и не зевай. Не спускай глаз со стены.

— Понял.

С каждой минутой фигура человека все вырастала. Шел он очень быстро, почти бежал. К моему великому удивлению, он оказался совсем молодым парнем с рыжевато-белокурыми волосами. Небритый. Дойдя до нашей стенки, он остановился.

Я сказал:

— Перебрасывай к нам лук и давай перелезай через стену, потом сцепи руки на затылке и встань на колени. Помни, что у меня в обойме восемь пуль.

Он выполнил все неукоснительно. Это был высокий, крепкого сложения парень в выгоревших джинсах, клетчатой залатанной рубахе и в старой коричневой куртке,

треснувшей по швам на плече. Он был бледен и не поднимал глаз.

— А ну, смотри мне в лицо.

Он поднял веки, и меня поразило выражение его глаз. Такого уж я никак не ожидал. В его взгляде не было ни хитрости, ни жестокости. Напротив. На меня смотрели совсем мальчишечьи глаза, карие с золотистыми искрами, которые удивительно шли к его круглому лицу с мягким носом и крупным пухлогубым ртом. Все в нем было простодушно, все естественно. Я велел ему смотреть на меня: он посмотрел. Со стыдом, со страхом, будто ребенок, знающий, что сейчас его ждет взбучка. Я сел метрах в двух от парня, наставив на него дуло карабина. И спросил, не повышая голоса:

— Ты один?

— Да.

Ответ прозвучал как-то слишком поспешно.

— Слушай меня хорошенько. Я повторяю: ты один?

— Да. (В голосе едва уловимое колебание.)

Неожиданно я заговорил о другом:

— Сколько стрел у тебя осталось?

— Там?

— Да.

Он задумался.

— С десяток будет,— сказал он не слишком уверенно и добавил:— А может, меньше.

Странный стрелок: даже не удосужился подсчитать свои боеприпасы. Я сказал:

— Будем считать, что десять.

— Десять... да, должно быть, десять.

Я посмотрел на него и вдруг напористо, грубым тоном спросил:

— Тогда почему же, если у тебя осталось еще целых десять стрел, ты решил сдаться?

Он покраснел, раскрыл было рот, глаза его забегали, он как будто потерял дар речи. Такого вопроса он никак не ожидал. Я застал его врасплох. Парень окончательно растерялся, не в силах придумать что-либо в ответ, да и вообще вымолвить хоть слово. Я грубо прикрикнул:

— Повернись ко мне спиной и положи руки на затылок.

Он тяжело повернулся на коленях.

— Сядь на корточки.

Повиновался.

— Теперь слушай. Я сейчас задам тебе вопрос. Всего один. Если соврешь, я тут же продырявлю тебе башку.

Я приставил дуло карабина к его затылку:

— Усек?

— Да,— ответил он еле слышно.

Я чувствовал, как он весь трясется под напором моего карабина.

— Теперь слушай. Повторять вопрос дважды я не стану. Наврешь — тут же стреляю.— Затем, помолчав секунду, так же быстро и резко спросил:— Кто еще был за стеной?

Почти невнятно парень ответил:

— Отец.

— Еще кто?

— Больше никого.

Я с силой нажал дулом ему на затылок.

— Кто еще?

Он ответил без колебания:

— Больше никого.

На этот раз он не лгал, я был уверен.

— У отца есть лук?

— Нет. Только ружье.

Я видел, как Тома повернулся в нашу сторону с ошеломленным видом. Я махнул ему, чтобы он продолжал наблюдение, а сам, изумленный не меньше его, переспросил:

— Ружье?

— Да. Двуствольное охотничье ружье.

— Значит, у твоего отца — ружье, а лук твой?

— Нет, у меня нет ничего.

— Почему?

— Отец мне не разрешает дотрагиваться до своего ружья.

— А до лука?

— И до лука тоже.

— Почему?

— Не доверяет мне.

Миленькие семейные отношения. Я, кажется, начинаю понемногу понимать, что представляют собой «троглодиты».

— Это отец велел тебе сдаться?

— Да.
— И сказать, что ты тут один?
— Да.
Понятно, считая войну оконченной, мы бы доверчиво встали и, уже ничего не опасаясь, отправились за своей Амарантой и угодили бы в самую пасть к папаше, который поджидал нас за стеною со своей двустволкой. По выстрелу на каждого.
Я стиснул зубы и жестко произнес:
— Снимай ремень с брюк.
Он повиновался и тут же — я ничего еще не успел сказать — снова сцепил на макушке пальцы. Его покорность вызывала у меня даже жалость: несмотря на свой рост и могучие плечи, передо мной был, в сущности, мальчишка. Мальчишка, запуганный отцом, а теперь трепещущий от страха передо мной. Я велел ему сложить руки за спиной и связал их его собственным ремнем. Уже проделав эту операцию, я вспомнил, что у меня в кармане лежит веревка, пригодилась и она: веревкой я связал парню ноги. Затем, сорвав с лука носовой платок, я заткнул ему рот. Я проделал все это достаточно проворно и решительно, однако испытывая при этом чувство некой раздвоенности, будто смотрел на свои действия со стороны, как на актера в фильме. Я опустился на колени рядом с Тома.
— Слышал?
— Да.
Он повернулся ко мне, лицо его казалось бледней обычного. И тихо, с каким-то особым оттенком в голосе, что у него могло сойти даже за волнение, проговорил:
— Спасибо.
— За что?
— За то, что ты заставил меня только что лечь.
Я не ответил. Надо было что-то придумать. Теперь отец уже понял, что его западня раскрыта, но просто так он своей позиции, конечно, не покинет. А мы не можем ни оставаться здесь, ни уйти отсюда.
— Тома,— выдохнул я.
— Что?
— Следи за стеной, за скалой и за холмом. А я попытаюсь обойти его по холму.
— Он тебя заметит.
— Не сразу. Но если ты сам заметишь хоть что-ни-

будь, даже дуло ружья, стреляй. Сколько хватит пуль. Чтобы он не мог поднять головы.

Я пополз вдоль стенки по направлению к холму. Через несколько метров рука с зажатым в ней карабином взмокла от пота и сердце начало лихорадочно колотиться. Но я радовался, что так ловко провел «троглодита». Я чувствовал себя уверенным, собранным.

От холма, лежащего на «ничейной земле» между двумя вражескими стенками, в маленькую долину плавно спускался отрог. Я надеялся незаметно взобраться на него и таким образом очутиться выше позиций противника. Но я не рассчитал трудности подъема. Склон отрога оказался гораздо круче, чем я предполагал, каменистая почва отчаянно крошилась у меня под ногами, и вокруг не было ни единой веточки, за которую можно уцепиться. Пришлось перекинуть карабин за плечо, чтобы помогать себе обеими руками. Минут через десять я уже весь взопрел, ноги у меня дрожали, и я так задохся, что остановился перевести дыхание. Едва удерживаясь на кончиках пальцев, я стоял, вцепившись обеими руками в камни. В нескольких метрах над собой я видел вершину отрога, вернее, то место, где он сливался с рельефом самого холма. Если я и доберусь до него, я послужу прекрасной мишенью для человека, затаившегося за своей стеной, и я с отчаянием подумал о том, смогу ли я сохранить равновесие, перебрасывая карабин вперед и прицеливаясь. Я стоял, а глаза мне заливал пот, руки и ноги дрожали от нечеловеческого напряжения, грудь разрывалась от тяжкого дыхания, я совсем выбился из сил и уже готов был отказаться от своего плана и начать спускаться вниз. Мне вдруг почему-то вспомнился Жермен. Вернее, мне как наяву представился Жермен, когда, сбросив пиджак, он пилил дрова во дворе фермы «Семь Буков». Был он тучный, огромного роста. Он страдал эмфиземой легких и от любого физического усилия начинал тяжело, по-особому дышать: прерывисто, со свистом, будто вот-вот задохнется. Когда, наконец, я немного отдышался и у меня перестало стучать в висках, я вдруг осознал потрясшую меня истину. Я только что слышал дыхание Жермена. Так тяжело дышал вовсе не я, мне это только казалось. Совершенно отчетливо я слышал чужое дыхание, оно доносилось ко мне с той стороны отрога, нас разделяла лишь толща песчаника всего в несколько метров. Значит,

«троглодит» тоже взбирается по другому склону и сейчас наши пути сойдутся.

Я снова с головы до ног покрылся испариной, и мне показалось, что сердце мое вот-вот остановится. Если «троглодит» раньше меня доберется до вершины, он увидит меня первым. Тогда мне конец. Я попал в ловушку, у меня даже нет времени спуститься вниз. Вдруг с необычайной ясностью мой мозг пронзила мысль: жить мне, может, осталось всего две-три минуты и единственным моим шансом на спасение было идти вперед и постараться первым атаковать врага. С одержимостью маньяка я снова начал карабкаться вверх, уже не обращая внимания на камни, которые катились из-под моих ног, теперь я знал, что человек не услышит меня за своим шумным дыханием.

Я добрался до вершины отрога в полном отчаянии, почти не сомневаясь, что меня встретит там наведенное дуло ружья, настолько дыхание «троглодита», пыхтящее, как кузнечные мехи, казалось близким. Я поднял голову. Но не увидел ничего. И сразу как гора с плеч. К тому же мне выпала сказочная удача: меньше чем в метре от себя я заметил совсем крепкий пенек; упершись в него левым коленом и твердо поставив правую ногу на камень, я мог сохранить довольно прочное равновесие. Перебросив ремень через голову, я схватил карабин, спустил предохранитель и зажал приклад под мышкой, готовый в любую минуту вскинуть свое ружье. Свистящее, надсадное дыхание слышалось все ближе; напряженно уставившись в одну точку, метрах в десяти от себя, где должна была показаться голова моего врага, я подавил искушение взглянуть вниз на маленькую долину и на Тома, укрывшегося в засаде. Собранный и неподвижный, я приказал себе расслабить мышцы и дышать ровнее.

Ожидание, длившееся, вероятно, не более нескольких минут, показалось мне вечностью, левое колено, упершееся в пенек, затекло, мучительная судорога свела все мышцы тела, даже мышцы лица; мне казалось, я превращаюсь в камень.

Наконец над отрогом появились голова, плечи, затем грудь. Стараясь найти точку опоры, «троглодит» наклонился вниз, но меня он еще не видел. Вскинув ружье на плечо, уперев ствол в ямку над ключицей, я прижался к нему щекой и затаил дыхание. Но тут произошло не-

что, чего я уж никак не ожидал. Дуло моего ружья было направлено в самое сердце врага. На таком расстоянии промах был исключен. Но мой палец словно застыл на спуске курка. Я не мог выстрелить.

«Троглодит» поднял голову, наши взгляды встретились. И тут же с невероятной быстротой он приложил ружье к плечу. Вслед за этим один за другим раздались сухие щелканья выстрелов, и я увидел, как пули, пробивая ему рубаху, раздирали тело. Из раны невиданно мощным, как мне показалось, потоком хлынула кровь, глаза моего врага закатились, открывшийся рот с исступленной жадностью хватал воздух, тело опрокинулось назад. Я услышал, как оно катится вниз по склону, на который он только что взобрался, увлекая за собой камни, с грохотом, отозвавшимся долгим эхом в ущелье.

Взглянув вниз, я увидел, что Тома, перепрыгнув через стенку, несется по лугу, держа под мышкой ружье, чтобы поглядеть на убитого. Сам я решил сначала пойти развязать сына. При виде меня он от изумления и страха вытаращил глаза. В нем жила столь незыблемая вера во всемогущество своего отца, что он никак не ожидал, что в живых останусь именно я. И он просто мне не поверил, когда я ему сообщил, что отец мертв.

— Иди, взгляни сам,— сказал я, легонько подтолкнув его в спину дулом карабина.

Когда мы направились к убитому, Тома уже возвращался после своего осмотра, и мы столкнулись с ним на полпути. Он нес патронташ и ружье Варвурда, перекинув его через левое плечо, на правом у него висела собственная двустволка.

— Прямо в сердце,— сказал он мне, и я заметил, что лицо его бледнее обычного.— Несколько пуль подряд.

Тут я открыл обойму. Обойма была пуста. Значит, я всадил в грудь «троглодита» целых пять пуль. Но Тома только качал головой, когда я пытался его убедить, что видел, как они раздирали тело «троглодита». При той стремительности, с какой они вылетали из ствола, разглядеть этого было нельзя. Единственное, что я мог видеть,— это как с каждой пулей все шире становилась дыра на рубахе.

— Не мучь ты себя,— сказал Тома,— он умер от первой же пули.— А затем добавил:— Ну, оставляю тебя, пойду собирать стрелы. Я ведь не забываю о своих обя-

занностях кладовщика.— При этих словах он сделал неловкую попытку улыбнуться и ушел.

Но Тома явно был потрясен, увидев тело «троглодита», так же, как был потрясен и я. Грудь — настоящее кровавое месиво! И разве забудешь это белое, словно гипсовое, лицо. В моей голове никак не укладывалась мысль, что существует какая-то связь между легким нажимом моего пальца на курок и этим чудовищным разрушением.

Мне подумалось, что преступник, нажавший на кнопку и развязавший атомную войну, вероятно, испытывает сейчас подобное же ощущение, если только, конечно, он уцелел в своем бетонном логове.

«Троглодиту» было лет пятьдесят. Человек крепкого телосложения. Тучный рыжеватый блондин, одетый в велюровые коричневые засаленные брюки и изодранную куртку того же цвета. Я смотрел на это огромное тело, только что полное сил, а теперь лишенное жизни. Смотрел и на его сына. И не мог уловить в нем даже следа скорби. У него был вид человека ошеломленного и вместе с тем испытывающего чувство облегчения. Повернувшись ко мне, он уставился на меня с боязливым уважением и вдруг, схватив мою правую руку, наклонился, собираясь ее поцеловать. Я оттолкнул парня. Только этого мне еще не хватало. Но, заметив, что лицо его мгновенно исказил страх и растерянность, я спросил, как его имя.

Зовут его Жаке (уменьшительное от Жака).

— Жаке,— проговорил я тусклым, слабым голосом,— пойди помоги Тома собрать стрелы.

Он ушел как раз вовремя. Мне казалось, что я сейчас потеряю сознание. Ноги стали вдруг словно ватные, в глазах потемнело. Я присел у подножия отрога, в трех метрах от «троглодита», и, так как дурнота не проходила, лег, вытянувшись во весь рост, и закрыл глаза, мне стало совсем худо. Потом вдруг меня прошиб пот. И сразу же я испытал непередаваемо чудесное чувство живительной свежести. Я возрождался. И хотя я был по-прежнему очень слаб, но теперь то была слабость рождения, а не слабость смерти.

Минуту спустя я смог уже сесть и стал рассматривать «троглодита». Дядя говорил, что он смахивает на кроманьонца. Может, что-то общее и было. Выдающиеся впе-

ред мощные челюсти, низкий лоб, сильно развитые надбровные дуги. Но если б ему коротко подстричь волосы, вымыть его, побрить, привести в порядок ногти и затянуть в новую военную форму, он, пожалуй, мало чем отличался бы от старшего офицера ударной группы. Да и, видимо, был не глупее любого из них. И столь же искушенным в умении сочетать элементарные животные хитрости, что зовутся военным искусством. В умении устраивать подлые ловушки. Засады. Лжекапитуляции. Приковывать внимание противника к центру, чтобы обойти его с фланга.

Я встал и пошел к тем двоим. Они не заметили моего состояния. Они, очевидно, решили, что я остался просто для того, чтобы отдышаться. Тома протянул мне лук, и я осмотрел его. Высота его была не меньше метра семидесяти, и мне показалось, что сделан лук более искусно, чем тот, который я подарил Биргитте.

Тома собрал трофейные стрелы. Сложил их все вместе и перевязал нейлоновым шнурком.

— Вон там,— произнес Жаке, не поднимая глаз, не смея впрямую упомянуть нашу Амаранту.

Мы снова поднялись по узкой луговине, где местами торчали пучки пожелтевшей травы, при всем своем убожестве радовавшие меня. Я разглядывал Жаке, этого белобрысого парня с крупным добродушным лицом. Меня по-прежнему поражали его детские, неотрывно глядевшие на меня глаза. Как я уже говорил, были они золотисто-карие и казались необычными оттого, что радужная оболочка занимала почти всю площадь глаза, как бы вытеснив белки, именно эти глаза и высоко приподнятые над ними брови делали его похожим на несчастного, в чем-то провинившегося пса, которому очень хотелось бы, чтобы его простили и обратились к нему с ласковым словом. Его переполняли самые добрые чувства, он готов был отдать вам свою привязанность и покорную верность. Он был также преисполнен могучей силы, о чем сам вряд ли догадывался, хотя она так и играла в его бычьей шее, исполинских плечах и длинных обезьяньих руках, перехваченных узлами мускулов, которым, видимо, никогда не случалось полностью расслабиться. Он шагал немного вразвалку между мной и Тома, поглядывая то на одного, то на другого, чаще на меня, вероятно, потому, что по возрасту я почти годился ему в отцы.

Я показал Жаке на лук, который тащил в правой руке, и спросил по-французски (я уже знал, что местного наречия парень не понимает):

— Чего ради твоему отцу взбрело в голову пользоваться этой штуковиной?

Он был так счастлив, что я к нему обращаюсь, ему так не терпелось мне обо всем обстоятельно рассказать, что он начал не слишком складно. По-французски он говорил как-то бесцветно, я не уловил в его речи ни сочности, ни ритма, свойственных нашему диалекту. У него был какой-то особый выговор, не похожий на здешний, но и не северный. Видимо, речь отца и та, что он слышал в школе, соединившись, породили эту странную языковую мешанину. Короче, «чужак», как у нас и считалось.

— Он научился на севере,— отвечал Жаке, как-то странно разбивая слова.— Он говорил, что в стрелковом обществе был чемпионом.— Потом добавил:— А наконечники к стрелам делал сам — для охоты.

Я с удивлением уставился на него.

— Для охоты! Он что, ходил на охоту с луком? А почему не с ружьем?

— Ружье-то слышно, как стреляет,— чуть ли не заговорщически усмехнулся Жаке.

Он, должно быть, знал, что я сам охотой никогда не увлекался и леса мои были открыты каждому.

Я промолчал. Думается, я уже составил себе представление о будничной жизни «троглодитов»: увечья и раны, изнасилование в собственной семье, браконьерство — одним словом, полнейшее пренебрежение к законам. И как хитро, на мой взгляд, он додумался охотиться из лука. Это куда вернее, чем силки. Ведь силок нужно оставить в лесу и с ним всегда можно влипнуть: чего доброго, выследит егерь, а стрела — это дело секундное, и главное — убивает она бесшумно, не вспугнет дичь и не потревожит хозяев. Правда, в день открытия охоты хозяевам мало чего остается в собственном лесу.

Я по-прежнему молчал, и Жаке, должно быть, усмотрев в этом неодобрение, произнес с нарочитым смирением, рассчитанным на то, чтобы обезоружить меня — владельца замка Мальвиль, не ведавшего, что такое голод:

— Без охоты мы бы не каждый день мясо ели.

Да, мясо он, безусловно, ел каждый день. На него стоило только взглянуть. Отцовская охота явно пошла

ему впрок. Меня удивляло только одно: как все-таки можно попасть стрелой в бегущего кролика?

Он даже охнул.

— Отец,— с гордостью сказал он,— на лету подстреливал фазана.

Так вот оно что, теперь по крайней мере я знал, куда девались дядюшкины фазаны. Он выпускал их по две, по три пары в год, и на этом все кончалось, никто больше не видел ни их, ни их потомства.

В запале Жаке добавил:

— Вообще он должен был прикончить вас первой же стрелой.

Я нахмурил брови, а Тома сухо заметил:

— Хвастаться тут нечем.

Пора было пресечь тот непринужденный тон, который принял наш разговор. Я строго спросил:

— Жаке, ведь это ты ранил нашего товарища и угнал у нас Амаранту?

Он покраснел, опустил свою большую рыжеватую голову и с самым несчастным видом зашагал дальше, раскачиваясь на ходу.

— Это мне отец приказал сделать.

И поспешно добавил:

— Но он велел мне убить вашего товарища, а я этого не сделал.

— Почему?

— Потому что это грех.

Признание прозвучало несколько неожиданно, и я взял его на заметку. Затем снова начал расспрашивать Жаке. Он подтвердил мои догадки о планах его отца: «троглодит» собирался заманить нас в ловушку поодиночке и уничтожить всех пятерых, а самому завладеть Мальвилем. Какое безумие! После Дня происшествия он мог стать властелином всей Франции, но ему нужен был только Мальвиль, пусть даже ценою пяти убийств. Поскольку «слуг», уточнил сын, он убивать не собирался. Так же как и немку.

— Какую еще немку?

— Ту, что моталась на коне по лесу.

Я уставился на него. Разведывательная служба дала ложную информацию, были не учтены кое-какие побочные обстоятельства. Значит, замок и дама. Оголтелая Жакерия намеревалась предать смерти сеньора и совершить

насилие над владелицей замка. Все равно, одного сеньора или нескольких. Поскольку, как я выяснил, все мы: Тома, Колен, Пейсу, Мейсонье и я — были для Варвурда «господами из Мальвиля», он часто говорил о нас со злобой и ненавистью, хотя мы его и в глаза-то не видывали. По его приказу Жаке шпионил за нами. Я остановился и, повернувшись к Жаке, в упор посмотрел на него:

— А тебе никогда не приходило в голову предупредить нас, чтобы избежать всех этих злодеяний?

Он стоял передо мной, глядя в землю, со связанными за спиной руками, застыв в покаянной позе. Мне подумалось, что он бы, вероятно, тут же пошел и повесился, намекни я ему только об этом.

— Приходило, конечно, но отец бы непременно узнал и убил меня.

Ясно, отец был не только всемогущим, но и всеведущим. Я смотрел на Жаке: он был причастен к готовящемуся убийству, он поднял руку на нашего товарища, он украл у нас лошадь.

— Так что же, Жаке, нам с тобой делать?

У него задрожали губы, он судорожно проглотил слюну, вскинул на меня свои добрые испуганные глаза и сказал, заранее покорившись судьбе:

— Не знаю. Наверное, убить.

— Именно этого ты и заслуживаешь,— подхватил Тома, стиснув зубы и побелев от гнева.

Я взглянул на него. Должно быть, он здорово переволновался за меня, когда я лез на холм. И теперь он считал, что я действую слишком снисходительно.

— Нет,— сказал я.— Убивать мы тебя не станем. Прежде всего потому, что убить — это взять на душу грех, как ты уже сказал. Но мы уведем тебя с собою в Мальвиль и лишим на время свободы.

Я старался не смотреть на Тома и не без некоторого удовольствия думал, как, должно быть, ему противно слышать из моих уст эту церковную чушь о грехе. Но делать нечего, приходилось говорить с Жаке на том языке, который был ему понятен.

— Одного?— спросил Жак.

— Что значит: одного?

— Вы уведете в Мальвиль меня одного?

И так как я смотрел на него, вопросительно подняв брови, он пояснил:

— Ведь тут еще моя бабуля...

Мне почудилось, будто он собирался назвать еще кого-то, но предпочел промолчать.

— Если бабуля захочет поехать с нами, возьмем и ее.

Я прекрасно чувствовал: Жаке грызет еще какая-то мысль. Но видимо, никак не перспектива лишения свободы, поскольку его лицо, на котором читалось любое душевное движение, омрачилось, и омрачилось куда больше, чем в ту минуту, когда он ждал вынесения себе смертного приговора. Я зашагал дальше, готовый засыпать его новыми вопросами, когда вдруг в тишине, царившей в мрачном и голом ущелье, где мы продвигались среди черных остовов неупавших деревьев, по выжженной земле, местами покрытой желтоватыми пучками травы, где-то совсем близко раздалось лошадиное ржание.

Не обычное ржание. Это ржала не наша Амаранта, ржал жеребец, торжествующе, повелительно и нежно ржал жеребец, который, прежде чем покрыть кобылу, обхаживает ее, как говорил мой дядя — «доводит до нужной кондиции».

— У вас что, жеребец есть?

— Да,— ответил Жаке.

— И вы его не прикончили?

— Нет. Отец не хотел.

Я смотрю на Тома. Я не верю своим ушам. Меня захлестывает радость. На сей раз да здравствует отец! Я как мальчишка бросаюсь бежать. Больше того, мне мешает лук, и я отдаю его Жаке, он берет его, ничуть не удивляясь, и мчится рядом со мной, приоткрыв свой большой рот. Тома в несколько шагов, конечно, обгоняет нас, и с каждой секундой дистанция между нами все возрастает, тем паче что я тут же выдыхаюсь — мне не хватает воздуха.

Но вот и загон. Огромный участок перед жилищем «троглодита» (на $^3/_4$ пещера и на $^1/_4$ пристройка), обнесенный в два ряда колючей проволокой, натянутой на здоровенные, метра полтора высотой, почерневшие, но выстоявшие столбы из каштанового дерева. Посреди загона — привязанная к скелету дерева — моя Амаранта, трепещущая и покорная, по ее рыжим бокам пробегает дрожь, а золотистая грива в нетерпеливом порыве кокетливо отброшена назад. Кто и когда мог представить, что готовящееся кощунство переполнит меня такой радостью! Тягловый

першерон покроет сейчас мою породистую, чистейших кровей кобылицу! Впрочем, этого безродного супруга не назовешь безобразным. Темно-серый, почти черный, с мощным крупом, коротковатыми ногами, могучей холкой и шеей, которую мне не обхватить и двумя руками. Чем-то, скорее всего коренастостью, он напоминал своих хозяев. Жеребец с тяжеловесной ловкостью гарцевал вокруг Амаранты, он глухо ржал, в глазах его сверкало пламя. Надеюсь, он понимал, какая неслыханная честь выпадала на его долю, и он, конечно, сумеет оценить разницу между грубой, неповоротливой першеронкой и нашей изящной трехлеткой Амарантой, которой, при всей ее блестящей родословной, инстинкт воссоздания потомства повелевал уступить натиску жеребца.

Он ухаживал за ней с пылом, но не грубо, постепенно вовлекая кобылу в обольстительный танец и заражая ее своим яростным возбуждением, волей и мощью. Я смотрел сбоку на великолепную вытянутую вперед голову жеребца с развевающейся черной гривой, трепещущими ноздрями и гордыми, мечущими искры и как бы незрячими глазами. В жизни мне не доводилось видеть более совершенное воплощение силы. Кстати, он не кусал загривок Амаранты, утверждаясь в победе, и оставался нежным даже в минуту полного своего торжества.

После случки конь замер, задние ноги у него дрожали, а голова покоилась на гриве Амаранты. С минуту он простоял так в полном изнеможении, губы его обмякли, огнедышащий взор потускнел. Наконец он встряхнулся, поднял голову и вдруг, снова став самим собой, как пришпоренный, с воинственным ржанием мелким галопом понесся вокруг загона, прямо к нам, будто собираясь растоптать нас своими копытами. В каком-нибудь метре, не больше, он сделал резкий скачок в сторону, вызывающе взглянул на нас сбоку самодовольно веселым глазом и, не замедляя аллюра, ускакал в глубину двора. Еще долго у меня в ушах звучал ритмичный стук его тяжелых, сотрясавших землю копыт. Эти гулкие глухие удары, прозвучавшие в немом и мертвом мире, были для меня как музыка возрождающейся жизни.

У «троглодитов» оказался не один, а целых два примыкающих друг к другу дома, в первом — жили, во втором, по-видимому, были расположены конюшня, сеновал и свинарник. Оба здания были построены с большой изо-

бретательностью. Фасад, выступающий из пещеры примерно на метр, был сложен из кирпича и покрыт крышей с навесом и трубой, вся эта постройка искусно вписывалась в амбразуру пещеры. Стены конюшни были тоже сложены из кирпича, а стены дома тщательно оштукатурены. В нижнем этаже была стеклянная дверь и окно, во втором — два окна. Стекла во всех окнах уцелели, а на толстых ставнях даже сохранились следы бордовой краски. Весь этот ансамбль, видимо, не потребовавший от хозяев вложения крупных средств, отнюдь не производил жалкого впечатления.

Над навесом и частью крыши вздымалась еще пятнадцатиметровая скала. Округлый, будто вздутый, наплыв на ней, козырьком нависший над домом, прикрывал его от дождя и даже придавал ему уютный вид. И вместе с тем, глядя на этот могучий свес над пустотой, становилось жутко. Казалось, того и гляди, он даст трещину, рухнет и завалит дом. Но ведь не первое тысячелетие он сохранял свое рискованное равновесие. И Варвурд, облюбовав это место для своего жилья, должно быть, решил, что он еще выдержит столь краткий срок, как одна человеческая жизнь.

По своему расположению жилище «троглодитов» удивительно напоминало нашу Родилку, только я не додумался заложить вход в пещеру такой же кирпичной стеной, а ведь именно она и спасла в День происшествия жизнь его хозяев.

Каких-нибудь других строений, кроме домишка в загоне, похожего на пекарню, я не заметил.

Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Стоя на пороге дома, толстая старуха, одетая в засаленный черный балахон, смотрела на нас с изумлением и суеверным ужасом. Я решил, что это мать моего врага, и, шагнув вперед, сказал не без волнения:

— Ты, вероятно, догадываешься о том, что произошло и что явился я сюда не ради собственного удовольствия.

Ничего не ответив, она склонила голову без излишней скорби, что я сразу же подметил. Старуха была небольшого роста, с одутловатым лицом и отвислыми щеками, шея у нее была дряблая и жирная, казалось, будто подбородок сливается с огромной грудью, которая раскачивалась при малейшем движении, как два мешка с овсом, взваленные на спину осла. Единственное, что еще остава-

лось живым в этой ожиревшей массе, были черные, пожалуй, даже красивые глаза и над низковатым лбом всклокоченные, на редкость густые вьющиеся седые, с каким-то особым белоснежным оттенком волосы.

— Как я разумею, уж коли передо мной стоишь ты, знать, так суждено,— ответствовала она с полнейшим спокойствием.

Ни тени волнения, и, что меня особенно поразило, старуха говорила с местным акцентом и даже обороты речи были совсем здешние.

— Поверь, я сожалею о том, что случилось,— сказал я,— но выбора у меня не было. Или я, или твой сын.

Последовал ответ, которого я уж никак не ожидал.

— Заходи,— проговорила она, уступая мне дорогу,— отведай у нас чего-нибудь.

И, передернув плечами, она на местном диалекте со вздохом произнесла:

— Слава богу, никакой он мне не сын.

Я уставился на нее.

— Да ты говоришь по-местному.

— А я и есть местная,— ответила старуха.

Резким движением она выпрямила корпус (отчего вышеупомянутые мешки с овсом перекатились из стороны в сторону), будто желая сказать: «Я вам не какая-нибудь дикарка».

— Я в Ла-Роке родилась,— продолжала старуха.— Может, знаешь в Ла-Роке Фальвина?

— Это сапожника, который ворона приручил?

— Так это мой брат,— с величайшей почтительностью заявила она.— Входи же, сынок,— добавила она,— здесь ты у себя дома.

Но даже Фальвине, сестре всеми уважаемого сапожника, уроженке Ла-Рока, я не доверял полностью. Якобы из вежливости я пропустил первой в дом Фальвину. При этом я слегка коснулся ее спины, и мне показалось, будто я вляпался рукой в топленое свиное сало.

В доме ничего подозрительного. На цементированный пол настланы доски, заднюю и обе боковые стены образуют светло-серые камни пещеры. Их оставили в первозданном виде, не выровняв, не сгладив неправильности рельефа. Сырости нет и в помине. Над головой толстые балки, поддерживающие пол второго этажа, и туда же, очевидно, ведет маленькая дверка в углу пристройки. На

фасадной стороне — окно и стеклянная дверь, у этой же стены сложен очаг. Изнутри кирпичи не оштукатурены, с них даже не удосужились соскоблить следы строительного раствора. В очаге нежаркое пламя. Под окном низкая скамеечка, на ней выстроилась в ряд обувь. Большой шкаф в стиле деревенской мебели времен Людовика XV, я его тут же открыл, пробормотав для приличия «с вашего позволения». Направо — белье, налево — посуда. Посреди комнаты большой стол, «хуторской», как называют его парижане, которые ставят вдоль него скамейку, чтобы придать деревенский стиль и живописность, ну а мы предпочитаем стулья — так удобней. Я насчитал: семь соломенных стульев, из них четыре придвинуты к столу. Остальные стоят вдоль стены. Не знаю, столь ли это важно, но я подметил и эту деталь. Я прошел в конец стола — здесь, по всей вероятности, было место отца — и сел, поставив карабин между колен, спиной к задней стене пещеры. У меня перед глазами обе двери. Я знаком приказал Тома сесть по правую от меня руку, так, чтобы не загораживать двери, а Жаке смиренно опустился на противоположном конце стола спиной к свету.

Увидев, что я вынул из кармана небольшой сверток с ветчиной — мне успела его сунуть в дорогу Мену,— Фальвина даже вскрикнула от обиды и зажужжала у меня над ухом... Не со стола же мне кушать, сейчас она поставит тарелочку! И поджарит яичницу, она с ветчинкой хорошо пойдет! И конечно, я отведаю чуток винца! Я согласен был на все, кроме вина, так как не сомневался, что это просто бурда. Вместо вина я попросил молока, и Фальвина тут же щедро наполнила расписную кружку, не умолкая при этом ни на секунду. Перед самым взрывом они, мол, правда, продали одну корову, но все равно и сейчас не знают, куда молоко девать, прямо хоть залейся, а ведь они и масло сами сбивают, и свинью молоком отпаивают.

У меня буквально глаза на лоб полезли, когда я увидел, что она подает на стол хлеб и масло.

— Хлеб! У вас есть хлеб!

— Ну да, свой, домашний,— ответила Фальвина,— мы его завсегда сами выпекали в «Прудах», ведь у Варвурда все было не по-людски. Сам сеял, чтобы зерна хватило на год, да еще и осталось. А ведь мололи-то мы на вертлюге, электричества у нас тут не было. И масло сбивали вруч-

ную, на маслобойке. Варвурд и слышать не хотел, чтоб что-то покупать.

Придерживая каравай на выдвижной доске в конце стола, я отрезал от него каждому по куску — так, очевидно, делал и отец,— обдумывая при этом сведения, полученные от старухи. Ясно, что этот изверг стремился полностью уйти от людей, забиться в свое логовище, жить натуральным хозяйством. Даже любовь у него не выходила из рамок собственной семьи. Однако, когда я намекнул на историю с Кати, старуха сразу как-то вся сникла.

— Видать, грех-то все-таки был,— сказала она, застыдясь,— но, во-первых, бедненькая наша Кати сама к нему приставала. И потом, все-таки она ему дочь-то не родная. Как и Мьетта. Обе они дочки моей дочери Раймонды.

Мне показалось, что при имени Мьетты Жаке, сидящий на другом конце стола, чуть поднял голову и предостерегающе взглянул на бабку. Но взгляд этот был столь молниеносен, что, возможно, мне все это просто привиделось.

Я откусил кусочек хлеба. Надо дождаться обещанной яичницы. Вкус деревенского хлеба, щедро сдобренного маслом (они в «Прудах» присаливали его гораздо сильнее, чем в тех немногих семьях, что в наших краях еще сбивали масло дома), показался мне восхитительным, но у меня защемило сердце, сразу так и пахнуло прежней жизнью.

— А кто у вас печет хлеб?— спросил я, желая выразить благодарность.

— До последнего времени Луи,— сказала, вздохнув, Фальвина.— Теперь Жаке придется.

Фальвина все тараторила, тараторила, без толку суетилась, вздыхала, толкалась на месте и одышливо выпаливала десять слов там, где хватило бы одного. Чтобы поджарить три яйца — старуха подчеркнуто обделяла себя (но я заподозрил, что она сумеет наверстать упущенное и, оставшись одна, перехватит парочку яичек да еще запьет их винцом), ей понадобилось добрых полчаса, в течение которых, хоть я и помирал с голоду, терпеливо ожидая яичницу, чтобы съесть ее с ветчиной, но по крайней мере узнал столько всякой всячины.

Единственное, чем Фальвина напоминала Мену: обе были помешаны на своей родословной. Ей надо было на-

чать с прадедов, чтобы объяснить мне, что у ее дочки Раймонды были две девочки от первого брака, Кати и Мьетта, и что, овдовев, она вышла замуж за Варвурда — он тоже остался вдовцом с двумя сыновьями, Луи и Жаке.

— Сам небось понимаешь, как мне по душе пришлось это замужество, а уж потом и говорить нечего: когда мой бедненький Гастон преставился и мне пришлось перебраться сюда на житье к этим дикарям, жить без света, без водопровода, даже без газовых баллонов — Варвурд о них и слышать не желал, и готовили мы на дровяной плите, как в незапамятные времена. Ох, до чего несладко есть чужой хлеб,— вдруг перешла она на местный диалект,— он и в глотку-то не лезет. Хоть и не очень я много его переела у Варвурда за десять лет.

Это замечание сразу же подтвердило мое предположение, что старуха предавалась тайному чревоугодию, вознаграждая себя за тиранию зятя. Ее дочка Раймонда скончалась из-за скотского обращения, сам понимаешь, о ком я говорю, а также из-за несварения желудка, а без дочки чужой хлеб и совсем уж встал поперк горла.

Я уже съел и ветчину, и яичницу и выпил молоко, а Фальвина, будто клуша, все продолжала без толку суетиться, она только раз присела за стол и отщипнула какой-то кусочек — спектакль воздержания продолжался и после смерти Варвурда. Однако при всей своей болтливости она сказала не все. У нас, как, впрочем, и повсюду, существуют два способа скрывать свои мысли: молчать или говорить слишком много.

— Жаке,— сказал я, вытирая дядин нож об оставшийся кусок хлеба,— пойди возьми лопату и заступ, надо схоронить отца. Тома тебя покараулит.

И я добавил, громко звякнув лезвием, закрывая нож и опуская его к себе в карман:

— У отца, я видел, вполне приличные башмаки. Лучше бы их снять. Они еще тебе пригодятся.

Жаке, слегка сгорбившись, опустил в знак повиновения голову и встал. Встал и я, держа карабин в руках, и, подойдя к Тома, тихо проговорил:

— Ружье отца давай мне, с собой возьмешь только свою двустволку, пусть парень идет перед тобой, а когда он будет копать могилу, отойди в сторону, но глаз с него не спускай.

Я заметил, что Жаке, воспользовавшись нашим разговором, подошел к Фальвине и что-то успел шепнуть ей на ухо.

— Давай, Жаке! — повелительно сказал я.

Он вздрогнул, залился краской, богатырские плечи ссутулились, и в сопровождении Тома направился к двери.

Как только они ушли, я значительно посмотрел на Фальвину.

— Жаке ранил одного из нас, он украл нашу лошадь. Не защищай его, Фальвина, я прекрасно знаю, что он не смел ослушаться отца. И все же он должен будет понести наказание. Мы конфискуем его имущество, а самого увезем как пленника в Мальвиль.

— А как же я? — растерянно спросила старуха.

— Решай сама. Можешь переехать к нам в Мальвиль, можешь оставаться здесь. Если предпочитаешь оставаться здесь, я обеспечу тебя всем необходимым.

— Оставаться здесь! — с ужасом воскликнула старуха. — Да что я тут буду делать?

И снова неиссякаемым потоком хлынули слова. Я слушал их внимательно и не без интереса, но то единственное слово, которое я надеялся услышать, — слово «одна» так и не было произнесено.

Ведь именно одиночество в «Прудах» должно было страшить Фальвину. Чего только не наговорила она, но этого-то и не сказала. Я поднял голову и, как охотничий пес, втянул в себя воздух. Но ничего не учуял. И все-таки старая карга что-то от меня скрывала. Я об этом догадался с самого начала. Что-то, вернее даже, кого-то. Поэтому я и перестал ее слушать. И поскольку нюх не оправдал моих надежд, я решил обратиться к помощи глаз. Я еще раз внимательно оглядел комнату. Как раз напротив, у шершавой кирпичной стены, сантиметрах в сорока над полом, стояла деревянная скамеечка, на которой в ряд была выставлена, видимо, вся обувь, имевшаяся в доме. Я резко оборвал Фальвину:

— Значит, твоя дочь Раймонда умерла. Луи тоже. Жаке сейчас хоронит Варвурда. Кати жила в Ла-Роке. Ведь так?

— Так, — отвечает Фальвина, еще не понимая, к чему я клоню.

Я смотрю на нее и с ходу рублю:

— А Мьетта?

Фальвина как рыба открывает рот. Я не даю ей времени опомниться.

— Да-да, Мьетта. Где Мьетта?

Старуха моргает глазами и отвечает едва слышно:

— Она тоже жила в Ла-Роке. А теперь одному богу известно...

Я снова обрываю ее:

— У кого?

— У мэра.

— Так же, как и Кати? Выходит, у него было две служанки?

— Нет, погоди, я ошиблась. В харчевне.

Я молчу. Опускаю глаза. Смотрю на ноги старухи. Бесформенные, распухшие ноги.

— У тебя больные ноги?

— Ой, еще какие больные! Бедные мои ноженьки,— причитает она, переводя дух и сразу же успокаиваясь, оттого что разговор переходит на другую тему.— Всё вены. Видишь, какие.— Она приподнимает подол юбки, чтобы показать мне их.— Расширились, и все тут.

— Ты когда-нибудь в дождь надеваешь резиновые сапоги?

— Что ты! Никогда. Да разве мне можно! Особо с тех пор, как вены воспалились.

О своих ногах она могла, очевидно, говорить бесконечно. Но я откровенно перестаю ее слушать. Я поднимаюсь с места и, повернувшись к ней спиной, направляюсь к скамеечке с обувью. Там стоят три пары резиновых сапог 44-го или 46-го размера, а рядом с ними пара с каблуком повыше, самое большее 38-го размера. Я перекладываю карабин в левую руку, правой хватаю маленькую пару, оборачиваюсь, потрясаю сапогами, подняв их над головой, и, не сходя с места, с размаху молча швыряю их к ногам Фальвины.

Фальвина пятится и смотрит на сапоги, шлепнувшиеся на цементный пол, словно на змей, уже готовых ее укусить. Она поднимает толстые руки к лицу и прижимает ладони к щекам. Она багрового цвета. И не смеет взглянуть на меня.

— Сходи за ней, Фальвина!

Молчание. Старуха в смятении. Затем приходит в себя. Выражение лица у нее меняется. В ее черных глазах, во

всей ее одутловатой физиономии мелькает затаенное бесстыдство.

— Может, тебе лучше самому пойти? — говорит она многозначительно.

И так как я не отвечаю, она приоткрывает рот, раздвинувший ее отвислые щеки, обнажая мелкие острые зубы, и ее лицо расплывается в плотоядной улыбке. Я не уверен, смогу ли после этого сносно относиться к Фальвине. Хотя я знаю, с ее точки зрения, все это совершенно естественно. Я победитель, я убил главу семьи, теперь меня следует почитать как божество, теперь все принадлежит мне. В том числе и Мьетта. Но я вынужден, не без сожаления и не столько в силу своих добродетелей, сколько по соображениям здравого смысла, отказаться в данную минуту от права господина.

Я говорю, не повышая голоса:

— Я же тебе сказал, сходи за ней.

Улыбка сползает с лица старухи, она опускает голову и выкатывается из комнаты. Выкатывается, дрожа, как желе, всем телом. Трясется все сразу: плечи, груди, ягодицы, икры. Я снова прохожу на свое место, в дальний конец стола, и сажусь лицом к двери. У меня тоже трясутся руки, хотя я положил их на дубовый, потемневший от постоянного мытья стол, и я не в силах унять эту дрожь. Я знаю, что та, кто предстанет сейчас передо мной, несет в себе великое счастье и великую опасность. Я знаю, что появление Мьетты, которой суждено будеть жить одной среди шестерых мужчин, не считая Момо, повлечет за собой ряд ужасных осложнений, и я не имею права совершить сейчас единственную ошибку, от которой зависит: быть или не быть жизни в Мальвиле.

— Ну вот и Мьетта, — говорит Фальвина, подталкивая девушку в комнату.

Если бы у меня было сто глаз, их все равно не хватило бы, чтобы наглядеться на вошедшую.

Ей, вероятно, лет двадцать. И как не вяжется с ее внешностью имя Мьетта*. От своей бабки она унаследовала черные глаза и роскошные волосы цвета воронова крыла. Ростом она сантиметров на десять выше старухи, у нее хорошо развитые, красивой лепки плечи, высокая и

---

* Miette — крошка *(франц.)*.

выпуклая, как щит, грудь, круглые бедра и сильные ноги. Конечно, если быть придирчивым, нос у нее великоват, и губы толстоваты, и несколько тяжел подбородок. Но я не собираюсь пускаться в критику, меня восхищает в девушке все, даже ее простоватость. И не глядя на свои руки, я чувствую, как отчаянно они дрожат. Я убираю их со стола, навалившись на его край грудью и плечами, прижимаюсь щекой к стволу карабина и, лишившись дара речи, пожираю глазами Мьетту. Я понимаю, что́ должен был чувствовать Адам, когда в одно прекрасное утро обнаружил рядом с собой Еву, еще тепленькую, прямо с гончарного круга, где ее изготовили. Вероятно, невозможно сильнее окаменеть от восхищения и ошалеть от нежности, чем окаменел и ошалел я. Появление этой девушки сразу же затопило теплом и светом пещеру, куда я забрался с оружием в руках. Ее залатанная кофточка кое-где треснула по швам, потрепанная вылинявшая красная юбчонка местами изъедена молью и болтается высоко над коленками. Ноги у Мьетты массивны, как у женщин, изваянных Майолем, своими босыми ступнями она так крепко стоит на земле, что, кажется, из нее и черпает силы.

Великолепный экземпляр рода человеческого, новая прародительница людей!

Я силой заставляю себя оторваться от созерцания, выпрямляюсь на стуле и, вцепившись обеими руками в край стола, так что большие пальцы у меня прижаты сверху, а все остальные внизу, говорю:

— Садись, Мьетта.

Мой голос кажется мне слабым и каким-то сиплым. Но постепенно он набирает силу. Мьетта молча опускается на тот самый стул, где до нее сидел Жаке, нас разделяет длина стола. Глаза у девушки красивые и добрые. Она разглядывает меня без всякого стеснения, серьезно и внимательно, так дети смотрят на человека, впервые пришедшего к ним в дом.

— Мьетта (до чего же мне нравится ее имя), мы уводим Жаке с собой.

В ее влажных глазах вспыхивает тревога, и я тут же добавляю:

— Не волнуйся, мы не причиним ему вреда. А если вы с бабулей не хотите оставаться одни в «Прудах», вы тоже можете переехать к нам в Мальвиль.

— Да что ты такое говоришь: остаться одним в «Прудах»,— хнычет Фальвина.— Я так тебе благодарна, сынок...

— Меня зовут Эммануэль.

— Вот и хорошо. Спасибо, Эммануэль.

Я оборачиваюсь к Мьетте.

— А ты согласна, Мьетта?

Девушка кивает — и опять ни слова. Она явно не из болтливых, но зато говорят глаза, они не отрываются от меня. Сейчас они судят и оценивают нового хозяина.

— Не бойся, Мьетта, в Мальвиле тебя ждет только дружба и нежность. Откуда у тебя такое имя, Мьетта?

— По-настоящему-то ее зовут Мария,— тут же встревает старуха,— но она родилась такая махонькая, она ведь у нас недоношенная, бедняжка, семимесячная. Раймонда все, бывало, называет ее «крошечка моя» да «махонькая моя». А Кати — ей было в ту пору три годка — прозвала ее Мьетта, так оно и пошло — Мьетта.

Мьетта не говорит ничего, но, может быть, оттого, что я заинтересовался происхождением ее имени, она мне улыбается. Возможно, ее лицо и впрямь несколько грубовато, особенно если исходить из городских канонов красоты, но, когда Мьетта улыбается, оно неузнаваемо смягчается, все словно светится. У нее очаровательная улыбка, искренняя, доверчивая.

Дверь открывается, и в комнату в сопровождении Тома входит Жаке. При виде Мьетты Жаке замирает на месте, бледнея, смотрит на нее, потом, обернувшись к Фальвине, готовый броситься на старуху, кричит:

— Я что тебе говорил...

— Ну ты, полегче!— прикрикивает на него Тома, он, кажется, и впрямь вошел в роль конвоира.

Он делает шаг вперед, чтобы утихомирить своего пленника, замечает Мьетту (из-за Жаке ее не было видно) и превращается в каменное изваяние. Рука, которую он поднял было, чтобы тряхнуть за плечо Жаке, бессильно падает вниз.

Я говорю, не возвышая голоса:

— Жаке, бабушка мне и звуком не обмолвилась про Мьетту. Я сам догадался, что она спряталась.

Жаке смотрит на меня, широко раскрыв от изумления глаза. У него не возникает ни малейшего сомнения, что я говорю правду. Он верит мне. Более того, он раскаивает-

ся в том, что пытался от меня что-то скрыть. Я занял место отца: теперь всеведущий и всемогущий — это я.

— Неужто ты хитрее, чем господа из Мальвиля! — насмешливо восклицает Фальвина.

Вот обо мне уже говорят во множественном числе. То было «сынок», теперь «господа». Все как-то невпопад. Я смотрю на Фальвину, и мне думается, что старуха, как ни крути, подловата. Но я не хочу судить по первому впечатлению. Да и потом, кого бы не развратило десятилетнее рабство у «троглодита»?

— Жаке, когда ты пошел хоронить отца, что ты шепнул бабушке?

Он стоит потупившись, опустив голову, держа руки за спиной, и, превозмогая стыд, мямлит:

— Я спросил у нее, где Мьетта, она сказала, что в риге. А я ей сказал, чтобы она не говорила об этом господам.

Я смотрю на него.

— Это потому, что ты надеялся сбежать из Мальвиля, вернуться за Мьеттой и где-то с ней укрыться?

Он делается пунцовым. И отвечает еле слышно:

— Да.

— Но куда бы ты пошел? Чем бы стал питаться?

— Не знаю.

— А бабушка? Ты бы оставил ее в Мальвиле?

Фальвина, поднявшись при появлении в комнате двух мужчин (очевидно, рефлекс, выработанный Варвурдом), так и продолжает стоять рядом с Мьеттой и сейчас устало обеими руками опирается на стол.

— О бабушке я не подумал, — смущенно отвечает Жаке.

— Вот тебе и раз! — говорит Фальвина, и горючие слезы готовы брызнуть из ее глаз.

Я предполагаю, что пустить слезу для старухи — дело пустое, но как-никак Жаке — ее любимец. Есть с чего и расстроиться.

Мьетта прикрывает ладонью руку бабушки, прижимается к ней щекой и смотрит на нее, покачивая головой, как бы говоря: уж я-то тебя никогда не брошу. Мне хочется услышать голос Мьетты, но вместе с тем я понимаю, что за нее говорят глаза. Быть может, так было заведено у Варвурда, он требовал, чтобы девушка помалкивала, и она привыкла объясняться мимикой.

Я снова говорю:

— Жаке, а ты спросил у Мьетты, согласна ли она?

Мьетта энергично трясет головой, а Жаке удрученно смотрит на нее.

— Нет,— отвечает он так тихо, что я едва слышу это «нет».

Мы замолкаем.

— Мьетта едет к нам в Мальвиль по своей доброй воле,— говорю я.— Бабуля тоже. И с этой самой минуты, Жаке, никто не имеет права сказать: Мьетта моя. Ни ты. Ни я. Ни Тома. Ни кто другой в Мальвиле. Ты понял?

Он кивает. А я продолжаю:

— Почему ты пытался скрыть от меня, что в «Прудах» есть еще Мьетта?

— Сам знаешь,— отвечает он почти беззвучно.

— Ты не хотел, чтобы она спала со мной?

— Нет, почему же, если она согласна, это ее дело.

— Значит, ты боялся, что я могу взять ее силой?

— Да,— тихо отвечает он.

Мне кажется, это только говорит в его пользу. Он думал не о себе, он думал о Мьетте. Но тем не менее я чувствую, что размякать мне еще рано, хотя Жаке просто обезоруживает меня, такие у него преданные собачьи глаза. Нельзя же так. Постараюсь привести его в божеский вид, ведь ему придется жить вместе с нами в Мальвиле.

— Послушай, Жаке, ты должен усвоить одну простую вещь. В «Прудах» можно было убивать, насиловать, нападать с оружием на человека, воровать у соседа лошадей. В Мальвиле ничего подобного не делают.

Надо видеть, с каким лицом он выслушивает мое нравоучение! Вот только я-то не создан для проповедей. И мне, видимо, начисто чужд садизм: стыд, испытываемый другим, отнюдь не доставляет мне удовольствия. Я быстро закругляюсь.

— Как зовут твоего коня?

— Малабар.

— Чудесно. Пойди запряги Малабара в телегу. Сегодня мы сможем перевезти только часть имущества. Завтра вернемся сюда с Малабаром и Амарантой, ее мы запряжем у нас в Мальвиле. И сделаем столько ездок, сколько потребуется.

Жаке бросается к двери, он счастлив, что может действовать. Тома без особого энтузиазма, по крайней мере

мне так кажется, поворачивается и идет за ним. Я окликаю его.

— Не надо, Тома. Куда он теперь денется!

Тома тут же возвращается, он счастлив, что снова может глазеть на Мьетту. И он тут же вперяет в нее свой взгляд. Мне кажется, что его зачарованная физиономия выглядит довольно глупо, я уже успел забыть, что всего несколько минут назад выглядел точно так же. А великолепные глаза Мьетты тем временем неотрывно смотрят на меня, вернее, на мои губы, и она ловит каждое их движение, когда я начинаю говорить.

Я продолжаю. Я хочу, чтобы все было ясно до конца.

— Мьетта, есть еще кое-что, о чем я хотел бы тебе сказать. У нас в Мальвиле никто не заставит тебя насильно делать то, чего тебе не захочется самой.

И так как она молчит, я спрашиваю:

— Поняла?

В ответ снова молчание.

— Ну конечно, она все поняла,— говорит за нее Фальвина.

Я с раздражением обрываю старуху:

— Пусть она сама ответит, Фальвина.

Фальвина оборачивается ко мне:

— Не может она ответить сама. Она немая.

ГЛАВА VIII

Надо было видеть, как в сумерках мы возвращались к себе в Мальвиль! Я гарцевал во главе отряда, верхом на неоседланной Амаранте, с карабином поперек груди, а за моей спиной, обхватив меня за талию, пристроилась Мьетта, ибо в последнюю минуту она знаками объяснила, что ей хотелось бы сесть на круп лошади. Ехали мы медленно, потому что Малабар, готовый отныне следовать за моей кобылой хоть на край света, всякий раз пускался рысью, стоило только Амаранте прибавить шагу, и увлекал за собой подводу. А на подводу мы навалили неимоверное количество тюфяков и всякой бьющейся утвари, да, кроме того, там устроились еще Тома, Жаке и Фальвина. А главное, за подводой едва плелась привязанная к ней веревкой корова с огромным брюхом, которую Фальвина не решилась оставить в «Прудах» даже на ночь: того и гляди, оте-

лится, заявила старуха. Мы держали путь через плато мимо обращенной теперь в пепел фермы Кюсак, не могло быть и речи о том, чтобы пробираться с таким грузом через небольшую, но сплошь перегороженную стенами песчаника долину, спускавшуюся к Рюне. К тому же Жаке заверил меня, что на этой дороге, хотя она и длиннее, нет завалов из обуглившихся деревьев, он, по его словам, не раз проделывал этот путь, когда по приказу отца добирался чуть ли не до самого Мальвиля, выслеживая нас.

Как только наш обоз, не без труда преодолев склон холма, когда-то подступавшего вплотную к ферме Кюсак, выехал на гудронированную дорогу, я почувствовал великое искушение рвануться вперед и успокоить своих друзей в Мальвиле. Но, увидев, вернее, услышав, как тяжелым галопом Малабар бросился за Амарантой, а корова, которой веревка сдавила горло, глухо взревела, я тут же осадил лошадь и снова перевел ее на шаг. Несчастная корова еще долго не могла очухаться, хотя Фальвина, перегнувшись через борт подводы с риском вывалиться на землю, терпеливо и ласково ее успокаивала. Кстати, корову звали Маркизой, а это значило, что на иерархической лестнице она занимала положение куда более скромное, чем наша Принцесса. Дядя уверял, что традиция жаловать своей скотине смеха ради аристократические титулы повелась в наших краях еще со времен Революции, когда «жаки» погнали с земель знатных сеньоров. И правильно сделали, вставляла свое слово Мену. Сколько эти сеньоры нам зла причинили. Говорят, еще при Наполеоне III, прямо даже не верится, Эммануэль, один граф в Ла-Роке взял и повесил своего кучера — тот, видите ли, посмел в чем-то его ослушаться. И ничего этому графу не было, даже полдня в тюрьме не отсидел.

Заметив наконец вдали донжон замка, освещенный факелами, я мыслью унесся во времена куда более отдаленные, чем Революция. При виде Мальвиля сердце мое возликовало. В этот миг я понял, что должен был чувствовать средневековый феодал, когда целым и невредимым возвращался он с победой из дальних походов в свои владения с богатой добычей и пленниками. Конечно, полной аналогии тут не было. Я не учинил насилия над Мьеттой, и моей пленницей ее не назовешь. Напротив, я освободил девушку. Но добыча была немалой и с лихвой возмещала

то, что теперь нам придется кормить три лишних рта: нам досталось две коровы, одна из них, Маркиза, должна вот-вот отелиться, вторую, дающую отличный удой, мы оставили временно в «Прудах», равно как и быка, хряка и двух свиноматок (о заготовленных на зиму окороках и колбасах я уже не говорю), и кур там было в два-три раза больше, чем у Мену, но самое главное — в «Прудах» оказалось много пшеницы, так как у Варвурда хлеб пекли дома. Их ферма считалась бедной, поскольку «троглодиты» никогда ничего не покупали. В действительности же, как я уже говорил, земли, принадлежавшие ему на плоскогорье у Кюсака, были весьма плодородны. И в этот вечер мы вряд ли увозили с собой в Мальвиль и десятую долю имевшихся в «Прудах» богатств. Я подсчитал, что в ближайшие два дня нам придется сделать несколько ездок на двух подводах, чтобы перевезти оттуда весь скарб и скотину.

Любопытно, как отсутствие автомобилей изменило весь ритм жизни: путь от Кюсака до Мальвиля на лошадях у нас занял целый час, тогда как в машине мы проделали бы его минут за десять. Но зато чего только я не передумал, мерно покачиваясь на неоседланной, потной и разгоряченной Амаранте, чувствуя за собой Мьетту, которая, уткнувшись лицом мне в затылок и привалившись грудью к моей спине, крепко обхватила меня руками. Как щедро она одаривала меня в эти минуты! Будь же благословенна медленная езда! Впервые после дня катастрофы я чувствовал себя счастливым. Конечно, относительно счастливым. Я то и дело возвращался мыслью к Варвурду, лежащему среди камней; земля набилась ему в рот, в глаза, засыпала грудь. Ну и хитер был отшельник! А как решительно действовал! Жил он по своим собственным законам, не признавая законов общечеловеческих. Взбрело в голову — завел себе целый скотный двор производителей. Хотя кормить хряка, жеребца и быка на такой маленькой ферме было явно непозволительной роскошью,— в наших краях крестьяне оставляют в хозяйстве только особей женского пола и все наши коровы — искусственно оплодотворенные девственницы, а вот Варвурд питал особое почтение к мужскому началу. И в данном случае дело было не только в автаркии. Я усматривал тут чуть ли не религиозный культ полновластного самца. И сам Варвурд — суперсамец человеческого поголовья в «Прудах» — считал, что

все женщины в семье, достигшие половой зрелости, включая и падчериц, принадлежат ему.

Мы приближаемся к Мальвилю, и теперь мне с трудом удается сдерживать Амаранту, она то и дело переходит на рысь. Но из-за несчастной Маркизы, чьи короткие ноги подкашиваются под тяжестью огромного брюха, я, прижав к бокам локти, решительно осаживаю лошадь. Право, интересно бы узнать, что думает моя кобылица о проведенном дне. Сначала украли, потом лишили невинности и вот снова возвращают отчему дому. Черт возьми, наконец-то я сообразил, почему она так покорно следовала за похитителем: почуяла запах жеребца, как теперь Красотка в Родилке, должно быть, чует наше приближение, издалека к нам доносится ее ржание, сначала ей отвечает Амаранта, а затем, оправившись от изумления (ого, еще кобыла!), трубным гласом и Малабар. В полной мгле животные по запаху чувствуют друг друга: одни зовут, другие откликаются на зов. Только мы ничего не чувствуем. Я имею в виду обоняние, но зато каждой клеточкой своей спины я ощущаю прижавшуюся ко мне Мьетту, ее грудь, живот, бедра. Всякий раз, когда Амаранта прибавляет ходу, девушка прижимается еще теснее и крепче стискивает пальцы у меня на животе. Ясно, она впервые едет на неоседланной лошади. И ей надолго запомнится эта поездка. Мне тоже. Все эти округлости за моей спиной живут, трепещут, наполняя меня жаром. Ее тело укрывает, обволакивает, засасывает меня. Эх, если б и я мог заржать, отбросив все думы в сторону. Я не страшился бы будущего, наслаждаясь дарованными мне минутами счастья.

В Мальвиле не пожалели факелов, два горели на донжоне, два — в бойницах въездной башни. Сердце у меня колотится как бешеное, когда я смотрю на свой чудесный, так надежно укрепленный и бдительно охраняемый замок. И пока мы взбираемся к нему по крутому откосу, я с восторгом разглядываю в дымном свете факелов огромный донжон, возвышающийся на заднем плане, и въездную башенку с примыкающей к ней крепостной стеной, между ее зубцами мелькают чьи-то тени, пока я еще не могу их опознать. Кто-то размахивает факелом над парапетом. Кто-то кричит:

— Это ты, Эммануэль?

Жаль, что у меня нет стремян. Я бы поднял свою Амаранту на дыбы.

— Да, мы с Тома! И с нами еще люди.

Несутся возгласы, неразборчивые слова. Я слышу, как с глухим скрежетом распахиваются тяжелые дубовые ворота. Добротные петли на совесть смазаны, просто дерево выражает недовольство, что его потревожили. Я въезжаю в ворота и тут же узнаю факельщика — это Момо.

— Момо, закрой за коровой ворота!

— Мамуэль, Мамуэль!— восторженно вопит Момо.

— Корова!— восклицает, сияя от счастья, Мену.— Вы только поглядите, он корову привел.

— И жеребца!— добавляет Пейсу.

Каким героем я выгляжу! И какой вокруг меня подняли шум! Я вижу черные движущиеся силуэты. Но еще не различаю лиц. А Красотка в своем стойле, в нескольких метрах от нас, почуяла жеребца и ржет, раздувая ноздри, бьет копытом о дверцу, не может устоять на месте. Ей отвечают то Малабар, то Амаранта. У Родилки я останавливаюсь, пусть Красотка взглянет на лошадей и успокоится. Не знаю, разглядела ли она их, но так или иначе, она замолчала. Но сам я не вижу ни зги, наш факелоносец запирает в эту минуту ворота, а Мену, посвечивая себе электрическим фонариком (она впервые воспользовалась им с тех пор, как получила его в свое распоряжение), разглядывает корову, замыкающую наш обоз. Мои приятели столпились вокруг Амаранты, теперь по белой повязке на голове я узнаю среди них Пейсу. Кто-то, должно быть Колен, судя по росту, схватил лошадь за уздечку, и в ту минуту, когда Амаранта опускает голову, я перекидываю правую ногу над шлеей лошади и, как эквилибрист, спрыгиваю на землю, я не очень-то люблю этот прием, слишком уж он театральный, но сейчас у меня нет другого выхода, за моей спиной Мьетта, из объятий которой я только что освободился. Едва очутившись на земле, я снова попадаю в объятия, на этот раз Пейсу, и он, ничуть не смущаясь, лобызает меня. Гляди как расчувствовался! Всего обслюнявил! Мы хохочем, переругиваемся, несем всякую чепуху, тузим друг друга, толкаемся, награждаем крепкими тумаками. Наконец я вспоминаю о Мьетте. Я спускаю ее с лошади. Обняв за талию, я помогаю ей слезть. Девушка довольно увесиста! Я говорю:

— А вот и Мьетта.

Как раз в эту минуту возвращается, размахивая факелом, Момо, и Мьетта вдруг выступает из тьмы со всеми

своими выразительными прелестями в ореоле гривы черных волос. Наступает мертвая тишина. Трое моих друзей словно окаменели. Окаменел и Момо, только факел дрожит у него в руке. Они не сводят с девушки горящих глаз. Слышно только их тяжелое дыхание. А в нескольких шагах от нас Мену ласково разговаривает на местном наречии с чужой коровой: «Ах ты моя раскрасавица, распрекрасная ты моя, ах ты моя брюхатенькая, да ведь ты вот-вот отелишься, смотри-ка, вся упрела, бедняжечка моя, и подумать только, в таком-то виде тащили тебя за собой, ведь теленочек-то уж совсем на подходе».

Так как молчание моих приятелей затягивается и никто из них по-прежнему не в силах шевельнуть пальцем, я решаюсь представить их одного за другим. Это Пейсу, это Колен, это Мейсонье, а это Момо. Мьетта каждому пожимает руку. Беззвучно. Они все еще не могут стряхнуть с себя оцепенение. И вдруг вступает Момо. Пританцовывая на месте, он вопит: «Мимена, Мимена» (надо полагать, искаженное Мьетта) — и, размахивая факелом, убегает сообщить новость матери, оставив нас в полной тьме. А вот и Мену. И поскольку факел Момо исчез вместе с ним в неизвестном направлении (вернее всего, он рассматривает сейчас корову), Мену направляет на Мьетту луч своего фонаря и оглядывает ее с головы до ног. Круглые плечи, выпуклая грудь, сильные бедра, мускулистые ноги — ничто не ускользает от ее глаз.

«Так-так... так...— приговаривает она,— так-так». И больше ни слова. Мьетта молчит, немая и есть немая. Мои приятели по-прежнему неподвижны. По тому, как медленно скользит свет фонаря Мену по крепкому телу Мьетты, я чувствую, что она довольна. Она оценивает силу девушки, пригодность к деторождению, работоспособность. Нравственная сторона ее не интересует. Кроме своего «так-так», она ни слова не произносит. Старуха предпочитает молчать. Ни звука. Узнаю ее осторожность. И ее женоненавистничество. Я без труда читаю ее мысли: вот уж не стоит, ребята, голову-то терять из-за ее телес. Баба — она баба и есть. А порядочных среди них — раз, два и обчелся.

Не знаю, смущает ли Мьетту это гробовое молчание, молчание моих товарищей, ошалевших от изумления, и молчание Мену, ставшее уже неприличным, но положение спасает Тома, спрыгнувший с подводы на землю. Я слы-

шу, как он приказывает сидящему на подводе пленнику передать ему оба ружья. И вот Тома среди нас, весь обвешанный оружием. Его встречают очень тепло. Может быть, не так восторженно, как меня, и не так, как Мьетту — при ее появлении у них дыхание перехватило,— но и Тома получает свою долю тумаков, тычков и хлопков. Впервые, пожалуй, я вижу, как мои приятели затевают с ним возню, значит, он окончательно стал своим. Я рад этому. А сам Тома в полном восторге, в меру своих сил он отвечает на все эти проявления дружеских чувств, пусть еще несколько скованно, не слишком ловко, что с него взять,— он человек городской и ему не хватает и нашей свободы движений, и сочной, грубоватой дружеской шутки.

— А ты-то как, Эмманюэль?— спрашивает Мену.

Она улыбается мне откуда-то снизу, подняв свое иссохшее личико, все ее тщедушное тельце так и тянется вверх, на нем нет ни грамма жира. Но эта бесплотность приятна мне, особенно в сравнении с мерзкой тучностью Фальвины.

— Скажи еще спасибо,— говорю я ей по-местному,— что сегодня тебе придется заняться только коровой!

Я подхватываю ее за локти, подбрасываю, как перышко, в воздух и, расцеловав в обе щеки, коротко рассказываю о «Прудах», Варвурде и его семье. История Варвурда ее ничуть не удивляет. Молва о нем докатилась и до нее.

— Ну, я бегу,— говорит она наконец.— Пока вы тут разгружаетесь, соберу вам поужинать.

И вот проворными мелкими шажками она удаляется в направлении замка, едва различимая во тьме, луч фонарика пляшет перед ней. Когда она добирается до подъемного моста у второй крепостной стены, ее фигурка кажется совсем маленькой. Я кричу:

— Мену, готовь на девять человек, на телеге еще двое.

Нам, восьмерым, понадобилось около получаса, чтобы разобрать вещи и временно сложить их в Родилке, тюфяки я велел отнести в донжон, чтобы там устроить ночлег новым обитателям Мальвиля. Во всем полный порядок. Только Малабар выражает нетерпение, и Жаке вынужден сдерживать его, крепко натянув удила, да еще несколько раз достается Момо: вместо того чтобы светить нам, он освещал зад жеребца. Черт тебя побери. Момо, что ты там делаешь? «Во!» — кричит с восторгом придурок. Момо, давай свети, не то схлопочешь пинка под задницу! «Во» —

твердит он. И, выпрямившись, потрясает свободной рукой, воспроизводя поразившие его воображение размеры. Удивительно, но Пейсу воздерживается от своих обычных комментариев. Должно быть, стесняется Мьетты.

Наконец, разместив и заперев скотину — Малабара мы устроили в стойле, где до Происшествия стоял мой жеребец, тут ничего не разнесешь, да и через стены не перепрыгнешь,— мы проходим во внутренний двор, поднимаем тюфяки в спальни на втором этаже и тут же спускаемся в большую залу, где в камине потрескивают дрова и уже накрыт стол. И подумайте, какой приятный сюрприз — посреди длинного монастырского стола возвышается старая керосиновая лампа дяди, в наше отсутствие ее раскопал и починил Колен (нам это кажется пределом роскоши, почти иллюминацией).

Но зато как враждебно, как холодно встречает нас Мену. Я вхожу в залу чуть раньше остальных, она оборачивается — худая, черная — и, впившись в меня колючим взглядом, скрежещет зубами. Идущие за мной останавливаются. Новички с испугом. Свои — настороженно, они предвкушают забавную сцену.

— Ну, где ж они, эти двое?— гневно спрашивает Мену.— Где эти голубчики из «Прудов», где эти цыгане? Будто нам своих ртов не хватает!

Я успокаиваю ее. Перечисляю все богатства, которые привезли оттуда, да еще у них есть пшеница, теперь мы снова сможем печь хлеб и наконец-то оденем Пейсу — ведь Варвурд был одного с ним роста. Да и в работе они нам помогут. При этом я выталкиваю вперед Жаке.

Впечатление он производит хорошее. Мену питает слабость к красивым парням и вообще к представителям сильного пола (с мужчиной в девяти случаях из десяти можно столковаться, народ надежный). А потом не каждому даны такие руки и плечи, как Жаке. Но с ним, как и с Мьеттой, Мену тоже не здоровается, не удостаивает его рукопожатия. (Чужак из «Прудов»... Неужто вы думаете: от ворон отстал, сразу лебедем стал?) Она лишь сдержанно кивает. Дух касты у нее развит посильнее, чем у любой герцогини.

— А вот...

Я не успеваю представить Фальвину, произнести даже ее имя: заметив старуху, Мену разражается потоком

оскорблений, в полной уверенности, что «дикарка» не понимает местного наречия.

— Господи! А это еще что такое, Эммануэль! Кого ты еще сюда приволок? Кого хочешь посадить мне на шею? Да этой старой карге верных семьдесят.— (Ей самой, если память мне не изменяет, уже семьдесят пять.) — Ну я еще понимаю, привез молодую, она хоть кой на что может тебе сгодиться. Но от этой старой свиньи — гляди, она так разжирела, что и задницы с места не сдвинет,— ну от нее-то какой толк. Только будет на кухне под ногами крутиться да обжираться там. А до чего стара! — добавляет она с отвращением,— взглянешь, и прямо выворачивает. А морщин-то! А жирна, будто сало из горшка на блюдо вывалили.

Фальвина багровеет, она с трудом переводит дух, слезы крупными горошинами скатываются по ее отвислым щекам на шею. Зрелище не из веселых, но Мену ничего не замечает, она даже не смотрит в ее сторону и обращается только ко мне:

— Ну, была б эта старая грымза хоть здешней, а то ведь к тому же и пришлая, небось такая же дикая, как и ее сынок! Гад такой, польстился на родную дочь! Как знать, может, у него и с матерью чего было?

Это гнусное предположение переполняет чашу терпения Фальвины. Она находит в себе мужество протестовать.

— Никакой мне Варвурд не сын. Он мой зять,— заявляет она на местном диалекте.

Молчание. Озадаченная Мену поворачивается к старухе и впервые смотрит на нее как на живое существо.

— Да ты никак говоришь по-нашему? — не без смущения спрашивает она.

Старожилы замка переглядываются и хмыкают исподтишка.

— А как же мне еще говорить,— отвечает Фальвина,— когда я в Ла-Роке родилась? Может, знаешь там Фальвина? У него еще своя мастерская рядом с замком была. Так я его сестра.

— Сапожника Фальвина?

— Его самого.

— Да он и мне родня.

Все удивлены! Не совсем, конечно, понятно, как могло случиться, что Мену не была раньше знакома с Фальви-

ной, даже ни разу ее не видела. Но всему свое время. Старухи разберутся. Тут можно не беспокоиться.

— Ты, я думаю, не затаишь на меня обиду за то, что я тут наговорила. Это к тебе не так уж и относится.

— Да нет, я не обиделась,— отвечает Фальвина.

— Что же до твоей толщины,— добавляет Мену,— так, во-первых, не твоя тут вина, а потом, это вовсе не значит, что ты ешь больше других.— (Слова эти могут сойти и за любезность, и за предупреждение, понимай как знаешь.)

— Я и не думала обижаться,— повторяет кроткая как овца Фальвина.

Ладно, наши старухи договорятся. Каждая займет свое место. Я твердо знаю, кто из них возьмет верх в этом курятнике, какая из двух старых кур заклюет другую. Я весело кричу:

— Ну а теперь к столу, к столу!

Я сажусь на свое обычное место и указываю Мьетте место напротив. Происходит небольшая заминка. После мгновения колебания Тома, как обычно, садится по правую руку от меня, Мейсонье — по левую. Момо попытался было устроиться слева от Мьетты, но Мену убивает это желание в зародыше, она сухо окликает сына и усаживает рядом с собой. Пейсу смотрит на меня.

— Чего же ты ждешь, верзила?— спрашиваю я.

Смущенный и взволнованный, он решается сесть справа от Мьетты. Колен, чувствующий себя более непринужденно, устраивается слева. Жаке все еще стоит, и я киваю ему на стул рядом с Мейсонье, я уверен, что это его вполне устроит, ему не придется наклоняться вперед, чтобы взглянуть на Мьетту. Остается один прибор рядом с Пейсу, я указываю на него Фальвине. Хотя вышло это случайно, но, на мой взгляд, очень удачно. Пейсу славится у нас вежливостью, и он хоть время от времени будет поддерживать разговор со старухой.

Я ем за четверых, но пью по обыкновению умеренно, тем более что мой рабочий день еще не окончен, после ужина придется собрать совет, нам необходимо кое-что обсудить. Я с удовлетворением замечаю, что щеки у Пейсу снова порозовели. Я не хочу спрашивать у него в присутствии Жаке — тот и так словно оцепенел от стыда и не смеет поднять на Пейсу глаз,— беспокоит ли его рана. Он, вероятно, дожидался меня, чтобы снять повязку, но я думаю, это лучше сделать завтра, а то вдруг рана снова за-

кровоточит, когда он опустит голову на подушку. Фальвина, уткнувшись в тарелку, не произносит ни звука, что, полагаю, стоит ей немало усилий, и не спеша, чтобы произвести на Мену хорошее впечатление, жует свои бутерброды. Напрасный труд. Мену и глаз ни на кого не поднимает.

Одна Мьетта ведет себя совершенно естественно. А ведь сейчас она — тот магнит, который притягивает к себе и наше внимание, и жар наших сердец. Но это ее ничуть не смущает и, клянусь, даже не льстит ее тщеславию. Она внимательно и серьезно, как ребенок, разглядывает нас, порой она улыбается. Улыбается всем по очереди, не пропуская никого, даже Момо, который кажется мне неправдоподобно чистым,— я и забыл, что только сегодня утром нам удалось загнать его в ванну.

Во время ужина, хотя он и проходит оживленно, все же чувствуется некоторая натянутость — дело в том, что я не хочу рассказывать при новеньких о том, что произошло в «Прудах», да и само их присутствие, несмотря на то что они все время скромно молчат, нас сковывает: такое впечатление, будто все, что обычно говоришь не задумываясь, при них прозвучит фальшиво. И потом, у них другие обычаи. Перед тем как сесть за стол, они все трое перекрестились. Не знаю, откуда у них так повелось. Уж конечно, не от Варвурда! Впрочем, это производит хорошее впечатление на Мену, для которой все «пришлые» — дикари дохристианской эры.

Заметив это, сидевший слева Мейсонье толкнул меня локтем, а Тома взглянул на меня с явным неудовольствием.

Более чем когда-либо, они чувствуют себя в меньшинстве — единственные среди нас убежденные атеисты, для кого атеизм стал второй религией. До Происшествия Колен и Пейсу, пусть и не так уж часто, но сопровождали своих супруг в церковь (хотя, по их мнению, не мужское это было дело) и даже причащались на Пасху. Что же касается меня, я не католик и не протестант, а некий гибрид, порожденный двойным воспитанием: в пору становления моих религиозных взглядов я как бы сидел сразу на двух стульях. Обе религии нанесли друг другу непоправимый ущерб. Целые пласты веры рухнули во мне. Не раз я говорил себе, что надо было бы разобраться, составить опись того, что еще осталось. Не думаю, что я когда-либо

соберусь это сделать. Во всяком случае, в вопросах религии я не доверяю не только священникам. Я, например, питаю живейшую антипатию к людям, которые похваляются тем, что, мол, упразднили бога-отца, считают, что религия отжила свое и тут же заменяют ее не менее произвольными философскими фетишами. Должен признаться — пока еще опись, о которой я говорил выше, не составлена,— что меня привлекают все-таки сентиментальные религиозные обычаи моих предков. Словом, еще не все нити порваны. И в то же время я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не быть противником — вовсе не значит быть сторонником.

Я не реагирую на подталкивание Мейсонье и делаю вид, что не замечаю взгляда Тома. Неужели нас в Мальвиле ожидают не только борьба за обладание Мьеттой, но еще и религиозные распри? Ведь оба наших атеиста прекрасно поняли, что вновь прибывшие укрепят в Мальвиле клерикальный лагерь. И это беспокоит их, тут они не могут положиться даже на меня.

После ужина я прошу Жаке развести огонь на втором этаже, и, как только он возвращается, я поднимаюсь и говорю новеньким:

— Эту ночь вы проведете на втором этаже, устраивайтесь там на тюфяках. А завтра что-нибудь придумаем.

Фальвина встает, она смущена, не зная, что нам сказать на прощание, а Мену ни словом, ни взглядом не приходит ей на помощь. Мьетта чувствует себя куда свободнее — может быть, потому, что она вообще ничего не может сказать,— но она явно удивлена, и я знаю почему.

— Идите, идите,— говорю я, неопределенно махнув рукой.— Я вас провожу.

И чтобы поскорее положить конец этой сцене, я легонько подталкиваю их к двери; ни новенькие, ни старожилы так и не пожелали друг другу спокойной ночи. Поднявшись на второй этаж, я, чтобы оправдать свое присутствие здесь, делаю вид, что проверяю, хорошо ли закрыты окна и не слишком ли близко к огню положены тюфяки. «Ну, спите спокойно»,— говорю я и снова делаю неопределенный жест рукой. В душе я очень огорчен, что вынужден так сдержанно проститься с Мьеттой, мне кажется, что девушка смотрит на меня вопрошающе.

Я ухожу. Но это отнюдь не значит, что я расстаюсь с ней. Я уношу ее с собой — в мыслях, понятно, спускаясь

по лестнице, ведущей из башни в залу, где Мену уже убрала со стола и где мои товарищи, придвинув стулья к огню — а мой стул стоит в центре,— ждут меня. Я усаживаюсь и тут же, взглянув на них, понимаю, что комната все еще полна присутствием Мьетты и ни о чем другом они сейчас не в состоянии думать. Первым о ней заговорит — готов держать пари — Пейсу.

— Красивая девушка!— произносит он безразличным тоном.— Только уж больно неразговорчива.

— Она немая.

— Да не может быть!— вскрикивает Пейсу.

— Нимома!— вопит Момо, преисполнившись сострадания и в то же время скумекав, что теперь по своим лингвистическим возможностям он в Мальвиле уже не на последнем месте.

Недолгое молчание. Нам всем жаль Мьетту.

— Мама! Она нимома!— снова кричит Момо, горделиво выпрямляясь на стуле.

Мену молча вяжет. Что она будет делать, когда кончится шерсть? Распустит, подобно Пенелопе, свое вязание?

— Чего зря горланить,— обрывает она сына, не поднимая головы.— Слышала. Я-то не глухая.

Я суховато замечаю:

— Мьетта не глухая. Она немая.

— Ну что же, значит, долго торговаться вам с ней не придется...— бросает Мену.

Нас коробит цинизм этого замечания, но мы молчим, не желая подливать масла в огонь. И так как молчание затягивается, я начинаю свой рассказ о том, как мы провели нынешний день в «Прудах».

В нескольких словах описываю нашу военную эпопею. Не слишком задерживаюсь и на семейных отношениях в клане Варвурда. Опять же, чтобы не дать Мену в руки дополнительного оружия. Главным образом я рассказываю о Жаке, о его покушении на Пейсу, о его пассивном соучастии, о том, что отец внушал ему ужас. В заключение я говорю, что его надо будет в наказание лишить свободы, просто принципа ради, чтобы он хорошенько запомнил: ты, мол, поступал плохо и не вздумай браться за прежнее.

— И как ты представляешь себе это лишение свободы?— спрашивает Мейсонье.

Я пожимаю плечами.

— Сам понимаешь, не станем же мы заковывать его в цепи. Просто лишим права покидать территорию Мальвиля. В остальном он будет жить, как и все мы.

— Вот тебе и на! — возмущается Мену. — Если бы меня спросили...

— А тебя не спрашивают, — обрываю ее я.

Я рад, что поставил старуху на место. Меня покоробило, что она даже слова не сказала Фальвине на прощание. А ведь Фальвина — ее родственница. К чему эта свара? Да и со мной она слишком много себе позволяет. То обстоятельство, что в ее глазах я, так сказать, хозяин божьей милостью, отнюдь не мешает ей — как когда-то было и с дядей — без конца меня пилить. Должно быть, и с самим господом богом, даже когда она его просит о чем-либо, она не может обойтись без грубостей.

— Я согласен с твоим предложением, — говорит Мейсонье.

Они все согласны. Еще и потому, что им приятно было слышать, как я одернул Мену, это я вижу по их глазам.

Мы обсуждаем срок наказания, которому подвергнется Жаке. Предложения разные. Самое суровое — видно, уж очень он испугался за меня — предлагает Тома: десять лет. Снисходительнее всех Пейсу: один год.

— Не слишком же дорого ты ценишь собственную черепушку, — говорит Колен со своей прежней улыбкой.

Он предлагает пять лет плюс конфискация всего имущества. Голосуем. Принято. Завтра мне предстоит объявить Жаке приговор.

— Перехожу к вопросу безопасности. Кто знает, не бродят ли где-то поблизости другие группки уцелевших после взрыва, готовые в любую минуту напасть на нас. Отныне следует быть начеку. Днем не выходить без оружия. Ночью во въездной башне, кроме Мену и Момо, должны оставаться еще двое дежурных. Там на третьем этаже как раз есть свободная комната с печкой. Я предлагаю разбиться на пары и дежурить посменно.

Мои товарищи в принципе согласны и начинают оживленно обсуждать вопрос о том, как часто должны сменяться дежурные и как лучше составить смены.

Минут через двадцать мы приходим к соглашению: Колен — Пейсу будут дежурить по четным дням, Мейсонье — Тома по нечетным. Колен предлагает — и все его поддерживают, — чтобы я оставался в донжоне для организации

обороны внутри крепости, в случае если враг, застав нас врасплох, захватит первую крепостную стену.

— А поскольку двое из нас,— замечаю я,— будут постоянно ночевать во въездной башне, в донжоне освобождается место. Я предлагаю устроить Мьетту в комнате рядом с ванной, на втором этаже.

При имени Мьетты оживление спадает и снова повисает молчание. В той самой комнате — этого не знает один лишь Тома,— где собиралось в былые времена наше Братство. Тогда мы часто говорили, понятно, для шику, что как было бы здорово, если б с нами была девчонка, которая готовила бы нам и «удовлетворяла наши страсти». (Это было моё выражение, я вычитал его в каком-то романе, и оно производило сильное впечатление, хотя никто, в сущности, толком не знал, что означает слово «страсть».)

— А те двое?— спросил наконец Мейсонье.

— Думаю, что останутся там, где мы их сейчас устроили.

Молчание. Все понимают, что у Мьетты в Мальвиле будет иной статус, чем у Фальвины или Жаке. Но об этом пока ничего не сказано. И никто не хочет уточнять.

Поскольку молчание затягивается, я решаюсь прервать его.

— Ну вот,— начинаю я,— настало время поговорить откровенно о Мьетте. У меня только одно условие, все должно остаться между нами.

Я смотрю на них. Все согласны. Только Мену невозмутимо уткнулась носом в свое вязание, поэтому я добавляю:

— Это относится также и к тебе, Мену, ты тоже должна держать язык за зубами.

Она вкалывает спицы в вязание, свертывает его и встает.

— Пойду-ка я спать,— говорит она, поджав губы.

— Тебя, по-моему, никто не гонит.

— Да нет уж, лучше пойду.

— Послушай, Мену, нечего лезть в бутылку.

— Я и не лезу,— говорит она, повернувшись ко мне спиной, наклоняется к камину, чтобы зажечь мигалку, бормочет что-то невнятное и, судя по ее тону, видимо, что-то не слишком лестное по моему адресу.

Я молчу.

— Останься, Мену,— говорит, как всегда вежливо, Пейсу.— От тебя у нас нет секретов.

Я многозначительно смотрю на старуху, но не произношу ни слова. Откровенно говоря, я буду даже рад, если она уйдет. Мену продолжает ворчать. Я улавливаю слова «загордился», «не доверяет». Я прекрасно понимаю, о ком идет речь, но упорно храню молчание. Про себя замечаю, что она что-то уж слишком медленно зажигает свою мигалку. Должно быть, надеется, что я предложу ей остаться. Но ее ждет разочарование.

Она действительно разочарована и к тому же полна негодования.

— Ну все, идем, Момо!— бросает она отрывисто.

— Атитись атипока! (Отвяжись ради бога.),— хнычет Момо, ему явно интересно.

Да! Неудачную минуту выбрал бедняга Момо, уж лучше б ему сразу послушаться! Мену перекладывает мигалку из правой руки в левую и, широко размахнувшись, своей маленькой сухонькой десницей отвешивает ему здоровенную оплеуху. И тут же поворачивается к нему спиной, а он покорно плетется за матерью. В который уж раз меня поражает, как этот здоровенный бугай в свои сорок девять лет позволяет бить себя своей крошечной матери.

— До свидания, Пейсу,— говорит Мену на прощание,— до свидания и спокойной ночи.

— Тебе также,— отвечает Пейсу, несколько смущенный персональным вниманием.

Она удаляется, и Момо, который тащится за ней следом, с силой хлопает дверью: это он вымещает на мне — правда, с почтительного расстояния — обиду, нанесенную ему матерью. Впрочем, завтра они оба будут на меня дуться. За полвека соединяющая их пуповина так и не оборвалась.

— Итак,— начинаю я,— Мьетта. Поговорим о Мьетте... В «Прудах», пока Жаке с Тома хоронили Варвурда, я бы мог спокойно переспать с Мьеттой и, вернувшись сюда, заявить: «Мьетта принадлежит мне... Это моя жена, и никто не смеет к ней прикоснуться».

Я смотрю на них. Никакой реакции, во всяком случае, внешне все спокойны.

— Но если я этого не сделал, этого не должен делать и никто другой. Короче говоря, по моему мнению, Мьетта не должна стать собственностью одного из нас. Да и как можно говорить о ней как о чьей-то собственности. Она

сама себе хозяйка. И может поддерживать отношения, с кем хочет, какие хочет, когда хочет, согласны?

Продолжительное молчание. Никто не произносит ни слова, они даже не смотрят на меня. Институт моногамии настолько укоренился в их сознании, ему подчинено столько рефлексов, воспоминаний, чувств, что они не способны принять, не способны даже представить себе уклад жизни, ее отрицающий.

— Тут есть две возможности,— произносит Тома.

Ага, заговорил первым, так я и думал!

— Мьетта выбирает одного из нас, и все остальные исключаются...

Я не даю ему закончить.

— Заявляю категорически, подобного положения я не приму, даже если избранником окажусь я сам. А если избранником окажется кто-то другой, не соглашусь с исключительностью его положения.

— Прости, пожалуйста,— продолжает Тома,— но я не кончил.

— Продолжай, Тома,— любезно говорю я.— Я прервал тебя, но ты вправе высказать свое мнение.

— И на том спасибо,— отвечает Тома.

Я молча, с легкой улыбкой обвожу всех взглядом. В старые времена, еще в дни Братства, мне всегда удавался этот прием, и я убеждаюсь, что и сейчас он не потерял прежней силы: авторитет противника подорван благодаря моему терпению и его собственной обидчивости.

— И вторая возможность,— продолжает Тома, но, видно, мое вмешательство несколько охладило его пыл.— Мьетта спит со всеми, и это абсолютно безнравственно.

— Безнравственно?— спрашиваю я.— Почему же безнравственно?

— По-моему, это и так ясно,— отвечает Тома.

— Отнюдь не ясно. Не стану же я принимать на веру поповские бредни.

Приписать Тома «поповские бредни!» Я наслаждаюсь про себя этим мелким коварством. Но о том вопросе, который мы обсуждаем, наш милейший Тома судит с апломбом — и в то же время совсем наивно.

— Вовсе это не поповские бредни,— возражает Тома раздраженно, и это раздражение идет ему лишь во вред.— Не станешь же ты отрицать, что девушка, которая спит со всеми,— шлюха.

— Чепуха,— парирую я.— Шлюха — это девушка, которая спит за деньги. Именно деньги делают это безнравственным. А не число партнеров. Женщин, которые спят со многими, ты встретишь повсюду. Даже в Мальжаке. И никто их не презирает.

Молчание. Тихий ангел пролетел. Мы вспоминаем Аделаиду. Всем нам, кроме Мейсонье — он совсем еще юным обручился со своей Матильдой,— Аделаида облегчила путь через юность. Мы признательны ей за это. И я уверен, что Мейсонье, при всем своем целомудрии, жалеет об упущенном.

Тома, должно быть поняв, что я опираюсь на общие для всех нас воспоминания, молчит. А я продолжаю, теперь почти уверенный в победе.

— Тут вопрос не в морали, а в том, как мы сумеем приспособиться к обстоятельствам. В Индии, Тома, есть каста, где пять братьев, к примеру, объединяются и женятся на одной женщине. Братья и их общая супруга образуют единую семью, которая занимается воспитанием детей, и никто из них не спрашивает, чьи это дети. А поступают они так потому, что каждому брату в отдельности содержать жену не под силу. Если им приходится идти на создание такой семьи из-за крайней бедности, то у нас нет другого выхода, так как Мьетта здесь единственная женщина, способная рожать.

Снова наступает молчание. Тома, чувствуя себя побежденным, видимо, отказался от дальнейшего спора, а остальные, кажется, предпочитают молчать. Однако они должны высказать свое мнение, я вопросительно на них смотрю и спрашиваю:

— Так как же?

— Не очень мне это нравится,— говорит Пейсу.

— Что «это»?

— Да этот самый обычай, в Индии.

— Дело не в том, нравится или нет, дело в том, что такова необходимость.

— Все равно,— стоит на своем Пейсу,— одна женщина на несколько мужчин, нет, я против.

Молчание.

— Я того же мнения,— поддерживает его Колен.

— Я тоже,— вторит Мейсонье.

— И я,— произносит Тома, и его улыбка ужасно раздражает меня.

Я смотрю на огонь. Произошло нечто удивительное: я оказался в меньшинстве! Я побежден! С тех пор как в двенадцать лет я, так сказать, возглавил коллективное руководство Братства, подобное случается впервые. И меня это искренне огорчает, хотя я и сознаю, что это самое настоящее мальчишество. Но мне не хотелось бы, чтобы присутствующие заметили это, и я пытаюсь как ни в чем не бывало перейти к следующим стоящим на повестке дня вопросам. Но мне это плохо удается. Сжимается горло. В голове полнейшая пустота. Мало того, что я потерпел поражение, мое молчание выдает мою растерянность.

Спас меня, естественно, сам того не желая, Тома.

— Вот видишь,— говорит он без излишней деликатности,— моногамия победила.

Правда, и я не без греха. Он еще не забыл мне «поповских бредней».

Замечание Тома встречается холодно. Я обвожу взглядом своих приятелей. Лица у них красные, чувствуют они себя неловко, мое поражение смущает их не менее, чем меня самого. И главное, скажет мне позднее Колен, надо же такому случиться — как раз в тот день, когда ты столько для нас сделал. Их смущение подбадривает меня.

— Будем считать, что мы проголосовали, и я подчиняюсь большинству. Однако следует до конца уяснить, что означает это решение. Значит ли оно, что мы заставим Мьетту выбрать себе единственного партнера и оставаться при нем?

— Нет,— отвечает Мейсонье.— Конечно, нет. Мы не будем ее неволить. Но если она захочет выбрать себе одного мужа, мы ей не помеха.

Хорошо. Теперь все ясно. Все дело в выборе слов. Я говорю «партнер», он говорит «муж». Мне так хотелось заметить коммунисту Мейсонье, что у него мелкобуржуазные представления о браке. Но я мужественно одергиваю себя. И смотрю на остальных.

— Это вас устраивает?

Да, их это устраивает. Да здравствует брак! Долой адюльтер, даже узаконенный! Условная мораль все еще жива. Но лично я убежден, что все эти весьма похвальные принципы меньше всего приемлемы в нашей общине, состоящей из шести мужчин, на которых приходится всего одна-единственная женщина. Но против большинства не пойдешь. Позиция моих приятелей представляется мне

максималистской и бессмысленной: по их мнению, лучше уж не иметь женщины до конца своих дней, чем делить ее с другими. Впрочем, каждый из них, конечно, надеется оказаться счастливым избранником.

Я молчу. Меня тревожит будущее. Я боюсь лжи, ревности и даже покушений на убийство. А также (почему бы не признаться в этом сейчас) я мучительно жалею, что Мьетта не стала моей в «Прудах», когда была такая возможность. Не очень же я вознагражден за то, что сумел «подавить свои страсти», как говорили мы во времена Братства.

На другой день, на заре, после отвратительно проведенной ночи, меня разбудили мощные удары колокола, кто-то трезвонил в него что было сил. Этот большой церковный колокол я купил как-то на распродаже и повесил его у въезда в замок, с тем чтобы посторонние и туристы, желавшие попасть в Мальвиль, могли им пользоваться. Но звонил он так раскатисто, что его было слышно, как мне говорили, даже в Ла-Роке. И тогда я установил рядом с ним электрический звонок, ныне, увы, бесполезный.

Не представляя, что может означать этот трезвон, я соскакиваю с постели, натягиваю прямо на пижаму брюки, сую босые ноги в сапоги и, схватив карабин, вслед за Тома, у которого в руках тоже ружье, кубарем скатываюсь по винтовой лестнице и, пробежав подъемный мост, вылетаю во внешний двор.

Все обитатели замка, натянув на себя первое, что попалось под руку, собрались уже у Родилки. Нас ждет радостная новость. Маркиза из «Прудов» только что отелилась в углу стойла, а теперь перебралась в другое и готовится принести второго теленка. Момо, которому мать приказала сообщить нам эту весть, совсем обезумев от радости, решил, что ради столь торжественного события не грех ударить в колокол. Ну и достается ему от меня. Как он посмел ослушаться моего приказа. Ведь я столько раз строжайшим образом запрещал ему выкидывать такие номера. Затем, повернувшись к Фальвине, я поздравляю ее с двойней Маркизы (телята оказались телочками). Фальвину так и распирает от гордости, будто она сама произвела этих телят на свет божий, она без умолку тараторит, готовясь вместе с Мену помогать Маркизе, но помощь их не требуется: второй теленок, весь мокрый, кругленький и невозможно трогательный, уже появился. Пейсу, Мейсонье,

Колен, Жаке возбужденно обсуждают это событие, но все голоса покрывает громовой голос Пейсу, перечисляющего все случаи, когда корова приносила двойню — явление редкое, а потому особенно памятное,— одни он видел сам, о других только слышал. Мы все стоим, опершись о деревянную перегородку стойла, Мьетта — среди нас.

Девушка едва одета, волосы спутаны, она вся еще теплая после сна. При виде ее у меня по-идиотски заколотилось сердце. Лучше уж любоваться телочками. Обе цвета красного дерева и совсем не такие маленькие, как этого можно было ожидать.

— Никогда не подумал бы по Маркизе,— замечает Пейсу,— что она принесет целую пару, она была не толще, чем когда носят одного.

— Я видала коров куда потолще,— поддерживает его Мену.— А вот эта взяла и принесла нам парочку, да еще каких красавиц. Только вот где их поместить.

— Можно сказать, тебе здорово повезло,— обращается к Фальвине Пейсу.— (Не знаю почему, но мы все считаем своим долгом выказывать свое восхищение именно Фальвине, хотя корова принадлежит теперь Мальвилю, возможно, мы хотим вознаградить ее за тот прием, что оказала ей Мену.) — Уж такую корову, Фальвина,— продолжает Пейсу степенно и учтиво,— я думаю, тебе не придет в голову продавать. А за этих двух телят через неделю можно было бы огрести шестьдесят тысяч монет. А уж о молоке, которое ты надоишь, я и не говорю. Не корова, а чистое золото. Она ведь и еще раз может двойню принести.

— Интересно, кому ты собрался загонять этих телят, дурачина?— спрашивает Колен.

— Это просто так, к слову,— оправдывается Пейсу, мечтательно прищурив глаза. Должно быть, ему представляется образцовая ферма, в ином мире, лучше нашего, где все коровы без исключения выдают только двойни. Размечтавшись, он даже не смотрит на Мьетту. Правда, нынче утром, после вчерашнего голосования, мы все поглядываем на нее лишь украдкой. Каждый боится, как бы другие не подумали, что он пытается увеличить свои шансы.

Я подсчитываю: Принцесса, Маркиза и две новорожденные телочки — мы решаем назвать их Графиней и Баронессой, что пополнит наш Готский альманах. Да, чуть не забыл оставленную в «Прудах» Чернушку, ее, правда, к аристократкам не отнесешь, но зато дает она много мо-

лока и теленка у нее нет. Значит, теперь в Мальвиле пять коров, один взрослый бык и бычок — Принц. Его мы тоже закалывать не станем. Оставить всего одного производителя — это риск, и немалый. Что касается лошадей, у нас три кобылы: Амаранта, Красотка, ее дочь Вреднуха и жеребец Малабар. Свиней не стоит даже считать, их теперь так много, что мы вряд ли сможем всех прокормить. Я думаю о наших животных, и меня затопляет горячее чувство уверенности, к которому, однако, примешивается страх: вдруг земля откажется кормить их да и нас в придачу. Любопытно, как с исчезновением денег исчезли все ложные потребности. Как и в библейские времена, мы мыслим только категориями пищи, земли, стада и сохранения племени. Взять хотя бы Мьетту. Я смотрю на нее совсем иными глазами, нежели на Биргитту. С Биргиттой как-то само собой получалось, что сексуальные отношения не имели целью продолжение рода, а в Мьетте я прежде всего вижу будущую мать.

Даже при двух подводах нам понадобилось целых четыре дня, чтобы перевезти все добро из «Прудов». Горожане жалуются на трудности, связанные с переездом на новую квартиру, но они даже представить себе не могут, сколько за человеческую жизнь может накопиться всякой всячины на ферме, причем все нужное и все очень громоздкое. А тут еще скотина, фураж и зерно.

Наконец на пятый день мы снова смогли приняться за обработку нашего маленького участка на Рюне, применяя новые правила безопасности на практике. Жаке пахал, а кто-нибудь из нас, вооружившись карабином, нес караул на маленьком холме к западу от Рюны. Если дозорный вдруг заметит что-то подозрительное — будь то один или несколько человек,— он, согласно инструкции, должен был, не показываясь, выстрелить в воздух, чтобы дать время Жаке добраться до замка и увести с собой лошадь, а мы должны были тут же кинуться на выручку с ружьями — теперь их у нас было три, считая ружье Варвурда, а вместе с карабином целых четыре.

Этого было, конечно, недостаточно. Я подумал о луке Варвурда, оказавшемся на близком расстоянии таким точным и опасным оружием. Биргитта обучила меня принципам стрельбы из лука, гораздо более сложным, чем это может показаться на первый взгляд, и, несмотря на всеобщий скептицизм, я начал упражняться на дороге, ведущей

к внешней крепостной стене. Проявив упорство, я добился вполне сносных результатов и стал мало-помалу увеличивать дистанцию. В те дни, когда я бывал в ударе, мне удавалось с сорока метров всадить в цель одну стрелу из трех. Хотя мне было далеко не только до Вильгельма Телля, но даже до Варвурда, в сущности, мои результаты были не хуже, чем при стрельбе из охотничьего ружья, из которого уже на расстоянии пятисот метров трудно попасть в цель. Меня удивляло, с какой силой стрела вонзалась в мишень: порой мне приходилось вытаскивать ее оттуда обеими руками.

Мои успехи пробудили у моих приятелей дух соперничества, и вскоре стрельба из лука стала нашим любимым времяпрепровождением. Меня догнал, а потом и перегнал малыш Колен, с шестидесяти метров он всаживал все три стрелы, одну за другой, в мишень, причем с каждым разом все ближе и ближе к центру.

Из нас пятерых, вернее, из нас шестерых, если считать Жаке, которого еще не допускали к стрельбе, Колен был самым низкорослым и тщедушным. Мы настолько привыкли к этому и его маленький рост казался нам столь естественным, что мы прямо в глаза называли его малышом. Нам и в голову не приходило, что это может его обидеть, раз он сам никогда нас не одергивал. И только теперь, видя, какое огромное счастье он испытывал, победив нас в стрельбе из лука, я понял, сколько же страданий причинял ему его рост. Даже лук был больше него. Но когда он брал его в руки — а это случалось довольно часто, так как он тренировался упорнее остальных,— он чувствовал себя героем. В полдень после завтрака я часто видел, как он сидит в большой зале у окон со средниками и внимательно штудирует краткое руководство по стрельбе из лука, купленное мною по просьбе Биргитты, куда я сам так и не удосужился заглянуть. Одним словом, малыш Колен сделался великим лучником. Так я стал его называть, заметив, какое огромное удовольствие доставляло ему слово великий, употребленное даже в переносном смысле.

Он уговорил Мейсонье помочь ему смастерить еще три лука. Каждому из нас, по его мнению, необходимо иметь собственный лук, и он часто сокрушался, что нет у него теперь слесарного заведения в Ла-Роке (он там и слесарничал, и свинец плавил) и не может он отлить нам на-

конечники для стрел. Я всячески поддерживал его начинания, потому что предвидел то время, когда ружья уже будут ни к чему, поскольку кончатся патроны, изготовить новые будет не из чего, а насилие и жестокость, судя по всему, не исчезнут из мира вместе с исчезновением огнестрельного оружия...

Прошел уже месяц с тех пор, как Момо бил на заре в колокол, оповещая о появлении знаменитой двойни, и вот однажды вечером, часов в семь, я как раз запирал свою спальню в донжоне, собираясь с Библией под мышкой спуститься вниз, а Тома, стоявший на площадке, еще пошутил, что я, мол, вполне могу сойти за святого, и когда я, правой рукой повертывая ключ в замке, оглянулся на него, готовя ответ поядовитее, вдруг снова зазвонил колокол, но теперь он звонил совсем иначе, чем в прошлый раз, он будто пропел две мощные, басовитые ноты, потом последовала третья, более слабая, и наступившая затем тишина показалась необычно тягостной. Я замер. Нет, звонил не Момо. Не его это была манера. Я снова отпер дверь спальни, кинул на стол Библию, схватил свой карабин и сунул ружье Тома.

Не проронив ни слова — Тома опередил меня на нижней площадке лестницы,— я добежал до въездной башни. Никого. Мену и Момо, должно быть, были в замке, старуха, надо полагать, готовила ужин, а великовозрастный сынок крутился рядом в надежде чем-нибудь поживиться. Ну, а Колен и Пейсу, которым предстояло провести здесь всю ночь, вовсе не обязаны были сидеть тут еще и днем. Тома взял под свое наблюдение ворота, а я, пробегая по пустым комнатам, особенно отчетливо понял, что принятые нами меры безопасности были совершенно недостаточны. Через внешнюю крепостную стену — она была значительно ниже внутренней — можно было без труда перелезть при помощи приставной лестницы или просто веревки, снабженной крюком. Через водяной ров был переброшен не подъемный, как надо рвом, окружающим внутренние стены, а самый обыкновенный мост, по которому ничего не стоило подойти к крепостной стене и преспокойно перебраться через нее, пока мы восседали в зале за трапезой.

Прежде чем подойти к воротам, я тихо приказал Тома подняться по приставной лестнице на стену въездной башни и через бойницу галереи, нависшей над входом, взять на прицел непрошеного гостя или гостей. Дождавшись,

пока он займет указанную позицию, я бесшумно подкрался к потайному окошечку и, чуть-чуть приоткрыв его, припал к нему глазом.

Всего в метре от себя — следовательно, он успел уже миновать мост — я увидел человека лет сорока, сидевшего верхом на большом сером осле, из-за левого плеча у него торчало ружейное дуло. Был он смуглый и темноволосый, с непокрытой головой, в насквозь пропыленном костюме цвета антрацита, и, что больше всего меня поразило, на груди у него висело, как у епископов, серебряное распятие. Мне он показался высоким и сильным. На лице его было написано величайшее спокойствие. И я про себя отметил, что он даже бровью не повел, когда, подняв глаза к бойницам, увидел ружье, наведенное на него Тома.

Я с шумом отворил окошечко и громко крикнул:

— Что тебе здесь надо?

Грубый тон не произвел ни малейшего впечатления на нашего гостя. Он, даже не вздрогнув, просто посмотрел на мое оконце и низким голосом степенно ответил:

— Прежде всего повидать вас и затем переночевать в замке. Не хотелось бы на ночь глядя пускаться в обратный путь.

Я отметил про себя, что говорит он складно, даже, пожалуй, изысканно, четко произносит слова, и акцент его хотя и отличается от нашего, но не слишком.

— При тебе есть другое оружие, кроме этого ружья?

— Нет.

— Лучше признавайся сразу. Тебя обыщут, как только ты войдешь.

— У меня есть еще маленький перочинный нож, но я не считаю его оружием.

— Есть ли у него стопорный вырез?

— Нет.

— Как тебя зовут?

— Фюльбер. Я священник.

Последнее замечание я пропустил мимо ушей.

— Слушай, Фюльбер, вынь затвор ружья и положи его в карман пиджака.

Он тотчас же повиновался и без всякой обиды заметил:

— А вы недоверчивы.

— Для этого есть все основания. На нас уже нападали. Слушай, я сейчас открою тебе,— продолжал я.— Ты

въедешь в ворота, остановишься в десяти метрах и спешишься только тогда, когда я тебе прикажу.

— Хорошо.

— Тома, держи его на прицеле.

Тома кивнул головой. Я переложил карабин в правую руку, поднял предохранитель, отодвинул оба засова, открыл ворота и стал ждать. Как только Фюльбер въехал во двор, я так стремительно захлопнул их, что даже задел его осла. Тот испуганно отпрыгнул в сторону и чуть было не выбил из седла нашего гостя. Лошади в Родилке заржали, осел навострил длинные уши, и у него слегка задрожали ноги, но Фюльбер живо его приструнил.

— Слезай,— сказал я ему на местном наречии,— и давай сюда затвор от ружья.

Он повиновался, это доказывало, что он понимает местную речь. Я положил затвор себе в карман. Хотя я и был уверен, что такие меры предосторожности в данном случае бессмысленны, но недоверие сродни всем прочим добродетелям, оно тоже не признает никаких исключений.

Тома, схватив под уздцы серого осла, отвел его в стойло Родилки. Я видел, как затем он взял ведро, чтобы напоить его. Я остановился, чтобы подождать Тома, и спросил Фюльбера:

— Откуда ты?

— Из Кагора.

— Но ты понимаешь по-нашему.

— Не все. Некоторое различие в словаре есть.

Вопрос этот, должно быть, интересовал его, так как он тут же начал сравнивать кое-какие слова на нашем и на своем родном наречии. Пока он говорил — а говорил он превосходно,— я разглядывал его. Он был не такой высокий, как показалось мне вначале, но хорошо сложен и наделен природным изяществом, потому, видимо, и казался выше ростом. О его физиономии я не знал что и подумать. Дав ему закончить лингвистические изыскания, я спросил:

— Ты приехал из Кагора?

Он улыбнулся, и я про себя отметил, что улыбка его не лишена обаяния.

— Нет, я из Ла-Рока. Я случайно оказался там во время взрыва.

Я глядел на него, открыв от изумления рот.

— Значит, в Ла-Роке есть люди?

— Да,— ответил он,— есть.— И добавил также спокойно:— Человек двадцать.

КОММЕНТАРИИ ТОМА

В главе, которую вы только что прочли, имеются столь вопиющие пробелы, что я позволю себе прервать рассказ Эмманюэля и внести кое-какие дополнения. Предварительно я прочел следующую главу, желая убедиться, не вернулся ли Эмманюэль, как он иногда делает, к написанному ранее, чтобы дать необходимые разъяснения. Оказалось, ни слова. Можно подумать, он об этом забыл.

Но сперва, поскольку дело касается Мьетты, я хочу сказать несколько слов о ней. После всех лирических излияний Эмманюэля я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я собираюсь низвести ее с поэтического пьедестала. Но Мьетта — самая обыкновенная деревенская девушка, каких тысячи. Конечно, девушка она здоровая, крепкая и щедро наделена теми упругими округлостями, которые так восхищают Эмманюэля. Но говорить о ней как о красавице — значит, по-моему, впадать в явное преувеличение. На мой взгляд, она ничуть не красивее «Купальщицы» Ренуара на репродукции, висящей в изголовье кровати Эмманюэля, или Биргитты, стреляющей из лука, на фотографии, которая стоит на его письменном столе (довольно странно, что Эмманюэль сохранил эту фотографию после ее гнусного письма, где она извещала его о своем замужестве).

Что касается ее «ума», то я и тут не могу согласиться с Эмманюэлем. Мьетта — недоношенный ребенок, она немая от рождения, следовательно, в ее мозгу имеется некий дефект, помешавший ей научиться говорить и уже тем самым обеднивший ее представления о мире. Я вовсе не собираюсь утверждать, что Мьетта какая-то идиотка или умственно отсталая, иначе Эмманюэлю просто бы не удалось привести столько примеров, подтверждающих тонкость Мьетты в отношениях с людьми. Но от подобного замечания до утверждения, что Мьетта очень умна, о чем Эмманюэль не раз говорил мне (еще один пример сексуальной переоценки), расстояние немалое, которое я, например, преодолеть не способен. Мьетта, пусть она и не глупа, необычайно инфантильна. Она, как ребенок, воспри-

нимает действительность лишь наполовину. Все прочее — мечта и вымысел, не имеющий ровным счетом никакой связи с окружающим миром.

Вы, вероятно, решите, что я недолюбливаю Мьетту. Напротив, я ее весьма ценю. Она щедра, добра и начисто лишена эгоизма. Если бы я верил в опасные и вздорные поповские выдумки, я бы причислил эту простую девушку к лику святых, хотя ее доброта и проявлялась в области, чуждой святым девам.

На следующий день после собрания, когда Эммануэль оказался в меньшинстве, предложив свой проект многомужия, в Мальвиле все замерли в ожидании, пытаясь угадать, кого же выберет себе Мьетта в «мужья» (Мейсонье) или «партнеры» (Эммануэль). Никто из нас не смел лишний раз взглянуть на нее, как совершенно правильно подметил Эммануэль, из опасения, как бы другие не подумали, что он хочет их опередить. До чего это было не похоже на прошлый вечер, когда мы бесстыдно сверлили ее глазами!

Не знаю, как расценила сама Мьетта нашу внезапную сдержанность. Ведь у нее глаза ребенка, «прозрачные и бездонные» (цитирую Эммануэля, так он скажет о них в следующей главе). Но во время нашей второй ездки в «Пруды» верзила Пейсу — самый непосредственный из нас — заметил, заранее покорившись судьбе, что она «как пить дать» выберет Эммануэля. Это было сказано в присутствии Колена, Мейсонье и меня, когда новенькие были заняты укладкой вещей в доме «троглодита». Не без грусти мы все трое согласились, что это действительно «как пить дать».

Наступил вечер. У Эммануэля, читавшего как обычно Библию, появилось три новых ревностных слушателя, но боюсь, что мои товарищи на сей раз были не слишком внимательны. Эммануэль опирался то на одну, то на другую консоль камина. Мьетта сидела в центре, и танцующие языки пламени, бросая алые блики, освещали лицо и фигуру девушки. Я прекрасно помню тот вечер, свое ожидание, правильнее было бы сказать: наше ожидание, и то, как раздражало меня чтение Эммануэля, пусть даже проникновенное, но на редкость медлительное. Не знаю, оттого ли, что мы очень устали за день, или просто нервничали из-за неопределенности, а может, сумерки были тому причиной, но наша скованность вдруг исчезла.

И наши взгляды снова обратились к Мьетте, к ее роскошным формам, а она сидела в непринужденной позе, внимательно слушая чтение. Однако она вовсе не делала вида, что не замечает наших взглядов. Время от времени она переглядывалась с кем-нибудь из нас и улыбалась. Улыбалась каждому, никого не обделив. Эмманюэль уже упоминал о ее улыбке, и правда, в улыбке ее было что-то обаятельное, хотя улыбалась она всем одинаково.

Когда чтение закончилось, Мьетта с великолепной естественностью встала, взяла за руку Пейсу и увела с собой.

Пейсу, я думаю, вполне устраивало то обстоятельство, что огонь в камине уже догорал и в большой зале было почти темно. И он, надо полагать, был счастлив повернуться к нам спиной и скрыть от нас свою физиономию. А мы — мы так и остались сидеть у очага, онемев от изумления, а Мену тем временем зажигала наши мигалки и вполголоса бормотала, как видно, не слишком лестные замечания в адрес тех, кто остался с носом.

На этом сюрпризы не кончились. На следующий день Мьетта выбрала Колена. На третий — меня. На четвертый — Мейсонье. На пятый — Жаке. На шестой — снова Пейсу. Потом все повторилось в том же порядке, но ни разу не был выбран Эмманюэль.

У всех пропало желание смеяться, хотя ситуация становилась явно комедийной. Мы все в одинаково смешном положении. Поборник многомужества оказался обойденным. А непреклонные сторонники единобрачия бесстыдно участвовали в дележе.

Одно было очевидно: Мьетта поступала так непредумышленно, ничего не зная о наших спорах, ни с кем не советуясь. Она отдавалась нам всем лишь потому, что мы все страстно желали ее, а она была бесконечно добра. Ей самой от этой любви было ни жарко ни холодно. И удивляться тут нечему, если вспомнить, как ее приобщили к любви.

Что же касается очередности, с какой Мьетта выбирала своих партнеров, мы вскоре поняли, что это просто зависело от того порядка, в каком мы сидели за столом. Оставалась одна уму непостижимая загадка: почему Эмманюэля, к которому она относилась с обожанием, Мьетта исключала из своего выбора?

А она действительно его обожала и, не стесняясь, как ребенок, показывала это. Стоило ему войти в залу, она

смотрела только на него. Эмманюэль начинал говорить, она не сводила глаз с его губ. Он уходил — она провожала его взглядом. Без особого труда можно было себе представить, как Мьетта омывает драгоценными благовониями ноги Эмманюэля и вытирает их своими длинными волосами. Это сравнение отнюдь не означает, что и на меня подействовала религиозная атмосфера наших вечерних сборищ. Я просто цитирую малыша Колена.

Когда в третий раз настал мой черед, я решил наконец выяснить все до конца и, оказавшись наедине с Мьеттой в ее спальне, спросил ее об этом в упор. Хотя Мьетта располагала целым арсеналом жестов и богатой мимикой и понимать ее в общем не трудно (к тому же она умела писать), не всегда было легко вести с ней разговор, хотя бы потому, что нельзя было, не испытывая неловкости, упрекнуть ее, как любую другую женщину, в молчании, даже если и подозреваешь, что молчит она с умыслом. Как только я спросил у Мьетты, почему она в этот вечер не выбрала Эмманюэля, лицо ее стало каменным и она слегка качнула головой справа налево. В какой бы форме я ни возвращался к этому вопросу, ответ был все тот же.

Тут я изменил план нападения. Ведь она любит Эмманюэля? Она энергично несколько раз кивает головой, веки трепещут, губы полуоткрыты, лицо — сама радость. Я снова задаю тот же вопрос. Тогда почему же? Веки опускаются, губы сжаты, и она снова качает головой. Я встаю, вытаскиваю из кармана куртки блокнотик, в котором отмечаю на складе выдачу и возвращение инструмента, и при слабом свете мигалки пишу на листочке большими печатными буквами: «Почему ты не выбираешь Эмманюэля?» Протягиваю Мьетте карандаш и блокнот. Она кладет его на поднятые колени, покусывает кончик карандаша и очень старательно выводит: «Потому». Подумав, она даже ставит точку после «потому». Видимо, хочет дать мне понять: ответ окончательный.

Только спустя три дня, и то совершенно случайно, я понял наконец причины ее отказа, вернее, причину, поскольку причина была одна.

Эмманюэль, которого постоянно тревожила мысль о безопасности Мальвиля, решил, что три охотничьих ружья, карабин, патроны, два лука и стрелы будут храниться в нашей с ним комнате; уходя, мы закрывали ее на

замок, а ключ прятали в ящик на складе, об этом тайнике знали лишь мы с ним да еще Мейсонье.

Как-то после полудня, желая переодеться (Эмманюэль только что дал мне первый урок верховой езды, и я весь взмок от пота), я достал ключ из тайника. Взбираться по винтовой лестнице было не так уж легко, особенно человеку уставшему, и я поднимался медленно, придерживаясь левой рукой за колонну, вокруг которой вились лестничные ступени. Я поднялся до третьего этажа, остановился на площадке, чтобы отдышаться, и вдруг с изумлением заметил в глубине большой пустой залы, в которую выходили две комнаты, Мьетту: припав ухом к скважине нашей двери, она напряженно прислушивалась. А ведь я точно знал, что в комнате никого нет, так как только что расстался с Эмманюэлем у Родилки и, кроме того, собственной рукой запер дверь полтора часа назад, когда перед уроком верховой езды поднимался сюда надеть сапоги.

Ровным счетом ничего не понимая, я воскликнул: «Мьетта, что ты тут делаешь?» — и подошел к ней. Она вздрогнула, выпрямилась, покраснела и, озираясь с видом затравленного зверька, хотела было бежать. Но я удержал ее, схватив за запястье, и проговорил: «Пойми, Мьетта, слушать тут нечего, в комнате никого нет». Она посмотрела на меня с таким недоверием, что, вынув ключ из кармана, я открыл двери и втолкнул ее в комнату, хотя она и отчаянно сопротивлялась. Но как только она поняла, что в комнате действительно никого нет, она застыла на месте в полнейшем изумлении. Потом, не обращая внимания на мои вопросы, она, нахмурившись, открыла платяной шкаф и, должно быть, узнала висевшую там одежду, так как, отодвинув в сторону мои вещи, нежно погладила ладонью пиджаки Эмманюэля. Затем выдвинула один за другим все ящики комода, и тут лицо ее немного просветлело. Закончив осмотр, она вопрошающе взглянула на меня, и, поскольку я ничего не ответил, удивленный этим неожиданным обыском, она ткнула указательным пальцем правой руки сперва в диван, стоявший у окна, а потом мне в грудь. Я утвердительно кивнул. Но тут, с любопытством разглядывая комнату, она заметила на столе Эмманюэля фотографию Биргитты, стреляющей из лука; схватив ее в правую руку и глядя на меня широко открытыми глазами, она гневно тряхнула ею, указывая на изображение. Не знаю, каким образом, но, очевидно, всей

своей позой, особым наклоном головы, движением рук, мимикой она, не произнеся ни звука, задала мне вопрос, сыграла, если хотите, станцевала его. Вопрос был настолько ясен, что мне показалось, я его слышу: «Но где же тогда немка?»

Все прояснилось. В «Прудах», как вы помните, Варвурды считали, что Биргитта с нами. И Мьетта все еще пребывала в этом заблуждении. Более того, если Эмманюэль вел себя так сдержанно по отношению к ней в тот вечер, когда они возвращались в Мальвиль, значит, сердце его отдано другой. Ни разу не встретив Биргитту в замке, она вообразила, что Эмманюэль запер ее у себя в спальне, чтобы оградить от наших притязаний. То, что во всем замке одна-единственная спальня Эмманюэля — она не знала, что и я сплю там же,— запиралась на ключ, только укрепило в ней эту мысль. Она ни на секунду не задумалась над тем, что предположение ее уж слишком нереально. И, уважая ревнивую страсть Эмманюэля, именно поэтому она ни разу не выбрала его.

Как бы то ни было, в тот же вечер, после нашего сборища у камина, Мьетта исправила свою ошибку, и все мы почувствовали огромное облегчение, а я сверх того испытал еще и злорадное удовольствие, видя, как Эмманюэль покидает большую залу с толстой Библией в одной руке и с Мьеттой, если так можно выразиться, в другой.

ГЛАВА IX

Фюльбер сообщил нам две добрые вести. Во-первых, Марсель Фальвин, брат нашей Фальвины, остался в живых, так же как и Кати, старшая сестра Мьетты. И во-вторых, на большаке уцелела лавчонка Колена.

Не ради того, чтобы оказать честь нашему гостю, а просто чтобы как следует рассмотреть его удивительную физиономию, я усадил Фюльбера за столом напротив себя, отделив Мьетту от Пейсу, к превеликому неудовольствию последнего.

У нашего гостя были черные густые и мягкие волосы, без малейшего следа тонзуры на макушке. Основательно посеребренные на висках, они ниспадали благородными крупными волнами и слегка прикрывали, словно гривой или забралом шлема, высокий лоб, выгодно подчеркивая

его лепку, так же как и чудесные, полные жизни и лукавства глаза. К сожалению, глаза слегка косили, и это придавало его взгляду неспокойное и плутоватое выражение. Остренький подбородок в сочетании с этими косящими глазами еще более усиливал впечатление какой-то фальши.

Причем этим странности во внешности Фюльбера не ограничились. Взять хотя бы руки — широкие, сильные, с загрубевшими пальцами. Трудно было поверить, что эти натруженные ладони принадлежат тому же человеку, что и великолепно поставленный, слащавый голос.

Так же удивительно распределялась на его лице и теле жировая прослойка. Те выпуклости под глазами, столь симпатичные у детей, которые мы называем «щечки», а врачи именуют куда менее поэтично — жировыми буграми Биша,— так вот эти щечки, или, если угодно, жировые бугры, у Фюльбера полностью отсутствовали, а вместо них по обеим сторонам носа были трагические впадины, наводящие на мысль о последней стадии туберкулеза и придававшие ему обманчивый вид больного или аскета. Я не случайно говорю «обманчивый»: покидая Мальвиль, Фюльбер, как человек, привыкший существовать на средства прихожан, попросил меня «по-братски» (должно быть, имея в виду нашего общего небесного отца) «уступить» ему (именно так он выразился) одну из моих сорочек, так как его «совсем износилась». Несколько удивленный, что мне приходится взваливать на себя все издержки нашего новоявленного родства, я тем не менее выполнил его просьбу. И Фюльбер немедленно натянул на себя мою рубашку, обнажив при этом хорошо развитое, мускулистое, даже чуть излишне упитанное тело, которое никак не вязалось с его изможденным лицом.

Во время нашего первого обеда Фюльбер удачно играл роль человека болезненного, к тому же еще и аскета. Он сразу же поведал нам, что привык «довольствоваться малым», что у него «весьма скромные запросы» и он «давно свыкся с бедностью». Затем он пошел еще дальше в своих признаниях. Его организм подточен неизлечимым недугом, к счастью не заразным (видимо, чтобы мы не боялись заразиться). И чистосердечно сообщил нам, что стоит уже «одной ногой в могиле». Однако ел он за четверых и его прекрасный баритон, вибрирующий от избытка жизненных сил, не умолкал ни на минуту. К тому же время от времени, в перерыве между двумя кусками, он поглядывал

на свою соседку слева, и его интерес к ней, казалось, удвоился, когда он узнал, что девушка немая.

Чем больше я на него смотрел, тем больше у меня возникало сомнений. По его словам — а он так щедро, хотя и в несколько туманной форме, делился с нами воспоминаниями о своей прежней жизни,— он исколесил весь центральный район и весь юго-запад Франции, проживая то у господина кюре такого-то, то у госпожи такой-то, то у святых отцов в С., и всегда в качестве гостя. Когда разразилась катастрофа, он уже неделю гостил у милейшего кюре в Ла-Роке, и тот у него на глазах отдал богу душу.

Похоже, что у нашего друга Фюльбера не было не только собственного прихода, но даже собственного дома. На какие же доходы он существовал? В его рассказах только и было речи, что о дамах-благодетельницах, поддерживавших его в бедности (хотя он с ней и «свыкся»), осыпавших его бесконечными подарками и оспаривавших друг у друга его общество. Как мне показалось, наш неотразимый Фюльбер говорил об этом не без некоторого кокетства, сознавая силу собственных чар.

На нем был темно-серый костюм, основательно поношенный, но, когда он отчистил его от пыли, вполне опрятный, рубашка с сильно истершимся, светского покроя воротничком. И вязаный темно-серый галстук. Но главное — на шее у Фюльбера на черном шнуре висел великолепный серебряный нагрудный крест, такие кресты, если не ошибаюсь, положено носить только епископам, но отнюдь не простым священникам.

— Если ты родом из Кагора,— начал я (твердо решив, несмотря на величественные повадки Фюльбера, обращаться к нему только на «ты»),— ты, вероятно, учился в тамошней семинарии?

— Само собой разумеется,— ответил Фюльбер, прикрыв тяжелыми веками свои косящие глаза.

— Интересно, в каком году ты туда поступил?

— Вот это спросил!— с детски добродушной ухмылкой воскликнул Фюльбер, по-прежнему не поднимая век.— Да это сто лет назад было! Как видишь, я уже далеко не мальчик,— снова не без кокетства добавил он.

— А все-таки постарайся припомнить! Что ни говори, а поступление в духовную семинарию немалое событие в жизни священника.

— Еще бы! — охотно откликнулся Фюльбер своим певучим голосом. — Это незабываемая дата.

Так как я упорно молчал, деваться ему было некуда, и он начал:

— Сейчас, сейчас... Было это, видимо, в пятьдесят шестом году. Да, да, — подтверждает он и снова делает вид, что роется в памяти, — конечно же, в пятьдесят шестом году.

— Я так почему-то и подумал, — восклицаю я, просияв. — Значит, ты поступил в семинарию в том же году, что и мой приятель Серюрье.

— Видишь ли... — ответил, снисходительно улыбнувшись, Фюльбер, — нас было так много, не мог же я всех знать.

— Не так уж много народу на одном курсе. А не заметить Серюрье просто невозможно. Огненно-рыжий великан, ростом почти в два метра.

— Ах, этот! Ну конечно, теперь, после того как ты мне его описал...

Фюльбер говорил сдержанно и, очевидно, почувствовал огромное облегчение, когда я попросил его рассказать нам о Ла-Роке.

— После взрыва, — начал он печально, — мы тяжко страждали.

Я сразу же подметил это слово. Сколько я раз слышал его в устах священников или тех, кто им подражает. Для них это вроде производственного термина, и, хотя в этом слове нет ничего приятного, почему-то они испытывают явное удовлетворение, произнося его. Говорят, что молодые священники теперь избегают его употреблять. Если это действительно так, тем лучше. Слово это внушает мне отвращение каким-то оттенком самолюбования. Горе — и тем паче чужое горе — отнюдь не объект для смакования и вряд ли способно служить украшением прекрасным душам.

А Фюльбер буквально упивался, рассказывая о том, как они «страждали». Эти страдания сводились в основном к тому, что живым после катастрофы пришлось захоронить останки погибших. Мы тоже прошли через это и никогда об этом не говорили.

И так как он беспощадно излагал нам все детали, я, желая изменить тему разговора, спросил, как живут после взрыва люди в Ла-Роке.

— И хорошо и плохо,— ответил он, тряхнув головой, и обвел сидящих за столом своими прекрасными печальными глазами.— Хорошо в плане духовном и плохо в плане материальном. Должен сказать,— продолжал он, прикрыв глаза и отправляя в рот увесистый кусок ветчины,— я больше чем удовлетворен духовной стороной нашей жизни. Религиозное рвение ларокезцев выше всяких похвал.

Заметив, что нас с Мейсонье это удивило (в Ла-Роке мэрия состояла из социалистов и коммунистов), он продолжил:

— Возможно, я вас удивлю, но все жители Ла-Рока исправно посещают церковь и регулярно исповедуются.

— И чем же, по-твоему, это можно объяснить?— нахмурив брови, досадливо спросил Мейсонье.

Тот сидел по левую от меня руку, слегка повернув голову, я взглянул на него. Меня поразило суровое выражение его лица. Видимо, только что услышанное не на шутку потрясло его. Хотя День происшествия обратил в прах все надежды Мейсонье, тем не менее, видимо, для него попрежнему мир состоял из мэрий, за которые сражался союз левых сил. Я незаметно толкнул его под столом ногой. Не всегда откровенность бывает уместна. Мое недоверие к Фюльберу росло с каждой минутой. Я ничуть не сомневался в том, что он подчинил своему влиянию уцелевших ларокезцев, и этот факт тревожил меня по-настоящему.

— После взрыва,— вновь заговорил Фюльбер своим певучим, торжественным и самодовольным голосом,— люди вернулись к своему человеческому естеству и обратились к своей совести. И столь велики были физические их муки и особенно муки нравственные, что каждый вопросил себя, не явилось ли пережитое возмездием за наши заблуждения, за содеянные грехи, за то, что отвернулись мы от господа бога, забыли свой долг, в частности долг религиозный. И надо к тому сказать, что наше существование стало так зыбко, что все инстинктивно обратились к Всевышнему, прося у него защиты.

Слушая эти разглагольствования, я уже не сомневался, что Фюльбер сумел разжечь комплекс виновности у своих прихожан. И повернул их смятение себе на пользу. Я почувствовал, как закипает Тома, сидящий справа от меня. Во избежание взрыва я толкнул и его ногой под столом.

Одно я знал абсолютно твердо: никаких столкновений с Фюльбером по вопросам религии быть у нас не должно. Тем более что своими бархатными глазами, пусть даже слегка косящими, своим одухотворенным лицом аскета и глубоким голосом человека, «стоящего одной ногой в могиле» (однако всеми пальцами другой крепко вцепившегося в жизнь), Фюльбер менее чем за два часа успел обворожить всех наших женщин и произвел самое выгодное впечатление на Жаке, Пейсу и даже Колена.

После ужина мы уселись вокруг очага, и Фюльбер по собственному почину снова повел речь о материальных трудностях, испытываемых в Ла-Роке.

Вначале ларокезцы смотрели на будущее довольно оптимистично: огромный бакалейный и гастрономический магазины, к которым примыкала и лавчонка Колена, уцелели, хотя пламя и сожрало в День происшествия весь нижний город. Только потом они сообразили, что в один прекрасный день запасы истощатся и Ла-Рок уже не сможет их восполнить, поскольку все фермы, окружающие городок, были уничтожены вместе с поголовьем скота. В замке, владельцы которого жили в Париже, а теперь, безусловно, их уже не было на свете, осталось несколько свиноматок, бык, пять верховых лошадей и необходимый для них корм.

В Курсежаке, маленькой деревушке между Ла-Роком и Мальвилем — пламя частично пощадило и ее — остались в живых шесть человек, но все коровы, кроме одной, с новорожденной телочкой, погибли. Эта потеря была тем более ощутима, что в Ла-Роке есть двое маленьких детей и двенадцатилетняя девочка-сирота, ее здоровье требует особой заботы. До сих пор их кормили сгущенным молоком из запасов бакалейного магазина, но этот источник вот-вот иссякнет.

На этом Фюльбер закончил свой рассказ, не сделав никаких выводов. Мы переглянулись. И так как все молчали, волей-неволей пришлось задать мне несколько вопросов нашему гостю. От него я узнал, что ларокезцы с самого начала предполагали, что в Мальвиле кто-нибудь да остался в живых, поскольку Мальвиль, равно как и Ла-Рок и Курсежак, защищен могучим утесом. Окончательно они утвердились в своих предположениях с месяц назад, когда однажды утром услышали звон нашего колокола. Кроме того, я узнал, что для обороны в Ла-Роке имеется десяток

охотничьих ружей, «патроны в значительном количестве» и карабины.

Я весь превратился в слух, когда Фюльбер снова заговорил о верховых лошадях, но с умыслом не стал о них ничего расспрашивать. Я прекрасно знал каждую из этих лошадей. Ведь я сам продал их Лормио. Лормио были парижские промышленники, которые за колоссальные деньги приобрели полуразрушенный исторический замок, а затем ухлопали сумасшедшую сумму на его реставрацию, но проводили в нем не больше месяца в году. Однако в течение этого месяца они разыгрывали из себя владетельных сеньоров и катались верхом. Все трое сидели в седле из рук вон плохо, но все желали иметь ни больше ни меньше как по англо-арабскому скакуну. Впрочем, я честно уговаривал их купить лошадей не столь породистых. Хотя, с другой стороны, чего ради до Дня происшествия я должен был отказаться от заработка, который шел мне в руки от этих снобов. Лормио купили у меня также двух белых кобылиц, но речь о них пойдет дальше.

Я заметил, что наш словоохотливый и велеречивый гость довольно сдержанно отвечает на мои вопросы. Из чего я сделал вывод, что, расписывая материальные затруднения в Ла-Роке, он намеревается обратиться к нам с какой-то просьбой, но, несмотря на свою величайшую самоуверенность, не решается ее изложить. Я замолчал, глядя на пылающий в камине огонь.

Через минуту Фюльбер откашлялся, что, впрочем, скорее говорило не столько о его смущении, как о том, что, уже «стоя одной ногой по ту сторону жизни», он вынужден снова вернуться к ней, дабы заняться делами людскими.

— Должен признаться,— снова начал он,— меня чрезвычайно беспокоит судьба двух малышей и бедной нашей сиротки. Создалось весьма тяжелое положение, и я не вижу из него выхода. Просто не представляю, как нам удастся выходить детей без молока.

И снова нависло тягостное молчание. Все взгляды были обращены к Фюльберу, но никому не хотелось говорить.

— Я прекрасно знаю,— проникновенным баритоном продолжал Фюльбер,— то, о чем я вас сейчас попрошу, покажется вам невероятным. Но обстоятельства настолько исключительны, дары божьи распределились неравно, и, чтобы жить, вернее, чтобы просто выжить, мы должны помнить, что мы братья и обязаны помогать друг другу.

Я слушал его. И про себя думал, что все, о чем он говорит, сущая правда. И тем не менее все, что он говорил, звучало фальшиво. У меня было ощущение, что этот незнакомец, так ловко играющий на человеческих чувствах, сам этих чувств лишен.

— Только ради наших несчастных малюток в Ла-Роке я решаюсь обратиться к вам с этой просьбой. Я заметил, что у вас имеется несколько коров. Нашей благодарности не было бы границ, если бы вы могли уступить нам одну из них.

Гробовое молчание.

— Уступить?— спрашиваю я.— Уступить, говоришь? Значит, ты собираешься как-то вознаградить нас за нее?

— Откровенно говоря, нет,— высокомерно отвечает Фюльбер.— Я рассматриваю этот акт не как торговую сделку. В моих глазах это акт милосердия и помощи людям, попавшим в бедственное положение.

Вот наконец-то все встало на свои места. Если мы откажем в этой просьбе, Фюльбер вправе счесть нас бездушными злодеями.

— В таком случае,— поправляю я,— следует говорить не «уступить», а просто отдать.

Фюльбер утвердительно кивает, все мы (кроме Тома) с изумлением переглядываемся. Попросить у крестьян за просто так «отдать» корову! Вот они, горожане!

— Может быть, было бы проще,— говорю я вкрадчивым, но все же не таким медоточивым голосом, как сам Фюльбер,— взять на пропитание в Мальвиль обоих детей и сиротку?

Мьетта сидела между Фюльбером и мной, и, когда я повернулся к нему, задав этот вопрос, я заметил, какой радостью осветилось ее нежное личико, и понял, что мысль о создании у нас детского приюта привела ее в восторг. Тут же выбросив из головы весь предшествующий разговор, я улыбнулся ей, она мгновенье смотрела на меня своими чудесными наивными глазами, прозрачными и бездонными, и вернула мне мою улыбку. Вернула ее (смею сказать) сторицей, вложив в эту улыбку всю свою любовь и привязанность ко мне.

— Что касается сироты, это вполне возможно,— ответил Фюльбер,— мы просто не знаем, что с ней делать. Ей скоро тринадцать, но она такая худая и маленькая, что с виду ей и десяти не дашь, кроме того, она подвержена

сильнейшим приступам астмы, и, вообще, это на редкость трудный ребенок. Как ни печально, но при всем желании я никого не могу найти в Ла-Роке, кто взял бы на себя заботу о ней.

Облачко грусти на миг подернуло прекрасное лицо аскета. Ясно, он размышляет о человеческом эгоизме вообще и, насколько я понимаю, о нашем эгоизме в частности. Однако он продолжает развивать свою мысль и, тяжело вздохнув, говорит:

— Детей же, к сожалению, доверить вам мы не можем. С малышами не желают расставаться матери.

Он не знал заранее, есть ли у нас коровы, и не предполагал, что мы можем согласиться взять детей к себе, следовательно, не мог обсуждать этот вопрос с матерями. Вот почему я заподозрил, что здесь что-то не чисто и, видимо, не одни дети в Ла-Роке любят молоко.

Я пошел еще дальше:

— В таком случае мы готовы вместе с ребятишками принять в Мальвиль и их матерей.

Он отрицательно покачал головой.

— Это исключено. У них есть мужья и еще другие дети. Мы не вправе разбивать семьи.

Резким движением руки он как бы отбрасывает в сторону мое предложение. И умолкает. Он безжалостно загнал нас в тупик: или мы отдаем корову, или дети умирают с голоду. И он ждет.

Все то же молчание.

— Мьетта,— говорю я,— ты не уступишь на эту ночь свою комнату Фюльберу?

— Нет, нет,— довольно вяло отказывается Фюльбер,— я не хочу никого беспокоить. Меня вполне устроит охапка сена в конюшне.

Я галантно отклоняю эти евангельские намерения.

— После такой долгой дороги,— говорю я Фюльберу поднимаясь,— тебе необходимо как следует отдохнуть. А пока ты спишь, мы обсудим твою просьбу. И ответ тебе дадим завтра утром.

Он тоже встает, выпрямляется во весь рост и обводит нас строгим, испытующим взглядом. Я невозмутимо выдерживаю этот взгляд, а потом медленно поворачиваю голову.

— Мьетта,— говорю я,— эту ночь ты будешь спать с Фальвиной.

Она кивает в знак согласия. Фюльбер отказывается от дальнейших попыток загипнотизировать меня взглядом. Теперь он одаривает отеческим взором свою паству и, широко разведя в стороны ладони, спрашивает:

— В котором часу вы желаете, чтобы я отслужил мессу?

Все переглядываются. Мену предлагает в девять часов, и все соглашаются, кроме Тома и Мейсонье, они не желают принимать участие в таком разговоре.

— Значит, в девять,— величественно произносит Фюльбер,— с семи тридцати до девяти в своей комнате (я отмечаю, между прочим, это «в своей») я буду ждать тех, кто пожелает исповедоваться.

Вот так. Он забрал в свои руки и наши тела, и наши души. Теперь можно идти спать.

— Мьетта,— говорю я,— проводи Фюльбера в твою комнату. И смени простыни.

Фюльбер своим прекрасно поставленным баритоном степенно желает нам доброй ночи, обращаясь к каждому из нас по имени. Затем, энергично шагая, направляется следом за Мьеттой к двери. Уходом Мьетты больше всех огорчен малыш Колен. Сегодня Мьетта должна была бы пригласить его к себе*, а теперь это срывалось из-за отсутствия комнаты. И сейчас он провожает ревнивым взором эту пару. Припомнив некоторые многозначительные взгляды, я начинаю сомневаться, стоило ли мне просить Мьетту проводить нашего гостя. Я смотрю на часы, сейчас 10 часов 20 минут. У меня мелькает мысль — надо бы заметить, через сколько времени она вернется.

Когда за ними закрывается дверь, на всех лицах появляется явное облегчение. Фюльбер до такой степени подавлял нас своим присутствием, что выносить его далее просто не было сил. Теперь, когда он удалился, мы чувствуем себя освобожденными. Вернее, полуосвобожденными, так как, покинув нас, он оставил нам свои требования.

На лицах своих друзей я читаю не только облегчение, но целую гамму самых противоречивых чувств. Я рад, что помешал Тома и Мейсонье начать за столом религиозный спор, так как это наверняка раскололо бы Мальвиль на два лагеря и внесло бы еще большее смятение.

---

* Обратите внимание, в какой завуалированной форме, всего одной фразой, Эммануэль намекает читателю на многомужество Мьетты. *(Примечание Тома.)*

Я обвожу взглядом своих друзей. Мену, зловещая, как Горгона, вяжет, сидя на приступке камина, веки у нее опущены, губы поджаты, лицо непроницаемо. Момо, потерявший всякий интерес к происходящему после ухода Мьетты, толкает ногой полуобгоревшее полено в очаге, и мать злющим шепотом, не поднимая глаз, шипит, что он получит пинка в задницу, пускай только посмеет сжечь последние башмаки. Фальвина пыхтит и охает, она сидит, положа ногу на ногу, на колени ей сползает пышными складками ее необъятный живот, на животе покоятся могучие груди, а на них ниспадают оборки ожиревшей шеи. «Нет, такого еще никто никогда не слыхивал» — вот о чем говорят ее жалобные вздохи. К нашему пленнику Жаке (Колен в шутку называет его «сервом»), хотя он и месяца не живет у нас, я испытываю почти отцовские чувства — очевидно, потому, что он постоянно со мною, внимает каждому моему слову и с собачьей преданностью своими добрыми золотисто-карими глазами следит за каждым моим движением; и сейчас он, конечно, смотрит на меня, и мысли его бесхитростны и спокойны: если Эмманюэль отдаст корову — значит, так надо, если не отдаст — значит, не надо. На добрую, неказистую рожу Пейсу, в которую нос воткнут, словно садовый нож в картофелину, просто больно смотреть, такая на ней читается растерянность. Я угадываю, что он пытается примирить чувство зарождающегося в нем глубокого почтения к Фюльберу с потрясением перед непомерной наглостью его требований. Колен растерян не меньше, но ему лучше удается скрывать свое смятение. Несправедливо обойденный — о причине я уже говорил выше,— он то и дело нервно поглядывает на дверь.

Напротив, в глазах Тома нет и тени сомнений: Фюльбер — подлец. Он так считает, я убежден в этом, хотя совсем не понял размеров того святотатства, которое только что совершил Фюльбер с точки зрения моих товарищей, запросив корову. Посмел посягнуть на корову. На нашу самую высшую святыню после бога (а быть может, даже и выше). Для нас ценность коровы отнюдь не определяется ее рыночной стоимостью. Дело вовсе не в этом. Когда она переходит из рук в руки, мы берем за нее деньги, но прежде всего для того, чтобы выразить при помощи денежных знаков то почти религиозное уважение, которое мы к ней питаем.

Для Мейсонье Фюльбер дважды подлец: с точки зрения, так сказать, чисто теоретической — как служитель культа, насаждающий религию, этот «опиум для народа», и как человек, проявивший себя подло в мирских делах, потребовавший с безграничным цинизмом, чтобы ему бесплатно уступили корову. Я смотрю на него. Все-таки как мало он изменился со школьных времен!

Все то же длинное, похожее на лезвие ножа лицо, узкий лоб и торчащая над ним щеточка волос, серые, близко посаженные глаза, и даже привычка часто-часто моргать, когда он волнуется,— и та осталась. И так как после Происшествия он уже не имел возможности заглянуть в парикмахерскую Ла-Рока, его волосы в силу привычки так и росли торчком прямо к небу и длинное его лицо казалось от этого еще более длинным.

Дверь большой залы открылась: Мьетта. Я смотрю на часы: 10 часов 25 минут. Всего пять минут. Это, конечно, не время, даже переоценивая возможности Фюльбера (или недооценивая их). И пока Мьетта идет к нам в полумраке большой залы, слегка раскачиваясь на ходу, впрочем, без всякого кокетства, от нее исходят волны тепла и, обгоняя девушку, обволакивают нас. Спасибо, Мьетта. По лицу Колена, по улыбке, снова заигравшей на его губах, я вижу, что он успокоился. Если уж он сам, наш великий лучник, не сможет насладиться близостью Мьетты, так по крайней мере никто нынче вечером и не перебил ее у него.

Сегодня у нас первое общее собрание, на котором присутствуют все, включая трех женщин, Момо и нашего «серва». Мы явно демократизируемся. Надо будет поделиться этой мыслью с Тома.

Мену, наклонившись, раздувает огонь в камине, так как после ужина мы из экономии сразу же гасим большую керосиновую лампу, заправленную маслом, и с этой минуты единственным источником света нам служит пламя очага. Без всяких щипцов или кочерги, а только сдвигая каким-то хитрым способом поленья, Мену разжигает яркое пламя, и Мейсонье, словно он только и ждал этого сигнала, чтобы вспыхнуть самому, разражается речью:

— Как только я увидел, что к нам пожаловал кюре (в ярости он путает французские и местные слова),— я тут же понял, что он явился сюда не ради наших прекрасных глаз. И все-таки ничего подобного мне даже в голову прийти не могло. Это что же такое!— восклицает он с не-

годованием, и чувствуется, что только это восклицание и способно выразить сейчас всю необъятность случившегося. Он повторяет несколько раз: — Это что же такое, что же такое! — хлопая себя по колену ладонью.

И вне себя продолжает:

— Видите ли, пришел, расселся тут преспокойно, как будто господь бог собственной персоной, и потребовал: отдай, мол, мне коровушку за здорово живешь, как будто попросил спичку, чтобы раскурить трубку. Корову захотел, которую ты вырастил, круглый год ходил за ней, когда зимой поилка замерзает, таскал ей ведрами воду из кухни, а во сколько тебе влетел ветеринар, уж о лекарствах я и не говорю, а сколько соломы и сена ты за это время для нее заготовил, да еще трясешься, хватит ли. А сколько нервов потрепал, когда она телилась. И вот на тебе, — заключил он с силой, — приходит какой-то тип, пробормочет: господи, помилуй, господи, помилуй, да и уведет твою корову. Все равно как в средние века? Приходит поп и требует свою десятину? А почему бы тогда не ввести барщину да заодно уж и подать?

Эта безбожная речь произвела впечатление даже на верующих. В нашем краю еще помнят сеньора, и даже те, кто ходит к мессе, не очень-то доверяют священникам. Однако я молчу. Я жду. Не желаю снова оставаться в меньшинстве.

— Но ведь все-таки там дети, — говорит Колен.

— Именно, — отвечает ему Тома. — Так почему бы не отдать их в Мальвиль? Что-то с трудом верится, будто матери не согласятся расстаться с детьми, если дело идет о спасении их жизни.

Браво, Тома. Все логично, трезво, правда, пока еще несколько абстрактно и потому не совсем убедительно.

— Но ведь Фюльбер сказал, что не согласятся, — с обычным своим простодушием замечает Пейсу.

Мейсонье пожимает плечами и резко бросает:

— Мало ли чего он тут наплел.

По-моему, он слишком далеко заходит, если учесть его аудиторию. Мейсонье, пусть и не совсем прямо, сейчас сказал, что Фюльбер — обманщик. А ведь, кроме Тома и меня самого, здесь еще никто не созрел для такой суровой оценки нашего гостя. После реплики Мейсонье воцаряется долгое молчание. И я не пытаюсь прервать его.

— Чего уж там, понятно, дела у них неважные,— говорит Мену, опустив на колени вязание и разглаживая его ладонью (оно почему-то без конца закручивается в трубку).— Ведь в Ла-Роке-то их целых двадцать, и на всех только и есть что бык да пять лошадей, а от них толку чуть.

— Кто тебе мешает: возьми и отдай им свою корову,— насмешливо советует Мейсонье.

Это уж мне не нравится. Я настораживаюсь: «моя», «твоя» — понятия весьма опасные. Я вмешиваюсь:

— Я не могу согласиться с такой постановкой вопроса. Здесь нет ни коровы Мену, ни коровы Фальвины, ни лошадей Эмманюэля. Есть скот, принадлежащий Мальвилю — другими словами, всем нам. Если это кого-то не устраивает, он может забирать своих животных и отправляться отсюда.

Заявил я это очень твердо, и за моими словами последовало несколько напряженное молчание.

— А к чему ты все-таки клонишь, Эмманюэль?— минуту спустя спрашивает Колен.

— К тому, что, если нам придется выделить им корову, мы должны решать это все вместе.

Я намеренно сказал «выделить», а не «отдать». И все уловили этот оттенок.

— Надо поставить себя на их место,— вдруг говорит Фальвина, и мы с удивлением смотрим на нее: за месяц, что она живет у нас, Мену ее так заклевала, что старуха боится рот раскрыть. Подбодренная нашим вниманием, Фальвина делает глубокий вздох, словно желая прочистить путь воздуху среди своих складок жира, и добавляет:— Если у нас в Мальвиле три коровы на десять человек, а у них в Ла-Роке ни одной на двадцать, рано или поздно они все равно нам призавидуют.

— Чего повторять-то, я уже все это сказала,— язвительно обрывает ее Мену, видимо желая поставить Фальвину на место.

Мне надоела эта вечная тирания, и я в свою очередь хочу поставить на место Мену.

— Все правильно, Фальвина.

Ее отвисшие щеки отвисают еще сильнее, она поглядывает кругом, самодовольно улыбаясь.

— У нас как-то уже уперли лошадь, не в обиду коекому будет сказано,— добавляет Пейсу, глядя, как бедня-

га Жаке ежится на своем стуле.— Почему бы не спереть и корову на лугу?

— Только одну?— спрашиваю я.— А почему бы не всех трех? В Ла-Роке пять лошадей. Для этого вполне хватит пяти человек на лошадях. Они прискачут сюда, ухлопают наших часовых, и прощай коровушки!

Я рад, что сумел приплести в разговор лошадей, у меня есть на то свои соображения.

— Мы вооружены,— говорит Колен.

Я смотрю на него.

— Они тоже. И лучше, чем мы. У нас всего четыре ружья, в Ла-Роке их десять, и, как сказал Фюльбер, патронов у них вполне достаточно. Про нас, к сожалению, этого не скажешь.

Молчание. Мы со страхом думаем о войне, которая может вспыхнуть между Мальвилем и Ла-Роком.

— Я даже такого и помыслить не могу,— говорит Мену, качая головой.— Ведь люди-то там вроде как бы свои. И все они такие славные.

Я показываю ей на новеньких.

— Славные, а эти что, разве не славные? И тем не менее ты знаешь, как все получилось.— И добавляю на местном наречии:— Паршивая овца все стадо портит.

— Вот уж это точно,— поддакивает Фальвина. Она очень довольна, что может отплатить мне любезностью за любезность, а заодно, ничем не рискуя, осадить Мену. Но Мену вполне согласна со мной, как и Колен и Пейсу.

— Ты прав, Эммануэль,— говорит Мейсонье, поднимая глаза вверх и для ясности показывая пальцем в сторону донжона. И повторяет по-местному:— Паршивая овца все стадо портит.

Я вижу, как Тома, слегка наклонившись к Мейсонье, просит перевести ему на французский пословицу и вполне одобряет ее. Вот она, сила вековых стереотипов! Пословица привела к единодушию. Примирила фюльберистов с антифюльберистами. Мы только расходились в том, что стоит за словами: «паршивая овца». Для одних было ясно, кто эта овца, для других — нет.

После своей удачной реплики я не произношу больше ни слова. Мы топчемся на месте. Спор становится вялым, и я не пытаюсь его оживить. В голосах, движениях, в какой-то особой нервозности чувствуется усталость. Тем лучше, пусть как следует устанут, я жду.

Ждать приходится недолго, уже через минуту Колен спрашивает:

— Ну а сам-то ты что об этом думаешь, Эмманюэль?

— Я? Я как большинство.

Они смотрят на меня. Их озадачивает моя скромность. Всех, кроме Тома, он иронически поглядывает в мою сторону. Но он не произносит ни слова. Тома делает определенные успехи. Становится осмотрительным.

Я молчу. Как я и рассчитывал, они начинают настаивать.

— Все-таки, Эмманюэль,— говорит Пейсу,— ведь есть же у тебя какая-то мыслишка на этот счет?

— Да в общем кое-какие соображения есть. Прежде всего я считаю, что все эти россказни про голодных детей — чистый шантаж, просто хотят выманить у нас корову. (Естественно, «хотят» столь же неопределенно, как и «паршивая овца».) Вот представь, Мену,— я перехожу на местный диалект,— себя с маленьким Момо на руках, и у тебя нет ни капли молока, нечем его кормить, но ты все-таки отказываешься доверить его людям, у которых молоко есть. Мало того, у тебя хватает наглости заявить: «На кой черт мне ваше молоко. Подавайте нам с Момо корову».

Я повторил только то, что несколько минут назад уже сказал Тома. Но я сделал это куда конкретней. Та же мучка, да другие ручки. Я угодил в самую цель, это видно по их лицам.

— Так вот,— продолжаю я, помолчав немного,— когда мы приедем в Ла-Рок, мы разберемся в этой истории и спросим у матерей, что они думают. А пока, как вы сами сказали, у нас три коровы, у них — ни одной. И вы считаете, что, пользуясь этим, их могут настроить против нас (кто «может», по-прежнему неясно) и внушить им все что угодно. И как вы сами понимаете, хорошего тут ждать нечего, ведь их больше и они лучше вооружены.

Молчание.

— Что ж делать-то?— спрашивает Пейсу в полной растерянности.— Значит, Эмманюэль, по-твоему, придется им отдать корову?

Но я тут же прерываю его.

— Отдать им корову! Ну нет! Никогда в жизни! Просто отдать — это все равно что уплатить им десятину, как справедливо сказал Мейсонье. Словно они имеют на это

какое-то право! Право города жить на дармовщинку за счет деревни. Этого еще не хватало! Да сами же ларокезцы перестанут нас уважать, если мы отдадим им корову.

Глаза моих товарищей сверкают, они разделяют мое возмущение. Полнейшее единодушие между фюльберистами и антифюльберистами. Тысячи поколений крестьян солидарны сейчас со мной, они поддерживают меня, и больше того — подстрекают. Я чувствую под ногами твердую почву и смело рвусь вперед:

— Пусть ларокезцы заплатят нам за корову. И заплатят не дешево! Ведь не мы навязываемся им со своим товаром. Они сами горят желанием приобрести его.

Я останавливаюсь и нагловато подмигиваю им, будто хочу сказать: как-никак я племянник барышника, да и сам в таких делах не промах.

Потом отчеканиваю:

— За нашу корову мы попросим у них две лошади, три ружья и пятьсот патронов.

Я снова делаю паузу, чтобы дать им время оценить всю грандиозность моих требований. Они молчат. Только недоуменно переглядываются. Мои шансы на успех — впрочем, я был готов к этому — основательно поколебались.

— С ружьями — дело понятное,— говорит Колен.— В Ла-Роке их десять штук, и три из них мы заберем. Останется у них семь. У нас тоже будет семь. Значит, поровну. И с патронами ты тоже ловко придумал — у нас их всего ничего.

Молчание. Я смотрю на них. Хотя никто не желает об этом сказать, но всем им непонятен первый пункт обмена. Я здорово устал, но, сделав над собой усилие, снова начинаю:

— Конечно, вы думаете, лошадей у нас и так хватает: Малабар, Амаранта, Красотка да еще Вреднуха. И вам кажется: ну что такое лошадь, молока-то от нее не получишь. Но если взглянуть на дело трезво, то вот что выходит: Вреднуха в счет не идет. Красотка тоже, пока Вреднуха при ней. У нас остаются всего две лошади и для работы, и для поездок: Малабар и Амаранта. Уверяю вас, двух верховых лошадей на шесть здоровых мужчин явно недостаточно. Вам надо понять одну простую истину.— Я наклоняюсь вперед и отчеканиваю каждое слово:— Мы все должны научиться ездить верхом. Все! И я вам сейчас

скажу почему: до дня катастрофы у нас в деревнях парней и даже девчонок, которые не умели водить машину, вроде бы и за людей не считали. А теперь неполноценным будут считать того, кто не научится ездить верхом и у кого не будет лошади. И в мирные дни, и в дни войны. Потому что если придется воевать, то и для атаки, и в случае, если придется удирать от противника, в нашем распоряжении будет только лошадь. Лошадь теперь заменит все: и мотоцикл, и машину, и трактор, и танк. Без лошади в наше время мы — ничто. Просто пушечное мясо.

Не знаю, убедил ли я Мену и Фальвину. Но мужчин убедил. И убедил их не столько соображениями военного порядка, как соображениями престижа. Тот, у кого теперь нет лошади,— неполноценный человек, все равно как до катастрофы крестьянин, не имеющий трактора. В наших краях с этими тракторами творилось чистое безумие. Их приобретали для обработки земельного участка в десять и даже в два гектара! Влезая в долги, покупали новенький трактор в 50 лошадиных сил, но и старый в 20 лошадиных сил тоже держали в хозяйстве. Лишь бы как у соседа. Только бы не хуже, чем у людей. Пусть у тебя всего десять гектаров пахотной земли, остальное — леса.

Но именно это пережитое ранее безумие помогло мне сейчас. Мне удалось перенести престиж трактора на лошадь.

Голосуем. Даже женщины «за». Я с облегчением устало вздыхаю. Встаю, и все следуют моему примеру. Подхожу к Мейсонье и Тома, шепчу им, что хотел бы с ними поговорить у себя в комнате. Оба согласны. Тогда я снова прошу минутку тишины и говорю:

— Завтра я собираюсь присутствовать на мессе и приму причастие, если только Фюльбер мне это разрешит, поскольку исповедоваться ему я не буду.

Мое заявление действует на всех ошеломляюще. Оно вызывает гнев у одних (но они сдерживаются, у нас еще будет время потолковать об этом у меня в спальне) и откровенную радость у других. Особенно у Мену, и на то у нее есть особые соображения. В свое время она насмерть разругалась с кюре из Мальжака: тот лишил Момо святого причастия, так как он не исповедовался. Теперь она надеется, что, если Фюльбер уступит мне, сквозь брешь, мною пробитую, проскочит и ее сынок.

Я продолжаю:

— Тот, кто будет исповедоваться, должен быть очень и очень осторожен, если у него захотят что-либо узнать о Мальвиле. (По-прежнему «захотят».)

Молчание.

— А что захотят узнать?— неожиданно спрашивает Жаке, зная свою мягкотелость, он уже заранее боится сболтнуть лишнее.

— Ну к примеру, будут задавать вопросы, касающиеся оружия, которое мы имеем, а также наших запасов вина, зерна и копченостей.

— А что же отвечать, если зададут такие вопросы,— растерянно допытывается чересчур добросовестный Жаке.

— Скажешь: я, мол, не знаю. Надо спросить у Эммануэля.

— Значит, валяй так,— говорит верзила Пейсу, расплываясь в широкой улыбке и опуская свою здоровенную ручищу на крепкое плечо Жаке (эти двое удивительно поладили между собой, с тех пор как один чуть не ухлопал другого).— Чтобы не попасть впросак, отвечай на все вопросы одинаково. Фюльбер спрашивает тебя, к примеру: сын мой, виновен ли ты в плотском грехе, а ты отвечай: а я откудова знаю? Надо спросить у Эммануэля.

Все хохочут. Хохочут вместе с Пейсу — он в восторге от своей шутки,— смеются над Жаке и вместе с ним. Наш «серв» получает несколько крепких тумаков. И он в восторге. Что ни говори, а в Мальвиле совсем другая жизнь, чем в «Прудах».

Спустя несколько минут в моей комнате у нас с Тома и Мейсонье происходит довольно напряженный разговор. Оба с жаром упрекают меня в том, что я заодно с Фюльбером (докатился, о ужас, до причастия), вместо того чтобы вышвырнуть отсюда этого лжесвященника. Я излагаю занятую мной позицию: просто я боюсь вооруженной стычки с Ла-Роком, в этом все дело. И я не хочу давать Фюльберу ни малейшего повода — ни материального, ни религиозного — для этой стычки. Вот почему я уступил ему корову, постаравшись при этом ослабить боевую мощь Ла-Рока. Вот почему я принял сторону религиозного большинства. Это компромисс. Тебе бы, Мейсонье, следовало знать, что такое компромисс. В свое время твоя партия тоже ведь шла на компромиссы. Мейсонье моргает. Ну а что касается самого Фюльбера, я уверен, что он такой же священник, как и мы с вами. Ведь рыжего семинариста

по имени Серюрье я просто выдумал, а он его вспомнил! Короче говоря, это самозванец, авантюрист, человек, полностью лишенный совести. И значит, вдвойне опасный. Если бы вы с Тома послушались голоса рассудка, вы бы тоже пришли завтра к мессе. Ведь месса-то недействительная, поскольку сам Фюльбер не священник, да и причастие — сплошная фикция, ведь оно даже не освящено.

Думаю, что уже хватит их убеждать, хотя в душе я наслаждаюсь этой полной иронии ситуацией: убеждаю их присутствовать на мессе, потому что она ненастоящая.

В эту минуту кто-то скребется в дверь. Не стучится, а именно скребется. Я замираю, смотрю на своих гостей, затем на часы. Час ночи. В тишине снова раздается царапанье. Я хватаю карабин со стеллажа, который Мейсонье соорудил у стены напротив моей кровати, делаю знак Тома и Мейсонье, чтобы они тоже взяли оружие, и, отодвинув задвижку, чуть приоткрываю дверь. За дверью Мьетта.

Она знала, что застанет тут Тома, и улыбается ему, но присутствие Мейсонье ее удивляет. И она тут же пускается в разговор со мной, в нем участвуют руки, губы, глаза, брови, грудь и даже волосы. Это просто импровизация, не имеющая ничего общего с языком пальцев глухонемых, впрочем, Мьетта его никогда и не изучала, да и вряд ли бы я понял его. Рассказывает она поразительные вещи. После ужина она проводила Фюльбера в его комнату, и он попросил ее заглянуть к нему, когда в замке все уснут (она описывает большой круг рукою, что обозначает «все», а потом, сложив ладони, прижимается к ним щекой — это значит «спать»). Она предполагает, что он позвал ее, чтобы заняться любовью (следует непристойный жест). Увидев, что у меня в комнате горит свет (подняв мизинец правой руки, левой она рисует над ним в воздухе ломаную линию, обозначающую пламя), она поднялась ко мне, чтобы спросить, разрешу ли я ей пойти к нему.

— Я не могу запретить тебе этого,— говорю я наконец,— ты делаешь только то, что тебе самой хочется. Тебя никто ни в чем не неволит. Решай сама.

Хорошо, говорит она при помощи мимики, я пойду к нему из вежливости, чтобы не обидеть его. Хотя мне этого совсем не хочется.

— Значит, он тебе не нравится, Мьетта?

Она скашивает глаза, складывает вместе ладони (Фюльбер), затем прижимает правую руку к сердцу и наконец указательным пальцем этой руки машет справа налево у себя перед носом. Потом выходит и закрывает за собой дверь. Мы все трое стоим перед дверью.

— Ну и гад,— говорит Тома.

— Не надо было тебе ее отпускать,— мрачно насупив брови, говорит Мейсонье.

Я пожимаю плечами:

— Это почему же не надо? Ты прекрасно знаешь, что мы разрешаем Мьетте делать все, что она хочет.

Я смотрю на них. Оба взбешены, оба тяжко оскорблены — ни дать ни взять обманутые мужья. Нелепое, возможно, даже смешное чувство, ведь мы никогда не ревнуем ее друг к другу. Должно быть, потому не ревнуем, что все это происходит внутри нашей общины, на виду и на слуху у всех. Тут нет никакого обмана, ни даже распутства. Фюльбер не только не принадлежал к нашему клану, но он пытался обделать свои делишки с неслыханной у нас скрытностью. Тома и Мейсонье правильно заметили, что, не будь Мьетта так честна, мы бы даже не узнали об этом «адюльтере». Правда, они не произносят этого слова, от них тоже не ускользает оттенок комического, но для них это тем не менее адюльтер. Надо видеть, как они возмущены!

— Вот сволочь-то!— шипит Мейсонье, и, так как французский язык кажется ему недостаточным, он добавляет ругательство покрепче на местном диалекте.

Тома его полностью поддерживает, на сей раз он даже утратил свою невозмутимость.

— Во всяком случае,— говорит Мейсонье, и в его голосе звучит угроза,— вот увидишь, что будет, когда я расскажу завтра Пейсу и Колену, как Фюльбер провел эту ночь.

Я испуганно вскрикиваю:

— Не смей этого делать!

— Это почему же?— кричит Мейсонье.— По-твоему, они не имеют права знать о случившемся?

Конечно, имеют право, ведь они тоже обмануты. Особенно Колен, обманутый вдвойне.

— И даже Жаке я все расскажу,— не унимается Мейсонье, сжав кулаки.— «Серв» имеет те же права, что и мы.

— Хорошо, расскажи обо всем Колену,— говорю я,— но ни в коем случае не говори Пейсу. Подожди, пока

Фюльбер уедет. Ты же знаешь нашего Пейсу, он наверняка съездит ему по морде.

— И правильно сделает! — одобряет сквозь зубы Тома.

О Мьетте — ни звука, я уверен, что им даже в голову не пришло ни одной мысли, оскорбительной для девушки, напротив, они твердо верят, что коварному Фюльберу удалось сыграть на чувствах долга и гостеприимства нашей бедняжки. Мало того, я ничуть не сомневаюсь, что, если им предложить пойти разбудить Колена, Пейсу и Жаке и всем скопом броситься к Фюльберу, высадить дверь в его комнате, вышвырнуть его из Мальвиля вместе с его ослом, предложение будет тут же принято. Ни в коем случае не желая, чтоб эта сцена разыгралась в нашем замке, я мысленно с наслаждением представляю себе, как шестеро разгневанных мужей-рогоносцев летят к комнате их общей супруги и, взяв приступом дверь, колошматят ее любовника. И я начинаю хохотать.

— Смеяться тут не над чем, — строго замечает Мейсонье.

— Хватит, — говорю я, — иди спать, что сделано, то сделано.

Надо признаться, эта избитая фраза не оказывает на них ровно никакого действия, потому что Тома, хотя он и более сдержан, тоже кипит от возмущения.

— Отвратительнее всего, — продолжает Мейсонье, — что Фюльбер решил воспользоваться физическим недостатком Мьетты. Он подумал: дескать, немая, не проболтается. И ты еще хочешь, чтобы я завтра присутствовал на его службе, — добавил он, повышая голос. — И, зная все, что я теперь знаю, слушал бы чушь, которую он будет нести о грехе. Ладно, иду спать, — добавляет он, заметив, что я нетерпеливо поглядываю на дверь.

Он уходит. Я раздеваюсь с непроницаемым лицом, боясь, что Тома заговорит со мной. Я не делаю из случившегося драмы. Прежде всего Фюльбер не священник. А впрочем, почему бы и священнику не заняться любовью? И если ему приходится исподтишка обделывать свои любовные делишки — что же, ему можно только посочувствовать.

Я не таю против него зла за то, что он на одну ночь увел у нас Мьетту. Завтра я без зазрения совести использую против него этот инцидент, но из других соображений. Потому что, голову даю на отсечение, это человек недоб-

рый и несправедливый, он пришел в Мальвиль со злыми намерениями, и, чтобы побороть его, я должен восстановить наше единство. Ведь сегодня вечером оно чуть не дало трещину из-за религиозных распрей. Погасив коптилку, я тут же ложусь, но, как я и думал, уснуть мне не удается. Тома также не спит. Я слышу, как он ворочается с боку на бок на своем диване. Он попытался было заговорить со мной, но я решительно пресек эту попытку. Уж если не удастся уснуть, так хоть полежу молча.

ГЛАВА X

После завтрака, пока Фюльбер в «своей» комнате исповедовал кающихся грешников, я отправился в Родилку — оседлать Малабара и вывести его на объездку. Несмотря на все старания, мне предстояло еще положить немало сил, чтобы превратить этого битюга в приличную верховую лошадь. У него была явно понижена чувствительность рта, уздечке и шпорам он повиновался только по настроению, и порой остановить его было просто невозможно. Кроме того, исполинские размеры его спины заставляли меня расставлять ноги шире, чем я привык, и я плохо работал шенкелями. Малабар был настолько тяжел, что, водрузившись на него, я чувствовал себя средневековым рыцарем. Мне не хватало только доспехов, кстати, он их прекрасно бы выдержал. Я ничуть не сомневаюсь в том, что наш могучий жеребец вынес бы тяжесть, в два-три раза превосходящую мой вес. Он обладал поистине неисчерпаемым запасом сил, и, когда он переходил на галоп, боюсь, что со стороны мы оба выглядели несколько комично. Впрочем, пенять на неудобство этой широченной спины не приходилось. Сидеть на ней было одно удовольствие, и для долгой езды, когда скорость не имеет большого значения, Малабар — находка, особенно для чувствительных ягодиц.

В Родилке Жаке и Момо чистят стойла, и я уже собираюсь выводить Малабара, когда вдруг замечаю, что Момо подбрасывает Красотке соломы в два раза больше, чем двум другим лошадям. Не то чтобы он обижал их за счет своей фаворитки, но просто самой Красотке столько соломы ни к чему. Я даю ему хороший нагоняй и, заставив вытащить назад ровно половину подстилки, стыжу

за то, что он завел себе тут любимчиков, да и мотовство нам сейчас ни к чему. И я обещаю ему, что, если это повторится, он получит хороший пинок в зад.

Угроза эта повторяется лишь по привычке. Я перенял ее у дяди и, так же как и он, ни разу не применил на деле. Казалось бы, она должна потерять свою силу. Ничуть не бывало. Она производит на Момо все то же действие, для него это высшее выражение отцовского гнева. Хотя Момо на несколько лет старше меня, он, видимо, считает, что, получив все дядино состояние, я унаследовал от него и родительскую власть, которую дядя имел над нашим Момо.

Отчитав Момо, я, как и каждое утро, обхожу все стойла и проверяю действие автопоилок. Нам повезло: вода в Мальвиле распределяется самотеком, а если б воду подавали при помощи насоса, то после взрыва, покончившего с электричеством, мы вообще остались бы без воды. Когда я вхожу в стойло к Амаранте, она, как всегда, налетает на меня со своими ласками, толкает меня мордой в спину, тычется влажными ноздрями в затылок, захватывает зубами рукав. Будь у нее руки, она бы непременно меня пощекотала. Но в то же время уголком глаза лошадь зорко следит за курицей, проскочившей в ее владения — я забыл закрыть дверь в стойло. К счастью, я заметил это раньше, чем она успела ударить ее копытом. Амаранта получает от меня увесистый шлепок по крупу, а несчастную пернатую дуреху я отгоняю ногой к выходу.

Я бросаю взгляд и на огромного серого осла Фюльбера, вернее, на его бадью с водой, поскольку мы поместили осла в единственном у нас стойле, где нет автопоилки. Отойдя от него, я насыпаю в ладонь, или, точнее, в ложбинку на моей старой перчатке (так как я остерегаюсь сильного крючковатого клюва) несколько зерен ячменя, тотчас же — и как только он узнает, что настало его время, и где он до сих пор скрывался? — неизвестно откуда появляется наш ворон и камнем падает мне под ноги. Приняв свою любимую позу — позу старого согбенного скопидома, держащего руки за спиной, он, осторожно покружившись возле меня, взлетает, садится ко мне на левое плечо и начинает клевать мою ладонь, при этом ни на минуту не спуская с меня живого и настороженного взгляда. Трапеза его окончена, но он, как видно, не собирается покидать свой насест, даже когда я вхожу с ним в стой-

ло к Малабару. Подчеркиваю, к Малабару, а не к Амаранте — Кар-Кар никогда не появляется в ее стойле. И это снова приводит меня в изумление: откуда он знает, что Амаранта, такая ласковая с людьми, не выносит птиц?

Пока я продеваю мундштук Малабару (Кар-Кар разгуливает по его широкой спине), Мену приходит доить Чернушку; переговариваясь со мной из соседнего стойла, она тут же начинает жаловаться, что ей, мол, не помогают. Я пытаюсь ее убедить, что не могут же Фальвина с Мьеттой одновременно мыть и вытирать посуду, оставшуюся от вчерашнего ужина в большой зале, и доить корову в хлеву, к тому же корова привыкает к одним рукам. Ответом мне служит молчание, затем в соседнем стойле раздается длинная череда не слишком внятных, видимо, оскорбительных замечаний, я различаю слова «слабоват», «смазливая шлюха», «ляжки», так что не трудно догадаться, о ком идет речь.

Я молчу, и Мену уже громко излагает мне свои остальные претензии. Фальвина только при мне притворяется, что ест, как птичка, а втихаря будь здоров как наворачивает (хотелось бы знать, каким образом это ей удается, ведь все ключи у Мену), и если эта толстомясая будет так набивать себе брюхо, то, конечно, долго ей не протянуть. Здесь она, как бы между прочим, упоминает, что у нас на исходе запасы мыла и сахара и что стоило бы и того и другого попросить в Ла-Роке, когда будем отдавать им корову. Затем Мену снова возвращается к своей излюбленной теме — близкой кончине Фальвины: она заранее видит, как в один прекрасный день Фальвина, обожравшись, гибнет от удушья.

Я вывожу оседланного Малабара из стойла и, желая покончить с этой заупокойной службой, замечаю, что вот и сама Фальвина. Правда, Жаке находился все время в соседнем стойле и все слышал, но я уверен, что он ничего не передаст своей бабушке. И впрямь, Фальвина быстро-быстро катится по направлению ко мне, видно, хочет показать мне свой пыл к работе и в то же время перекинуться словечком, пока я еще не успел сесть на коня. Поздоровавшись, она сразу же начинает плакаться — и я вторю ей — на то, какая же стоит погода. С тех пор как разорвалась бомба, небо стало такое серое, ни дождичек не выпадет, ни солнышко не выглянет. Если и дальше так пойдет, всем нам конец, говорит Фальвина. Речи явно

бесполезные, ведь мы и без того об этом думаем раз по сто на день: и об исчезнувшем солнце, и о дожде, который почему-то никак не хочет пролиться на землю. Это наша неизбывная тревога с самого Дня происшествия.

В эту минуту появляется Мену, сухим тоном она отсылает Фальвину к коровам.

— Я только Чернушку подоила,— сквозь зубы цедит она.— Принцесса еще не доена, от нее надоишь всего два-три литра, остальное молоко Принцу. А я иду к Фюльберу.

Я смотрю, как удаляется это худенькое, крохотное созданье — кожа да кости,— быстро семеня большими не по росту ногами по направлению к донжону, и думаю, в каких же таких прегрешениях, не считая мелких пакостей, которые она устраивает Фальвине, может она сейчас покаяться.

А Фальвина, еще не отдышавшись после своего пробега, перехватывает мой взгляд и говорит:

— Посмотришь на Мену — в чем только душа держится. Всего в ней сорок кило, у меня-то хоть видимость есть. А у нее и тела-то не осталось. Ведь заболей она, да не дай бог, врач пропишет диету, что тогда с ней будет? Небось не молоденькая. Ведь на целых шесть лет меня старше. А в нашем-то возрасте шесть лет — ох как много. Не хотела я тебе об этом говорить, Эммануэль, но даже за время, что я тут у вас, в Мальвиле, она и то здорово сдала. На нее частенько находит прямо затмение какое-то. Попомни мои слова, она умрет через голову. Тут как-то намедни хотела с ней маленько поговорить, говорю-говорю, а она мне даже не отвечает. Нет, с головой у нее что-то неладно.

Под предлогом, что надо немного прогулять Малабара и дать ему поразмяться перед объездкой, я беру его под уздцы и отвожу в сторону от Родилки, потому что Момо слово в слово передаст матери весь наш разговор. Это самая любимая его игра. Повторяет подслушанный разговор, где приукрасит, где преувеличит, и следит при этом своими блестящими черными глазками, с какой обидой внемлет его доносам собеседник.

— Я вот от головы не помру,— продолжает Фальвина, я слушаю ее и легким хмыканьем даю это ей понять. Уже который раз каждая из старух предупреждает меня о близкой кончине другой. Поначалу меня это даже забав-

ляло. Но теперь, честно говоря, стало огорчать. Я думаю: и какое все-таки странное животное человек, с какой легкостью может он желать смерти ближнего.

Когда я поднимаюсь из ложбины, где расположена въездная башня, держа под уздцы Малабара, а слева от меня семенит запыхавшаяся Фальвина, я вижу, что Мьетта переходит подъемный мост и направляется прямо ко мне. Какое же радостное чувство испытываем мы оба, стремясь скорее преодолеть эти сорок разделяющих нас метров. На Мьетте выцветшая голубенькая кофточка, заштопанная, изрядно измятая, но чистенькая и красиво обтягивающая ее грудь, и голубая шерстяная, тоже сильно поношенная юбка, которая открывает выше колен голые, обутые в черные резиновые сапоги ноги. Сильные обнаженные руки Мьетты покраснели от холода. А ведь она у нас не мерзлячка. Я и сам, хотя и натянул кроме старых жокейских рейтуз свитер, только-только начал согреваться. Густые блестящие волосы Мьетты — бабкино наследство, только не очень черные — рассыпались волнами по плечам, она улыбается мне ласковыми, наивными глазами; она подходит, глядя на меня с любовью, целует в обе щеки и крепко прижимается всем телом, и вовсе не потому, что ей самой приятно, а для того, чтобы сделать приятное мне. И я очень признателен Мьетте, так как все мы прекрасно знаем, что девушке неведома чувственность. Я уверен, что, если бы можно было заглянуть в это простодушное сердечко, там бы обнаружилось даже некоторое удивление перед этой странной манией мужчин щупать особей противоположного пола.

Фальвина с неуклюжей деликатностью испаряется. Теперь настает очередь Малабара: Мьетта целует его и ласково треплет рукой. Не без ревности я мимоходом замечаю, что она целует Малабара в губы, такого она никогда не позволяет себе с мужчинами. Приласкав лошадь, Мьетта поворачивается ко мне, и начинается настоящая пантомима. Прежде всего она сообщает, что он (глаза бегут к носу, ладони благолепно сложены) и она (Мьетта тычет себя в грудь большим пальцем), как она и предполагала (указательный палец прижимается ко лбу), занимались любовью (следует жест, не поддающийся описанию). Ей было это противно (гримаса отвращения), потому что это происходило с ним (снова сложенные вместе ладони), но еще больше ее возмутило, что он (снова гла

за бегут к носу и складываются ладони) посмел ей предложить (руки простерты ладонями вверх) уехать вместе с ним (она шагает на месте, держась правой рукой за воображаемую руку Фюльбера) в Ла-Рок (движением руки она показывает вдаль) и там стать его служанкой (она жестами изображает, будто натирает полы и стирает белье). Какое коварство! (Кулаки уперты в бока, брови нахмурены, губы надуты, пяткой она пристукивает по земле, будто собираясь раздавить змею.) Она отказалась, конечно (Мьетта с силой крутит головой), и ушла от него (она становится вполоборота, и каждый мускул ее тела, спина, бедра выражают негодование). Правильно она поступила?

Так как я молчу, ошеломленный наглостью Фюльбера, она снова повторяет мимикой свой вопрос.

— Конечно, Мьетта, ты поступила очень правильно,— говорю я и, подсунув левую руку под гриву ее тяжелых прекрасных волос, глажу ей шею, а правой рукой слегка подталкиваю потерявшего всякое терпение Малабара. Уже убегая, Мьетта на лету чмокает меня несколько раз в щеку, слегка укусив при этом. На миг у меня мелькает мысль, что сейчас она поцелует меня в губы, как Малабара. Но нет, девушка уже спешит помогать в Родилке, откуда, словно шар, выкатывается Фальвина, направляясь к донжону, ее широченные бедра раскачиваются, как баркас в штормовую погоду.

По моему мнению, Фюльбер явно хватил через край и дело принимает для него весьма нежелательный оборот. Но я отгоняю от себя эти мысли и стараюсь сосредоточиться на своем занятии. Я вскакиваю в седло и начинаю гонять Малабара вокруг двора тремя различными аллюрами, дергая уздечку только на поворотах, и чаще всего пускаю его рысью.

Шпоры у меня без колесиков, но я тоже очень редко к ним прибегаю и, даже когда Малабар начинает артачиться, предпочитаю обходиться без хлыста, я уверен, что он не причинил бы большого вреда жеребцу, но, конечно, явился бы для него тяжким оскорблением. Проходит всего полчаса, а я уже весь обливаюсь потом, обуздывать этого исполина стоит немалых сил.

Делая очередной поворот по двору, я краешком глаза замечаю, что Жаке, размахивая руками, подавшись вперед всем своим тяжелым корпусом, идет к донжону.

Я устал, устал и Малабар. Спешившись, я отвожу жеребца в Родилку. В этом время появляется Колен, вместе со мной он входит в стойло, и, пока я снимаю седло и уздечку и кладу их на низкую переборку, он, выхватив из подстилки пучок соломы, начинает яростно, стиснув зубы, вытирать лоснящийся от пота бок коня. Я вытираю, но не с такой яростью, другой бок Малабара, поглядывая поверх его холки на нашего великого лучника, и жду, когда он взорвется. Ждать приходится недолго. Он только что видел Мейсонье и Тома. Они сейчас на складе разбирают трофеи, добытые в «Прудах», и Мейсонье поведал ему, как провела прошлую ночь Мьетта. Я слушаю его. Основная функция, которую я выполняю в Мальвиле,— это выслушивать всех. Когда он выговаривается, я советую ему держать себя в руках. Эта история начинает меня не на шутку беспокоить. Она может кончиться плохо для Фюльбера. Я уже подумываю о том, как предотвратить скандал и мирно расстаться с Фюльбером.

— А Пейсу ты не видел?— спрашиваю я наконец.

— Нет.

— Так вот, когда увидишь — молчок. Ему ни слова, понял?

Скрепя сердце он обещает мне молчать. Как раз когда я направляюсь в седельный чулан повесить уздечку и седло, огромный серый осел Фюльбера вдруг начинает реветь так, что можно оглохнуть. Малыш Колен приподнимается на цыпочки и заглядывает к нему в стойло.

— Что,— говорит он с презрением,— тварь проклятая, тоже небось считаешь себя жеребцом? Может, еще воображаешь, отродье ты ослиное, что наши лошади тебе под пару? А не хочешь ли вместе со своим хозяином искупаться у нас во рву? В ледяной водичке? Вам полезно бы задницы охладить!

Я смеюсь, больно уж ловко он сумел связать осла и хозяина воедино, но смеюсь с опаской, чтобы, чего доброго, он не привел своего плана в исполнение.

— Во всяком случае,— говорит мне несколько успокоенный своей собственной шуткой Колен,— исповедоваться к нему я не пойду.

Я хлопаю его по спине и отправляюсь в донжон переодеться.

У подъемного моста я встречаю Мену — она, по-моему, чем-то озабочена. Я останавливаюсь, она поднимает ко мне

свое крошечное, иссохшее личико мумии, на котором по-молодому сверкают глаза.

— А я как раз,— заявляет она,— хотела с тобой поговорить, Эммануэль. После исповеди Фюльбер мне сказал, что он все думает, как бы устроить так, чтобы мы могли исполнять свой религиозный долг, ведь мы, конечно, не сможем каждое воскресенье таскаться в Ла-Рок, слишком это далеко, и поэтому он решил назначить викария, который бы постоянно жил у нас в Мальвиле.

Я смотрю на нее, открыв от изумления рот.

— Я так и подумала,— говорит Мену,— что ты не очень обрадуешься.

Обрадуешься! Мягко сказано. Я прекрасно понимаю, что кроется за этой заботой о наших душах. И как минуту назад малыш Колен, я, хотя и совсем по другой причине, тоже скрежещу зубами, поднимаясь по винтовой лестнице в донжон. Когда я выхожу на площадку второго этажа, одна из дверей распахивается и собственной персоной в сопровождении Пейсу появляется Фюльбер. Жаке стоит на лестничной площадке в ожидании своей очереди.

— Здравствуй, Эммануэль,— с некоторым холодком в голосе говорит Фюльбер. (Он уже знает, что я не намерен исповедоваться.) — Не зайдешь ли ко мне в комнату на несколько минут перед мессой?

— Лучше я подожду тебя в своей. Первая комната направо, на третьем этаже.

— Хорошо,— отвечает Фюльбер.

Его величественность ничуть не пострадала от моей мелкой грубости, движением, полным изящества, он делает знак Жаке, чтобы тот вошел.

— Пейсу,— говорю я сразу же,— можешь оказать мне одну услугу?

— С полным удовольствием,— отвечает он.

— Тогда отправляйся-ка в соседнюю с моей комнату и почисти ружья... Надрай их до блеска, верзила! Задача ясна? Выполняй!

Военный язык приходится ему по душе, он кивает. А я радуюсь, понятно, не оттого, что ружья будут вычищенными, они и так в полном порядке, радуюсь, что Пейсу до самой мессы будет выключен из игры. Обстоятельства и без того слишком осложнились, не хватало только, чтобы Пейсу выкинул какой-нибудь номер.

В спальне я стаскиваю с себя свитер и майку и остаюсь голым до пояса, я собираюсь принарядиться. Я предельно взвинчен и озабочен. Ни о чем не могу думать, кроме предстоящего разговора, и тоже пытаюсь внушить себе, что нечего распускать нервы. Я открываю шкаф и, чтобы хоть немного отвлечься, выбираю себе рубашку по вкусу. Рубашки — моя гордость. У меня их, наверное, дюжины две: шерстяные, и хлопчатобумажные, и поплиновые. Мену сама следит за ними. Да разве она может их доверить «кому-нибудь другому», их тут же застирают или припалят утюгом.

Едва я успеваю застегнуться, как в дверь стучат. Это Фюльбер. Должно быть, он мигом спровадил Жаке. Он входит в комнату, взгляд его устремляется к открытым полкам, и здесь-то как раз и происходит эпизод с «братской просьбой», о которой я уже говорил.

Хотя и без особого восторга, я выполняю его просьбу. У каждого свои слабости: мне лично дороги мои сорочки. Впрочем, сорочка Фюльбера — а он утверждает, что она у него единственная,— и впрямь изношена до крайности. Он так и просиял от счастья, когда, сбросив старую, тут же с наслаждением натянул на себя мою рубашку. Я раньше упоминал о том, как меня поразил вид раздетого Фюльбера, уж слишком резкий контраст представляло его изможденное лицо с дородным телом. Не то чтобы у Фюльбера были плохо развиты мускулы, нет, они просто были покрыты жиром, как у некоторых боксеров. В общем, все в нем было обманчиво, даже внешность.

Я любезно предлагаю ему кресло у моего письменного стола, впрочем, эта любезность отнюдь не бескорыстная, ибо сам я сажусь на диван, спиной к окну, и таким образом мое лицо оказывается в полумраке.

— Спасибо за рубашку, Эмманюэль,— говорит он с достоинством.

Он застегивает воротничок и теперь, завязывая свой серый трикотажный галстук, строго смотрит на меня и, видимо, для того, чтобы смягчить суровость взгляда, улыбается своей пленительной улыбкой. Фюльбер не только не глуп, но, я бы даже сказал, тонок. Он, конечно, чувствует, что не все идет гладко, что планы его могут рухнуть и что сам я представляю для него прямую опасность: взгляд его, словно миноискатель, осторожно прощупывает мою персону.

— Разреши задать тебе несколько вопросов,— начинает он.

— Задавай.

— Мне говорили в Ла-Роке, что ты был довольно равнодушен к вопросам религии.

— Так оно и есть. Был довольно равнодушен.

— И что жизнь ты вел не слишком примерную.

Он снова смягчает свои слова легкой улыбкой, но я не улыбаюсь ему в ответ.

— Что именно подразумевают в Ла-Роке под жизнью не слишком примерной?

— Не слишком примерной в отношении женщин...

Я размышляю. Я не хочу оставить без ответа подобную фразу. Но мне не хочется также ни ссоры, ни разрыва. Я стараюсь найти наиболее обтекаемую форму.

— Ты сам знаешь, Фюльбер,— говорю я наконец,— как трудно здоровым мужчинам, таким, как мы с тобой, обойтись без женщины.

При этих словах я поднимаю веки и в упор смотрю на него. Но он и бровью не ведет. Сидит с невозмутимым видом. Тут Фюльбер, пожалуй, переигрывает. Ведь явившись к нам под личиной человека, «пораженного недугом» и «одной ногой стоящего уже в могиле», он должен был бы по крайней мере протестовать против того, что я приписал ему крепкое здоровье. Впрочем, это доказывает, что в моей фразе его поразило вовсе не это.

Вдруг он улыбается.

— Может быть, тебе, Эммануэль, неприятно отвечать на мои вопросы? Я совсем не собираюсь насильно тебя исповедовать.

И снова я не возвращаю ему улыбку. Я говорю серьезно, почти холодно:

— Нет, почему же неприятно.

Тогда он продолжает.

— Когда в последний раз ты исповедовался и принимал святое причастие?

— Лет пятнадцати.

— Говорят, что ты всегда находился под сильным влиянием своего дяди — протестанта.

Нет, голыми руками нас не возьмешь! Я решительно отбрасываю его подозрения в ереси.

— Да, дядя мой был протестант. Но я-то католик.

— Однако ты равнодушен к вопросам религии.

— Да, еще недавно был равнодушен.

— А разве теперь что-то изменилось?

— Ты сам должен это знать.

Мой голос звучит не слишком любезно, и прекрасные косые глаза моргают раз, другой.

— Эмманюэль,— говорит он мне своим глубоким баритоном,— если ты имеешь в виду вечерние чтения Ветхого Завета, я должен тебе сказать, что, отдавая должное чистоте твоих помыслов, я все же не думаю, что они приносят большую пользу твоим товарищам.

— Они сами просили, чтобы я им читал.

— Знаю,— говорит он с раздражением.

Я молчу, я не собираюсь даже что-либо выяснять. Впрочем, мне все и так ясно.

— Я предполагаю,— продолжает Фюльбер,— обучить викария в Ла-Роке и с твоего позволения назначить его к вам, в Мальвиль.

Я смотрю на него с наигранным изумлением.

— Послушай, Фюльбер, разве ты вправе рукоположить священника? Ведь ты же не епископ...

Он смиренно опускает веки.

— В обычное время, конечно, нет. Но обстоятельства сейчас исключительные. Церковь не должна исчезнуть. Что будет, если я завтра умру? Не оставив преемника?

Это уже сверхнаглость, и ее нельзя спустить ему с рук. Я улыбаюсь.

— Конечно,— говорю я с улыбкой.— Конечно, понятно, что в наше время невозможно пройти курс в семинарии Кагора, вместе с Серюрье или даже без него.

И тут он выдал себя. Хотя ничто не дрогнуло в его лице, но в глазах на долю секунды вспыхнул огонек. Опасный он человек. В этом мелькнувшем взгляде я прочел жестокость и с трудом сдерживаемую ярость. Я понял также, что Фюльбер не из трусливых. И что на более открытый вызов он не преминул бы нанести ответный удар.

— Ты разве не знаешь,— начал он с потрясающим спокойствием,— что у первых христиан священник избирался на сходе верующих. Исходя из этого, я могу поставить кандидатуру своего избранника на голосование верующих Ла-Рока.

— Мальвиля,— поправляю я сухим тоном.— Верующих Мальвиля, поскольку служить-то он будет у нас.

Мое замечание он даже не удостаивает ответом. Фюльбер предпочитает вновь свернуть на более надежную почву.

— Я вижу,— начинает он прежним внушительным тоном,— ты не пришел на исповедь. Ты что же, принципиальный противник исповеди?

Снова ловушка для еретика!

— Отнюдь нет,— говорю я решительно.— Но мне лично исповедь не приносит облегчения.

— Не приносит облегчения?— восклицает он с великолепно разыгранным негодованием.

— Нет.

Так как я замолкаю, он спрашивает уже более мягким тоном:

— Объяснись, пожалуйста.

— Дело в том, что, даже если мне и отпущены грехи, я все равно продолжаю упрекать себя в них.

Впрочем, это действительно так. Я обладаю той несчастной разновидностью совести, что не поддается очищению. В моей памяти в малейших подробностях еще живот случай, происшедший пятнадцать лет назад, которой заставил меня убедиться, как, действительно, мало значит для моей совести исповедь. Поступок очень жестокий, хотя было в нем еще много ребяческого, но угрызения совести почти с прежней силой продолжают мучить меня еще и посейчас, спустя столько лет.

Пока я думаю об этом, Фюльбер распространяется о своем ремесле, и получается у него это весьма вдохновенно. Когда светский человек берется играть роль священника, он так в нее входит, что может заткнуть за пояс истинных священнослужителей. Фюльбер, должно быть, заметил, что я его почти не слушаю, потому что довольно резко оборвал свою речь.

— Короче,— говорит он,— исповедоваться ты не хочешь?

— Не хочу.

— В таком случае, не знаю, смогу ли я допустить тебя к святому причастию.

— А почему бы и нет?

— Ты же знаешь,— говорит он, и в его сладком голосе звучит металл,— что получить причастие можно, только находясь в состоянии благодати.

— Не могу с тобой согласиться. Ведь столько священ-

ников Франции до катастрофы ни в коей мере не связывали причастие с исповедью.

— Они заблуждались! — резко обрывает меня Фюльбер.

Он поджимает губы, глаза у него блестят. Я поражен. Как ни странно, но этот самозванец к тому же еще и фанатик. Интегрист-чародей.

Он неверно истолковывает мое молчание.

— Не проси меня о невозможном, Эмманюэль. Как могу я дать тебе причастие, коль ты не сподобился благодати.

— В таком случае, — говорю я, глядя на него в упор, — будем просить Всевышнего, чтобы он ниспослал ее нам. Мне, прожившему столько лет без причастия, и тебе после нынешней ночи в Мальвиле.

Я не могу разрешить себе нанести ему более жестокий удар, иначе бы мы пришли к открытому разрыву. Но как видно, Фюльбер обладает железной выдержкой, так как он и бровью не ведет, ничего не отвечает. Казалось, он вообще ничего не слышал. Но уже само это молчание обвиняет его: если б он хотел доказать свою невиновность, ему следовало бы потребовать у меня объяснений, что я имею в виду, говоря о «ночи в Мальвиле».

— Попросим, Эмманюэль, — помолчав немного, говорит он своим глубоким баритоном. — У нас всегда найдется, о чем просить бога. И совсем особо я помолюсь, чтобы ты согласился принять в Мальвиле аббата, которого я тебе пришлю.

— Это зависит не от меня одного, — отвечаю я с живостью, — это наше общее дело. У нас все решения принимаются большинством голосов, и, если я оказываюсь в меньшинстве, мне остается только подчиниться.

— Знаю, знаю, — говорит он вставая. И, взглянув на часы, добавляет: — Пора уже подумать о мессе...

Я тоже встаю и сообщаю ему, что бы мы хотели получить взамен коровы, которую отдаем в Ла-Рок. Когда я упоминаю о ружьях, он бросает взгляд на стеллажи, установленные в моей спальне Мейсонье, его, кажется, удивляет, что они пусты, но он ничего не говорит. Но зато его так и передергивает, когда я упоминаю о лошадях.

— Две! — восклицает он, встрепенувшись всем телом. — Целых две! Ну, это уж слишком. Напрасно ты во-

ображаешь, что меня не интересуют лошади. Я даже начал брать у Армана уроки верховой езды.

Я хорошо знаю Армана. В замке он считался человеком на все руки. Впрочем, своими руками он гораздо охотнее загребал чаевые, чем работал. К тому же это скрытный тип и страшный грубиян. Мне-то прекрасно известно, что́ он за наездник. В замке было три мерина и две кобылы, но Лормио (а в их отсутствие Арман) предпочитали ездить только на меринах. Они боялись кобыл, и я-то знал почему.

— Я прошу у тебя двух кобыл. На них никто и никогда не ездил верхом. В свое время я отговаривал Лормио покупать их. Арман, очевидно, тебе об этом говорил. Впрочем, если ты хочешь оставить их себе, оставляй, дело хозяйское.

— И все-таки,— говорит Фюльбер,— отдать тебе сразу двух, и за одну корову? Да к тому же еще и ружья! Я нахожу условия чересчур суровыми.

Я суховато отвечаю:

— Это условия не мои, это условия Мальвиля, их единогласно приняли вчёра вечером, и я не могу что-либо изменить. Если они тебя не устраивают, сделка не состоится.

Этот самый избитый торгашеский прием производит впечатление на Фюльбера, он начинает колебаться. По выражению его физиономии я уже знаю, что он уступит. Он не хочет возвращаться в Ла-Рок с пустыми руками. Но вот он снова поглядывает на часы, извиняется и быстрым шагом выходит из комнаты.

Оставшись один, я решаю, как говорила моя мать, «навести красоту», отправляясь к мессе (ох, эти сцены с накручиванием локонов моим сестрицам!). Я сбрасываю сапоги, стягиваю жокейские рейтузы и надеваю, как называет ее Мену, свою «похоронную пару». Ведь в деревне в наши времена на одну свадьбу приходилось пять похорон. Еще до взрыва наш край постепенно вымирал.

Я внушаю себе, что все идет как следует. Баланс в общем-то положительный. Я расстроил планы противника, сумел противостоять напору Фюльбера — не пожелал исповедоваться и, однако, не сомневаюсь, что Фюльбер не лишит меня, так же как и моих товарищей, причастия. А это значит, что у нас в Мальвиле я помешал ему связать причастие и инквизиторский допрос, именно это, должно быть, он учинил в Ла-Роке. Я лишил его того, что в

его нечистых руках могло бы стать грозной силой, и сделал это так, чтобы он не смог изобразить меня в Ла-Роке безбожником и еретиком.

И все, что я придумал с коровой, можно смело записать в мой актив. Еще большее значение, чем ружья, имели лошади. А я был уверен, что Фюльбер отдаст мне этих кобыл. При всей своей смекалке, будучи горожанином, он начисто лишен врожденного крестьянского инстинкта. Он не понимает, что, получив от него этих кобыл, теперь, при наличии в нашем хозяйстве жеребца, я сосредоточиваю в своих руках все коневодство. Он не понимает, что рано или поздно, когда три его мерина околеют, он полностью будет зависеть от меня. Он уступает мне монополию на коневодство во времена, когда лошадь становится важнейшей рабочей и военной силой. Таким образом он ослабляет свои позиции. А я свои укрепляю. Теперь бояться мне больше нечего. Нечего — кроме измены. Коль скоро все мы люди, заранее отмахиваться от этого нельзя. Я не могу забыть огонь ненависти, вспыхнувший в его глазах, когда я намекнул на его ложь и на ночь, проведенную с Мьеттой. Я вынужден был играть в открытую, выложить на стол карты, ответить на его шантаж контршантажом. Знаю я подобный сорт людей: Фюльбер никогда мне этого не простит.

Я уже завязываю галстук, когда в комнату вихрем врывается Тома. На его лице нет и следа обычной невозмутимости. Он весь багровый, и его бьет дрожь. Ни слова не говоря, он проносится по комнате, открывает шкаф, хватает дождевик, мотоциклетную каску, темные очки, перчатки и счетчик Гейгера.

— Куда это ты снаряжаешься?

— Барометр падает. Должно быть, пойдет дождь.

— Не может быть,— говорю я, бросая взгляд на небо. Потом подхожу к окну и распахиваю его настежь. Небо, и без того серое, сегодня утром помрачнело еще сильнее, но главное — в воздухе действительно была разлита та особая неподвижность и ожидание чего-то, обычно предшествующие дождю. С самого первого дня после взрыва мы так ждали этого дождя, что я уже перестал верить, что он когда-нибудь прольется. Я оборачиваюсь и смотрю на Тома.

— Но снаряжение-то тебе на что?

— Необходимо проверить, не радиоактивный ли выпадет дождь.

Я смотрю на него и, когда вновь обретаю дар речи, с трудом узнаю собственный голос, так глухо он звучит:

— Неужели он может быть радиоактивным? Теперь, через столько времени после взрыва?..

— Безусловно. Если в стратосфере есть радиоактивная пыль, дождем прибьет ее к земле, и знай, это будет для нас катастрофой, пойми это хорошенько. Радиоактивный дождь отравит воду в водонапорной башне, погубит наши посевы да и самих нас, если мы попадем под этот дождь. И в результате — смерть через несколько месяцев или несколько лет. Причем смерть медленная.

Я гляжу на него, и у меня сразу пересыхает во рту. Я не представлял себе этого ужаса. Как и все в Мальвиле, я жаждал дождя, надеясь, что он возродит землю. Но мне в голову не приходило, что дождь, выпавший через два месяца после катастрофы, может завершить содеянное бомбой.

Что может быть страшнее этого медленного умирания? Я весь оцепенел от страха. Я не верю в дьявола, но, если б я в него верил, я бы, конечно, решил, что человек — порождение самого сатаны.

— Нам надо бы собраться всем вместе,— словно в горячке, продолжает Тома.— И главное — необходимо предупредить всех, чтобы никто не выходил из дому, когда начнется дождь.

— Но сейчас все как раз собрались в большой зале. Там начинается месса.

— Тогда идем скорее туда,— говорит Тома,— пока еще не пошел дождь.

Хотя в эту минуту менее всего уместна ирония, у меня тем не менее мелькает мысль: волей-неволей Тома придется присутствовать на богослужении. Тома выходит из комнаты, я следую за ним, на первом же лестничном марше я вспоминаю, что не зашел за Пейсу в соседнюю комнату, где он чистит оружие. Я возвращаюсь, объясняю ему в двух словах положение дел, и мы, перепрыгивая через несколько ступеней, спускаемся вниз. На первом этаже, пробегая мимо склада, я зову Мейсонье, но его не видно, Тома, должно быть, уже предупредил его и они ушли вместе. Мы что есть мочи несемся через двор, влетаем в большую залу — дверь в нее открыта, и Пейсу с силой захлопывает ее.

Окинув взглядом залу, я сразу вижу, что все уже в сборе, но я дошел до такой степени растерянности, что

считаю и пересчитываю людей и у меня почему-то получается одиннадцать человек, то есть на одного человека больше. Пересчитываю еще раз и только тут соображаю, что одиннадцатый — Фюльбер.

Тома им уже все сказал. Они бледны и молча смотрят на меня. Фюльбер тоже сильно побледнел, насколько я могу судить. Так как он стоит спиной к двум забранным в свинцовый переплет окнам. Между Фюльбером и нами — монастырский стол, и за ним два ряда стульев. Не знаю, кому в голову пришла мысль водрузить по обе стороны маленького переносного алтаря две огромные свечи, вынутые из подсвечников в подвале, знаю только — мысль весьма удачная: за окном с каждой минутой становится все темнее и в комнату проникает только мутный свет, предвещающий конец всего.

В первом ряду рядом с Мьеттой есть свободное место, и я уже направляюсь туда, как вдруг замечаю, что моим соседом слева будет Момо, и даже в эту минуту безумной тревоги тут же срабатывает условный рефлекс. Я сворачиваю на полпути и сажусь во втором ряду, рядом с Мейсонье. Пейсу, вошедший в залу следом за мной, опускается на стул, только что отвергнутый мною. Должно быть, ни одну мессу на свете не слушали менее внимательно, хотя баритон Фюльбера звучал так певуче и так хорош был наш Жаке в роли служки. Взоры, полные страха и надежды, обращены, увы, не к творящему богослужение, а к темным окнам за его спиной. Вдруг меня прошиб пот и пронзила мысль: а наши животные? У нас хоть есть вино. А что станут пить они, если вода в водонапорной башне окажется радиоактивной? А что будет с землей? Как знать, сколько времени понадобится, чтобы радиоактивная пыль, проникнувшая с дождем глубоко в почву, перестала отравлять посевы? Удивительно, что Тома никогда не делился со мной своими опасениями. В каком обманчивом спокойствии, благодаря его молчанию, жили мы со дня катастрофы. Я считал, что единственным реальным для нас бедствием может оказаться непрекращающаяся засуха, от которой иссякнут реки, превратятся в пыль луга и нивы. Но я никогда не мог и помыслить, что дождь, которого мы с такой надеждой, так упорно и долго ждали, может принести нам смерть.

Почувствовав, что Мейсонье повернулся ко мне, я взглянул на него и в глазах его прочел даже не ужас, а

великое удивление. О, как я его понимал! Мы, крестьяне, даже если нам и случается иной раз поворчать на дождливую погоду, к примеру, когда выдастся гнилой июнь и испортит нам сенокос, мы прекрасно знаем, что дождь — наш друг, наш великий помощник, что без него не будет ни хлеба, ни плодов, ни рек, ни пастбищ. Теперь нам приходилось постигать непостижимое: дождь может убить то, что существовало благодаря ему.

Мы с Мейсонье переводим взгляд на окно. Тьма за окном сгущается все сильнее, если это только возможно. Голый, почерневший холм, возвышающийся по ту сторону Рюны, с тремя искореженными деревьями на вершине, сильно смахивает сейчас на Голгофу, окутанную зловещим мраком. Мутный свет, падающий откуда-то сзади, подчеркивает его контуры, окруженные белесоватой полоской. Сам холм сейчас на фоне почерневшего неба кажется антрацитовым, а над ним громоздятся друг на друга мрачные темно-лиловые тучи, местами прорезанные более светлыми дорожками. Вся эта картина меняется с каждой минутой, становясь все более грозной. Она словно гипнотизирует меня. Странная вещь: я не молюсь, не внимаю словам Фюльбера, и тем не менее в моем сознании устанавливается некая связь между тем, что я вижу, и тем, о чем поет его голос. В этот миг я забываю, что передо мною Фюльбер — проходимец и лжец, для меня существует лишь его голос. Мессу, хотя я и не слушаю ее, этот лжесвященник служит великолепно, проникновенно, с большим подъемом. Я догадываюсь, о чем он говорит, ведь две тысячи лет назад люди переживали тот же ужас, что и мы, не сводящие сейчас глаз с окон.

Тучи опустились так низко, стали такими черными, что я больше не сомневаюсь: сейчас хлынет дождь. Минуты, предшествующие этому, кажутся бесконечными. А дождь не спешит! И ожидание превращается в настоящую пытку, я хочу теперь только одного: пусть поскорее разразится ливень, пусть покончит с нами, пусть счетчик Гейгера вынесет нам смертный приговор. Я бросаю взгляд на Мейсонье, сидящего рядом со мной, и замечаю, как на его худой шее судорожно ходит кадык. Это он старается проглотить слюну. Его стул сдвинут немного назад из общего ряда, и я вижу профиль Тома, он с трудом расклеивает губы, облизывает их кончиком языка. Я знаю, что не только у меня струится сейчас между лопаток пот, не толь-

ко у меня взмокли ладони. Мы все в одинаковом состоянии! Будь у меня более тонкий нюх, возможно, я уловил бы запах страха, его испарений, исходящий от одиннадцати застывших в ужасе тел.

До меня по-прежнему доносится только голос Фюльбера, какие-то разрозненные звуки, но не слова, я даже не пытаюсь вникнуть в их смысл. Зато я слышу, как этот прекрасный, полный благородства баритон тускнеет и начинает слегка дрожать. Выходит, что и с Фюльбером у нас есть что-то общее. Мне хочется сказать ему об этом. Сказать, что все его происки, ненависть уже ни к чему, что сейчас хлынет смертоносный дождь и примирит всех нас, мы даже знаем, какой ценой.

И когда наконец дождь разразился,— дождь, которого мы так напряженно ждали, было это, как удар электрического тока, мы все так и подскочили на месте, а затем воцарилась мертвая тишина. Голос Фюльбера утратил свой бархатный тембр, теперь он звучит хрипло, с надрывом, но все-таки звучит. Фюльберу не откажешь в мужестве и даже, как мне сейчас кажется, в вере. Позже у меня возникла мысль, что этот самозванец и лжец, в сущности, не нашел истинного своего призвания. Дождь с такой яростью, с такой неистовой и злобной силой колотит по стеклам, что временами голос Фюльбера исчезает в страшном грохоте. И хотя этот голос стал теперь совсем слабым, я изо всех сил цепляюсь за него, он словно нить, за которую я держусь в темноте. А тьма все сгущается, кажется, еще никогда не было такого мрака, хотя оба окна побелели от дождя.

Зала освещается только двумя толстыми свечами, и пламя их колеблет ветер, прорывающийся сквозь щели в окнах и дверях. На стену падает гигантская тень Фюльбера. Слабые отблески огня скользят по острию шпаг и алебард, все так зловеще, так мрачно, и мне чудится, будто все мы, одиннадцать человек, забились в какую-то катакомбу, надеясь укрыться от смерти, а она надвигается на нас сверху, надвигается со всех сторон.

На минуту дождь притих, и тут же первая молния озарила оба окна, а где-то восточнее холма за Рюной прокатились раскаты грома. Я слишком хорошо знаю, что такое грозы в наших местах: они здесь бывают страшны. С самого детства я испытываю перед ними ужас. С возрастом я не то чтобы научился побеждать, но хотя бы скрывать

тот страх, который они мне внушают. Сегодня к этому страху добавляется еще и чисто физиологическое потрясение, я с трудом сдерживаю дрожь в руках, глядя, как зигзаги молний освещают обрубки деревьев на вершине холма, и дожидаясь, когда следом за ними раздастся оглушительный громовой раскат. К тому же поднимается сумасшедший ветер. Восточный ветер. Я всегда узнавал его по звуку, напоминавшему крик совы, когда он врывался под своды полуразрушенной мансарды, где я думал устроить себе контору, по тому, как, налетая, сотрясал он окна и двери и завывал в расщелинах скал. Дождь вновь припустил, и ветер с яростью швырял о стекла тысячи водяных стрел. Казалось, еще немного — и они разлетятся на куски. Все это происходит за спиной Фюльбера, он, должно быть, испытывает то же самое, что и я, потому что временами втягивает шею и весь напрягается, будто только и ждет, что ураган обрушится на него. Однако между двумя ужасающими раскатами грома я снова слышу его голос.

Я засовываю руки в карманы и выпрямляюсь на стуле. Молнии приближаются методично и жестоко. Гром уже не грохочет, он просто взрывается. Можно подумать, что Мальвиль стал мишенью, молнии обстреливают его круговым огнем, словно снаряды на артиллерийских стрельбищах, прежде чем прямым попаданием уничтожить цель. На черном небе больше не видно ни белых зигзагов, ни ломаных стрел, ни сумасшедших росчерков, но в окнах то и дело вспыхивает ослепительное холодное сияние, а затем следует сухой мощный удар, похожий на разрыв снаряда. Сила грохота уже непереносима для человеческого слуха. Хочется сорваться с места, бежать, укрыться от него. В короткие мгновения затишья между двумя разрывами, когда гроза вроде бы ослабевает, по-прежнему звучит голос Фюльбера, и, хотя теперь он стал слабым, дрожит и меркнет, как пламя свечи, он — единственная моя опора. Вдруг поблизости я слышу какое-то странное глухое завывание и, хотя я тяну вперед шею, не сразу понимаю, что это скулит Момо, уткнувшись большой косматой головой в высохшую грудь матери, а Мену, стараясь защитить сына, прикрывает его своими костлявыми руками.

Неожиданно гроза отступает. Вдали еще слышатся раскаты грома, но по сравнению с прежними они даже как-то успокаивают. Они откатываются все дальше, и все боль-

ше становятся интервалы между ними. Зато порывы шквального ветра теперь достигают апогея. Я чувствую, как кто-то касается моего локтя. Это Мейсонье. Я оборачиваюсь и, словно загипнотизированный, не могу оторвать глаз от его шеи, где тяжело ходит кадык, пока он пытается мне что-то сказать. Но я не улавливаю ни единого звука. Наклонившись, я прижимаюсь ухом к его губам и только тогда понимаю: Тома хочет с тобой поговорить. Так как я стою — мы повторяем все действия сидящих в первом ряду, следом за ними мы встаем и садимся,— я прохожу перед Мейсонье, приближаюсь к Тома и трогаю его за плечо. Он снова с трудом разлепляет губы, и я вижу, как густая, запекшаяся слюна тянется между ними, пока он говорит: когда дождь кончится, пойду посмотрю... Я киваю в знак согласия и возвращаюсь на свое место. Почему он решил мне сообщить об этом? Это, по-моему, само собой разумеется. Ведь я же не рассчитываю, что он полезет под дождь, который (теперь я ничуть в том не сомневаюсь) несет с собой гибельную пыль. Поднявшийся во мне ужас настолько велик, что он убивает малейшую надежду.

Хотя в оба окна по-прежнему хлещет ливень, но странно, теперь они кажутся светлее, чем раньше. Можно подумать, нас освещает пелена дождя. Потому что за окнами нет ничего, кроме этой белесой пелены. У меня мелькает идиотская мысль, что, наверно, ливневые потоки затопили маленькую долины Рюны и поднявшаяся вода подмыла нашу скалу. С удивлением я замечаю — хотя и не могу осознать, что происходит,— как стакан с вином и тарелка с нарезанными ломтиками хлеба переходят из рук в руки. Вижу, как Тома и Мейсонье отпивают по очереди из стакана, и лишь тогда по мере собственного удивления догадываюсь, что они, сами того не ведая, только что приняли святое причастие. Конечно, им было так приятно смочить глотком вина пересохший рот. Но они, видимо, тоже поняли, какое вино им довелось пригубить, и тут же спохватились, так как вместе со стаканом передают мне и тарелку с хлебом, до которого даже не дотронулись.

Я вижу, что рядом со мной стоит Жаке. Он понимает, в какое затруднительное положение я попал, и берет у меня из рук тарелку. Заметив, с какой жадностью я подношу к губам стакан, он наклоняется и шепчет: оставь мне. И правильно делает, иначе я бы осушил стакан до дна. Затем он протягивает мне тарелку с хлебом, и, кроме

своего куска, я быстрым движением прихватываю кусочки своих безбожных соседей. Защитный рефлекс чистой воды: Фюльбер не должен знать, что двое из нас отказались от причастия. Я сам поражен, что этот рефлекс сработал, и тем, что я способен думать, как сгладить всякие шероховатости в будущем, хотя для меня все мы — люди без будущего. Жаке подметил мой ловкий маневр, но от ока Фюльбера нас скрыла широкая спина Фальвины. Парень укоризненно смотрит на меня своими наивными глазами. Но я знаю, меня он не выдаст.

Все происходящее как-то расплывается передо мной, точно и мой мозг тоже затопило дождем, который колотит сейчас в окна. У меня странное ощущение, будто когда-то я уже пережил все это и все уже видел в своем прежнем существовании: и тусклый свет, и потоки воды, обрушившиеся на стекла, и боевые трофеи на стене, и стоящего передо мной Фюльбера, и его изможденное, едва различимое в полумраке лицо, и тяжелый монастырский стол, и всех нас, скучившихся вокруг,— безмолвных, придавленных, пожираемых страхом людей. Горсточку людей, затерянных в пустынном мире. Жаке возвращается на место, Фюльбер возобновляет свой речитатив, а Момо теперь, когда улеглась буря, перестал скулить, но, проглотив причастие, снова спрятал голову под прикрытие маленьких сильных рук Мену. Удивительно знакомо мне все это: и две горящие свечи, и едва освещенная мутным светом, проникающим в окна, огромная средневековая зала, напоминающая склеп, где мы, словно тени, стережем свои будущие могилы. Вдруг лучик света коснулся черных роскошных волос Мьетты, и я со сжавшимся сердцем подумал, что ее появление у нас оказалось бесполезным, ей уже не возродить жизни на земле.

Месса заканчивается, а дождь все еще налетает волнами. И пусть порывы ветра с буйной силой сотрясают окна, ему все равно не удастся их распахнуть, разве только загонит в щели чуточку воды и она растечется лужицей по каменному полу, до самой стены. Мне приходит в голову мысль попросить Тома провести над этой лужицей счетчиком Гейгера. Но я тут же стараюсь ее отогнать. У меня такое чувство, что, если поторопить события, приговор будет наверняка смертельным. Все это, конечно, чистое суеверие — я и сам прекрасно это сознаю. И тем не менее я предпочитаю ждать. Как же я малодушен сейчас,

на какие пустяки обращаю внимание, хотя всю жизнь считал мужество одной из главных своих добродетелей. Таким образом, отодвинув от себя час, в который нам должна открыться истина, я поворачиваюсь к Мену и спокойным голосом прошу ее разжечь огонь в камине. Я вполне владею своим голосом и внешне держусь, хотя совсем ослабел духом. Впрочем, огонь нам сейчас необходим. Я замечаю вслух, что, как только мы начали двигаться, в зале почему-то стало нестерпимо холодно.

Пламя вспыхивает. Онемевшие от ужаса люди жмутся к огню. Проходит несколько минут, теперь я просто не в силах выносить их молчания. Я вскакиваю с места. И начинаю шагать взад-вперед по комнате. Мои каучуковые подошвы бесшумно скользят по каменным плитам пола. Стекла сплошь залиты водой, и мне кажется, будто весь Мальвиль затоплен и скоро всплывет, как ковчег. Живущий во мне страх настолько велик, что я бегу от самого себя, погружаясь в какой-то бред, мне без конца лезут в голову мысли, одна нелепее другой. Например, мне хочется схватить висящую на стене шпагу и поскорее свести счеты с жизнью, пронзив себя насквозь, как римский император.

Вдруг шквальный ветер налетает с новой силой, а дождь прекращается. Я, должно быть, уже привык к шуму дождевых потоков, и теперь мне кажется, что сразу же наступает тишина, хотя по-прежнему неистово завывает ветер и под его порывами все так же дребезжат стекла. Я вижу, как мои товарищи, сбившись в кучу у очага, в едином порыве поворачиваются к окну, со стороны, в полумгле кажется, что у всех этих голов одно общее тело. Тома отделяется от группы и безмолвно, даже не взглянув на меня, подходит к стулу, где оставил свою экипировку, медленными уверенными движениями он натягивает плащ, тщательно застегивает его, а потом надевает огромные темные очки, каску и перчатки. Он берет счетчик Гейгера — наушники, настроенные на «прием», висят у него на шее — и направляется к двери. Темные очки, закрывающие всю верхнюю часть лица, делают его похожим на робота, выполняющего техническое задание и меньше всего думающего о людях. Дождевик у него черный, каска и сапоги тоже.

Я снова подхожу к товарищам, теснящимся у огня. Рядом с ними мне легче ждать. Огонь в очаге горит нeяр-

ким пламенем. Бережливость Мену проявляется даже сейчас. И мы жмемся к этому жалкому огоньку, повернувшись спинами к двери, откуда должен прийти наш приговор. Мену сидит на приступке камина, Момо — напротив матери, по другую сторону очага. Он без конца переводит взгляд с матери на меня. Не знаю, что представляется ему под словами «радиоактивные осадки». Но чтобы испугаться, ему вовсе не обязательно понимать, что происходит, он верит мне и своей матери. Лицо у него белое как бумага. Его черные блестящие глазки устремлены в одну точку, а все тело сотрясает мелкая дрожь. Вероятно, точно так же дрожали бы и все остальные, если бы не научились сдерживать себя.

Моих приятелей даже нельзя назвать бледными, они просто пепельно-серые. Я оказываюсь между Мейсонье и Пейсу и замечаю, что все мы как бы одеревенели, стоим сгорбившись, опустив головы, глубоко засунув руки в карманы. Рядом с Пейсу — Фюльбер, его изможденное лицо сейчас тоже землистого цвета, он прикрыл веки и стал похож на покойника. Фальвина и Жаке шевелят губами. Вероятно, молятся. Малыш Колен переминается с ноги на ногу, он зевает, тяжело дышит и без конца глотает слюну. Одна Мьетта безмятежна. Если она и волнуется, то только за нас, а вовсе не за себя. Она обводит взглядом наши свинцовые лица и, как бы желая подбодрить, каждого одаривает чуть заметной улыбкой.

Наконец ветер стихает, и, так как мы по-прежнему молчим и не слышно больше даже потрескивания тлеющих дров, в зале вновь воцаряется гнетущая, мертвая тишина. Все последующее произошло столь молниеносно, что я не успел удержать в памяти переход из одного состояния в другое. Впрочем, переходная стадия описывается только в книгах. В жизни обычно ее не бывает. Дверь в большую залу с грохотом распахивается, на пороге появляется Тома, с безумными глазами, без каски, без очков. Не своим голосом он торжествующе кричит: «Нет! Ничего нет!»

Не слишком-то вразумительно, однако мы тут же все понимаем. Нас подхватывает стремительный порыв. Мы мчимся к выходу и с трудом все вместе протискиваемся в дверь. В ту самую минуту, когда мы вылетаем во двор, снова начинается дождь. Он льет как из ведра, но нам теперь все нипочем! Кроме Фюльбера — он укрывается под

навесом над маленькой дверью, ведущей в башню, и Фальвины с Мену, которые присоединились к нему,— мы все с хохотом и криками носимся под дождем. Впрочем, дождь теплый или, может, он кажется нам теплым. Он стекает с нас ручьями, от него сверкают потемневшие столетние плиты, выстилающие двор замка.

С навесных бойниц галереи, опоясывающей донжон, дождь маленькими каскадами скатывается по старым каменным стенам и ближе к земле сливается с потоками ливня. Небо сейчас белесовато-розовое. Уже более двух месяцев мы не видели таких ясных небес. Вдруг Мьетта срывает с себя блузку и подставляет дождю обнаженную крепкую грудь, не знающую лифчика. Она хохочет, приплясывает на месте, извивается, размахивает руками, воздевает к небу гриву своих волос, приподняв их ладонью. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы бы тоже пустились в пляс, если бы не была утрачена традиция первожителей. Мы не танцуем, но зато мы разглагольствуем.

— Вот увидишь,— кричит Пейсу,— как поднимутся теперь наши хлеба.

— Тут одним дождем не обойдешься,— возражает ему Мейсонье,— неужели ты воображаешь, что у нас не вылезло ни одного стебелька потому только, что не было дождя? Ведь растению нужно еще и солнце.

— Ну, солнца теперь будет хоть отбавляй,— кричит Пейсу, его надежды не знают отныне границ.— После такого дождя непременно вылезет и солнышко. Ведь правда, Жаке?— добавляет он, влепив тому хорошего тумака.

Жаке соглашается, что, конечно, теперь появится и солнышко, но ответить Пейсу таким же тумаком не осмеливается.

— Давно пора!— говорит наш великий лучник.— Уже июнь, а холодина стоит, как в марте.

Дождь льет с прежней силой. Прошли первые минуты безумия, и мы все попрятались в укрытие, только Мьетта все так же пляшет и поет под дождем, хотя ни единого звука не вылетает из ее уст, да в нескольких шагах от нее неподвижно застыл Момо: он задрал голову, подставил лицо дождю и ловит его широко открытым ртом. Мену непрестанно зовет его в укрытие, она кричит, что он непременно простудится (опасение, раз и навсегда опровергнутое самой жизнью: у ее сына здоровье железное), и грозится, что, если он сейчас же не вернется к ней, она под-

даст ему коленом под задницу. Но мать от него метрах в двадцати, подъемный мост опущен, если что, он в мгновение ока смоется от нее, и, уверенный в безнаказанности, он даже не отвечает. Он с наслаждением глотает дождь, не спуская при этом глаз с обнаженной груди Мьетты.

— Да оставь ты его в покое,— вмешивается Пейсу.— Чего там, вода ему только на пользу пойдет. Не в обиду тебе будь сказано, Мену, но от сынка твоего несет, чисто как от козла. Ты знаешь, он меня даже стеснял во время мессы, бедняга.

— А все потому, что сама-то я не могу его мыть,— говорит Мену.— Ты ведь знаешь, какая в нем силища.

— Черт возьми!— восклицает Пейсу. Он тут же конфузливо осекается и бросает виноватый взгляд в сторону Фюльбера, но к тому как раз привязалась Фальвина с расспросами о своем брате-сапожнике и внучке Кати.— Вспомнил! Этот грязнуля не мылся с того самого дня, когда меня...— он хочет сказать, когда меня чуть не ухлопали, но вовремя спохватывается. К несчастью, мы все поняли. В том числе и Жаке. И на его добродушное лицо просто невозможно смотреть.

— Иди сейчас же сюда...— кричит Мену в бессильной злобе.

— Все равно ведь не дозовешься,— разумно замечает Мейсонье.— Никуда он не пойдет, пока Мьетта плещется под душем. Смотри, как твой Момо на нее глазеет.

Мы все хохочем, кроме Мену. Она же, как и все крестьянки, испытывает священный ужас перед наготой.

— Ну и бесстыжая девка, растряслась тут своими телесами,— шипит она.

— Да брось ты,— говорит Колен,— эти телеса тут знают все, кроме Момо.— Говоря это, он нагло смотрит на Фюльбера.

Но Фюльбер, поглощенный разговором с Фальвиной, ничего не слышит или, может быть, делает вид, что не слышит. И так как Пейсу бросает на меня недоуменный взгляд, мои опасения тут же просыпаются, и, чтобы не вышло какой истории, я решаю ускорить отъезд святого отца. Я кричу Мьетте, что хватит, и велю Мену разжечь жаркий огонь в камине. Надеюсь, вы догадываетесь, если речь идет о том, как бы обсушить ее сына, Мену сразу забывает о вечной своей экономии! Мьетта присоединяет-

ся к нам, держа в руках кофточку, она вся еще во власти своей простодушной игры, и, как я подметил, Фюльбер не только не смеет прочесть ей нотацию, он даже боится взглянуть в ее сторону. Момо тащится следом за нею в дом, он в восторге оттого, что сейчас будет глазеть, как Мьетта сушит над пламенем очага свою кофточку. Что она и делает. И мы все в своих курящихся одеждах, окружив девушку, тоже жаримся на этом адском огне, и наши мысли сейчас, так по крайней мере мне кажется, подвластны одному лишь дьяволу.

Мьетта смотрит на меня, кладет свою кофточку на низенький стул, ей нужно освободить руки, чтобы поговорить со мной. У нее есть ко мне какие-то претензии, и она отводит меня в сторону, чтобы высказать их. Я послушно следую за ней. Тут начинается мимическая сцена. Она нарочно заняла место для меня рядом с собой, но она заметила (Мьетта обводит пальцем вокруг глаз), что я, уже направившись к стулу, взял да и улизнул (жест руки, изображающий скользящее движение рыбы, которая в последнюю минуту меняет направление) во второй ряд.

Я успокаиваю девушку. Вовсе не от нее я убежал, а от Момо, и она, конечно, догадывается, по какой причине. Да, конечно, от Момо... (большим и указательным пальцами она зажимает нос). И она не знает, почему от него так разит. Я сообщаю ей, с какими трудностями мы сталкиваемся всякий раз, прежде чем его вымыть, о том, как мы неожиданно нападаем на него, причем численный перевес должен быть на нашей стороне, с какой хитростью Момо расстраивает все наши планы и какой недюжинной силой он обладает. Мьетта внимательно слушает меня, временами она смеется. И вдруг, уперев руки в бока, она решительно на меня смотрит и, тряхнув своей черной гривой, заявляет, что отныне сама будет купать Момо.

Тут ко мне подходит Мену и шепотом спрашивает, надо ли чего подавать «людям» на стол. (Эта лицемерка, конечно, прежде всего думает, как бы подкормить сынка, а не то вдруг он «схватит простуду».) Я тоже шепотом отвечаю, что лучше бы обождать, когда уедет кюре, а пока пусть приготовит ему пакет с караваем и килограмм масла для ларокезцев.

Все обитатели Мальвиля собрались у въезда в замок, когда Фюльбер, дождавшись просвета на небе, отбывал в обратный путь, скромно восседая на своем сером осле.

Прощание получилось не слишком дружное. Мейсонье и Тома были холодны как лед. Колен почти дерзок. А я, внешне хоть и расстилался перед ним, однако не допускал никакой фамильярности. Только наши старухи по-прежнему были полны к нему искренней симпатии в эту минуту, да, пожалуй, еще Пейсу и Жаке. Мьетта даже не подошла к нему, а сам Фюльбер, казалось, просто забыл о существовании девушки. Шагах в двадцати от нас она ведет оживленную беседу с Момо. Стоит она ко мне спиной, и я не вижу ее мимики, но то, что она говорит, должно быть, вызывает у Момо самое отчаянное сопротивление, до меня доносятся его обычные дурацкие вопли, выражающие отказ. Однако он не собирается удирать от нее, что не преминул бы сделать, будь на ее месте я или мать. Он стоит перед ней как вкопанный, лицо его будто окаменело, и точно зачарованный смотрит на девушку. Мне кажется, что постепенно он начинает сдаваться.

С самой любезной улыбкой я возвращаю Фюльберу затвор от его ружья. Он вкладывает его на место, перекидывает ремень через плечо. Держится все так же спокойно и с достоинством. Прежде чем тронуть с места своего осла, он говорит мне со вздохом, что с огромной печалью еще раз измерил степень человеческого милосердия и вынужден принять условия, на которых я отдаю корову Ла-Року, хотя он и находит их кабальными. Я отвечаю, что это отнюдь не мои собственные условия, однако он воспринимает мои слова весьма скептически, и, поразмыслив, я перестаю этому удивляться, ведь сам-то он принял мои условия, не посоветовавшись со своей паствой. Я не решаюсь сказать со «своими согражданами», поскольку он говорил о приходе, а не о коммуне. Совершенно ясно одно: в Ла-Роке он все решает самолично и пытается приписать и мне ту же власть в Мальвиле.

Затем Фюльбер произносит небольшую речь, придавая провиденциальный характер выпавшему дождю — ведь он принес нам спасение, хотя мы ждали от него гибели. При этом он то и дело простирает руки перед собою и воздевает их затем к небесам — жест, который я недолюбливал и у папы Павла VI, у Фюльбера же он казался мне просто карикатурным. В то же время он обводит нас, одного за другим, своими прекрасными, чуть косящими глазами. Он оценил отношение каждого к себе, и он ничего не забудет.

Закончив речь, он призвал нас помолиться, напомнил, что собирается прислать в Мальвиль викария, благословил нас и отправился восвояси. Колен тут же дерзко захлопнул за ним тяжелую кованую дверь. Я прошипел: «тс-с» и ничего не добавил. Впрочем, времени на это у меня все равно бы не оказалось, как раз в этот момент раздался испуганный вопль Мену:

— Куда делся Момо?

— Чего психовать-то, не пропадет твой Момо,— говорит Пейсу.

— Ведь он только что был тут,— замечаю я,— разговаривал с Мьеттой у Родилки.

Мену тут же летит в Родилку, она зовет: Момо! Момо! В Родилке пусто.

— Подожди-ка,— говорит Колен,— да я ведь сейчас видел, как они с Мьеттой бежали по подъемному мосту. Еще держались за руки. Как ребятишки.

— Ой, господи!— кричит Мену и уже несется к мосту, и мы пускаемся следом за ней, нам и смешно, и интересно. Оказывается, мы все любим этого дуралея и сейчас, разделившись на группы, переворошим весь замок: кто спустится в подвал, кто заглянет в дровяной сарай, кто обойдет весь нижний этаж. Внезапно у меня в памяти всплывает разговор с Мьеттой, и я кричу:

— Стой, Мену. Могу тебе точно сказать, где твой сын.

Я тяну ее к донжону. Все следуют за нами. На втором этаже я пересекаю огромную лестничную площадку, останавливаюсь у двери ванной комнаты, толкаю ее, но она заперта изнутри. Я молочу кулаком по тяжелой дубовой створке.

— Момо! Ты здесь?

— Атитись атипока! (Отвяжись ради бога!),— раздается голос Момо.

— Он там с Мьеттой и выйдет нескоро.

— Но что она там с ним делает?— в ужасе кричит Мену.

— Да уж ничего плохого,— отвечает Пейсу и гогочет во всю глотку, хлопая себя по ляжкам, и тут же поддает по спине Жаке. Все мы вторим ему. Удивительно, но к Момо никто не ревнует. Не надо путать: Момо свой, наш, мальвильский. И он имеет право на свою долю. Пусть даже с некоторым опозданием. Но он один из нас. А это совсем другое дело.

— Она его моет,— поясняю я.— Она собиралась это сделать.

— Ты бы должен был предупредить меня,— с упреком говорит Мену.— Тогда бы я не упустила его.

Мы все возмущены. Не будет же она мешать Мьетте. Ведь от Момо разит, как от козла. Для всех будет только лучше, если она его отмоет. Ведь от такой грязищи и заболеть недолго. Еще вшей разведет.

— Уж чего-чего, а вшей у него никогда не было,— утверждает уязвленная Мену.

Ну, это она уж загнула, мы тоже не слепые. Старуха топчется перед закрытой дверью, худенькая, еще больше побледневшая, она мечется взад-вперед, словно наседка, потерявшая цыпленка. При нас она не решается звать Момо или ломиться в дверь ванной. Впрочем, она понимает, что сын все равно не откроет ей.

— И всё эти чужаки проклятые,— яростно заводит она.— Как увидела их, сразу же поняла: ничего путного не жди. Ведь нехристи и есть нехристи, и нечего их совать под одну крышу с христианами.

Фальвина уже боязливо втянула голову в плечи. Сейчас виноватой во всем окажется она, старуха в этом не сомневается. Жаке — парень, ему Мену ничего не скажет. За Мьетту мы все горой стоим. А вот на нее, разнесчастную, посыплются все шишки.

— Нехристи?— строго спрашиваю я.— С чего ты это взяла? Ведь Фальвина — твоя родственница, твоя двоюродная сестра.

— Нечего сказать, хорошенькая сестричка,— цедит Мену сквозь зубы.

— На себя посмотри. Ты-то чем лучше,— говорю я на местном наречии.— Пойди-ка приготовь чистое белье для своего Момо. Да дала бы уж ему и новые штаны, старые-то совсем разлезлись.

Когда двери ванной наконец распахиваются, Колен прибегает за мной (я снова перетащил в свою спальню оружие и как раз расставлял его), чтобы я поглядел, что за спектакль там разыгрывается.

Наш Момо сидит на ивовой плетеной табуретке, завернувшись в купальный халат с желтыми и голубыми разводами — я купил его себе незадолго до Происшествия. Глаза его сияют, он улыбается во весь рот, блистая невиданной чистотой, а позади стоит Мьетта, любуясь творением

рук своих. Момо неузнаваем. Даже цвет лица у него какой-то другой, гораздо светлей, щеки чисто выбриты, волосы подстрижены и красиво причесаны, и сам он восседает на своем троне, благоухающий, как куртизанка, так как Мьетта вылила на него полфлакона духов «Шанель», забытых в шкафу Биргиттой.

Спустя некоторое время в моей комнате состоялся важный разговор с Пейсу и Коленом; выйдя от меня, они отправились к Рюне. Пейсу, видимо, надеялся по наивности, что хлеба взойдут сразу же после ливня. А вернее, его погнал туда извечный инстинкт хлебопашца, хоть просто пойти взглянуть на посевы после бури. Я же отправляюсь в большую залу. И дождь оказался безвредным, и Фюльбер наконец покинул нас, поэтому настроение у меня великолепное и я насвистываю, подходя к Мену. Она одна в комнате и стоит ко мне спиной, уткнувшись носом в кастрюли.

— Чем угощать будешь, Мену? — спрашиваю я.

Она отвечает, не глядя на меня:

— Потерпи, увидишь!

Затем поворачивается ко мне, тихонько вскрикивает, и глаза ее наполняются слезами.

— Я приняла тебя за дядю.

Я взволнованно смотрю на нее.

— Ну совсем как он вошел в комнату, насвистывая, и точно так же спросил: «Чем угощать будешь, Мену?» Даже голос такой. А для меня это что-нибудь да значит.

Она продолжает:

— А какой твой дядя был весельчак, Эммануэль! А как любил жизнь. Совсем как ты. Даже немножко слишком, — добавляет она задумчиво. На склоне лет Мену стала чересчур добродетельной и к тому же возненавидела женщин.

— Полно тебе, — говорю я, читая ее мысли. — На Мьетту ты не сердись. Ведь она не отняла у тебя сына, она просто начистила его до блеска.

— Верно, верно, — соглашается она.

И вдруг меня захлестывает волна счастья — видимо, оттого, что Мену вспомнила дядю и сравнила нас. А так как в последний месяц из-за постоянных ее нападок на Фальвину мне приходилось довольно часто и грубовато ее одергивать, я широко улыбаюсь ей. Она так и тает от моей улыбки, но поспешно отворачивается. Этой упрямой ста-

рухе сердца не занимать, хотя оно и упрятано слишком глубоко.

— Я вот что хотела у тебя спросить, Эммануэль,— говорит она, немного помолчав,— почему ты отказался от исповеди? Все-таки благое дело — исповедь. Она очищает.

Меньше всего я склонен устраивать с Мену теологическую дискуссию. Я подхожу к очагу, засовываю руки в карманы. Сегодня совсем необычный день. Я все еще в «похоронной паре». И полон чувства собственного достоинства, не менее, чем сам Фюльбер.

— А могу я задать тебе один вопрос относительно исповеди?

— Конечно,— говорит Мену,— ты же знаешь, нам друг друга стесняться нечего.— Ее крохотное, обтянутое иссохшей кожей личико поднято ко мне, худая шея вытянута. Мену и впрямь неправдоподобно мала, а с годами и совсем ссохлась. Но зато что за взгляд! Живой, мудрый, независимый!

— Когда ты исповедовалась, ты покаялась Фюльберу, что цепляешься к Фальвине?

— Я!— восклицает она с негодованием.— Я цепляюсь к ней? Ну и сказанул! Да может, я сразу в рай попаду, оттого что изо дня в день терплю рядом с собой эту жирную тушу.

Она смотрит на меня и продолжает, словно ее внезапно охватывают угрызения совести:

— Если я и цепляюсь к кому, так вовсе уж не к Фальвине. А к своему Момо. Ведь я им так помыкаю, и ему ох как не сладко живется, я, бывает, даже луплю его, беднягу, это в его-то возрасте. А потом меня совесть мучает, в этом я и покаялась Фюльберу.— И добавляет сурово:— Но такое не прощается!

Я начинаю хохотать.

— Что тут смешного?— с обидой в голосе спрашивает она.

В это время в комнату вваливается верзила Пейсу вместе с Коленом, их приход помешал мне ответить. Но при случае я ей все-таки скажу, как сегодняшняя исповедь очистила ее от грехов.

Вечером после ужина, за которым нам всем так привольно дышалось, потому что убрался Фюльбер, мы устроили пленарное заседание.

Во-первых, было решено ни под каким видом не допускать к себе викария, которого назначит Фюльбер. Во-вторых, по предложению Пейсу и Колена, при общем одобрении присутствующих я был избран аббатом Мальвиля.

КОММЕНТАРИИ ТОМА

Я только что прочитал предыдущую главу и даже, для очистки совести, следующую: Эмманюэль больше ни словом не обмолвился об общем собрании, которое по предложению Пейсу и Колена единогласно избрало его аббатом Мальвиля.

Полагаю, читатель несколько удивится. Я тоже. Да и как же тут не удивиться: собранию, продолжавшемуся целых три часа, уделено всего три строчки.

Странно и другое: как это вдруг Пейсу и Колен додумались до такого предложения, а главное, как получилось, что и мы с Мейсонье проголосовали «за».

Отвечу на оба вопроса.

1. Вот какой разговор произошел у нас с Коленом на другой день после выборов — я зашел на склад расспросить его обо всем, пока Эмманюэль объезжал Малабара во внешнем дворе. Вот что сказал мне Колен слово в слово:

— Ясное дело, это Эмманюэль попросил нас с Пейсу предложить, чтобы его избрали аббатом Мальвиля. А как же иначе. Неужто мы бы сами до этого додумались? Мы зашли к нему после купанья Момо, а он возьми и попроси нас об этом. Ну, а его доводы ты и сам знаешь. Их вчера целый вечер пережевывали. Во-первых, никак нельзя допустить, чтобы Фюльбер посадил нам на шею своего шпика. Во-вторых, зачем обижать тех мальвильцев, которые хотят слушать мессу. А не то может получиться, что половина обитателей замка будет по воскресеньям ходить в Ла-Рок, а половина оставаться в Мальвиле. Вот и конец нашему единству, и пойдут у нас раздоры да споры.

— Послушай,— возразил я.— Ты же знаешь, что Эмманюэль в бога не верит.

— Э-э! Как сказать,— отозвался Колен.— Насчет этого я далеко не так уверен. Больше того, сдается мне, что Эмманюэля всегда тянуло к религии. Только ему хотелось быть самому себе духовником.

Тут он поглядел на меня, растянув рот в своей знаменитой ухмылке, и добавил:

— Ну что ж, он своего и добился!

На мой взгляд, в словах Колена следует различать два момента: самый *факт* (Эммануэль тайком договорился с Пейсу и Коленом, чтобы они предложили его в аббаты) и *комментарии* к нему (Эммануэля всегда тянуло к религии).

Факт, подтвержденный Пейсу, неопровержим. О комментариях можно и поспорить. Лично я, во всяком случае, предпочел бы поспорить.

2. Во время выборов голосовали не один раз, а дважды. Результаты первого голосования: «за» — Пейсу, Колен, Жаке, Фальвина и Мьетта. Мы с Мейсонье воздержались.

Эммануэль был страшно нами возмущен. Мы, мол, сами не ведаем, что творим. Подрываем его позиции. Фюльбер изобразит наш поступок в Ла-Роке как выражение недоверия ему, Эммануэлю. Короче говоря, мы подтачиваем единство Мальвиля! И если мы и дальше будем упорствовать, он отказывается быть аббатом Мальвиля, пусть сюда приходит ставленник Фюльбера, а он умывает руки.

Мягко выражаясь, Эммануэль оказал на нас некоторое давление. А так как все вокруг уже смотрели на нас как на змей, которых Мальвиль отогрел у себя на груди, да и мы видели, что Эммануэль глубоко оскорблен и в самом деле способен махнуть на все рукой, мы в конце концов уступили. Мы объявили первое голосование недействительным, предложили провести второе и во второй раз уже проголосовали «за».

Вот каким образом Эммануэль добился единогласного избрания.

ГЛАВА XI

В ночь после моего избрания хлынул проливной дождь, да такой, что я несколько часов пролежал без сна: шум мне не мешал, но я испытывал прямо-таки личную благодарность к разбушевавшейся стихии. Я всегда любил живую воду, но любил как бы между прочим. К тому, что дает тебе жизнь, привыкаешь. Начинаешь думать, что так, мол, и должно быть. А это неверно, ничто не дано нам навечно, все может исчезнуть. И оттого, что я понял это и вновь увидел воду, мне казалось, будто я выздоравливаю после тяжелой болезни.

Спальней я выбрал себе комнату, высокое окно которой выходит на восток — на Рюну и на очаровательный замок Рузи по ту сторону долины, теперь он лежит в развалинах. В это самое окно наутро ворвалось солнце и разбудило меня. Я глазам своим не поверил. А ведь Пейсу так и предрекал: все хорошее приходит разом. Я вскочил, растормошил Тома, и мы вдвоем уставились на наше первое за эти два месяца солнце.

Мне вспомнилось, как когда-то мы, члены Братства, совершили ночью велосипедную прогулку за двадцать пять километров, а потом добрых полтора часа взбирались на самую высокую вершину нашего департамента (512 *м*), чтобы увидеть восход солнца. В пятнадцать лет такие вылазки проделываешь с азартом, но потом с годами азарт выдыхается. А жаль! Надо жить с бо́льшим смаком. Ведь жизнь не такая уж долгая.

— Пошли,— сказал я Тома.— Оседлаем лошадей, поглядим на солнце с Пужада.

Так мы и сделали, не умывшись и не позавтракав. Холм Пужад над Мальжаком — самый высокий в наших краях. Я сел на Малабара, а Амаранту, как всегда, предоставил в распоряжение Тома. С Малабаром приходилось держать ухо востро, Амаранта же была сама кротость.

Эта утренняя прогулка вдвоем с Тома на вершину Пужада оставила во мне неизгладимый след, и не потому, что произошло что-нибудь особенное — там не было никого, кроме нас и солнца,— и не потому, что было сказано что-нибудь важное — мы вообще не обменялись ни словом. И не потому, что с холма открывался красивый вид,— кругом выжженная земля, развалины ферм, обугленные поля, остовы деревьев. Но все это было озарено солнцем.

Едва мы успели подняться на холм, как его диск, уже высоко стоявший над горизонтом, из красного стал розовым, а из розового — розовато-белым. Хотя солнце грело уже по-настоящему, на него еще можно было смотреть не щурясь, такой плотной дымкой оно было окутано. Со всех сторон курилась налитая влагой земля. От нее поднимался туман, он казался особенно белым, потому что выжженная почва была черной как уголь.

Сидя бок о бок в седле, повернув лошадей к востоку, мы молча ждали, чтобы солнце вырвалось наконец из дымки испарений. И когда это произошло — а произошло вдруг, сразу,— кобыла и жеребец оба навострили уши,

словно пораженные необычным зрелищем. Амаранта даже коротко и испуганно заржала и повернула морду к Малабару. Он нежно покусывал ей губу — это, видимо, ее успокоило. Когда она повернула морду в мою сторону, я заметил, что она моргает часто-часто, куда чаще, чем обычно люди. Правда, и Тома приставил руку козырьком к глазам, словно веки уже не способны были их защитить. Я последовал его примеру. Глаза слепило нестерпимо. И по тому, как их отчаянно заломило, мы вдруг поняли, что целых два месяца прожили в сумраке, словно бы в подземелье. Но стоило глазам попривыкнуть, на смену боли пришел восторг. Грудь расширилась. Странное дело — я с силой вбирал в себя воздух, словно свет это нечто такое, что можно вдохнуть. И еще у меня было такое чувство, будто глаза мои распахнулись шире обычного, да и все мое существо распахнулось вместе с ними. Купаясь в солнечном свете, я испытывал небывалое чувство освобождения, легкости. Я повернул Малабара, чтобы подставить лучам спину и затылок. А потом, поочередно подставляя солнцу все части тела, начал медленно кружить на вершине холма, и Амаранта тотчас последовала примеру Малабара и, не дожидаясь разрешения Тома, послушно повторяла все движения жеребца. Я смотрел на землю под ногами. Взрыхленная и пропитанная дождем, она уже перестала быть просто пылью. Она вновь стала живой. В своем нетерпении я даже пытался различить на ней следы свежих побегов и вглядывался в деревья, которые пострадали меньше других, словно надеялся увидеть на них почки.

На другой день мы решили пожертвовать бычком по имени Принц. У нас в Мальвиле уже был один бык — Геракл из «Прудов». У ларокезцев тоже. Сохранять Принца не было никакого смысла: раз мы решили отдать Чернушку ларокезцам, а у Маркизы были две телочки, пусть уж лучше все молоко Принцессы идет к нам на кухню.

«Заклание» — этим ханжеским термином в специальных журналах обозначают убийство животных — отвратительнейшая процедура. Как только у Принцессы отняли ее Принца, она начала душераздирающе мычать. Мьетта до последней минуты ласкала теленка, а потом опустилась на камни и горько заплакала. Это оказалось даже к лучшему, потому что обычно «заклания» страшно возбуждали Момо, сопровождавшего всю постыдную про-

цедуру дикими воплями. Но, увидев Мьетту в слезах, Момо умолк, попытался ее утешить и, не добившись толку, сел рядом с ней и тоже захлюпал.

Принцу было уже больше двух месяцев, и, когда Жаке освежевал тушу бычка, мы решили отдать половину мяса в Ла-Рок, потребовав в обмен на телятину сахар и мыло. Мы прихватили также два каравая хлеба и сало, но это уже в качестве подарка. И еще мы взяли с собой три лома, чтобы расчищать дорогу от стволов деревьев, рухнувших в День происшествия.

Выехали мы в среду засветло на повозке, в которую впрягли Малабара, я — удрученный тем, что расстаюсь с Мальвилем хотя бы на один день, Колен — радуясь тому, что увидит свою лавчонку, Тома — довольный переменой мест. Все трое с ружьями на плече.

Пришельцы из «Прудов» с восторгом предвкушали встречу с Кати и дядюшкой Марселем. Мьетта еще накануне вымыла голову и нарядилась в цветастое платьице — мы все осыпали ее комплиментами (она благодарила нас сочными поцелуями). Жаке побрился и подстригся. А Фальвина прямо млела от радости, ведь ей предстояло не только увидеть брата, но и на несколько часов избавиться от хлопот по хозяйству и тирании Мену.

Бремя счастья оказалось для Фальвины непосильным: не успели мы выехать за пределы Мальвиля, как слова хлынули из нее потоком. «Ну в точности коровья моча»,— заявил Колен. Но все мы понимали причину ее восторгов, и у нас не хватало духу ее оборвать. Зато при первом же удобном случае, когда нам преградило путь поваленное дерево, мы все четверо, в том числе и Мьетта, сошли с повозки и больше уже в нее не садились, разве что когда дорога шла под гору,— предоставив Жаке терпеть в одиночку Фальвинины словоизвержения. О том, чтобы ехать рысью, не могло быть и речи. К задку повозки была привязана Чернушка — она еле плелась за ней. Больше трех часов ушло на то, чтобы проехать пятнадцать километров, отделяющие нас от Ла-Рока. И все это время Фальвина, которую никто не слушал, не закрывала рта. Раза два я прислушался, чтобы понять механизм этого многоглаголания. И ничего загадочного не обнаружил — одно слово влекло за собой другое по простейшей ассоциации мыслей. Фальвина нанизывала свои речи, как четки. А вернее сказать, они разматывались, как рулон туалет-

ной бумаги. Потянешь за кончик — разматывается весь рулон.

В восемь часов мы подъехали к южным воротам Ла-Рока. Маленькая дверца, прорезанная в воротах, была не заперта. Толкнув ее, я без труда проник внутрь, отодвинул щеколды и широко распахнул створки ворот. Вот мы и в городе, а поблизости ни души. Зову. Никакого ответа. Правда, эти ворота выходили в нижнюю часть города, которая была сожжена и разрушена,— не удивительно, что здесь никто и не живет. Но то, что дверь не охранялась и даже не была заперта, красноречиво свидетельствовало о беззаботности Фюльбера.

Ла-Рок — маленький городишко, взгромоздившийся на скалу и прижавшийся к ней, внизу он обнесен сплошным крепостным валом, а вершину скалы венчает замок. Во Франции наберется не меньше десятка таких вот городков, когда-то излюбленных туристами, но Ла-Рок едва ли не наиболее самобытный, потому что все дома здесь старинные, ни один не был изуродован перестройкой, и крепостные стены сохранились в целости, как и двое ворот с круглыми башнями над ними. Одни ворота на юг — это те, в которые мы въехали, и одни на запад — они выходят на шоссе, которое ведет к столице департамента.

Когда въезжаешь в город через южные ворота, то сразу оказываешься в лабиринте узких улочек, которые вливаются в главную улицу. Она ненамного шире остальных, но называется главной, потому что по обе ее стороны тянутся лавчонки. Называют ее еще по-другому — большак.

На лавчонки любо-дорого смотреть, потому что, когда началось увлечение модернизацией, министерство охраны памятников запретило изменять форму арочных проемов. Стены сложены из неоштукатуренного камня золотистого цвета с еле заметными швами, а крыши — из каменных плит, причем подновленные участки светлых и теплых тонов зигзагами вьются среди черно-серых пятен старинных плит. Огромные неровные торцы мостовой, ровесники четырехсотлетних домов, до блеска отполированы подошвами всех тех, кто шагал по ним за четыре века.

Главная улица круто поднимается вверх до самых ворот замка, затейливо изукрашенных, монументальных, но при них нет ни въездной башни, ни галереи с навесными бойницами, ни амбразур — все эти защитные приспособления вышли из моды в ту сравнительно позднюю

эпоху, когда был построен замок. Ворота по приказанию Лормио были выкрашены в темно-зеленый цвет, что на первый взгляд кажется несколько странным, потому что все ставни в Ла-Роке испокон века красили в бордовый цвет. Замок тоже обнесен стенами, а к ним примостились дома — они построены давно, однако не ранее XVI века, на месте сгоревшей крепости. Перед замком небольшая эспланада, пятьдесят метров на тридцать, откуда открывается великолепный вид — в ясную погоду виден даже Мальвиль,— сюда по приказанию Лормио свезли гору чернозема, чтобы разбить лужайки на английский манер. А позади замка возносится защищающая его скала.

Едва мы выехали с крытых макадамом узких улочек, копыта Малабара и колеса нашей повозки подняли адский грохот на выщербленной торцовой мостовой. Из окон начали высовываться головы. Я приказал Жаке остановиться у лавки мясника Лануая, чтобы выгрузить половину телячьей туши. И едва мы остановились, как местные жители высыпали на пороги домов.

Они показались мне похудевшими и, главное, какими-то пришибленными. Я ожидал, что они бурно обрадуются нам. Но хотя глаза у них и заблестели, когда Жаке взвалил на плечи половину туши Принца и с помощью Лануая подвесил ее на крюк, блеск этот тотчас угас. То же самое повторилось, когда я извлек на свет божий два каравая и масло и передал Лануаю, который принял их, как мне показалось, не без колебания и робости, а столпившиеся вокруг нас ларокезцы пожирали хлеб жадными, грустными глазами.

— Это все нам?— резко, почти грубо спросил меня Марсель Фальвин, высвобождаясь из объятий сестры и внучатой племянницы. Он подошел ко мне — при каждом шаге кожаный фартук хлопал его по ногам.

Удивленный резкостью тона, я поглядел на него. Знал я Марселя много лет, но чаще всего мне приходилось видеть его в мастерской, когда, зажав в коленях колодку, он чинил обувь. Марсель — мужчина лет шестидесяти, почти совсем лысый, с очень черными глазами, крупным носом и бородавкой на правой ноздре. Меня в особенности поразил контраст между его короткими кривыми ногами и богатырским разворотом плеч.

— Само собой,— ответил я.— Это для всех вас.

— А раз так,— громко сказал Марсель, повернувшись

к Лануаю,— нечего ждать. Приступай к дележке. И начни с хлеба.

— А может, это господину кюре не понравится,— вмешался Фабрелатр.— Лучше бы его подождать.

Фабрелатр — это скобяная торговля Ла-Рока. Длинный как жердь, со стертыми, бесцветными чертами лица, седые усики щеточкой, за стеклами очков в железной оправе — мигающие глазки.

— Ему оставят его долю,— ответил Марсель, не глядя на Фабрелатра, и решительно взмахнул рукой.— А также Арману, Газелю и Жозефе. Будьте спокойны, никого не обделим. Ну же, Ленуай, чего ты ждешь, черт возьми?

— Можно бы и без ругательств,— наставительно заметил Фабрелатр.

Молчание. Лануай посмотрел на меня, словно ожидая, что скажу я. Это был парень лет двадцати пяти, скроенный крепко, как и наш Жаке, круглолицый, с честными глазами. Насколько я понял, он был согласен с Марселем, но не решался идти против Фабрелатра.

Нас окружало человек двадцать. Я смотрел на эти лица — одни были мне знакомы, другие нет, но на всех читался голод, страх, уныние. Я уже понял, что мне придется действовать, и даже знал как. Но я решил выждать, надо получше разобраться в обстановке.

Подошел еще один человек. Это был Пимон. В его лавчонке жители Ла-Рока когда-то покупали табак, писчебумажные товары и газеты. Я был хорошо с ним знаком, и еще лучше — с его женой Аньес. Обоим им по тридцать пять лет. Пимон — бывший центр нападения той самой команды, которая выиграла у команды Мальжака в день, когда погибли мои родители и дядя. Небольшого роста, коренастый, живой, волосы ежиком, на губах неизменная улыбка. Но сегодня Пимон не улыбается.

— С какой еще стати откладывать дележ,— сказал он.— Мы все здесь порукой тому, что делить будут по справедливости, никого не обидят.

— А все же вежливей будет подождать,— сухо возразил Фабрелатр, часто мигая за стеклами очков.

Я заметил, что ни Пимон, ни Марсель, ни Лануай не глядели на Фабрелатра, когда он говорил. И еще я заметил, что Марсель, горячая голова, не огрызнулся, когда Фабрелатр при всех отчитал его за богохульство. Тоскливые, голодные взгляды, которые толпа бросала на наши

караваи, недвусмысленно свидетельствовали, что все стоят за немедленное распределение. Но кроме Марселя и Пимона, никто не осмелился сказать об этом вслух. Вялый, бесцветный, ничтожный Фабрелатр держал в повиновении два десятка человек!

— Да чего там,— сказал вдруг старик Пужес, обращаясь к Лануаю на местном диалекте. (И я тотчас смекнул, что Фабрелатр диалекта не понимает.) — Дели, сынок. Гляжу на хлебушек, и прямо слюнки у меня текут!

О старике Пужесе я расскажу подробнее в свое время. Говорил он, словно бы посмеиваясь, но никто даже не улыбнулся ему в ответ. Воцарилось молчание. Лануай поглядел на меня, потом на темно-зеленые ворота замка, словно боялся, что они вот-вот распахнутся.

Молчание затягивалось, я почувствовал, что пришла пора вмешаться.

— Нашли о чем спорить,— сказал я, беспечно усмехаясь.— Все дело выеденного яйца не стоит. Раз вы сомневаетесь, как быть, проголосуйте, и все тут. Итак,— продолжал я, повысив голос,— кто за немедленное распределение?

На миг все оцепенели. Потом Марсель и Пимон подняли руку. Марсель со сдержанным вызовом, Пимон степенно, но решительно и твердо. Лануай смущенно потупился. Секунду спустя старик Пужес сделал шаг вперед и, многозначительно поглядывая на меня, поднял указательный палец правой руки, однако на уровне груди, так, чтобы стоящий за его спиной Фабрелатр ничего не заметил. Мне стало совестно за старика, за его жалкую уловку, и я не засчитал его голос.

— Два «за»,— подытожил я, и Пужес не возразил.— Теперь, кто «против»?

Руку поднял один лишь Фабрелатр. Марсель громко рассмеялся, однако опять не взглянул в его сторону. Пимон насмешливо улыбнулся.

— Кто воздержался?

Никто не шелохнулся. Я окинул взглядом всех жителей Ла-Рока поочередно. Неслыханно: они не осмеливались даже воздержаться.

— Двумя голосами против одного,— официальным тоном объявил я,— решено приступить к немедленному распределению продуктов. Оно будет осуществлено

под наблюдением дарителей. Ответственные — Тома и Жаке.

Тома, оживленно болтавший с Кати́ (я про себя решил на досуге рассмотреть ее получше), подошел к нам, за ним Жаке, и толпа покорно расступилась, пропуская их в лавку Лануая. Я мельком поглядел на растерявшегося Фабрелатра, по-моему, он даже пожелтел. Ну и болван, не протестовал против моего предложения голосовать, да еще и сам принял участие в голосовании, хотя оно лишний раз показало, что все против него. Я прекрасно понимал — сам по себе этот болван ничего не значил. Игру направляли силы, укрывшиеся за зелеными воротами.

Лануай рьяно принялся за дело и уже начал резать караваи, как вдруг я заметил Аньес с грудным ребенком на руках — она держалась чуть поодаль, а муж ее стоял в очереди. Она немного похудела, но была все так же мила, ее золотистые волосы блестели на солнце, а карие глаза, как всегда, показались мне голубыми. Я подошел к ней. При виде Аньес во мне вновь пробудилась моя давняя слабость к ней. Она тоже бросила на меня нежный, грустный взгляд, словно говоря: «Вот видишь, бедный мой Эмманюэль, окажись ты решительней десять лет назад, я была бы теперь в Мальвиле». Знаю, знаю. Вот еще один поступок, который я мог бы совершить и не совершил. И я теперь часто думаю об этом. С минуту мы с Аньес вели молчаливую беседу взглядами, а потом у нас завязался самый обыкновенный разговор. Я потрепал по щеке младенца, который мог бы быть моим. Аньес сообщила, что это девочка и ей скоро восемь месяцев.

— Говорят, Аньес, что, если бы мы не отдали ларокезцам корову, ты все равно не согласилась бы отправить свою девочку в Мальвиль. Правда?

Аньес возмущенно посмотрела на меня.

— Кто это тебе сказал? Да такого разговора даже не было!

— Сама понимаешь, кто.

— Ах вон что,— сказала она, сдерживая гнев. Однако и она тоже понизила голос.

Тут я заметил краешком глаза, как Фабрелатр бочком-бочком пробирается к зеленым воротам.

— Мсье Фабрелатр!— громко окликнул я.

Он остановился, обернулся, все взоры устремились на него.

— Мсье Фабрелатр,— сказал я, весело улыбаясь и подходя к нему,— по-моему, с вашей стороны весьма неосторожно уходить до конца распределения!

Все так же улыбаясь, я взял его под руку — он не протестовал — и добавил кисло-сладким тоном:

— Не будите Фюльбера. Вы же знаете, у него хрупкое здоровье. Дайте ему поспать.

Вялая, дряблая рука дрогнула у меня под локтем, однако я не ослаблял хватки и медленно повел Фабрелатра обратно к лавке.

— Но ведь надо же предупредить господина кюре о вашем приезде,— сказал он своим тусклым голосом.

— Спешить некуда, мсье Фабрелатр. Еще только половина девятого. Помогите-ка лучше Тома распределить продукты.

И он повиновался, нелепая жердь! Он подчинился! Бесхарактерный дурак участвует в дележе, против которого сам же возражал! Скрестив руки на своем кожаном фартуке, Марсель дал себе волю и громко рассмеялся. Но рассмеялся он один — никто его не поддержал, кроме Пимона. На Пимона мне было чуть совестно смотреть после чересчур нежной беседы глазами с его женой.

Я уже собирался подойти к Кати, когда меня перехватил старик Пужес. Это мой старый знакомец. Если не ошибаюсь, ему уже стукнуло семьдесят пять. Росту в нем маловато, маловато жира, маловато волос, маловато зубов и совсем уж мало охоты работать. Единственное, чего ему не занимать стать — это усов: желтовато-седые и длинные, они свисают книзу, и, по-моему, Пужес весьма ими гордится, потому что не упускает случая погладить их с плутовским видом.

— Поглядеть на меня, Эмманюэль,— говаривал он мне при встречах в Мальжаке,— так я мужичонка вовсе негодный, а на деле-то я всех вокруг пальца обвел. Во-первых, моя баба загнулась. В одночасье. А была змея змеей, сам знаешь. Потом стукнуло мне шестьдесят пять, и стали мне выплачивать пенсию как земледельцу, а я недолго думая взял да и продал ферму, а что за нее выручил — обратил в ренту и катаю себе в Ла-Рок получать денежки и тут и там — словом, живу, можно сказать, у государства за пазухой. И палец о палец не ударяю. Вот уже десять лет. А до смерти мне еще далеко. Помру я, скажем, годочков эдак в девяносто. Стало быть, еще лет

пятнадцать мне радоваться да радоваться жизни! А раскошеливаются пусть другие!

Я частенько встречал в Мальжаке и самого Пужеса, и его усы, потому что каждый день, в любую погоду, даже по снегу, он проделывал на велосипеде пятнадцать километров, отделяющие Ла-Рок от Мальжака, чтобы пропустить пару стаканчиков белого винца в бистро, которое Аделаида на склоне лет открыла по соседству со своей бакалейной лавчонкой. Два стакана — ни больше ни меньше. За один платил он сам. Другой ему подносила Аделаида, неизменно щедрая к своим старым клиентам. Пужес и тут своего не упускал. Бесплатное винцо он мог потягивать чуть ли не часами.

— Как же так вышло,— негромко спросил Пужес, подергивая кончики своих длинных усов и хитро поглядывая на меня,— как же так вышло, что ты не посчитал мой голос?

— А я тебя не заметил,— объяснил я с усмешкой.— Видно, ты руку поднял не очень высоко. В другой раз действуй посмелее.

— Но все-таки,— сказал он, отводя меня в сторонку,— я голосовал «за». Ты это попомни, Эммануэль, я голосовал «за». Не по нраву мне то, что тут делается.

Но уверен — навлекать на себя неприятности ему тоже не по нраву.

— Ты, верно, скучаешь без своих велосипедных прогулок в Мальжак? Да и двух стаканчиков хорошего винца тебе тоже, думаю, не хватает,— вежливо заметил я.

Он посмотрел на меня, покачивая головой.

— По прогулкам-то скучать не приходится, Эммануэль. Хочешь верь, хочешь нет, а я каждый день на велосипеде по шоссе гоняю. Да только ехать-то некуда, негде посидеть, передохнуть. Конечно, в замке вино есть, но от этих гадов разве дождешься — наперстка не поднесут!— продолжал Пужес, еле сдерживая злобу.

— Послушай,— сказал я ему, переходя на диалект.— Уж коли теперь дорогу расчистили, отчего бы тебе не сгонять разок-другой до Мальвиля? Для тебя-то уж Мену не пожалеет стаканчика нашего красного, а оно не уступит белому Аделаиды.

— Отчего же!— ответил он, не скрывая граничащего с нахальством торжества при мысли о бесплатном угощении.— Спасибо за ласку, Эммануэль. А я никому словеч-

ка не скажу, теперь много таких развелось, что рады случаю поживиться на чужой счет!

При этих словах он дружески похлопал меня по плечу, улыбнулся и подмигнул, подергав себя за кончики усов — как бы заранее таким образом расплатившись со мной за все вино, что он из нас вытянет. И мы расстались весьма довольные друг другом: он — потому, что нашел еще одного благодетеля, а я — потому, что мне удалось установить постоянную тайную связь с Ла-Роком.

Раздача продуктов в лавке Lануая близилась к концу. Получив свою долю хлеба и масла, люди чуть не бегом бросались домой, точно боялись, что в последнюю минуту у них отберут их долю.

— А теперь,— сказал я Лануаю,— не тяни, разделывай тушу.

— С мясом так быстро не управишься,— возразил Лануай.

— Так или иначе, приступай к делу.

Он поглядел на меня — славный парень, такой силач и такой робкий,— потом снял с крюка половину телячьей туши, бросил на прилавок и начал точить нож. В лавке остались только Марсель, Тома да Кати с девочкой, которую она держала за руку. Жаке, покончив с раздачей хлеба и масла, отправился подсобить Колену, который на той же улице, чуть пониже, грузил на повозку металлические изделия из своей лавки. Фальвины с Мьеттой нигде не было видно — должно быть, заглянули к кому-то из друзей. А Чернушка, о которой, как это ни странно, при виде хлеба все забыли, привязанная к кольцу справа от зеленых ворот, уткнулась мордой в сено, Жаке позаботился о ней и подбросил ей охапку.

Наконец-то я мог не торопясь разглядеть Кати. Ростом она была повыше Мьетты и не такая пышная — видно, в Ла-Роке уже успела начитаться женских журналов с их культом худобы. Как и у сестры, у нее были крупноватые нос и подбородок, красивые темные, только сильно подведенные глаза, кроваво-красный рот, а волосы хоть не такие роскошные, зато более ухоженные. На ней были джинсы в обтяжку, пестрая блузка, широкий пояс с золотой пряжкой, а в ушах, на шее, на запястьях и пальцах позвякивали побрякушки. С такой внешностью и в этом наряде она, казалось, сошла с картинки журнала «Для юных девиц», а ее поза, небрежная, свободная, не-

принужденная — ладонью она упиралась в стену лавчонки, живот выдвинут вперед, вся тяжесть тела перенесена на одно бедро,— была заимствована, если не ошибаюсь, у манекенщиц из каталога «Редут».

Глаза Кати показались мне не такими кроткими, как у Мьетты, но, как видно, в них была заложена немалая сексуальная сила, судя по тому, что в течение всего нескольких минут она заарканила, обработала и полонила Тома, который стоял перед ней, совершенно оцепенев. По-видимому, Кати в мгновение ока сделала выбор, едва мы сошли с повозки, и взялась за дело столь быстро и энергично, что, по моему разумению, у облюбованной ею жертвы не было надежды на спасение.

— Эмманюэль,— проговорил Марсель,— познакомься с моей внучатой племянницей.

Я пожал внучатой племяннице руку, сказал ей несколько слов, она мне что-то ответила и одновременно, вне рамок этого ритуала вежливости, окинула меня быстрым оценивающим взглядом. Меня изучили, оценили и вынесли обо мне суждение не с точки зрения нравственных и уж тем более интеллектуальных достоинств, а только в качестве партнера в том единственном роде занятий, который представлялся ей важным. Насколько я понял, оценку я получил хорошую. После этого Кати вновь обратила прицельный огонь своих взоров на Тома. Во всей этой истории меня поразило одно — как ошеломляюще быстро, проще сказать, нахрапом, она приручила Тома. Правда и то, что нашу жизнь со времени Происшествия трудно считать нормальной. Доказательство тому — дележ съестного в Ла-Роке. И еще доказательство: ни один из нас благоразумно не расставался с ружьем, даже Колен, а уж ему-то висящее на плече ружье, безусловно, мешало грузить повозку.

— Ну а ты кто?— спросил я у девочки, которую держала за руку Кати. Предоставленная самой себе в перекрестном огне взглядов, который велся над ее головой, она уже давно пристально следила за всеми моими движениями.— Как тебя зовут?

— Эвелина,— ответила она, не сводя с меня серьезного взгляда запавших и обведенных темными кругами голубых глаз: они съедали больше половины ее худенького лица, обрамленного длинными светлыми прямыми волосами, падавшими чуть ли не до пояса. Подхватив девочку под

мышки, я поднял ее, чтобы поцеловать, она в мгновение ока обвилась ногами вокруг моих бедер, а худенькими ручонками вокруг моей шеи. Радостно отвечая на мои поцелуи, она уцепилась за меня с такой силой, что я даже удивился.

— Послушай,— сказал мне Марсель,— если у тебя есть свободная минута, загляни ко мне в мастерскую, пока эти сволочи не нагрянули.

— С удовольствием,— ответил я.— А вы оба (обратился я к Кати и Тома) помогите Колену грузить повозку. Ну-ка, Эвелина, пусти меня. Слезай,— продолжал я, пытаясь расцепить маленькие худые пальцы, а Кати тем временем, схватив за руку Тома, потащила его за собой вниз по улице.

— Нет, нет,— возразила Эвелина, еще крепче прильнув ко мне.— Отнеси меня на руках к Марселю.

— Ладно, отнесу, а там ты слезешь?

— Слезу.

— Если ты уступишь этой соплячке, ты еще наплачешься,— сказал Марсель.— Она живет у меня после взрыва,— добавил он.— Кати взяла ее на свое попечение. И поверь, иной раз с ней приходится ох как трудно — ведь у нее астма. Порой такие ночи выпадают, что не приведи господь.

Так, значит, это та самая сиротка, о которой Фюльбер сказал, что, мол, «никто в Ла-Роке не хочет о ней позаботиться». Вот ведь гнусный тип! Что ни слово, то вранье, даже без всякой пользы для себя.

Марсель повел меня не в мастерскую, а в крохотную столовую, которая выходила окном во двор, почти такой же маленький. Я тотчас заметил кусты сирени. Защищенные с четырех сторон стенами, они порыжели, но не сгорели.

— Видел? — сказал Марсель, и в его черных глазах вспыхнула радость.— Почки набухли! Ну и молодчина моя сирень. Еще оправится. Садись же, Эммануэль.

Я последовал его приглашению. Эвелина тотчас устроилась у моих колен, крепко сжала руками мои большие пальцы и, повернувшись ко мне спиной, скрестила их у себя на груди. В такой позе она и затихла.

Усевшись, я стал разглядывать полки над комодом орехового дерева, на которых Марсель держал свою библиотеку. Тут были только дешевые книжки в мягких облож-

ках и серийные издания. Первые продавались на всех перекрестках, да и за вторыми тоже не было нужды заходить в книжный магазин. Помню, впервые Марсель удивил меня, когда мне было лет двенадцать. Желая показать моему дяде какую-то книгу, он, прежде чем ее взять, долго мыл руки мылом под краном в кухне. Правда, ладони его от этого не стали белее. Широкие, точно дубленые, ладони, изрытые черными ложбинками.

— Не обессудь, угостить мне тебя нечем, бедный мой Эмманюэль,— сказал Марсель, усаживаясь напротив.

И он грустно покачал головой.

— Видал?

— Видал.

— Хочешь не хочешь, а Фюльберу надо отдать справедливость. Поначалу от него была польза. Заставил нас похоронить убитых. В некотором роде он даже поднял наш дух. Но мало-помалу с помощью Армана начал завинчивать гайки.

— А вы не протестовали?

— Когда мы надумали протестовать, было уже поздно. Вся беда в том, что вовремя не спохватились. Уж очень красно он говорит, Фюльбер. Сначала сказал: надо, мол, перетащить в замок все бакалейные запасы, чтобы их не разграбили, ведь хозяева погибли. Что ж, мысль вроде разумная — так мы и поступили. Потом то же самое посоветовал насчет мясных продуктов. Потом говорит: не надо держать дома ружья. А то еще перебьем друг друга. Лучше снести их в замок. Опять вроде неглупо. В самом деле, для чего ружья держать, когда дичи не стало? А в один прекрасный день, когда мы спохватились, то уже все оказалось в замке — и корм для скота, и зерно, и лошади, и свиньи, и колбаса, и крупа, и ружья. Я уж не говорю о корове, что ты нам привел. Понятно? А теперь замок каждый день распределяет продукты между жителями. И доля у всех разная — ясно? Да и день на день тоже не приходится, все зависит от милости хозяина. Вот чем он нас и держит, Фюльбер. Размером пайка.

— А при чем здесь Арман?

— Арман — это мирская власть. Террор. Фабрелатр — это соглядатай. К слову сказать, Фабрелатр-то в общем болван, ты и сам, должно быть, заметил.

— А Жозефа?

— Жозефа хозяйство ведет. Ей за пятьдесят. Красотой она не блещет. И все ж таки она при Фюльбере не только, как говорится, для хозяйственных надобностей. Живет она в замке с Фюльбером, Арманом и Газелем. Газеля он собирается назначить твоим викарием, только сначала обработает его как следует.

— А что за мужик этот Газель?

— Да не мужик он вовсе, а баба! — расхохотался Марсель, и меня порадовал его смех. Я привык видеть Марселя в его мастерской всегда веселым: черные глаза так и искрятся, бородавка подрагивает, а богатырские плечи трясутся от смеха; Марсель старается удержаться, потому что во рту у него полно гвоздей, которые он вынимает по одному и забивает в подметку. До чего же ловко он их вколачивает; бьет с непостижимой быстротой и точно по шляпке — ни одного не погнет.

— Газель, — продолжал он, — вдовец, ему лет пятьдесят. Поглядишь на него часов в десять утра, когда он наводит порядок у себя дома, животики надорвешь. На голове чалма, чтобы волосы часом не запылились, и он тебе скребет, и пол натирает, и мебель полирует, а к чему? — ведь живет-то он в замке! И еще рад-радешенек — у себя в квартире грязи не разводит.

— А во всем прочем?

— Во всем прочем он мужик невредный, но, что ты будешь делать, верующий. И на Фюльбера чуть не молится. В общем, если он водворится в Мальвиле, придется вам ухо востро держать.

Я поглядел на Марселя.

— В Мальвиле он не водворится. В воскресенье вечером меня избрали аббатом Мальвиля.

Выпустив мои большие пальцы, Эвелина обернулась и испуганно уставилась на меня, но, как видно, выражение моего лица ее успокоило, потому что она опять устроилась в прежней позе. А Марсель разинул рот, вытаращил глаза и секунду спустя как расхохочется!

— Ну, ты в своего дядюшку пошел! — еле выговорил он, задыхаясь от смеха. — Жалость какая, что ты не живешь в Ла-Роке. Ты бы избавил нас от этого подонка. К слову сказать, — добавил он, сразу посерьезнев, — я уже и сам обдумывал, что предпринять, если дело до крайности дойдет. Но тут мне рассчитывать не на кого — только на Пимона. А Пимон на духовную особу руки не поднимет.

Я молча глядел на него. Ох и тяжка должна быть тирания Фюльбера, если такому человеку, как Марсель, приходят в голову недобрые мысли!

— Кстати,— продолжал он.— В прошлое воскресенье, когда Фюльбер уезжал из Мальвиля, дал ты ему хлеба?

— И хлеба, и масла.

— Точно, Жозефа так и говорила. Еще спасибо, что у нее длинный язык.

— Да ведь хлеб предназначался для всех вас.

— Я так и понял!

Он развел руками, показав свои черные дубленые ладони.

— Вот,— сказал он,— вот до чего мы докатились. Вздумается завтра Фюльберу, чтобы ты подох, ты и подохнешь. Допустим, отказался ты пойти к мессе или исповедоваться — готово дело. Паек тебе тут же урежут. Нет, он у тебя его не отнимет. Он его убавит. Помаленечку. А станешь ворчать — на дом к тебе заглянет Арман. Ко мне-то, положим, не заглянет,— добавил Марсель, расправив плечи.— Меня он пока еще побаивается. Этот самый Арман. Вот из-за этой вот штуковины.

Из переднего кармана кожаного фартука Марсель извлек острый как бритва нож, которым обрезал подметки. Только на мгновенье, и тут же спрятал его обратно.

— Послушай, Марсель,— сказал я, помолчав.— Мы с тобой старые знакомые. Дядю ты хорошо знал, и он уважал тебя. Хочешь, переезжай с Кати и Эвелиной в Мальвиль — мы все будем только рады.

Не оборачиваясь, Эвелина крепче стиснула мои пальцы и с неожиданной силой прижала мои ладони к своей груди.

— Спасибо тебе,— сказал Марсель, и в его черных глазах блеснула слеза.— Спасибо. Но я не могу, по двум причинам не могу. Во-первых, есть декрет Фюльбера.

— Декрет?

— Да, представь, этот тип декреты издает, от своего имени, никого не спросясь. И читает их нам с церковной кафедры по воскресеньям. Первый декрет — я его на память знаю: частная собственность в Ла-Роке упраздняется, и все недвижимое имущество, магазины, съестные припасы и корм для скота, имеющиеся в наличности в границах города, отходят во владение прихода.

— Не может быть!

— Погоди! Это еще не все. Второй декрет: никто из жителей Ла-Рока не имеет права покинуть город без разрешения приходского совета. А совет — он сам его назначил — состоит из Армана, Газеля, Фабрелатра и самого Фюльбера!

Я был потрясен. До чего же глупо, что я так миндальничал с Фюльбером! За последние три четверти часа я насмотрелся и наслушался такого, что теперь был твердо убежден: если отношения с Мальвилем испортятся, у режима Фюльбера найдется не много защитников.

— Сам понимаешь,— продолжал Марсель,— приходский совет нипочем мне не даст разрешения уехать. Без сапожника не обойдешься. Особливо в нынешние времена.

— К черту Фюльбера и его декреты,— взорвался я.— Пошли, Марсель, заберем тебя и твои пожитки и увезем в Мальвиль!

Но Марсель грустно покачал головой.

— Нет. Не могу. И открою тебе самую главную причину. Не могу я бросить своих земляков. Чего там, сам знаю, храбростью они не блещут. И все же без меня тут станет еще хуже. Мы с Пимоном хотя бы малость попридерживаем этих господ. Да и Пимона я не могу оставить. Это было бы настоящее свинство. Но вот если ты решил взять с собой Кати и Эвелину,— продолжал Марсель,— я не против. Фюльбер уже давно подъезжает к Кати, хочет, чтобы она, мол, вела хозяйство у него в замке. Сам понимаешь, какое это хозяйство! А тут еще и Арман вокруг нее увивается.

Высвободив пальцы из рук Эвелины, я повернул ее лицом к себе и положил ладонь ей на плечо.

— Эвелина! Язык за зубами держать умеешь?

— Умею.

— Тогда вот что — будешь делать все, что тебе прикажет Кати. И никому ни слова — ясно?

— Да,— произнесла она торжественно, словно невеста перед алтарем, дающая согласие на брак.

Выражение ее больших голубых глаз, которые кажутся еще больше от темных кругов, залегших под ними, и насмешило и растрогало меня; крепко стиснув ее руки, чтобы она вновь не уцепилась за меня, я наклонился к ней и поцеловал в обе щеки.

— Значит, я на тебя рассчитываю,— сказал я вставая.

В эту минуту с улицы раздались крики, потом топот бегущих ног, в нашу комнатушку, запыхавшись, ворвалась Кати и еще с порога крикнула мне:

— Скорее! Арман с Коленом сейчас подерутся!

И исчезла. Я рванулся к выходу, но, увидев, что Марсель поспешил за мной, обернулся в дверях.

— Раз уж ты решил остаться здесь,— сказал я ему на местном диалекте,— лучше не вмешивайся, а постереги-ка девочку, чтобы она не путалась у меня под ногами.

Когда я подошел к нашей повозке, положение Армана было самое плачевное и он орал благим матом. Жаке и Тома завели ему руки за спину (Тома был вооружен гаечным ключом). А Колен, красный как рак, стоял перед Арманом, занеся над его головой кусок свинцовой трубы.

— Эй, что тут происходит?— спросил я самым миролюбивым тоном и протиснулся между Коленом и Арманом.— Послушайте, вы оба! Отпустите Армана! Пусть объяснит, чего ему надо.

Тома и Жаке повиновались и, как мне показалось, даже обрадовались моему вмешательству: они уже давно скрутили Армана и, так как Колен все не решался его пристукнуть, чувствовали себя довольно глупо.

— Это он,— сказал Арман, тоже с явным облегчением, и указал на Колена.— Это твой приятель меня оскорбил.

Я взглянул на Армана. Он потолстел с тех пор, как мы не виделись. Единственный во всем Ла-Роке. Огромный детина, пожалуй, выше даже, чем Пейсу. По широченным плечам и бычьей шее видно было, что это силач из силачей. И при этом до Происшествия он пользовался такой недоброй славой, что стоило ему, бывало, явиться на танцульку, как всех танцоров точно ветром сдувало.

Именно эта его особенность и помешала ему найти себе жену, хотя в замке он ежемесячно получал жалованье, а за жилье, отопление и свет ничего не платил. За неимением законной супруги ему приходилось довольствоваться залежалым и несвежим товаром, а от этого он еще больше остервенел. Правда и то, что польститься на него было трудно: водянистые глаза, белесые ресницы и брови, приплюснутый нос, нижняя челюсть сильно выступает вперед, лицо прыщавое. Но разве в красоте дело? Мужчина, будь он даже страшен как черт, всегда найдет охотницу пойти с ним под венец. А Армана не выносили не только за его грубость, но и за то, что таких

лентяев, как он, надо было поискать. Одна у него была утеха — наводить страх на окружающих. И еще ему не прощали, что он корчил из себя управляющего и лесничего, а на деле не был ни тем, ни другим. И уж окончательно восстановило против него земляков то, что он сварганил себе полувоенную форму: старая пилотка, черная бархатная куртка с позолоченными пуговицами, штаны для верховой езды и высокие сапоги. Да еще ружье. Главное, ружье. Даже в те сезоны, когда охота была запрещена.

— Он тебя оскорбил? — спросил я. — Что ж он тебе сказал?

— Сказал: «Плевать я на тебя хотел», — злобно заявил Арман. — «Плевать я на тебя хотел, и на тебя и на твой декрет».

— Ты это сказал? — спросил я, круто повернувшись, и, пользуясь тем, что Арман оказался у меня за спиной, подмигнул Колену.

— Сказал, — подтвердил Колен, все еще весь пунцовый. — Сказал и не...

Я не дал ему закончить.

— Неотесанный чурбан, стыда у тебя нет! — громко произнес я на местном диалекте. — Сейчас же извинись. Мы сюда не за тем пришли, чтобы обижать людей.

— Ладно, согласен, извиняюсь, — сказал Колен, разгадав наконец мою игру. — Но ведь и он тоже обозвал меня «малявкой вонючей».

— Ты его так обозвал? — вопросил я, повернувшись к Арману и сурово на него воззрившись.

— А зачем он меня из терпения выводит? — огрызнулся Арман.

— Ну знаешь, ты тоже хорош. «Малявка вонючая» куда обиднее, чем «плевать я хотел». И потом, не забудь — мы гости ларокезского кюре. Не следует распускать язык, Арман. Мы привезли вам корову, половину телячьей туши, два каравая хлеба и масло, а ты обзываешь нас «малявками вонючими».

— Да это же я только его обозвал, — стал оправдываться Арман.

— Его ли, нас ли — это одно и то же. Вот что, Арман, придется тебе последовать его примеру и извиниться.

— Ладно уж, только ради тебя, — неохотно буркнул он.

— Молодец! — одобрил я, чувствуя, что требовать

большего было бы неосторожно.— А теперь, когда вы помирились, можно и поговорить спокойно. В чем дело? Что это еще за декрет?

Арман начал объяснять смысл декрета, а я тем временем обдумывал ответ поубедительнее.

— Понятно,— сказал я Арману, когда тот кончил.— Согласно декрету твоего кюре, ты решил помешать Колену вывезти товар из его лавки, поскольку, согласно декрету, лавка его отныне является собственностью прихода.

— Точно,— подтвердил Арман.

— Что ж, друг мой, ты в своем праве,— сказал я.— Ты исполнил свой долг.

Арман удивленно уставился на меня водянистыми глазами, как бы опасаясь подвоха, и захлопал белесыми ресницами.

— Только видишь ли, Арман,— продолжал я,— есть тут одна загвоздка. Дело в том, что в Мальвиле тоже издан декрет. И по этому декрету все имущество, ранее принадлежавшее жителям Мальвиля, принадлежит отныне замку Мальвиль, где бы это имущество ни находилось. Поэтому лавка Колена в Ла-Роке отныне принадлежит Мальвилю. Надеюсь, ты не станешь это оспаривать,— сурово обратился я к Колену.

— Не стану,— ответил Колен.

— По-моему,— продолжал я,— это случай особый. Декрет твоего кюре тут неприменим, потому что Колен живет не в Ла-Роке, а в Мальвиле.

— Может, оно и так,— свысока заметил Арман,— только решать это не мне, а господину кюре.

— Ну что ж,— сказал я, взяв его под руку, чтобы дать ему возможность ретироваться с достоинством,— поди и передай это от меня Фюльберу, а заодно скажи ему, что мы здесь и что нам уже пора собираться восвояси. А вы,— бросил я через плечо своим друзьям,— продолжайте грузить повозку, впредь до нового распоряжения. Скажу тебе не хвалясь,— доверительным тоном продолжал я, обращаясь снова к Арману, когда мы отошли с ним на несколько шагов,— не будь здесь меня, попал бы ты в хорошенькую переделку. С нашими ребятами вообще шутки плохи, а с Коленом в особенности, это чудо, что он тебе череп не раскроил. Не за то, что ты обозвал его вонючим, это еще полбеды, а вот «малявка»! «Малявку» он не прощает. Но в общем-то, Арман,— сказал я, с силой сжимая

его локоть,— не станут же Мальвиль с Ла-Роком воевать из-за кучи металлического лома, который ни на что теперь не пригоден. Допустим даже, Фюльбер не захочет признать за Мальвилем право на лавку Колена, начнется распря, пойдет стрельба — глупо было бы из-за этого подставлять лоб под пули, верно? Кстати, если вы раздадите вашим людям ружья, которые хранятся в замке, еще неизвестно, против кого они их повернут.

— Не знаю, с чего ты это взял,— проговорил Арман, останавливаясь и глядя на меня. Он даже побелел от страха и злобы.

— А ты оглянись вокруг, дружище. Вы с Коленом на весь город шум подняли. Да оглянись же! Оглянись! На улицах ни души!— Я улыбнулся.— Что-то не похоже, чтобы твои земляки бросились тебе на выручку, когда трое наших парней собрались намять тебе бока.

Я умолк, чтобы дать ему время проглотить эту пилюлю, и он проглотил ее молча, вместе с моим скрытым ультиматумом.

— Ну ладно, я прощаюсь с тобой,— сказал я.— Надеюсь, ты объяснишь положение дел Фюльберу.

— Погляжу, что можно сделать,— заявил Арман, изо всех сил пытаясь спасти хоть остатки своего самолюбия, еще уцелевшие после схватки с мальвильцами.

ГЛАВА XII

Уход Армана оказался как бы сигналом. Из окон снова повысовывались головы. А мгновение спустя все жители Ла-Рока высыпали на главную улицу. То ли потому, что кусок хлеба с маслом подкрепил их силы, то ли потому, что бесславное поражение Армана, которое они наблюдали из окон, подняло их дух, так или иначе, поведение ларокезцев изменилось. Бояться они, конечно, не перестали, достаточно было посмотреть, как они косились украдкой на Фабрелатра, и, кроме того, никто никак не высказался о происшедшей стычке и не решился не только пожать руку Колену, но даже подойти к нашей повозке. Но голоса стали громче, движения свободнее. И во взглядах чувствовалось сдержанное возбуждение. Я поднялся на две ступеньки лестницы, ведущей к лавке Лануая, хлопнул в ладоши и громко сказал:

— Прежде чем увести отсюда двух кобыл, я хочу сделать несколько кругов по эспланаде замка, чтобы дать им размяться. А так как они давно не ходили под седлом, думаю, придется с ними повозиться. Хотите, я попрошу Фюльбера, чтобы он разрешил вам посмотреть?

Все руки разом взметнулись вверх, и меня удивил общий взрыв радости. Хотя времени у меня было в обрез, я медлил, глядя на это ликование — было в нем что-то ужасно жалкое. Как же печальна и пуста должна была быть жизнь в Ла-Роке, если надежда на то, что они увидят верховую езду, привела жителей в такой восторг! Вдруг я почувствовал в своей руке маленькую теплую руку. Это была Эвелина. Я наклонился к ней:

— Ступай к Кати — она возле повозки — и скажи ей, что я ее жду в доме дяди. Только поживее.

Едва лишь Фабрелатр повернулся ко мне спиной, я нырнул в дом сапожника. Через несколько секунд здесь появился и сам Марсель. И он тоже явно повеселел.

— Ну, Эммануэль, и порадуешь же ты моих земляков своим представлением! Ведь мы дохнем не от одной только несправедливости. Но и от скуки. Людям нечем заняться. Я-то еще кое-как ковыряюсь со своей колодкой. Конечно, пока у меня кожа не вышла. А другим как быть? Пимону, Лануаю, Фабрелатру? Или фермерам — до октября-то ведь сеять не придется. А радио и телевизора нет, нет даже проигрывателя. Вначале и в церковь-то люди ходили, просто чтобы посидеть всем скопом и послушать, как кто-то что-то говорит. В первое время Фюльбер был заместо телевизора. На беду, кюре всегда талдычат одно и то же, послушал раз, послушал два, а там и сыт по горло. Ты уж мне поверь — мы все тут готовы хоть каждый день по доброй воле убирать навоз в замке. Уборка навоза стала даже вроде награды! Я так думаю, что тиранство Фюльбера легче было бы сносить, придумай он нам хоть какое-нибудь занятие. Уж не знаю какое! Ну хотя бы, к примеру, расчистить нижний город, сгрести в кучу камни, собрать гвозди. И главное, чтобы всем миром, сообща. Потому что самая большая беда в том, что нет у нас здесь никакой общественной жизни. Никакой. Каждый сидит у себя взаперти и ждет, пока ему кинут кость. Если так и дальше пойдет, мы все скоро уже нелюди станем.

Я не успел ответить — следом за Эвелиной, которая сразу прижалась к моим коленям, в комнату вихрем влетела Кати.

— Кати,— сказал я,— времени у нас в обрез. Не будем тратить его на пустую болтовню. Как ты смотришь на то, чтобы переселиться с Эвелиной в Мальвиль? Дядя согласен.

Она вспыхнула, на ее лице появилось хищное выражение. Но она тотчас спохватилась.

— Ох, сама не знаю,— ответила она и потупила глаза с наигранной скромностью.

— Я вижу, переезд тебе не по душе, Кати. Ну что ж, не хочешь — не надо. Неволить не стану!

— Да нет, нет, не в том дело,— сказала Кати.— Просто дядю оставлять жалко.

— Смотри-ка ты,— удивился Марсель.

— Ну, раз ты о нем горюешь, лучше и впрямь оставайся. И не будем об этом больше говорить.

Тут она смекнула, что я просто над ней подсмеиваюсь, и, заулыбавшись, заявила с чисто деревенским бесстыдством, которое было мне куда больше по сердцу, чем ее ломанье:

— Ты что смеешься! Я до смерти рада уехать с вами!

Я и впрямь рассмеялся, за мной Марсель. Как видно, он тоже успел заметить краткую беседу и долгие взгляды у порога мясной лавки.

— Значит, едем?— спросил я.— Жалеть не будешь?

— И с дядей расставаться душа не болит?— поддержал меня Марсель.

Она тоже рассмеялась искренне, от всего сердца, тем смехом, который отзывается во всем теле, волнами расходится по плечам, груди и бедрам. Это зрелище пришлось мне по вкусу, и я загляделся на Кати. Она тотчас перехватила мой взгляд, состроила мне глазки и снова рассмеялась, повторив ту же завлекательную пантомиму.

— Слушай меня, Кати,— продолжал я.— Ты сама понимаешь: если просить разрешения у Фюльбера, нам его не получить. Вы с Эвелиной удерете тайком. Думаю, что через несколько минут все жители соберутся на эспланаде поглядеть на трюки, которые я буду проделывать на лошадях. Ты туда не пойдешь. Останешься у себя, якобы для того, чтобы ухаживать за Эвелиной — у нее, мол, начался приступ астмы. Как только все сойдутся к замку,

соберешь чемоданы, свой и Эвелины, погрузишь их на повозку и хорошенько укроешь пустыми мешками, в которые был завернут хлеб. Потом через южные ворота вы пойдете пешком по дороге к Мальжаку и на пятом километре у развилки на Ригуди будете нас ждать.

— Понятно,— сказала Кати.

— Не показывайтесь на дороге, пока не убедитесь, что это мы. А ты, Эвелина, во всем слушайся Кати.

Эвелина только кивнула и поглядела на меня с безмолвной преданностью. Воцарилось молчание.

— Спасибо тебе, Эммануэль,— с волнением проговорила Кати.— Можно рассказать Тома?

— Нет, нельзя. Времени у тебя нет. Отправляйся с Эвелиной к себе, и бегом.

Она и в самом деле умчалась, однако все-таки успела обернуться и проверить, провожаю я ее взглядом или нет.

— Ладно, Марсель, я пошел — не хочу, чтобы Фюльбер видел меня здесь, у тебя. А то попадешь еще в подозрительные.

Мы расцеловались. Я вышел в прихожую, но тотчас вернулся, вынул из кармана сверток и положил на стол.

— Сделай мне удовольствие, возьми это. Когда Фюльбер обнаружит, что Кати сбежала, будет чем пополнить урезанный паек...

На улице меня остановила рослая дородная женщина в синем свитере и широких брюках. У нее были короткие густые, с проседью волосы, сильно развитая нижняя челюсть и голубые глаза.

— Мсье Конт,— сказала она низким, хорошо поставленным голосом,— разрешите представиться: Жюдит Медар, преподаватель математики, холостячка. Подчеркиваю — холостячка, а не старая дева, во избежание недоразумений.

Начало показалось мне забавным, и, так как говорила она без малейшего местного акцента, я спросил, уроженка ли она Ла-Рока.

— Я из Нормандии,— ответила она, обхватив мою правую руку повыше локтя и стиснув ее своей железной пятерней.— Живу в Париже. Вернее, жила в Париже, пока существовал город Париж. Но у меня в Ла-Роке дом, благодаря чему я и выжила.

Она снова стиснула мое предплечье. Я сделал осторожную попытку освободиться от этого викинга в юбке, но

она, сама того не замечая — в этом я мог поклясться,— еще крепче сжала пальцы.

— Благодаря чему я и выжила,— повторила она,— и ознакомилась с весьма своеобразной формой теократической диктатуры.

Спасибо, нашелся хоть один человек, который не боялся ушей Фабрелатра. Меж тем он уже наставил два своих лопуха и торчал метрах в пяти от нас, но викинг в юбке не удостоил его даже взглядом.

— Примите во внимание, что я католичка,— продолжала она сильным, хорошо поставленным голосом.— Но священнослужителей такого сорта я еще никогда не видывала. А как вам нравится смирение наших сограждан? Все-то они терпят. Можно подумать, что их лишили всех признаков мужского пола.

Но зато она, несмотря на принадлежность к слабому полу, как видно, была наделена мужеством с лихвой. В брюках, уверенная, крепкая, она стояла передо мной — квадратный подбородок выступал над воротником свитера, голубые глаза сверкали. И посреди главной улицы Ла-Рока открыто бросала вызов властям.

— Впрочем, есть одно исключение,— добавила она.— Марсель. Вот это настоящий мужчина.

Интересно бы узнать, у Марселя она тоже ощупывала мышцы? Стоило бы. Там есть что пощупать. Хотя Марселю перевалило за шестьдесят, мышцы у него стальные, и найдется немало женщин, не только холостячек, которые отнюдь не прочь к нему приласкаться.

— Мсье Конт,— продолжала она голосом трибуна.— Браво, браво! Это я вам говорю! Браво, что вы организовали немедленную раздачу продуктов.—Тут она стиснула мою руку.— Ибо для нас это единственная надежда получить свою долю. И еще раз браво, что вы одернули местного эсэсовца.— Она снова стиснула мое предплечье.— Я еще спала, а не то примчалась бы вам на помощь.

Вдруг она наклонилась ко мне. Я говорю наклонилась, потому что у меня создалось впечатление, что она выше меня по крайней мере сантиметра на три-четыре, и шепнула мне на ухо:

— Если в один прекрасный день вы затеете что-нибудь против этого ничтожества, рассчитывайте, мсье Конт, на мою поддержку.

Последние слова она произнесла тихо, но весьма энер-

гично. Потом выпрямилась и, заметив, что Фабрелатр оказался прямо за ее спиной, выпустила мою руку, резко обернулась и толкнула его плечом, отчего белесая жердь чуть не упала.

— Воздуха мне! Воздуха! — воскликнула Жюдит, с силой разводя руками.— Черт побери! Неужели в Ла-Роке места не хватает?

— Извините, мадам,— слабым голосом отозвался Фабрелатр.

Она даже не взглянула на него. Она протянула мне свою широкую кисть, я пожал ее и ушел, все еще чувствуя боль в предплечье. Но я был доволен, что приобрел такую союзницу.

Я прошел по улице до того места, где стояла наша повозка. Грузили ее быстро, дело уже шло к концу. Кар-Кар, который склевывал крошки чуть ли не из-под ног Ленуая, теперь с профессорским видом разгуливал по широкой спине Малабара. Увидев меня, он дружелюбно каркнул, взлетел на мое плечо и стал со мной заигрывать. Тома, раскрасневшийся, взволнованный, все время беспокойно оглядывался на сапожную мастерскую, а потом отвел меня в сторону и спросил:

— Что случилось? Почему Кати вдруг нас бросила?

В душе я умилился этим «нас».

— У Эвелины начался приступ астмы, и Кати осталась с ней.

— А это так необходимо?

— Еще бы, конечно, необходимо,— с возмущением ответил я.— Приступ астмы — мучительнейшая штука! Больного нельзя оставлять одного.

Он смущенно потупил глаза, потом вдруг вскинул их на меня и, должно быть, набравшись храбрости, глухо спросил:

— Скажи, ты не будешь против, если Кати переедет в Мальвиль к своей сестре и бабушке?

Я посмотрел на него. «К сестре и бабушке» умилило меня еще больше, чем «нас».

— Нет, буду,— веско сказал я.

— Почему?

— А потому, что Фюльбер категорически запретил всем гражданам Ла-Рока выезжать из города и, безусловно, воспротивится отъезду Кати. Стало быть, ее можно только похитить.

— Ну и что из того? — спросил он, и голос его зазвенел.

— То есть как это «что из того»? Из-за какой-то девчонки пойти на разрыв с Фюльбером?

— Ну, до разрыва еще далеко.

— Не так уж и далеко! Представь себе, Фюльберу приглянулась эта девица. Он предложил ей перебраться в замок и его обслуживать.

Тома побледнел.

— Тогда тем более!

— Это еще почему?

— Чтобы спасти ее от этого типа.

— Бог знает, что ты такое несешь, Тома. Ты ведь даже не спросил, что по этому поводу думает сама Кати. Может, ей нравится Фюльбер.

— Уверен, что нет.

— И потом, мы ведь ее совсем не знаем, эту Кати, — продолжал я. — Ты познакомился с ней всего какой-нибудь час назад.

— Она очень хорошая девушка.

— Ты имеешь в виду ее душевные качества?

— Само собой.

— Ну, если так, дело другое. Полностью доверяю твоей объективности.

Я сделал ударение на слове «объективность». Но я зря старался. Тома и в обычное время был глух к юмору. А уж теперь и подавно.

— Значит, ты согласен? — с тревогой спросил он. — Увезем ее, да?

На сей раз я поглядел на него без улыбки.

— Обещай мне одно, Тома: ничего не предпринимай сам.

Он заколебался, но, очевидно, что-то в моем голосе и в выражении глаз заставило его призадуматься, так как он сказал:

— Обещаю.

Я повернулся к нему спиной, согнал с плеча Кар-Кара, который мне уже несколько надоел, и стал подниматься по главной улице. В самом ее конце вдруг распахнулись темно-зеленые ворота, и все разговоры разом оборвались.

Первым в воротах показался Арман с хмурой и злобной рожей. За ним незнакомая мне лощеная личность, по

описанию Марселя я догадался, что это и есть Газель, и наконец вышел сам Фюльбер.

Ну и лицедей же он! Он не просто вышел. Он явил себя. Предоставив Газелю затворить ворота, он застыл на месте, отеческим оком обводя толпу. На нем был все тот же темно-серый костюм, рубашка, которую я ему «уступил», серый вязаный галстук, а на цепочке нагрудный крест, большим и указательным пальцами левой руки он сжимал его конец, словно черпая в нем вдохновение. В лучах солнца сверкал черный шлем его волос и еще резче казались черты аскетического лица, освещенного красивыми косящими глазами. Фюльбер отнюдь не пыжился, о нет! Наоборот. Вытянув вперед шею, он как бы отодвигал тело на второй план, подчеркивая, как мало оно для него значит. Он смотрел на ларокезцев, кроткий, терпеливый, готовый принять терновый венец.

Увидев, что я поднимаюсь к замку, раздвигая немноголюдную толпу зрителей, он вышел из состояния благостной неподвижности и устремился ко мне, приветливо, по-братски простирая вперед обе ладони.

— Добро пожаловать в Ла-Рок, Эммануэль,— произнес он своим глубоким бархатным баритоном, взяв мою правую руку своей правой рукой и еще накрыл ее сверху левой, словно оберегая бесценное сокровище.— Как же я рад тебя видеть! Само собой разумеется, тут не о чем и говорить,— продолжал он, неохотно выпуская мои пальцы,— поскольку Колен не живет в Ла-Роке, ларокезские декреты на него не распространяются. Поэтому он может вывезти свою лавку.

Все это было сказано очень быстро, как бы вскользь, словно никакого спора никогда и не возникало.

— Так вот она, корова,— продолжал он восторженно, повернувшись к ней и воздевая руки, точно намеревался ее благословить.— Ну не чудо ли, что господь создал животное, которое, питаясь сеном и травой, претворяет их в молоко? Как ее зовут?

— Чернушка.

— Чернушка — а однако молоко у нее белое,— продолжал он с приличествующим священнослужителю смешком, на который отозвались только Фабрелатр и Газель.— Да я вижу здесь и твоих друзей, Эммануэль. Здравствуй, Колен. Здравствуй, Тома. Здравствуй, Жаке,— сказал он ласково, однако к ним не подошел и руки им не подал,

подчеркнув, что между хозяином и его товарищами существует разница, и немалая. Мьетте и Фальвине он только кивнул.— Я знаю также, Эмманюэль, какие щедрые подарки ты нам сделал,— произнес он, обращая на меня свой увлажненный благостью взор.— Хлеб, мясо и масло!

Перечислив очередной продукт, он воздевал руки к небу.

— Два каравая и масло мы привезли в подарок. А мясо — нет. Пойди взгляни, Фюльбер.

Я подвел его к мясной лавке.

— Как видишь, мяса тут довольно много. Половина теленка. Я сказал Лануаю, чтобы он разделал его сразу. День обещает быть жарким, а холодильников, увы, не существует.— Масло и хлеб,— повторил я,— это, как я уже сказал, подарки. А телятина нет. В обмен на телятину Мальвиль рассчитывает получить сахар и мыло.

Моя речь не понравилась Фюльберу по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, обращаясь к нему в его же вотчине, я звал его просто по имени. Во-вторых, туша разделана, и, значит, ничего не попишешь. И в-третьих, я потребовал от него бакалейные товары. Но он и виду не подал, что недоволен. Он плотоядно восторгался телятиной.

— Впервые после взрыва бомбы мы отведаем свежего мясца,— говорил он своим благозвучным баритоном, окидывая грустными глазами меня, моих товарищей и попрежнему молчавших ларокезцев.— Я счастлив за всех нас. Сам-то я — ты же знаешь, Эмманюэль, мне самому мало надо. Человек в моем состоянии, когда он одной ногой уже в могиле, съест кусочек, и довольно. Но пока я жив, я несу ответственность за скудные припасы Ла-Рока, и ты уж не обессудь, если я вынужден буду скаредничать.

— Подарки — это подарки,— холодно ответил я.— А сделка — это сделка. Если хочешь, чтобы Мальвиль продолжал торговать с Ла-Роком, вы должны дать нам в обмен что-нибудь стоящее. Думаю, если за половину телячьей туши я попрошу десять килограммов сахара и пятнадцать пачек стирального порошка, это будет в самый раз.

— Посмотрим, Эмманюэль,— кротко ответил Фюльбер.— Не знаю, много ли сахара у нас осталось.— Тут он бросил испепеляющий взгляд на Газеля, который открыл было рот.— Но мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше, чтобы тебя удовлетворить полностью или хотя бы

частично. Ты сам видел, что живем мы здесь, как нищие. Нам и не снится такое изобилие, как в Мальвиле.— Тут он бросил весьма выразительный взгляд на своих прихожан.— Не обессудь, Эммануэль, но мы даже не можем пригласить вас к обеду.

— Я все равно собирался уехать, как только получу лошадей, ружья и бакалейные товары, хотя, впрочем, не сразу. Перед отъездом мне нужно дать лошадям размяться.

И я рассказал ему о своей затее.

— Отличная мысль,— одобрил Фюльбер, которого весьма прельщала возможность проявить широту за чужой счет.— В нашем приходе, увы, так мало развлечений. Мы с радостью посмотрим твой номер, Эммануэль, в особенности если это не опасно для тебя. Ну что ж, пойдемте,— сказал он, широким, великодушным движением обеих рук подзывая к себе свою паству.— Поскольку ты спешишь, не будем терять времени. Но я что-то не вижу Кати,— заметил он, когда по его знаку Газель и Арман широко распахнули створки ворот и ларокезцы двинулись по аллее замка, говорили они все теми же приглушенными голосами, разве только чуть оживились.

— У Эвелины приступ астмы, и Кати за ней ухаживает,— ответил я Фюльберу.— Я сам слышал, как она об этом говорила.

И, чтобы отвлечь его внимание, я быстро зашагал по аллее.

Лошадей я решил оставить напоследок и попросил Фюльбера сначала выдать мне ружья, патроны, сахар и стиральный порошок. Фюльбер вверил меня попечениям своего викария, предварительно вручив ему связку ключей и что-то пошептав на ухо. Жаке и Колен шли следом за нами с двумя большими мешками в руках.

Не помню уж, кто толстяк и кто малыш в знаменитой паре американских комиков Лаурел и Харди. Во всяком случае, Газель напоминал того, который поменьше. Та же длинная шея, худое лицо, острый подбородок, глаза навыкате и явно дурацкий вид. Но у его американского двойника седоватые волосы были всклокочены, а у Газеля — не только тщательно причесаны, но еще завиты щипцами, как у моих сестер. Плечи у него были узкие, талия тонкая, бедра широкие, и одет он был в белоснежный больничный халат, подпоясанный не на животе, как обычно

у мужчин, а гораздо выше. Голос у Газеля был ни мужской, ни женский, а какой-то нейтральный.

Я шел рядом с Газелем по нескончаемому коридору замка, выложенному мраморными плитами.

— Газель,— обратился я к нему,— кажется, Фюльбер хочет рукоположить тебя в священники.

— Нет, нет, не совсем так,— возразил Газель своим не поддающимся определению голосом.— Господин кюре намерен предложить мою кандидатуру на голосование прихожанам Ла-Рока.

— И потом послать тебя в Мальвиль?

— Если вы согласитесь,— сказал Газель со смирением, в котором, как это ни странно, я не уловил ни малейшего наигрыша.

— Против тебя, Газель, мы ничего не имеем. Но с другой стороны, тебе, наверное, самому жалко покидать замок и свой маленький домик в городе.

— О, еще бы,— сказал Газель, вновь удивив меня своей искренностью.— В особенности мой домик.

— Не печалься,— успокоил его я,— тебе не придется его покидать. В воскресенье вечером верующие единогласно избрали меня аббатом Мальвиля.

Я услышал за своей спиной хихиканье и подумал: наверное, Колен, но не обернулся. Зато Газель остановился и так и уставился на меня своими глазами навыкате. Именно из-за того, что глаза у него такие выпуклые, и еще оттого, что брови вздернуты чуть ли не до середины лба, кажется, будто на лице Газеля навеки застыла маска удивления. Эта особенность и придает Газелю глуповатый вид — вид обманчивый, потому что Газель отнюдь не дурак. Я заметил также припухлость на его длинной шее. Как видно, у него начинает расти зоб. Меня это удивило, так как в наших краях базедовой болезнью чаще всего болели старухи. Так или иначе, у бедняги, должно быть, плохо дело с гормональными функциями.

— Вы уже сообщили об этом господину кюре?— спросил Газель своим жидким голоском.

— Не успел еще.

— Господин кюре будет очень недоволен,— сказал Газель, вновь зашагав по коридору.

А это значит, подумал я, что сам он ничего против такого положения вещей не имеет. Как видно, мысль о том, что ему придется покинуть Ла-Рок и уже не вылизывать

каждое утро свой и без того чистенький домик, приводила его в ужас. В общем-то, он, видать, не вредный, этот Газель. Добродушный маньяк, обожает своего кюре и мечтает очутиться в раю, даже не растрепав свои аккуратные кудряшки, не замарав свой белоснежный халат и вычищенную до блеска душу, а там забиться прямехонько под крылышко девы Марии. Безобидная личность. Впрочем, пожалуй, нет. Не такая уж безобидная, раз признал власть человека вроде Фюльбера и закрывает глаза на все несправедливости.

Дверь подвала была закрыта на два оборота ключа, Газель отпер ее. Здесь хранились сокровища, которые Фюльбер сумел выманить у ларокезцев с помощью своего красноречия. Подвал был разделен на два отсека. В первом, где мы очутились, хранилось все, кроме съестного. В другом отсеке, куда вела дверь, запертая огромным висячим замком, были сложены бакалейные товары, колбасы и вино. Туда Газель меня не впустил. Я успел заглянуть в эту кладовую только краешком глаза, когда он входил и выходил оттуда.

В первом отсеке были составлены в козлах ружья, а на полке над ними в аккуратнейшем порядке разложены боеприпасы.

— Вот,— сказал Газель своим невыразительным голосом.— Выбирай.

Я был потрясен этой щедростью. Но, сообразив, что вызвана она полнейшим невежеством Фюльбера и Газеля в военных делах, я ничем не выразил своего удивления и взглядом дал понять Колену, чтобы и он воздержался от комментариев. Я насчитал одиннадцать ружей, и среди этих одиннадцати — в основном это были деревенские охотничьи двустволки — заметил сверкающий своим великолепием, точно чистокровный рысак среди жалких кляч, «спрингфилд»: очевидно, Лормио купил его, собираясь принять участие в какой-нибудь аристократической охоте в джунглях. Дорогое ружье, из которого в полутораста метрах можно уложить буйвола (при том, конечно, условии, что два-три метких стрелка будут спрятаны неподалеку, чтобы прийти на помощь клиенту, когда он промажет). Я, однако, взял его не сразу. Сначала я проверил, есть ли к нему патроны. Патроны нужного калибра нашлись, да вдобавок их оказалось много. Два других ружья я выбрал без труда — карабин 22-го калибра с оптическим

прицелом, принадлежащий, как видно, сыну Лормио, а третьей я взял лучшую из охотничьих двустволок. Для этих ружей патронов тоже оказалось вдоволь. Мы насыпали патроны в мешок и туда же спрятали три ружья, причем я попросил Жаке обвязать мешок веревкой, чтобы в пути ружья не бились друг о друга. Тут Газель взял наш второй мешок и, попросив нас подождать — такой уж у них порядок, объяснил он извиняющимся тоном,— один вошел в кладовую и, быстро возвратившись, протянул мне полный мешок.

Зато позже, когда я пришел в стойла за лошадьми, мне пришлось повоевать с Арманом. Обеих кобыл — об их достоинствах я расскажу в свой черед,— как видно, не кормили досыта со дня катастрофы. Они отощали, да к тому же их никто не чистил, и, так как я отнюдь не собирался гарцевать на таких грязнулях, мне пришлось довольно долго скрести и обтирать их под водянистым взглядом Армана. Он не отходил от меня ни на шаг, но и пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь. Он оживился лишь тогда, когда я подошел к седельному чулану, выбрал два седла и положил их одно на другое на перегородку.

— На что тебе седла?— нагло спросил он.

— Седлать лошадей, разумеется.

— Ну нет,— сказал он.— Так дело не пойдет! Мне приказано передать тебе кобыл, а не седла. Или же верни их мне после своего представления.

— Как же, по-твоему, я доберусь до Мальвиля? Без седел? На таких-то лошадях?

— А мне какое дело? Мог свои привезти.

— В Мальвиле у меня седел ровно столько, сколько лошадей. А для этих нету.

— Тем хуже для тебя.

— Послушай, Арман, Ла-Року от этого никакого убытка не будет. Для трех ваших меринов у вас останется как раз три седла.

— А если они износятся? Чем их заменить? Да к тому же ты небось выбрал те, что получше. Седла от Эрмеса, я сам покупал их в Париже с папашей Лормио! За каждое по двести косых отгрохали. У тебя губа, видать, не дура! Да только я тоже малый не промах.

Я ничего не ответил. И вновь принялся скрести кобылу. Не в духе Армана принимать близко к сердцу интересы хозяина — будь то Лормио или Фюльбер. Почему же

он вдруг заартачился? В отместку за историю с лавкой Колена?

— Не пойму, чего ради ты кипятишься,— сказал я немного погодя.— Фюльберу плевать на эти седла.

— Точно,— сказал Арман.— Фюльбер только в одном деле мастак — комедию ломать. Но если я ему скажу: «Зря, мол, даете седла, они каждое стоят двести косых», тебе их как своих ушей не видать. Во всяком случае, задарма.

Из этого заявления я сделал два вывода. Во-первых, тут попахивало шантажом. И второе — Арман не питал ни малейшего почтения к своему кюре. Как видно, оба мошенника втайне поделили между собой власть. Газель и Фабрелатр следовали за ними, но на почтительном расстоянии, и не имели права голоса.

— Послушай, Арман,— сказал я, поднимаясь с колен и держа в одной руке щетку, в другой — скребницу.— Не говори ты этого Фюльберу.

— Чего ж ради?

— Ну какой тебе смысл говорить?

— А какой мне смысл молчать?

Дошли наконец. Я улыбнулся ему уголком рта, намекая, что, мол, понял и готов на мзду. Но он даже бровью не повел. Я снова принялся чистить лошадь. Ее спина и бока только выиграли оттого, что переговоры так затянулись — теперь они могли соперничать белизной с халатом Газеля.

Арман, опершись локтями на перегородку, глядел на меня своими водянистыми глазами, хлопая белесыми ресницами.

— Красивый у тебя перстень! Золотой,— произнес он наконец.

— Хочешь примерить?

Я снял с безымянного пальца перстень и протянул Арману. Он взял его, плотоядно выпятив губы, и, повертев во все стороны, втиснул в него наконец свой мизинец. После чего положил руку на верхний край перегородки и погрузился в блаженное созерцание. Я тут же отложил в сторону скребницу и щетку и начал седлать лошадей. В продолжение всей этой сцены не было произнесено ни слова.

Приобрел я этих двух кобыл у циркового наездника, который, как видно, решил распрощаться со своей карье-

рой. Одну звали Моргана, другую Мелюзина. Мне эти имена не нравились, но на цирковой афише, они, наверно, выглядели эффектно. Обе были белоснежно-белой масти, с длинным хвостом и густой гривой.

Господин Лормио увидел их у меня и пожелал купить вместе с тремя англо-арабскими меринами. Тщетно я убеждал его, что эти лошади пригодны лишь для цирковых или кинематографических трюков, а стало быть, на них опасно ездить тому, кто не умеет с ними обращаться. Он заупрямился, и — вот ведь кичливый выскочка! — поставил меня перед выбором: либо все пять лошадей, либо ни одной. Пришлось уступить. Впрочем, «уступить» не то слово, я-таки заставил его раскошелиться.

Я был уверен, что Лормио скоро надоест держать в конюшне лошадей, которым он не решится доверить свою драгоценную особу. Ничуть не бывало. Они еще стяжали ему лавры. Летом семьдесят шестого года он дважды приглашал Биргитту проскакать на них перед его гостями. Платил он ей по двести франков за сеанс. Правда, во время выступления лошадь должна была ее сбросить. Но за такие денежки Биргитта, которая бескорыстием не отличалась, согласилась бы, чтобы лошади сбрасывали ее хоть каждый день.

Когда я появился на эспланаде, ведя под уздцы Моргану, а за мной шел Арман с Мелюзиной, ларокезцы уже собрались на террасе замка. Я подошел к ним поближе и попросил их не трогаться с места и не кричать, если я упаду. Но я мог бы не тратить слов попусту. Сегодня я был у них вместо телевизора, и ларокезцы уже вошли в блаженную роль пассивных зрителей. При виде их детской радости, их худобы и взглядов, которые они украдкой бросали на Фюльбера — они словно заранее чувствовали себя преступниками за то, что собирались поразвлечься, — у меня сжималось сердце.

Атомный взрыв лишь опалил, но не выжег лужайку на эспланаде, и я провел Моргану два круга по этой соломенной подстилке, сам взглядом и ногой проверяя плотность земли. Земля оказалась сносной — дождь размягчил ее, но не настолько, чтобы она стала вязкой. Потом я вскочил в седло и шагом проехал два круга, а на третьем заставил Моргану проделать разные вольты, желая убедиться, что она не забыла дрессуру. Потом я начал четвертый круг и тут жестом или, вернее, жестами дал понять Моргане, что

настало время начать номер. Сжав ногами ее бока, я левой рукой подобрал поводья, а потом, крепче взяв ее в шенкеля, вытянул правую руку вперед и вверх. И Моргана начала выделывать головокружительные скачки, так что зрителям казалось, будто она хочет сбросить меня наземь. На самом же деле она беспрекословно мне повиновалась. И хотя меня здорово подкидывало, мне не грозило ни малейшей опасности, даже в те минуты, когда я отчаянно махал правой рукой, точно с трудом удерживаясь на крупе необъезженной лошади.

Трижды проделав такой номер с небольшими перерывами для отдыха, я прошел еще один круг шагом и спешился.

Фюльбер с кротким выражением лица, опираясь на балюстраду, стоял в первом ряду между Фабрелатром и Газелем, он коротко крикнул «браво» и снисходительно сдвинул ладони. И тут произошло неожиданное. Фюльбера оглушил взрыв восторга зрителей. Они неистово зааплодировали и продолжали хлопать еще долго после того, как он прекратил свою вежливую игру. Подтягивая стремена на Мелюзине, я нарочно завозился подольше, чтобы украдкой понаблюдать за Фюльбером. Он был бледен, губы сжаты, в глазах застыло беспокойство. Чем больше мне хлопали — по правде сказать, несоразмерно долго по сравнению с моим коротеньким выступлением,— тем сильнее он должен был чувствовать, что мне аплодируют в пику ему.

Я вскочил в седло. У Мелюзины была другая программа. Тут соль номера была в падении. Что за доброе и красивое животное была эта Мелюзина! И какие деньги приносила она, наверное, своему наезднику, когда на съемках какого-нибудь приключенческого фильма падала под пулями противника. На разминку у меня ушло довольно много времени. Надо было, чтобы все ее мышцы разогрелись — тогда она могла упасть, не причиняя себе вреда. Как только я почувствовал, что она размялась, я вынул ноги из стремян и скрестил стременные ремни впереди седла. Потом связал поводья узлом, чтобы их укоротить и чтобы Мелюзина не запуталась в них при падении. И тут поднял Мелюзину в галоп. Я решил, что падать мы будем на закруглении эспланады перед прямой, ближе всего подходящей к замку, и, как только мы подскакали к этому изгибу, я туго натянул левый повод, а сам наклонился в

противоположную сторону, что, естественно, нарушило равновесие — Мелюзина рухнула, сраженная вражеским обстрелом. Я в свою очередь, перелетев через холку, тоже скатился на поле битвы. Раздалось «ох» ужаса, потом, когда я встал, вздох облегчения. А Мелюзина все это время лежала замертво на боку, с закрытыми глазами — даже голову прижала к земле. Я подошел к ней, подобрал поводья, прищелкнул языком, и она сразу вскочила на ноги.

Я продемонстрировал этот номер всего дважды и, так как во второй раз я хлопнулся довольно крепко, решил, что предоставил Кати вполне достаточный срок и довольно потешил публику. Я слез с лошади и не без тайного умысла и явного вызова протянул поводья Арману. Арман из самолюбия взял поводья. А так как он уже держал на поводу Моргану, обе руки у него оказались заняты.

И тут началось нечто невообразимое. Хлопали куда громче, я сказал бы, с каким-то подчеркнутым и еще большим неистовством, чем после моего первого номера. Отчасти потому, что Арман был на время обезврежен, отчасти потому, что спортивный азарт оказался прекрасным предлогом, но, так или иначе, зрители сбежали вниз по лестнице, наводнили эспланаду и, обступив меня, громко кричали. Фюльбер остался на террасе один с Газелем и Фабрелатром, жалкая изолированная группка. Правда, Арман оказался рядом с ними, но он был занят лошадьми, которые испугались внезапно хлынувший вниз толпы, и Арман пытался удержать их, повернувшись ко мне спиной. Видя, что ему не до них, осмелевшие ларокезцы, не довольствуясь аплодисментами, стали скандировать мое имя, точно во время выборов. А некоторые даже, убедившись сперва в том, что Фюльберу их не видно со своего места — он молча и неподвижно стоял на террасе, внимательно следя за происходящим, и глаза его метали молнии,— намеренно громко кричали: «Спасибо за продукты, Эммануэль!»

Чувствовался во всей этой сцене смутный дух мятежа, и это меня поразило. А не воспользоваться ли им, подумалось мне, и сразу свергнуть власть Фюльбера? Но Арман был вооружен. Я же, садясь в седло, отдал ружья Колену, а Колен увлеченно беседовал с Аньес Пимон. Тома был погружен в свои мысли. Жаке нигде не было видно. К тому же я считал, и вообще считаю, что такого

рода дела экспромтом не делаются. И, раздвинув толпу, я направился к Фюльберу.

Он уже спускался с лестницы мне навстречу в сопровождении Газеля и Фабрелатра, властно вперив запавшие глаза не в меня, а в ларокезцев, которые еще секунду назад толпились вокруг меня, скандировали мое имя, а теперь, при его приближении, умолкли и расступались. Он холодно похвалил мое искусство, но при этом даже не взглянул в мою сторону — его взгляд перебегал с одного прихожанина на другого, как бы стремясь вернуть заблудшее стадо на путь истинный. При всем моем отвращении к нему скажу прямо, я не мог не полюбоваться его выдержкой и силой его авторитета. Он молча проводил меня до ворот замка — не дальше. Можно было подумать, что ему противно выйти на улицу и после моего отъезда оказаться наедине со своими прихожанами.

При прощании вся его елейность исчезла. Он не рассыпался в любезностях, не приглашал меня вновь навестить их. Как только последний из ларокезцев покинул эспланаду и Колен увел лошадей, зеленые ворота тут же закрылись за Фюльбером, Газелем, Фабрелатром и Арманом. И я понял, что приходский совет устроит срочное совещание, чтобы решить, каким способом как можно скорее снова прибрать паству к рукам.

Жаке опередил нас и поджидал с повозкой и Малабаром за городскими воротами — он боялся, как бы в присутствии двух кобылиц не разыгрался наш жеребец, а на узкой улице, где собралось много народу, это могло быть опасно. Когда мы выходили из южных ворот, я заметил на стене одной из двух маленьких круглых башен почтовый ящик. Он утратил свою нарядную желтую окраску, вернее, вообще утратил всякий цвет, облупился, почернел, и буквы на нем стерлись.

— Погляди,— сказал Марсель, шагая рядом со мной.— Ключ все еще торчит в замке. Бедняга почтальон сгорел в ту самую минуту, когда вынимал почту. А металлический ящик, хоть, наверно, и раскалился докрасна, все-таки выдержал.

Он повернул ключ в замке. Створка ящика открывалась и закрывалась без труда. Я отвел Марселя в сторону, мы сделали несколько шагов по дороге к Мальжаку.

— Вынь ключ и спрячь его. Если я захочу тебе что-нибудь сообщить, я опущу записку в ящик.

Он кивнул в знак согласия, а я с теплым чувством смотрел на умные черные глаза, на бородавку, подрагивающую на кончике носа, на могучие плечи, бессильные защитить Марселя от подкрадывающейся к нему тоски. Мы поболтали еще несколько минут. Я понимал, как одиноко будет Марселю, когда он вернется к себе в дом, где нет уже ни Кати, ни Эвелины и где в ближайшие дни его ждет мало приятного — Фюльбер станет ему мстить и непременно урежет паек. Но мне никак не удавалось по-настоящему собраться с мыслями. Я неотступно думал о Мальвиле, мне хотелось поскорей вернуться домой. Вне стен Мальвиля я чувствовал себя беззащитным, как рак-отшельник, лишившийся своей раковины.

Пока мы с Марселем толковали, я разглядывал окружавшую нас толпу — тут были все до одного из оставшихся в живых ларокезцев, включая даже двух младенцев: дочку Мари Лануай, жены молодого мясника, и дочку Аньес Пимон. Мьетта в полном упоении переходила от одной к другой, а Фальвина, приуставшая от болтовни со всеми городскими кумушками, уже взгромоздилась на повозку рядом с Жаке, который изо всех сил сдерживал возбужденно ржавшего Малабара.

По лицам ларокезцев, освещенным ясным полуденным солнцем, я видел, как рады они хоть на несколько минут вырваться из тесных городских стен. Однако я заметил также, что даже в отсутствие Фабрелатра они ни слова не проронили ни о своем добром пастыре, ни о раздаче съестного, ни о поражении Армана. И я начал понимать, что с помощью мелкого коварства, рассчитанной болтливости и взаимных оговоров Фюльберу удалось поселить в них дух подозрительности и неуверенности. Они не решаются даже близко подойти к Жюдит, Марселю и Пимону, ведь церковная власть как бы предала их анафеме. Да и меня самого тоже — словно после холодного прощания Фюльбера общение со мной стало опасным,— меня уже не обступали так, как на эспланаде. И когда через несколько минут я бросил им общее «до свидания» — слово, от которого не случайно воздержался Фюльбер,— они ответили мне взглядами, но издали, не отваживаясь ни подойти, ни что-нибудь сказать. Все ясно — их уже начали снова прибирать к рукам. Они прекрасно понимали, что Фюльбер заставит их дорого заплатить за справедливое распределение продуктов. И, едва успев переварить мой хлеб и мое

масло, они уже готовы были чуть ли не укорять меня за них...

Такое поведение огорчило меня, но я их не винил. Есть в рабстве своя собственная зловещая логика. Я прислушивался к тому, что мне говорил Марсель — Марсель, который остался с ними, чтобы их защищать, и с которым никто в Ла-Роке не решался заговорить, кроме Пимона и Жюдит. Зато Жюдит была просто даром небес! Сгусток мятежа! Наша Жанна д'Арк! — с той лишь разницей, что Жюдит не была девственницей, она сама подчеркнула это обстоятельство «во избежание недоразумений». Должно быть, она заметила, что Марсель приуныл, потому что вдруг очутилась с ним рядом и завладела его предплечьем, которое он отдал ей на растерзание, как мне показалось, с нескрываемым удовольствием, и с благодарностью окинул черными глазами могучие формы викинга в юбке.

Пимона, на мой взгляд, чурались меньше. Он о чем-то толковал с двумя мужчинами, которых я принял за фермеров. Я поискал глазами Аньес. Вот и она. Колен, передав Моргану молчаливому и изнервничавшемуся Тома, сам с трудом сдерживал Мелюзину и все-таки ухитрялся оживленно болтать с Аньес. В свое время мы с ним были соперниками. Он по собственному почину уступил мне поле боя, а потом, как сказал бы Расин, «он сердца нежный пыл сложил к ногам другой». А тут и я отдалился от Аньес, и она, имевшая двух воздыхателей, лишилась обоих сразу. Было отчего озлобиться, будь Аньес способна злобиться. Я видел, что она, не забывая держаться на почтительном расстоянии от Мелюзины, весьма охотно любезничает с Коленом, а Мьетта, пользуясь тем, что внимание матери отвлечено, ласкает ее малютку. Удивительное дело — я не испытал и тени ревности. Волнение, которое я почувствовал было при виде Аньес, уже улеглось.

Простившись с Марселем, я подошел к Тома и тихо сказал ему:

— Садись на Моргану.

Он посмотрел на меня, потом с испугом на Моргану.

— Ты с ума сошел! После того, что я видел!

— Ты видел цирковые трюки. Моргана — воплощенное благоразумие.

Я в двух словах объяснил ему, каких жестов не следует делать, и, так как Малабара удерживать становилось

все труднее, я принял у Колена Мелюзину, вскочил в седло и поскакал вперед, а за мной Тома. На первом же повороте я снова пустил Мелюзину шагом, опасаясь, что Малабар, потеряв кобылиц из виду, перейдет на рысь. Тома тотчас пристроился возле — нога к ноге — и молча повернул ко мне лицо, в котором не осталось и следа обычной невозмутимости.

— Тома!

— Ну? — отозвался он, с трудом сдерживая разбиравший его гнев.

— На ближайшем повороте пустишь Моргану рысью и обгонишь нас. В пяти километрах отсюда есть развилка, где стоит каменное распятие. Там ты меня подождешь.

— Опять загадки, — хмуро бросил Тома, однако пяткой слегка ткнул Моргану в бок. И она потрусила плавной рысцой.

После минутного раздумья я нагнал его.

— Тома!

— Да? — (Все так же хмуро и не глядя на меня.)

— Если заметишь что-нибудь, что тебя удивит, помни: ты на Моргане, и не вздумай поднимать правую руку. Не то очутишься на земле.

Он ошалело уставился на меня, потом вдруг понял. Лицо его озарилось, и, позабыв свой страх перед Морганой, он пустил ее вскачь. Сумасшедший! Это по макадаму-то! Хоть бы по обочине!

Я придержал Мелюзину. В пятидесяти метрах позади меня Малабар ступил на пологий спуск — сейчас не время было задавать ему слишком быстрый темп. Я был не прочь побыть в одиночестве и поразмыслить о нашем коротеньком визите в Ла-Рок. Всего пятнадцать километров от Мальвиля. И другой мир. Другой уклад. Вся нижняя часть города — скала с севера не защищала ее или, во всяком случае, защищала плохо — разрушена. Три четверти населения погибло. Ни малейших признаков общественной жизни, Марсель совершенно прав. Голод, праздность, тирания. И вдобавок неуверенность. Оборонительные сооружения превосходны, а крепость почти беззащитна. Оружия много, но его не решаются раздать на руки. Самая плодородная в округе земля — но, когда созреет урожай, справедливого распределения не жди. Несчастный, голодный, разобщенный городок — мало же у тебя надежды выжить.

Отныне я не боялся ларокезцев. Я знал, что Фюльберу никогда не поднять их против меня. Но я боялся за них, мне было их жаль. И в эту минуту, мерно покачиваясь в такт рыси Мелюзины, я решил, что в ближайшие недели и месяцы буду помогать им, чем только смогу.

Бросив случайный взгляд на поводья, я вдруг с удивлением заметил, что на моей руке нет перстня. И тут я вспомнил сцену в конюшне. Ну и болван же этот Арман! С таким же успехом я мог дать ему простой камень! Как будто теперь, через два месяца после взрыва, золото хоть что-то стоит. Все это кануло в прошлое или, если угодно, все это еще впереди. Мы вернулись к временам куда более первобытным, чем эпоха драгоценных металлов,— к эпохе натурального обмена. Век украшений и денег маячит где-то в далеком будущем, нам до него не дожить, разве что нашим внукам.

Мелюзина навострила уши и сбилась с шага, в нескольких метрах впереди на ближнем повороте посреди дороги выросла крошечная фигурка, солнце со спины подсвечивало ее волосы. Я придержал лошадь.

— Я так и знала, что встречу тебя,— сказала Эвелина, подходя ко мне без тени страха. Какой же она казалась маленькой и хрупкой рядом с могучей кобылицей!— Убежала я от этой парочки. Посмотрел бы ты, как они целуются! Будто меня здесь и нет!

Рассмеявшись, я спешился.

— Садись, поедем к ним.

Я подсадил ее в седло впереди себя — она почти не занимала места.

— Держись обеими руками за луку.

Сам я тоже вскочил в седло и протянул поводья по обе стороны ее хрупкого тела. Макушка Эвелины едва доставала мне до подбородка.

— Прислонись ко мне.

Я пустил Мелюзину галопом и почувствовал, что Эвелина дрожит.

— Ну как?

— Мне страшно.

— Обопрись покрепче. Не напрягайся. Сиди свободнее!

— Уж больно трясет.

— Упасть ты не можешь, сама видишь, у тебя с обеих сторон барьер — мои руки.

Я перехватил поводья, чтобы поддерживать ее крепче, и двести-триста метров мы проехали в молчании.

— Ну а теперь как?

— Хорошо,— сказала она совсем другим, звонким голосом.— Просто замечательно! Я суженая сеньора, и он увозит меня в свой замок.

Видно, ей все еще страшно, вот она и фантазирует. Разговаривая, Эвелина повернула ко мне голову и дышала мне в самую шею. Немного погодя она сказала:

— Ты должен покорить Ла-Рок и Курсежак.

— Как это покорить?

— С оружием в руках.

Это выражение, надо полагать, запало ей в память на уроках истории, которую она проходила в минувшем учебном году в школе. В минувшем и теперь уже последнем.

— Ну и что это изменит?— спрашиваю я.

— Ты предашь мечу Армана и кюре и станешь королем нашей страны.

Я рассмеялся.

— Ничего не скажешь — подходящая программа. Особенно мне по душе «предать мечу» Армана и кюре.

— Значит, договорились?— спрашивает Эвелина, оборачиваясь и торжественно глядя на меня.

— Хорошо, я подумаю.

Мелюзина заржала, ей ответил Малабар, уверенно трусивший в тридцати-сорока метрах позади нас, и на повороте перед нами возникла Моргана — она бесцеремонно положила морду на голову Тома, который самозабвенно целовался с Кати.

— Какие смешные — вся троица смешная,— сказала Эвелина.

— Эмманюэль,— заговорил Тома, глядя на меня затуманенными глазами.— Можно мне подсадить Кати в седло?

— Нет, нельзя.

— Но ты ведь подсадил Эвелину.

— Не тот вес. Не тот объем. Да и...

Я хотел сказать: «Да и наездник не тот», но воздержался — из-за Кати.

Но тут подлетел Малабар — он совсем взбесился, так что Жаке, сидевший на повозке за кучера, уже не мог сладить с ним в одиночку; пришлось Колену сойти и придержать его, пока Кати усаживалась рядом со своей баб-

кой. Обитатели «Прудов» обрадовались, но не удивились — при выезде из Ла-Рока Мьетта обнаружила спрятанные под мешками чемоданы и, открыв их, узнала вещи сестры.

— Вперед, Тома,— скомандовал я.— Если мы будем поблизости, Малабара не удержать.

Как только мы отъехали на порядочное расстояние, я пустил лошадь шагом.

— Эмманюэль,— обратился ко мне Тома, задыхаясь, как после долгого бега.— Кати хочет, чтобы ты нас завтра же обвенчал.

Я поглядел на него. Никогда еще я не видел его таким красавцем. Греческая статуя, внутри которой он себя замуровал, вдруг ожила. Из его глаз, ноздрей, полуоткрытых губ рвался огонь жизни. Я недоверчиво повторил:

— Кати хочет, чтобы я вас обвенчал?

— Да.

— А ты?

Он тупо посмотрел на меня.

— Разумеется, и я тоже.

— Не так уж разумеется. Помимо всего, ты атеист.

— Ну, если подходить к вопросу с этой стороны, то ведь и ты не настоящий священник,— кислым тоном ответил он.

— А вот и заблуждаешься,— живо возразил я.— Фюльбер — тот действительно не настоящий священник, потому что он лжец. А я совсем другое дело. Я не самозванец. Меня избрала верующая паства, следовательно, я посвящен в сан самым законным образом, я, так сказать, продукт ее веры. Вот почему я вполне серьезно отношусь к обрядам, которые мне предстоит отправлять.

Тома растерянно поглядел на меня.

— Но ведь ты сам,— сказал он немного погодя,— ты сам неверующий.

— По-моему, мы еще не обсуждали мои религиозные убеждения,— сухо возразил я.— Но вопрос о том, верю я или нет, не имеет никакого отношения к моим полномочиям, вполне законным.

Воцарилось молчание, потом он заговорил, и голос его дрогнул:

— Значит, ты откажешься венчать нас, потому что я атеист?

— Да нет же, нет,— возразил я.— Раз ты хочешь вступить в брак, тем самым твой брак уже узаконен. Ваше с Кати желание вступить в брак скрепляет ваш союз. Поэтому не волнуйся,— продолжал я, немного помолчав.— Я вас повенчаю. Хоть это и глупо, но повенчаю.

Он поглядел на меня с возмущением:

— Глупо?

— Еще бы! Ты женишься только потому, что Кати, придерживаясь прежних представлений, во что бы то ни стало хочет идти под венец, даже если не намерена хранить тебе верность.

Он вздрогнул и так натянул уздечку, что Моргана остановилась как вкопанная, а за ней и Мелюзина.

— Хотел бы я знать, с чего ты это взял?

— Да ни с чего. Просто высказал предположение. Я слегка ударил пяткой лошадь. Тома повторил мой маневр.

— Выходит, по-твоему, я делаю глупость, потому что она будет меня обманывать?— спросил Тома не столько с иронией, сколько с опаской.

— Делаешь глупость со всех точек зрения. Ты же знаешь, как я на это смотрю: в общине, где на шестерых мужчин всего две женщины, моногамия невозможна.

Опять воцарилось молчание.

— Я ее люблю,— сказал Тома.

Не держи я уздечку, я воздел бы руки к небу.

— Но я тоже ее люблю! И Мейсонье тоже! И Колен! И Пейсу полюбит — как только увидит!

— Я люблю ее совсем иначе,— заявил Тома.

— Ты ошибаешься — ничуть не иначе! Особенно если вспомнить, что ты познакомился с ней ровно два часа назад.

Я ждал ответа, но на сей раз этот великий спорщик не пожелал вступать в спор.

— Короче,— надменно проговорил он.— Повенчаешь ты нас или нет?

— Повенчаю.

Он сухо поблагодарил меня и замкнулся в своей раковине. Я взглянул на него. Говорить ему не хотелось. Больше всего ему хотелось остаться одному и думать о своей Кати, поскольку из-за Малабара он не мог быть рядом с ней. Лицо его было озарено каким-то сиянием, которое он излучал каждой своей клеточкой. Этот свет, идущий

из самых глубин его естества, взволновал меня. Я завидовал моему юному другу, но мне было его немного жаль. Мало он, как видно, знал женщин, если девушка, подобная Кати, произвела на него такое впечатление. Но не будем портить ему этих счастливых минут. Ему еще придется, и очень скоро, хлебнуть горя. Я пустил Мелюзину вскачь и под предлогом того, что хочу проскакать галопом по обочине, обогнал Тома. Он поскакал за мной.

И потом не меньше часа был слышен только глухой топот лошадиных копыт о землю, а позади, то дальше, то ближе, сухое цоканье подков Малабара по макадаму да грохот колес.

Почему мое сердце так безумно бьется каждый раз, когда я вижу Мальвиль? В пятистах метрах от въездной башни, расплывшись в улыбке, стоит Пейсу с ружьем на плече.

— Что ты здесь делаешь? Что случилось?

— Добрые новости,— отвечает он, улыбаясь еще шире. И с торжеством добавляет:— На Рюне взошли хлеба!

ГЛАВА XIII

И правда — взошли.

Я наскоро проглотил кусок ветчины — Мену, отрезая мне его, недовольно ворчала, потому что я отдал свою долю Марселю,— и Пейсу, размашисто шагая, повел Колена, Жаке, меня и, конечно же, Эвелину, которая ходила за мной по пятам, на рюнское поле. За плечами у нас висели ружья: пусть мы больше не боялись ларокезцев — это еще не значит, что можно отменять меры предосторожности.

Издали, пока мы спускались по каменистой старице, виднелась одна лишь вспаханная земля. Добрая, черная земля, уже не похожая на ту мертвую порошкообразную пыль, какой она была до дождя. Только подойдя совсем близко, мы разглядели ростки. Какие же они крохотные! Всего несколько миллиметров. Но при виде этих маленьких нежно-зеленых стрелочек, проклюнувшихся из земли, хотелось плакать от счастья! Правда, мы немало потрудились на этом поле, да и навоза не пожалели, но ведь дождь прошел всего четверо суток назад, солнце светит только три дня, и вот за это короткое время семена ожили, проросли, как же тут не подивиться мощи произ-

растания! Тыльной стороной ладони я пощупал землю. Она была теплая, как человеческое тело. Мне даже казалось, будто под моей рукой в ней пульсирует живая кровь.

— Теперь ей все нипочем,— с ликующим видом сказал Пейсу.

«Ей» — это он то ли о земле, то ли о рюнской ниве. А может, и о будущей жатве.

— Хм, взошли-то они взошли, это верно, да только надо, чтобы они еще заколосились...— возразил Колен.

— Заколосятся недели через две,— уверенно заявил Пейсу.

— Допустим, но не забудь, нынче все припозднилось. Успеет ли налиться зерно?

Для Пейсу эти слова прозвучали прямым кощунством.

— Пустое мелешь, Колен,— сурово одернул его он.— Коли хлеба так быстро взошли, стало быть, наверстают свое.

— Так-то оно так, да кабы только...— начал Жаке.

Пейсу повернул к нему круглую физиономию, черты его стали непривычно жесткими, так его взбесило это замечание.

— Чего «кабы только»?

— Кабы солнце еще погрело,— отважно закончил наш «серв».

— И дождь попоил,— добавил Колен.

Возмущенный таким скептицизмом, Пейсу пожал широкими плечами.

— Да неужто после всего, чего мы натерпелись, не перепадет нам малость солнца и дождя?— И, задрав кверху свою грубо обтесанную башку, Пейсу уставился на небо, точно призывая его в свидетели предельной скромности своих требований.

Стоя с друзьями у рюнской нивы, держа руку Эвелины в своей руке, я испытывал то же самое чувство, смутное, но могучее чувство благодарности, какое испытал тогда, когда хлынул дождь. Мне могут заметить, что благодарность моя как бы молчаливо признает присутствие во вселенной некой благодетельной силы. Пусть так, согласен, но понятие о ней у меня весьма расплывчатое. Скажем, не бойся я показаться смешным, я с радостью преклонил бы колена у рюнской нивы и сказал: «Спасибо тебе, теплая земля! И тебе, жаркое солнце! И вам, зеле-

ные ростки!» Отсюда — всего лишь шаг до того, чтобы, подобно древним, олицетворить землю и ростки в образах прекрасных обнаженных дев. Боюсь, для мальвильского аббата я не слишком-то ортодоксален.

Вслед за нами все обитатели Мальвиля поочередно ходили к Рюне полюбоваться ростками — даже Тома с Кати, рука об руку. Мы старались не попадаться на пути этой парочки — они могли наткнуться на человека и все равно его не заметить. С тех пор как мы приехали, Тома знакомил Кати с Мальвилем, длилось это долго — замок велик, темных закоулков в нем хоть отбавляй, а причин задерживаться там еще больше.

После полудня я расседлывал в конюшне Малабара, и при мне, конечно, находилась Эвелина. Девочка оперлась на перегородку, прямые светлые волосы падали ей на лоб, голубые глаза глубоко ввалились, она казалась совсем тощенькой и изможденной, ее мучил горловой кашель. Это беспокоило меня, а Кати, на мгновение спустившаяся с небес на землю, успела шепнуть мне, что кашель предвещает приступ астмы.

Вдруг появился Тома, раскрасневшийся, торопливый.

— Что за чудеса! — удивился я. — Ты один, без Кати?

— Как видишь, — неловко ответил он.

И умолк. Я вышел из конюшни отнести седло в седельный чулан. Тома молча поплелся за мной. Так, так, дипломатическое поручение. И поручение щекотливое, раз он пришел один. Дело ясное — прислала его сюда Кати.

Закрыв дверь стойла, я прислонился к ней спиной и, сунув руки в карманы, стал рассматривать носки своих сапог.

— Речь идет о комнате, — наконец произнес Тома упавшим голосом.

— О комнате? — переспросил я. — О какой комнате?

— О комнате для нас с Кати, когда мы поженимся.

— Хочешь, чтобы я отдал тебе свою? — спросил я кисло-сладким тоном.

— Да что ты! — возмутился Тома. — Никто не собирается тебя выселять.

— Тогда комнату Мьетты?

— Нет, нет, Мьетте нужна ее комната.

Спасибо, что хоть об этом не забыл. Но по его тону я догадался, что он уже далек от Мьетты. Да и от меня

в каком-то смысле тоже. Как он изменился, наш Тома! Мне и радостно, и грустно, и завидно. Я глядел на него. Он был сам не свой от волнения. Ладно, хватит его дразнить.

— Если я правильно тебя понял,— улыбнулся я, и его лицо тотчас озарилось,— ты хотел бы получить комнату на третьем этаже рядом с моей. Верно?

— Да.

— И ты хотел бы через меня передать нашим друзьям: выматывайтесь, мол, оттуда и переселяйтесь на постоянное жительство на третий этаж во въездную башню.

Он кашлянул.

— Это верно, только я бы не стал говорить «выматывайтесь».

Я посмеялся этой невинной хитрости.

— Ладно. Погляжу, что можно сделать. Твоя миссия окончена?— добродушно спросил я.— Ни о чем больше просить не будешь?

— Нет.

— А почему с тобой не пришла Кати?

— Она перед тобой робеет. Говорит, ты с ней очень холоден.

— Холоден?

— Да.

— Не могу же я рассыпаться в любезностях перед твоей будущей супругой. Раз уж речь идет о супружестве.

— О, я не ревнив,— усмехнулся Тома.

Нет, вы только поглядите, как он уверен в себе, этот юный петушок!

— Ладно, беги. Что-нибудь придумаем.

Он и в самом деле убежал, а в моей руке, уж не знаю, как и когда, снова очутилась маленькая теплая рука.

— Как ты думаешь,— спросила Эвелина, поднимая ко мне взволнованное лицо.— У меня тоже когда-нибудь вырастут большие груди? Как у Кати? Или как у Мьетты — у нее они еще больше, чем у Кати.

— Не беспокойся, Эвелина, вырастут.

— Правда? Ведь я такая худая,— с отчаянием сказала она, прикладывая мою левую руку к своей груди.— Потрогай, я плоская, совсем как мальчишка.

— Это неважно, худая ты или толстая, все равно они вырастут.

— Наверняка?

— Ну конечно.

— Как хорошо,— сказала она со вздохом, который перешел в приступ кашля.

В эту минуту кто-то осторожно ударил в колокол въездной башни. Я вздрогнул. В мгновение ока я очутился у двери и чуть-чуть приоткрыл глазок. Это оказался Арман с ружьем через плечо, на одном из ларокезских меринов, вид у него был хмурый.

— А-а, это ты, Арман,— приветливо сказал я.— Придется тебе немного подождать, пойду принесу ключ.

И я закрыл глазок. Ключ, разумеется, торчал в замке, но я хотел выиграть время. Я быстро отошел на несколько шагов и сказал Эвелине:

— Беги в дом, скажешь Мену, чтобы она принесла во въездную башню бутылку вина и стакан.

— Арман хочет меня увезти?— спросила Эвелина, побледнев и закашлявшись.

— Да нет же. И вообще, не беспокойся. Если он захочет тебя увезти, мы его в два счета «предадим мечу».

Я рассмеялся, она засмеялась мне в ответ тоненьким смехом и зашлась в кашле.

— Вот что, скажи Кати и Тома, чтобы они не показывались. И сама побудь с ними.

Она ушла, а я заглянул на склад, расположенный в первом этаже донжона. Здесь собрались все, кроме Тома, и разбирали имущество Колена, привезенное из Ла-Рока.

— К нам пожаловал гость — Арман. Пусть Пейсу и Мейсонье придут во въездную башню с ружьями. Просто так, на всякий случай — он нам не опасен.

— Хотелось бы мне потолковать с этой скотиной,— заявил Колен.

— Нет, ни тебе, ни Жаке, ни Тома этого делать не следует, и ты сам знаешь почему.

Колен прыснул. Приятно было видеть его в таком веселом настроении. Коротенькая беседа с Аньес Пимон явно пошла ему на пользу.

Когда я проходил через внутренний двор, навстречу мне из маленького замка пулей вылетел Тома.

— Я с тобой.

— То есть как это со мной?— сухо спросил я.— Я же нарочно просил передать тебе, чтобы ты не показывался.

— Если не ошибаюсь, речь идет все-таки о моей жене,— ответил он, сверкая глазами.

Я понял, что мне его не убедить.

— Хорошо, пойдем, но при одном условии — будешь молчать.

— Ладно.

— Чтобы я ни говорил, молчи.

— Я же сказал — ладно.

Я поспешил к воротам. Но прежде чем их отпереть, я повертел ключ в замке. Вот и Арман. Я пожал ему руку, у него на мизинце красовался мой перстень. Да, да, вот он, Арман: водянистые глаза, белесые ресницы, приплюснутый нос, прыщи, полувоенная форма. А рядом с ним мой красавец Фараон. Бедняга, я потрепал его по холке, поговорил с ним. Недаром я назвал его беднягой — как не пожалеть коня, когда наездник уже успел истерзать ему весь рот. Несмотря на строжайшую экономию, соблюдаемую в Мальвиле, я нашел в кармане кусок сахара, и мерин сразу схватил его своими добрыми губами. Тут появились Момо и Мену со стаканами и бутылками. Я попросил Момо заняться Фараоном, разнуздать его и насыпать полное ведро овса. В ответ на такую расточительность Мену грозно заворчала.

И вот мы уселись в кухне въездной башни, где к нам присоединились Мейсонье и Пейсу, добродушные, но при оружии. Когда в руке Армана очутился полный стакан, я, видя замешательство нашего гостя — не из-за стакана конечно, а из-за того, что́ ему предстояло нам сказать,— сам перешел в наступление, решив действовать напрямик.

— Очень рад тебя видеть, Арман,— начал я, чокаясь с ним. Я намеревался только пригубить, в это время дня я никогда не пью, но я знал, что Момо с удовольствием долакает оставшееся вино.— Я как раз собирался послать к вам гонца, чтобы успокоить Марселя. Бедняга Марсель, воображаю, в какой он тревоге.

— Значит, они у вас?— спросил Арман, колеблясь между вопросительной и обвинительной интонацией.

— Конечно, а где же им еще быть? Разыграли все как по нотам. Мы обнаружили их на развилке Ригуди. Стоят и чемоданы в руке держат. Старшая мне и говорит: «Хочу, мол, погостить две недельки у бабушки». Поставь себя на мое место: у меня просто не хватило духу их отослать.

— Они не имели права,— огрызнулся Арман.

Самое время одернуть его, сохраняя при этом вполне добродушный тон. Я воздел руки к небу.

— Не имели права? Как это не имели права? Ну и хватил ты, Арман! Не имели права две недели погостить у родной бабушки?

Тома, Мейсонье, Пейсу и Мену уставились на Армана с молчаливым укором. Я тоже глядел на него. За нас — семья. На нашей стороне — священные узы родства!

Желая скрыть замешательство, Арман уткнул свой приплюснутый нос в стакан и высосал вино до дна.

— Еще стаканчик, Арман?

— Не откажусь.

Мену заворчала, однако налила. Я чокнулся с Арманом, но пить не стал.

— В чем они и впрямь виноваты,— рассудительно продолжал я беспристрастным тоном,— так это что они не спросили разрешения у Марселя.

— И у Фюльбера,— добавил Арман, опорожнивший до половины и второй стакан.

Но я не намерен был делать ему такую уступку.

— У Марселя, а тот сообщил бы Фюльберу.

Не настолько Арман был глуп, чтобы не уловить оттенка. Но рассуждать о ларокезских указах в Мальвиле он не решился. Одним глотком осушив стакан, он поставил его на стол. Тщетны были бы все старания Момо — на донышке не осталось ни капли.

— Ну а дальше что?— спросил Арман.

— А то, что через две недели мы отвезем их в Ла-Рок,— сказал я вставая.— Передай это от меня Марселю.

Я не решался взглянуть в тот угол, где сидел Тома. Арман покосился на бутылку, но, коль скоро я не выразил намерения предложить ему третий стакан, он встал и, не сказав ни слова, даже не поблагодарив, выбрался из кухни. Думаю, просто от неловкости: когда люди его не боялись, он не знал, как себя с ними держать.

Момо взнуздывал счастливого Фараона. Ведро у его ног было пусто — вылизано подчистую, до последнего зернышка. И всадник, и конь пустились восвояси, обоих хорошо угостили, но благодарность испытывал только конь. Он-то не забудет Мальвиль.

— До свидания, Арман.

— До свидания,— буркнул всадник.

Я не сразу захлопнул за ним ворота. Я смотрел ему вслед. Мне хотелось, чтобы он отъехал подальше и не услышал бушеваний Тома. Не спеша закрыл створки ворот, задвинул щеколду, повернул в замке громадный ключ.

Взрыв оказался еще сильнее, чем я ожидал.

— Как понять эту гнусность?— кричал Тома, наступая на меня и глядя прямо мне в лицо выкаченными от ярости глазами.

Я выпрямился, молча взглянул на него и, круто повернувшись, зашагал к подъемному мосту. Я слышал, как за моей спиной Пейсу выговаривал ему:

— Не много же толку от твоей учености, парень, раз ты такой болван. Ты что, вправду поверил, что Эммануэль отдаст девчонок? Плохо же ты его знаешь!

— Но тогда,— орал Тома (потому что он именно орал),— к чему все эти выкрутасы?

— А ты спроси у него самого, может, он тебе и объяснит,— резко оборвал его Мейсонье.

Я услышал за собой чьи-то быстрые шаги. Это был Тома. Он зашагал рядом со мной. Разумеется, я его не замечал. Глядел на мост. Шел все так же быстро, руки в карманы, подбородок кверху.

— Прости меня,— проговорил он беззвучно.

— Плевал я на твои извинения, мы не в гостиной.

Начало мало обнадеживающее. Но ему ничего не оставалось, как стоять на своем.

— Пейсу говорит, что ты не отдашь девочек.

— Пейсу ошибается. Завтра я вас обвенчаю, а через две недели отошлю Кати в Ла-Рок — пусть Фюльбер с ней позабавится.

Эта шуточка сомнительного вкуса неизвестно почему его успокоила.

— Но к чему же тогда вся эта комедия?— спросил он жалобным тоном, что было ему отнюдь не свойственно.— Ничего не понимаю.

— Не понимаешь, потому что думаешь только о себе.

— О себе?

— А Марсель? О нем ты подумал?

— А почему я должен думать о Марселе?

— Потому что расплачиваться-то придется ему.

— Расплачиваться?

— Да, неприятностями, урезанным пайком и всем прочим.

Наступило короткое молчание.

— Я ведь этого не знал,— сказал Тома покаянным голосом.

— Вот почему я пожал руку этому гаду,— продолжал я,— и изобразил ему все как проделку двух девчонок. Чтобы отвести подозрения от Марселя.

— А что будет через две недели?

Все-таки еще беспокоится, болван.

— Да ведь это же ясно как день. Напишу Фюльберу, что вы с Кати влюбились друг в друга, что я вас обвенчал и что Кати, естественно, должна жить при муже.

— А кто помешает Фюльберу тогда выместить злобу на Марселе?

— За что же? События приняли непредвиденный оборот — и придется ему помалкивать. Предварительного сговора не было. Марсель ни при чем.

И я закончил довольно холодно:

— Вот причина всех этих выкрутасов, как ты выражаешься.

Долгое молчание.

— Ты сердишься, Эммануэль?

Пожав плечами, я расстался с ним и пошел обратно — к Пейсу и Мейсонье. Надо было еще уладить вопрос с комнатой. Ну и молодцы! Они не просто согласились, чтобы их переселили, но согласились с радостью.

— Пусть их, птенчики, а как же иначе,— растроганно сказал Пейсу, позабыв, что минуту назад обозвал одного из птенчиков болваном.

Но все растрогались еще больше, когда назавтра я обвенчал Кати и Тома в большой зале. Все разместились так же, как в тот раз, когда мессу служил Фюльбер: я спиной к двум оконным проемам, стол вместо алтаря, а по другую его сторону, лицом ко мне, в два ряда — все остальные. Мену, проявив неслыханную щедрость, водрузила на алтарь две толстенные свечи, хотя день стоял ясный, и солнечный свет, лившийся в зал через два больших окна со средниками, положил на плиты пола два огромных креста. У всех, даже у мужчин, глаза были влажными. И когда настала пора причащаться, причастились все, в том числе и Мейсонье. Мену разливалась в три ручья — я объясню потом почему. Но совсем по-дру-

гому плакала Мьетта. Плакала она беззвучно, и слезы медленно ползли по ее свежим щекам. Бедняжка Мьетта! Мне самому чудилась какая-то несправедливость в том, что мы так славим и чествуем ту, которая спит только с одним.

По окончании брачной церемонии я отвел Мейсонье в сторону, и мы с ним стали расхаживать по внешнему двору. С Мейсонье тоже произошла перемена, правда, еле уловимая. Лицо все то же длинное, серьезное, близко посаженные глаза, та же манера часто моргать в минуты волнения. Меняет его другое — прическа. Поскольку парикмахеров не существует, волосы Мейсонье, как я уже говорил, отросли и торчали сначала, как щетка, но со временем легли на плечи, и в облике Мейсонье появилась плавная линия, которой ему так недоставало.

— Я заметил, что ты принял причастие,— сказал я безразличным тоном.— Можно спросить — почему?

Его честное лицо слегка зарделось, он по привычке заморгал.

— Я сначала заколебался было,— не сразу ответил он.— Потом подумал, что своим отказом могу обидеть других. Да и не хочется быть на особицу.

— И ты прав,— подхватил я.— Почему бы вообще не толковать причастие именно в этом смысле? Как некую сопричастность.

Он удивленно поднял на меня глаза.

— Ты хочешь сказать, что ты толкуешь его именно так?

— Безусловно. На мой взгляд, социальное содержание причастия — очень важно.

— Важнее всего?

Коварный вопрос. Мне показалось, что Мейсонье старается перетянуть меня на свою сторону. Я сказал: «Нет», но не стал вдаваться в объяснения.

— Я тоже хочу задать тебе вопрос,— сказал Мейсонье.— Для чего ты устроил так, чтобы тебя избрали аббатом Мальвиля? Только ради того, чтобы избавиться от Газеля?

Если бы такой вопрос мне задал Тòма, я бы лишний раз подумал, прежде чем ответить. Но я знал, что Мейсонье не станет делать скороспелых выводов. Он долго еще будет пережевывать мой ответ и придет к осторожным умозаключениям. И я сказал, взвешивая каждое слово:

— Если хочешь, на мой взгляд, любой цивилизации необходима душа.

— И эта душа — религия?

Произнося эту фразу, он поморщился. Два слова ему претили: «душа» и «религия». Два совершенно «устаревших» понятия. Мейсонье — образованный член партии, он проходил школу партийных кадров.

— При нынешнем положении вещей — да.

Он задумался над этим утверждением, в котором содержалась и оговорка. Мейсонье — тугодум, он продвигается вперед шаг за шагом. Но зато ему чужда поверхностность суждений. Он попросил меня уточнить свою мысль.

— Душа нашей нынешней цивилизации здесь, в Мальвиле?

Слово «душа» он произнес, как бы заключив его в кавычки, мне даже показалось, что он манипулировал им на расстоянии, с помощью пинцета.

— Да.

— Ты хочешь сказать, что душа — это вера большинства обитателей Мальвиля?

— Не только. Я считаю, что это также душа, соответствующая нынешнему уровню нашей цивилизации.

На деле же все обстояло несколько сложнее. Я упростил, чтобы не покоробить Мейсонье. И все же его покоробило. Он покраснел, потом поморгал, значит, собрался перейти в контрнаступление.

— Но этой, как ты выражаешься, «душой» с таким же успехом может быть философия. Например, марксизм.

Ага, дошли наконец.

— Марксизм имеет дело с индустриальным обществом. В эпоху первобытно-аграрного коммунизма он неприменим.

Мейсонье остановился, повернулся и уставился на меня. Как видно, мои слова произвели на него глубокое впечатление. Тем более что говорил я совершенно спокойно, как бы сообщая о чем-то само собой разумеющемся.

— Стало быть, вот как ты определяешь наше маленькое мальвильское общество. Первобытно-аграрный коммунизм.

— А как же иначе?

— Но ведь первобытно-аграрный коммунизм — это не настоящий коммунизм,— заметил он с видом глубокого огорчения.

— Не мне тебя этому учить.

— Стало быть, это регресс?

— Ты сам это знаешь.

Забавно. Можно было подумать, что он больше доверяет моему суждению, чем своему собственному, хоть я и не марксист. Казалось, от моих слов ему стало легче. Если он не мог больше мечтать о подлинном коммунизме, то по крайней мере мог хранить его в сознании как некий идеал.

— Регресс в том смысле, что наука и техника уничтожены,— продолжал я.— А потому существование человека стало менее безопасным, более угрожаемым. Но это вовсе не значит, что мы сделались более несчастными. Наоборот.

Я тут же раскаялся в своих словах, ведь передо мной стоял человек, всего два месяца назад потерявший своих близких. Но Мейсонье как будто даже не вспомнил об этом, и непохоже было, что я его задел. Он посмотрел на меня и молча, неторопливо кивнул головой. По-видимому, и он тоже почувствовал, что после катастрофы любовь к жизни стала глубже, а общественные радости острее.

Я тоже молчал. Я думал. Изменилась шкала ценностей — вот в чем все дело. Взять, например, Мальвиль. Прежде Мальвиль был чем-то что ли искусственным — просто реставрированный замок. И жил я в нем один. Гордился им и, отчасти из корысти, отчасти из тщеславия, собирался открыть его для туристов. А сейчас Мальвиль нечто совсем иное. Мальвиль — это племя, с его землями, стадами, запасами сена и зерна; это мужчины, единые, как пальцы на руке, и женщины, которые понесут от нас детей. И еще это наше убежище, наша берлога, наше орлиное гнездо. Его стены — наша защита, и мы знаем, что в этих же стенах мы будем погребены.

В этот вечер Эвелина, которая все еще кашляла не переставая, захватила за столом место Тома справа от меня. Он переместился на один стул дальше без всяких возражений, Кати села справа от него. Теперь нас было за столом двенадцать. Все прочие остались на своих местах, кроме Момо — уж не знаю как, но он занял место Мену на дальнем конце стола, а она оказалась слева от

Колена. Теперь у Момо была завидная стратегическая позиция. В зимнюю пору ему будет тепло, как раз за спиной у него очаг. А главное, ему были хорошо видны и Кати, его соседка слева, и Мьетта, сидящая напротив. Набивая себе рот, он переводил взгляд с одной на другую. Однако смотрел он на них по-разному. На Кати с каким-то радостным удивлением, как султан, обнаруживший в своем гареме новую красавицу. На Мьетту — с обожанием.

Так или иначе, но Кати как будто не докучало соседство Момо. Что-что, а поклонение было ей по душе. Пожалуй, наоборот, на ее взгляд, товарищи Тома вели себя слишком сдержанно. Зато Момо вознаграждал ее с лихвой. Чего стоил его взгляд, где детская невинность сочеталась с похотью сатира. К тому же соседство с ним перестало быть непереносимо тягостным. С тех пор как Мьетта взялась его мыть, сидевшему с ним рядом не приходилось затыкать нос. Правда, он отправлял в рот огромные куски пищи, а потом заталкивал их поглубже пальцами, но в остальном вид у него был вполне благопристойный. Впрочем, Кати приняла решительные меры. Она завладела тарелкой Момо, мелко нарезала ветчину, разломила на кусочки его порцию хлеба и поставила снова перед ним. Очарованный Момо с восторгом предоставил ей действовать. А когда она кончила, протянул свою длинную обезьянью лапу и несколько раз похлопал ее по плечу, приговаривая: «Ан холо, ан холо» (Она хорошая, она хорошая). И Мену ни разу не одернула сына.

Когда я вез в Мальвиль Эвелину и Кати, я больше всего боялся гнева Мену. Однако повела она себя более чем сдержанно.

— Бедный мой Эммануэль,— только и сказала она,— посадил нам на шею еще двух вертихвосток и двух кобыл.

Иными словами — лишние рты. Но с тех пор как на рюнской пашне взошли хлеба, Мену стала не так бояться голода. А когда в Мальвиле играли свадьбу, она была на седьмом небе от счастья. Мену вообще обожала свадьбы. Бывало, венчаются в Мальжаке даже малознакомые ей люди — она все бросит на ферме «Семь Буков» и мчится на велосипеде в церковь. «Старая дуреха,— говаривал дядя,— опять покатила слезы лить». И верно, Мену устраивалась на паперти — в церковь она не входила, по-

тому что была в ссоре со священником, это он отказал Момо в причастии,— и, как только появлялись жених с невестой, она заливалась слезами. И это женщина с таким трезвым умом — просто удивительно!

Момо был очарован также и Эвелиной, но Эвелина не обращала на него ни малейшего внимания. Она не сводила глаз с меня. Стоило мне повернуть голову, и я встречался с ней глазами, но и не оборачиваясь, я чувствовал на себе ее взгляд. Мне даже казалось, что моя правая щека начинает гореть под этим пристальным взглядом. А стоило мне отложить вилку и опустить правую руку на стол, маленькая ручонка тотчас проскальзывала под мою ладонь.

Когда после ужина я, чтобы размяться, стал прохаживаться по большой зале, ко мне подошла Кати.

— Мне надо с тобой поговорить.

— Вот как,— отозвался я.— Стало быть, ты меня больше не боишься?

— Как видишь,— улыбнулась она.

Она очень походила на сестру — с той только разницей, что в ее глазах не было выражения животной кротости. Ради свадьбы она сменила свои пестрые тряпки на простенькое темно-синее платьице с белым воротничком. В нем она была гораздо милее. Лицо ее светилось торжеством и счастьем. Я предпочел бы, чтобы оно светилось только одним счастьем. Но так или иначе, она излучала свет, согревавший каждого своим теплом. Была в этом известная щедрость души. О нет, не та, что у Мьетты, Мьетта — сплошная душевная щедрость. Но все же я не забыл, как Кати резала за столом ветчину для Момо и как не раз с тревогой склонялась к Эвелине, когда у той начинался приступ кашля.

— Ты все еще считаешь, что я слишком с тобой холоден?— спросил я, обвивая ее рукой за шею и целуя в щеку.

— Эге-ге!— воскликнул Пейсу.— Гляди в оба, Тома!

Все рассмеялись. Кати вернула мне поцелуй, который, кстати сказать, пришелся в уголок губ, и не спеша высвободилась из моих объятий, весьма довольная, что присоединила мой скальп к остальным. Я тоже в общем был доволен. Зная, что никогда не буду спать с Кати, я предвидел приятную непринужденность наших с ней отношений.

— Во-первых,— сказала она,— спасибо за комнату.

— Благодари тех, кто тебе ее уступил.

— Уж поблагодарила,— без смущения ответила она.— А тебе спасибо за хлопоты, Эммануэль. И в особенности за то, что принял меня в Мальвиль. Словом,— добавила она неожиданно смешавшись,— спасибо за все.

Я понял, что она намекает на маленький спор, о котором ей, как видно, рассказал Тома, и улыбнулся.

— Я хотела предупредить тебя,— продолжала она, понизив голос,— у Эвелины ночью наверняка будет приступ. Она кашляет вот уже два дня.

— А что надо делать во время приступа?

— Ничего особенного. Просто побыть рядом, успокоить, а если у тебя есть одеколон, ты смочишь ей лоб и грудь.

Я взял на заметку это «ты смочишь». Но по лицу Кати догадался, что самое трудное ей еще предстояло сказать. И решил прийти ей на помощь.

— И ты хочешь, чтобы этой ночью с ней повозился я?

— Да,— подтвердила она с облегчением.— Понимаешь, бабушка перепугается, начнет суетиться, кудахтать — а как раз это-то и ни к чему.

Здорово она описала Фальвину! Я кивнул в знак согласия.

— Значит,— сказала она,— можно передать бабушке, чтобы она зашла за тобой, если у Эвелины начнется приступ?

Я покачал головой.

— Ничего не выйдет. Ночью дверь донжона запирается изнутри.

— А на одну ночь нельзя?..

— Ни в коем случае,— возразил я сурово.— Правила безопасности не допускают никаких нарушений.

Она посмотрела на меня, не скрывая разочарования.

— Есть другой выход,— предложил я.— Я уложу Эвелину в своей спальне, на диване Тома.

— Нет, правда?— обрадовалась она.

— А почему бы нет?

— Предупреждаю тебя,— честно сказала Кати,— если ты возьмешь ее к себе — кончено дело. Она от тебя в жизни не уйдет.

Я улыбнулся.

— Не беспокойся. Когда-нибудь я ее так или иначе выставлю.

Она тоже улыбнулась. Я видел, что у нее камень с души свалился.

Эвелина первую ночь после своего приезда в Мальвиль провела в комнате Фальвины и Жаке на третьем этаже маленького замка и теперь, узнав, что будет ночевать у меня, пришла в неистовый восторг. Но недолго ей пришлось радоваться. Не успела она лечь на диван, не успела Мьетта, которая помогла мне постелить ей постель, выйти из комнаты, как начался приступ. Эвелина стала задыхаться. Нос у нее заострился, со лба струился пот. Мне никогда не приходилось видеть приступ астмы, зрелище оказалось ужасным — живое существо не может вздохнуть. Прошло несколько секунд, прежде чем я справился с волнением. А это было необходимо в первую очередь, потому что Эвелина смотрела на меня испуганными глазами и, чтобы ее успокоить, я должен был успокоиться сам. Я усадил ее, подложил ей под спину подушки, но подушки не держались, потому что в изголовье не было валика. Тогда я перенес Эвелину на свою кровать. На большую двуспальную кровать, доставшуюся мне от дяди, с валиком в головах, к которому я и прислонил девочку. Я избегал на нее смотреть. Она боролась с удушьем, а мне казалось, что она вот-вот задохнется. Коптилка давала мало света, но ночь была светлая, и я видел заострившиеся черты Эвелины. Я настежь распахнул окно и, взяв из шкафа последний флакон одеколона, смочил им махровую купальную варежку и провел ею по лбу и груди девочки. Она даже не взглянула на меня. Говорить она не могла: уставив глаза в одну точку прямо перед собой, запрокинув голову, с мокрым от пота лицом, она кашляла и задыхалась. Очевидно, пряди волос, спадающие на лоб, мешали ей, я нашарил в ящике стола обрывок бечевки и завязал ей волосы сзади.

Вот и все, чем я мог помочь ей: флакон одеколона да обрывок бечевки. У меня не было ни медицинской энциклопедии, ни знаний в этой области, да и, по правде сказать, я сомневался, что дядин десятитомный Ларусс сможет мне пригодиться в данном случае. Все же я с трудом — потому что коптилка отбрасывала слабый свет — прочел статью об астме. Но там я нашел только перечень не существующих ныне лекарств: белладонна, атропин,

но окаин. Конечно, смешно было бы искать в Ларуссе народные средства. А только они одни и были мне сейчас нужны.

Я посмотрел на Эвелину. И физически ощутил все наше убожество, всю нашу беспомощность. И еще я подумал о том, что будет, если у меня опять случится приступ аппендицита,— ведь я так и не лег на операцию, когда это было совсем просто.

Я присел рядом с Эвелиной. И тут она бросила на меня такой тоскливый взгляд, что у меня горло перехватило. Я заговорил с ней, сказал, что все пройдет, а как только она отводила глаза, исподтишка наблюдал за ней. Вскоре я заметил, что ей труднее дается выдох, чем вдох. Уж не знаю почему, я предполагал обратное. Если я правильно понял, она задыхалась дважды: во-первых, потому что недостаточно быстро избавлялась от того воздуха, что задерживался в легких, во-вторых, потому что вдыхала свежий недостаточно быстро. Как видно, торможение играло бóльшую роль при выдохе. Кроме того, она кашляла. Верно, пыталась освободиться от того, что мешало ей дышать. Кашляла сухим кашлем, вся содрогалась от него, теряя силы, а откашляться не могла.

Я глядел на ее худенькую грудь, которая судорожно поднималась и опадала, и вдруг мне пришла в голову простая мысль. А что если я сделаю ей искусственное дыхание? Не положу ее навзничь, а вот в этом же сидячем положении — чтобы дать ей возможность кашлять и, если понадобится, сплюнуть мокроту. Сидя на кровати, я оперся о валик и, приподняв Эвелину, усадил ее между своими коленями спиной к себе. Взяв ее за предплечья, я при каждом ее выдохе стал делать двойное движение: наклонял ее плечи вперед одновременно с верхней частью корпуса, а при вдохе наоборот — отводил ее плечи назад, и верхнюю часть корпуса подтягивал к себе, пока она спиной не упиралась мне в грудь.

Не знаю, была ли от этого какая-нибудь польза. Может, врачи посмеялись бы над моими усилиями. Но по-видимому, я все-таки отчасти помог Эвелине, помог хотя бы морально, потому что она вдруг сказала мне слабым, еле слышным голоском: «Спасибо, Эмманюэль».

Я продолжал свое. Она полностью подчинялась моим движениям, но, хотя тело ее было легче перышка, мне все труднее давались эти манипуляции. Возможно, я

вздремнул от усталости, потому что в коптилке кончилось масло и она потухла, а я этого не заметил.

Должно быть, уже среди ночи — я положил ручные часы на письменный стол и утратил всякое представление о времени — Эвелина зашлась в глубоком приступе кашля, а потом невнятным голосом попросила у меня носовой платок. Я услышал, как она долго, мучительно отхаркивается. Приступы кашля повторялись еще много раз, и каждый раз она сплевывала мокроту. Потом она привалилась к моей груди, совсем измученная, но дышать ей стало легче.

Когда я снова открыл глаза, уже давно рассвело, солнце заливало комнату, я полулежал поперек кровати в неудобной позе, а Эвелина, спящая глубоким сном, покоилась в моих объятиях. Верно, я, как сидел скорчившись, так и заснул. Я встал и почувствовал, что левая нога у меня совсем затекла и по ней бегают мурашки. Так как Эвелина тоже лежала вся скрючившись, я уложил ее поудобнее и развязал бечевку, которой собрал ее волосы, она даже не проснулась. Глаза у нее ввалились, щеки запали, лицо побелело, и, если бы легкое дыхание не поднимало ее грудь, можно было бы подумать, что она умерла.

В одиннадцать часов я ее разбудил, принес ей на маленьком подносе чашку горячего молока и кусочек хлеба с маслом. Но заставить ее проглотить хоть что-нибудь оказалось делом нелегким. В конце концов я добился коекакого успеха, чередуя посулы с угрозами. Угрозы или, вернее, угроза состояла в том, что, если она не будет есть, я нынче же вечером распоряжусь перенести ее постель в маленький замок. Угроза подействовала, она отпила несколько глотков, но потом с неслыханным проворством ответила шантажом на шантаж. Если я не пообещаю оставить ее в моей комнате, есть она не станет, и все. В конце концов мы пошли на компромисс. Отопьет глоток молока — выигрывает день, откусит кусочек хлеба с маслом — другой. После нудной торговли мы наконец установили, что́ считать глотком и что куском.

Когда Эвелина справилась с завтраком, то, по нашим подсчетам, она могла пользоваться моим гостеприимством еще двадцать два дня. Но так как я боялся, что в дальнейшем она сумеет обвести меня вокруг пальца, я

сохранил за собой право сократить этот срок, если она будет плохо есть за обедом.

— У-у, хитрец! — воскликнула она. — А вдруг ты станешь подкладывать мне в тарелку еще и еще?

Я пообещал ей, что обмана не будет и Эвелине выделят порцию соответственно ее возрасту, а размеры этой порции мы согласуем с присутствующими. Как видно, в хрупком тельце Эвелины таились неисчерпаемые запасы жизненных сил, потому что после этой страшной ночи она весело и оживленно препиралась со мной. Только под конец она немного скисла. Она хотела было встать, но я не разрешил. Пусть поспит до полудня, а в полдень я за ней приду. «Обещаешь, Эмманюэль?» Я пообещал, и она проводила меня взглядом до самой двери. Казалось, ее головка не оставляет даже вмятины на подушке. На бледном личике — огромные глаза. Почти нет ни тела, ни лица — одни глаза.

Спустившись вниз с пустой чашкой на подносе, я наткнулся во дворе около донжона на маленькую группу: Тома, Пейсу, Колен — руки в карманах. И рядом Мьетта — мне показалось, что она меня поджидает. И в самом деле, когда я подошел, она выхватила из моих рук поднос и понесла его на кухню, бросив мне на прощанье взгляд, который меня озадачил.

— Вот какие дела, Эмманюэль, — сказал Пейсу, — кончили мы раскладывать все эти коленовские железки. И теперь слоняемся без толку.

— А где Мейсонье?

— Ему-то хорошо, он при деле. Выполняет твой заказ — лук мастерит. Жаке и Момо ходят за скотиной. А нам куда приткнуться? Не глядеть же в самом деле с утра до вечера, как хлеба растут.

— А чего, — заметил Колен со своей ладьеобразной ухмылкой. — Дело всегда найдется. Скажем нашим женщинам — лежите, мол, по утрам в постели, а мы будем вам завтрак подавать.

Все расхохотались.

— Пинка под зад захотел, Колен? — спросил я.

— Но вообще-то это правда, — поддержал Тома, — от безделья тоска берет.

Я поглядел на него. Что-то непохоже, чтобы он заскучал. Скорее уж его клонит в сон. И не так уж он рвется работать, во всяком случае, нынче утром. И если он тор-

чит здесь и присоединился к хору безработных, хотя его до смерти тянет прочь отсюда, то, скорее всего, потому, что не желает, чтобы считали, будто он цепляется за женину юбку.

— Правильно сделали, что сказали мне,— заявил я.— У меня в запасе целая программа. Первое — уроки верховой езды для всех. Второе — уроки стрельбы. Третье — надстроить крепостную стену въездной башни, чтобы через нее нельзя было перелезть.

— Стрельбы?— переспросил Колен.— Патронов жалко. У нас их и так немного.

— При чем тут патроны? Помнишь, дядя подарил мне маленький карабин для стрельбы в тире? Я случайно его обнаружил на чердаке. И большой запас дроби. Для тренировки хватит.

Пейсу больше беспокоила наружная крепостная стена. Сын каменщика, да и сам мастер на все руки, он не прочь был заняться стеной. Тем более что цемента у нас вдоволь — привезли вместе с прочей добычей из «Прудов». Песка тоже хватает, да и камней. Пейсу уже об этом подумывал. И все-таки...

— И все-таки, не хочется портить вид,— сказал он,— если стену надстроить, зубцы пропадут. А без зубцов некрасиво. Глазу чего-то не будет хватать.

— Что-нибудь придумаешь,— сказал я.— Уж наверное, как-то можно соединить красоту с безопасностью.

Пейсу с сомнением поморщился и сурово покачал головой. Но я знал нашего Пейсу, он был просто счастлив. Теперь он день и ночь будет обдумывать, как получше надстроить стену. Набросает чертежи. Приступит к работе. А когда труд будет завершен, каждый раз, возвращаясь с поля и взглянув на въездную башню, он будет думать, хотя и не скажет вслух: «Это дело моих, Пейсу, рук».

— Тома,— сказал я,— поди покажи им, как седлают коней. Возьми трех кобыл, только не Красотку. Я приду к вам в Родилку.

Я направился в маленький замок и там в доме застал четырех наших женщин — двух старух и двух молодых — в разгаре работы. Клан Фальвины оказался теперь в абсолютном большинстве — трое против одной. Но Мену была не из тех, что дадут себя в обиду. Как раз когда я открыл дверь, она отчитывала Фальвину. Молодые помал-

кивали: одна потому, что была немой, вторая из осторожности.

— Мьетта, можно тебя на минутку?

Мьетта подбежала ко мне. Я вывел ее из залы, прикрыв за собой дверь. Короткая заштопанная шерстяная юбка, вылинявшая кофточка без рукавов, все на редкость чистенькое, и босые ноги. Мьетта мыла полы и не успела обуться. Я бросил взгляд на плиты двора, на ее босые ноги, на ее великолепную черную гриву и под конец заглянул в ее глаза, кротким выражением напоминающие глаза лошади. Потом снова взглянул на ее ноги. Не знаю, почему они вдруг меня растрогали, хотя не было в них ничего трогательного: большие, крепкие. Наверное, просто потому, что босые ноги Мьетты довершали тот облик юной дикарки, какой представилась она мне в это утро. Я тогда еще подумал: вот Ева каменного века явилась мне из глубины веков. Глупейшая мысль. «Сексуальная переоценка»,— сказал бы Тома. Будто сам он сейчас не стал жертвой такой переоценки.

— Мьетта, ты сердишься?

Она покачала головой. Нет, не сердится.

— Что с тобой?

Она снова покачала головой. Ничего.

— Послушай, Мьетта, ты как-то странно на меня посмотрела сегодня утром.

Она стоит передо мной, покорная, но замкнувшаяся в себе.

— Послушай, Мьетта, ну скажи, в чем дело!

В ее ласковом, устремленном на меня взгляде мне чудится легкий упрек.

— Мьетта, объясни же, что произошло?

Она глядит на меня, уронив руки вдоль тела. Ни движения, ни улыбки. Она дважды нема.

— Мьетта, если что-нибудь не так, ты обязана мне сказать. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю.

Она важно кивает головой. Она это знает.

— Тогда в чем же дело?

Та же неподвижность.

— Мьетта!

Я взял ее за плечи, притянул к себе и поцеловал в щеку. Тогда она вдруг обвила меня руками за шею, крепко прижала к себе, но не поцеловала и, тотчас вырвавшись из моих объятий, бегом бросилась в дом.

Все это произошло так стремительно, что я еще несколько секунд стоял, уставившись на створки тяжелой дубовой двери, которую она не успела захлопнуть.

Когда я думаю теперь о тех двух месяцах, что последовали за этим утром, больше всего меня поражает медлительность их течения. Меж тем дел у нас хватало. Тир, верховая езда, надстройка наружной крепостной стены (в этой работе все мы стали подручными долговязого Пейсу), а я еще давал Эвелине уроки гимнастики, учил арифметике и грамматике.

Все мы были заняты, даже очень заняты, но при этом нам некуда было спешить. Слишком много у нас оказалось досуга. Ритм жизни замедлился. Странное дело — хотя количество часов в каждом дне осталось прежним, дни теперь казались куда более долгими. По сути, все те машины, которые призваны были облегчить нашу работу, а именно: автомобиль, телефон, трактор, молотилка, поперечная дисковая пила,— конечно, облегчали наше существование, но вместе с тем они ускоряли темп жизни. Люди стремились делать слишком многое и слишком быстро. Машины всегда наступали нам на пятки, подгоняли нас.

Прежде, скажем, чтобы съездить в Ла-Рок и сообщить Фюльберу о том, что Кати и Тома поженились, если я почему-либо не захотел бы прибегнуть к телефону, мне понадобилось бы девять с половиной минут на автомашине, и то потому, что дорога сильно петляет. А теперь, когда я поехал туда верхом вместе с Коленом, который во что бы то ни стало захотел меня сопровождать — конечно же, чтобы повидать Аньес,— мы потратили на это добрый час. После того как я сообщил новость Фабрелатру — Фюльбер еще нежился в постели,— мы не смогли тотчас пуститься в обратный путь, потому что лошади, проскакав пятнадцать километров, нуждались в отдыхе. Вдобавок на обратном пути, желая избавить их от макадама, я выбрал более короткую дорогу лесом, но, так как на каждом шагу наш путь преграждали поваленные деревья, мы еще больше задержались. Короче, выехав засветло, мы вернулись только к полудню, уставшие, но в общем-то довольные: Колен — тем, что поговорил с Аньес, я — тем, что там и сям из земли и даже на деревьях, которые казались безнадежно мертвыми, появляются зеленые ростки.

Заметил я также, что и наши движения стали более

замедленными. Они как бы приспособились к новому ритму жизни. С лошади ведь слезают не так, как выскакивают из машины. Тут не приходится хлопать дверцей, а потом, заслышав телефонный звонок, через три ступеньки взлетать по лестнице, чтобы поскорее схватить трубку. Я спешиваюсь у входа, веду Амаранту в ее стойло, расседлываю и жду, пока она хорошенько обсохнет, чтобы ее почистить и напоить. На это уходит минут тридцать, не меньше.

Возможно, жизнь стала короче, потому что исчезла медицина. Но поскольку мы стали жить медленнее, поскольку дни и годы не проносятся стремительно мимо нас — словом, поскольку у нас появилось время жить,— так ли уж много мы потеряли?

Даже отношения с людьми заметно обогатились от этой неторопливости. Стоит только сравнить! Вот, например, Жермен, бедняга Жермен, который умер у нас на глазах в День происшествия. Много лет он был моим ближайшим помощником, а я его, можно сказать, не знал, хуже того, знал ровно настолько, чтобы использовать. Отвратительное слово «использовать», когда речь идет о живом человеке. Но я был как все, мне было некогда. Вечно одно и то же: телефон, письма, машина, ежегодные аукционы верховых лошадей в больших городах, бухгалтерские ведомости, писанина, налоговый инспектор... При таком ритме жизни человеческие отношения исчезают.

В начале августа к нам в гости пожаловал старик Пужес. Выехал из Ла-Рока просто покататься на велосипеде, как и каждый день, и добрался до нас. Не могу не отметить спортивной выдержки этого семидесятипятилетнего старикана — тридцать километров туда и обратно по мерзкой дороге, чтобы выпить два стаканчика вина! На мой взгляд, он их честно заработал. Но нельзя сказать, что Мену приняла его с распростертыми объятиями. Я взял бутылку у нее из рук, а ее отослал в дом.

— Чего я ей сделал?— жалобно спросил Пужес, подкручивая кончики висячих усов.

— Да ничего, не обращай внимания,— сказал я.— Бабьи штучки!

На самом-то деле я прекрасно знал, за что именно его не любит Мену: сорок семь лет назад Пужес завлек ее покойного мужа к Аделаиде — как известно, это отразилось на семейном мире родителей Момо и на кличках, ко-

торые она давала своим свиньям. Полстолетия не смягчили обиды Мену.

— И как у тебя духу только хватает принимать этакое отребье? — сказала она мне перед ужином. — Бездельник, пьяница и ходок.

— Ну, ну, Мену, ходить теперь ему, бедняге, не к кому — разве что кататься на велосипеде. А пьет он не больше тебя.

Пужес сообщил мне ларокезские новости. В воскресенье в часовне Фюльбер объявил прихожанам во время проповеди о моем двурушничестве, как он выразился, и прошелся по адресу Кати.

— Я-то сразу смекнул — это он просто подначивает. Спасибо, возле Марселя Жюдит сидела: они, сдается мне, ладят между собой. В общем, как увидела она, что Марсель весь даже побагровел, положила она свою ручищу ему на руку, а сама повернулась к Фюльберу и говорит ему, это посреди проповеди-то: «Извините, мол, господин кюре, но я в церковь пришла слушать о господе боге, а не о ваших с мсье Контом личных распрях из-за некой молодой особы». Ты же знаешь, как она говорит — как печатает. Вроде бы вежливо, а голос чисто генеральский. Ну, твое здоровье.

— И твое.

— На другое утро он ей паек урезал. А она возьми и обойди весь город со своим пайком, всем его показывает, а потом говорит Фабрелатру: «Вот что, мсье Фабрелатр, передайте господину кюре мою благодарность за то, что он заставил меня попоститься. Но если завтра я не получу такого пайка, как все, я пойду просить милостыню в Мальвиль». И что бы ты думал, Эммануэль? На другой день она получила паек, как и все.

— Выходит, иной раз оно не повредит быть похрабрее, — заметил я, поглядывая на Пужеса.

— Само собой, само собой, — уклончиво отозвался Пужес, вынимая из кармана платок и тщательно обтирая свои длинные пожелтевшие усы.

Обтирал он их, сказал бы я, не только опрятности ради. Но и чтобы дать мне понять — стакан его пуст. Я снова налил ему до краев. Потом коротким щелчком загнал пробку в горлышко. Больше, мол, не рассчитывай.

Потягивая первый стакан, Пужес поддерживал со мной беседу. Но смакуя второй, как видно, решил, что распла-

тился со мной достаточно щедро. И замолчал. Второй стакан — это, так сказать, угощение на даровщинку, как у Аделаиды. Тут неуместна мирская суета... Воспользовавшись его молчанием, я написал несколько строк Марселю — Пужес опустит письмо в почтовый ящик и шепнет словечко Марселю. Так он не навлечет на себя никаких подозрений. В письме я дал совет Марселю организовать две оппозиции — одну, направленную против Фюльбера, открытую и вежливую, ее будет вести Жюдит. Другую против Фабрелатра — тайную и оскорбительную.

Из всех нас прав оказался Пейсу. Именно он утверждал, что рюнские хлеба «наверстают свое». Пятнадцатого августа — правда, с большим запозданием — хлеба заколосились, к двадцать пятому налились, а вскоре как-то к вечеру на полосе, самой близкой к Рюне, тот же Пейсу обнаружил сломанные стебли, обглоданные колосья и следы чьих-то лап.

— Это барсук,— сказал он.— И большой к тому же. Смотри, как широко расставляет лапы.

— Барсук ест кукурузу,— возразил Колен.— Или виноград.

Пейсу пожал плечами.

— Даже спорить неохота,— ответил он, вступая в спор.— Пошевели мозгами — кукурузы-то нет! Этот поганец во время взрыва укрылся, видно, в своей норе. А барсучьи норы, знаешь, какие глубокие.

— А что же он с тех пор ел?— спросил Жаке.

— Он не ел, а спал.

Пейсу прав, подумал я. Правда, в наших краях, где холода умеренные, а пищу добывать легко, барсуки давно уже не впадают в зимнюю спячку. Но, как видно, у них сохранилась способность в голодные времена дремать в глубине норы, понемногу расходуя запасы подкожного жира и ожидая наступления лучших дней.

Собрали военный совет. Раньше крестьяне, чтобы отпугнуть барсука, довольствовались тем, что жгли костры на краю пашни. Но сейчас наше мстительное чувство этим удовлетвориться не могло. Мы хотели не отпугнуть, а уничтожить этого подлого зверя. Вековая ненависть крестьянина к тому, кто грозит его урожаю, с небывалой силой охватила наши сердца.

На склоне холма по ту сторону Рюны шагах в двадцати от засеянного участка мы вырыли небольшую яму и по-

крыли ее навесом на четырех столбах. Навес не только служил прикрытием стрелку, он защищал также от дождя и ветра. И Мейсонье, который разработал план нашей засады, внес сверх того еще кое-какие усовершенствования — устлал дно траншеи плотным решетчатым настилом, чтобы уберечь нас от сырости.

— Сквозь резиновые сапоги, даже самые толстые,— пояснил он,— сырость все равно до костей пробирает.

Разбились на пары, чтобы нести ночное дежурство в нашей маленькой землянке, дежурили даже женщины, во всяком случае молодые, которые за эти два месяца выучились неплохо стрелять. Кати, конечно, попала в пару с Тома. Я думал, что Мьетта выберет меня, но она выбрала Жаке. Поскольку Жаке отпал, Пейсу выбрал Колена, а я — Мейсонье. Эвелина устроила мне сцену — Мьетта, как видно, это и предвидела,— потребовав, чтобы я брал и ее с собой на дежурство, и, так как я поначалу решительно отказался, объявила голодовку — пришлось уступить.

Прошла неделя. Никаких следов барсука. Хотя сам он распространяет страшное зловоние, но, должно быть, обоняние у него острое, и он нас учуял. Впрочем, с его точки зрения, это мы, наверное, смердим. Так или иначе дежурства продолжались.

Время текло медленно, как река. Я проснулся на заре, разбуженный первыми лучами. С тех пор как установилась погода, я не закрывал окон. Мне нравилось, проснувшись по утрам, смотреть, как зеленеет лежащий напротив холм. Невероятно! Кто бы мог подумать еще два месяца назад, что мы будем любоваться травой, листвой — правда не на деревьях, они в большинстве погибли,— но зато бесчисленные маленькие кустики, воспользовавшись гибелью своих гигантов-соседей, стали бурно разрастаться. Потом я перевел взгляд на Эвелину, спавшую на диване Тома. Введенная нами система, по которой за каждый съеденный ею кусок хлеба и глоток молока я расплачивался гостеприимством, привела к тому, что, допущенная в мою спальню на одну ночь, Эвелина прожила в ней два месяца. Но я не решался расторгнуть наш договор, потому что он, несомненно, пошел ей на пользу. На щеках заиграл румянец, лицо округлилось, появились мускулы. И, хотя вопреки моим предсказаниям ее грудь попрежнему была плоской, гимнастика укрепила мышцы

грудной клетки: Эвелина быстрее всех научилась ездить верхом, потому что бесстрашно и легко вскакивала в седло, колотила маленькими ступнями по бокам лошади, чтобы поднять ее в галоп, и светлые косы летели за ней по ветру. Это я велел ей заплетать косы во время уроков верховой езды, с тех пор как однажды, садясь на Моргану, она подняла правую руку, чтобы откинуть назад свои длинные волосы, и Моргана начала выделывать головокружительные скачки, так что Эвелина вылетела из седла прямо в кусты, к счастью, не причинив себе вреда.

В ту самую минуту, когда, почувствовав на себе мой взгляд, Эвелина открыла глаза, раздался выстрел, затем — второй и четверть секунды спустя — третий. Мое изумление сразу же сменилось тревогой. Пейсу и Колен провели ночь в засаде, сейчас им полагалось бы возвратиться восвояси. Днем барсук никогда не решится выйти на промысел. А если бы и решился, неужели Колен и Пейсу стреляли бы трижды, чтобы его уложить? Я вскочил, торопливо натянул брюки.

— Эвелина, беги во въездную башню, скажешь Мейсонье, чтобы взял ружье, отпер ворота и ждал меня.

Месяц назад я счел более разумным раздать ружья на руки, с тем чтобы каждый хранил свое личное оружие у себя в комнате. В случае ночного нападения у нас было три ружья во въездной башне, три в донжоне и ружье Жаке в маленьком замке, кроме тех случаев, когда Жаке, как сегодня, ночевал у Мьетты.

Эвелина босиком, в ночной рубашке бросилась к Мейсонье, а я, на ходу застегиваясь, выскочил из спальни, и в ту же минуту на пороге своей комнаты появился Тома, голый до пояса, в пижамных брюках.

— Что случилось?

— Берите оба свои ружья и становитесь у въездной башни. Ни шагу оттуда. Будете охранять Мальвиль. Да поживее. Не тратьте время на одевание!

Прыгая через три ступеньки, я слетел по винтовой лестнице и столкнулся с Жаке, выходящим из комнаты Мьетты. Он оказался проворней, чем Тома,— на нем были брюки, в руках ружье. Не обменявшись ни словом, мы оба бросились к воротам.

Добежав до середины внешнего двора, мы услышали со стороны Рюны пятый выстрел. Я остановился, зарядил ружье и выстрелил в воздух. Я надеялся, наши друзья

поймут: мы рядом. Я помчался дальше. И увидел, как Мейсонье с ружьем в руках открывает ворота. Я издали крикнул ему:

— Беги, беги, я за тобой.

Пока я останавливался, чтобы выстрелить, Жаке опередил меня. Выскочив следом за ним из ворот, я пустился вниз по склону, но, услышав за собой чье-то дыхание, обернулся и увидел Эвелину — босая, в ночной рубашке, она неслась во весь дух, пытаясь меня догнать.

Не помня себя от гнева, я остановился, схватил ее за руку, встряхнул и крикнул:

— Черт бы тебя драл! Куда тебя несет! Сию же минуту назад!

Она закричала, тараща обезумевшие глаза:

— Не хочу! Я от тебя не уйду!

— Назад!— зарычал я.

Перебросив ружье из правой руки в левую, я со всего маха отвесил ей две затрещины. Она повиновалась, как побитая собачонка, и медленно, до ужаса медленно, попятилась к воротам, глядя на меня перепуганными глазами.

— Назад!— рычал я.

Я терял драгоценные секунды! А Кати и Тома все еще не видно! Впрочем, им я все равно не мог бы ее поручить! Да и Мену тоже — у распахнутых ворот она пыталась удержать Момо, обеими руками вцепившись ему в рубаху.

Вскинув Эвелину на плечо, я бегом вернулся к воротам и, как мешок, сбросил ее во дворе.

В это мгновение рубаха Момо затрещала, он вырвался из рук матери и бегом ринулся вниз по склону к Рюне.

— Момо, Момо!— в отчаянии кричала Мену, бросаясь следом за ним.

А тех двоих по-прежнему нет как нет! Чудовищно! Наверняка она наводит красоту. А он ее ждет!

Бросив Эвелину, я помчался по дороге, обогнал Мену, которая мелко семенила своими худыми короткими ногами, крикнул: «Момо! Момо!» Но я уже знал — мне его не догнать. Он бежал, как бегают дети, почти не отрывая ног от земли, но очень быстро, совсем не задыхаясь. Крутой поворот вывел меня к старице, и я увидел не оборачиваясь — нижняя часть дороги шла здесь почти параллельно верхней,— как Мену бежит что есть силы, а ее догоняет Эвелина! Я обомлел от этого чудовищного

самовольства. Не знаю почему, но теперь я уже не сомневался, что Кати с Тома тоже бросят свой пост и побегут за нами, и Мальвиль останется без охраны. Все наше имущество, все наши запасы, наши животные — все будет брошено на произвол судьбы: кто вошел, тот и взял! Я бежал, в отчаянии стиснув зубы, сердце колотилось о ребра, горло сжимало до боли. Я был вне себя от ярости и тревоги.

Выскочив к Рюне, я еще издали увидел застывших цепочкой спиной ко мне Пейсу, Колена, Мейсонье и Жаке с ружьями в руках. Они не двигались. Не разговаривали. Казалось, они окаменели. Я не мог понять, что их так потрясло, потому что видел только их спины. Во всяком случае, они не были похожи на людей, которым грозит опасность, которым надо защищаться, или на охваченных страхом. Они онемели, обратились в статуи и, даже услышав, что я бегу не обернулись.

Наконец я добежал до них, но они не вышли из своего оцепенения, даже не посторонились. И тут я увидел, увидел сам.

Метрах в двенадцати ниже нас по склону десятка два оборванных, дошедших до последней степени истощения людей — не бледных, а каких-то желтовато-серых,— кожа на лицах висит, некоторые ослабели настолько, что не могут смотреть прямо и зловеще косят,— сидят на корточках или лежат плашмя на нашей ниве и, пугливо повизгивая, пожирают еще не созревшие колосья. Они даже не успевают вылущивать как следует зерно, они съедают колос целиком. Я замечаю, что рты у них вымазаны чем-то зеленым — значит, прежде чем наткнуться на нашу пшеницу, они пытались есть траву. Они похожи на остовы животных. В косящих глазах сверкают страх и жадность. Запихивая колосья себе в пасть, они искоса поглядывают на нас. А поперхнувшись, выплевывают свою жвачку в горсть и заглатывают ее снова. Есть среди них и женщины. Их можно отличить только по более длинным волосам, потому что от устрашающей худобы исчезли все внешние признаки пола. Ружей у них нет. Но рядом с ними, брошенные среди колосьев, лежат вилы и дубины.

Вид их внушал такую жалость, что я не сразу сообразил, что они уже погубили четверть нашего урожая и, если мы срочно не примем меры, загубят его целиком.

И не только то, что они съедят. Большую часть колосьев они просто вытопчут или поломают, ведь они лежат на них. А зерно, которое они истребляют и пожирают,— это наша жизнь. Если позволить безнаказанно уничтожать хлеб Мальвиля, его обитатели тоже превратятся в изголодавшуюся бродячую банду. Потому что я уверен — это только первая ласточка. Увидев, что земля оживает, покрывается зеленью, они вышли на поиски пищи.

Пейсу стоял рядом со мной. Но казалось, он даже не замечал моего присутствия. Пот ручьями стекал по его лицу.

— Мы уже все перепробовали,— заговорил Колен, задыхаясь от гнева и горя.— Уговаривали и бранились, даже в воздух стреляли. Бросали в них камни. Представляешь: камни, а им хоть бы что, прикроют голову рукой и продолжают жрать!

— Да кто эти люди?— спросил Мейсонье, и в голосе его прозвучала такая растерянность, что в другую минуту я не преминул бы посмеяться над ним.— Откуда взялись?— И в бессильной ярости он закричал на местном диалекте:— Убирайтесь вы отсюда, черт вас дери! Вы нам весь хлеб повытоптали. А мы-то что будем есть?

— Эх, чего там,— сказал Колен,— по-каковски с ними ни говори, они все равно не отвечают. Жрут себе, и всё тут. А мы-то грешили на несчастного барсука.

— А если разогнать их прикладами?— хрипло спросил Пейсу.

Я помотал головой. Не следует полагаться на их слабость. Загнанный зверь способен на все. И потом, приклады против вил — уж слишком неравной будет борьба. Нет. Я знаю, каков единственный разумный выход. И мои товарищи знают. Но я не могу. Стоя на краю пашни с ружьем в руках — предохранитель спущен, пуля послана в ствол, палец на спусковом крючке,— я, мало сказать, колеблюсь. Вопреки велению рассудка, я не могу шелохнуться. Я оцепенел, как все.

Единственный, кому не стоится на месте,— это Момо. Я знал, как легко он возбудим, но в таком неистовстве я его ни разу еще не видел. Он топает ногами, воздевает руки к небу, трясет кулаком, рычит. Его затопила безумная ярость. Обратив ко мне взъерошенную голову и горящие глаза, он голосом и жестами заклинает меня положить конец грабежу.

— А-хе! А-хе! (Наш хлеб, наш хлеб!),— пронзительно кричит он.

Должно быть, грабители дрались между собой или же с другой бандой, потому что одежда их вся в лохмотьях, и сквозь эти грязные, черные, как земля, лохмотья видны ляжки, груди, спины. Когда одна из этих несчастных женщин на четвереньках переползала от колоса к колосу, ее дряблые, сморщенные груди волочились по земле. На ней хоть были туфли, но у большинства ноги в обмотках. Среди них ни детей, ни подростков, ни стариков. Те, у кого сопротивляемость меньше, погибли. Перед нами люди «в расцвете лет». В применении к этим скелетам такое выражение кажется жестокой насмешкой. Я поражен тем, как торчат у них тазовые кости, какими огромными кажутся колени, лопатки, ключицы. Когда они жуют, видно, как движутся челюстные мышцы. Кожа, обтягивающая кости, висит сморщенным мешком, от них исходит какой-то затхлый запах, от него мутит и к горлу подступает комок.

— А-хе! А-хе!— вопит Момо, обеими руками вцепившись в волосы, словно пытаясь снять с себя скальп.

Правой рукой я сжимаю ружье, но оно по-прежнему опущено дулом к земле. Я не в силах вскинуть его на плечо. Я испытываю жгучую ненависть к этим чужакам, к этим грабителям, потому что они пожирают нашу жизнь. И еще потому, что и мы, мальвильцы, станем такими же, если позволим расхищать наше добро. Но в то же время я охвачен смешанной с омерзением жалостью, которая перевешивает ненависть и лишает меня сил.

— А-хе! А-хе!— воет Момо, дошедший до крайней степени возбуждения.

И вдруг, стремительно пробежав десять метров, отделяющих нас от банды, он с воем набрасывается на ближайшего грабителя и молотит его кулаком, пинает ногами.

— Момо! Момо!— кричит Мену.

Кто-то засмеялся — кажется, Пейсу. Меня тоже разбирает смех. От любви к Момо, потому что эта нелепая детская выходка так в его духе. И еще потому, что все, что делает Момо, нельзя принимать всерьез — ведь Момо живет как бы вне рамок суровой повседневности, Момо «в счет не идет». Я представить себе не могу, что с Момо вообще может что-нибудь случиться, мы его так всегда берегли — и Мену, и дядя, и я, и все мои товарищи.

С опозданием на полсекунды увидел я дикий взгляд чужака. С опозданием на четверть секунды — взмах вил. Я думал, что успею выстрелить. Но не успел. Зубья вил вонзились в сердце Момо в тот самый миг, когда моя пуля настигла его врага, пробив ему горло.

Оба упали одновременно. Я услышал нечеловеческий вопль, увидел, как Мену ринулась вперед и рухнула на тело сына. Тогда я как автомат двинулся вперед, стреляя на ходу. Справа и слева от меня цепочкой двинулись мои товарищи, они тоже стреляли. Мы стреляли не целясь. В голове у меня было пусто. Я твердил про себя: «Момо убит», но ничего не чувствовал. Я шел вперед и стрелял. Идти уже было некуда — мы подошли вплотную к ниве. Но мы все равно механически, мерно шли вперед, словно косцы в поле.

Уже никто не шевелился, а мы все еще стреляли. Пока не кончились патроны.

ГЛАВА XIV

В первые дни никто, кроме Мену, не осознал по-настоящему гибели Момо; мы как-то не до конца поверили в нее, да к тому же в течение двух недель после набега банды, которую мы уничтожили, нам пришлось с утра до вечера работать не разгибая спины.

Первым делом надо было похоронить убитых. Страшная это была работа, и осложнялась она еще тем, что я запретил приближаться к трупам. Я боялся, как бы от пришельцев мы не набрались паразитов — паразиты занесут к нам эпидемии, а против них мы бессильны. Я помнил, что блохи переносят чуму, а вши сыпной тиф. От нас требовалась особая осторожность еще и потому, что несчастные бродяги были до крайности измождены и, судя по обмоткам на ногах, пришли издалека.

Рядом с местом побоища мы выкопали яму, в яму набросали охапки хвороста, на него уложили поленья, так что верхний ряд приходился как раз на уровне поля. Потом, сделав затяжную петлю на конце длинного шеста, мы накидывали ее на ноги очередного мертвеца и, держась на расстоянии, волоком подтаскивали его к вершине костра. Всего убитых было восемнадцать, в том числе пять женщин.

В одиннадцать часов вечера мы бросили последнюю лопату земли на еще тлеющую золу. Я считал, что не следует возвращаться в Мальвиль в той самой одежде, в какой мы работали. Я позвонил в колокол у ворот въездной башни и, когда Кати открыла нам, сказал ей, чтобы они вдвоем с Мьеттой вынесли за ворота два чана с водой, в которых стирали белье. В эти чаны мы сбросили всю одежду, в том числе нательное белье, и нагишом вернулись в замок, где по очереди приняли душ в ванной комнате донжона. Затем тщательно осмотрели друг друга, но паразитов не обнаружили. На другой день перед воротами въездной башни разожгли большой костер и долго кипятили в чанах одежду, только после этого мы внесли ее во двор и разложили сушить на солнце.

Мы вшестером поужинали в большой зале. Кати прислуживала нам. Эвелина тоже была здесь, но я не сказал ей ни слова, да и она сама не посмела подойти ко мне. Мьетта, Фальвина и Мену бодрствовали у тела Момо во въездной башне. За едой все молчали. Я был разбит усталостью, мои чувства словно бы притупились. Кроме простого животного удовлетворения от того, что я ем, пью и силы мои восстанавливаются, я испытывал лишь неодолимое желание спать.

Но о сне не могло быть и речи. В тот же вечер, сразу после ужина, надо было провести собрание и принять важные решения. Я настоял, чтобы на собрание не звали женщин. Мне предстояло высказать Тома много неприятных истин, и я не хотел, чтобы их слышала Кати. Не хотел я также, чтобы Эвелина — я ее из своей спальни не выставил, но не разговаривал с ней — присутствовала при наших спорах.

На лицах собравшихся лежала печать усталости и скорби. Я начал говорить без нажима, осторожно выбирая слова. Сказал, что мы пережили трудные часы. И наделали ошибок... Надо вместе подвести итоги дня. Но сначала пусть каждый выскажет свое мнение о случившемся.

Настало долгое молчание.

— Начинай ты, Колен— сказал я.

— Я чего ж,— заговорил Колен охрипшим голосом, ни на кого не глядя.— Жалко Момо, но и других убитых тоже жалко.

— Теперь ты, Мейсонье.

— Я считаю, что мы были плохо организованы,— сказал Мейсонье,— и было много нарушений дисциплины.

Он высказал все это, тоже ни на кого не глядя.

— Ты, Пейсу.

Пейсу приподнял могучие плечи и положил на стол свои огромные ручищи.

— Что ж,— сказал он.— Бедняга Момо вроде бы сам виноват. И все ж таки Колен верно говорит...

Он умолк.

— Ты, Жаке.

— Я согласен с Коленом.

— Ты, Тома.

Я нарочно назвал его последним, чтобы подчеркнуть свою холодность, но он сам, как бы заранее предвидя ее, не сел рядом со мной на место Эвелины, хотя оно было свободно. Тома выпрямился. Он не оборачивался ко мне, он глядел прямо перед собой, и я видел только его застывший профиль. Он сидел очень прямо, даже как-то неестественно прямо, но сунул руки в карманы, что было ему вообще несвойственно. Я тут же подумал, что он прячет руки не ради того, чтобы придать себе развязный вид, а потому, наверное, что они у него слегка дрожат.

Тома заговорил, голос плохо ему повиновался.

— Поскольку Мейсонье упомянул о нарушениях дисциплины, я хочу сказать, что ставлю себе в вину два нарушения. Во-первых, когда началась стрельба, Эммануэль сказал мне, чтобы я не одевался, а, взяв ружье, бежал в чем есть вниз. А я задержался, чтобы одеться, и спустился к въездной башне слишком поздно, и потому не помог Мену удержать Момо.

Он судорожно глотнул.

— Во-вторых, Эммануэль приказал мне вместе с Кати нести караул на валу, а я своевольно решил бежать на подмогу к Рюне. Я сознаю, что совершил серьезную ошибку, бросив Мальвиль без всякой охраны. Если бы банда, с которой нам пришлось столкнуться, была организованна, она могла бы разделиться надвое — одна группа, напавшая на наши посевы, отвлекла бы нас к Рюне, а вторая тем временем завладела бы замком.

Знай я Тома не так хорошо, как я его знал, я бы подумал, что он ловчит. Ведь, сам себя обвинив, он выбил оружие из наших рук. Как выступить с обвинительной речью против того, кто сам себя обвиняет? Но я знал —

в действительности устами Тома говорила суровая требовательность к себе самому. Единственная его хитрость, если только уместно употребить здесь это слово, состояла в том, что он постарался выгородить жену. Это было трогательно, но и довольно опасно. Потому что у меня были некоторые соображения насчет того, какую роль в его неподчинении приказу сыграла Кати, и об этом-то я и собирался поговорить.

— Я очень ценю твою откровенность, Тома,— сказал я все так же без нажима.— Но мне сдается, что ты слишком выгораживаешь Кати. Ответь мне: это она потребовала, чтобы вы сначала оделись?

Я поглядел на него. Я знал, лгать он не станет.

— Да,— ответил Тома, и голос его дрогнул.— Но поскольку я с ней согласился, стало быть, за наше опоздание ответственность несу я.

Нелегко далось ему это признание. Тома был как на дыбе. И все-таки я от него не отстану.

— А когда вы оказались на валу, это Кати предложила сбегать к Рюне поглядеть, что там делается?

— Да,— ответил Тома, покраснев до корней волос.— Но я виноват, что согласился. Значит, за эту ошибку отвечаю один я.

— Виноваты вы оба,— оборвал его я.— У Кати те же права и те же обязанности, что у всех нас.

— Не считая того,— стиснув зубы, проговорил Тома,— что она не имеет права присутствовать на собрании, где ты ее критикуешь.

— Я просто хотел избавить ее от этого. Но если, потвоему, мы должны ее выслушать, позови ее. Мы подождем.

Молчание. Все смотрят на него. Он опустил глаза, руки засунуты глубоко в карманы. Губы дрожат.

— Не стоит,— наконец выговорил он.

— В таком случае предлагаю обсудить точку зрения Колена — если не ошибаюсь, ее разделяют Пейсу и Жаке.

— Я еще не кончил,— сказал Тома.

— Ну так говори скорее!— нетерпеливо воскликнул я.— Заладил одно и то же. Никто тебе рта не зажимает!

— Я готов нести ответственность за последствия своих ошибок,— продолжал Тома,— и могу уйти с Кати из Мальвиля.

Я пожал плечами и, так как он молчал, спросил:

— Теперь кончил?

— Нет,— глухо отозвался Тома.— Поскольку впредь до особого решения я пока мальвилец, я имею право высказаться по вопросу, который мы обсуждаем.

— Высказывайся. Кто же тебе мешает?

Помолчав, он произнес чуть более уверенным тоном:

— Я не разделяю мнения Колена. По-моему, не следует сожалеть о том, что мы убили грабителей. Наоборот, я считаю, что Эммануэль совершил ошибку, не решившись открыть стрельбу раньше. Не мешкай он так долго, Момо был бы сейчас жив.

В ответ не раздалось ни «ого», ни «вот как», не последовало того, что называется «волнение в зале», но на всех лицах выразилось неодобрение. Однако на сей раз я решил: не стану пускаться на хитрости. Не стану использовать «поддержку масс». Дело идет о слишком серьезных вещах.

— Ты не слишком тактично выразился, Тома, но в твоих словах есть доля истины,— спокойно произнес я.— Однако я возьму на себя смелость тебя поправить. Я совершил не одну ошибку, а целых две.

Я посмотрел на товарищей и замолчал. Я мог позволить себе помолчать. Я до крайности возбудил их внимание.

— Первая ошибка,— вновь заговорил я,— ошибка общего характера. Я проявил слабость по отношению к Эвелине. Показав пример того, как взрослый мужчина пляшет под дудку девчонки, я внес в нашу общину дух разболтанности и способствовал расшатыванию дисциплины. А конкретно это привело к тому, что, не будь у меня на руках Эвелины, когда я выбежал из замка и бросился к Рюне, я мог бы помочь Мену удержать Момо, хотя бы пока не подоспел Тома.

И, выдержав паузу, я добавил:

— Я говорю это не для того, чтобы упиваться самокритикой, Тома. А для того, чтобы показать тебе, что я одинаково расцениваю и слабость, проявленную мной по отношению к Эвелине, и твою — по отношению к Кати.

— С той только разницей, что Эвелина тебе не жена,— заметил Тома.

— А по-твоему, это отягчающее обстоятельство?— холодно спросил я.

Он замолк, окончательно сбитый с толку. Думаю, он хотел сказать другое: то, что он муж Кати, смягчает, мол, его вину. Но разъяснять это при всех означало бы прямо признаться в своей слабости. У него сохранилось традиционное представление — и в его случае более чем превратное — о роли мужчины в браке как главы семьи.

— Вторая ошибка: как сказал Тома, я слишком поздно решил открыть стрельбу по грабителям.

Мейсонье воздел обе руки к небу.

— Будем же справедливы! — заявил он решительно. — Если тут была ошибка, не ты один в ней виноват. Ни у кого из нас не поднималась рука выстрелить в этих горемык. Такие худющие! Такие голодные!

— Скажи, Тома, ты тоже испытал такое чувство? — спросил я.

— Да, — ответил он без колебаний.

Люблю в нем эту прямоту: он не солжет, даже если правда ему во вред.

— Тогда приходится сделать вывод, что в этой ошибке виноваты мы все, — сказал я.

— Да, но ты больше других, — возразил Тома, — потому что командуешь ты.

Я всплеснул руками и с горячностью воскликнул:

— Вот оно! В этом-то вся загвоздка! Разве я командую? Хорош командир, если из группы, которая якобы ему подчиняется, двое взрослых в разгар битвы нарушают приказы!

Нависло молчание. Я не спешил его прервать. Пусть еще потянется. И пусть Тома еще чуточку потомится.

— А по-моему, — сказал Колен, — здесь нет полной ясности. Собираем мы у нас в Мальвиле собрания, сообща принимаем на них решения. Ладно. На собраниях Эммануэль играет первую скрипку. Но никто ни разу еще не сказал, что, если настанет чрезвычайное положение и рассуждать будет некогда, Эммануэль должен взять на себя командование. А по-моему, так прямо и надо сказать. Чтобы все знали: если уж возникла опасность — приказу Эммануэля повиноваться беспрекословно.

Мейсонье поднял руку.

— Наконец-то, — сказал он удовлетворенно. — Я о том и толковал, когда еще в самом начале говорил, что мы плохо организованы. Скажу больше, мы вели себя как самые последние растяпы. Все бежали кто куда, никто никого не

слушал. Была минута, когда для защиты Мальвиля на валу оставались только Фальвина с Мьеттой. Хоть Мьетта и умеет стрелять, да у нее ружья-то не было!

— Ты прав,— покачал своей огромной башкой Пейсу.— Настоящий бордель. На пашне у Рюны оказался бедняжка Момо, а ему там делать было нечего. И Мену туда прибежала из-за Момо, а ей тоже незачем было туда соваться. А тут еще Эвелина, которая хвостом ходит за Эммануэлем. Да еще...

Он осекся и покраснел до ушей. В пылу красноречия он едва не включил в свой перечень Тома. Воцарилось молчание. Тома, не вынимая рук из карманов, сидел, ни на кого не глядя. Колен, поблескивая глазами, улыбался мне своей улыбочкой.

— А ты тоже сообразил,— вдруг сказал Пейсу, протянув в сторону Тома, чуть ли не через весь стол, длинную ручищу с громадной пятерней.— Сообразил,— повторил он громовым голосом.— Уйду из Мальвиля с Кати! Ничего глупее придумать не мог?

— Совершенно с тобой согласен,— немедленно поддержал я.

— И куда бы ты, интересно знать, пошел, кретин?— спросил Пейсу, и в тоне, каким было произнесено это ругательство, слышалась безграничная дружеская нежность.

Колен рассмеялся, как всегда, в самую нужную минуту. Смех его прозвучал удивительно искренно. Он задал тон, и мы подхватили. Смех сразу разрядил обстановку, так что даже сжатые губы Тома растянулись в улыбке. Кстати, я заметил, что, выйдя из своего оцепенения, он сел свободнее, даже руки из карманов вынул.

Отсмеявшись, мы проголосовали. Меня единогласно (не считая одного голоса, моего, я голосовал за кандидатуру Мейсонье) избрали военачальником Мальвиля «на случай опасности и чрезвычайного положения». Подразумевалось, что при отсутствии такого чрезвычайного положения все решения, даже те, которые касаются безопасности Мальвиля, будут приниматься общим собранием. Я поблагодарил и внес предложение, чтобы Мейсонье назначили моим помощником, а в случае если я буду ранен и выйду из строя — моим преемником. Проголосовали еще раз — с полным единодушием. Потом облегченно заговорили все разом. Я не стал мешать, пусть несколько минут передохнут.

— А теперь я хочу вернуться к тому, о чем в самом начале упоминал Колен,— вновь заговорил я.— Все мы почувствовали одно и то же: как жутко было стрелять в этих несчастных. Поэтому-то мы и замешкались. Но тут я хочу кое-что добавить. Раз наше замешательство стоило жизни Момо, стало быть, это было ложное чувство. Со времени катастрофы мы живем в иную, не прежнюю эпоху, но мы еще до конца это не уразумели и не до конца к ней применились.

— А что значит «в иную эпоху»?— спросил Пейсу.

— Вот тебе пример,— обернулся я к нему.— Предположим, что до катастрофы какой-то тип пробрался ночью к тебе на ферму и сжег, ну, скажем, из мести, твое гумно, сено и коров.

— Пусть только попробует,— заявил Пейсу, позабыв, что у него ничего не осталось.

— Ну вообрази, что ему это все-таки удалось. Ты скажешь: «Он причинил бы мне огромные убытки». Но жизни-то твоей это не угрожало. Во-первых, существовало страхование. А пока тебе еще не возместили потери, ты обратился бы в сельскохозяйственный банк, и тебе бы выдали ссуды, чтобы ты мог купить коров и сено. А теперь, слушай меня хорошенько, теперь, если у тебя крадут корову, отнимают лошадь или съедают твой хлеб — кончено, беда непоправимая, рано или поздно ты умрешь по вине того, кто это сделал. Это уж не просто кража, это тяжкое преступление. И преступление, за которое следует карать смертью немедленно и без колебаний.

Я заметил, что у Жаке как-то странно задергалось лицо, но, поглощенный своей мыслью, не сразу понял, в чем тут дело. После гибели Момо я обдумывал и так и эдак то, что сейчас высказал вслух, и мне даже стало казаться, что это само собой разумеется. И тем не менее я понимал: к этому придется возвращаться еще и еще, ибо представления, выработанные у моих товарищей и у меня всей нашей жизнью, не могут измениться за один день. Как не может инстинкт самозащиты вытеснить в нас привычное уважение к человеческой жизни.

— И все же, убивать людей...— печально протянул Колен.

— Придется,— ответил я, не повышая голоса.— Этого требует новая эпоха. Повторяю: человек, который отни-

мает твой хлеб, тем самым приговаривает тебя к смерти. А я не вижу чего ради ты должен предпочитать, чтобы умер ты, а не он!

Колен молчал. Все остальные тоже. Не знаю, сумел ли я их убедить. Но все, что произошло, само по себе довод, и весьма веский. И он сработает за меня — он врежется в память моих товарищей и постепенно поможет мне внушить им, внушить в первую очередь себе самому, тот рефлекс, который побуждает животное, не теряя ни минуты, яростно защищать свое логово.

В конце концов я все-таки обратил внимание на Жаке. Он весь побагровел, крупные капли пота блестели у него на лбу и на висках. Я рассмеялся.

— Успокойся, Жаке! Решения, которые мы приняли сегодня вечером, обратной силы не имеют.

— А что значит «обратной силы не имеют»? — спросил он, подняв на меня свои добрые карие глаза.

— Они не относятся к тому, что произошло раньше!

— А-а, вон что! — сказал он с видимым облегчением.

— Ах дурья твоя башка, Жаке, — проворчал Пейсу.

И мы все, глядя на Жаке, рассмеялись, как только что смеялись над Тома. Кто бы мог подумать, что после всей той крови, которая пролилась с обеих сторон, мы сможем так скоро развеселиться. Впрочем, веселье — не то слово. Наш смех имел социальный смысл. Он скреплял наше единство. Тома, наделавший кучу ошибок, — наш. Жаке — тоже. После всех испытаний наша коммуна реорганизовывалась, подтягивалась, укреплялась.

Погребение Момо было назначено на полдень, потом было решено причаститься. После утреннего собрания я ждал у себя в спальне тех, кто пожелает исповедаться.

Я выслушал Колена, Жаке и Пейсу. Еще до того, как каждый из этой троицы открыл рот, я уже знал, что их мучает. Что ж, если им кажется, что я могу избавить их от этого бремени, тем лучше. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на тех останутся». Сохрани меня бог вообразить, будто я обладаю этой непомерной властью! Ведь я порой сомневаюсь, под силу ли самому господу богу облегчить человеческую совесть. Впрочем, хватит! Не хочу никого огорчать такой ересью. Тем более что в этой области я не уверен решительно ни в чем.

После исповеди Колен сказал мне со своей обычной ухмылкой:

— Пейсу говорит: Фюльбер на исповеди все кишки вытянет, а потом еще отлает. У тебя подход другой.

— Этого только не хватало! — улыбнулся я в ответ. — Ты исповедуешься, чтобы на душе стало легче. Чего ради я буду взваливать на тебя лишнее бремя?

К великому моему удивлению, лицо Колена вдруг сделалось серьезным.

— Я не только для этого исповедуюсь. А еще для того, чтобы стать лучше.

При этих словах он даже покраснел, фраза эта ему самому показалась смешной. Я недоверчиво пожал плечами.

— Думаешь, это невозможно?

— Для тебя, пожалуй, и возможно. Но в большинстве случаев нет.

— Почему же?

— Видишь ли, люди очень ловко скрывают от самих себя собственные недостатки. А отсюда вывод — исповедь их немногого стоит. Возьми, к примеру, Мену. Заметь, она не ходила ко мне исповедоваться, а то я, конечно, промолчал бы. Мену корит себя за то, что «обижает» Момо, а за то, что поедом ест Фальвину, — никогда! Да она вовсе и не считает, что ест ее поедом, она считает, что ведет себя с ней как надо.

Колен рассмеялся. А я вдруг заметил, что говорю о Момо, как о живом, и у меня больно защемило сердце. Я тотчас переменил тему:

— Я написал записку Фюльберу, хочу предупредить его, что в окрестностях появились банды грабителей. Посоветовал получше охранять Ла-Рок, особенно по ночам. Ты не против отнести записку?

Колен покраснел еще гуще.

— А ты не думаешь, после того, что я тебе рассказал, не будет ли это...

Он не договорил.

— Я думаю, что в Ла-Роке живет твоя подруга детства и тебе приятно ее повидать. Ну и что из того? Что здесь плохого?

После троих мужчин на исповедь явилась Кати. Не успев войти в комнату, она повисла у меня на шее. Хотя ее объятия оказали на меня весьма определенное действие, я решил обратить все в шутку и, смеясь, отстранил ее.

— Полегче, полегче! Ты, кажется, пришла сюда не для

того, чтобы на меня вешаться, а чтобы исповедаться. А раз так, садись и, пожалуйста, по ту сторону стола, по крайней мере я хоть буду в безопасности.

Кати пришла в восторг от моих слов. Она готовилась к более холодному приему. С места в карьер она начала исповедоваться. Я ждал, что будет дальше, так как догадывался — она пришла не за этим. Пока она каялась в своих грехах, в основном пустяках, которые вряд ли тревожили ее совесть, я заметил, что она успела подвести глаза. Не слишком ярко, но тщательно. И брови, и ресницы, и веки. Как видно, у нее еще не иссякли запасы косметики, оставшиеся от прежних времен.

Она закончила свое невинное саморазоблачение — я не говорил ни слова. Я выжидал. И чтобы сохранить полную бесстрастность, даже не глядел на нее. Чертил что-то карандашом на промокашке. Бумагу я жалел, слишком дорога она стала теперь.

— А в общем-то,— спросила она наконец,— неужели ты все еще на меня сердишься?

Я продолжал рисовать.

— Сержусь? Нет.

Так как я не стал вдаваться в объяснения, она продолжала:

— А вид у тебя такой, будто ты недоволен.

Молчание. Я продолжал рисовать.

— Ты и вправду недоволен мной, Эммануэль?— спросила она самым нежным голоском.

Наверное, при этом она сделала мне глазки и состроила умильную рожицу. Зря старается. Я весь поглощен своим делом. Рисую на промокашке ангелочка.

— Я недоволен твоей исповедью,— сурово сказал я.

Тут я наконец поднял голову и в упор поглядел на нее. Этого она никак не ждала. Видно, как аббата она меня всерьез не принимает.

— Разве так исповедуются? Ты не покаялась в самом главном своем грехе.

— В каком же это?— спросила она с вызовом, который прозвучал в ее голосе помимо воли.

— В кокетстве.

— Ах, вот оно что!— протянула она.

— Да, да, в кокетстве,— подхватил я.— В твоих глазах это пустяки. Ты любишь мужа, знаешь, что ему не изменишь (при этих моих словах она насмешливо улыб-

нулась), и говоришь себе: «Почему бы мне не позабавиться!» К сожалению, эти невинные забавы в общине, где на шестерых мужчин всего лишь две женщины, весьма опасны. Если я не положу конец твоим заигрываниям, ты мне устроишь в Мальвиле бордель. По-моему, и так Пейсу уже слишком на тебя заглядывается.

— Правда?

Она сияет! Она даже не старается делать вид, что раскаивается!

— Да, правда! И с другими ты тоже заигрываешь. К счастью, на них это не действует.

— Ты хочешь сказать, что на тебя не действует,— заявила она с вызовом.— Так это я и сама знаю. Тебе по вкусу одни толстомясые, вроде той голой девки, которую ты повесил у себя в изголовье. Хорош кюре! Куда приличнее повесить там распятье!

Ей-богу, она, кажется, кусается!

— Это репродукция картины Ренуара,— ответил я, с удивлением заметив, что перешел от нападения к защите.— Ты ничего не смыслишь в искусстве.

— А фотография твоей немки на письменном столе — это тоже искусство?.. Старая грымза! Корова дойная. А впрочем, конечно, тебе на все плевать — у тебя есть Эвелина.

Ну и змея! Я сказал с холодной яростью:

— То есть как это — у меня есть Эвелина? Ты это о чем? Ты, кажется, принимаешь меня за Варвурда?

Впившись глазами в ее глаза, я испепелял ее взглядом. Она осторожненько забила отбой.

— Да я ничего такого не сказала,— возразила она.— У меня и в мыслях этого не было.

Плевать мне на то, что у нее было в мыслях. Я мало-помалу успокоился. Схватил карандаш, затушевал крылышки у моего ангелочка. Зато подрисовал ему рожки и большущий хвост. Цепкий хвост, как у обезьяны. И увидел, что Кати вся извертелась, пытаясь разглядеть, что я рисую. До чего же она гордится своим женским естеством, эта паршивка! Ей необходимо каждую минуту ощущать свою власть! Подняв голову, я в упор поглядел на нее:

— По сути дела, ты мечтаешь об одном: чтобы все мужчины в Мальвиле в тебя влюбились и все мучились. А тебе и горя мало — ты любишь одного Тома.

Я попал в точку, так мне, во всяком случае, показалось в ту минуту. В глубине ее глаз снова вспыхнул вызывающий огонек.

— Что поделаешь,— ответила она.— Не каждой по нраву быть шлюхой, как твоей Мьетте.

Молчание.

— Славно же ты говоришь о своей сестре. Браво!— сказал я, не повышая голоса.

А в общем-то, Кати девчонка неплохая. Она покраснела и в первый раз с начала исповеди по-настоящему смутилась.

— Я ее очень люблю. Ты не думай.

Долгое молчание.

— Ты, наверное, считаешь, что я злюка,— добавила она.

— Я считаю, что ты молода и неосторожна,— улыбнулся я.

Она промолчала, ее удивил мой дружеский тон после всех дерзостей, которые она успела наговорить, и я добавил:

— Посмотри на Тома. Он влюблен по уши. А ты по молодости лет этим злоупотребляешь. Ты им помыкаешь, и зря. Тома не тряпка, он мужчина, он тебе это припомнит.

— Уже припомнил.

— Из-за глупостей, которые он наделал по твоей вине?

— Ну да!

Я встал и опять улыбнулся.

— Пустяки, это уладится. На собрании он всю вину взял на себя. Он защищал тебя, как лев.

Она подняла на меня ярко блестевшие глаза.

— Но ведь и ты тоже на собрании старался все уладить по-хорошему.

— И все-таки я хотел бы тебя остеречь. Насчет Пейсу. Веди себя, пожалуйста, поаккуратней.

— А вот этого я тебе не обещаю,— ответила она с поразившей меня искренностью.— Не могу я удержаться с мужчинами, и все тут.

Я смотрю на нее. Она окончательно сбила меня с толку. Размышляю. Как видно, я в ней так и не разобрался по-настоящему. Если она говорит правду, значит, вся моя проницательность ни к черту. А она продолжает:

— Знаешь, а не такой уж ты плохой кюре, хоть и бабник. Видишь, я беру обратно все гадости, что я тут наго-

ворила, в том числе про... В общем, беру свои слова обратно. Ты хороший мужик. Вся беда в том, что не умею я держать язык за зубами. Можно тебя поцеловать?

И она и в самом деле поцеловала меня. Совсем иначе, чем при своем появлении. Впрочем, не будем преувеличивать — не такой уж этот поцелуй был невинный. Доказательство тому — что он меня взволновал, а она это заметила и торжествующе хохотнула. Но тут я открыл перед ней дверь, она выскользнула из комнаты, бегом пересекла пустую площадку, а у подножия винтовой лестницы обернулась и помахала мне на прощание рукой.

Момо похоронили рядом с Жерменом, возле могилы с останками родных Колена, Пейсу и Мейсонье. Мы заложили это кладбище в День происшествия, принадлежало оно уже к миру «после», и мы знали, что нам всем предстоит успокоиться здесь. Оно было расположено перед внешним двором, там, где находилась когда-то стоянка машин. Маленькая площадка, выбитая в скале; подальше, метрах в сорока, она сужалась и переходила в дорогу между утесом и уходящей вниз крутизной. В этом месте дорога огибала скалу почти под прямым углом.

Именно в этом узком проходе между пропастью и нависшей над ней каменной громадой мы решили возвести палисад, чтобы защитить внешний двор от ночного нападения. Палисад мы выдвинули вперед, сколотили его из толстых, хорошо пригнанных одна к другой дубовых досок. В воротах палисада у самой земли сделали маленькую опускную дверцу — в нее можно было с трудом пролезть на четвереньках. Именно через эту дверцу мы решили впускать посетителя, сначала рассмотрев его в потайной глазок рядом со смотровым окошком. Ворота же открывать только в крайнем случае — это было небезопасно.

Предусмотрели мы и возможность штурма. Поверх палисада протянули четыре ряда колючей проволоки (ее можно было убрать, чтобы пропустить повозку). Стоило прикоснуться к проволоке, как поднимался перезвон: гремели металлические банки. Впрочем, гость, пришедший с мирными намерениями, мог позвонить в колокольчик: Колен обнаружил его в своей лавке и приладил сбоку от смотрового окошка.

Маленькую площадку между палисадом и рвами крепостной стены Мейсонье назвал передним краем обороны, или ПКО.

По его совету было решено устроить на ней западни, расположив их в шахматном порядке и оставив безопасную дорогу в три метра шириной, которая шла по краю правого рва, потом мимо углубления в скале, мимо маленького кладбища и подходила к палисаду. Западни, или, как их прозвал Мейсонье, «ловушки для дураков», были устроены по классическому образцу — просто ямы в шестьдесят сантиметров глубиной, их дно было утыкано острыми, закаленными на огне кольями или выстлано дощечками, которые щерились гвоздями. Прикрывались ямы картоном, присыпанным землей.

В это самое время Пейсу заканчивал надстройку крепостной стены: уложив над ее зубцами крепкие деревянные балки, он возвел на них каменную кладку метра полтора высотой. Покончив с этим делом, он попросил Мейсонье закрыть амбразуры толстыми деревянными щитами, которые открывались бы наружу снизу вверх. «Так ты сможешь обстреливать подножие своих укреплений, и ни одна сволочь издали к тебе не пристреляется, а в нижней части щитов еще надо прорезать щели, чтобы удвоить количество бойниц».

Он, разумеется, исходил при этом из молчаливого предположения, которое разделяли и мы все, что у осаждающих, как и у нас самих, будут только охотничьи ружья и старые толстые дубовые доски послужат надежной защитой от пуль. Это наше предположение, почти бессознательное, опровергли дальнейшие события.

Как-то утром я был в ПКО один — строительство палисада было уже закончено, но западни еще не оборудованы,— когда зазвонил колокольчик. Это оказался Газель на сером ослике Фюльбера. Едва я открыл смотровое окошко, он спешился и явил моим глазам вежливый и холодный лик.

Он отказался выпить вина, протянул мне через окошко послание Фюльбера и объяснил, что подождет ответа здесь. По правде сказать, я не особенно уговаривал его войти, поскольку строительство ПКО было еще не завершено.

Вот что значилось в письме.

«Дорогой Эммануэль!

Спасибо, что ты уведомил нас о бандах грабителей. Пока в наших краях они еще не показывались. Правда и то, что мы не так богаты, как мальвильцы.

Передай, пожалуйста, мои соболезнования Мену по поводу гибели ее сына и скажи ей, что я неустанно поминаю его в своих молитвах.

Имею честь сообщить тебе, что общее собрание верующих нашего прихода избрало меня епископом Ла-Рока. Таким образом, я приобрел право рукоположить мсье Газеля и назначить его кюре Курсежака и аббатом Мальвиля.

Несмотря на все мое желание быть тебе приятным, я нарушил бы свой долг, если бы признал за тобой право исполнять обязанности пастыря, кои ты посчитал нужным возложить на себя в Мальвиле.

Аббат Газель в ближайшее воскресенье отслужит мессу в Мальвиле. Надеюсь, ты окажешь ему достойный прием.

Прими, дражайший Эммануэль, уверения в моих истинно христианских чувствах.

Фюльбер Ле Но, епископ Ларокезский.

P. S. Так как Арман нездоров и не встает с постели, я попросил мсье Газеля доставить тебе это письмо и подождать ответа».

Прочитав это удивительное послание, я снова открыл окошко. Дело в том, что, взяв у Газеля письмо, я не преминул окно затворить, мне не хотелось, чтобы он видел, какие мы тут накопали ямы. Милейший Газель по-прежнему стоял у ограды, на его клоунском гермафродитском лице застыло напряженное и беспокойное выражение.

— Газель,— сказал я,— сразу дать тебе ответ я не могу. Надо созвать общее собрание мальвильцев. Завтра Колен доставит Фюльберу мой ответ.

— В таком случае я сам приеду завтра утром за ответом,— отозвался Газель своим тонким голосом.

— Что ты! Зачем тебе два дня подряд таскаться по тридцать километров на осле. Ответ привезет Колен.

Настало молчание. Газель заморгал и проговорил не без некоторого смущения:

— Извини, но мы больше не пускаем в Ла-Рок посторонних.

— Каких таких посторонних?— недоверчиво переспросил я.— Это кто — мы, что ли?

— Не только,— ответил Газель, потупив взор.

— Ах вот как! Стало быть, в наших краях есть еще и другие люди!

— В общем, так решил приходский совет,— выдавил из себя Газель.

— Ловко же придумал ваш приходский совет!— негодующе воскликнул я.— А приходскому совету не пришло в голову, что Мальвиль может принять такое же решение в отношении жителей Ла-Рока?

Газель, не поднимая глаз, молчал с видом мученика. Фюльбер, наверное, сказал бы, что ему «довелось пережить прискорбнейшие мгновения».

— Тебе, однако, должно быть известно,— продолжал я,— что Фюльбер намерен прислать тебя сюда в воскресенье служить мессу.

— Да, я знаю,— отозвался Газель.

— Стало быть, ты имеешь право явиться в Мальвиль, а я не имею права посетить Ла-Рок!

— В общем-то, это мера временная,— сказал Газель.

— Вон оно что — временная! Чем же она вызвана?

— Не знаю,— промямлил Газель, и я сразу почувствовал, что он прекрасно знает.

— Ну что ж, в таком случае до завтра,— ледяным тоном заявил я.

Газель простился со мной и, повернувшись ко мне спиной, стал взбираться на своего осла. Я окликнул его:

— Газель!

Он возвратился.

— Чем болен Арман?

У меня вдруг мелькнула мысль, что в Ла-Роке свирепствует какая-то эпидемия и ларокезцы сидят в карантине, чтобы болезнь не распространилась. Но я тут же сообразил, что мысль эта просто дурацкая, неужели Фюльбер способен испытывать альтруистические чувства?

Но на Газеля мой вопрос произвел совершенно ошеломляющее впечатление. Он покраснел, губы у него затряслись, а глаза забегали, пытаясь уклониться от моего взгляда.

— Не знаю,— пробормотал он.

— Как это не знаешь?

— За Арманом ухаживает сам монсеньер.

Прошла целая секунда, пока я сообразил, что под монсеньером он подразумевает Фюльбера. Так или иначе, ясно было одно: если «монсеньер» ухаживает за Арманом,

значит, болезнь его не заразная. Я отпустил Газеля, а вечером после ужина созвал общее собрание, надо было обсудить полученное письмо.

Я заявил, что лично меня больше всего возмущает нелепость притязаний Фюльбера. На мой взгляд, каждая фраза его письма свидетельствовала о мании величия, не говоря уже об истерии. Вне всякого сомнения, он заставил избрать себя епископом, чтобы взять надо мной верх, посвятить Газеля в сан и потом устранить меня, как соперника на духовном поприще. В этой жажде власти было даже что-то детское. Вместо того чтобы укрепить Ла-Рок против грабителей, что было отнюдь не пустячным делом, он повел борьбу против меня, хотя именно я предупредил его об опасности. И повел эту борьбу именно тогда, когда никак не мог вести ее с позиций силы, ибо в мирской своей власти опирался только на одного Армана, а Арман, жертва загадочной болезни, был прикован к постели.

Я был склонен посмеяться над всей этой историей, но мои товарищи отнеслись к делу всерьез. Они кипели от негодования. Мальвилю нанесено оскорбление. Оскорбили чуть ли не его знамя (которое, кстати сказать, существовало лишь теоретически). Фюльбер осмелился посягнуть на аббата Мальвиля и на избравшее его общее собрание.

— С какой стати этому дерьму вздумалось лезть к нам!— возмущался малыш Колен, который обычно избегал крепких выражений.

Мейсонье заявил, что этому олуху надо просто накостылять по шее. А Пейсу посулил, что, если у Газеля хватит духу в воскресенье явиться к нам, он «вгонит ему его кропило сам знаешь куда». В общем, можно было подумать, что вернулись времена Братства, когда католики Мейсонье, стоявшие у подножия мальвильских укреплений, и гугеноты Эмманюэля, засевшие на крепостных стенах, с неистощимой изобретательностью оскорбляли друг друга, прежде чем вступить в рукопашную.

— Вгоню до самых потрохов,— приговаривал Пейсу, стуча кулаком по столу,— до самых потрохов вгоню кропило Газелю.

Несколько удивленный взрывом мальвильского патриотизма, я дал моим товарищам прочесть ответ, который составил днем, и попросил их высказать о нем свое мнение.

«Фюльберу Ле Но, кюре Ла-Рока.

Дорогой Фюльбер!

Согласно самым древним документам о Мальвиле, которыми мы располагаем и которые датированы XV веком, в ту эпоху в Ла-Роке и в самом деле был епископ, поставленный в 1452 году в городской церкви сеньором Мальвиля бароном де Ла-Рок.

Однако из этих же самых документов явствует, что аббат Мальвиля никоим образом не зависел от епископа Ла-Рока и избирался сеньором Мальвиля из числа членов его семьи мужеска пола, проживавших вместе с ним в его замке. Чаще всего это был либо сын, либо младший брат. Отступил от этого правила лишь один Сижисмон, барон де Ла-Рок, который, не имея ни сыновей, ни братьев, назначил самого себя аббатом Мальвиля в 1476 году. С этого времени и до наших дней сеньоры Мальвиля юридически оставались аббатами Мальвиля, даже если иногда передавали капеллану исполнение своей должности.

Нет никаких сомнений, что Эммануэль Конт в качестве нынешнего владельца замка Мальвиль унаследовал все прерогативы, сопряженные с владением замком. Так решило собрание верующих, единогласно утвердившее за ним его титул и право отправлять требы.

С другой стороны, Мальвиль не может признать законными права епископа, о назначении которого не предстательствовал перед его Святейшеством Папой и которого сам Мальвиль не поставил в сан в городе, принадлежащем к его владениям.

Мальвиль намерен хранить в неприкосновенности историческое право на свой феод — Ла-Рок, хотя, чистосердечно желая мира и добрососедских отношений, не собирается в настоящий момент воспользоваться этим правом.

Тем не менее мы считаем, что всякое лицо, проживающее в Ла-Роке и почитающее себя ущемленным в правах властью де-факто, установленной в городе, в любой момент может апеллировать к нам для восстановления своих прав. Мы считаем также, что город Ла-Рок должен быть открыт для нас круглосуточно, и, если посланцу Мальвиля будет прегражден вход хоть в одни городские ворота, тем самым ему будет нанесено тяжкое оскорбление.

Прошу тебя, дорогой Фюльбер, принять уверение в моих наилучших чувствах.

Эммануэль Конт, аббат Мальвиля».

Я считаю необходимым подчеркнуть, что сам я смотрел на это письмо как на чистый розыгрыш — надо было осадить Фюльбера с его манией величия и сразиться с ним оружием пародии и гротеска. Стоит ли говорить, что я ни на минуту не воображал себя наследником мальвильских сеньоров. И столь же мало принимал всерьез вассальную зависимость Ла-Рока. Однако я с невозмутимым видом огласил письмо, надеясь, что его комическая сторона не ускользнет от моих товарищей*.

Но я ошибся. Она полностью от них ускользнула, их восхитил тон моего письма («В самую точку»,— заявил Колен), а его содержание привело в восторг. Они попросили показать им документы, на которые я ссылался,— и мне пришлось отправиться в залу, где под стеклом хранились эти достопамятные реликвии и их перевод на современный французский язык, заказанный покойным дядей.

Что тут началось! Десять раз читал я и перечитывал все те абзацы, где указывалось, что Ла-Рок — наше сеньориальное владение, а также те, где описывалось историческое решение барона Сижисмона объявить себя аббатом Мальвиля.

— Гляди ты!— сказал Пейсу.— А я-то думал, что мы не имели права избрать тебя по закону. Зря ты нам раньше не показал эти бумаги.

Древность наших прав кружила им голову.

— Пятьсот лет,— твердил Колен.— Нет, ты подумай только! Пятьсот лет назад тебе дано право быть аббатом Мальвиля!

— Ну, это ты уж слишком,— возразил Мейсонье, который не мог покривить душой, даже когда ему этого хотелось.— С тех пор была все-таки Французская революция.

— А сколько она продолжалась?— стоял на своем Колен.— Разве можно даже сравнивать!

Особенно их пленило то, что «поставить в сан» епископа Ла-Рока мог только владетельный сеньор Мальвиля. По просьбе Пейсу я, как умел, объяснил, что означает выражение «поставить в сан».

— Так о чем тут еще толковать, Эммануэль,— заявил

* Возможно, я и в самом деле «глух к юмору», как утверждает Эммануэль, но я вовсе не уверен, что Эммануэль смотрел на это письмо только как на «розыгрыш». *(Примечание Тома.)*

Пейсу.— Ты Фюльбера в сан не ставил, а стало быть, он такой же епископ, как моя задница.— (Бурное одобрение присутствующих.)

После этого мои товарищи совсем закусили удила и требовали снарядить экспедицию против Ла-Рока, дабы отомстить за нанесенное нам оскорбление и восстановить над городом наши сюзеренные права.

Я молча наблюдал за разгулом националистических страстей, которые сам же и развязал. Теперь уже поздно было, я это чувствовал, объяснять моим товарищам, что письмо мое — просто пародия. Слишком они вошли в раж. Они обиделись бы на меня. Но все же я пытался урезонить самых рьяных, в чем и преуспел с помощью Мейсонье, Тома, а потом и Колена, и мы приняли торжественное решение, что никогда не покинем «своих друзей из Ла-Рока» (формулировка Колена). И что в случае, если их будут притеснять, ущемлять их права, Мальвиль заступится за них, что, впрочем, было уже сказано в моем письме.

На другой день вновь явился Газель. Я молча вручил ему послание, и он отбыл. А через два дня было закончено строительство ПКО и пшеница достигла уже восковой спелости, можно было начинать уборку.

Дело шло медленно, потому что мы орудовали серпом, потом вручную вязали снопы, потом перевозили их в Мальвиль, и, оборудовав во внешнем дворе гумно, цепами молотили зерно. Все это потребовало большого количества рабочих рук, и, когда наш труд подошел к концу, для каждого из нас библейские слова о хлебе, добытом в поте лица, приобрели новый, глубокий смысл.

Но несмотря ни на что, можно было сказать, что игра стоила свеч. Даже учитывая, что четвертую часть погубили грабители, мы все-таки собрали урожай десять к одному. А всего это составило тысячу двести пятьдесят килограммов зерна. По сравнению с нашими солидными запасами — я говорю о зерне, захваченном в «Прудах»,— этого было маловато, но для первого после Происшествия урожая и в качестве залога наших будущих надежд просто прекрасно.

Ночью после сбора урожая меня разбудили какие-то негромкие звуки где-то рядом, или, вернее, я проснулся оттого, что сквозь сон не мог разобрать, откуда эти звуки идут. Но когда я открыл глаза — ночь была темная, ни

зги не видно,— я сообразил, что это всхлипывает Эвелина на своем диване у окна.

— Ты плачешь?— спросил я полушепотом.

— Да.

— Почему?

В ответ раздались всхлипывания и заглушенные рыдания.

— Мне грустно.

— Иди ко мне, расскажи, что случилось.

В мгновение ока она перебралась со своего дивана на мою кровать и припала ко мне, сжавшись в комочек. Хотя за это время она немножко округлилась, она все равно показалась мне легкой как пушинка. Словно котенок примостился у меня на плече. Она продолжала рыдать.

— Да ты промочишь меня насквозь! Просто водопад какой-то! А ну, закрой кран!

Я протянул ей свой платок, и ей пришлось приостановить рыдания хотя бы для того, чтобы высморкаться.

— Ну?

Молчание. Она опять захлюпала носом.

— Перестань хлюпать — высморкайся!

— Уже.

— Еще разок.

Она высморкалась еще раз, но, судя по звуку, без всякого успеха. И снова начала всхлипывать. Должно быть, это было нервное. Как и ее кашель, как и ее рыдания, как и судороги, в которых она корчится. Может, и астма у нее от нервов. После нападения бродяг и гибели Момо она перенесла тяжелейший приступ. Я подумал: уж не начинается ли новый? И обнял ее.

— Ну скажи мне,— заговорил я,— в чем дело?

Молчит.

— Мы их убили!— наконец прошептала она.

Я был удивлен. Я ждал другого.

— Так вот из-за чего ты плачешь?

— Да.— И так как я молчал, она продолжала:— Почему ты удивляешься, Эмманюэль?

— А я думал, ты сейчас скажешь, что я тебя разлюбил.

— Нет, нет,— отвечала она.— Я знаю, ты меня любишь, как раньше. Просто ты мне теперь ничего не спускаешь. Но мне так даже больше нравится.

— Больше нравится?

Молчит. Она размышляет и так поглощена своими мыслями, что даже перестала всхлипывать.

— Да,— говорит она наконец.— Это меня приструнивает.

Я молчу и мотаю себе на ус.

— Но вот эти люди, которых убили, разве нельзя было взять их в Мальвиль? Ведь в Мальвиле места много!

Я покачал головой, словно она могла видеть меня в потемках.

— Дело не в том, сколько у нас места, а в наших запасах. Нас уже одиннадцать. В крайнем случае мы можем прокормить еще двоих, от силы троих, но не двадцать же человек.

— Ну тогда,— сказала она помолчав,— пусть бы они съели наш хлеб.

— А как же другие?

— Какие другие?

— Те, что придут потом. Значит, пусть режут наших свиней, съедят коров, уведут лошадей? А мы что ж, мы будем жевать траву?

Но на Эвелину мои сарказмы не произвели никакого впечатления.

— Ты же сам сказал, что рюнский хлеб — это не бог весть как много.

— Да, по сравнению с тем, что у нас, к счастью, есть в закромах. И все же тысяча двести пятьдесят килограммов зерна — не так уж мало хлеба.

— Но в крайнем случае мы ведь могли и без хлеба обойтись! Ты сам говорил!— живо добавила она с упреком.

И в самом деле, что я ни скажу, навеки отпечатывается в ее памяти.

— В крайнем случае — да. Но кто знает, вдруг будущий год окажется неурожайным. Лучше иметь небольшой избыток. Хотя бы для того, чтобы, если понадобится, помочь нашим друзьям ларокезцам.

— А почему же мы не помогли этим людям?

— Я уже тебе сказал — их было слишком много.

— Не больше, чем ларокезцев.

— Но там ведь наши знакомые.— И так как она молчала, я начал перечислять:— Пимон, Аньес Пимон, Лануай, Жюдит и Марсель, который тебя приютил.

— Да,— сказала она.— И еще Пужес. Что-то его давно не видно.

Что верно, то верно. Прошло уже дней десять, как старый пройдоха не являлся в Мальвиль омочить в нашем вине кончики своих усов. Так и закончился наш спор, не приведя ни к какому результату. Типичная для Эвелины манера заканчивать наши с ней распри, ни в чем, впрочем, не уступив. Однако я был поражен — как по-взрослому она рассуждала. Где ее былая ребячливость? И как она стала правильно выражаться. С тех пор как я «ничего ей не спускал», она перестала прикидываться несмышленой малолеткой.

— Ну ладно,— заявил я.— Аудиенция окончена. Отправляйся к себе. Я буду спать.

Она уцепилась за меня.

— Можно я побуду с тобой еще немножко, Эммануэль, разреши,— залепетала она, только что не присюсюкивая, как младенец.

— Нет, нельзя. Марш.

Она повиновалась, и притом беспрекословно. Я бы даже сказал, с каким-то особым пылом, точно намерена была всю жизнь упоенно исполнять мои приказания.

И все же что-то скрывалось в ее головке, чего я не мог понять до конца. Она говорила со мной об убитых бродягах — и ни словом не заикнулась о Момо.

Правда, и сама Мену никогда не заговаривала о Момо. В день гибели ее сына я строил самые разные предположения о том, как она будет вести себя в дальнейшем, но ни одно из них не оправдалось. Она не впала в тупое отчаяние. Не выпустила из рук бразды правления нашим хозяйством. По-прежнему полновластно распоряжалась женской частью мальвильского населения, клевала чаще всего самую старую и болтливую клушу, но при случае, правда, более осмотрительно, не давала спуску и молоденьким хохлаткам, причем Кати чаще, чем Мьетте, принимая во внимание, что Кати сама могла пустить в ход свой острый клюв. И аппетита Мену не потеряла, по-прежнему проворно орудовала вилкой и не отказывалась от стаканчика, хотя потолстеть ей, видно, не суждено было никогда. Наконец, она была все такая же опрятная — маленький, начищенный до блеска скелетик, где все мускулы, все внутренние органы были доведены до минимальных размеров; волосы туго стянуты пучком на затылке

мумифицированной головки, черный, чисто выстиранный фартук пришпилен английскими булавками к вырезу на самой плоской в мире груди. Сухонькая, маленькая, она по-прежнему быстро семенила, шаркая своими не по росту большими ступнями, вытянув вперед худую, жилистую шею.

На стол накрывала обычно Кати или Мьетта, а салфетки на приборы раскладывала Мену. Из соображений гигиены она снабдила салфетки метками, чтобы у каждого была своя, но различала эти метки только она одна. И вот однажды утром я не без тревоги заметил, что кто-то поставил на конец стола прибор Момо и положил на тарелку его салфетку. Видно, и Колен обратил на это внимание, он с мрачным видом покачал головой и подмигнул мне. Однако, усаживаясь за стол, я подсчитал приборы — их оказалось одиннадцать, а не двенадцать. К тому же на стол накрывала Кати, я не мог допустить, что она ошиблась. Наклонившись, я вопросительно поглядел на нее, и она незаметно сделала мне указательным пальцем правой руки отрицательный знак.

Теперь все уселись за стол, кроме Жаке, который стоял опустив руки, а его золотисто-карие глаза затуманила тревога — на его обычном месте зияла зловещая пустота. Он смиренно глядел на меня, как бы спрашивая, чем он провинился, что я лишил его пищи. Словом, вел он себя как добрый и преданный пес, который после дурного хозяина попал в семью, где все его ласкают, и он дрожит от страха, как бы в один прекрасный день не проснуться и не обнаружить, что он лишился своего счастья, тем более что, по его соображениям, он этого счастья недостоин и не знает, явь оно или сон. Жаке вовсе не считал, что, лишив его обеда, я поступил несправедливо. В его глазах все, что я делаю, справедливо. Он готов был после завтрака вместе с нами приняться за работу на пустой желудок. Боялся он одного — как бы эта кара не оказалась предвестницей изгнания.

Я ободряюще улыбнулся ему и уже хотел вмешаться, когда Мену буркнула:

— Свой прибор ищешь, сынок? Вот он.

И подбородком указала ему на то место, где прежде сидел Момо.

Наступила мертвая тишина, Жаке растерянно посмотрел на меня. Я кивнул, и бедняге Жаке, который больше

всего на свете боялся быть в центре внимания, пришлось обойти весь стол и занять место Момо, с ужасом чувствуя, что к нему прикованы все взгляды.

Колен тотчас же, и весьма тактично, затеял разговор на животрепещущую тему. Дело касалось присыпанных землей кусков картона, которые прикрывали ловушки в зоне ПКО. Во время дождя картон начнет гнить, размякнет и прогнется под тяжестью земли. В результате осаждающие непременно заметят впадины, и тем самым будут предупреждены о наличии ловушек. Пейсу сказал, что надо проделать в картоне дыры, чтобы вода стекала прямо в яму. А Мейсонье предложил заменить куски картона двумя листами фанеры, соединенными посередине узенькой рейкой, которая проломится под ногой врага.

Вслушиваясь в этот спор ровно настолько, чтобы при случае вставить словечко-другое, я следил за тем, что делается и говорится на другом конце стола. Скованный смущением, Жаке ел молча, низко склонившись над тарелкой, а Мену без умолку полушепотом поучала его. «Сядь прямо! Господи, да перестань же ты катать хлебные шарики! И не чавкай! Где ты находишься? Утирается руками — а салфетка-то на что!» Я поразился тому, что после каждого из этих суровых наставлений Мену повторяла имя Жаке, словно хотела показать нам, что она в своем уме и ничего не путает, даже если Жаке против собственного желания и удостоился чести, какая ему нынче выпала. Было и еще одно доказательство того, что Мену сохранила полную ясность ума: читая наставления Жаке, она не употребляла ни одного из местных словечек, которых не понимал этот чужак.

Через двое суток после того, как было закончено строительство ПКО и начались занятия стрельбой (в том числе стрельбой из лука), появился старик Пужес на своем допотопном велосипеде. Без особого удовольствия он прополз на четвереньках под палисадом. И уж совсем помрачнел, когда ему завязали глаза, проводя по зоне, где были устроены ловушки. Едва он расположился на кухне въездной башни, как тут же дал нам понять, что такие неудобства требуют вознаграждения. Я говорю «нам», потому что, как только распространилась весть о появлении Пужеса, весь Мальвиль собрался его послушать.

— Ох и трудно же теперь до тебя добраться, Эммануэль,— начал он, подкручивая свои желтовато-седые

усы.— Что от вас выйти, что к вам войти — ох и трудное дело!

Он оглядел присутствующих, польщенный всеобщим вниманием.

— Из Ла-Рока ведь теперь тоже так просто не выберешься. Фюльбер поставил стражу у обоих ворот! Поверишь ли — прогуляться по дороге в Мальвиль и то нынче думать не моги. Декрет специальный выпустили. По шоссе и то едва-едва дозволяют. Спасибо, я вспомнил тропинку, что выходит на мальвильскую дорогу. Помнишь — через Фожу?

— Ты пробирался через Фожу?— изумился я.— На велосипеде?

— Пришлось кое-где тащить его на себе,— ответил Пужес.— Ни дать ни взять чемпион по кроссу. Это в мои-то годы! Надеюсь,— добавил он, выдержав эффектную паузу и оглядев собравшихся,— что после всего, чего я сегодня натерпелся, ты не станешь так поспешно затыкать винную бутылку, Эммануэль.

— Угощайся,— сказал я, придвинув к нему бутылку,— ты это вполне заслужил.

— Еще бы,— подтвердил старик Пужес.— Не так-то легко пробраться через Фожу на велосипеде. И к тому же я привез тебе кучу новостей — аж голова раскалывается. И ноги гудут, педали-то крутишь, крутишь.

— А тебе ведь это не впервой,— заявила Мену,— сколько раз ты, бывало, шлялся из Ла-Рока в Мальжак к своей потаскухе.

— Твое здоровье, Эммануэль,— с достоинством сказал Пужес, хотя все в нем так и кипело, оттого что Мену отравила ему великую минуту славы.

— Мену,— сурово проговорил я.— Дай ему поесть.

— Что ж, я не прочь,— сказал старик Пужес.— У меня живот подвело, пойди проберись через Фожу.

Мену открыла буфет, стоявший справа от камина, со стуком поставила на стол перед Пужесом тарелку, потом отрезала тонюсенький кусочек ветчины и, зажав его большим и указательным пальцем, издали швырнула на тарелку.

Я строго поглядел на нее, но она сделала вид, будто не замечает моего взгляда. Потом отрезала Пужесу хлеба, стараясь, чтобы ломтик получился как можно тоньше, а это было нелегко, потому что хлеб был только что испе-

чен. Проделав все эти чудеса ловкости, Мену продолжала бурчать себе что-то под нос. Но так как, наслаждаясь первым стаканчиком, Пужес устремил глаза на бутылку и молчал, и мы в ожидании обещанных новостей молчали тоже, в тишине кухни было слышно каждое слово Мену, произносимое якобы в сторону, и тщетны были все мои попытки прервать ее.

— Есть такие,— бурчала Мену, не глядя на меня,— что почище пиявки, всю кровь норовят из тебя высосать. Аделаида, к примеру. Она, Аделаида, так просто дрянцо, это уж точно. Встречному и поперечному отказу нет. А все ж таки кое-кто этим попользовался. Сначала получат свое на даровщинку, а когда уж пороху больше не хватает, у нее же налижутся задарма. Не много небось эта шлюха денег-то накопила с такими клиентами!

Старик Пужес отставил стакан, выпрямился и левой рукой обтер усы.

— Не в укор тебе будь сказано, Эмманюэль,— с достоинством начал он,— но не худо бы тебе запретить своей служанке оскорблять меня в твоем доме.

— Ты гляди, теперь ему еще уважение подавай,— заявила Мену.

Побелев от ярости при слове «служанка», она швырнула на стол кусок хлеба и, скрестив на груди тощие руки, устремила пылающий взгляд на Пужеса. Но старик, смакуя одновременно второй стакан вина и свой не слишком благородный выпад, вкушал двойную сладость отмщения.

— Мену не служанка,— решительно сказал я.— У нее есть свое собственное имущество. Она живет у меня только потому, что ведет мое хозяйство, но жалованья я ей не плачу. Само собой, так было до Происшествия.

— В общем, она вроде бы домоправительница у господина кюре,— разъяснил Колен.

Все, кроме Мену, засмеялись, и это разрядило обстановку.

Воспользовавшись этим, я встал, подошел к Мену и шепнул ей на ухо:

— Если скажешь еще хоть слово, я тебя при всех выставлю за дверь.

Она смолчала, но шумно перевела дух. Глаза у нее сверкали, губы были сжаты, ноздри трепетали. Я отчасти даже порадовался, увидев ее такой после всего, что случилось.

Я снова сел. Старик Пужес приканчивал хлеб с ветчиной и допивал третий стакан. Тянулось это без конца. Пил-то он быстро, а вот жевал медленно.

Допив третий стакан, он стал молча подкручивать кончики усов, поглядывая на бутылку. Тогда я снова налил ему вина и коротким щелчком закупорил бутылку. Он проследил взглядом мое движение, потом перевел глаза на наполненный до краев стакан, но пить не стал. Еще не время. Последний стакан он любит выпить молча. Стало быть, надо, чтобы он заговорил сейчас же. И так как он тянет и тянет, я задаю наводящий вопрос.

— Значит, Арман заболел?

— Хороша болезнь,— сказал он с презрением посвященного к профану, и по тому, с какой неохотой цедил он слова, я видел, как не хочется ему делиться с нами чем бы то ни было, даже новостями.

— Так что же это?— сухо спросил я, чтобы все же напомнить старику о его обязательствах.

— А то, что не очень-то складно все вышло.— И, помолчав, добавил:— Тут без крови не обошлось.— Он поглядел на нас, покачивая головой.— Пимон застал Армана, когда он пытался повалить Аньес на кровать.

— Насильно?— бледнея, спросил Колен.

— Может, насильно, может, нет,— ответил Пужес с такой злобой, что у нас руки зачесались.— Аньес-то говорит, будто насильно. А мне откуда знать, тебе виднее, сынок, ты ее лучше знаешь.

— Давай короче,— сказал я с раздражением.

— Короче, Пимон схватил сгоряча кухонный нож и всадил Арману в спину. И подумай только, Арману хоть бы хны. Повернулся к Пимону и говорит: «Я тебе покажу, сволочь, как мне кулаком в спину тыкать». И как пальнет в упор из своего пугача — у бедного Пимона вся черепушка на куски. Сбежался народ, а Арман вышел на порог пимоновского дома весь бледный, но прямой как палка, и опять свое: его, мол, стукнули кулаком по спине. А теперь, говорит, убирайтесь прочь, а не то я вас всех перещелкаю. Навел свою пушку на нас и пошел к замку, да не просто, а все пятился. А когда он повернулся, чтобы ворота открыть, тут-то мы и увидели, что у него в спине нож торчит. А видно-то хорошо было — у Армана рубаха черная, а рукоятка у ножа красная. Так с ножом и ушел, и хоть бы что!

— А Аньес?— спросил Колен.

— Ну ясное дело, как ума решилась!— с полнейшим равнодушием сообщил Пужес.— Мужа-то на тот свет отправили, заместо лица дыра, а на паркете лужа крови, будто быка зарезали. Хорошо, Жюдит взяла Аньес с ребенком к себе. Да ты погоди, погоди, это еще что,— продолжал он, словно продолжение истории казалось ему куда более важным.— Пришел Арман в замок и рассказывает все Фюльберу, а там еще были Жозефа и Газель. А Жозефа и скажи ему на своем тарабарском языке: «Господин Арман, говорит, у вас нож торчит в спине». Он сначала не поверил, а пощупал рукой и как грохнется об пол! Обеспамятствовал. Это сама Жозефа рассказала.

— Ну а что потом?— спросил я в нетерпении.

— А потом ничего,— сказал Пужес, не отрывая глаз от наполненного стакана.

— То есть как ничего? Да что ж это у вас за люди такие в Ла-Роке? Человека убивают в его собственном доме, среди бела дня, у вас на глазах, вы знаете, кто убийца, и все молчат? Даже Марсель? Даже Жюдит?

— А-а, они!— небрежно бросил Пужес, избегая, однако, моего взгляда.— Они ничего такого не сделали, только взяли да людей созвали и голосование устроили. Надо, мол, судить Армана и наказать за убийство.

— И это, по-твоему, ничего?— возмущенно спросил я.— Так-таки ничего?— И добавил с гневом:— Ты-то, конечно, при голосовании воздержался?

Старик Пужес укоризненно поглядел на меня, подергивая усы.

— Это я из-за тебя же, Эмманюэль. Негоже мне очень-то держать руку Марселя, иначе я не смогу и дальше приезжать сюда на велосипеде.

При этих словах он подмигнул мне.

— Ну а Фюльбер, что он сказал на это голосование?

— Сказал, что ничего не выйдет. Высунулся из окошка в воротах и сказал: самозащита, мол, была законная и судить тут не за что. Ну, ребята наши пошумели малость. А Фюльбер с тех пор чуток струхнул, да и его Арман лежит в постели. Так что нам паек теперь выдают через окошко, а сам он из замка ни ногой. Ждет, пока все образуется. Твое здоровье, Эмманюэль.

Последние слова звучали лишь как привычная формула вежливости, но смысл их был как раз обратный. Они

означали: «Теперь я буду пить, а вы все катитесь к черту — я с вами сполна расквитался».

Воцарилось молчание. Мы тоже не произнесли ни слова. Но мы и не нуждались в словах. Мы знали, что думаем одно и то же и не оставим убийство безнаказанным. Пора было навести порядок в Ла-Роке.

КОММЕНТАРИИ ТОМА

Поход в Ла-Рок состоялся, но гораздо позже, чем мы рассчитывали, и после того, как мы сами пережили смертельную опасность. Вот почему я позволю себе прервать повествование Эмманюэля своими заметками, которые дальше, когда события будут нарастать, пожалуй, окажутся не вполне уместными.

Прежде всего я считаю своим долгом сказать, как я возмущен тем, что Эмманюэль изображает на этих страницах Кати в таком уничижительном виде. Просто понять не могу, откуда такая предвзятость, тем более со стороны Эмманюэля. Описывая сцену исповеди и укоряя Кати в «кокетстве», он даже пишет: «До чего же эта паршивка гордится своим женским естеством».

А почему бы ей и не гордиться? — спрашиваю я. Не будем ставить точки над «i», но поверьте мне, что в этом плане Кати стоит дюжины таких, как Мьетта.

И потом, когда Эмманюэль говорит о кокетстве Кати, он совершает психологическую ошибку. Дело обстоит куда сложнее. Кати вовсе не кокетлива. Просто, когда мужчина ей нравится, у нее всегда возникает желание ему отдаться. По сути, то, что ее сестра делает из чувства долга, она охотно делала бы ради собственного удовольствия.

В этом вопросе, как, впрочем, и во всех прочих, Кати предельно откровенна. Накануне свадьбы она мне сказала: «Единственное, чего я не могу тебе обещать — это, что я буду тебе верна».

Таким образом, я предупрежден, и поэтому с моей стороны ревновать было бы глупо. Тем более что, женившись на Кати, я присвоил себе непомерную привилегию. Когда Эмманюэль вернулся из «Прудов», везя на крупе лошади Мьетту, он также мог бы напрямик заявить: «Мьетта моя». И Мьетта само собой ничего лучшего и не пожелала бы. Но вместо этого Эмманюэль устранился, держался с Мьеттой отчужденно, и она поняла, чего он от нее ждет.

Так что первым великодушие проявил Эммануэль, а не Мьетта.

Тут он поступил умно и мужественно. Я повел себя иначе. Забыв, что я делил Мьетту с товарищами, я решил, что Кати должна принадлежать мне одному. В общине, где шестеро мужчин, я присвоил для своих единоличных утех единственную стоящую женщину — повторяю, единственную стоящую — под тем предлогом, что я-де ее люблю.

Конечно, я испытываю к ней чувство благодарности и дружбы. Но теперь, когда пыл первой страсти утих, могу ли я сказать, что я ее люблю? То есть люблю ли я ее больше, чем, скажем, Эммануэля, Пейсу или Мейсонье? Да и разве можно только из-за того, что ты спишь с женщиной, любить ее больше, чем друга? Я подозреваю, что в этом расхожем романтизме много лжи и условностей. И еще вопрос: разве то, что ты «любишь» женщину, дает тебе право присваивать ее себе одному в обществе, где число женщин весьма ограниченно? Если да, то Пейсу, который проявляет к Кати явную склонность, имеет столько же прав, сколько я, на исключительное обладание ею. Да и сама Кати, уступи она своим деревенским вкусам, возможно, предпочла бы мне Пейсу. В общем, по-моему, я по собственной воле влип в самую нелепую историю, и, боюсь, мне придется поплатиться своим самолюбием. Я знаю, что Кати будет мне изменять, и заранее внушаю себе, что должен смириться. Хотя такие мысли несовместимы с моральными устоями, унаследованными нами от прошлых времен, Эммануэль прав: в сообществе, где все зиждется на взаимной привязанности его членов, узы, связывающие только двоих — мужчину и женщину, неуместны.

Теперь еще раз о неприязни Эммануэля к Кати. Это создает в Мальвиле тягостную обстановку. Кати восхищается Эммануэлем и мучается тем, что он ни в грош ее не ставит. Ей чудится, будто он все время сравнивает ее с Мьеттой, и всегда не в ее пользу. На мой взгляд, потому-то Кати упрямится и нарушает дисциплину. Думаю, что ее поведение сразу изменилось бы, если бы Эммануэль больше ценил в ней ее человеческие качества.

Второе. Теперь я хочу поговорить об Эвелине. В этом вопросе я желал бы быть откровенным, не впадая в цинизм.

Начну с того, что я убежден — между Эвелиной и Эмманюэлем в смысле физической близости нет ничего, совершенно ничего.

Кати долгое время была уверена в обратном, и мы часто об этом спорили.

Все эти разговоры пошли от одного примечательного случая, который произошел после нашего возвращения в Мальвиль из Ла-Рока, до нападения грабителей, и о котором Эмманюэль умолчал в своем повествовании. Я уже не в первый раз замечаю — Эмманюэль обходит молчанием то, что его смущает.

Установившийся в Мальвиле обычай известен: каждый вечер перед сном Мьетта подходит к избранному ею компаньону, берет его за руку и уводит. Ритуал этот, сказать по правде, вначале меня коробил. Потом, нетерпеливо ожидая, когда снова подойдет мой черед, я постепенно привык. Теперь, когда я женился и нахожусь в привилегированном положении — по крайней мере хотя бы временно,— заведенный в Мальвиле обычай снова стал меня коробить. Знаю, что мне скажут. Что у мужчины, мол, две морали: если он извлекает пользу из того, что оскорбляет его нравственное чувство, это хорошо, если не извлекает, то плохо.

Короче, в тот вечер примерно месяц спустя после того, как Эвелина поселилась в Мальвиле, Мьетта перед сном подошла к Эмманюэлю и, нежно улыбаясь, взяла его за руку. В тот же миг Эвелина, которая стояла слева от Эмманюэля, подошла к нему и, не говоря ни слова, решительно и с силой, что нас всех удивило, расцепила их руки. Удивленная и огорченная тем, что Эмманюэль покорно выпустил ее руку, Мьетта сдалась. Она взглянула на Эмманюэля, но он не шевельнулся и молчал. Он смотрел на Эвелину с неестественно пристальным вниманием, словно пытался понять, зачем она так поступает, хотя это было для всех совершенно ясно. И когда Эвелина сжала своей ручонкой руку Эмманюэля, он не стал протестовать.

Не забуду, как в эту минуту Эвелина посмотрела на Мьетту. Это был взгляд не ребенка, а женщины. И этот взгляд яснее слов говорил: «Он мой».

Легко догадаться, что подумала Мьетта об этом случае. Но она ничем это не проявила. Когда снова настала очередь Эмманюэля, она ее просто пропустила, и он как будто даже не заметил.

Вот откуда и пошли наши с Кати споры о предполагаемой близости Эвелины и Эммануэля. Кати утверждала, что Эммануэль не такой человек, чтобы, лишившись Мьетты, обходиться совсем без женщины.

Колен, которому я высказал свои сомнения, держится противоположного мнения.

— Это все брехня, будто Эммануэль не может обойтись без бабы. Когда ему было двадцать, он два года к женщинам не прикасался — это я точно знаю. Целых два года. До этого он, конечно, был бабником и потом тоже, да еще каким, а эти два года ни-ни. Если хочешь знать, по-моему, была у него какая-то зазноба, и она причинила ему немало горя. И вообще, ты не знаешь Эммануэля,— добавил он.— У него совесть есть. Никогда он такого не сделает. Никогда не обидит девчонку. Скорее уж наоборот. И никогда не воспользуется своим положением, ни в жизнь не воспользуется.

Тогда я спросил его, как же он представляет себе их отношения.

— Да, он ее любит,— ответил Колен,— а вот как любит, не знаю. Вообще-то, конечно, я удивляюсь, Эвелина — маленький драный котенок, а Эммануэль до сих пор любил, чтобы женщина была в теле — чем баба виднее, тем ему лучше. И еще я удивляюсь, потому что Эвелине всего четырнадцать и ее даже смазливой не назовешь, разве что глаза хороши. Но чтобы он дотронулся до нее — да ни в жизнь! И не думай даже! Не такой он человек.

Должен сказать, что в дальнейшем Кати встала на точку зрения Колена: она решила «понаблюдать» за ними и не обнаружила ни единого признака, который подкрепил бы ее подозрения.

Третье. Общее собрание, описанное Эммануэлем в этой главе, ознаменовалось не только нашим переходом к «жестокой» морали, более соответствующей «новой эпохе», но и тем, что Эммануэль стал нашим военачальником «на случай опасности и чрезвычайного положения». И так как в последующие месяцы подобные случаи участились, в руках Эммануэля, который уже и без того был аббатом Мальвиля, сосредоточилась вся духовная и светская власть в нашей общине.

Можно ли при этом говорить, что произошла «сеньоризация» Эммануэля и мы попросту вернулись к феодальным временам? Не думаю. По-моему, внутренний строй

мальвильской общины полностью соответствует современным нормам, и мы все придерживаемся этого мнения. Точно так же, исходя из тех же современных норм, Эмманюэль ничего не предпринимает, не заручившись вначале нашей общей поддержкой, и держится этого неукоснительно. И дело тут не в самоуничижении — терпеть не могу эту мазохистскую фразеологию,— я сказал бы иначе: в том, что все мы, в том числе и Эмманюэль, всегда готовы принять чужое мнение, проявляется известная способность стать выше собственного «я».

ГЛАВА XV

Через два дня после того, как нас навестил Пужес, на рассвете я выслал разведчиков к стенам Ла-Рока. Мы убедились, что охрана у Фюльбера поставлена из рук вон плохо и взять город не составит труда. Правда, двое ворот охранялись, но между ними тянулся длинный вал, ничем не защищенный и притом не очень высокий,— на него легко можно было взобраться по приставной лестнице или даже проще, по веревке с крюком на конце.

Поход на Ла-Рок я назначил на следующее утро, но вопреки мнению всех своих товарищей настоял, чтобы ночная вахта у стен Мальвиля продолжалась вплоть до рассвета. После уборки урожая нам нечего было охранять в долине Рюны, и наши часовые располагались в землянке, которую мы вырыли на холме у «Семи Буков», откуда были прекрасно видны и дорога на Мальвиль, и палисад.

Заметив, как неохотно соглашаются мои товарищи нести наружную ночную вахту накануне похода в Ла-Рок — они считали, что для этого великого дела надо сохранить силы,— я решил подать пример и засесть на ночь в землянке вдвоем с Мейсонье.

Нет на свете ничего более нудного, чем ночная вахта. Собственно говоря, это чистой воды формальность и тренировка выдержки. Часами сидишь и ждешь: вдруг что-нибудь случится, но, как правило, не случается ничего. У Тома и Кати было по крайней мере утешение — ночью на дежурстве заниматься любовью, хотя, по правде сказать, землянка не слишком подходила для этой цели, несмотря на все старания Мейсонье ее благоустроить. Как и в тайнике над Рюной, свод землянки поддер-

живали фашины. А пол, покрытый решетчатым настилом, был вдобавок положен наклонно, и особый желобок — некое подобие канализационного устройства, выводил дождевую воду на склон холма. Крыша была покрыта не только ветками, но и куском листового железа, а поверх насыпан еще слой земли, на котором пучками пробилась трава. С запоздалым расцветом весны весь подлесок порос молодой травкой. Поближе к землянке мы пересадили невысокий, но густой кустарник, он не мешал обзору, но прекрасно маскировал наше убежище — с дороги, ведущей в Мальвиль, даже в бинокль ее трудно было разглядеть среди обгорелых стволов и зазеленевшего кустарника.

Для того чтобы вести наблюдение и стрелять в сторону палисада, землянка с севера и с востока на уровне человеческой груди была открыта. На беду, именно с севера и востока чаще всего задували ветры и лил дождь, и поэтому, несмотря на навес, часовые промокали до нитки, а непогода как на грех почему-то разыгрывалась предпочтительно но ночам.

Я распределил с Мейсонье часы дежурства и сна с таким расчетом, чтобы дежурство на заре выпало мне: я считал эти часы самыми опасными, ведь не будет же неприятель лезть в темноте на рожон.

Я не услышал ни звука. Все произошло, как в немом фильме. Мне показалось, что две тени приближаются к палисаду по мальвильской дороге. Говорю «показалось», потому что вначале я просто себе не поверил. На расстоянии семидесяти метров человек — это нечто чрезвычайно маленькое, и, когда эта серая тень перемещается на сером фоне скалы, в тумане, в сумеречный предрассветный час, естественно, спрашиваешь себя: «А не примерещилось ли мне это?» Вдобавок я, кажется, еще и вздремнул. Даже наверняка вздремнул, потому что вздрогнул от прикосновения холодного бинокля; пока я его наводил, а это было нелегко во мгле и тумане, меня сразу же бросило в испарину, несмотря на утреннюю прохладу. Земля, однако, как видно, начала прогреваться. От нее поднимался пар, скапливавшийся во впадинах и стлавшийся вдоль скалы. Мне все же удалось навести бинокль на палисад, и я стал медленно переводить его на запад вдоль скалы.

Присутствие людей выдали лица. Я различил два круглых розоватых пятнышка, выступающих на сплошном сером фоне. Удивительное дело, до чего же четко выделя-

лись два эти пятнышка в туманной мгле, хотя фигуры, тоже в какой-то серой одежде, совершенно сливались со скалой. Однако теперь по розовым пятнам лиц я угадывал очертания людей.

Пришельцы медленно передвигались по дороге, ведущей к Мальвилю, и, как мне показалось, старались вжаться в скалистую стену. Теперь я уже различал их даже по росту. Один был выше и, как видно, крепче другого. У каждого в руке по ружью — эти ружья меня удивили, они не походили на охотничьи.

Я растолкал Мейсонье и, едва он открыл глаза, зажал ему рот ладонью и шепнул:

— Молчи! У палисада два каких-то типа.

Он заморгал, потом отстранил мою руку и спросил еле слышно:

— С оружием?

— Да.

Я передал ему бинокль. Мейсонье навел его и что-то шепнул так тихо, что я не расслышал.

— Что? Что?

— У них нет поклажи,— повторил он, возвращая мне бинокль.

В ту минуту я не придал значения его словам. Смысл их дошел до меня лишь позднее. Я снова приставил бинокль к глазам. Ночная мгла рассеивалась, и теперь лица обоих были уже не просто розовыми пятнами — я различал их черты. Они вовсе не были изможденными, ничего общего с рюнскими бродягами. Эти двое были молоды, крепки и упитанны. Высокий подошел к палисаду, и по его позе я догадался, что он делает: он читал объявление, которое мы вывесили для пришельцев. Квадратный кусок выкрашенной белой краской фанеры, на которой Колен черными буквами вывел следующий текст:

ЕСЛИ ВЫ ПРИШЛИ С ДРУЖЕЛЮБНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ, ЗВОНИТЕ В КОЛОКОЛЬЧИК. В КАЖДОГО, КТО ПОПЫТАЕТСЯ ПЕРЕЛЕЗТЬ ЧЕРЕЗ ОГРАДУ, СТРЕЛЯЕМ.

МАЛЬВИЛЬ

Колен выполнил свою работу очень тщательно. Каждую букву он сначала нарисовал карандашом, потом обвел

краской, да еще ножницами заострил кисточку, чтобы буквы не расплывались. Под словом «Мальвиль» он рвался еще нарисовать череп со скрещенными костями, но я воспротивился. Я считал, что наш немногословный текст говорит сам за себя.

Двое пришельцев, один по правую сторону ворот, другой по левую, пытались, правда тщетно, найти щель, чтобы заглянуть вовнутрь палисада. Один даже вынул из кармана нож и стал ковырять старый, затвердевший, как камень, дуб. Бинокль в эту минуту был у Мейсонье, он протянул его мне, тихо и презрительно бросив:

— Нет, ты только погляди на этого кретина.

Но пока я наводил бинокль, пришелец уже отказался от своей затеи. Он подошел к товарищу. Сблизив головы, они, как видно, стали совещаться. Мне показалось, что они никак не договорятся. Судя по жестам высокого, который несколько раз указал в сторону дороги, я решил, что он предлагает уйти, а маленький намерен действовать дальше. Дальше — но как? Вот это-то и было неясно. Ведь не собирались же они вдвоем взять приступом Мальвиль.

Так или иначе, они, как видно, пришли к соглашению, потому что оба, один за другим, перебросили ружья на плечо. (Меня снова поразил вид их оружия.) Потом высокий подошел вплотную к палисаду и, сцепив руки под животом, подставил спину маленькому. Вот в эту самую минуту я и вспомнил слова Мейсонье, что у них нет никакой поклажи. Да ведь это же яснее ясного! Эти люди не одиночки. Они вовсе не собирались ни брать Мальвиль приступом, ни даже пробраться в него. Просто их целая банда, и, прежде чем напасть на нас, они выслали разведку, как накануне мы в Ла-Рок.

Я отложил бинокль и торопливо шепнул Мейсонье:

— Уложу того, что поменьше, а высокого постараюсь взять в плен.

— Это не по инструкции,— возразил Мейсонье.

— Я меняю инструкцию,— тотчас решительно отрезал я.

Я взглянул на него, и, хотя сейчас было не до смеха, я еле удержался, чтобы не расхохотаться. На лице нашего честного Мейсонье отразилась мучительнейшая борьба между уважением к инструкции и повиновением начальству. Я добавил прежним тоном:

— Ты стрелять не будешь. Это приказ.

И вскинул ружье. В оптический прицел «спрингфилда» я отчетливо различал розовое лицо непрошеного гостя: стоя на плечах своего товарища и уцепившись за край палисада, он вытягивал шею, стараясь заглянуть в щель. На таком расстоянии, да еще при оптическом прицеле, промахнуться трудно. И тут мне пришло в голову: этому парнишке, молодому, здоровому, осталось жить какую-нибудь секунду или две. Не потому, что он хотел перелезть через ограду — такого намерения у него не было,— но потому, что в его черепной коробке отпечатались сведения, полезные для нападающих. И вот этот-то череп пуля из «спрингфилда» сейчас разнесет, как ореховую скорлупку.

Парень медленно и внимательно изучал территорию, не подозревая, что все это уже бесполезно, что зря он пытается что-то запомнить, а я тем временем прицелился ему в ухо и выстрелил. Мне показалось, что его подкинуло вверх, потом он сделал отчаянный прыжок вниз и рухнул на землю. Его товарищ на миг застыл, потом повернулся кругом и помчался вниз по Мальвильской дороге. Я крикнул:

— Стой!

Он продолжал бежать. Я гаркнул во всю силу своих легких:

— Эй ты, верзила, стой!

И снова вскинул ружье. Но как раз в ту минуту, когда я прицелился ему прямо в спину, он, к моему величайшему изумлению, остановился.

— Сцепи руки на затылке,— крикнул я,— и подойди к ограде.

Он медленно подошел. Ружье по-прежнему болталось у него на ремне. Я не спускал с ружья глаз, готовый выстрелить при первом движении чужака.

Но ничего не произошло. Я заметил, что парень остановился в некотором отдалении от ограды, и понял, что ему не так уж весело глядеть на размозженный череп товарища. В эту минуту громко зазвонил колокол въездной башни. Я дождался, пока он умолкнет, потом крикнул:

— Стань лицом к скале и не шевелись.

Он повиновался. Я передал «спрингфилд» Мейсонье, взял у него карабин и быстро сказал:

— Держи его на прицеле, пока я к нему не подойду, а потом шагай к нам.

— Ты думаешь, их целая банда? — спросил Мейсонье, облизывая пересохшие губы.

— Уверен.

В эту минуту кто-то, кажется, Пейсу, крикнул со стены въездной башни:

— Конт! Мейсонье! Вы живы?

— Живы.

Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы спуститься с холма «Семи Буков» и подняться на противоположный склон. За все это время пришелец не пошевельнулся. Он стоял лицом к скале, сцепив руки на затылке. Я заметил, что ноги у него слегка дрожат. Снова голос Пейсу из-за ограды:

— Открывать?

— Рано еще. Я жду Мейсонье.

Я осмотрел незнакомца. Метр восемьдесят росту, густые черные волосы, судя по линии шеи — молодой. Сложением похож на Жаке, только потоньше. Крепкий, но стройный. Одет, как в наших краях одеваются по будням молодые фермеры: джинсы, сапоги с короткими голенищами, рубашка из шерстяной шотландки. Но на парне этот наряд выглядел щегольски. Да и во всем его облике было что-то щеголеватое. Даже в унизительной позе — я все еще велел ему держать руки на затылке — он умудрялся сохранять достоинство.

— Отбери у него оружие, — сказал я подошедшему Мейсонье.

Потом ткнул стволом своего ружья в спину пленника. И он сразу, не дожидаясь приказа, поднял руки, чтобы Мейсонье было легче снять через голову ремень его ружья.

— Боевая винтовка, — сказал Мейсонье с почтением. — Образца 36-го года.

Я вынул из кармана носовой платок, сложил его и обратился к пленнику:

— Сейчас я завяжу тебе глаза. Опусти руки.

Он повиновался.

— Теперь можешь повернуться.

Он обернулся, и я наконец увидел его лицо, правда с повязкой на глазах. Щеки выбриты, маленькая бородка клинышком аккуратно подстрижена. Весь он какой-то опрятный, степенный. Но конечно, надо бы увидеть его глаза.

— Мейсонье,— приказал я,— возьми оружие убитого, а также патроны, у него должен быть запас.

Мейсонье что-то проворчал. До сих пор он старался не глядеть на убитого, на его размозженный череп. Я тоже.

— Пейсу, можешь открывать.

Послышался скрип верхней задвижки, потом нижней, потом обеих поперечных. Затем щелкнул висячий замок.

— Тоже винтовка образца 36-го года,— сказал, поднимаясь с колен, Мейсонье.

Вышел Пейсу, поглядел на убитого, и его загорелое лицо побледнело. Он взял обе винтовки у Мейсонье.

— Это вы его из «спрингфилда» так отделали?— спросил Пейсу.

Мейсонье промолчал.

— Ты, что ли, стрелял?— спросил Пейсу, так как Мейсонье держал в руках мой «спрингфилд».

Тот отрицательно мотнул головой.

— Не он, а я,— раздраженно буркнул я.

Положив ладонь на спину парню, я подтолкнул его вперед. Пейсу запер за нами ворота. Взяв пленника за руку, я раза два повернул его кругом, а потом уже ввел в зону, где не было западней. Повторил этот маневр я раза три-четыре, пока мы не подошли к въездной башне. Пейсу и Мейсонье молча следовали за нами. Мейсонье не хотелось разговаривать после того, как ему пришлось обшарить карманы убитого, Пейсу — потому что я его оборвал.

На стене въездной башни два деревянных щита, закрывавшие амбразуры между старыми зубцами, были приоткрыты, я почувствовал, что оттуда за нами следят. Подняв голову, я приложил палец к губам.

Колен открыл ворота въездной башни. Дождавшись, чтобы он их запер снова, я выпустил руку пленника, отвел Мейсонье в сторону и шепнул ему:

— Отведи пленного в маленький замок, но не прямо, а немного попетляв, только смотри не увлекайся. Я иду следом.

Когда Мейсонье с пленником отошли на некоторое расстояние, я сделал знак Колену и Пейсу молча следовать за ними.

Обе старухи, Мьетта, Кати, Эвелина, Тома и Жаке спустились по каменной лестнице с крепостной стены.

Я знаком приказал им молчать. Когда же они подошли ко мне, я шепнул:

— Тома с Мьеттой и Кати оставайтесь на валу. Эвелина тоже. Жаке, отдай свое ружье Мьетте. Ты пойдешь с нами. Мену и Фальвина тоже.

— А почему не я? — спросила Кати.

— Спрашивать будешь потом, — сухо сказал ей Тома.

Эвелина кусала губы, но молчала, не сводя с меня глаз.

— Да это же несправедливо, — яростно зашептала Кати. — Все увидят пленного! А мы нет!

— Вот именно, — подтвердил я. — Я не хочу, чтобы пленный увидел вас. Тебя и Мьетту.

— Значит, ты хочешь его отпустить? — живо спросила Кати.

— Если смогу, да.

— Еще того чище! — возмутилась Кати. — Отпустят, а мы его так и не увидим!

— Погляди лучше на меня! — сердито посоветовал я. — Тебе этого мало? Тебе надо еще кокетничать и с этим парнем? А он, между прочим, наш враг.

— А с чего ты взял, что я собираюсь с ним кокетничать? — Кати чуть не заплакала от злости. — Хватит уже тыкать мне этим в нос!

Мьетта, которая с явным неодобрением следила за нашим спором, вдруг неожиданно обвила плечи Кати левой рукой и зажала ей ладонью рот. Кати отбивалась, как дикая кошка. Но Мьетта властно прижимала к себе сестру, уже укрощенную и умолкшую.

Я заметил, что Эвелина смотрит на меня. Смотрит с видом скромницы, заслужившей похвалу. Она, мол, не то что другие, она послушная... И притом не ропщет. Я мельком улыбнулся маленькой лицемерке.

— Пошли, Жаке.

Жаке совсем растерялся. Я приказал ему отдать оружие Мьетте, а обе руки Мьетты были заняты.

— Отдай ружье Тома, — бросил я через плечо уже на ходу.

Кто-то нагонял меня бегом. Это оказался Жаке.

— Всегда она такая была, — сказал он вполголоса, поравнявшись со мной. — Уже в двенадцать лет. Ей лишь бы завлекать. Так и с отцом началось, в «Прудах», но урок ей впрок не пошел. — И добавил: — Нет, не стоит она Мьетты. Мизинца ее не стоит.

Я промолчал. Мне не хотелось высказывать вслух свое мнение, ведь мои слова всегда могут дойти до чужих ушей. Я тоже был здорово раздосадован. Тома все понял, а вот Кати — нет. Пока еще нет. Своевольничает по-прежнему.

Пленник с завязанными глазами сидел в большой зале, там, где прежде было место Момо, а теперь Жаке,— на дальнем конце стола спиной к очагу. Уже рассвело, но солнце еще не вставало. Ближайшее к пленнику окно было открыто. В него струился теплый воздух. Все вновь сулило погожий день.

Я знаком предложил товарищам сесть. Все заняли свои обычные места, поставив ружья между колен. Старухи остались стоять, Фальвина — о чудо! — молчала. В этот час мы обычно сходились к первому завтраку. Завтрак был готов. Молоко вскипело, чашки на столе, хлеб и сбитое дома масло тоже. Я почувствовал вдруг, как у меня засосало под ложечкой.

— Колен, сними с него повязку.

Теперь мы увидели глаза пленника. Он заморгал, ослепленный светом. Потом посмотрел на меня, на моих товарищей, обвел взглядом чашки, хлеб, масло. Пожалуй, мне нравятся его глаза. И его поведение тоже. Держится он с достоинством. Побледнел, но присутствия духа не теряет. Губы пересохли, но лицо спокойное.

— Хочешь пить?— спросил я как можно более равнодушно.

— Да.

— Чего тебе налить — вина или молока?

— Молока.

— А есть хочешь?

Он смешался. Я повторил:

— Хочешь есть?

— Хочу.

Говорит он негромко. Вину предпочел молоко. Стало быть, не крестьянин, хотя, по-моему, должен быть откуда-нибудь из наших мест.

Я сделал знак Мену. Она налила ему в чашку молока и отрезала ломоть хлеба, куда толще, чем тот, что она швырнула старику Пужесу. Как я уже говорил, у Мену определенно слабость к красивым парням. А пленник парень хоть куда: черноглазый, темноволосый, бородка клинышком, тоже темная, выгодно оттеняет матовую кожу

лица. Худощавый, но видно, что силач. А наша Мену ценит в мужчине еще и работника.

Намазав ломоть хлеба маслом, Мену протянула его пленнику. Увидев перед собой бутерброд, он повернулся вполоборота, улыбнулся Мену, как матери, и дрогнувшим от волнения голосом поблагодарил. Мое отношение к пленнику определилось, хоть я по-прежнему держался холодновато и настороженно. Но по взгляду, который бросил на меня Колен, я догадался, что он разделяет мое мнение, и это лишь укрепило меня в моих планах.

Мену подала завтрак, мы съели его в полном молчании. А я думал, что если бы наш пленник вскарабкался на спину коротышке, которого я убил, не тому, а этому лежать бы сейчас с размозженным черепом. Глупая, никчемная мысль, толку от нее никакого, и я гоню ее прочь, потому что от нее невесело. Но она снова и снова возвращается ко мне во время завтрака и портит мне аппетит.

Пленник поел. Положил обе руки на стол и ждет. Еда пошла ему впрок. Щеки порозовели. И странное дело, похоже, он рад, что находится среди нас. Рад и испытывает облегчение.

Я задаю ему вопросы. Он отвечает сразу, без колебаний, ничего не скрывая. Больше того, вроде бы даже доволен, что может дать нужные сведения.

Зато нас не слишком-то радуют его вести. Оказывается, мы имеем дело с отрядом в семнадцать человек, которым командует некий Вильмен — он выдает себя за бывшего офицера-десантника. В отряде разработана строгая система подчинения: он делится на новобранцев и ветеранов, причем первые в полном рабстве у вторых. Дисциплина жесточайшая. Предусмотрены три вида наказания: провинившихся бьют палками, сажают под арест без хлеба и воды и убивают перед строем. У Вильмена есть базука, около дюжины снарядов к ней и два десятка винтовок.

Эрве Легран, так зовут пленника, рассказал, как он попал к Вильмену. Вильмен захватил его деревушку на юго-западе от Фюмеля. Во время сражения банда понесла потери, и Вильмен захотел их восполнить.

— Нас схватили,— рассказывает Эрве,— Рене, Мориса и меня. Привели на городскую площадь. Вильмен спросил Рене: «Согласен вступить в мой отряд?» Рене сказал:

«Нет!» Тогда братья Фейрак заставили его встать на колени, и Бебель ножом... Кровь так и хлынула у Рене из горла...

— Бебель? Это что, женщина?

— Нет. В общем-то, нет.

— Приметы?

— Рост — метр шестьдесят пять, волосы светлые, длинные, черты лица тонкие. Сам худой. Руки и ноги маленькие. Любит переодеваться в женское платье. Кто хочешь за бабу примет.

— И Вильмен принимает?

— Да.

— И не только Вильмен?

— Нет, что ты!

— Отчего? Парни боятся Вильмена?

— Они больше боятся Бебеля. Очень уж ловко он орудует ножом,— добавил Эрве.— Ловчее всех ветеранов бросает.

Я посмотрел на него.

— А как новобранцы становятся ветеранами?

— Вильмен говорит: не важно, кто пришел раньше, кто позже.

— Тогда как же?

— Надо пойти добровольцем на задание.

— Поэтому ты и взялся идти в разведку в Мальвиль?— сухо спросил я.

— Нет, мы с Морисом хотели предупредить вас и дезертировать.

— Почему же вы этого не сделали?

Он ответил не задумываясь.

— Потому что со мною пошел не Морис. Дело было вот как: нынче под утро Вильмен объявил, что ему нужны четверо, чтобы разведать два места — Курсежак и Мальвиль. Из рядов вышли только мы с Морисом. Оба новички. Тогда Вильмен обложил ветеранов, и под конец вызвались двое. Одного Вильмен приставил ко мне, другого к Морису. Морис сейчас в разведке у Курсежака.

— Я вот чего не пойму. Нынче утром Вильмен послал разведчиков в Курсежак и в Мальвиль. А почему не в Ла-Рок?

Пауза. Эрве посмотрел на меня.

— Но ведь мы заняли Ла-Рок,— произнес он с расстановкой.

— Как!— воскликнул я.

И, сам не знаю почему, привстал со стула.

— Как? Вы заняли Ла-Рок? Когда?

Вопрос бессмысленный. Не важно когда.

Важно, что Вильмен занял Ла-Рок, что он в Ла-Роке. Со своими винтовками образца 36-го года, со своими обстрелянными парнями, базукой и военным опытом.

Я вижу — мои товарищи побледнели.

— Банда,— пояснил Эрве,— захватила Ла-Рок вчера вечером на закате.

Я встал и отошел от стола. Я был сражен. Накануне утром я послал разведчиков осмотреть оборонительные сооружения Ла-Рока, а под вечер того же дня Ла-Рок взяли, но взяли не мы, а другие. И если бы мне не пришла в голову мысль захватить пленного вопреки протестам Мейсонье, который настаивал на соблюдении моей дурацкой инструкции, сегодня же утром мы с товарищами подошли бы к стенам Ла-Рока в полной уверенности, что одержим легкую победу. На беду, у меня слишком живое воображение: я сразу представил себе, как нас на открытом месте поливает истребительный огонь семнадцати винтовок.

Ноги у меня задрожали. Сунув руки в карманы, я повернулся спиной к столу и подошел к окну. Распахнув настежь обе створки, я вздохнул полной грудью. Но вспомнил, что пленник наблюдает за мной, и постарался взять себя в руки. Наша жизнь зависела от сущего пустяка, от случайности, вернее, от двух — одной несчастной, второй счастливой, причем вторая спасла нас от последствий первой. Вильмен взял Ла-Рок накануне того дня, когда я сам собирался взять его приступом, но за несколько часов до того, как идти на приступ, я добыл у Вильмена «языка». Мысль о том, что от этих нелепых совпадений зависит твоя жизнь, хоть кого научит скромности.

С непроницаемым лицом возвращаюсь к столу, сажусь и бросаю:

— Рассказывай дальше.

Эрве рассказывает о взятии Ла-Рока. Когда стемнело, Бебель, переодетый женщиной, в одиночку подошел к южным воротам города с маленьким узелком в руке. Часовой, охранявший башню,— позже мы узнали, что это был લануай,— впустил его, и Бебель, убедившись, что

рядом никого нет, перерезал ему горло. А потом открыл ворота своим. Город был взят без единого выстрела.

По просьбе Мейсонье я предоставил ему слово.

— Сколько у вас винтовок образца 36-го года? — спросил он пленника.

— Двадцать.

— А боеприпасов много?

— Думаю, что да. Выдачу их ограничивают, но не слишком строго. У Вильмена правило такое,— добавил Эрве,— всегда иметь на двадцать винтовок два десятка стрелков.

По просьбе Мейсонье Эрве подробно описал базуку. Когда он кончил, снова вступил в разговор я.

— Никак не пойму, сколько вас все-таки — семнадцать или двадцать?

— Вообще-то двадцать. Но в сражении у Фюмеля мы потеряли троих. Так что осталось семнадцать. Потом ты убил одного — значит, шестнадцать. И меня взял в плен — выходит, пятнадцать.

Ошибиться невозможно, по голосу слышно: он очень рад, что оказался среди нас.

Помолчав, я спросил:

— Ты давно знаешь Мориса, которого завербовали вместе с тобой?

— Еще бы! — оживился Эрве.— Мы друзья детства. Когда взорвалась бомба, я проводил у него отпуск.

— Ты его любишь?

— Еще бы! — ответил Эрве.

Я посмотрел на него.

— Значит, нельзя тебе бросить его, он в одном лагере, ты в другом. Так дело не пойдет. Представляешь, вдруг Вильмен нападет на нас — как ты будешь стрелять в Мориса?

Эрве вспыхнул, и в глазах его я прочел сразу и радость оттого, что я решил дать ему оружие, чтобы он сражался в наших рядах, и стыд, как это он мог забыть о Морисе. Я тихонько хлопнул ладонью по столу.

— Ладно, Эрве, сейчас я скажу, что мы сделаем. Отпустим тебя на свободу.

Он резко откинулся назад. Пожалуй, никогда еще пленник не выказывал так мало радости при мысли о предстоящей свободе. Краем глаза я наблюдаю также, как восприняли это заявление мои товарищи.

Гляжу на Эрве. Краска сбежала с его щек.

— Что-нибудь не так? — спрашиваю я.

Он кивает.

— Если ты выпустишь меня без винтовки — это все равно что приговорить меня к смерти, — произносит он сдавленным голосом.

— Я об этом подумал. Перед уходом тебе вернут винтовку.

Тут мои товарищи беспокойно зашевелились. Я сделал вид, что ничего не замечаю, и продолжал:

— А дальше ты поступишь так. Само собой, никому не скажешь, что тебя взяли в плен. Скажешь, что твоего товарища убили, когда он заглянул через ограду, а тебе удалось спастись бегством под градом пуль. Скажешь, что, по-твоему, в тебя стреляли сверху, с донжона, — добавил я.

Мне вовсе не улыбается, чтобы Вильмен еще до нападения на Мальвиль заподозрил о существовании нашей землянки на холме у «Семи Буков».

— Не забудь об этом, это важно.

— Не забуду, — обещает Эрве.

— Ладно. А при первом же удобном случае ты с Морисом...

— Дальше можешь не объяснять, — прерывает Эрве.

— Последний вопрос, Эрве: как ты шел из Ла-Рока?

— Проселком, конечно, — слегка удивился Эрве. — А разве есть другой путь?

Я не ответил. Ну вот и все. Больше нам говорить не о чем. Эрве ждет. Он обводит залу мягким, честным взглядом своих черных глаз. Бородка клинышком ему идет: так он солиднее и мужественнее. Он смотрит на нас, смотрит на Мену — он сразу догадался, что она расположена к нему, — на окна со средниками, на военные трофеи и огромный камин. Кадык на его шее ходит ходуном, и, хотя он крепится, я чувствую, что мальчуган — ведь он еще мальчуган — взволнован до глубины души. Он боится одного — потерять людей, которые приняли его в свою семью. Лишиться Мальвиля.

Я встаю.

— Ну, пора, Эрве.

Он поднялся, я подошел к нему и снова завязал ему глаза. Мы все проводили его до въездной башни, а оттуда уже вдвоем с Мейсонье довели до палисада и выпу-

стили через опускную дверцу. К счастью, сраженный пулей, его спутник упал ближе к пропасти, и, когда Эрве на четвереньках прополз через лазейку, ему не пришлось пробираться слишком близко от мертвеца. Я протянул ему через дверцу винтовку, он встал во весь рост, помахал нам рукой, широко по-детски улыбнулся. И крупно зашагал по дороге. Я глядел ему вслед через смотровое окошко.

— Возможно, мы потеряли одну винтовку,— шепнул мне на ухо Мейсонье.

Я посмотрел на него.

— А возможно, приобретем две.

А главное, двух бойцов. Потому что ружей у нас стало теперь восемь, считая винтовку убитого. Можно вооружить не только шестерых мужчин, но и Мьетту с Кати. А вот люди нам нужны позарез. Если Эрве с Морисом удастся бежать, у Вильмена останется всего четырнадцать бойцов. А нас в этом случае станет десятеро. В ружейной перестрелке от количества бойцов зависит ох как много...

Это я и изложил общему собранию, которое созвал во въездной башне сразу же после ухода Эрве, пока Жаке рыл могилу для убитого за оградой палисада, а Пейсу, спрятавшись в ста метрах от него у обочины дороги, охранял его с оружием в руках.

— Помни, Пейсу,— наставлял его Мейсонье,— укройся хорошенько. Чтобы ты видел всех, а тебя никто!

Мейсонье у нас главный эксперт. Вояка. Хоть он и коммунист, но прошел военную подготовку. Видно, считал, что лишние знания не помешают, откуда бы они ни шли. И вот собрание началось с того, что Мейсонье объяснил нам: винтовки образца 36-го года были на вооружении французской армии к началу второй мировой войны. Конечно, с той поры было изобретено кое-что похлеще, но и это не так уж плохо. А базуки, по словам Мейсонье, американцы начали выпускать в 1942 году. Дальнобойность 60 метров. Стенам Мальвиля опасность не грозит — они слишком толстые. Будь при этом Пейсу, он непременно бы добавил: «И сложены на известковом растворе». А известь, которой больше шести сотен лет, потверже камня.

— Зато палисад!— покачал головой Мейсонье.— И ворота внешнего двора! И подъемный мост во внутреннем...

Мы переглянулись. Я попытался придать своему голосу уверенность, хотя вовсе ее не испытывал.

— Ничего страшного,— решительно объявил я.— Палисадом мы, конечно, пожертвуем. Собственно говоря, он и построен-то ради маскировки, но он сыграет свою роль — задержит врага, ведь врагу придется его разрушить и тем самым выдать себя. Зато перед воротами въездной башни я предлагаю возвести защитную стену примерно в метр толщиной и метра три высотой. Чуть в стороне от моста, чтобы дать проход всаднику, ну а кроме того... Кроме того, во дворе у нас есть песок, в подвале мешки, мы наполним их песком и навалим у стены.

К моей великой радости, Мейсонье меня поддержал, а после всех его технических выкладок его одобрение значило немало.

Прежде чем приступить к работе, я сказал еще несколько слов. Прошлой ночью, хотя все были против, я распорядился нести вахту. И счастье, что я настоял на своем. Не хочу раздувать это дело, но подчеркиваю: то, что ребята упирались, было скрытой формой нарушения дисциплины. И точно так же — только это уже много хуже — нарушала дисциплину Кати, когда упрямилась и не хотела нести охрану вала, пока мы допрашивали пленника. Тут я позволил себе отвести душу:

— Больше я этих фокусов не потерплю! Отдал приказ — и точка, у меня нет времени препираться со всякими занудами.

Я встал. Собрание окончено — продолжалось оно всего минут десять. Теперь нам не до былых словопрений.

Кати промолчала, только как-то странно поглядела на меня. С ненавистью? С обидой? Ничуть не бывало. Скорее взгляд ее говорил: «Ах вот как! Значит, я, по-твоему, зануда! Ну погоди». И в этом «погоди» отнюдь не было угрозы. Скорее уж осмелюсь назвать это обещанием.

Когда могила была вырыта и убитый предан земле, я снял Пейсу, без которго мы не могли обойтись, с его поста на дороге в Ла-Рок, а вместо него поставил Колена — недоставало только, чтобы в случае нападения нас застигли врасплох за работой, хотя вряд ли на нас нападут днем. Я разбил наших людей на два отряда. Один под началом Пейсу подносит к месту, где он возводит стену, уже обтесанные глыбы, которых навалом во внешнем дворе. Второй, куда входят четыре женщины и Эве-

лина, наполняет мешки песком, завязывает их и подтаскивает к краю рва, где их потом взгромоздят один на другой. Двум нашим железным тачкам не придется нынче простаивать.

Чтобы терять поменьше времени и чтобы около палисада всегда были люди, я решил, что, пока мы не отменим боевую тревогу, каждый из нас по очереди перехватит в кухне въездной башни кусок ветчины, о разносолах и речи быть не могло — у Мену с Фальвиной сегодня есть дела поважнее, чем стряпать.

Еще до того как Пейсу положил первый камень, я выволок из сарая две повозки — нашу и ту, что принадлежала хозяевам «Прудов». Я поставил их неподалеку от рва, в той части бывшей автомобильной стоянки, где не было ловушек. Здесь они не могли помешать стрельбе и в то же время не оказались бы замурованными стеной, которую мы возводили и которая, по моей мысли, должна была стать постоянной частью наших укреплений. Даже если предположить, что в один прекрасный день на нас нападет банда, не имеющая базуки, все равно большие деревянные ворота башни остаются наиболее уязвимым пунктом Мальвиля — враги могут поджечь или высадить их. Нам важно помешать врагу подойти к воротам — для этого мы и воздвигаем стену, проникнуть за нее враг сможет только через узкий проход, который легко защитить, открыв сильный огонь.

Видать, средневековые каменотесы были люди с размахом — камня они не жалели. Мы перетаскиваем глыбы из развалин старого городища, которое было расположено во внешнем дворе еще во времена, когда в Мальвиле был мировой судья, и глыбы эти весьма и весьма увесистые. Приподнять их, присев на корточки, подтянуть себе на колени, а потом со вздохом облегчения сбросить в тачку — дело не простое. Иногда за одну глыбу приходится браться вдвоем. Я потому и поставил Колена часовым, чтобы избавить его от непосильной нагрузки. Но даже Тома, несмотря на свою прекрасную спортивную форму, выбивается из сил. Мейсонье весь в поту. Только нашему Жаке хоть бы что — без малейшего усилия он один своими обезьяньими ручищами поднимает глыбину, с которой мне никогда бы не справиться без его помощи.

Сам я был весьма разочарован своими успехами, но, будь мне тридцать, я решил бы, что просто устал и не в

форме, теперь же я, как водится, пришел к выводу, что я стар, и чуть было не скис, но, впрочем, ненадолго — я припомнил, что прошлой ночью почти не спал, да и забот и волнений мне тоже хватает. Эта мысль, хотя и не придала мне сил, зато поддержала мой дух, и я снова вошел в рабочий ритм, присаживался и выпрямлялся, обливаясь потом на жарком солнце, обламывая ногти и чувствуя боль в натруженных руках и ломоту в пояснице.

В час дня Мейсонье, сославшись на ночную вахту, которую мы несли с ним вдвоем, отправился «чуток вздремнуть, всего на несколько минут». В три часа, не помня себя от восторга, что на два часа перекрыл рекорд выносливости Мейсонье, я тоже почувствовал вдруг, что выдохся, и прекратил работу. Впрочем, у Пейсу было камня больше чем достаточно, и он, кликнув на подмогу Жаке, уже начал возводить стену. Я передал командование Мейсонье — он возвратился после «нескольких минут», которые продолжались два часа,— объявил, ни к кому не обращаясь, что тоже пойду отдохну, и уже издали услышал, как Мейсонье отправил выбившегося из сил Тома сменить Колена на посту у дороги в Ла-Рок.

В спальне у меня едва хватило сил раздеться. Хотя от толщи каменных стен веяло прохладой, но и здесь жара стояла невыносимая. Я рухнул на постель — ноги были как свинцовые, руки онемели — и мгновенно уснул. Спал я тревожно, меня непрерывно мучили кошмары. Не стану их пересказывать. Хватит и тех ужасов, что нас окружают наяву. И потом, кому не случалось видеть такие сны: тебя преследуют, тебя хотят убить. Враги настигли тебя, ты отбиваешься, но твои удары падают в пустоту. Если б еще этот кошмар снился один раз, так нет же, он повторяется. И от этого бесконечного повторения совсем выбиваешься из сил. Самое жуткое было в том, что преследовал меня Бебель — на нем юбка, светлые волосы развеваются, в руке нож.

Вот лезвие его ножа коснулось моей шеи — и тут я проснулся. Открыл глаза. В самом деле, в моей комнате женщина, только, слава богу, не Бебель. А Кати.

Она стояла у изножья моей кровати. Ее глаза блестели лукавством. Она молча смотрела на меня, потом вдруг кинулась ко мне, навалилась на меня всей тяжестью своего тела и прижалась губами к моим губам.

Я был еще в полусне, и Кати вполне могла сойти за сновидение, тем более что она все взяла на себя с ошеломившим меня искусством. Когда же я наконец окончательно стряхнул с себя сон, было уже поздно. Я попался. Раскаяние нахлынуло на меня одновременно с наслаждением, и, чем сильнее становилось второе, тем слабее говорило первое. Наконец наслаждение дошло до экстаза, и партнерша, которая мне его дарила, в полной мере разделила его со мной, и, исступленно ему предаваясь, дважды, трижды умирала и вновь воскресала за тот короткий промежуток времени, пока я сам умиротворенно затихал.

Я с трудом перевел дух. И посмотрел на нее. Я никогда не считал ее особенно хорошенькой. Должно быть, теперь я гляжу на нее другими глазами. Сейчас она восхитительно хороша, распаленная и растрепанная. Но тут моя совесть взяла верх, и я сказал ей с упреком, впрочем, не слишком суровым:

— Зачем ты это сделала, Кати?

Сказано довольно вяло. И к тому же лицемерно — ведь, в конце концов, в том, что сделано, участвовала не одна она.

Кати ответила без промедлений, убежденно и задорно:

— Во-первых, хотя ты и старый, Эмманюэль, ты мне нравишься.— (Покорно благодарю.) — Честное слово, если бы пришлось выбирать из всех вас, не считая Тома, я выбрала бы тебя сразу после Пейсу.— (Еще раз покорно благодарю!)

Она помолчала, потом вскинула голову, и в глазах у нее вспыхнул огонек.

— А главное, мне хотелось, чтобы ты, Эмманюэль, знал, что Кати вовсе не пустое место, что она не просто зануда, как ты считал, а женщина, и притом настоящая!

Пропустим мимо ушей намек любящей сестры. (Бедная Мьетта!) Сидя на кровати с поджатыми ногами — волосы у нее растрепались, щеки пылали, маленькие груди напружились,— Кати смотрела на меня блестящими глазами, которые лучились торжеством и гордостью. На первый взгляд могло показаться нелепым, что она так кичится своими любовными талантами, никакой ее заслуги в том нет, уж такой она уродилась на свет. Но разве мы, мужчины, да и я сам в том числе, не кичимся точно так же нашей мужской силой? Да еще надменно и тще-

славно распускаем хвост, точно павлины. А может, по сути, это не так уж глупо. Ведь и в самом деле, за последние минуты я зауважал Кати куда больше, чем прежде. Я ведь и действительно считаю теперь, что это «женщина, и притом настоящая». Если бы не Тома и не злосчастная совесть, которая меня сейчас грызет, я отнюдь не прочь, чтобы мой дневной отдых почаще заканчивался так, как сегодня.

Кто сказал, что Кати не умна? Она впилась в мои глаза взглядом, где еще так недавно отражалось необузданное наслаждение: и то, которое испытывала она сама, и то, которое к вящей своей гордости дарила мне. Она читает все мои мысли, одну за другой. Кати видит, а может, и чувствует — не все ли равно, раз она об этом догадывается,— что, если прежде я ее недооценивал, теперь все изменилось, я ее ценю, и ценю очень высоко. Ее пьянит это сознание. Откинула голову назад, губы полуоткрыты, глаза сверкают. Она как вином упивается своей победой, смакуя ее глоток за глотком.

— А все же, Кати, придется обо всем рассказать Тома,— говорю я глухим голосом.

Для меня это как ушат холодной воды, а для нее — нисколько.

— Не волнуйся,— усмехнувшись, отвечает она.— Я все беру на себя. Это не твоя забота.

Я буквально ошеломлен ее бесстыдством.

— Послушай, Кати, он же будет возмущен, оскорблен...

Она покачала головой.

— Вовсе нет. И не думай даже. Он тебя слишком любит.

— Я его тоже,— ответил я и тут же устыдился: не очень-то подходящая минута для таких заявлений.

— Знаю,— ответила она, и я уловил в ее словах былую досаду.— Ты в Мальвиле всех любишь, кроме меня!

Но тут же, спохватившись, добавила с коротким горловым смешком:

— Но теперь этому конец!

Она встала и привела себя в порядок. А сама смотрела на меня с видом собственницы, точно приобрела меня в большом магазине и, довольная удачной покупкой, зажав ее под мышкой, возвращается к себе. К себе, а может, и ко мне. Потому что ее оценивающий взгляд обежал всю мою спальню, задержался на письменном столе (вот оно —

фото твоей немки!) и чуть дольше — на диване у окна. Оба эти промедления сопровождаются гримасками.

— В общем,— говорит она,— хорошо, что я занялась тобой. Бедняжка Эммануэль, маловато у тебя нынче утех!

Ее глаза снова блеснули. Она посмотрела на меня с откровенной дерзостью.

— Насчет Эвелины все так и не решаешься?

Честное слово, она воображает, что отныне ей все дозволено! Я обозлился. А впрочем, зачем врать, не обозлился. Или, вернее, куда меньше, чем обозлился бы прежде. Просто удивительно, как она меня приручила. Впрочем, она сама это отлично понимает и опять за свое:

— Не хочешь отвечать?

— Какого еще ответа ты ждешь? Ей же тринадцать лет!

— Четырнадцать. Я видела ее метрику.

— Все равно, она девчонка.

Кати всплеснула руками.

— Девчонка? Да она самая настоящая женщина! И знает, чего хочет.

— Чего же она, по-твоему, хочет?

— Да тебя, черт возьми!

И она торжествующе рассмеялась.

— И она тебя заполучит. Ведь я-то тебя заполучила, господин аббат!

Парфянская стрела, но выпустила она ее не на прощанье, нет — она повисла у меня на шее и покрывает быстрыми поцелуями мое лицо.

— Я вижу, ты боишься, Эммануэль. Думаешь: ну вот, теперь с этой сумасбродкой вся дисциплина пойдет к черту. А вот и ошибаешься. Наоборот. Увидишь. Буду ходить по струнке! Как заправский солдат! Ну все — бегу.

Ох и огонь же эта девчонка! Дверь хлопнула. Я оглушен, пристыжен, восхищен. Накинув на плечи мохнатое полотенце, я спустился этажом ниже принять душ — на свежую голову легче разобраться, что к чему. Но и после душа я ни в чем не разобрался. И, откровенно говоря, мне на это плевать. Ясно одно — целый час я не вспоминал о Вильмене, я приободрился, воспрянул духом, полон надежд.

Мужчины на строительной площадке встретили меня как ни в чем не бывало. Но отнюдь не женщины. Они все поняли. Кто их знает, может, подозревают, что я, желая развязать себе руки, нарочно отослал Тома сторожить до-

рогу, хотя я здесь совершенно ни при чем: ведь отправил его туда Мейсонье.

Первым я ловлю взгляд Эвелины. Он темен, при всей голубизне ее глаз. Глаза Фальвины сообщнически поблескивают. Мену покачивает головой и sottovoce* произносит весьма нелестный для меня монолог — как ей ни обидно, она не может довести своих суждений до моего слуха, тогда их непременно услышит и Эвелина. Только с Мьеттой мне не удается встретиться взглядом, и это меня огорчает.

Кати держит в руках полиэтиленовый мешок, а Мьетта маленьким совком для мусора сыплет в него песок. Кати держит мешок небрежно, вид у нее торжествующий, зато Мьетта трудится как рабыня, рабыня немая и вдобавок ослепшая — я прохожу в двух шагах от нее, но она не поднимает глаз и не дарит меня, как обычно, своей чудесной улыбкой.

— Хорошо поспал, Эммануэль?— спрашивает Кати с невозмутимым бесстыдством.

Ведь это она нарочно! Мне хочется сухо ее оборвать. Хочется внушить ей — нечего, мол, выставлять напоказ, что она, по ее выражению, «заполучила меня». И еще мне хочется подчеркнуть, что я по-прежнему предпочитаю, во всяком случае, в некоторых отношениях, ее сестру. Но взгляд Кати смущает меня, слишком живо он напоминает о том, что меня волнует. И, отвернувшись, я довольно-таки неуклюже говорю:

— Привет обеим сестрам!

Кати смеется, Мьетта и бровью не ведет. Она нема и слепа. А теперь она еще и оглохла. А я чувствую себя виноватым, словно я ее предал. Можно подумать, что с тех пор, как я по-новому смотрю на ее сестру, я чем-то обездолил Мьетту.

Я вышел за ворота въездной башни и оказался среди мужчин. Насколько же с ними проще! Они заняты делом и о нем только и думают. У них есть цель. Я с благодарностью посмотрел на своих друзей, с головой ушедших в работу.

Близился заключительный этап, самый долгий и трудный. Стену решили возвести трехметровой высоты, сейчас достраивается последний метр. Выглядит это так: к стене приставлены две лестницы, и Пейсу с Жаке, каж-

---

* Вполголоса *(итал.)*.

дый взвалив поклажу на свои широченные плечи и тяжело переступая с перекладины на перекладину, поднимают глыбу на самый верх. Только им двоим это под силу. Колен помогает поочередно каждому из наших двух Гераклов взваливать камень на спину другого. Мейсонье, которому для этой работы, как видно, недостает сноровки Колена, бездействует — к подножию стены мы уже натащили столько камней, что их с лихвой хватит, чтобы закончить кладку.

Я предложил Мейсонье пройтись со мной дозором. Он согласился. Но прежде мне надо было выпросить у Мену метра два ниток.

— У меня их осталось-то всего ничего,— сказала она, и ее запавшие глаза все еще смотрели на меня с укором.— А когда выйдут, чем прикажешь шить?

— Послушай, Мену, да мне нужен всего метр или два, и ведь не забавы ради!

Она отправилась в кухню въездной башни, продолжая ворчать пуще прежнего, и я пошел следом за ней, что было весьма неосмотрительно с моей стороны, потому что, едва мы оказались там, где нас никто не мог услышать, я получил в придачу к черным ниткам, которые она что-то слишком долго искала, ожидаемый нагоняй.

— Бедняжка Эмманюэль,— начала Мену, сопровождая свои слова вздохами, впрочем, лицемерными, ибо на самом-то деле готовилась поговорить в свое удовольствие.— Ты все такой же! Все тот же бабник! Ну в точности твой дядя Самюэль. Постыдился бы! Сам обвенчал девку со своим другом! Хорош из тебя кюре! А я, дура, хожу к тебе на исповедь! Да я еще не знаю, кто кому должен бы грехи отпускать! Уж тебе было бы, верно, в чем покаяться. Вряд ли господь бог радуется, на тебя глядючи! Уж я не говорю об этой — тьфу, молчу, не хочу никого обижать. Но думать мне никто не запретит. Теперь тебе беспокоиться нечего, пусть себе жар поутихнет, понадобится — сам знаешь, как да где его раздуть. Да вдобавок у нее не язык, а бритва, даром что еще молодая! И потом, заруби себе на носу — она на этом не остановится. Куда там! За тобой настанет черед Пейсу, за ним Жаке, а потом и всех прочих. Отчего бы ей и не посравнить! (В последних словах мне послышалась некоторая даже зависть.)

Я, как и дядя, слушал и молчал. И, как дядя, играл отведенную мне в этой маленькой комедии роль. Хмурил

брови, пожимал плечами, качал головой — словом, проявлял все внешние признаки недовольства, хотя отнюдь его не испытывал. После смерти Момо — это вторая боевая вылазка Мену, в первый раз ей под руку попался старик Пужес. Хладнокровие, сила, боевой задор — все снова при ней. Никогда еще этот маленький скелетик не был так полон жизни. К тому же, разоблачая меня, Мену вовсе меня не осуждает. Не будь я бабником, она бы меня презирала. Она смотрит на вещи просто — бык на то и бык, чтобы покрывать телку. А вот телка — та распутница. Ее дело покоряться быку, а не лезть к нему.

Боевые действия развертываются по спирали. Мне приходится во второй раз выслушать образное напоминание об огне, который известно, как и где раздуть. Когда воображение Мену иссякает и она начинает повторяться, открываю рот я. И говорю — по роли полагается, чтобы последнее слово осталось за мной,— хмуро и ворчливо:

— Дождусь я когда-нибудь ниток или нет?

После этой отповеди нитки чудом тут же отыскиваются. Они оказались на столе. Мену отмерила мне их как завзятая скопидомка, продолжая при этом ворчать, но все тише и тише, пока ее воркотня не заглохла совсем. Когда я вышел из кухни, в моих ушах все еще стоял гул, и я с удивлением подумал, что будничная жизнь в Мальвиле течет своим чередом, хотя нам грозит опасность, хотя с минуты на минуту нас могут уничтожить.

— Знаешь, что я надумал,— сказал Пейсу, стоя на верхней ступеньке лестницы и орудуя огромной глыбой с такой легкостью, точно это был небольшой булыжник,— навалим мешки с песком так, чтобы стены совсем не было видно, Вильмен решит, что перед ним один песок. Тут он себе шею и свернет.

Я согласился с Пейсу и на время нашего с Мейсонье отсутствия передал командование Колену, он проводил нас до опускной дверцы и запер ее за нами. По правде говоря, выползать из замка на четвереньках — штука довольно унизительная, но я считал нужным подать пример, пусть это войдет в привычку. В открытые ворота в мгновение ока может вломиться целая орда, ну а в эту дыру у самой земли ворваться невозможно, тем паче что в нижний паз отверстия — я забыл об этом упомянуть — вставлена остро наточенная коса.

Сначала мы двинулись по дороге в Ла-Рок. Как видно,

Тома был начеку и здорово укрылся, мы услышали короткий окрик: «Вы куда?» — и только по голосу догадались, где он прячется. И сам он вырос перед нами, больше, чем всегда, похожий на греческую статую: до пояса голый, лицо спокойное и сосредоточенное.

— Хотим разведать лесную тропинку. На обратном пути, если желаешь, я тебя сменю.

— Это еще зачем? — возразил Тома. — У меня всех дел — лежи себе да смотри. Ты устал побольше моего — вкалывать пришлось тебе.

Я покраснел, чувствуя себя гнусным предателем.

— Так или иначе, мне надо с тобой поговорить, — сказал я.

Я принял это решение, не продумав его как следует, но считал, что поступаю правильно. Не прятаться же мне за спину Кати. Если произойдет взрыв, я обязан первым на себе самом испытать его силу. Помахав Тома рукой, я двинулся дальше, Мейсонье шел слева от меня. Деревья по большей части обгорели, и листьев на них не было, зато подлесок с поистине тропическим буйством воспользовался и дождливой погодой, и солнечным светом, которыми были богаты два последних месяца. Никогда в жизни я не видел, чтобы зелень так густо разрасталась. И в ширину, и в высоту. Передо мной высились трехметровые папоротники со стеблями толщиной с мою руку, стеной стоял колючий кустарник, дикий боярышник был похож на деревья, а молодые стволы каштанов и вязов уже привольно ветвились высоко над моей головой.

В это время года не так-то легко отыскать начало ведущей в Ла-Рок тропы, особенно с дороги, но я уже давно запомнил приметы и нашел ее без труда. Еще до Происшествия я часто пользовался этой тропой для выездки лошадей. Копыта мягко ступали по черному перегною, и к тому же здесь удачно чередовались спуски, подъемы и ровные участки пути. И хотя лес мне не принадлежал, я следил, чтобы тропа не заросла, обрезал мешавшие мне вётви и колючие кусты. Я нарочно никогда не заикался об этой дороге в Ла-Роке, опасаясь, как бы Лормио не вздумали прогуливать по ней своих меринов. А совсем недавно я расчистил ее от преграждавших нам путь обгоревших стволов, когда мы возвращались с Коленом из Ла-Рока, куда ездили сообщить Фюльберу о замужестве Кати.

После Происшествия выжили, как видно, только те звери, что ютятся в норах. Но кроме нашего Кар-Кара, которого мы не видели после утреннего выстрела, птиц не осталось — жуткое это было чувство прогуливаться в лесу, где не слышно ни птичьего щебета, ни жужжания насекомых.

Я шел впереди, внимательно высматривая следы на влажной земле — но ничего не увидел. Впрочем, по моим предположениям, вряд ли кто-нибудь из уцелевших ларокезцев знал эту тропу и мог указать ее Вильмену — ларокезские фермеры привыкли к просторам богатых равнин, и ни их нога, ни гусеницы их тракторов никогда не топтали холмов Мальжака. Не значилась эта тропа и на картах генерального штаба, впрочем, они уже давным-давно устарели, а тропа была проложена сравнительно недавно каким-нибудь лесником, вывозившим лес. Поэтому сомнительно было, что Вильмен ею воспользуется. Но я хотел лишний раз убедиться в этом, что и объяснил шепотом Мейсонье, после того как мы целый час прошагали в гнетущем безмолвии леса.

Я не заметил ничего подозрительного — ни следов человека, ни примятых кустов, ни сломанных веток, а если ветки и были сломаны, то они уже успели завянуть, это значит: наши с Коленом лошади обломали их, когда мы возвращались из Ла-Рока.

На обратном пути я осуществил свой план — я хотел, когда мы снова вернемся на эту тропинку, убедиться, что никто, кроме нас, на нее не ступал. Для этого на уровне своего бедра я сгибал какой-нибудь стебель поподатливей и черной ниткой привязывал его к ветке по другую сторону тропинки. Ветром нитку не порвет, зато человек, торопливо идущий по тропинке, оборвет ее, даже ничего не заметив. Когда же мне попадался колючий кустарник, я обходился без ниток, пользуясь его необычайной цепкостью, высвобождал самую длинную из его ползучих и вьющихся ветвей, протягивал ее через дорогу — и она тотчас жадно хваталась за какую-нибудь хрупкую лозину.

Это напоминало наши игры времен Братства, Мейсонье так и сказал. Разница лишь в том, что в нынешней игре ставкой была наша жизнь. Но ни мне, ни ему не хотелось произносить столь патетические слова. Наоборот, мы оба старались вести себя как можно более буднично. После двухчасовой ходьбы мы присели отдохнуть на травку на

пригорке, откуда открывалась дорога на Ла-Рок. С дороги никто бы нас не увидел, даже если бы мы были верхами, так кудрявился здесь кустарник. «Видишь всех, а тебя никто»,— мог бы сказать Мейсонье.

— Думаю, выкрутимся,— произнес он вслух.

Если не считать того, что он усиленно моргает и его узкое лицо от напряжения вытянулось еще больше, он спокоен, насколько это возможно в нашем положении. Так как я молча кивнул, он продолжал:

— Все пытаюсь представить себе, как развернутся события. Вильмен явится к Мальвилю со своей базукой. С первого выстрела разрушит палисад, ворвется внутрь и увидит мешки с песком. Он решит, что за ними ворота, и станет по ним стрелять. Выстрелит разок, другой — и все без толку. А снарядов у него всего штук десять. Ясно, что он не станет расстреливать все. Стало быть, даст приказ отступать.

Я покачал головой.

— Этого-то я и боюсь. Если он отступит, нам легче не будет. Наоборот. Вильмен бывалый вояка, он свое дело знает. Как только он поймет, что приступом нас не возьмешь, он изменит тактику и начнет устраивать засады.

— Засады можем устроить и мы,— возразил Мейсонье.— Здешние места мы знаем получше его.

— Он их скоро узнает. Даже эту тропу быстро обнаружит. Нет, Мейсонье, если война примет такой оборот, мы наверняка ее проиграем. Банда Вильмена превосходит нас численностью, она лучше вооружена. От наших самострелов дальше чем на сорок метров проку нет, а его винтовки убивают наповал с четырехсот.

— И даже еще дальше,— уточнил Мейсонье.

Я молчал.

— Что же ты думаешь делать?— спросил он.

— Пока ничего. Раскидываю мозгами.

Когда мы снова выбрались на ларокезскую дорогу, солнце уже садилось, освещая ее косыми золотистыми лучами.

— Тома!

— Здесь,— отозвался Тома, подняв руку и этим движением выдав свое укрытие на откосе, возвышающемся над дорогой.

Предзакатное небо было безоблачно, но отнюдь не безоблачно было у меня на душе, когда, махнув на про-

щание Мейсонье, зашагавшему к Мальвилю, я подошел к Тома.

Тома отлично замаскировался, держа на прицеле сто метров дороги и положив ружье на два плоских камня, которые он засыпал землей. Я растянулся рядом с ним.

— Гнусная штука война,— сказал Тома.— Я издали вас увидел и даже на мушку взял. Мог запросто уложить обоих.

Спасибо. Будь я суеверным, я, наверное, решил бы: не слишком-то благоприятное начало для предстоящего разговора.

— Тома, мне надо с тобой поговорить.

— Что ж, говори,— сказал он, догадываясь о моем смущении.

Я рассказал ему все. Вернее, нет, не все. Мне хотелось выгородить Кати. Поэтому мое объяснение звучало так: Кати пришла ко мне в комнату, когда я только-только проснулся, наверное, хотела со мной поговорить. Ну и вот. Я не устоял.

Повернув ко мне свое красивое, с правильными чертами лицо, Тома внимательно на меня поглядел.

— Не устоял?

Я кивнул.

— Вот видишь,— заявил он самым спокойным тоном.— Не так уж она плоха, ты ее всегда недооценивал.

И он туда же! Я был поражен его реакцией. И молчал, уставившись в землю.

— Ты как будто разочарован,— сказа Тома, вглядываясь в меня.

— Разочарован — не то слово. Я удивлен. Немного, но удивлен.

— Просто моя точка зрения изменилась,— пояснил Тома.— Хотя я и не поставил тебя об этом в известность. Помнишь наш спор на собрании, когда ты привез Мьетту? Единобрачие или многомужество? Я выступил против тебя в защиту моногамии. Ты тогда остался в меньшинстве и даже, по-моему, был оскорблен.— Он чуть-чуть улыбнулся и продолжал:— Так вот, мои взгляды изменились, я считаю, что ты прав. Никто не имеет права единолично владеть женщиной, когда на шестерых мужчин их всего две.

Я с удивлением разглядывал его строгий профиль. Я-то думал, что он по-прежнему убежден в своем праве на еди-

ноличное супружество. И вдруг услышал из его уст мои же доводы.

— К тому же Кати не моя собственность,— добавил он.— Она человек. И поступает, как хочет. Она не обещала мне хранить верность до гроба, и я не желаю знать, чем она занималась сегодня днем.— И закончил решительно: — Не будем больше об этом говорить.

Если бы не эти последние слова, я вполне мог бы вообразить, что он отнесся к происшедшему с полнейшим безразличием. Но это не так. Губы его чуть заметно подергиваются. Я знаю, что это значит: он предвидел, что Кати будет ему изменять, и заранее приготовился к этому, заковав себя в броню разумных доводов. Доводов, почерпнутых у меня. Узнаю моего славного Тома! Он суров, но он вовсе не бесчувственный чурбан. Вытянувшись рядом с ним и, как и он, неотрывно глядя на дорогу, за которой нам полагалось следить, я испытываю вдруг прилив глубокого дружеского чувства к нему. Нет, я ни о чем не жалею. Но мне кажется, нельзя мерить одной меркой то, что я пережил нынче днем, и волнение, которое обуревает меня в эту минуту.

Так как молчание слишком затянулось, я приподнялся на локте.

— Хочешь, я сменю тебя? Можешь идти.

— Нет,— ответил Тома,— ты в Мальвиле нужнее. Погляди, как получилась стена — такая ли, как ты задумал.

— Ладно,— согласился я.— Но и ты не задерживайся здесь, когда стемнеет. Это бесполезно. На ночь у нас есть землянка.

— Чья сегодня очередь дежурить?

— Пейсу и Колена.

— Хорошо,— сказал Тома.— К ночи вернусь.

Лишь одно выдает нашу скованность — мы оба говорим преувеличенно будничными голосами, как-то даже слишком по-деловому.

— Ну привет,— на прощанье сказал я, и даже непринужденность, с какой я бросил эти слова, показалась мне наигранной. Да и само слово «привет» — в обычное время я обошелся бы без него. Мы не слишком-то соблюдаем между собой такую вежливость.

Я ускорил шаги, позвонил в колокольчик у палисада, и Пейсу открыл мне опускную дверцу.

— Дело сделано,— сказал он, как только я прополз

в отверстие и поднялся на ноги.— Ну, что скажешь? Какова стена? Погляди, даже если стать сбоку, все равно с какой стороны — у кладбища или у крутизны,— торца ни за что не увидишь. Здорово мы стену замаскировали, а? Ни одного камня не видать — только мешки. Придется Вильмену поплясать.

Он слегка запыхался, и, хотя к вечеру похолодало, по голому его торсу все еще струился пот, а мускулистые руки были чуть согнуты в локтях, точно Пейсу никак не удавалось их выпрямить. Я заметил, что ладони у него побагровели и, несмотря на застарелые мозоли, ободраны в кровь.

— Нет, подумай только,— продолжал он,— управились за день. Никогда бы не поверил. Правда, глыбы были уже обтесаны и работали мы вшестером, вернее, впятером, да еще четыре бабы.

Весь Мальвиль, кроме двух наших старух и Тома, собрался вокруг стены полюбоваться ею в лучах заката; Кати, стоя на верхней перекладине приставной лестницы, выравнивала верхний ряд мешков с песком. Мы видели ее со спины.

— Ладная бабенка,— вполголоса сказал Пейсу.

— Сестра сложена лучше.

— А все ж таки счастливчик этот Тома,— продолжал Пейсу.— И совсем не гордячка. С каждым словечком перекинется. Ластится. Непременно тебя поцелует. Иной раз совестно даже.

Я заметил в сумерках, как он покраснел.

— Я вот насчет чего, Эммануэль,— продолжал он.— Завтра нам драться, не ровен час еще убьют, хорошо бы нынче вечером исповедаться. Это я про себя с Коленом говорю.

Он вертел и вертел в своих громадных ручищах висячий замок от опускной дверцы — он забыл водворить его на место.

— Ну что ж, я подумаю.

Но не успел. Прогремел выстрел. Я замер.

— Открывай,— приказал я Пейсу.— Я бегу туда. Это Тома.

— А если не он?

— Открывай живее!

Он вновь поднял деревянный щиток. Проползая под ним, я отрывисто приказал:

— Ни с места!

И побежал с ружьем наперевес. Долгими же были эти сто метров. На втором повороте я замедлил бег, пригнулся и по рву продвигался уже согнувшись. Посреди дороги я увидел Тома, он стоял неподвижно с ружьем в руках, ко мне спиной. У его ног лежала какая-то фигура в светлой одежде.

— Тома!

Он обернулся, но так как почти совсем стемнело, я не мог рассмотреть его лица. Я подошел ближе.

Распростертая фигура оказалась женщиной. Я увидел юбку, белую блузку, длинные светлые волосы. В груди женщины зияла рана.

— Это Бебель,— сказал Тома.

ГЛАВА XVI

— Ты уверен?

Я разглядел в полутьме, как Тома пожал плечами.

— Я сразу узнал его по описанию Эрве. И по походке тоже. Он думал, что кругом никого нет, и даже не старался семенить по-женски.

Тома замолчал и проглотил слюну.

— И что же?

— Я дал ему пройти, потом встал, прижался вот к этому стволу и окликнул: «Бебель»,— совсем негромко окликнул. Но он обернулся, будто его собака за ногу тяпнула, узелок к животу прижал и запустил туда правую руку. Я приказал: «Руки за голову, Бебель». А он как метнет в меня нож.

— Ты увернулся?

— Сам не знаю. Может, увернулся, а может, Бебеля дерево отвлекло. По привычке. Наверняка он учился метать нож в дерево. В общем, нож вошел в ствол, а еще несколько сантиметров — и сидел бы он у меня в груди. Тут я и выстрелил. Вот нож — значит, мне это не привиделось.

Я прикинул нож на вес и носком ноги задрал юбку Бебеля до самых трусов. Потом наклонился и при тусклом свете сумерек стал разглядывать его лицо. Смазливый, тонкие, правильные черты в рамке длинных светлых волос. По лицу вполне можно ошибиться. Ну что ж, Бебель,

теперь наконец все твои проблемы решены. Их за тебя решила смерть. Мы так и похороним тебя в женской одежде.

— Как видно, Вильмен хотел сыграть с нами ту же штуку, что с Ла-Роком,— сказал Тома.

Я покачал головой.

— Его нет поблизости. Не то он уже оказался бы здесь.

Но все же лучше было не мешкать. Придется Бебелю подождать с похоронами. Мы с Тома побежали к Мальвилю. Жаке я оставил сторожить вал.

Все собрались в кухне въездной башни и сгрудились вокруг стола в ярком свете масляной лампы, которую Фальвина принесла из маленького замка. Мы молча переглядывались. Наши ружья были прислонены к стене позади нас, а широкие карманы наших джинсов и рабочих комбинезонов оттопыривались от патронов. Патронташей у нас было всего два — мы отдали их Мьетте и Кати.

Ужин был самый немудрящий: хлеб, масло, ветчина и на выбор молоко или вино.

Тома снова повторил свой рассказ, выслушали его с огромным вниманием, а Кати — просто с восторгом, что меня задело. Недоставало еще, чтобы я ревновал! Я изо всех сил старался подавить в себе ревнивое чувство — оказывается, это не так-то легко.

Тома кончил; все единодушно решили, что Вильмена и его банды и в самом деле нет поблизости. Иначе, услышав выстрел и зная, что у Бебеля нет ружья, они напали бы на Тома. Бебелю не было поручено зарезать часового и открыть ворота своим, как в Ла-Роке, он должен был просто разведать обстановку. Как те двое, что явились утром.

Разговоры умолкли, сменившись долгим, тревожным молчанием.

Когда ужин подошел к концу, я сказал:

— Если возражений нет, я, когда уберут со стола, начну причащать.

Все согласились. Промолчали только Тома и Мейсонье. Пока женщины убирали со стола, Пейсу увел меня во двор.

— Послушай,— сказал он тихо,— я хотел бы сначала исповедаться.

— Теперь?

— Ну да.

Я всплеснул руками.

— Милый мой Пейсу, да я все твои грехи наизусть знаю.

— Еще один прибавился,— сказал Пейсу.— И тяжелый.

Молчание. Мне было досадно, что в кромешной тьме я не могу разглядеть его лица. Стояли мы всего метрах в пятнадцати от крепостного вала, и мне не было видно даже ходившего дозором Жаке.

— Тяжелый?— переспросил я.

— Как тебе сказать,— ответил Пейсу.— Довольно-таки.

И снова воцарилось молчание. Мы неторопливо зашагали в темноте в сторону Родилки.

— Кати?

— Да.

— В мыслях?

— Ну да,— вздохнул Пейсу.

Я оценил этот вздох. Мы подошли к Родилке. Амаранта, не видя меня, почуяла мое присутствие и ласково фыркнула. Я подошел ближе, на ощупь нашел большую ее голову и стал гладить. Какая же Амаранта была теплая, мягкая.

— Она к тебе ластится?

— Да.

— И целует?

— Часто.

— А как целует?

— Как надо,— ответил Пейсу.

— Обвивает руками шею и часто-часто чмокает в лицо?

— Откуда ты знаешь?— изумился Пейсу.

— И прижимается к тебе?

— Какое там прижимается,— сказал Пейсу.— Льнет к тебе, а сама вся так ходуном и ходит.

В эту минуту я отчетливо представил себе, как поступил бы на моем месте Фюльбер. В сущности, этим совсем недурно руководиться: вообразить себе, как поступил бы в том или ином случае Фюльбер, и делать наоборот. На сей раз это рассуждение привело к следующему.

— Имей в виду, ты у нее не один,— сказал я.

— Как,— удивился Пейсу.— И ты тоже?

— И я тоже.

Еще одно маленькое усилие. Пойдем до конца по пути антифюльберизма.

— Но со мной дело обстоит куда хуже,— продолжал я.
— Куда хуже!— как эхо повторил Пейсу.
Я рассказал ему, что произошло, когда я отдыхал днем. Разговаривая, я оперся спиной о перегородку стойла, и Амаранта положила голову мне на плечо. Правой рукой я гладил ее подщечину. И она, всегда такая норовистая, не пыталась меня укусить, а только ласково захватывала губами мою шею.
— Вот видишь,— сказал я ему,— ты пришел ко мне исповедаться, а вместо этого исповедуюсь я.
— Но ведь я-то не могу дать тебе отпущение грехов,— заметил Пейсу.
— Это неважно,— живо возразил я.— Важно высказать другу то, что тебя мучает, и признать за ним право тебя судить.
Молчание.
— Я тебя не сужу,— сказал Пейсу.— На твоем месте я поступил бы так же.
— Ну вот,— сказал я.— Ты покаялся. И я тоже.
Я не сказал ему, что он не замедлит оказаться, как он выражается, «на моем месте». При этой мысли я почувствовал ревность. Ну что ж, буду ревновать, ничего не поделаешь, и, как Тома, обуздаю свою ревность. Если мы, мальвильцы, хотим жить в согласии, придется нам рано или поздно победить в себе чувство собственности.
— А знаешь,— сказал Пейсу,— насчет тебя и Кати я даже не думал, я считал, у тебя только Эвелина.
И так как я молчал, он продолжал:
— Ты пойми. Я ничего плохого в мыслях не держу.
— И правильно делаешь.
— По-моему,— сказал Пейсу,— ты с ней тетешкаешься, вроде как отец с дочкой.
— И этого нет,— сухо отозвался я.
Пейсу умолк. Человек по-настоящему деликатный, он был напуган тем, что отважился вступить на такую скользкую почву. Я взял его под руку, и он тотчас ее напружил, чтобы я мог почувствовать его мощные бицепсы. Славный мой Пейсу! Эта привычка осталась у него еще со времен Братства.
— Пошли,— сказал я.— Нас, наверно, заждались.
Я знаю, Пейсу предпочел бы, чтобы грехи были ему отпущены по всей форме. Но я старательно этого избегаю. Каждый раз, когда, к примеру, Мену требует от меня от-

пущения грехов, мне становится не по себе. Но об этом я уже говорил.

Со стола убрали посуду, смахнули крошки и вытерли его досуха. Темное ореховое дерево блестело. У моего прибора стоял большой стакан вина. А на тарелке лежали кусочки хлеба — Мену как раз кончала их нарезать. Я машинально пересчитал кусочки. Двенадцать. Значит, она включила Момо.

Стол во въездной башне гораздо меньше стола в зале ренессансного замка. Все молчат. Мы сидим тесно-тесно, касаясь друг друга локтями. Все мы заметили оплошность Мену, и каждый подумал, что, может быть, завтра за вечерней трапезой товарищам придется убрать со стола его прибор. Эта мысль придавила нас всех. Не так мысль о смерти, как о том, что ты больше не будешь вместе с другими.

Прежде чем приступить к причастию, я сказал несколько слов — ни капли риторики и уж тем более никакой елейности. Наоборот, я постарался говорить как можно более сдержанно. Я не стремился быть витиеватым. Наоборот, хотел как можно проще выразить то, что думал.

— Мне кажется, — сказал я, — смысл того, что мы, мальвильцы, делаем, состоит в том, что мы хотим выжить, получая пищу от земли и от животных. Люди же, подобные Вильмену и Бебелю, поступают как раз наоборот — это разрушители. Они не пытаются созидать. Они убивают, грабят, жгут. Вильмен стремится захватить Мальвиль, чтобы приобрести базу для своих разбойничьих набегов. Если роду человеческому суждено уцелеть, он уцелеет благодаря человеческим ячейкам вроде нашей, благодаря людям, которые стараются восстановить зачатки общества. А такие, как Вильмен и Бебель,— это хищники и паразиты. От них надо избавляться. Но хотя наше дело и правое,— продолжал я,— это вовсе не значит, что мы победим. И оттого, что я скажу: «Боже, молю тебя, дай нам победу», победа к нам не придет.

На лице кое-кого из моих прихожан я прочел удивление, и впрямь, было странно слышать такие слова из уст мальвильского аббата. Но я сказал это с умыслом и продолжал:

— Чтобы одержать победу, мы должны быть сверхбдительны. А также обладать воображением. Вы избрали меня вашим военачальником на случай опасности, но это не из-

бавляет вас самих от необходимости думать. Если вам придут в голову какие-нибудь военные хитрости, уловки, тактические приемы, стратегические маневры, о которых мы не подумали прежде, сообщите мне. И если противник оставит нам время, мы их обсудим.

Я намеревался до конца придерживаться этого бесстрастного тона, но передумал. Я стоял, опершись руками о стол, и оглядывал моих товарищей. Они сидели так тесно, что казались спаянными. Словно составляли единое тело. Лица у них были напряженные и встревоженные, и все же, подумал я, мы счастливы оттого, что мы вместе, и мне захотелось выразить эту поразившую меня мысль.

— Вы знаете нашу поговорку: «Все за одного, один за всех».— Я произнес ее сначала на местном наречии, потом, ради Тома, повторил по-французски.— Нам в Мальвиле в этом смысле повезло. Думаю, я не ошибусь, если скажу: мы настолько привязаны друг к другу, что вряд ли хоть один из нас захочет выжить, если остальные погибнут. Вот почему я и молю бога, чтобы после победы все мы вновь оказались в Мальвиле целые и невредимые.

Я освятил хлеб и вино. Стакан, из которого я пригубил, пошел по кругу, как и тарелка с хлебом. Обряд совершался в полном молчании. А я думал о том, как велика пропасть между произнесенными мной словами и глубоким волнением, которое меня охватило. Но, как видно, мое волнение все-таки передалось остальным. Я угадывал это по их серьезным взглядам, по их медлительным жестам. В своей краткой речи я сознательно сделал упор на будущности человечества, чтобы даже такие закоренелые безбожники, как Мейсонье и Тома, могли приобщиться к общей надежде. В конце концов, чтобы ощущать божественное начало, вовсе не обязательно верить в бога. Божественное начало можно даже определить как узы, объединяющие нас, мальвильцев. Мейсонье заморгал, пригубляя вино, и, когда я наклонился к нему, чтобы спросить, что он об этом думает, он сказал мне с обычной своей вдумчивостью: «Это канун нашего боевого крещения».

Я не стал бы употреблять этих слов — они кажутся мне слишком выспренними,— но в общем-то Мейсонье прав. Настоящий священник непременно упомянул бы о «внутренней сосредоточенности». Выражение хорошее, хоть и избитое. Смысл его можно представить себе почти зримо: ты был рассеян, а теперь углубился в себя, отре-

шился от внешней суеты. Взять хоть бы Кати — уж на что разбитная, а сейчас и думать забыла о тех радостях, что может дать ей собственное тело и тело мужчины. Она просто думает, и все. И так как ей это непривычно, вид у нее немного усталый.

Единые чувства объединяют всех собравшихся вокруг стола: сознание важности происходящего и тревога за других. И мужество. А мужество это в первую очередь состоит в том, чтобы молча смотреть в лицо нашей сегодняшней гостье. Ни у кого нет охоты называть ее по имени, но она здесь, среди нас.

Тома, раскрасневшийся было во время рассказа, теперь слегка побледнел. Убийство Бебеля его потрясло. А может, он думает о том, что, отклонись нож всего на несколько сантиметров в сторону, его, Тома, не было бы сейчас за столом, где сидим мы, уязвимые, смертные, вся сила которых — в нашей дружбе.

Как только Мену причастилась, я послал ее на вал за Жаке. Она была удивлена — ведь не ей же сменять его на посту. Однако Мену повиновалась, и, едва она вышла, я попросил Тома, который в эту минуту держал в руках тарелку, взять себе лишний кусок хлеба. И еще я попросил его, как только Жаке придет, заменить его на посту.

По окончании обряда было решено, что те, кто не будет участвовать в сражении, то есть Фальвина, Эвелина и Мену, переночуют во втором этаже маленького замка, а все мы останемся во въездной башне. Кроватей всего пять, но нам больше и не нужно: Колен и Пейсу, как только совсем стемнеет, пойдут дежурить в землянку, а на валу, на мой взгляд, довольно и одного часового. Эвелина была очень огорчена тем, что ей придется расстаться со мной, однако повиновалась без возражений.

Разошлись быстро, в полном порядке, почти бесшумно — двое мужчин в землянку, нестроевые — в маленький замок. Когда нас осталось пятеро: Мьетта, Кати, Жаке, Мейсонье и я (Тома уже поднялся на вал), я расписал на листке бумаги порядок смены караула и положил листок под лампу, убавив в ней огонь. Себе я оставил дежурство с четырех утра и приказал, чтобы при каждой смене часовых тот, кто сменится с поста, будил меня. Мне это было несладко, но я считал, что так часовой не задремлет. Жаке я попросил принести мне тюфяк и улегся в углу на кухне. Четверо остальных разошлись по двум этажам баш-

ни, и каждый лег одетым, положив ружье в изголовье кровати.

Что до меня, то я плохо спал эту ночь, а может, мне казалось, что я плохо сплю, а это, в общем, одно и то же. Меня преследовали кошмары вроде того, дневного, о Бебеле. Я защищался от врагов, и приклад моего ружья проходил сквозь их черепа, не причиняя вреда. Мне чудилось, по крайней мере вначале, что я лучше отдыхаю, когда не сплю, но в минуты бодрствования я вспоминал, какие серьезные промахи я допустил: на случай всеобщей тревоги не указал каждому его место на валу или во въездной башне. И не поставил конкретной задачи.

И еще одного я не предусмотрел: как установить связь между землянкой у «Семи Буков» и крепостным валом. Ведь было совершенно необходимо, чтобы часовые в землянке, завидев приближение неприятеля к палисаду, могли предупредить нас, дав сигнал, понятный только нам, а не врагу,— таким образом мы выиграли бы драгоценные секунды, успев расставить наших бойцов по местам.

Всю вторую половину ночи я бился над решением этой задачи, но так ни к чему и не пришел. Что это вторая половина ночи, я знал потому, что сначала меня, как было приказано, разбудила Мьетта в конце своего дежурства, а потом Мейсонье по окончании своего, и все это время я строил нелепые планы — например, протянуть проволоку на кольцах от землянки до крепостного вала. Как видно, я все-таки вздремнул и даже видел сны, потому что нелепица продолжалась. Сначала я вдруг сообразил, что проще всего прибегнуть к радиопередатчику, но тут же с огорчением вспомнил, что у меня его нет, да никогда и не было.

Наконец я, видно, все-таки заснул, потому что вздрогнул, когда Кати, склонившись ко мне, потрясла меня за плечи и, шепнув, что настала моя очередь, легонько укусила меня за ухо.

Кати оставила открытой одну из бойниц в крепостной стене, и кто-то, должно быть Мейсонье, притащил сюда скамеечку. Это оказалось очень кстати, потому что бойницы расположены слишком низко и стоя наблюдать неудобно. Я несколько раз подряд глубоко вздохнул, воздух был упоительно свеж, и после беспокойной ночи меня вдруг охватило удивительное ощущение молодости и силы. Я был уверен, что Вильмен нападет на нас. Мы убили его Бебеля — он захочет нам отплатить. Но я не был уверен,

что он пойдет на приступ, не попытавшись еще раз прощупать наши позиции. Узнав от Эрве о существовании палисада, он наверняка встревожился и ломает себе голову над тем, что за ним скрывается. Если я правильно раскусил этого вояку, честь велит ему отомстить за Бебеля, но профессиональное чутье подсказывает — не нападать вслепую.

Ночной мрак рассеивался медленно, я с трудом различал в сорока метрах палисад, тем более что старое дерево, пошедшее на его изготовление, почти сливалось с окружающим. Глаза быстро уставали от бесплодных усилий, я то и дело проводил левой рукой по векам и досадливо жмурился.

Так как меня клонило в сон, я встал и прошелся по валу, бормоча вполголоса басни Лафонтена, которые помнил наизусть. Зевнул. Снова сел. Небо со стороны «Семи Буков» осветила вспышка. Я удивился: погода стояла негрозовая, и только через две-три секунды сообразил, что Пейсу и Колен подают мне из землянки сигнал факелом. И в то же мгновение два раза прозвонил колокольчик у палисада.

Я выпрямился, сердце колотилось о ребра, в висках стучало, ладони вспотели. Идти к воротам или нет? Может, это хитрость? Уловка Вильмена? Может, он выстрелит из базуки в ту самую минуту, когда я открою смотровое окошко?

Мейсонье с ружьем в руках вырос в дверях въездной башни. Он посмотрел на меня, я прочел в его взгляде, что он ждет от меня немедленных действий, и это вернуло мне хладнокровие.

— Наши проснулись?— тихо спросил я.

— Да.

— Созови всех.

Звать никого не пришлось. Я заметил, что все в сборе — и явились на звон колокольчика с оружием в руках. Меня порадовало их молчаливое спокойствие и быстрота, с какой они явились. Я шепотом приказал:

— Мьетта и Кати — к амбразурам въездной башни. Мейсонье, Тома и Жаке — к бойницам на валу. Стрелять по приказу Мейсонье. Жаке, откроешь ворота въездной башни и запрешь их за мной.

— Ты пойдешь один?— спросил Мейсонье.

— Да,— отрезал я.

Он промолчал. Я помог Жаке бесшумно отпереть ворота. Мейсонье тронул меня за плечо. В полумраке он протянул мне какой-то предмет, я взял его — это оказался ключ от висячего замка опускной дверцы. Он посмотрел на меня. Если бы он осмелился, он предложил бы пойти вместо меня.

— Осторожней, Жаке.

Несмотря на обильную смазку, петли ворот каждый раз начинали скрипеть, как только створка отклонялась больше чем на сорок пять градусов. Поэтому я еле приоткрыл ее и, втянув живот, протиснулся в щель.

Хотя ночь была прохладная, по моему лицу струился пот. Я перешел мостик, прошел между стеной и рвом, потом остановился и разулся. В одних носках я неторопливо преодолел расстояние до палисада и, чем ближе я к нему подходил, тем бесшумнее старался дышать. В последнюю минуту, вместо того чтобы открыть смотровое окошко, я затаив дыхание выглянул в запасной глазок, оборудованный Коленом. За оградой стоял Эрве и другой парень, поменьше ростом. И больше никого. Я открыл смотровое окошко.

— Эрве!

— Я!

— Кто с тобой?

— Морис.

— Прекрасно! Слушайте меня. Я открою дверцу. Сначала вы передадите мне ваши винтовки. Потом войдет Эрве — один. Повторяю: один. Морис подождет.

— Ладно,— ответил Эрве.

Я снял с дверцы замок, приподнял ее и закрепил. В отверстие медленно вползли винтовки. Я коротко приказал:

— Втолкните винтовки подальше. Стволом вперед. Еще глубже.

Они повиновались, я опустил деревянный щиток. Потом открыл затворы обеих винтовок. Ни в стволах, ни в магазинных коробках патронов не оказалось. Я прислонил обе винтовки к ограде, а сам взял в руки «спрингфилд», висевший у меня за плечом.

После этого я впустил Эрве, запер дверцу, проводил Эрве до ворот въездной башни и, только когда за ним закрылись ворота, вернулся за его спутником.

До этого утра я как-то не отдавал себе ясного отчета, как можно использовать нашу зону ПКО. А по сути дела,

ей полагалось выполнять роль шлюза. Благодаря ей мы могли впускать посетителей по одному, предварительно их обезоружив. Вернувшись с Морисом во въездную башню, я взял листок бумаги, на котором с вечера записал порядок смены караула, и на оборотной стороне карандашом, еще даже не допросив Эрве, стал расписывать очередные смены.

Пока я писал, появились Мену, Фальвина и Эвелина. Первая тотчас стала разжигать огонь и сухо приказала второй, которая была не прочь позамешкаться, идти доить коров. Эвелина же прижалась всем телом к моему левому боку и, так как я не стал протестовать, взяла мою левую руку, обвила ею свою талию и крепко стиснула мой большой палец. Так она и стояла, смиренно, не шевелясь, глядя, как я пишу, и, видимо, опасаясь, что я прогоню ее, если она вздумает злоупотреблять своим выигрышным положением. Когда, подыскивая нужное слово, я поднимал глаза от бумаги, я всякий раз замечал, что пришельцы с интересом разглядывают Мьетту и Кати. Причем, покосившись на Кати, я убедился, что интерес этот взаимный. Вид у Кати был весьма воинственный, она стояла, эффектно опершись левой рукой на ствол своего ружья и большим пальцем правой руки поддев патронташ. Она даже повиливала бедрами, бесстыдно уставившись на Эрве.

В сборе были еще не все: Пейсу и Колен дежурили в землянке у «Семи Буков», а Жаке на валу. Я отметил, что Тома не глядит на Кати, да и сел он на другом конце стола. Мейсонье, стоя у меня за спиной, через мое плечо читал, что я пишу. Этим он давал понять присутствующим, что, мол, не зря назначен моим заместителем.

Едва я покончил с писаниной, Мену тут же погасила масляную лампу, и я приступил к допросу Эрве.

Он сообщил весьма интересные сведения. Вчера вечером на рекогносцировку Мальвиля Бебель явился не один. С ним был еще ветеран. Оба выехали из Ла-Рока на велосипедах. Но Бебель спрятал свой велосипед метрах в двухстах от Мальвиля, а своему спутнику приказал ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. Тот спрятался, услышал выстрел, увидел, как упал Бебель, и спешно вернулся в Ла-Рок. Вильмен тотчас объявил, что мальвильцы-де убили двух его «парней» и он «расквитается» с Мальвилем. Но сперва, чтобы «обеспечить себе тыл», а может, желая стереть память о неудаче, он выслал ночью отряд

в Курсежак: шестерых солдат под командованием братьев Фейрак. На беду, в то самое утро ветеран, которого вместе с Морисом послали на разведку в Курсежак, украл там двух кур. Парни из Курсежака сторожили ферму: завидев отряд, они открыли огонь и убили Даниэля Фейрака. Разъяренный Жан Фейрак приказал взять ферму приступом и вырезал всех.

— Что значит «всех»?

— Двух мужчин, старика со старухой, женщину и грудного младенца.

Молчание. Мы переглянулись.

— И что же сказал Вильмен, узнав про этот подвиг? — спросил я после паузы.

— «Правильно сделали. Так и надо. Убьют у тебя солдата — вырезай всю деревню».

Снова воцарилось молчание. Я сделал знак Эрве продолжать. Он откашлялся, прочищая горло.

Вильмен хотел сразу после Курсежака напасть на Мальвиль. Но ветераны были против. И Жан Фейрак тоже — Мальвиль голыми руками не возьмешь, сначала надо разведать обстановку.

— Это Жан Фейрак сказал?

— Он.

Мне даже стало тошно от омерзения. «Вырезать деревню» — извольте, ведь тут никакого риска. А Мальвиль — нет, Мальвиль дело другое, тут эти молодчики призадумались. И вот доказательство: когда Вильмен вызвал добровольцев, чтобы идти в разведку, среди ветеранов охотников не нашлось. Оттого-то Эрве и Морис легко добились, чтобы послали их двоих.

— А что сказал Вильмен?

— «Если эти болваны вернутся живыми, станут ветеранами. А если их подстрелят — что ж, пойдем на приступ».

— А как ветераны?

— Не слишком обрадовались.

— И все же, если Вильмен даст приказ атаковать, пойдут они в атаку?

— Да, пойдут. Пока еще его боятся.

— Что значит «пока еще»?

— Ну, в общем, стали бояться меньше со вчерашнего вечера.

— После смерти Бебеля?

— Бебеля и Даниэля Фейрака. Лагерь головорезов ослабел. Так по крайней мере я считаю.

И, сдается мне, он прав.

— Если Вильмена убьют,— допытывался я,— кто может его заменить?

— Жан Фейрак.

— А если убьют Фейрака?

— Тогда некому.

— И банда распадется?

— Пожалуй, да.

Утренний завтрак был подан. От чашек, расставленных на полированном ореховом столе, шел пар. Какая мирная картина! А в нескольких километрах от нас во дворе фермы лежали шесть трупов, один из них совсем крошечный. Нас пробирает ледяной ужас, мы потрясены. Какую же все-таки зловещую власть имеет над человеком жестокость, если она вызывает у нас такие чувства. С лихвой хватило бы одного презрения. Ведь эта бойня поражает не только своим садизмом, но еще больше бессмысленностью. Люди остервенело ведут борьбу против человеческой жизни, уничтожают себе подобных.

Я пододвинул к себе свою чашку. Мне не хотелось думать о Курсежаке. Надо было думать о предстоящей битве. Мы ели в молчании, и молчание это нарушала лишь неумолкающая болтовня Фальвины, вернувшейся после дойки. Правда, Фальвина не слышала рассказа о бойне и не могла попасть в лад нашему настроению. Но в это утро она была еще надоедливее, чем всегда. В хорошие минуты Мену сравнивала Фальвинино пустомельство с жерновами, с водопадом, с пилой, а в дурные — с поносом. После того, что мы узнали, наши мысли были заняты одним — знакомой нам всем маленькой фермой, и мы ели свой завтрак в полном молчании. Неиссякаемая, ни к кому в частности не обращенная трескотня Фальвины усугублялась этим общим молчанием, и казалось, она никогда не затихнет, тем более что никто ей не отвечал. Это был посторонний для нашего спаянного круга шум, он шел как бы извне: не то струйки воды, стекающие с крыши на мостовую, не то бетономешалка, вроде той, что когда-то работала в Мальжаке, не то ленточная пила. И хотя этот речевой поток состоял из слов, неважно каких, французских или на местном диалекте, в нем, по сути, не было ничего человеческого: уж какое тут общение, совсем наоборот, он

никому не был нужен, все были к нему глухи, и, всеми отвергнутый, он извергался впустую. Под конец, измученный, как видно, минувшей ночью и весь уже мыслями в будущей, я не выдержал и сказал, рискуя дать дополнительное оружие в руки Мену:

— Да уймись же наконец, Фальвина! Ты мне мешаешь думать.

Ну конечно. Сразу же в слезы! Не один поток, так другой. Добро бы еще этот не производил шума! Так нет же: охи, вздохи, рыданья, сморканья! Я не видел Фальвину, я сидел к ней спиной. Но я ее слышал. Эти стенания были еще похуже ее неиссякаемых речей. Тем более что теперь вдобавок начала брюзжать Мену — слов я разобрать не могу, но Фальвина их слышит наверняка, и они, должно быть, бередят ее рану, щедро посыпая ее солью. Если так будет продолжаться, в дело встрянет Кати. И не потому, что она так уж обожает бабку. Она сама не упустит случая ее клюнуть. Но бабка есть бабка. Тут уж, как говорится, узы крови не позволяют: нельзя, чтобы ее ощипывали на глазах у Кати, а та не пустила бы в ход свой клюв и коготки для ее защиты. Кати любит эти схватки. Она проворная, безжалостная и больно клюется, «даром что еще молодая». Но я и сам хорош — бросить камень в этот курятник! Какое поднялось кудахтанье: перья летят, крылья хлопают, кровь брызжет! А я-то мечтал водворить тишину! Спасибо тебе, Мьетта, что ты немая! И спасибо тебе, Эвелина, что по молодости лет ты еще меня побаиваешься (со временем это пройдет) и молчишь, когда я мечу громы и молнии.

Надо было принять неотложные меры. Я в зародыше подавил неминуемый ответный выпад Кати.

— Кати, кончила завтракать?

— Да.

— А ты, Фальвина?

— Ну да, Эммануэль, ты же сам видишь, кончила.

Она не Кати, одного слова для ответа ей мало, ей нужно восемь.

— Отправляйтесь обе чистить конюшни. У Жаке сегодня утром будут другие дела.

Кати повиновалась тотчас. Она держала слово, данное накануне: заправский солдат.

— А посуда?— желая подчеркнуть свою добросовестность, спросила Фальвина.

— Посуду вымоют Мену и Мьетта.

— И я,— добавила Эвелина.

— Посуды-то больно много,— упорствовала Фальвина с наигранной самоотверженностью.

— Ступай же ты, в конце концов,— взорвалась Мену.— Без тебя управятся!

— Да иди же, бабуля,— взорвалась в свою очередь и Кати.

И умчалась, тоненькая, быстрая, увлекая за собой оплывшую квашню, а та вперевалку потащилась за ней на своих жирных ножищах.

Мену придется перемыть гору посуды, этой ценой она осталась единовластной хозяйкой кухни. Но для нее цена не такая уж дорогая, что она и высказала без обиняков в последнем всплеске воркотни, достаточно долгом и внятном, чтобы отметить свою победу, но, однако же, не чересчур, чтобы не навлечь моего гнева, который лишил бы ее выигранного преимущества. Воркотня, постепенно затихая, становится вовсе неразборчивой, потом наступает молчание, и я могу наконец сосредоточиться.

Теперь предстоящая битва будет не такой уж неравной. Вильмен потерял троих ветеранов, а два новобранца перешли на нашу сторону. В его банде, еще позавчера насчитывавшей семнадцать человек, осталось всего двенадцать. Я со своей стороны располагал теперь десятью бойцами, включая Мориса и Эрве. И наш арсенал пополнился тремя винтовками образца 36-го года.

Если верить Эрве, авторитет Вильмена пошатнулся. Боевой дух банды, потерявшей троих убитыми, поколеблен. И будет сломлен окончательно, когда, недосчитавшись Эрве и Мориса, они вообразят, что их тоже убили.

Мне предстояло разрешить три задачи:

1. Разработать такой план битвы, при котором были бы максимально использованы преимущества местности.

2. Изобрести маневр, который по возможности еще больше деморализовал бы противника.

3. Если противник отступит, помешать ему вернуться в Ла-Рок и повести против нас войну, устраивая засады.

Последний пункт казался мне особенно важным.

После того как я отослал Фальвину и Кати в конюшню, в кухне въездной башни все время происходило какое-то движение: ушел Тома сторожить дорогу в Ла-Рок,

пришел Жаке позавтракать, Мейсонье отправился за Коленом и Пейсу, привел их и снова ушел с Эрве хоронить Бебеля.

Ухода Эрве я как раз и ждал, чтобы допросить Мориса. Мне хотелось провести этот допрос в отсутствие Эрве, чтобы удостовериться, в какой мере рассказ его товарища совпадает с его собственным.

В Морисе текла азиатская кровь. Хотя в нем всего на два-три сантиметра больше, чем в Колене, он казался намного выше, так как был строен, с узкими бедрами и тонкой талией. Зато в плечах он был довольно широк (хотя и тонок в кости), и это придавало его фигуре изящество египетских барельефов. Кожа у него была янтарного оттенка. Черные, как вороново крыло, прямые волосы, подстриженные под Жанну д'Арк, обрамляли тонкое серьезное лицо, которое лишь изредка освещалось неизменно вежливой улыбкой. Вообще вежлив он был до кончиков ногтей. Казалось, при всем его желании ему все равно не удалось бы быть грубым.

Он рассказал мне, что его отец, француз, был женат на вьетнамке, уроженке Сент-Ливрад в департаменте Ло и Гаронны. Отец был управляющим небольшой фабрики неподалеку от Фюмеля, и Эрве приехал к Морису погостить на Пасху, когда взорвалась бомба. С этого момента рассказ Мориса слово в слово совпадал с рассказом Эрве, как ни старался я уличить его в противоречиях. С той лишь разницей, что Морису, по-моему, глубже врезалось в память убийство его друга Рене и он еще сильнее ненавидел Вильмена. Прямо он об этом не говорил. Но когда он рассказывал об убийстве Рене, его раскосые агатовые глаза сузились в щелки и выражение их сделалось жестким. Он мне понравился, как и Эрве. И даже, пожалуй, больше. Эрве словоохотливый, живой и склонен к актерству. Морис не такой блестящий, зато в нем чувствуется человек твердого закала.

Я обернулся к Пейсу.

— Пейсу, я хочу поручить тебе кое-какую работу, только сначала кончи свой завтрак.

— Валяй.

— У нас на складе есть кольца. Хорошо бы тебе с Морисом вмуровать их в стену подвала. Я думаю на время боя привязать там бычка, коров и Красотку. И еще я хотел бы, чтобы ты оборудовал временное стойло для Аделаиды.

— Привязать одну Красотку? — спросил Пейсу. — А другие лошади как же?

— Они останутся в Родилке, они могут нам понадобиться. Когда справишься, скажешь мне, и мы все натаскаем сена из Родилки в подвал.

Пейсу с тревогой поднял на меня глаза — они блеснули из-за краев чашки, куда он уткнулся носом.

— Думаешь, нам придется отдать внешний двор?

— Ничего я не думаю, просто принимаю меры предосторожности.

Я поднялся с места.

— Мену, брось-ка на минутку посуду, ты мне нужна.

Она тотчас взяла тряпку у Мьетты, вытерла узловатые руки и пошла за мной. Она не отставала от меня, хотя, пока я делал шаг, ей приходилось делать два, и я привел ее в башенку над мостом, где помещалось подъемное устройство.

— Скажи, Мену, если понадобится, сможешь справиться с этой штуковиной одна? Или дать тебе в помощь Фальвину?

— Обойдусь и без этой бочки,— отрезала Мену.

Я показал ей, как надо действовать. И после двух-трех попыток, напрягшись всем своим крохотным сухоньким тельцем и стиснув зубы, она повернула ворот. Впервые с того самого дня, кануна Пасхи, когда мы с мсье Пола спорили о муниципальных выборах 77-го года, я пустил лебедку в ход. Глухой скрежет толстых, хорошо смазанных цепей с необычайной остротой вдруг перенес меня в прошлое. Ладно, сейчас не время вспоминать и предаваться грусти.

Когда, подняв мост, Мену стала вновь его опускать, я посоветовал ей придерживать ворот: тогда настил моста мягко ляжет на каменный парапет. Из маленького квадратного оконца я увидел, что Пейсу и Колен вышли из въездной башни и смотрят в нашу сторону. Как видно, скрежет цепей и в них тоже пробудил воспоминания.

— Вот твое место во время боя, Мену. Как только бой разгорится, станешь здесь и будешь ждать. Если нам придется плохо и мы отступим во внутренний двор, поднимешь мост. Хочешь попробовать еще раз? Не спутаешь?

— Не такая уж я бестолочь,— ответила Мену.

И вдруг глаза ее наполнились слезами. Я был потрясен. Не так-то легко довести Мену до слез.

— Что ты, Мену?

— Отстань,— сказала она сквозь стиснутые зубы.

Она глядела не на меня, а прямо перед собой. И стояла прямая, неподвижная, вскинув голову. Слезы струились по ее загорелому лицу (только лоб у Мену был белый, потому что летом она носила большую соломенную шляпу). Несгибаемая, суровая, она стояла рядом со мной, сжимая рукоятки ворота, словно штурвал корабля во время бури. Это Момо орудовал ими в тот день, когда нам нанес визит Пола. Момо весь так и сиял и даже приплясывал от радости. Я вдруг сразу увидел его, и она его видела — и плакала, стоя у ворота, стиснув челюсти и не разжимая рук. Она не хныкала. Не жалела себя. Миг, и все пройдет. Она одолеет бурю, справится со шквалом. Я повернулся к ней спиной, чтобы не стеснять, и стал глядеть в оконце. Но краем глаза я видел маленькую неукротимую фигурку с поднятой головой — Мену плакала совершенно беззвучно, широко открыв глаза. Она отражалась в стекле распахнутого оконца, и больше всего меня поразили ее кулаки, все сильнее сжимавшие рукоятки ворота, как если бы мало-помалу к Мену возвращалась вся ее жизненная энергия.

Я оставил ее в одиночестве. Думаю, этого ей и хотелось. Торопливым шагом я направился в донжон и поднялся к себе в спальню. В ящике письменного стола, куда я уже давно не заглядывал, я нашел то, что искал: два фломастера, черный и красный. А также то, чего не искал — большой полицейский свисток, который в безумном порыве щедрости я подарил Пейсу в тот день, когда мы его здорово вздули, чтобы отбить раз навсегда охоту лезть в главари Братства. Свисток снова оказался у меня лишь потому, что, пользуясь добротой Пейсу, я на другой же день уговорил друга продать его мне по сходной цене. Даже и теперь я с удовольствием вертел его в руках. Свисток был чудо как хорош. Хромированный металл не потускнел с годами, и из него по-прежнему можно было извлечь пронзительную трель, разносившуюся по всей округе. Я сунул свисток в нагрудный карман рубашки и, не пожалев четверти большого листа ватмана, принялся за работу.

Я проработал всего минут пять, когда в дверь постучали. Это была Кати.

— Садись, Кати,— предложил я, не поднимая головы.

Мой стол стоял торцом к стене против окна, так что Кати пришлось обогнуть его и сесть лицом ко мне, спиной к свету. Проходя мимо, она, как бы по рассеянности, потрепала меня левой рукой по затылку и шее. И одновременно бросила взгляд на мою работу! Я старался не показывать виду, как волнует меня ее присутствие здесь, в моей спальне. Но ее не проведешь. Она уселась на краешек стула, выпятив живот, и настойчиво глядит на меня, полузакрыв глаза и приоткрыв губы в улыбке.

— Конюшни убраны, Кати?

— Да, я даже успела душ принять.

Полагаю, это сказано не без умысла. Но я по-прежнему не отрываю глаз от бумаги. Имеющий уши оглох.

— Ты хотела со мной поговорить?— спрашиваю я немного погодя.

— Ну да,— отвечает она со вздохом.

— О чем же?

— О Вильмене. Я тут кое-что надумала. А ты сам говорил, если кто что надумает,— добавляет она,— пусть приходит к тебе.

— Верно.

— Ну вот я и надумала,— скромно говорит она.

— Слушаю,— отвечаю я, не отрывая глаз от работы.

Молчание.

— Я не хочу тебе мешать,— говорит она,— я вижу, ты очень занят. А правда, как красиво ты пишешь!— продолжает она, пытаясь прочесть вверх ногами крупные печатные буквы, которые я вывожу фломастером.— Что это будет, Эммануэль? Объявление?

— Воззвание к Вильмену и его отряду.

— А что написано в воззвании?

— Кое-что весьма неприятное для Вильмена и более приятное для его отряда. Если угодно,— продолжал я,— пытаюсь использовать упадок духа в отряде и отколоть подчиненных от главаря.

— Думаешь, удастся?

— Если дела обернутся плохо для них — думаю, да. А если наоборот, тогда нет. Но так или иначе, мне это не дорого обойдется — клочок бумаги.

В дверь постучали. Я, не оборачиваясь, крикнул: «Войдите!» — и продолжал писать. Но заметил, что Кати выпрямилась на стуле, и, так как молчание затягивалось, оглянулся посмотреть, кто вошел. Оказывается, Эвелина.

Я нахмурился.

— Чего тебе надо?

— Мейсонье похоронил Бебеля, я пришла тебе сообщить.

— Это Мейсонье тебя послал?

— Нет.

— Ты же вызвалась мыть посуду?

— Да.

— Кончила работу?

— Нет.

— Тогда иди доканчивай. Если берутся за дело, его не бросают на полдороге, какая ни придет в голову фантазия.

— Иду,— сказала она, не двигаясь с места и уставившись на меня своими голубыми глазищами.

В другое время я отругал бы ее за эту нерасторопность. Но мне не хотелось унижать ее при Кати.

— Ну так что же?— спросил я, пожалуй, даже ласково.

Ласкового тона она не выдержала.

— Иду,— сказала она со слезами в голосе и закрыла за собой дверь.

— Эвелина!

Она возвратилась.

— Скажи Мейсонье, что он мне нужен. И немедленно.

Она одарила меня лучезарной улыбкой и закрыла дверь. Одним ударом я убил сразу трех зайцев: во-первых, мне и в самом деле нужен Мейсонье. Во-вторых, я успокоил Эвелину. И в-третьих, я выпроваживал Кати — оставаться с нею наедине было небезопасно. Впрочем, сказать по правде, отнюдь не страх преобладал во мне в эту минуту — но всему свое место.

Кати развалилась на стуле. Впрочем, я на нее не глядел, во всяком случае, не глядел ей в лицо. Я вновь принялся за работу. Хорошо еще, что мне приходилось только переписывать текст. Я заранее набросал черновик на клочке бумаги. Вдруг Кати тихонько засмеялась.

— Видал, как она примчалась! Да она просто с ума по тебе сходит.

— Это взаимно,— сухо отозвался я, подняв голову.

Она смотрела на меня с улыбкой, а я готов был на стенку лезть.

— В таком случае, не пойму,— начала она,— что тебе...

— В таком случае, скажи лучше, что ты намеревалась мне сообщить?

Она вздохнула, заерзала на стуле, почесала ногу. Словом, была чрезвычайно разочарована, что нельзя поговорить на увлекательную тему — о моих отношениях с Эвелиной.

— Ладно,— заявила она.— Допустим, Вильмен на нас нападет. Ты сам говорил, он напорется на западню.— При этих словах она засмеялась, чему — неизвестно.— Тогда он вернется в Ла-Рок и начнет устраивать против нас засады, и это тебя беспокоит.

— Мало сказать: беспокоит. Это будет катастрофа. Он может причинить нам много бед.

— Ну что ж,— продолжала она,— значит, когда он станет отступать, надо помешать ему добраться до Ла-Рока, надо за ним погнаться.

— Он же нас намного опередит.

Она с торжеством посмотрела на меня.

— Да, но ведь у нас лошади есть!

Я буквально ошалел. Значит, это был не просто предлог: ей и вправду пришла в голову мысль. А я, который всю свою жизнь провозился с лошадьми, я об этом и не подумал. В моем сознании война и искусство верховой езды никак не связывались между собой. А впрочем, нет. Однажды, один-единственный раз, я мысленно связал эти два понятия, когда убеждал своих товарищей уступить Фюльберу корову в обмен на двух кобыл. Но это был только лишний довод в споре, и все. У меня было огромнейшее преимущество перед Вильменом — кавалерия, а я и не догадывался ею воспользоваться!

Я выпрямился на стуле:

— Кати, ты гений!

Она вспыхнула, и по тому, как она просияла, как полуоткрылись ее губы и детской радостью загорелись глаза, я понял, до чего тяжела была ей мысль, что я ее не уважаю.

Я задумался. Я не стал говорить Кати, что ее идею еще надо взвесить — не можем же мы скакать за бандой Вильмена прямо по дороге, грохоча копытами. Враги услышат, что мы скачем, залягут на первом же повороте и перебьют нас как мух.

— Молодец, Кати,— сказал я.— Молодчина! Я все обдумаю, а пока никому ни слова.

— Само собой,— горделиво отозвалась она. И, вступив на непривычный для нее путь обременительной доброде-

тели, сумела проявить еще и деликатность: — Ладно, я вижу, ты занят, не буду тебе мешать, ухожу.

Тут я встал, что было довольно-таки неосмотрительно с моей стороны: она мгновенно оказалась по эту сторону стола и, повиснув у меня на шее, обхватила меня руками. Прав был Пейсу — льнет к тебе, а сама вся так ходуном и ходит.

В дверь постучали, я, не подумав, крикнул: «Войдите!» Это был Мейсонье. Забавно, однако, вышло: покраснел и моргает он, а я смущен, что поставил его в неловкое положение.

Дверь за Кати захлопнулась, но Мейсонье не позволил себе ничего: не хмыкнул, как хмыкнул бы Пейсу, не ухмыльнулся, как ухмыльнулся бы Колен.

— Садись,— сказал я.— Подожди минутку.

Он занял стул, еще теплый после Кати. Сидя совершенно прямо, он молчал и не шевелился. Как просто иметь дело с мужчинами. Я закончил свое воззвание куда лучше и быстрее, чем начал.

— Посмотри,— сказал я, протягивая ему листок.— Что ты на это скажешь?

Он прочел вслух:

ПРИХОД МАЛЬВИЛЯ и ЛА-РОКА.

Нижепоименованные преступники осуждены на смерть: Вильмен, главарь банды, объявленный вне закона; Жан Фейрак, палач Курсежака.

Для остальных, если они по первому требованию сложат оружие, мы ограничим кару изгнанием из наших краев с недельным запасом продовольствия.

Эммануэль Конт, аббат Мальвиля.

Прочитав воззвание вслух, Мейсонье перечитал его еще и про себя. Я смотрел на его длинное лицо, на продольные морщины, избороздившие его щеки. «Добросовестность» — вот что было запечатлено в каждой черте Мейсонье. Он был активным деятелем коммунистической партии, но с таким же успехом мог быть прекрасным священником или врачом. А при его рвении к работе, при его внимании к мелочам был бы и отличным администратором. Как жаль, что он не успел стать мэром Мальжака! Уверен, что он и теперь иногда об этом сожалеет.

— Ну что ты скажешь?

— Психологическая война,— сдержанно ответил он.

Это пока еще только констатация факта. Оценка по следует позже. Мейсонье снова погрузился в раздумье. Пусть поразмыслит. Я знаю, он тугодум, но плоды его размышлений стоят того, чтобы подождать.

— На мой взгляд,— снова заговорил он,— подействует это лишь в том случае, если Вильмен и Фейрак будут убиты. Тогда и впрямь, оставшись без командиров, остальные, может быть, предпочтут спасти свою шкуру, а не воевать.

В разговоре с Кати я сказал: «Если дела обернутся плохо для них». Мейсонье выразился куда более точно: «Если Вильмен и Фейрак будут убиты». И Мейсонье прав. Этот оттенок весьма важен. Надо будет попомнить о нем, когда во время боя я отдам приказ стрелять.

Я встал.

— Вот что. Можешь раздобыть для меня кусок фанеры, наклеить на нее эту бумагу и просверлить в дощечке два отверстия?

— Это проще простого,— ответил Мейсонье, вставая в свою очередь.

Держа листок в руке, он обошел письменный стол и стал рядом со мной.

— Я вот о чем хотел тебя спросить: ты по-прежнему настаиваешь, чтобы мы пользовались только бойницами крепостной стены?

— Да. А что?

— Их всего пять. И две во въездной башне — итого семь. А нас теперь десятеро.

Я посмотрел на него.

— И какой ты из этого делаешь вывод?

— А такой, что снаружи должны находиться трое, а не двое. Напоминаю тебе об этом, потому что в землянке слишком тесно для троих.

Сначала Кати, теперь Мейсонье! Весь Мальвиль думает, ищет, изобретает. Мальвиль всеми своими помыслами устремлен к единой цели. В эту минуту у меня такое чувство, будто я частица целого, я им командую, но в то же время я ему подчинен, я лишь одно из его колесиков, а целое мыслит и действует само по себе, как единый живой организм. Это пьянящее чувство, неведомое мне в моей жизни «до», когда все мои поступки самым жалким образом вертелись вокруг моей собственной персоны.

— У тебя довольный вид,— сказал Мейсонье.

— А я и в самом деле доволен. По-моему, у нас в Мальвиле все идет как надо.

Фраза эта мне самому показалась смешной по сравнению с тем, что я чувствовал.

— А скажи по совести — иной раз у тебя не ноет под ложечкой?

— Еще как,— засмеялся я.

Он тоже рассмеялся и добавил:

— Знаешь, что мне это напоминает? Канун выпускных экзаменов!

Я снова рассмеялся и, положив руку ему на плечо, проводил его до винтовой лестницы. Он ушел, а я возвратился к себе, чтобы взять «спрингфилд» и закрыть дверь. Во внешнем дворе меня ждали Колен, Жаке и Эрве — двое последних еще держали лопаты. Колен стоял в сторонке с пустыми руками. Как видно, соседство этих двух колоссов подавляло нашего малыша.

— Не убирайте лопаты,— сказал я.— У меня для вас есть работа. Только дождемся Мейсонье.

Заслышав мой голос, из Родилки вышла Кати, держа в одной руке скребницу, в другой щетку. Я догадался, чем она занималась: воспользовавшись тем, что Амаранте сменили подстилку, она решила вымыть кобылу. Амаранта обожает кататься по земле — все равно, убран в стойле навоз или нет. Фальвина устроилась на большом пне, для удобства поставленном у входа в пещеру, но, завидев меня, встала с виноватым видом.

— Да сиди же, Фальвина, теперь твоя очередь отдохнуть.

— Где уж там,— возразила она, и, уловив в ее тоне упрямо-хвастливую нотку, я снова почувствовал глухое раздражение.— Мне рассиживаться некогда.

И она осталась стоять, хотя стоя приносила не больше пользы, чем сидя. Но она хотя бы молчала — и это уже достижение. Утренняя нахлобучка не прошла для нее даром.

Но тут разозлилась и Кати, тем более что, когда меняли подстилку, «ишачить», как она выражается, ей пришлось за двоих. Почуяв, что она сейчас примется за бабку, я поспешил вмешаться:

— Ну как, управилась с Амарантой?

— Только-только! А сколько навозного духу наглоталась! Стоило принимать душ! Думаешь, легко ее чистить с ружьем на плече.— Тут она рассмеялась.— А эта дури-

ща знай себе на кур охоту устраивает! Кстати, имей в виду, она убила еще одну! Я ее шлепнула по носу, твою Амаранту, другой раз неповадно будет.

Я попросил, чтобы мне показали очередную жертву Амаранты. К счастью, курица оказалась старая. Я протянул ее Фальвине.

— Вот возьми, Фальвина, ощипли и отнеси Мену.

Фальвина с готовностью взяла курицу — довольная тем, что работа будет сидячая и вполне ей по силам.

Итак, мы ждали Мейсонье. Жизнь в Мальвиле текла своим чередом. Жаке, отложив лопату и удивленный тем, что ему не поручают никакого дела, смотрел на меня своими добрыми собачьими глазами, жалобными, просительными и увлажненными нежностью. Эрве, изящно опершись на одну ногу, скреб свою ухоженную остроконечную бородку и поглядывал на Кати, которая на него не глядела, но охорашивалась, отчасти ради него, отчасти ради меня, без всякой надобности поигрывая своими соблазнительными формами. Колен, привалившись к стене, издали наблюдал за этой сценкой, улыбаясь своей лукавой улыбкой. Фальвина снова уселась на пень, держа курицу на коленях. Она еще не начала ее ощипывать — всему свое время. Пока она только готовилась к работе.

— У твоей Амаранты в общем-то одни недостатки,— сказала Кати, вильнув бедром.— Дергается, в навозе катается, кур убивает.

— Для тебя, Кати, это, может, вопрос второстепенный, но Амаранта к тому же отличная лошадь.

— Еще бы, ты в ней души не чаешь,— дерзко заявила Кати,— а она в тебе!— Тут Кати рассмеялась.— И все равно, надо понизу обнести ее стойло решеткой. Восемь мужиков в доме, и хоть бы один за это взялся.— Она захохотала, искоса поглядывая на Эрве.

Покинув эту группу, я быстро зашагал к складу в донжоне, взял моток проволоки, клещи и на грифельной доске отметил для Тома все, что я взял. И пока я машинально это проделывал, я снова и снова обдумывал предложение Кати насчет использования кавалерии и драгоценное замечание Мейсонье насчет бойниц. И внезапно я осознал смысл того, чем мы все в этот момент заняты в Мальвиле: спешно, очень спешно — потому что только быстрота может помочь нам выжить,— мы обучаемся военному искусству. Охраняющей нас государственной машины больше

нет — это бесспорная очевидность. Залог порядка теперь — наши ружья. И не только наши ружья, но и наша военная хитрость. Мы, у которых в предпасхальные дни была лишь одна вполне миролюбивая забота — одержать победу на выборах в Мальжаке, теперь постепенно усваиваем беспощадные законы первобытных воинственных племен.

Выйдя со склада, я встретил Мейсонье — он нес мой плакат. Я взял фанеру у него из рук. Отлично. Я бы даже сказал, художественно. Мейсонье наклеил листок таким образом, что вокруг него выступали, как рамка, края фанеры. Вернувшись с ним во внешний двор, я перечел свое воззвание. И у меня на секунду вдруг заныло под ложечкой. Неважно. Пройдет.

Как только мы поравнялись с маленькой группой у Родилки, Кати спросила меня, что это за дощечка, я вытянул руку, чтобы все могли прочитать. Подошел и Колен.

— Как? Разве вы аббат? — спросил пораженный Эрве.

Все заулыбались, услышав, что он сразу обратился ко мне на «вы».

— Меня избрали аббатом Мальвиля, но можешь попрежнему говорить мне «ты».

— Ладно, — сказал Эрве, вновь обретая свой апломб. — А все же ты правильно поступил, что прописал это на бумажке, в банде есть ребята, на которых это подействует. И правильно, что объявил Вильмена вне закона. А то эта сволочь все свои гнусности объявляет законными — потому-де, что он в армии был в высоком чине.

Оба замечания Эрве порадовали меня. Они подтвердили мои собственные догадки: в наступившем царстве анархии существует не только право сильного. Вопреки здравому смыслу чин, титул, звание продолжают производить впечатление. Во всеобщем хаосе люди цепляются за обломки исчезнувшего порядка. Их завораживает малейшая видимость законности. Так что, сорвав с Вильмена, хотя бы на бумаге, офицерские погоны, я нанес ему чувствительный удар.

— Кати, открыть опускную дверцу и выпустить нас пятерых придется тебе. Держись поблизости от въездной башни, пока мы не вернемся. А ты, Фальвина, предупреди Пейсу, что мы уходим. Он в подвале с Морисом.

— Сию минуту? — спросила Фальвина, не вставая. Курица, до которой она так и не дотронулась, все еще лежала у нее на коленях.

— Да, сию минуту!— сухо подтвердил я.— И пошевеливайся!

Кати засмеялась и, вызывающе повернув свой юный торс и подчеркнув тем прелесть тоненькой талии, поглядела вслед бабке, которая поплелась прочь, трясясь, как желе.

Когда мы вышли на дорогу, я ускорил шаг, чтобы оказаться впереди всех вдвоем с Мейсонье, и вполголоса отдал ему распоряжения. Он должен был вырыть окоп для одного человека на холме, соседнем с тем, где находились «Семь Буков» и откуда был хорошо виден палисад.

Мейсонье кивнул в знак согласия. Я дал ему в помощь Эрве и Жаке, а сам с Коленом направился к лесу. Я шел по тропинке впереди Колена, дав ему совет ступать по моим следам: если по пути мы наткнемся на ветки, которые я связал, мы обойдем их стороной, чтобы ничего не повредить.

Связанные ветки оказались нетронутыми. Стало быть, противник не обнаружил лесной тропинки, ведущей в Ла-Рок. Я на это и надеялся, я уже объяснил выше почему. И все-таки мне было приятно, что я оказался прав.

Оставалось выполнить вторую часть задачи. Когда мы в последний раз ехали верхом в Ла-Рок, я обратил внимание, что в одном месте дорога между двумя холмами резко сужается и с обеих ее сторон торчат друг против друга два обгорелых ствола. Вот между этими стволами я и решил натянуть проволоку, прикрепив к ней мое воззвание, адресованное отряду Вильмена. На беду, пешим ходом до этого места даже по лесной тропинке было довольно долго. Позади меня тяжело пыхтел и отдувался Колен, и я вдруг с раскаянием вспомнил, что он почти не спал прошлой ночью, так как дежурил в землянке. Я обернулся к нему:

— Выдохся?

— Есть немного.

— Потерпишь еще полчасика? Только прикреплю фанеру, и мы отдохнем.

— Валяй, валяй,— ответил Колен, нахмурив брови и выдвинув вперед челюсть.

Ему уже перевалило за сорок, но, когда он начинал гримасничать, как вот сейчас, он казался мне совершенным мальчишкой. Но разумеется, я поостерегся даже и намекнуть ему на это. Он весьма дорожил своей мужествен-

ностью — ничуть не меньше, чем Пейсу своей, хотя проявлял это, возможно, и не столь бурно.

Жара стояла страшная. Пот тек с меня ручьями. Я расстегнул воротник рубахи, засучил рукава. Время от времени я оборачивался и придерживал ветки, чтобы они не стегнули Колена по лицу. Он побледнел, глаза у него запали, губы были сжаты. Когда мы добрались до места, я с облегчением вздохнул.

От лесной тропинки к дороге спуск шел сначала полого, но последние двадцать метров круто обрывался. Впрочем, вниз на худой конец можно было кое-как съехать. Но я уже предвидел, что взбираться обратно будет тяжело. Откос на противоположной стороне поднимался так же отвесно, и от этого в самой дороге было что-то зловещее. Ее как бы намертво зажало меж двумя кручами.

Я скатился гораздо быстрее, чем мне того хотелось, и довольно крепко хлопнулся о землю. Продев проволоку в оба отверстия фанеры, я прикрепил ее сначала к одному стволу, а потом, протянув через дорогу,— к другому. Я старался не мешкать. Невидимый мне Колен с ружьем на изготовку притаился на опушке в кустах на самом краю откоса, прикрывая меня от возможного нападения со стороны Ла-Рока. Надежное прикрытие, если нападающий всего один. А если их явится целая банда? Тогда мне придется туго, потому что позади меня совершенно голое место — до ближайшего поворота ни канавы, ни кустика, а для того, чтобы добраться до зарослей, надо карабкаться по любому из двух склонов — двадцать метров отчаянной крутизны на виду у противника.

Ружье висело у меня за спиной, а значит, я не сразу смогу им воспользоваться, зато обе руки у меня были свободны, но я с трудом взбирался вверх, соскальзывал, срывался, вновь и вновь пытался преодолеть крутизну — и все это с черепашьей скоростью.

Очутившись наконец наверху, я не нашел Колена — так ловко укрылся он в кустарнике. Он-то, безусловно, меня видел, но не решался окликнуть, чтобы не поднять шума. И вдруг я услышал уханье совы. Я замер, пораженный. Ведь со Дня происшествия ни один звук не нарушал мертвой тишины: ни жужжанье насекомых, ни щебет птиц. Сова ухнула еще раз, где-то совсем рядом. Я пошел на звук и споткнулся о ноги Колена.

— Эй-эй, поосторожней, я здесь,— сказал он тихо.
— Сову слыхал?
— Да это же я,— беззвучно рассмеялся Колен.— Это я тебя окликал.
И коротким победоносным щелчком поставил курок на предохранитель.
— Ты? Вот здорово! А я был уверен, что это сова.
— Ты что, забыл, как мы подражали животным и птицам во времена Братства? У меня получалось лучше всех.
Он и по сей день гордился этим. Он, Колен, был на редкость ловким во всем, что не требовало физической силы: в стрельбе из лука, в метании пращи, в игре в шары, в разных забавных штучках и фокусах. Никто не умел так мастерски жонглировать тремя шарами, вырезать дудочку из тростника, соорудить картонную гильотину для мух, открыть куском проволоки замок или, взобравшись на школьную кафедру, для смеха с нее скатиться.
Я улыбнулся ему.
— Дается десять минут на отдых. Можешь вздремнуть.
— Знаешь, Эммаиюэль, о чем я думал, пока тебя прикрывал? Ведь о лучшем месте для засады, чем этот отрезок дороги, просто и мечтать нельзя. Засесть вчетвером, по двое с каждой стороны, и можно целую банду перебить.
— Спи, спи, стратегией будешь заниматься после!
И чтобы он скорее уснул, я отошел подальше, но, опасаясь вновь его потерять, на сей раз я сделал на стволах зарубки. Отойдя на несколько шагов, я оглянулся на Колена. Едва он растянулся на земле, примяв два-три низкорослых папоротника, как тотчас затих, обхватив рукой ружье, точно любимую женщину.
Я поглядел на часы и стал расхаживать взад-вперед. Я был в коротких сапогах и ступал совершенно бесшумно. Наш склон был обращен к северу и после прошедших дождей сплошь покрылся мхом. Меня вновь поразило тропическое буйство подлеска. Но буйство однообразное. Видно, папоротники с их редкой жизнестойкостью глушат своих соседей. Тишина, отсутствие жизни нагоняли на меня тоску. Как бы порадовался я малейшей паутинке, крохотной ниточке, переброшенной с ветки на ветку. Но боюсь, не видать нам больше насекомых, разве что они переберутся сюда из других, менее пострадавших от взрыва мест. А птицы? Даже если они где-то и сохранились, как смогут они прожить, раз нет насекомых? Лес восстановится

меньше чем за четверть века, но природа навсегда останется увечной.

В этой удушливой тишине, в сыром подлеске, где ни один листок не дрогнет от дуновения ветра, я почувствовал себя почему-то ужасно одиноким, и мне стало не по себе. Не от страха перед битвой. Я ли не знал, что такое, когда трясутся поджилки, сосет под ложечкой или сердце уходит в пятки. Нет, то, что я испытывал теперь, было куда хуже. Меня охватила ни на что не похожая тоска. Колен заснул, и вот без него, без моих товарищей, вдали от Мальвиля я чувствовал, что я ничто. Жалкая, пустая оболочка.

Было так невыносимо трудно выдержать эту пустоту, что я разбудил Колена. Вот ведь каков эгоизм. Разбудил его на добрых пять минут раньше, чем собирался. Он открыл глаза, потянулся и прежде всего хорошенько меня облаял. Не важно, едва он заговорил со мной, я вновь стал человеком. Все вдруг снова оказалось при мне: и дружеские чувства, и мои обязанности, и та роль, которую мне поручили товарищи, и тот характер, какой они мне приписывают. Я вновь обрел свое «я» и порадовался тому, что оно существует.

— Черт бы тебя подрал, не мог дать мне поспать,— шептал Колен.— А я такой сон видел!

Ему не терпелось рассказать мне свой сон, но я махнул рукой — молчи, мол. Мы были слишком близко от дороги. Потом мы углубились в лес, а когда выбрались наконец на тропинку, он уже позабыл про сон, однако не забыл того, что подспудно занимало его мысли. Любопытное дело — опасность никогда не вытесняет до конца наших повседневных забот.

Колен посмотрел на меня — брови домиком, а сам едва приметно улыбается:

— Скажи-ка, Кати часом не бегает малость за тобой?

— Бегает.

— И за Пейсу тоже?

— А ты заметил?

— И за Эрве?

— Не исключено.

Молчание.

— Гм, послушай, а как же Тома?

— Тома понимает, что в Мальвиле всего две женщины на шестерых мужчин.

— И что же?

— Он, очевидно, считает, что поступил не слишком разумно, женившись на Кати.

Молчание.

— Как по-твоему, почему осталось так мало женщин? — снова заговорил Колен.

— В бродячих бандах понятно почему. Главари банд считают их обузой, или же они просто не выдерживают. Когда есть почти нечего, пища достается тем, кто сильнее.

— Ну а среди таких, как мы?

— Ты хочешь сказать среди оседлых?

— Да.

— Думаю, тут дело в другом. До Происшествия восемьдесят процентов девушек уезжали из деревни в город.

— А ты думаешь, города все уничтожены?

— Не знаю. Но до сих пор в бандах, с которыми мы имели дело, горожан не было.

Молчание.

— Дело дрянь, — угрюмо бросил Колен. — Для всех было бы лучше, чтобы у каждого была своя собственная жена.

Гм, если рассудить, мысль довольно-таки безжалостная по отношению к Мьетте. Бедная Мьетта! Вот и еще одному опостылело твое служение.

Я переменил тему.

— Колен, нынче после полудня ты должен отоспаться всласть.

Как я и предвидел, он заартачился.

— Почему это именно я? — заявил он, расправив плечи.

В самом деле, почему именно он? Ведь не из-за его же роста.

— Я собираюсь доверить тебе важную роль в обороне Мальвиля, — внушительно заявил я.

— А-а, вот как! — сказал он, просветлев.

— Я хочу, чтобы ты нес вахту в индивидуальном окопе, который сейчас роет Мейсонье.

— А кто будет в землянке?

— Эрве и Морис.

— А я в окопе?

— Да, а это значит, что тебе всю ночь не придется сомкнуть глаз. Они-то смогут спать по очереди, а ты нет.

— Бессонная ночь меня не пугает,— небрежно заявил Колен. И спросил:— А какое у меня будет оружие?

— Винтовка образца 36-го года.

— Ага!— удовлетворенно сказал он и, подняв голову, посмотрел мне в лицо.— А у них?

— У Эрве с Морисом?

— Да.

— Их собственные винтовки.

Молчание.

— А зачем всем троим винтовки образца 36-го?

— Затем, чтобы, когда вы начнете палить в вильменовских бандитов, они не могли отличить по звуку, кто стреляет — вы или они сами.

Он остановился и посмотрел на меня, растянув рот в лукавой ухмылке.

— По звуку — это точно, зато на ощупь разберут. Здорово у тебя котелок варит, никому бы другому не додуматься.

— А ты ведь тоже кое-что надумал.

— Я?

— Объясню потом. Я еще не все сказал. Этой ночью я отдам тебе свой бинокль.

— Ага!— отозвался Колен.

— Думаю, Вильмен пойдет на приступ с рассветом,— добавил я.— Рассчитываю, что ты увидишь его первым и просигналишь мне.

— Электрическим фонариком?

— Ни в коем случае. Только выдашь себя.

— Тогда как же?

— Будешь ухать по-совиному.

Теперь и он посмотрел на меня и просиял улыбкой. Была в ней такая простодушная гордость, что, хотя я и предвидел его реакцию, мне стало чуть больно за него. С какой радостью я поделился бы с ним лишними сантиметрами моего роста, только бы он перестал цепляться за любой повод, чтобы взять реванш за то, что вышел недомерком.

— Ты сказал, что я тоже кое-что надумал,— начал он немного погодя.

— Кое-что надумал ты, а кое-что Кати.

— Кати?— удивился Колен.

— Видишь, тебе это даже представить трудно. Ты ее воспринимаешь несколько односторонне.

Мы обменялись коротким «мужским» смешком, и я продолжал:

— Если Вильмен отступит, мы погонимся за ним на лошадях, но не по дороге, а вот по этой самой тропинке. Мы поспеем гораздо раньше, чем он, на то место, где висит наше воззвание. А там устроим засаду.

— Засаду придумал я,— с затаенной гордостью сказал Колен.— А Кати?

— Кати вспомнила о лошадях. А я о тропинке.

Пусть купается в лучах собственной славы. Добрых пять минут мы прошагали в молчании, потом Колен сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Думаешь, мы свернем шею этому треклятому Вильмену?

— Надеюсь. Теперь я боюсь только одного,— добавил я,— вдруг он не решится на нас напасть.

ГЛАВА XVII

Этой ночью, как и предыдущей, я взял на себя предрассветную вахту. С той только разницей, что Эвелине разрешено было лечь рядом со мной на тюфяке, брошенном на полу в кухне въездной башни, и бодрствовать во время моего последнего бдения.

На нее было возложено два поручения: едва я стисну ей плечо, сразу же разбудить тех, кто спит в башне, а самой после этого бежать в Родилку, чтобы оседлать Амаранту и двух белых кобылиц — на случай, если придется преследовать врага. Малабара я решил не брать. Боялся, что, завидев кобылиц, он выдаст нас своим ржаньем.

Все роли были четко распределены. Мену — у подъемного моста. Фальвина — в подвале ренессансного замка: ее присутствие успокоит, мол, коров и бычка, которых мы там привязали. Ничего лучшего я не придумал, чтобы избавиться от ее кудахтанья.

Я пронумеровал бойницы, с первой по седьмую, ведя счет с южной стороны. По сигналу Эвелины каждый должен побыстрее, стараясь не поднимать при этом шума, встать у своей амбразуры: Жаке у первой. Пейсу, у второй, Тома у третьей, я у четвертой, Мейсонье у пятой,

Мьетта и Кати у шестой и седьмой. Две последние бойницы находились во въездной башне. Скрытые хитроумным коленчатым выступом, наши воительницы могли оттуда стрелять, не опасаясь ответных выстрелов неприятеля. Тут мы все были единодушны: мы не можем рисковать нашими женщинами, от них зависит самое будущее мальвильской общины.

Эрве и Морис заняли места снаружи, в землянке. Колен — в индивидуальном окопчике. Именно он выстрелом должен был подать сигнал открыть стрельбу, как только убедится, что пора, но не раньше, чем Вильмен и его банда подойдут на достаточно близкое расстояние.

— Я прихвачу с собой лук,— объявил Колен накануне вечером.

— Зачем тебе лук? У тебя же есть ружье!

— Ну и что ж,— стоял на своем Колен.— Считай, что я надумал еще одну хитрую штуку. Понимаешь, надо хорошенько нагнать на них страху. Ни шума, ни дыма, и на тебе — стрела прямо в сердце. Представляешь, как они перетрусят? И вот тут-то, не раньше, я и стану палить из ружья.

Он был так доволен своей выдумкой, что я уступил. Вечером мы видели с крепостной стены, как он шел с ружьем на плече и огромным луком на перевязи. Мейсонье пожал плечами. Тома был возмущен.

— Все ты ему спускаешь,— упрекнул он меня.

Спал я мало, но, как и предыдущей ночью, когда наступил час моей предрассветной вахты, я устроился на принесенной Мейсонье скамеечке у четвертой бойницы и ощутил прилив бодрости. Ствол моего «спрингфилда» покоился на вековых камнях выступа, приклад прижат к бедру. Ну разве не странно, что я, человек XX века, сижу здесь, где столько раз несли караул одетые в кольчуги английские или гугенотские стрелки? Не будь рядом со мной Эвелины и товарищей, которые спали во въездной башне, я не стал бы цепляться за жизнь, полную таких превратностей. Вечная борьба с бродячими бандами, отупляющее гарнизонное существование, всегда начеку — сколько еще лет обречены мы на такую участь?

Эвелина сидела рядом со мной на своей любимой низенькой табуретке. Спиной она опиралась о мою левую ногу, голову положила мне на колени. Была она легкая как перышко. Эвелина не спала. Время от времени я по-

глаживал левой рукой ее шею и щеку. И тотчас ее ладонь касалась моей руки. Условие было твердое — никаких разговоров.

Я знал, что мои отношения с Эвелиной коробят моих товарищей, хоть они и одобряют то, как терпеливо я ухаживаю за ней во время приступов, занимаюсь ее образованием, гимнастикой. Собственно говоря, сделай я ее своей женой, они наверняка осудили бы меня. Но так было бы им понятнее. По правде сказать, я и сам перестал себя понимать. Мои отношения с Эвелиной оставались платоническими, хотя и была в них доля чувственности. Я не испытывал соблазна овладеть ею, но ее юное тело восхищало меня. Как и ее прозрачные глаза и длинные волосы. Если в один прекрасный день Эвелина превратится в красивую девушку, вполне возможно, я при моем характере не устою. Но, по-моему, я много потеряю. Я бы сто раз предпочел, чтобы она осталась такой, как сейчас, и наши отношения не изменились бы.

Днем, когда я отдыхал, Эвелина, «прибирая» в ящике моего письменного стола, обнаружила маленький тонкий и острый кинжальчик, который дядя подарил мне для разрезания бумаги. Когда я проснулся, она попросила меня отдать кинжальчик ей.

— На что он тебе?

— Сам знаешь.

Я и в самом деле знал. Но не хотел, чтобы она произнесла это вслух. И кивнул в знак согласия.

Она тотчас продела веревочку в кольцо на ножнах и привязала их к поясу. Вечером все мальвильцы подшучивали над Эвелиной, расхваливая ее маленький кинжал. Даже я спросил ее, не собирается ли она «предать этому кинжалу» Вильмена. Я притворялся, что, как и другие, поверил, будто все это детская игра. Но я-то хорошо понимал, что кроется за этой игрой.

Ночь выдалась прохладная, непроглядная тьма только-только сменилась серыми предрассветными сумерками. Я мало что видел в бойницу. Но я старался «брать на слух». Это выражение Мейсонье, надо полагать, принес из армии. С тех пор как не стало птиц, рассвет странно безмолвен. Даже Кар-Кар нас бойкотирует. Я жду. Этот воинственный идиот, безусловно, нападет на нас. Раз он объявил своим парням, что возьмет Мальвиль, отступать от своих слов ему уже поздно. Кроме того, он слепо верит

в свое техническое превосходство, а состоит оно в базуке старого образца.

Люди такого склада омерзительны еще и тем, что ход их мыслей ясен как дважды два. Базука у меня — стало быть, порядки устанавливать мне. А по понятиям Вильмена, устанавливать порядки — значит истребить нас. Мы убили двух его парней. Стало быть, он обязан «расквитаться с Мальвилем».

Но с Мальвилем он не расквитается — не выйдет. Целый день на меня волнами накатывал страх, теперь с этим покончено. План действий ясен. И если не считать некоторой — назовем ее остаточной — доли нервозности, я совершенно спокоен. С минуты на минуту я жду крика совы — Колена.

Я его ждал, но, когда он послышался, я от неожиданности на миг оцепенел. Пришлось Эвелине дотронуться до меня рукой, только тогда я вспомнил, что должен стиснуть ей плечо. Так я и сделал, что было довольно нелепо, коль скоро она уже ждала моего знака.

Эвелина убежала, прихватив свой табурет, чтобы никто о него не споткнулся, а я встал на колени перед скамеечкой, на которой сидел, оперся на нее левым локтем и приложился щекой к прикладу. Я услышал какой-то шум за моей спиной, а потом и увидел краем глаза — с каждой минутой становилось все светлее,— как товарищи заняли каждый свой пост. Все это произошло на редкость тихо и быстро.

А потом время потянулось бесконечно долго. Вильмен не решался открыть огонь по палисаду, и странное дело — я испытывал живейшую досаду, что он не торопится сыграть роль, которую я отвел ему в своем сценарии. Мне казалось, что я молчу, но Мейсонье потом уверял, что я то и дело бормотал вполголоса: «Да чего он тянет, болван, черт его дери, чего он тянет?»

Наконец раздался залп, которого мы все ждали. В каком-то смысле он нас разочаровал: он оказался куда менее сильным, чем мы предполагали. Наверное, разочаровал он и самого Вильмена, потому что выстрел из базуки не только не снес напрочь палисада, но даже не сорвал с петель ворота. Он лишь пробил посредине дыру в полтора метра диаметром, но верхняя и нижняя часть ворот, хотя и была изуродована, осталась на месте.

Что произошло потом? Продолжительным свистком я

должен был дать сигнал к началу стрельбы. Я этого не сделал. И однако, мы все, в том числе и я сам, открыли беспорядочный огонь, каждый, как видно, решил, что другой что-то увидел. На самом же деле никто ничего не увидел, потому что видеть было нечего. Противник в проломе не появился.

Потом наши пленники единодушно подтвердили: когда мы начали стрельбу, отряд Вильмена находился метрах в двенадцати ниже по склону и был надежно защищен от наших пуль выступом скалы. Враги как раз направлялись к пролому — туда, где базука разворотила палисад,— но тут наша преждевременная и совершенно бесцельная пальба вынудила их остановиться. И не потому, что у них были потери, но они увидели, как от наших выстрелов отскакивают куски разрушенного палисада, и услышали, как потрескивают о дерево наши пули. Нападающие залегли и стали отстреливаться. Но тот самый выступ, который защищал их от наших выстрелов, мешал им нас увидеть. Так и получилось, что две армии, сойдясь лицом к лицу, яростно и бесцельно поливали друг друга огнем.

В конце концов я сообразил, что происходит, сообразил также и Мейсонье, потому что сказал мне:

— Надо кончать! Ведь это же бред!

Он совершенно прав, но, чтобы прекратить пальбу, мне нужен свисток (бывший свисток Пейсу), а я шарю по карманам и не могу его найти, меня даже пот прошиб. Несмотря на всю свою тревогу, я понимал, как смешон: хорош главнокомандующий, который не может отдать приказ войскам, потому что потерял свисток! Я мог бы крикнуть: «Прекратить огонь!» И даже Мьетта и Кати во въездной башне услышали бы меня. Но нет, сам не знаю почему, я считал в эту минуту очень важным делать все по правилам.

Наконец я нашел эту бесценную реликвию. Ничего таинственного: она оказалась там, куда я ее положил, в нагрудном кармане рубашки. Я дал три коротких свистка с перерывом в несколько секунд, и наши ружья наконец умолкли.

Однако, как видно, трель моего свистка отрезвила воинственный пыл Вильмена, потому что с крепостной стены, где я лежал скорчившись, я услышал, как он зарычал на своих людей:

— По кому стреляете, дурачье!

После чего неистовая пальба с обеих сторон сменилась тишиной. Сказать «могильной тишиной» было бы преувеличением, потому что потерь ни у них, ни у нас не было. Первая часть боя разрешилась фарсом, и обе стороны притаились. У нас не было охоты выходить из Мальвиля навстречу врагу, а у врага — ни малейшего желания лезть под пули, приблизившись к пролому метр пятьдесят в диаметре.

Того, что произошло потом, сам я не видел — мне рассказали об этом бойцы нашего наружного отряда.

Эрве и Морис были в отчаянии. При сооружении землянки мы допустили ошибку. Из землянки идущие по дороге в Мальвиль были хорошо видны с фланга при том условии, если они шли во весь рост. Но стоило им залечь — а в данном случае так и произошло,— и они пропадали из глаз. Поросший травой откос дороги полностью их скрывал. Стало быть, Эрве и Морис стрелять не могли. Но если бы даже враги поднялись с земли, наши новички не знали, открывать ли огонь, потому что винтовка Колена молчала.

Зато у Колена позиция оказалась превосходная. Он стоял лицом к Мальвилю, и перед ним открывался весь подъем дороги до самого палисада. Он отлично видел врагов, лежавших ничком у скалы. И когда, услышав мой свист, Вильмен приподнялся на локте и крикнул: «По кому стреляете, дурачье?» — Колен по описанию Эрве узнал его бритую белобрысую голову.

Колен решил убить Вильмена. Мысль сама по себе недурна. Но когда впоследствии Колен, улыбаясь своей лукавой улыбкой, рассказал нам, как он взялся за дело, все мы задним числом ужаснулись.

Колену и в голову не пришло воспользоваться винтовкой. Скорее от желания осуществить свой замысел — без шума и дыма «нагнать на врага страху» — он решил пустить в дело лук.

Колен был мал ростом, зато лук — большой, а в окопчике было тесно. Он понял, что в «этой крысиной норе» ему не удастся натянуть тетиву. Подумаешь, беда! Он покинул свое убежище (оставив там винтовку), прополз метра три, сжимая в руке лук, и, укрывшись за толстым обгорелым стволом каштана, для большего удобства встал на ноги! Во весь рост! И преспокойно нацелился в спину Вильмену.

На беду, Вильмен обернулся, чтобы отдать какое-то приказание, и стрела, не задев его, вонзилась в спину человека, лежавшего с ним рядом,— это был, надо полагать, подносчик снарядов; Колен видел, как он выронил из рук два-три небольших снаряда и они прокатились несколько метров под уклон. Раненый с диким воплем сначала выпрямился во весь рост (в эту минуту его увидели и те двое, в землянке), пробежал, петляя по дороге, несколько метров и, весь изогнувшись, старался на бегу вытащить впившуюся ему в спину стрелу. Потом упал ничком и продолжал корчиться, судорожно цепляясь пальцами за землю.

Колену удалось осуществить свой план, но лишь частично. А Вильмен успел заметить, откуда вылетела стрела. И двенадцать винтовок, в том числе и Вильменова, разом пальнули в сторону каштана, за стволом которого распластался Колен, а он был лишен возможности стрелять в ответ, потому что винтовка находилась в трех метрах от него, да и луком он воспользоваться не мог, ведь лежа тетиву не натянешь.

Я слышал перестрелку с крепостной стены, но ничего не видел и не мог сообразить, кто в кого стреляет, потому что у бойцов нашего наружного отряда были такие же винтовки, что у противника. Меня терзала смертельная тревога: три винтовки наших друзей и дюжина винтовок Вильмена — бой неравный. Благодаря своему численному превосходству Вильмен мог окружить наших. И мы ничем не могли им помочь, не покинув стен Мальвиля, а это было бы безумием.

Те, кто находились в землянке, по-прежнему не видели врага. Не видели они и Колена, вышедшего из своего укрытия, и не могли понять: почему это Вильмен так яростно обстреливает лес и почему молчит винтовка Колена. Ведь им было известно — по крайней мере Эрве это знал, потому что сам рыл окопчик вместе с Жаке,— что оттуда отлично просматривается дорога в Мальвиль.

Но особенно скверно на душе было, конечно, у главного действующего лица этой сцены. Он понимал, что надежд у него никаких. Он был совершенно один, безоружный, за обгорелым стволом каштана, в семидесяти метрах от врага, и все пути отступления были отрезаны круговым огнем. Он слышал, как вражеские пули с глухим стуком врезаются в ствол и как над самой его головой отлетают

куски коры. Тогда он принял решение дождаться затишья и метнуться в окоп, который зиял перед ним в каких-нибудь трех метрах и где к стенке была аккуратно прислонена его винтовка. Но затишье не наступало, и пули, пролетавшие мимо ствола, зловеще и прицельно жужжали справа и слева от него. «В первый раз в жизни, — рассказывал потом Колен, — мне захотелось стать еще меньше ростом».

По словам пленных, Вильмен сначала здорово испугался, когда стрела Колена уложила его бойца, он понял, что у него в тылу засел противник. Но, видя, что противник не отвечает на стрельбу, догадался, что тот безоружен, и решил выкурить его из-за дерева. Он приказал двум ветеранам ползти к холму и обойти врага справа, пока четверо лучших его стрелков продолжали стрелять, не давая Колену подняться. Но не успели ветераны проползти и несколько метров, как Вильмен их окликнул.

— Погодите,— заявил он.— С этим парнем я разделаюсь сам.

Он встал. Должно быть, ему хотелось дешевым успехом восстановить свое влияние на ветеранов, потому что он чувствовал — взять Мальвиль будет не так-то легко.

Он встал, и, оттого что его люди по-прежнему лежали пластом на земле, фигура его сразу приобрела нечто героическое. Ухарской походкой, вразвалку, с пистолетом за поясом и винтовкой в руке он двинулся вниз по откосу, чтобы зайти Колену в тыл. На это не требовалось большой смелости — Колен на выстрелы не отвечал, а от наших пуль Вильмена защищал выступ скалы.

Эрве и Морис, не видевшие залегших солдат Вильмена, до этого не могли видеть и его самого, но, когда он встал и начал спускаться по дороге бесшумным, упругим шагом бывалого вояки, он стал для них превосходной мишенью. Эрве, все еще ждавший сигнала от Колена, следил за ним глазами (потом он отлично представлял нам, как тот шел), но не шевелился. Зато Морис, ненавидевший Вильмена холодной ненавистью, тотчас взял его на мушку, переводя дуло своего ствола, по мере того как тот беззаботно шествовал вниз по дороге, и, когда Вильмен остановился, он вскинул винтовку, прицелился и выстрелил.

Вильмен рухнул с размозженным черепом, убитый новобранцем, которого за месяц до того натаскивал в стрельбе стоя с упора. О Колене забыли, и он спрыгнул в свой

окопчик. Там он схватил винтовку. И отсюда, надежно замаскированный и защищенный, начал стрелять. Стрелял он отлично, быстро и метко, двумя выстрелами уложил наповал двоих.

В несколько секунд обстановка изменилась. Жан Фейрак — пленные рассказали потом, что он отнюдь не рвался в поход на Мальвиль,— дал сигнал к отступлению. Именно к отступлению, а не к бегству. Посыпались градом пули, ударяясь о край окопа, где засел Колен, что вынудило его опустить голову, а когда он ее поднял, враг уже исчез, захватив с собой базуку, патроны и винтовки убитых.

Колен испустил победный совиный крик. Никогда еще крик совы так не ласкал моего слуха. Он извещал, что враг бежит и что Колен, во всяком случае, цел и невредим.

Приказав Тома открыть ворота, я так стремительно ринулся вниз по лестнице крепостной стены, что едва не упал — пришлось перемахнуть сразу через последние пять ступеней. Грузно приземлившись, я помчался к Родилке, за мной Мейсонье. Я крикнул ему через плечо:

— Бери Мелюзину!

На бегу я поставил курок на предохранитель и надел ружье через плечо. На мой голос из Родилки вышла Эвелина, ведя на поводу Моргану. Сам я схватил за уздечку Амаранту, но она пугливо шарахнулась. Я сразу взял себя в руки, заговорил с ней, стал ее оглаживать. Она покорно пошла за мной. Но, едва мы добрались до развалин палисада, она обнюхала их и стала как вкопанная, упершись в землю передними ногами, напружив шею, подняв голову и встряхивая светлой гривой.

Меня прошиб пот. Я хорошо знал упрямый нрав Амаранты!

Но к моему великому удивлению и столь же великому облегчению, Амаранта двинулась вперед, стоило мне раз-другой натянуть уздечку и прищелкнуть языком. А раз пошла Амаранта, две другие кобылы покорно последовали за ней.

Я едва успел насчитать четырех убитых и убедиться, что враг унес их винтовки, как на дорогу разом высыпали трое наших бойцов, сидевших в засаде. Красные, запыхавшиеся, измученные. Я расцеловался с ними, но обмениваться впечатлениями и нежничать было некогда. Мориса

я подсадил на лошадь позади Мейсонье, помог Эрве, который был гораздо тяжелее своего товарища, усесться позади Колена и тут только заметил, что у Колена, кроме винтовки, за плечом еще и лук. Лук казался огромным по сравнению с нашим тщедушным Коленом и высоко вздымался над его головой.

— Оставь лук. Он будет тебе мешать в лесу!

— Ни за что на свете,— отозвался Колен, пунцовый от гордости.

Только сейчас я заметил, что мы забыли корды. Пришлось послать за ними — а время шло!

— Эвелина, ты поедешь с нами!

— Я?

— Будешь сторожить лошадей.

От счастья она даже окаменела. Я обхватил ее за талию, почти броском усадил на спину Амаранты, а сам вскочил в седло за ее спиной. Когда мы добрались до лесной тропинки, я оперся рукой на круп Амаранты, обернулся и тихо сказал Колену:

— Приглядывай за своим луком — мы пустим лошадей галопом.

— Будь спокоен,— заверил меня Колен, вид у него был донельзя воинственный и донельзя мужественный.

В ту минуту я еще не знал, какую роль он сыграл в бою, но по его виду догадался, что не последнюю.

Амаранту не выводили уже два дня. Упрашивать ее не приходится — она сама рада размять свои быстрые ноги. Я коленями ощущаю великолепную силу ее рывка, мой лоб обвевает свежим ветром скачки. Эвелина блаженствует, огражденная с обеих сторон барьером моих рук. Сидит она на лошади отлично, чуть придерживаясь за луку седла, и, когда я пригибаюсь вперед, чтобы не задеть за ветки, она чуть клонится под тяжестью моего тела и, отпустив луку, легонько кладет ладони на холку Амаранты. Лошадиная грива развевается на ветру, и волосы Эвелины, почти того же светлого оттенка, тоже развеваются и щекочут мне шею. Ни звука — только глухо и ритмично стучат о землю копыта да шуршат стегающие меня ветки, раздвигаемые на бегу Амарантой. Амаранта несется галопом, а за ней более тяжелой поступью — груз у них потяжелее — поспешают Моргана и Мелюзина. Две эти лошади, словно отлично налаженные машины. Амаранта не то,

это огонь, играющая кровь, опьянение пространством. Я сливаюсь с ней воедино, я сам становлюсь лошадью, ее движения и мои — одно, я поднимаюсь и опускаюсь в том же ритме, что и ее спина, а Эвелина с легкостью перышка движется в такт с нами. Мной овладевает неописуемое ощущение скорости, полноты жизни и силы. Чувствуя всем своим телом хрупкое тельце Эвелины, я скачу — скачу, чтобы разгромить врага, отстоять Мальвиль, завоевать Ла-Рок. В это мгновение мне не страшны ни старость, ни смерть. Я скачу. И готов кричать от радости.

Заметив, что мы оторвались от двух других лошадей, я встревожился. Если они обнаружат, что потеряли из виду Амаранту, они выдадут нас своим ржаньем. На подъеме я пустил кобылу рысью. Это нелегко, ей хочется одного — по-прежнему взрывать податливую землю своими мощными копытами. На вершине холма тропинка сворачивает под прямым углом, и все ради того же, чтобы две другие лошади не потеряли из виду Амаранту, я останавливаюсь. Справа над моей головой вздымаются гигантские папоротники, и сквозь их кружевную листву я вначале вижу далеко внизу серую извилистую дорогу на Ла-Рок и вдруг замечаю, что на самом дальнем повороте цепочкой, но уже растянутой, по дороге движутся быстрым шагом люди Вильмена. У некоторых по две винтовки.

Подъехали Колен и Мейсонье, я знаком предложил им не шуметь и указал на группу внизу. Затаив дыхание, мы несколько секунд молча глядели сквозь папоротники на людей, которых нам предстояло убить.

Поставив Мелюзину бок о бок с Амарантой, Мейсонье наклонился ко мне и еле слышно шепнул:

— Их только семеро. Где восьмой?

Верно. Я посчитал — семеро.

— Может, отстал?

Я снова пустил Амаранту вскачь, на сей раз манежным галопом. И долго не менял аллюра — во время остановки я заметил, что обе белые кобылы притомились. К тому же опьянение скачкой уже прошло. Победа перестала вызывать то беспредметно восторженное состояние духа, в котором и заключалась вся ее прелесть. Сейчас она приобрела облик несчастных, взмокших от пота людей, с трудом одолевающих дорогу.

Вот и последняя оставленная мной на тропинке веха. Я заметил ее лишь в ту секунду, когда оборвал нитку. Мы на месте.

— Эвелина, видишь вон ту небольшую прогалину? Там ты будешь сторожить лошадей.

— Всех трех? А можно связать их уздечками?

Я покачал головой. Обе лошади нагнали нас, четверо всадников спешились, я показал Колену и Мейсонье, как замотать уздечку на шее лошадей, чтобы они не запутались в ней ногами.

— Ты не будешь их привязывать?— удивился Мейсонье.

— Далеко они не уйдут. Они не оставят Амаранту, а ее будет держать Эвелина. Колен, покажи куда идти.

Они ушли, а я задержался, чтобы дать Эвелине совет: если Амаранта перестанет слушаться, надо сесть в седло и пустить ее шагом по кругу.

— Можно поцеловать тебя, Эммануэль?

Я наклонился, и в ту же минуту Амаранта — это ее любимая игра — толкнула меня в спину. Я упал прямо на Эвелину, вернее, на собственные локти. Мы оба были так взволнованы, что даже не засмеялись. Я встал, Эвелина тоже. Она не выпускала из рук уздечку. Лицо ее даже повзрослело, такая на нем читалась тревога.

— Не убивай их, Эммануэль,— тихо сказала она.— Ты же обещал в воззвании, что сохранишь им жизнь.

— Послушай, Эвелина,— сказал я, с трудом овладев своим голосом,— их восемь человек, вооружены они прекрасно. Если я увижу их и крикну: «Сдавайтесь!», вполне возможно, что они захотят сразиться с нами. А в сражении кто-нибудь из наших может быть ранен или убит. Ты хочешь, чтобы я пошел на этот риск?

Она поникла головой и не ответила. Я ушел, так и не поцеловав ее, но, отойдя на несколько шагов, обернулся и махнул ей рукой, и она тотчас ответила мне тем же. Она стояла на опушке, солнечные блики играли на ее волосах, за поясом висел кинжал — она казалась такой маленькой и такой хрупкой рядом с могучими нашими лошадьми, от крупов которых валил пар. При виде этой мирной картинки у меня сжалось сердце, с минуты на минуту мне предстояло дать сигнал к началу резни.

Наши ждали меня у спуска с откоса. Я напомнил приказ: не начинать стрельбы, пока я не дам продолжитель-

ного свистка. Прекращать стрельбу по трем коротким свисткам. Напомнил я и диспозицию. Деревья, к которым была прикреплена проволока с объявлением, находились примерно в центре прямого отрезка дороги. Наш с Коленом пост — в двадцати метрах впереди объявления: Колен по ту, я по другую сторону дороги. Мейсонье и Эрве в двадцати метрах позади объявления, Мейсонье по ту же сторону, что и я, Эрве — на противоположной.

Все было исполнено быстро и тихо. Ловушка захлопнулась. Обе стороны дороги находятся под нашим перекрестным огнем. Путь к отступлению отрезан. Вперед бежать невозможно.

Я поддерживал визуальную связь с Коленом, отделенным от меня только шириной дороги, а при себе держал Мориса, чтобы в случае необходимости подать весть Мейсонье, который находился в сорока метрах ниже по спуску, а тот мог в свою очередь передать приказ через дорогу Эрве.

Мы ждали. Железная проволока, на которой висело мое воззвание, была невредима. У людей Вильмена не было клещей, чтобы ее перекусить, и на рассвете они прошли под ней. Через несколько минут они снова к ней приблизятся. И тут их встретит смерть. День безветренный. Мое объявление, неподвижное и неумолимое, преграждает им путь, ватманская бумага белеет на солнце. Будь у меня бинокль, я мог бы без труда разобрать написанные моей рукой буквы. Я подумал об Эвелине. И правда, в этом есть какая-то жестокая ирония — перебить людей Вильмена как мух под объявлением, обещающим сохранить им жизнь. Но одна из причин, почему мы должны их уничтожить, сама Эвелина. Разве можно забыть о том, что бы они натворили, доведись им «расквитаться» с Мальвилем?

Земля подо мной холодная, а солнце уже припекает голову, плечи и руки. Рядом со мной, локоть к локтю, лежит Морис. Он молчит и лежит неподвижно — у него и это получается хорошо. Никогда он не отяготит никого и ничем, даже своим присутствием. Мы примяли два мешавших нам кустика и молча ждем, наблюдая за шестьюдесятью метрами прямого участка дороги между двумя поворотами. У Колена обзор шире — он лежит по линии хорды ко второму повороту и, повернувшись, может видеть еще тридцать метров дороги, невидимые нам.

Первый услышанный мною звук удивил меня. Звук был похож на скрип. Он медленно, как бы с натугой, приближался к нам снизу. Животное такой звук издавать не могло. Слишком он механический. Не будь он прерывистым, я решил бы, что это скрипит колодезная цепь, накручиваясь на ворот. Но этот скрип прерывался равномерно, повторяясь на счет два.

Я посмотрел на Мориса, вопросительно подняв брови. Морис наклонился к моему уху.

— Велосипед?

Он прав. Поразмыслив, я решил: уж не велосипед ли это Бебеля, который он припрятал неподалеку от Мальвиля и который мы не удосужились подобрать. Если это так, мы совершили грубую ошибку и сейчас за нее расплачиваемся.

Когда внизу на дальнем повороте дороги показалась одинокая фигура, мне даже не пришлось спрашивать у Мориса, кто это. Я отлично помнил описание Эрве и сразу узнал человека со сросшимися в сплошную черную линию бровями, перерезающими лоб. Это был Жан Фейрак. Он начал подниматься по шестидесятиметровому склону, отделяющему нас друг от друга, и я заметил привязанную к раме его велосипеда базуку. Подъем был крутой, Фейрак преодолевал его с трудом. Велосипед вихлял из стороны в сторону, не исключено было, что Фейраку придется слезть с него и пойти пешком. Времени у нас было вдоволь.

Вдоволь — но для чего? Пот струился по моему лицу. Фейрак — новый главарь банды. К тому же, по словам Эрве, человек решительный и жестокий. Его надо убить. Но если я его убью, я всполошу остатки его воинства, которое тащится в километре отсюда. Услышав мой выстрел, они свернут с дороги, скроются в лесу и — кто знает — может быть, нападут на Эвелину, на лошадей. Так или иначе, в лесу я теряю преимущества своей позиции, мне придется сражаться впятером против семерых, и каков будет исход — неизвестно.

Как я и предвидел, добравшись до моего объявления, Фейрак слез с велосипеда и, согнувшись, пролез под проволокой. Был он приземистый, коренастый, с отталкивающим, угрюмым лицом. Разглядывая его, я с ужасом вспомнил расправу в Курсежаке. И однако выбора не было, несмотря на все его преступления, несмотря на базу-

ку, придется его пропустить. Главарь банды без банды менее опасен, нежели семь затравленных людей, защищающих свою шкуру.

Фейрак поравнялся со мной. Нас разделяла только высота откоса. Он снова вскочил на велосипед, и цепь заскрипела снова, равномерно, надрывно. Сейчас он доберется до поворота. Вот-вот я потеряю его из виду. Мои руки сжимают «спрингфилд», и пот капля за каплей стекает на приклад.

Фейрак добрался до поворота. Исчез за ним. А дальше все происходит так быстро, что я просто не верю своим глазам. Я вижу, как по ту сторону дороги во весь свой рост поднимается Колен, становится в позицию, точно на тренировках, выставив вперед левую ногу, по всем правилам натягивает тетиву и тщательно прицеливается. Свист — и полсекунды спустя глухой шум падения. Я ничего не вижу, но Колену хорошо видна дорога за поворотом. Он весело машет мне рукой и скрывается в кустах. А я так и остаюсь с открытым ртом.

Я готов безоговорочно объявить, что Колен гений и я прав, когда «все ему спускаю», в чем меня укоряет Тома. В этот миг я еще не знаю, как под стенами Мальвиля Колен, бросив окоп и винтовку, доверил свою судьбу любимому оружию. Назовем это осторожно: «тактической ошибкой». Но, даже узнав впоследствии об этой ошибке, я все-таки не изменил высокого мнения о луке, какое составил себе после нашей вылазки в «Пруды»: для засады это надежное и бесшумное оружие.

Мало-помалу спокойствие возвращается ко мне. Стало быть, восьмым оказался Фейрак. Он вовсе не отстал, как я было предположил. Во время отступления он храбро шел впереди своего войска. Наверное, сейчас его бойцы идут почти следом за ним: на дороге от Мальвиля до Ла-Рока много крутых подъемов и Фейрак не мог намного их опередить. В моем распоряжении всего несколько минут. Однако для меня, залегшего в папоротниках рядом с Морисом, эти минуты тянутся бесконечно долго.

Вот и они. Цепочкой растянулись по дороге — красные, потные, запыхавшиеся, башмаки громко стучат по макадаму. Я гляжу на их крестьянские лица, на красные руки, на тяжелую поступь — пушечное мясо для всех войн, в том числе и для этой. Будь с нами наш Пейсу, ему бы почудилось, будто он стреляет в самого себя.

Трое шли впереди — как мне показалось, довольно бодро. Потом в нескольких метрах позади двое и подальше еще двое — эти еле плелись. Согласно отданному мной приказу, троим идущим впереди и двоим плетущимся в хвосте вынесен смертный приговор. Сильнейшим и слабейшим.

Я поднес свисток к губам и прижался щекой к прикладу. Мы условились с Коленом, что стреляем вперекрест, чтобы не бить по одной цели. Таким образом, я целюсь в того, кто ближе к противоположной стороне дороги, он — в того, кто ближе к моей. Морис волен выбирать любого из оставшихся. Мейсонье и Эрве в нижней части дороги договорились о том же, что и мы.

Я переждал, пока головная группа прошла под объявлением. А когда к нему приблизились двое из средней группы, протяжно свистнул и выстрелил. Все выстрелы раздались одновременно — только карабин Мейсонье выделился на фоне общего грохота своим менее громким, сухим треском, прозвучавшим с небольшой оттяжкой. Пятеро на дороге упали. Упали не сразу, как это показывают в фильмах о войне, а необычайно медленно, будто при съемке рапидом. Двое оставшихся в живых не сообразили даже лечь — они остались стоять посреди дороги, видимо, лишившись сразу всех простейших рефлексов. Только спустя две-три секунды они подняли руки. И вовремя. Я дал три коротких свистка. Все было кончено.

Обернувшись к Морису, я спросил:

— Кто эти двое?

— Лысый коротышка с брюшком — это Бюр, повар. Ху́дой — Жанне, денщик Вильмена.

— Оба новобранцы?

— Оба.

Я громко крикнул, не выходя из укрытия:

— Говорит Эммануэль Конт, аббат Мальвиля. Бюр! Жанне! Подберите винтовки ваших товарищей и поставьте стоймя у объявления.

Двое парней, растерянные, потрясенные, руки дрожат, краска сбежала с загорелых щек. Услышав меня, они так и подскочили и задрали головы вверх. На откосах, с двух сторон поднимающихся над дорогой, не шелохнулся ни листочек. Они растерянно огляделись вокруг. Уставились даже на объявление — точно мой голос мог исходить из написанных мною строк. Они только что пытались взять

приступом Мальвиль — а я каким-то чудом оказался здесь! Да еще окликаю их по именам!

Повиновались они неохотно, нерешительно. Кое-кто из убитых придавил винтовку своим телом: чтобы взять оружие, пришлось отодвигать трупы. Я заметил, что делают они это осторожно, стараясь не ступать в лужи крови.

Когда они управились, я снова трижды коротко свистнул. И съехал вниз по склону прямо на дорогу, за мной Морис. Нашему примеру последовал и Колен, а в сорока шагах ниже съехали Эрве и Мейсонье.

Я коротко приказал: «Руки на затылок». Пленники повиновались. Мейсонье методично проверил, действительно ли мертвы пятеро убитых. Я был ему благодарен. Мне не хотелось брать эту работу на себя. Все молчали. Хотя сам я был в испарине, ноги у меня заледенели и как свинцом налились. Я прошелся по дороге. Всего несколько шагов. Повсюду кровь. Я видел ее, ощущал ее запах, пресный и в то же время терпкий. Ее багрянец показался мне ослепительно ярким на серо-голубом фоне дороги. Я знал, что скоро кровь потускнеет и станет черной. Непостижимая загадка человек. Драгоценнейшая кровь, в прежнем мире ее делили на группы, копили, хранили — и в то же самое время безжалостно обагряли ею землю. Я посмотрел на убитых: все пятеро — молодые. Над лужами, в которых они плавали, ни мухи, ни мошки. Пролита прекрасная, алая кровь — и пользы никому, даже насекомым.

— Господин аббат,— произнес вдруг худой пленник.

— Можешь не звать меня аббатом.

— Позвольте опустить руки. Извините, меня сейчас вырвет.

— Иди.

Он, шатаясь, побрел к обочине и рухнул на колени, упершись вытянутыми руками в землю. Я видел, как спина его конвульсивно содрогается, и сам почувствовал, что к горлу подступает тошнота. Я взял себя в руки.

— Эрве, подбери велосипед и базуку. И посмотри, убит ли Фейрак.

Обернувшись к пленникам, я приказал им опустить руки и сесть. И вовремя — они уже еле держались на ногах. Значит, коротышка с брюшком и лысиной — это Бюр, повар. Черные живые глаза, вид плутоватый. А тот нескладный парень, нервы которого сдали, это Жанне. Оба смотрят на меня с суеверным почтением.

Я узнал много нового. Накануне утром от полученной им ножевой раны умер Арман. Вильмен, едва обосновавшись в замке, выгнал Жозефу, он не желал, чтобы ему прислуживала женщина. Пищу готовил Бюр, а на стол подавал Жанне. С появлением Вильмена замок покинул и Газель, но этот по собственной воле. Он был возмущен убийством Лануая.

Я ушам своим не верил. И заставил их дважды повторить эту новость. Ай да бесполый клоун! Молодчина! Кто бы мог ждать от него такого мужества?

— Он не только из-за мясника,— добавил Бюр.— Газель не одобрял «излишеств».

— Излишеств?

— В общем, насилия,— объяснил Бюр.— Он это так называл.

Вернулся Эрве, катя велосипед, к которому была привязана базука. Щеки, обрамленные черной бородкой, побледнели, черты заострились. Он прислонил велосипед к откосу, снял одну из двух винтовок с плеча и подошел к нам.

— Фейрак жив,— сказал он беззвучно.— Он очень мучается. Просит пить.

— Ну и что?

— Что мне делать?

Я взглянул на него.

— Чего проще. Возьми машину, поезжай в Мальжак, позвони оттуда в клинику, попроси прислать карету «скорой помощи». А в ближайшее воскресенье мы отнесем ему передачу — апельсины.

Странное дело, несмотря на весь мой гнев, эти слова из прошлой нашей жизни наполнили сердце тоской.

Опустив голову, Эрве кончиком ботинка ковырял на дороге макадам.

— Не по душе мне это,— сдавленным голосом выговорил он.

Подошел Морис.

— Давайте я,— сказал он, посмотрев на меня, черные щелочки его глаз сверкнули. Этот не забыл ничего. Ни своего друга Рене, ни Курсежака.

— Я сам пойду,— сказал Эрве, словно очнувшись. Он спустил с плеча ремень винтовки и удалился, с каждым шагом ступая все тверже. Я догадывался, что произошло: Фейрак попросил у него воды. И тут сработал реф-

лекс, присущий животному, именуемому человек. Фейрак становился табу.

Я обернулся к пленным.

— Итак, разберемся еще раз. Арман умер, Жозефу выгнали, Газель ушел сам. Кто же остался в замке?

— А как же, Фюльбер,— напомнил Бюр.

— И Фюльбер сидел за одним столом с Вильменом?

— Ну да.

— Несмотря на убийство Лануая? Несмотря на «излишества»? Жанне, ты ведь прислуживал за столом...

— Фюльбер сидел между Вильменом и Бебелем,— подтвердил Жанне.— И вот что я вам скажу, он пил, ел и веселился, не отставая от этих двоих.

— Веселился?

— В особенности на пару с Вильменом. Их теперь водой не разольешь.

Положение в Ла-Роке представилось мне совершенно в новом свете. Да и не только мне. Я вижу, как насторожился Колен, как посуровело лицо Мейсонье.

— Послушай, Жанне, я задам тебе очень важный вопрос. Постарайся говорить чистую правду. И главное — ничего не преувеличивай.

— Слушаю.

— Как по-твоему, это Фюльбер подбил Вильмена напасть на Мальвиль?

— А то кто же,— без колебаний ответил Жанне.— Я сам слышал, как это было.

— То есть?

— Да он ему все время твердил, что Мальвиль не так уж хорошо укреплен и ломится от богатств.

Вот именно, ломится от богатств. А Фюльберу двойная выгода — избавиться от опеки Вильмена в Ла-Роке и вышибить нас из Мальвиля. На беду, трудно доказать его сообщничество с убийцей Вильменом, ведь ни один из ларокезцев на их дружеских пирушках не присутствовал.

Послышался выстрел, он показался мне очень громким, но, как ни странно, я испытал облегчение. И то же облегчение прочел я на лицах Мейсонье, Колена, Мориса и даже обоих пленных. Неужели они чувствуют себя в большей безопасности теперь, когда последний из Фейраков убит?

Вернулся Эрве. В руке у него был поясной ремень, а на нем пистолет в кобуре.

— Пистолет Вильмена,— объяснил Бюр.— Фейрак подобрал его, прежде чем дать сигнал к отступлению.

Я взял пистолет разбойника. У меня не было ни малейшего желания его носить. Поглядев на Мейсонье, я понял, что и у него тоже. Но я знал, кто будет счастлив получить этот пистолет.

— Он по праву принадлежит тебе, Колен. Это ты убил Фейрака.

Вспыхнув от удовольствия, Колен воинственно затянул на своей тонкой талии поясной ремень с кобурой. Я заметил, как улыбнулся Морис и его агатовые глаза лукаво блеснули. В эту минуту я еще не знал, что Вильмена убил он. А когда узнал, был благодарен ему за это тактичное молчание.

— Пленные обыщут убитых и соберут оружие,— коротко приказал я.— Я возвращаюсь в Мальвиль за повозкой. Колен со мной. Мейсонье остается руководить осмотром убитых.

Не дожидаясь Колена, я стал карабкаться вверх по откосу и, как только лес скрыл меня от глаз товарищей, пустился бегом. Я добежал до прогалины. Там я увидел Эвелину. Ее голова едва доставала до холки Амаранты. А в голубых, устремленных на меня глазах вспыхнуло такое счастье, что мне всю душу перевернуло. Она бросилась в мои объятия, и я крепко-крепко прижал ее к себе. Мы оба не произнесли ни слова. Но каждый знал, что не пережил бы смерти другого.

Послышался хруст ветвей и шелест листьев. Явился Колен. Я разжал объятия и сказал Эвелине:

— Поедешь на Моргане.

Потом снова поглядел на нее и улыбнулся. Мгновения нашего счастья кратки, но насыщены до краев.

Я вскочил в седло и предоставил Эвелине проделать то же самое без моей помощи, и она, несмотря на свой маленький рост, действовала расторопно и умело, с ловкостью, которая меня восхитила: она и не подумала даже вскарабкаться на ближайший сучок, откуда было легче добраться до стремени, или хотя бы по примеру Колена на пригорок. Правда, Колен был весь увешан оружием: винтовка образца 36-го года, лук, самодельный колчан, на поясе пистолет Вильмена, да еще бинокль на перевязи, который он «забыл» мне возвратить. Так как заросли здесь были густые, я, щадя Коленов лук, вначале

пустил лошадь шагом. Моргана шла следом за мной, почти касаясь головой крупа Амаранты, но Амаранта, ненавистница кур, своих подруг не лягает. Разве что куснет в спину, чтобы утвердить свое первенство. Я чувствовал затылком взгляд Эвелины и, обернувшись, прочел в ее глазах вопрос.

— Мы взяли двух пленных,— сказал я.

И поднял лошадь в галоп. На подступах к Мальвилю навстречу нам поднялся Пейсу, вначале я его не заметил: он залег у обочины. На лице его была написана тревога.

— Все целы,— крикнул я.

Тогда он завопил от радости, размахивая своим ружьем. Амаранта от неожиданности шарахнулась в сторону, за ней Моргана, а Мелюзина подпрыгнула, выбив из седла Колена, который очутился на холке лошади и вцепился обеими руками в ее гриву. По счастью, увидев, что две другие кобылицы стоят смирно, Мелюзина тоже успокоилась, и Колен получил возможность съехать назад самым комичным образом: нащупывая задом луку, чтобы перевалить через нее и плюхнуться в седло. Все рассмеялись.

— Болван!— выругался Колен.— Гляди, что ты натворил!

— Так ведь чего!— Рожа Пейсу так и расплылась в улыбке.— Я думал, ты у нас первый наездник!

Я хохотал так, что мне даже пришлось спешиться. Этот ребяческий смех словно вернул меня на тридцать лет назад, как и тумаки и тычки Пейсу, который, едва я оказался рядом с ним, налетел на меня, точно громадина дог, не сознающий своей силы. Я тоже обложил этого дурня, потому что мне не поздоровилось от его могучих лап. По счастью, от изъявлений его нежности меня спасли примчавшиеся к нам Кати и Мьетта.

— Я услышала твой смех,— крикнула Кати.— С крепостной стены услышала!— И она заключила меня в объятия. Эти были понежнее, я бы сказал даже — бархатные. А у Мьетты — как пуховая перина.

— Бедняжка Эммануэль,— сказала немного погодя Мену, потершись сухими губами о мою щеку. Она сказала «бедняжка» тоном, каким говорят о покойниках. Жаке молча посмотрел на меня, не выпуская из рук лопату — он рыл яму для четверых убитых, а Тома, с виду невозмутимый, объявил:

— Я снял с них обувь, она еще вполне годная. И выделил для нее на складе особую полку.

Фальвина разливалась в три ручья. Просто исходила влагой, как сало на солнце. Подойти поближе она не смела, памятуя, как я одернул ее накануне... Но я сам подошел и великодушно чмокнул ее, до того я был счастлив, что я снова в Мальвиле, среди своих, в нашем родном гнезде.

— Шестеро убитых, двое пленных,— объявил малыш Колен, широко шагая и положив ладонь на кобуру пистолета.

— Расскажи, Эммануэль,— попросил Пейсу.

Я воздел руки к небу.

— Некогда! Мы сейчас же возвращаемся обратно. В том числе ты, Тома и Жаке. Колен останется в Мальвиле за главного. Вы поели?— спросил я, обернувшись к Пейсу.

— Пришлось,— отозвался Пейсу, словно оправдываясь.

— И отлично сделали. Мену, приготовь нам семь бутербродов.

— Семь? Почему это семь?— спросила Мену, ощетинившись на всякий случай.

— Для Колена, меня, Эрве, Мориса, Мейсонье и двух пленных.

— Пленные!— буркнула Мену.— Опять будешь кормить это отродье!

Жаке вспыхнул, как и всегда, когда при нем произносили это слово — ведь еще недавно он сам принадлежал к этому «отродью».

— Делай, что тебе говорят. Жаке, запряжешь Малабара в повозку. Одна повозка — больше ничего. Никаких лошадей. А ты, Эвелина, расседлай наших кобыл. Кати тебе поможет. Я только лицо ополосну.

Но я не только ополоснул лицо. Я принял душ, вымыл голову и побрился. И все это мигом. А заодно уже, в предвидении визита в Ла-Рок, позволил себе кое-какую роскошь. Отложив в сторону старые брюки и сапоги для верховой езды, с которыми я не расставался со времени Происшествия, я облачился в белые рейтузы, которые надевал только на конные состязания, почти новенькие сапоги и белую водолазку. В таком виде, свеженький и ослепительный, я и появился во внешнем дворе. И произвел такую сенсацию, что даже Эвелина и Кати выскочили из

Родилки со скребницами и соломенными жгутами в руках. Мьетта подбежала ко мне, знаками выражая свое восхищение. Сначала она дернула себя за волосы и ущипнула за щеку (это значит — я вымыл голову и чисто выбрит). Потом прихватила двумя пальцами собственную блузку, а другую руку несколько раз подряд сжала и разжала (какая красивая, белоснежная рубашка). Потом стиснула обеими руками свою талию (в рейтузах для верховой езды я кажусь стройнее) и, кроме того — тут она сделала не поддающийся описанию мужественный жест (они мне очень, очень идут). Что до сапог — она несколько раз сжала и разжала ладонь (этот жест, символизирующий солнечные лучи, означает, что сапоги мои сверкают, как, впрочем,— смотри выше — моя рубашка). Наконец, собрав пальцы правой руки щепотью, она несколько раз поднесла их к губам (какой ты красавец, Эмманюэль!) и поцеловала меня.

Мужская часть населения Мальвиля встретила меня шуточками. Я ускорил шаги. Однако кое-что все-таки донеслось до моих ушей. К примеру, Пейсу, сунув сверток с бутербродами под мышку и зашагав следом за мной, приговаривал: «Эким франтом вырядился, будто к первому причастию собрался!»

— А верно,— заявила Кати.— Будь ты таким, когда я в первый раз увидела тебя в Ла-Роке, я бы за тебя вышла, а не за Тома!

— Стало быть, мне повезло,— добродушно откликнулся я, вспрыгнув на повозку и собираясь в ней усесться.

— Постой, постой!— крикнул Жаке. Он бежал ко мне со всех ног, зажав старый мешок под мышкой. Жаке сложил его вдвое и расстелил на досках — не дай бог я испачкаю рейтузы. Тут уж все так и грохнули от смеха, и я улыбнулся Жаке, чтобы помочь ему справиться со смущением.

Колен, вначале принимавший участие в общем веселье, теперь отошел в сторону и сник. И только когда Малабар потрусил по ПКО, я вдруг вспомнил, что именно так, как сегодня, я был одет за неделю до Происшествия, когда после конных состязаний пригласил Колена с женой в ресторан. Пока я заказывал обед, супруги, прожившие в браке пятнадцать лет и продолжавшие нежно любить друг друга, сидели рядышком, переплетя под столом пальцы. За ужином Колен и поведал мне, как его беспокоит десяти

летняя Николь (каждый месяц ангина) и двенадцатилетний Дидье (пишет с ошибками). А теперь от всех них осталась горстка пепла, зарытого в маленьком ящичке вместе с останками семьи Пейсу и семьи Мейсонье.

— Колен,— громко произнес я.— Не к чему ждать моего возвращения. Расскажи им все. Приказ только один — пока мы не вернемся, ни под каким видом не покидать Мальвиль. Все прочее на твое усмотрение.

Он словно бы очнулся и даже махнул мне рукой, но не тронулся с места, хотя Эвелина, Кати и Мьетта, выскочив за развороченные ворота палисада, бежали следом за повозкой по дороге. Стараясь перекрыть стук копыт Малабара и скрип колес, я крикнул Мьетте, чтобы она приглядела за Коленом, который что-то у нас захандрил.

Жаке стоя правил, Тома сидел рядом со мной, Пейсу — напротив, чуть не упираясь своими длинными ножищами в мои.

— Я сообщу тебе кое-что, что тебя удивит,— сказал Тома.— Я просмотрел бумаги Вильмена. Никакой он не офицер. Он бухгалтер.

Я рассмеялся. Тома и бровью не повел. Он не видел тут ничего смешного. То, что Вильмен выдавал себя не за того, кем он был на самом деле, Тома считал еще одним преступлением. А я нет. Меня это даже не особенно удивило. По рассказам Эрве у меня уже давно создалось впечатление, что Вильмен слишком усердствует, переигрывает. Но подумать только: один лжесвященник, другой лжедесантник! Самозванец на самозванце! Уж не знамение ли это новых времен?

Тома протянул мне удостоверение Вильмена — я мельком поглядел на него и сунул в карман. В свою очередь я рассказал товарищам, что Фюльбер был одним из главных виновников опасности, которую мы только что пережили. Пейсу чертыхнулся. Тома молча стиснул зубы.

Там, где мы устроили засаду, теперь нас поджидали Мейсонье, Эрве, Морис и пленные. Мы посадили их всех на повозку и погрузили на нее винтовки, базуку, патроны и велосипед. Девять человек — груз немалый, даже для нашего Малабара, поэтому на самых крутых подъемах мы все, кроме Жаке, слезали с повозки, чтобы жеребцу было полегче. Воспользовавшись этим, я изложил товарищам свой план.

— Сначала ответь на мой вопрос, Бюр. Вы с Жанне провинились в чем-нибудь перед жителями Ла-Рока?

— В чем же мы могли перед ними провиниться?— ответил Бюр даже с обидой в голосе.

— Мало ли в чем. В жестокостях, в «излишествах».

— Я скажу тебе напрямик,— объявил Бюр, весь так и лучась добродетелью.— Жестокость не в моем характере, да и не в характере Жанне. И уж если начистоту,— добавил он во внезапном приливе откровенности,— у меня и случая-то подходящего не было. При Вильмене какие у новичка права? Если б ветеранам только почудилось, что я помышляю насчет «излишеств», они бы мне показали, где раки зимуют.

Краем уха я услышал, как Пейсу за моей спиной спросил у Мейсонье, что значит «излишества».

— Еще вопрос,— продолжал я.— Южные ворота в Ла-Роке охраняются?

— Да,— ответил Жанне.— Вильмен поставил часовым одного парня из Ла-Рока: какой-то Фабре... Фабре — не помню, как дальше.

— Может, Фабрелатр?

— Точно.

— Ты чего? Чего там?— Это Пейсу, услышав мой хохот, нагнал нас.

Я пояснил. Тогда рассмеялся и он.

— И Фабрелатру дали винтовку?

— Да.

Смех усилился.

— Тогда нет ничего проще,— продолжал я.— Мы подъедем к Ла-Року, но подойдут к воротам только Бюр и Жанне. Им откроют. Мы обезоружим Фабрелатра, и Жаке останется сторожить его вместе с Малабаром.

Я выдержал паузу.

— И вот тут-то и начнется спектакль,— закончил я, весело подмигнув Бюру.

Он заулыбался в ответ. Он был счастлив, что мы теперь с ним вроде бы сообщники. Он увидел в этом доброе предзнаменование. Тем более что я развернул сверток, который захватил с собой Пейсу, и роздал всем по бутерброду. Бюр и Жанне пришли в восторг от домашнего хлеба, в особенности Бюр, как повар-профессионал.

— Сами выпекаете хлеб?— с почтением спросил он.

— А то кто же! — ответил Пейсу. — В Мальвиле у нас есть мастера на все руки. И пекари, и каменщики, и слесаря, и кровельщики. Есть даже собственный кюре — Эмманюэль. А каменщик — это я, — скромно добавил он.

Само собой, Пейсу не станет распространяться о том, как он надстроил крепостную стену, но я догадываюсь, что он подумал именно о ней и мысль о собственном шедевре, который простоит века, согревает ему сердце.

— Одна загвоздка — дрожжи, — вмешался в разговор Жаке с высоты повозки. — Скоро они у нас все выйдут.

— Да их полным-полно в замке Ла-Рока, — сообщил Бюр, довольный тем, что может оказать нам услугу.

И впился крепкими белыми зубами в бутерброд, как видно решив, что наша фирма — надежная.

— Так вот мой план, — сказал я. — Как только мы обезвредим Фабрелатра, Бюр и Эрве вдвоем войдут в Ла-Рок с винтовками на плече. Отыщут Фюльбера и скажут ему: «Вильмен захватил Мальвиль. Взял в плен Эмманюэля Конта и посылает его тебе. Твое дело немедля собрать в капелле всех ларокезцев и в их присутствии устроить над ним публичный суд».

Мои слова подействовали на всех по-разному. Пейсу, Эрве, Морис и оба пленника оторопели. Мейсонье вопросительно поглядел на меня. Тома был явно недоволен. Жаке обернулся с повозки и бросил на меня испуганный взгляд — он боялся за меня.

— Сначала вы удостоверитесь, что в капелле действительно собрались все, — продолжал я, — и тогда пойдете за мной к южным воротам. Я явлюсь один, безоружный, под охраной Бюра, Жанне и Эрве с Морисом — все четверо с винтовками на плече. И тут начнется суд. Ты, Эрве, поскольку представлять Вильмена будешь ты, должен дать мне возможность защищаться и предоставить слово тем из ларокезцев, которые захотят выступить.

— А мы что же? — спросил Пейсу, огорченный тем, что не увидит спектакля.

— А вы подоспеете к концу, когда за вами придет Морис. Появитесь все четверо и приведете с собой Фабрелатра. Есть у тебя чем привязать Малабара, Жаке?

— Да, — ответил Жаке, глядя на меня с тревогой

— Я выбрал Бюра, потому что Фюльбер знает его как повара, и Эрве, потому что у него определенный актерский талант. Говорить будет один Эрве. Так что никто не собьется.

Наступило молчание. Эрве с важным видом гладил свою остроконечную бородку. Я понял, что он уже репетирует роль.

— Теперь можно садиться,— сказал Жаке, придерживая Малабара.

— Поезжайте,— пригласил я жестом наших новобранцев и пленных.— Мне надо поговорить с друзьями.

Я чувствовал — в Тома назрел нарыв, надо его вскрыть, пока еще не поздно. Я подождал, чтобы повозка обогнала нас метров на десять. Тома держался слева от меня, Мейсонье справа, а справа от него — Пейсу. Шли мы шеренгой.

— Это что еще за цирк?— тихо и гневно спросил Тома.— На что он тебе нужен? Все это пустая трата времени, надо схватить Фюльбера за шиворот, поставить к стенке и расстрелять!

Я обернулся к Мейсонье.

— Ты согласен с точкой зрения Тома?

— Смотря по тому, что мы собираемся делать в Ла-Роке,— ответил Мейсонье.

— То, что и собирались — взять власть.

— Так я и думал,— сказал Мейсонье.

— Не то чтобы это меня так уж прельщало, но без этого не обойтись. Слаб Ла-Рок — слабы и мы, вот где постоянная для нас опасность. Любая банда может захватить замок и использовать как базу для нападения на Мальвиль.

— И к тому же в Ла-Роке богатые земли,— добавил Пейсу.

Я сам об этом думал. Но не сказал. Недоставало только, чтобы Тома упрекнул меня в алчности. А это было бы уж совсем несправедливо. Для меня тут важна не собственность, а безопасность. За недолгие минувшие месяцы я полностью отрешился от всякого чувства собственности. Я даже забыл, что Мальвиль когда-то принадлежал мне. Просто я боялся, что какой-нибудь энергичный субъект сколотит банду, захватит Ла-Рок и рано или поздно богатые земли станут залогом его могущества. А я не желаю, чтобы у нас был сосед, способный нас поработить. Но и сам не хочу порабощать Ла-Рок. Я хочу союза двух общин-близнецов, которые взаимно помогают и поддержи-

вают друг друга, но при этом каждая сохраняет свое лицо*.

— В таком случае,— сказал Мейсонье,— Фюльбера расстреливать нельзя.

— Это еще почему?— с вызовом спросил Тома.

— Надо постараться взять власть, не проливая крови.

— Тем более крови священника,— добавил я.

— Он не священник, а самозванец,— сказал Тома.

— Неважно, поскольку есть люди, которые ему верят.

— Допустим,— согласился Тома.— Но я все равно не пойму, к чему весь этот розыгрыш. Это же просто несерьезно, балаган какой-то!

— Пускай балаган. Но зато моя затея преследует совершенно конкретную цель: вынудить Фюльбера разоблачить себя как сообщника Вильмена перед всеми ларокезцами. А он сделает это с тем большим цинизмом, что воображает, будто сила на его стороне.

— А дальше что?

— А то, что это признание будет служить уликой против него, когда мы устроим ответный суд — над ним самим.

— И не осудим его на смертную казнь?

— Поверь мне, я сделал бы это с величайшей охотой, но тебе уже объяснили — это невозможно.

— Что же тогда?

— Не знаю, может, осудим на изгнание.

Тома остановился, мы остановились тоже, и подождали, пока повозка отъехала подальше.

— И ради этого,— заговорил он тихим, негодующим голосом,— ради того лишь, чтобы его изгнать, ты готов доверить свою жизнь четырем парням, про которых ровным счетом ничего не знаешь? Четырем вильменовским головорезам!

Я посмотрел на него. Наконец-то я понял, почему он так ополчился против моего «балагана». По сути, причина та же, что у Жаке. Он просто боится за меня. Я пожал плечами. На мой взгляд, я не рисковал ничем. Со вчерашнего дня Эрве и Морис могли нас предать десятки раз. Но не предали, а сражались бок о бок с нами. А двое пленни-

* В дальнейшем эти слова часто цитировали и ларокезцы, и мы сами, причем иногда для защиты противоположных точек зрения. *(Примечание Тома.)*

ков мечтают лишь об одном — чтобы их как можно скорее приняли в нашу общину.

— У них ведь будет оружие, а у тебя нет.

— У Эрве и Мориса будут винтовки с полными обоймами, у Бюра и Жанне — незаряженные. А у меня есть вот что.

Я вынул из кармана маленький револьвер, принадлежавший еще дяде,— я прихватил его из ящика стола, когда переодевался. В общем-то игрушка. Но так как после стычки у берегов Рюны я привык всегда ходить с ружьем, я чувствовал себя без оружия как бы раздетым. И я понял, что, несмотря на игрушечные размеры револьвера, при виде его Тома успокоился.

— А я считаю,— сказал Мейсонье, который со всех сторон, и так и эдак, обмозговывал мой план,— мысль дельная. Раз Жозефа и Газеля в замке нет, ларокезцы не знают, что Фюльбер спелся с Вильменом. А согласившись тебя осудить, он сразу себя перед ними разоблачит. Вот в чем суть,— повторил Мейсонье вдумчиво и веско.— В общем, затея дельная. Заставить врага саморазоблачиться.

ГЛАВА XVIII

«Суд» надо мной должен был состояться в капелле замка, так как церковь нижней части города сгорела в День происшествия. В былые времена в этой капелле по воскресеньям служил мессу священник, друг Лормио, и на эту службу в знак особого благорасположения приглашались именитые жители Ла-Рока и его окрестностей. С женами и детьми они составляли круг избранных, человек в двадцать. В семействе Лормио не принято было делить бога с кем ни попадя.

Я уже говорил, что замок в Ла-Роке был построен в эпоху Ренессанса, то есть по понятиям мальвильцев совсем недавно, но капеллу возвели еще в XII веке. Это был узкий продолговатый зал, его своды с нервюрами опирались на столбы, а те в свою очередь — на очень толстые стены, прорезанные рядом окон ненамного шире бойниц. В полукружии, куда вписывался клирос, своды были сложены иначе — снаружи их подпирали контрфорсы, а внутри — невысокие колонны. Эта часть капеллы в свое время наполовину развалилась, но ее с большим тактом восста-

новил архитектор из Парижа. Лишнее доказательство, что за деньги можно купить все, даже вкус.

Позади обращенного к пастве алтаря (простой мраморной доски на двух опорах) Лормио пожелали восстановить замурованное стрельчатое окно и заказали для него прекрасный витраж. По замыслу солнце должно было освещать со спины священника, отправляющего мессу. На беду, Лормио не учли, что витраж обращен на запад, и по утрам разве что чудом священнослужитель мог предстать перед верующими окруженный ореолом. Впрочем, никто не оспаривал, что окно здесь весьма кстати, ибо немногочисленные узкие проемы в боковых стенах создавали в нефе полумрак склепа. В этом таинственном сумраке, где прихожане двигались наподобие теней, каковыми они готовились стать, они по крайней мере отчетливо различали алтарь, суливший им надежду.

Насколько я мог судить, в капелле собрались все ларокезцы. Но, войдя с послеполуденного солнца и жары в эту средневековую пещеру, где меня сразу охватило холодом и сыростью, я на минуту почти ослеп. Как мы уговорились, четверо вооруженных бойцов Вильмена усадили меня на ступеньку, ведущую к алтарю. Сами они с суровым видом тоже уселись рядом со мной — по двое с каждой стороны, поставив винтовки между коленями. За моей спиной находился уже описанный мной алтарь, современный и строгий, а еще глубже и чуть выше — витраж Лормио. Пора бы ему заиграть на свету, потому что был пятый час дня, но, как раз когда я входил в капеллу, солнце заволокло облаками. Опершись на верхнюю ступеньку лестницы, я скрестил руки на груди и попытался разглядеть лица собравшихся. Сначала я различал только блестевшие глаза да пятна белых рубах. Лишь мало-помалу я начал узнавать ларокезцев. И с горечью убедился, что кое-кто отводит взгляд. В том числе старик Пужес. Но слева в скудном свете бокового витража я увидел когорту моих друзей. Марсель Фальвин, Жюдит Медар, обе вдовы — Аньес Пимон и Мари Лануай, и два фермера, имена их я так и не вспомнил. В первом ряду я заметил Газеля, сцепившего на животе вялые руки,— над его узким лбом были взбиты кудряшки, напоминавшие мне моих покойных сестер.

Когда меня ввели в капеллу через маленькую боковую дверь у хоров, я не заметил Фюльбера. Как видно, он расхаживал по главному проходу и как раз в эту минуту нахо-

дился ближе к большой стрельчатой двери в глубине капеллы. Когда я сел, я тоже не разглядел его, потому что у входа в неф казалось особенно сумрачно — в этой его части не было боковых окон. Но в тишине, воцарившейся при моем появлении, еще не видя Фюльбера, я услышал его шаги, гулко отдававшиеся по каменным плитам пола. Шаги стали приближаться, и мало-помалу Фюльбер вышел из мрака в полумрак. Его темно-серый костюм, серая рубашка, черный галстук сливались с общим темным фоном. И первое, что я увидел, был его белый лоб, белая прядь на черном шлеме волос, провалы глаз и щек. А еще секунду спустя увидел серебряный крест, подрагивающий на его груди и явно противоречивший вполне земным страстям, которые в ней бушевали.

Фюльбер приближался ко мне неторопливо, размеренным и твердым шагом, властно стуча каблуками по каменным плитам; он неестественно вытянул вперед шею, как бы нацелив на врага голову, с таким видом, точно хотел сожрать меня живьем. Однако примерно в трех шагах от меня он остановился, заложил руки за спину, слегка покачиваясь взад и вперед, и словно, прежде чем расправиться со мной, решил заворожить врага взглядом, молча уставился на меня сверху вниз, покачивая головой. Даже на таком близком расстоянии я не видел очертаний его тела — темное облачение терялось в сумраке капеллы. Но голову его, как бы парившую надо мной, я видел прекрасно и был поражен выражением его красивых косящих глаз. Глаза эти выражали лишь доброту, сострадание и печаль, да и равномерные, соболезнующие кивки наводили на мысль, что он сейчас переживает «прискорбнейшую минуту» в своей жизни.

Я был разочарован, более того, встревожен. Не то чтобы я хоть на миг поверил в искренность Фюльбера, но, если он вздумает ставить только на карту евангельского милосердия, моя карта бита, план мой бесплоден, да и впоследствии будет весьма затруднительно вынести приговор человеку, отказавшемуся меня судить. А этот полный сострадания взгляд, казалось, сулил именно отказ от судилища.

Молчание длилось несколько долгих секунд. Ларокезцы поглядывали то на меня, то на Фюльбера и удивлялись, почему он молчит. А я начал успокаиваться. Я понял, что это вступительное молчание обычный трюк фокусника, желающего привлечь внимание публики, а кроме того — я го-

тов был в этом поклясться,— садистские штучки, цель которых заронить в сердце обвиняемого ложную надежду. Внимательно вглядываясь в лицо Фюльбера, я вдруг понял: дело не в том, что глаза его смотрят в разные стороны, разница в их выражении. Левый в соответствии с отеческими кивками и печальной складкой губ проникнут милосердием. А правый сверкает злобой, как бы опровергая посулы левого: достаточно сосредоточить взгляд на этом полыхающем ненавистью зрачке, мысленно отвлекшись от остальной части физиономии Фюльбера, и все сомнения рассеются.

Меня очень порадовало мое открытие, оно завершало двуликость этого Януса-Фюльбера: грубые руки с расплющенными кончиками пальцев противоречили интеллигентному лицу, изможденное лицо противоречило дородному телу. По сути, еще до того как этот человек открывал рот, все его естество, включая глаза, громоздило обман на обман и тут же себя разоблачало.

Но вот наконец он заговорил. Голосом низким и глубоким, как звук виолончели, мелодично, елейно. А содержание его речи с первой же фразы превзошло все мои надежды. У него нет слов, начал Фюльбер, дабы выразить сожаление по поводу обстоятельств, в каких он меня видит. Он глубоко скорбит об этих обстоятельствах (я мог бы побиться об заклад, что услышу эти слова), особенно памятуя «сердечную» дружбу, какую он ко мне питал, дружбу, которую я предал, но для него было весьма и весьма горестно отречься от друга из-за преступлений, на которые того толкнула гордыня и которые ныне навлекли на меня кару, в чем он, Фюльбер, видит перст божий...

Сокращу всю эту вступительную муть. За ней последовала обвинительная речь, мало-помалу терявшая свою первоначальную елейность. После первого же обвинения, выдвинутого против меня,— речь шла о том, что он именовал «похищением» Кати,— в зале начался ропот, причем ропот усиливался, несмотря на все более грозные взгляды, которыми Фюльбер окидывал собравшихся, и жесткий и резкий тон, каким он перечислял свои претензии.

В вину мне вменялись три пункта: я похитил, нарушив постановление приходского совета, девушку, жительницу Ла-Рока, и, обесчестив, передал ее одному из своих людей, обвенчав их для виду. Я надругался над святой верой, заставив своих слуг избрать меня священником и пародируя

вкупе с ними церковные обряды и таинства. Воспользовавшись этим, я вдобавок дал волю своим еретическим наклонностям, дискредитируя речами и поступками исповедь. Наконец, я всеми силами поддерживал злонамеренные, подрывные элементы в Ла-Роке в открытом бунте против их пастыря и письменно угрожал вооруженным вмешательством, если против них будут применены санкции. На основании несостоятельных ссылок на исторические факты я даже пытался утвердить свои сюзеренные права на Ла-Рок.

— Нет никакого сомнения,— заключил Фюльбер,— что, если бы капитан Вильмен (он его называл капитаном), не водворился в Ла-Роке (ропот, крики: «Ленуай! Ленуай!»), Ла-Рок рано или поздно стал бы жертвой преступных замыслов Конта, и нетрудно себе представить, какие последствия это повлекло бы за собой для жизни и свободы наших сограждан.— (Громкие настойчивые крики: «Лануай! Пимон! Курсежак!»)

К этому времени обстановка в капелле накалилась до крайности. Три четверти собравшихся, потупив глаза, хранили враждебное молчание — видно было, что речи Фюльбера и его сверкающие взгляды еще держат их в страхе. Но остальные — Жюдит, Аньес Пимон, Мари Лануай, Марсель Фальвин и два фермера, имена которых я тщетно пытался вспомнить, точно с цепи сорвались. Они протестовали, кричали, вскакивали с мест и, перегнувшись вперед, даже грозили Фюльберу кулаками. Особенно неистовствовали женщины. Казалось, если бы не четверка якобы охранявших меня стражей, они кинулись бы прямо в капелле на своего кюре и растерзали его в клочья.

У меня было такое чувство, будто суд надо мной сыграл роль детонатора. Взорвалась ненависть оппозиции к пастырю Ла-Рока. Впервые она проявилась так открыто и с такой силой — Фюльбер был потрясен.

Ловкому лжецу, ему, как видно, удавалось обманывать и самого себя. С тех пор как он владычествовал в Ла-Роке, он, должно быть, сознательно принимал внушаемый им страх за всеобщее почтение. Он, конечно, не предполагал, что его так ненавидят ларокезцы — все до единого,— потому что, хотя большинство держало себя пока еще осторожно и выражало свое отношение лишь приглушенным ропотом, ясно было, что оно настроено столь же враждебно. Накал этой ненависти сокрушил Фюльбера. Он задрожал

всем телом, как статуя, которую сбрасывают с пьедестала. Он покраснел, потом побледнел, сжал кулаки, пытался начать одну фразу, потом другую, так ни одной и не кончил, лицо его осунулось, стало подергиваться, а в глазах попеременно вспыхивали страх и злоба.

Однако Фюльбер не был трусом. Он не отступил. Твердым шагом подойдя к хорам, он поднялся по ступеням и, став между Жанне и Морисом, вытянул руку вперед, требуя тишины. И удивительное дело, через несколько секунд он тишины добился — так сильна была в Ла-Роке привычка ему повиноваться.

— Вижу,— сказал он голосом, дрожащим от гнева и возмущения,— вижу, что настал час отделить добрые семена от плевел. Здесь есть люди, именующие себя христианами, но которые ничтоже сумняшеся вступили в заговор против своего пастыря за его же спиной. Пусть заговорщики запомнят: я не дрогнув исполню свой долг. Если здесь есть люди, сеющие смуту и вводящие паству в соблазн, я отлучу их от церкви, я очищу от скверны дом отца моего!

Речь эта вызвала негодующие крики и бурный протест. В особенности неистовствовала Мари Лануай, которую еле удерживали Марсель и Жюдит. Она кричала истошным голосом: «Ты сам скверна и есть. Это ты пировал за одним столом с убийцами моего мужа!»

С того места, где я сидел, я видел только правый глаз моего обвинителя. Он пылал безудержной ненавистью. От ярости Фюльбер потерял обычную свою ловкость и самообладание. Он уже не пытался изворачиваться, он шел напролом. Он не лукавил, он бросал открытый вызов. Он чувствовал за собой штыки Вильмена, это давало ему ощущение силы, он решил довести ларокезцев до крайности, а потом сломить их. В течение всего нескольких минут он скатился к тому примитивному уровню мышления, который свойствен был Вильмену,— наверное, дурные примеры заразительны. В это мгновение, ополчившись против своих сограждан, он, опьяненный злобой, несомненно, помышлял лишь об одном — покарать их мечом.

Фюльбер снова простер руки, снова воцарилось относительное молчание, и он завопил, каким-то не своим, не бархатным, а визгливым, чуть ли не истерическим голосом, и не было в этом голосе даже отдаленного сходства с виолончелью.

— А что касается истинного подстрекателя всех этих распрей, Эммануэля Конта, то вы сами своим поведением вынесли ему приговор. От имени приходского совета осуждаю его на смерть!

Тут поднялся такой шум, какого я даже не ждал. Я заметил, что сидевший справа от меня Эрве беспокойно оглядывается, очевидно, боится, как бы ларокезцы не накинулись на него и его товарищей и не обезоружили их — такая в них бушевала ярость. Думаю, они только потому не перешли от слов к делу, что не были к этому подготовлены, а главное, у них не было руководителя. И еще потому, что присутствие Фюльбера, его смелость и откровенная ненависть, написанная на его лице, все-таки еще держали их в узде.

Когда его бывший дружок сослался на приходский совет, Газеля передернуло. Он покачал головой и в знак несогласия вяло помахал перед носом руками. Наклонившись к Эрве, я шепнул:

— Предоставь слово Газелю, кажется, он хочет что-то сказать.

Эрве встал и, вставая, перебросил винтовку за плечо, чтобы подчеркнуть свои миролюбивые намерения. Так он постоял секунду, изящно опершись на левую ногу, и поднял руку, словно просил внимания, его открытое мальчишеское лицо так и сияло простодушием. Добившись тишины, он сказал спокойным, вежливым голосом, прозвучавшим резким контрастом с оглушительным воплем Фюльбера.

— Кажется, аббат Газель хочет что-то сказать. Предоставляю ему слово.

И Эрве сел. Сдержанный, я бы сказал даже, светский тон молодого, изящного Эрве, а также и то, что, не спросясь Фюльбера, он предоставил слово Газелю, ошеломили всех, и в первую очередь самого Фюльбера; он не мог взять в толк, как это доверенный человек Вильмена позволяет высказаться Газелю — тому самому Газелю, который осудил убийство Лануая и «излишества» Вильмена!

Сам Газель весьма опечалился, получив слово, которого не просил. Куда приятнее было выразить свое недовольство жестами: наговоришь здесь лишнего и попадешь в историю. Но в зале уже раздались крики: «Говорите, мсье Газель, говорите!», да и Эрве знаками подбадривал оратора, и Газель решился встать. Его длинное клоунское лицо,

увенчанное седыми буклями, было какое-то дряблое, бесполое, растерянное, а бесцветный, тонкий голосок нельзя было слушать без улыбки. И однако он сказал то, что ему следовало сказать в присутствии всех нас, в присутствии самого Фюльбера, и сказал не без отваги.

— Я хотел бы только заметить, — заявил Газель, скрестив кисти рук на уровне груди,— что с тех пор, как я покинул замок из-за всех тех гнусностей, которые творились в Ла-Роке, приходский совет больше не собирался.

— Ну и что?— немедленно парировал Фюльбер с уничтожающим презрением.— Какое нам дело до того, вышел ты или нет из приходского совета, болван безмозглый!

По длинной зобатой шее Газеля прошла судорога, его безвольное лицо сразу посуровело. Такие вот неполноценные люди никогда не прощают обид, затрагивающих их самолюбие.

— Прошу прощения, монсеньер,— заговорил он совсем другим голосом, сварливым, пронзительным голосом старой девы,— но вы же сами сказали, что осуждаете мсье Конта именем приходского совета. А я хочу обратить ваше внимание на то, что приходский совет не собирался и к тому же я, как член совета, не согласен с приговором, вынесенным мсье Конту.

Речь Газеля была встречена аплодисментами, причем аплодировала не только пятерка оппозиционеров, но еще двое или трое из молчаливого большинства, которых, по-моему, пристыдило мужественное поведение Газеля. Оратор сел на место, краснея и трепеща, и Фюльбер тотчас же обрушил на него громы и молнии.

— Обойдусь и без твоего согласия, жалкое ты ничтожество! Ты обманул мое доверие. Я тебе припомню твои слова, ты мне за них заплатишь!

В ответ на выпад Фюльбера поднялось гиканье, а Жюдит, вспомнив вдруг времена, когда она принадлежала к партии левых христиан, обрушилась на Фюльбера, выкрикивая во весь голос: «Нацист! Эсэсовец!» Марсель уже не удерживал ее. Я испугался: а что, если ларокезцы обретут в ней вождя и она поведет их в бой, в особенности я боялся за жизнь наших новобранцев. Я встал и громко сказал:

— Прошу слова.

— Говори,— тотчас с облегчением отозвался Эрве.

— То есть как?— заорал Фюльбер, обратив свою ярость против Эрве.— Ты предоставляешь слово этому не-

годяю? Лжесвященнику! Врагу церкви! Да ты с ума сошел! Ведь я приговорил его к смерти!

— Тем более,— сказал Эрве, невозмутимо поглаживая свою остроконечную бородку.— Должны же мы по крайней мере дать ему последнее слово.

— Безобразие!— продолжал вопить Фюльбер.— Что это еще за штуки! Глупость это или измена? Своевольничать вздумал! Неслыханно! Я приказываю тебе немедленно заткнуть осужденному рот, понял?

— Ваших приказов я слушаться не обязан,— возразил Эрве с достоинством.— Вы мне не начальник. В отсутствие Вильмена здесь командую я,— продолжал он, похлопывая ладонью по прикладу винтовки,— а я решил дать слово обвиняемому. И он будет говорить столько, сколько ему вздумается.

И тут произошло нечто совсем уже невероятное — добрая половина ларокезцев дружно захлопали Эрве. Правда, в банде он был новичком и, так же как и его товарищи, не принимал участия в упомянутых Газелем «гнусностях», так что ларокезцы зла на него не держали. И все-таки они аплодировали приспешнику Вильмена! Вот уж поистине все перевернулось вверх дном!

— Безобразие,— кричал Фюльбер, сжимая кулаки, а его косые глаза вылезали из орбит.— Ты, видно, не понимаешь, что, предоставляя слово этому субъекту, действуешь как сообщник бунтовщиков и смутьянов. Это тебе даром не пройдет! Предупреждаю: я все сообщу твоему командиру, и он тебя примерно накажет!

— Сомневаюсь,— заявил Эрве с такой неподдельной невозмутимостью, что я подумал, уж не хватил ли он через край и не заподозрит ли Фюльбер правды.— Так или иначе,— продолжал он,— сказанного не воротишь: слово имеет обвиняемый.

— Ах так,— завизжал Фюльбер.— Ну так я его слушать не стану. Я ухожу! Иду к себе и буду ждать, пока вернется Вильмен.

Он спустился по ступеням и под крики оппозиции решительно зашагал по центральному проходу к двери. Вот этото меня никак не устраивало. В отсутствие Фюльбера трудно будет повернуть обвинения против него. Я громко крикнул ему вслед:

— Выходит, ты так боишься моих слов, что даже не решаешься меня выслушать!

Он остановился и, круто повернувшись, стал ко мне лицом. А я продолжал звучным голосом:

— Сейчас четверть шестого. Вильмен пообещал быть здесь в пять тридцать. Стало быть, мне осталось жить всего четверть часа, но я внушаю тебе такой страх, что и в эти последние четверть часа ты дрожишь как осиновый лист и торопишься забиться под кровать, чтобы там дожидаться своего повелителя! Да, да, я не ошибся — даже не под одеяло, а под кровать!

Поведение Эрве насторожило Фюльбера. Но мое заявление о том, что Вильмен прибудет через пятнадцать минут, сразу его успокоило. К тому же я ловко кольнул его копьем в бок, упрекнув в трусости. Впрочем, я уже говорил: трусом он не был. Но в его силе была слабинка. Как все смелые люди, он кичился своей смелостью. Поэтому, как я и предполагал, он принял мой вызов.

Бледный, весь подобравшийся, со впалыми щеками и горящими глазами, он застыл на месте и бросил с презрением:

— Можешь молоть любой вздор. Мне от этого ни жарко ни холодно. Пользуйся случаем, пока не поздно.

Я подхватил брошенный мне мяч.

— Я воспользуюсь им прежде всего для того, чтобы опровергнуть твои обвинения. Начнем с Кати. Я не обесчестил ее, как ты посмел здесь утверждать, и вовсе я ее не похищал. Это чистейшая выдумка. По доброй воле, с разрешения дяди («Верно!» — тотчас закричал Марсель — теперь я уже не боялся его подвести), она отправилась в Мальвиль навестить свою бабушку. Там она влюбилась в Тома и вышла за него замуж. А тебе, Фюльбер, это пришлось не по нутру, потому что ты хотел, чтоб она прислуживала тебе в замке.

Раздались смешки, Фюльбер закричал:

— Это бессовестное вранье!

— Э, погодите,— тут же сказала, не попросив слова, низенькая тучная женщина лет сорока с лишком.

Она встала. Это была Жозефа, экономка Фюльбера. Вообще-то ларокезцы смотрели на нее свысока, потому что она была португалкой (а наши ларокезцы заядлые националисты), но любили ее за острый язык. «Уж если у нее что на сердце, она все тебе напрямик выложит».

Красотой Жозефа не блистала. Кожа у нее такая, будто век не знала ни воды, ни мыла. Вдобавок Жозефа была

коротконогая, толстощекая и грудастая. Но в крепких белых зубах, крупном подбородке, черных, на редкость живых глазах и пышной шевелюре Жозефы чувствовалась какая-то добродушная животная сила.

— Погодите,— продолжала она с резким простонародным акцентом, что придавало особенную убедительность ее словам,— какое же это вранье, когда это самая что ни на есть правда. Это правда, монсеньор хотел меня выгнать, а заместо меня взять девчонку! А уж она бы не так его ублажала,— добавила Жозефа, не знаю, с искренним или притворным простодушием.

Под смех и шуточки по адресу Фюльбера она села на место. Я отметил, что он, однако, не решился отбрить Жозефу. Зная, видно, ее язычок, он предпочел снова накинуться на меня.

— Не понимаю, что ты выиграешь, раздувая все эти сплетни против твоего епископа!— высокомерно выкрикнул он.

— Прежде всего, ты не мой епископ! Нет! А выиграю то, что уличу тебя в распространении разных небылиц. Вот, кстати, одна из них, и нешуточная. Ты заявил, будто я заставил своих слуг избрать меня священником. Так вот, во-первых, да будет тебе известно, что у меня слуг нет,— веско сказал я,— у меня есть друзья, и все мы равноправны. В отличие от Ла-Рока ни одно важное решение в Мальвиле не принимается, пока его не обсудят все сообща. А хочешь знать, почему меня избрали священником? Сейчас скажу: ты хотел навязать нам в этой роли мсье Газеля, а мы этого не хотели. Надеюсь, мсье Газель не обидится на мои слова. Вот почему друзья избрали меня аббатом. А хороший или плохой из меня священник, судить не мне. Я священник по избранию, равно как и мсье Газель. И стараюсь делать свое дело добросовестно. На безрыбье и рак рыба. Думаю, что я не хуже мсье Газеля и уж наверняка много лучше тебя. (Смех, аплодисменты.)

— Твоими устами глаголет гордыня,— закричал Фюльбер.— Ты лжепастырь, вот ты кто! Дурной пастырь! Чудовищный! И ты это сам знаешь! Я уже не говорю о твоей личной жизни...

— А я о твоей...

Тут он промолчал. Как видно, побоялся, что я расскажу о Мьетте.

— Довольно и одного примера,— в бешенстве продол-

жал он.— Ты относишься к исповеди как еретик и как еретик ее осуществляешь!

— Не знаю,— скромно возразил я,— ересь это или нет. Я не настолько сведущ в религии, чтобы судить об этом. Скажу только одно — я отношусь к исповеди с осторожностью, ибо в руках дурного пастыря она легко может стать орудием наушничества и порабощения.

— И вы правы, мсье Конт,— зычно выкрикнула Жюдит,— в Ла-Роке исповедь и стала таким орудием в руках этого эсэсовца!

— Молчите, вы,— повернулся к ней Фюльбер,— вы бесноватая, бунтовщица и дурная христианка!

— И не стыдно тебе,— крикнул Марсель, наклонившись вперед и ухватившись могучими руками за спинку стула,— так разговаривать с женщиной, да еще с женщиной, которая куда образованней тебя и даже однажды поправила тебя, когда ты молол чепуху о братьях и сестрах Христовых.

— Поправила!— завопил Фюльбер, воздев руки к небу.— Да эта психопатка ничего не смыслит в Евангелии! Братья и сестры — это ошибка в переводе: речь идет о двоюродных братьях и сестрах Христа, я уже говорил!

Кто бы мог подумать — в самый разгар суда началась вдруг эта неожиданная дискуссия о толковании евангельских текстов. Воспользовавшись этим, я шепнул Морису:

— Ступай к товарищам, скажи им, чтобы подошли к дверям капеллы. Как только я объявлю о смерти Вильмена, пусть войдут.

Проворный и бесшумный, как кошка, Морис исчез, а я позволил себе прервать Жюдит, которая, позабыв обо всем на свете, яростно препиралась с Фюльбером по вопросу об Иисусовой родне.

— Минутку,— вмешался я.— Позвольте мне закончить.

Воцарилось молчание. Жюдит, позабывшая было о моем присутствии, глядела на меня с виноватым видом.

— Перехожу к последнему преступлению, в котором меня обвиняет Фюльбер,— невозмутимо продолжал я.— Я написал ему письмо, в котором будто бы предъявлял сюзеренные права на Ла-Рок и объявлял, что намерен силой захватить и поработить город. Очень жаль, что Фюльбер не счел нужным огласить мое письмо, тогда все присутствующие могли бы убедиться, что ничего такого в нем не было. Но допустим, что было. Допустим даже, что я объ-

явил, будто намерен напасть на Ла-Рок. Но только спрашивается: разве я это сделал? Разве это я явился под покровом темноты и, зарезав часового, ворвался в Ла-Рок? Разве это я разграбил городские запасы, притеснял жителей, насиловал женщин? Разве это я вырезал всех до одного жителей Курсежака? А ведь того, кто все это сделал, Фюльбер зовет своим другом! А меня осуждает на смерть за то, что я, по его словам, только намеревался это сделать! Вот оно, правосудие Фюльбера: смерть невиновному, дружба с преступником!

Солнце как нельзя кстати осветило витраж за моей спиной, а Эрве еще более кстати в последний раз сыграл роль наемника.

— Эй, обвиняемый, поаккуратнее!— сказал он.— Выбирай выражения, когда говоришь о командире!

— Не перебивай меня, Эрве,— оборвал его я.— Комедия закончилась.

Услышав, что я по-начальнически обращаюсь к своему стражу, Фюльбер вздрогнул всем телом, а ларокезцы широко раскрыли глаза от изумления. Я выпрямился. Вернее сказать, расправил плечи. Я с наслаждением купался в лучах, льющихся сквозь витраж. Я чувствовал, что даже зрение у меня стало острее и все мое существо оживает от этого нежданного света. Удивительно, но даже сквозь разноцветные стекла солнце согревало мне плечи и спину. Это было весьма кстати. Я весь продрог.

Когда я заговорил вновь, от моего первоначального спокойствия не осталось и следа. Я уже не приглушал голоса, и он гремел под сводами капеллы.

— Арман, пытавшийся изнасиловать жену Пимона, убил Пимона, а ты взял его под защиту. Бебель зарезал Лануая, а ты пировал с ним — с ним и с Вильменом — за своим столом. Жан Фейрак перебил всех жителей Курсежака, а для тебя он оставался собутыльником. Почему ты так поступал? А потому, что надеялся войти в дружбу к Вильмену, потому что с его помощью рассчитывал после смерти Армана поддерживать в Ла-Роке тиранию, избавиться и от внутренней оппозиции, и от Мальвиля.

Мой громовой голос звучал в мертвой тишине. Когда я кончил, я заметил, что Фюльбер успел уже овладеть собой.

— Хотел бы я знать,— заговорил он, и голос его запел, как виолончель,— какой прок от всей этой болтовни? Она не изменит твоей участи ни на волос.

— Вы не ответили на обвинения!— гневно крикнула Жюдит, подавшись вперед.

Ее квадратный подбородок угрожающе выступал над высоким воротником синего пуловера, а сверкающие голубые глаза испепеляли Фюльбера.

— Мне ничего не стоит сделать это в двух словах,— отозвался Фюльбер, украдкой посмотрев на часы. (Как видно, ему удалось подавить свою тревогу, и он с минуты на минуту ожидал появления Вильмена.) — Стоит ли говорить,— продолжал он,— что я вовсе не оправдываю всех действий капитана Вильмена и его людей и у нас, и в других местах. Но солдаты — это солдаты, ничего не попишешь. А моя задача, задача епископа ларокезского, по возможности извлечь добро из этого неизбежного зла. Если с помощью капитана Вильмена я могу искоренить ересь в Ла-Роке и Мальвиле, я буду почитать, что исполнил свой долг.

Тут яростный, безудержный ропот в зале достиг высшего накала. Признание Фюльбера возмутило не только оппозицию, но и робкое большинство. А я даже не пытался обернуть это в свою пользу, я молчал. К своему величайшему изумлению, я почувствовал, что Фюльбер говорил почти искренне. О, я прекрасно понимал, что он не упустит случая свести свои личные счеты! И все-таки в эту минуту я понял, что этот священник-самозванец, этот шарлатан и авантюрист в конце концов настолько вошел в роль, что чуть ли не всерьез вообразил, будто он и впрямь хранитель истинной веры!

Снисходительное обращение со мной моих стражей, как видно, ободрило собравшихся, хотя они и не до конца понимали, в чем тут дело, и теперь со всех сторон по адресу Фюльбера неслись обвинения, угрозы и, с неменьшей страстью, высказывались мелкие личные обиды. Так я услышал, как старик Пужес с ненавистью укоряет «попа», что тот отказал ему однажды в стаканчике вина. Мне казалось, что теперь уже никто, кроме Фюльбера, не верит, будто вот-вот явится Вильмен. А Фюльбер цеплялся за эту призрачную надежду. Надежда эта окрепла, когда за его спиной возле большой стрельчатой двери послышался шум. Фюльбер обернулся, и в эту самую минуту из боковой двери появился Морис и сделал мне знак, что мои друзья уже здесь.

Все более яростные проклятия сыпались на Фюльбера, который стоически застыл посреди главного прохода. Если

бы слова, взгляды и жесты могли убивать, он давно был бы уже растерзан на куски. А я, прежде чем нанести последний удар и зная, чем он грозит Фюльберу, колебался. Впрочем, честно говоря, я позволил себе эту маленькую роскошь в последнюю минуту просто для того, чтобы совесть моя осталась такой же белоснежной, как моя одежда. Потому что было уже поздно. Я пустил машину в ход и не мог ее остановить. Если Фюльбер считал необходимым уничтожить меня как еретика и подстрекателя, я считал необходимым избавиться от него ради единения Мальвиля и Ла-Рока — основы нашей общей безопасности. Разница лишь в том, что я и в самом деле убью его — причем не приговаривая к смерти, без суда, без единого выстрела, даже не замарав рук.

Голос Фюльбера покрывали разъяренные вопли толпы. И я не мог не восхищаться тем, как храбро он, не сумев добиться тишины, отвечал ненавидящим взглядом на взгляды своих врагов. А когда все-таки на миг воцарилась относительная тишина, он нашел в себе силы снова бросить своей пастве вызов:

— Вы запоете по-другому, когда прибудет капитан Вильмен!

Он сам облегчил мне задачу. Настал мой черед сделать решительный ход. Я действовал по вдохновению и радовался, что в последнюю минуту меня осенила счастливая мысль. Я простер руку, как только что простирал Фюльбер, и, едва улегся шум, сказал сдержанным тоном:

— Не понимаю, почему ты так упорно величаешь Вильмена капитаном. Никогда он не был капитаном.— Я только слегка подчеркнул интонацией прошедшее время.— У меня с собой,— тут я вынул бумажник из заднего кармана,— документ, который неопровержимо это подтверждает. Это удостоверение личности. С отличной фотографией. Все, кто видел Вильмена, легко его узнают. И на этом документе черным по белому написано, что Вильмен бухгалтер. Мсье Газель, не откажите взять это удостоверение и показать Фюльберу.

Внезапно все смолкло, и присутствовавшие в едином порыве сделали одно и то же движение, только одни — вправо, другие — влево, в зависимости от того, по какую руку от прохода кто сидел: вытянули шеи и наклонили головы, чтобы увидеть Фюльбера. Потому что, как ни хотелось в этот миг Фюльберу ослепнуть, слепым он не был.

Если документ, который я передал ему, попал ко мне в руки, что это могло означать? Фюльбер схватил протянутое Газелем удостоверение. Ему достаточно было беглого взгляда. Лицо его сохранило бесстрастное выражение, он даже не побледнел. Но рука, державшая удостоверение, задрожала. Мелкой, но частой дрожью — казалось, ее ничем нельзя унять. По напряженным чертам Фюльбера я понял, что он прилагает отчаянные усилия, чтобы справиться с клочком картона, который, точно крыло птицы, судорожно трепетал в его пальцах. Прошла томительная минута, ему не удавалось вымолвить ни звука. Теперь передо мной стоял человек, изо всех сил боровшийся с нахлынувшим на него ужасом. Я вдруг почувствовал отвращение к этой пытке и решил ее сократить.

Я старался говорить так громко, чтобы мой голос услышали те, кто находился за стрельчатой дверью за спиной Фюльбера.

— Пожалуй, пора все объяснить. Четверо вооруженных стражей, которых вы видите рядом со мной,— славные парни, Вильмен силой вынудил их вступить в свою банду. Двое из них перешли в наш лагерь еще до битвы, а двое поступили к нам на службу сразу после нее. Эти четверо — единственные из всех бандитов, кто остался в живых. А сам Вильмен в настоящее время занимает два квадратных метра мальвильской земли — ровно два.

Раздался изумленный гул, легко перекрытый низким голосом Марселя:

— Ты хочешь сказать — он убит?

— Именно. Жан Фейрак убит. Вильмен убит. За исключением этих четверых парней, ставших нашими друзьями, все остальные убиты.

Тут большая стрельчатая дверь приоткрылась, и из нее по одному в капеллу вступили Мейсонье, Тома, Пейсу и Жаке с оружием в руках. Именно вступили, а не ворвались. Двигались они спокойно, даже медленно. Не будь при них оружия, они легко могли бы сойти за мирных граждан. Они сделали несколько шагов по главному проходу, но я подал им знак остановиться. Мои стражи тоже по моему знаку встали и, окружив меня, застыли на месте. Когда прошла первая минута растерянности, собравшиеся загудели, угрожая Фюльберу расправой. Только две группы вооруженных людей, с двух концов замыкавшие проход, молчали.

Дальнейшее было делом секунды. Услышав скрип стрельчатой двери, Фюльбер обернулся — последняя его надежда рухнула. Он вновь обратил в мою сторону искаженное лицо и увидел, что я и мои стражники замкнули ловушку, в которую он попался. Нервы его не выдержали краха надежды, которую я успел ему внушить. Он сдался. Им завладела одна мысль — бежать, да, да, физически бежать от этих людей, которые затравили его, как зверя. У него возник отчаянный план — пробраться к боковой двери через один из правых проходов. В ослеплении страха он ринулся как раз в тот ряд, где сидели Марсель, Жюдит и обе вдовы. Марсель даже не ударил его кулаком. Он просто оттолкнул его ладонью, но, видно, не рассчитал при этом силы своих мускулов. Фюльбер отлетел в главный проход и растянулся на полу. Раздался свирепый вой. И из всех рядов, опрокидывая сиденья, ринулись разъяренные люди — Фюльбер исчез под грудой навалившихся на него тел. Я слышал только, как он два раза крикнул. Увидел в дальнем конце прохода Пейсу, на лице которого был написан ужас и отвращение, он спрашивал меня взглядом, не пора ли ему вмешаться. Я отрицательно покачал головой.

Самосуд зрелище не из приятных, но в данном случае я считал его справедливым. И я не хотел лицемерить и притворяться, будто собираюсь пресечь его или сожалею о случившемся, ведь я сделал все, чтобы он свершился.

Крики ларокезцев утихли, и я понял, что перед ними бездыханное тело. Я ждал. Мало-помалу толпа, сбившаяся вокруг Фюльбера, стала рассеиваться. Люди отходили, возвращались на свои места, поднимали упавшие стулья, одни все еще красные, разгоряченные, другие, как мне показалось, пристыженные, понурые, с потупленными глазами. И те и другие переговаривались, рассыпавшись кучками. Я не слушал, о чем они говорят. Я глядел на тело, брошенное посреди прохода. Потом знаком подозвал к себе товарищей. Они двинулись по проходу, старательно обходя распростертого на полу Фюльбера и отводя глаза в сторону. Один лишь Тома остановился осмотреть тело.

Хотя наши новые друзья из деликатности отошли в сторону, мы молчали. Когда присевший на корточки Тома встал и поднялся ко мне по ступеням, я сделал два шага навстречу ему, чтобы поговорить с ним наедине.

— Мертв?— спросил я, понизив голос.

Он кивнул.

— Ну что ж,— сказал я тем же тоном,— ты должен быть доволен. Вышло, как ты хотел.

Он посмотрел на меня долгим взглядом. И в этом взгляде я прочел ту смесь любви и неприязни, какую он всегда питал ко мне.

— Ты тоже этого хотел,— отрезал он.

Я вновь поднялся по ступеням хоров. И, повернувшись к собравшимся, потребовал тишины.

— Бюр и Жанне отнесут Фюльбера в его комнату,— объявил я.— Прошу мсье Газеля проводить их и побыть у тела. Остальным предлагаю через десять минут возобновить наше собрание. Нам нужно принять совместные решения, в которых равно заинтересованы и Ла-Рок, и Мальвиль.

Гул голосов, вначале приглушенный, стал громче, как только Бюр и Жанне унесли труп, словно их уход вычеркнул из памяти стихийное деяние, стоившее Фюльберу жизни. Я попросил друзей, чтобы они как-нибудь незаметно отвлекли от меня людей, которые теснились вокруг. Мне предстояло провести два-три важных разговора, требовавших соблюдения известной тайны.

Я спустился по ступенькам и подошел к группе «мятежников» — единственной, которая проявила мужество в час испытания и достоинство в минуту торжества, ибо ни один из них не принял участия в линчевании Фюльбера, даже Марсель. Отшвырнув Фюльбера в проход, он не тронулся с места, как и Жюдит, обе вдовы и оба фермера — оказалось, что одного из них зовут Фожане, другого — Дельпейру. Убили Фюльбера слабодушные.

Аньес Пимон и Мари Лануай расцеловали меня. По щекам Марселя, дубленным, как та кожа, из которой он тачал башмаки, катились круглые слезы. А Жюдит, еще более мужеподобная, чем всегда, ощупывала мои мускулы, приговаривая:

— Вы были великолепны, мсье Конт. В своей белоснежной одежде вы точно сошли с витража, чтобы сразить дракона.

При этом она усердно разминала мой бицепс своей мощной ладонью. Позже я замечал, что Жюдит вообще не может разговаривать с мужчиной, если он еще не вышел из того возраста, когда способен ей нравиться (а учитывая ее собственный возраст, выбор был достаточно велик), не ощупывая его верхних конечностей. Я вспомнил, что при

первом знакомстве Жюдит представилась мне как «холостячка», и, высказывая ей теперь свою благодарность, размышлял, осталась ли она равнодушной к геркулесовым плечам Марселя и безразличен ли Марсель к ее мощным прелестям. Говорю это без всякой иронии — потому что Жюдит и в самом деле была обаятельна.

— Послушайте,— сказал я, понизив голос и увлекая их в сторону вместе с Фожане и Дельпейру, с которыми обменялся долгим рукопожатием,— времени у нас в обрез. Нам надо организоваться. Нельзя допустить, чтобы подхалимы, плясавшие перед Фюльбером, захватили в Ла-Роке власть. Предложите выбрать муниципальный совет. Пока идет собрание, напишите шесть ваших имен на листке бумаги и внесите этот список на голосование. Никто не осмелится выступить против.

— Только моего имени не пишите,— сказала Аньес Пимон.

— И моего не надо,— тотчас добавила Мари Лануай.

— Почему это?

— Получится слишком много женщин. Это им не понравится. Вот мадам Медар — дело другое. Мадам Медар ученая.

— Зовите меня просто Жюдит, дружочек,— сказала Жюдит, положив руку на плечо Аньес. Женщин она тоже ощупывала.

— Да что вы, разве я посмею!— вспыхнув, отнекивалась Аньес.

Я посмотрел на нее. И подумал, как мило краснеют блондинки, особенно с такой нежной кожей.

— А кто будет мэром?— спросил Марсель.— Среди нас складно говорит одна Жюдит. Но не в обиду вам будь сказано,— добавил он, поглядев на нее с любовью и восхищением,— они ни в жизнь не согласятся, чтобы мэром была женщина. Тем более, что ты,— добавил он, сбиваясь с «вы» на «ты», и, заметив это, покраснел,— по-местному не говоришь.

— Ответьте мне прямо на один вопрос,— живо сказал я.— Вы бы согласились выбрать мэром кого-нибудь из мальвильцев?

— Тебя?— с надеждой спросил Марсель.

— Нет, не меня. Например, Мейсонье.

Краешком глаза я подметил, что Аньес слегка разочарована. Возможно, она надеялась, что я назову другое имя.

— Что ж,— сказал Марсель,— он человек честный, положительный...

— И сведущ в военном деле,— добавил я,— а это вам пригодится для организации обороны.

— Я его знаю,— сказал Фожане.

— И я,— добавил Дельпейру.

Эти не станут тратить слов попусту. Я поглядел на их открытые широкие загорелые лица. «Я его знаю» — этим сказано все.

— А все же,— возразил Марсель.

— Что «все же»?

— Ну, в общем, он коммунист.

— Марсель, будьте же благоразумным,— укорила его Жюдит.— Что значит коммунист, когда партий больше не существует?

Говорила она хорошо поставленным преподавательским голосом, приведись мне общаться с нею каждый день, меня бы это, наверное, немножко раздражало, но Марселю, как видно, очень нравилось.

— Что верно, то верно,— согласился он, кивая лысой головой.— Но все же диктатура нам здесь ни к чему, мы уж и так сыты ею по горло.

— Мейсонье вовсе не склонен к диктатуре,— сухо возразил я.— Отнюдь. Даже подозревать его в этом оскорбительно.

— Да я не в обиду ему говорю,— сказал Марсель.

— И потом, не забудь — теперь у нас будут винтовки,— заметил Фожане.

Я посмотрел на Фожане. Лицо широкое, цвета обожженной глины. Плечи тоже широкие. И неглуп. Меня восхитила его реплика насчет винтовок, точно это уже дело решенное.

— На мой взгляд,— сказал я,— муниципальный совет должен прежде всего принять решение вооружить жителей Ла-Рока.

— Ну что ж, тогда все в порядке,— сказал Марсель.

Мы обменялись взглядами. Согласие было достигнуто. И Жюдит, к моему удивлению, проявила большой такт. Она почти не вмешивалась.

— Значит,— сказал я, чуть улыбнувшись,— теперь мне остается только уговорить Мейсонье.

Я сделал было уже несколько шагов, но вернулся и знаком поманил к себе Мари Лануай. Она тотчас подошла. Это

была тридцатипятилетняя брюнетка, полная и крепкая. Глядя на меня снизу вверх, она ждала, что́ я ей скажу,— а я вдруг почувствовал неодолимое, страстное желание схватить ее в объятия. Никогда я за ней не ухаживал, никогда даже не думал о ней в этом плане, и я не мог понять, чем вызван этот внезапный порыв, разве что жаждой воина отдохнуть после боя. Впрочем, какой же это отдых? Если хочешь отдохнуть, лучше поискать менее утомительное занятие. Любовь ведь тоже борьба, но, как видно, она больше отвечает глубоко заложенному во мне инстинкту, чем та борьба, которую вел я до сих пор,— любовь дает жизнь, а не отнимает ее.

Пока что я подавил в себе даже искушение стиснуть, как это сделал бы наш викинг в юбке, округлую, аккуратненькую руку Мари, весьма соблазнительно выглядывавшую из-под короткого рукава ее платья.

— Мари,— заговорил я слегка сдавленным голосом.— Ты знаешь Мейсонье, он человек простой. В замке он жить не станет. А у тебя большой дом. Что, если ты его приютишь?

Она смотрела на меня, раскрыв рот. Но меня подбодрило уже то, что она не сказала сразу же: «Нет».

— Кухарить тебе на него не придется. Он, наверно, захочет, чтобы ларокезцы столовались сообща. Только обстираешь его, заштопаешь что надо, вот и все.

— Да я ничего не говорю,— сказала она,— но ты же знаешь, какие у нас люди. Если Мейсонье поселится у меня, они станут болтать невесть что.

Я пожал плечами.

— Ну а если и станут болтать, тебе-то какое дело? Да хоть бы и было о чем — что с того?

Она печально поглядела на меня и покачала головой, растирая замерзшие в холодной капелле руки, которые я охотно согрел бы в своих руках.

— Твоя правда, Эммануэль,— вздохнула она.— После всего, что мы тут пережили!

Я поглядел на нее.

— Ты с этим не равняй.

— Само собой,— поспешно согласилась она.— Я и не равняю.

— Разве Мейсонье не приударял за тобой в свое время?— улыбнулся я.

— Приударял,— ответила она, просияв при этом воспо-

минании.— Да ведь я и сама была не прочь,— добавила Мари.— Это отец не захотел, из-за его взглядов.

Стало быть, согласилась. Поблагодарив ее, я тут же перевел разговор на другое и спросил о здоровье ее грудной дочери Натали. Минут пять я поддерживал беседу, поддерживал машинально, не слыша даже того, что говорил сам. Однако под конец слова Мари вдруг насторожили и взволновали меня.

— Знаешь, я просто ни жива ни мертва от страха,— призналась она.— Ведь из-за всего, что случилось, ей не успели сделать прививок. И маленькой Кристине, дочери Аньес Пимон, тоже. Я все думаю, а вдруг моя Натали подхватит какую-нибудь болезнь. Что мы тогда будем делать? Врача нет, антибиотиков тоже, а вокруг полным-полно микробов, раньше-то, когда были прививки, мы о них не думали. А теперь чуть она станет кукситься, я места себе не нахожу. Даже перекись у меня кончилась. Представляешь, всех-то лекарств у меня — один термометр.

— С кем же ты ее сейчас оставила, бедняжка Мари?

— Есть тут у нас одна старушка. Кристина тоже с ней осталась.

Простившись с Мари, я попросил ее послать ко мне Аньес. Вот и она. С Аньес у меня все по-другому. С ней я говорю коротко, властно и с затаенной нежностью.

— Аньес, ты проголосуешь за Жюдит, а потом возвращайся в город. Проведаешь свою Кристину, а там ступай к себе домой и жди меня. Мне надо с тобой поговорить.

Она немного растерялась от этой лавины приказаний, но, как я и ожидал, повиновалась. Мы обменялись взглядом — одним-единственным взглядом, и я отправился на поиски Мейсонье.

Разговор нам предстоял тяжелый. Я испытывал даже что-то вроде угрызений — нехорошо самовластно вершить судьбу своих ближних, в особенности такого человека, как Мейсонье. Но ведь это же в интересах не только ларокезцев, но и мальвильцев. Так я убеждал себя, чувствуя, что мне самому претит моя изворотливость, как претила она порой Тома. То, что я собирался просить у Мейсонье, было чудовищно. Меня грызла совесть. Однако это не помешало мне выложить на стол все мои козыри и представить Мейсонье дело с самой выигрышной стороны, как для его честолюбивых муниципальных притязаний, так и для его личной жизни.

Он выслушал меня молча. Узкое лицо, которое, казалось, вылеплено чувством долга и самообладанием, мигающие глаза, волосы торчком (ума не приложу, каким образом ему удалось их подстричь). Я отлично понимал, что делаю, поднося ему на золотом блюде ключи от Ла-Рока и сердце Мари Лануай. Да и хватит ли этого, чтобы убедить его покинуть Мальвиль? Я же знаю, каким это будет для него ударом. Однако выбора у меня нет. Никто в Ла-Роке не может его заменить, в этом я убежден.

Когда я изложил ему все свои доводы, он не сказал ни да ни нет. Он стал расспрашивать, тяжело задумался.

— Насколько я понимаю, в Ла-Роке у меня будет две задачи: организовать общественную жизнь и наладить оборону.

— Прежде всего оборону,— сказал я.

Он покачал головой.

— Нелегкое это дело, крепостные стены слишком низкие. А вал между южными и западными воротами слишком длинен. Да и людей мне не хватит. В особенности молодых.

— Я дам тебе Бюра и Жанне.

Он поморщился.

— А оружие? Мне нужны будут винтовки Вильмена.

— У нас их два десятка — как-нибудь поделимся.

— И еще мне нужна базука.

Я расхохотался.

— Ну, это ты хватил! Что еще за национализм такой! По-моему, ты уж слишком близко к сердцу принимаешь интересы Ла-Рока!

— Я еще не дал своего согласия,— сдержанно возразил Мейсонье.

— И вдобавок ты меня шантажировать вздумал.

Он даже не улыбнулся.

— Ладно,— сказал я после минутного раздумья.— Когда ты кончишь возводить укрепления, я каждый месяц буду давать тебе на две недели базуку.

— То-то же!— сказал Мейсонье.

И в этом «то-то же» прозвучал неуловимый подтекст, как, бывало, когда-то в Мальжаке.

— Есть тут еще кое-какая добыча, которую Фейрак приволок из Курсежака,— продолжал он.— И довольно богатая. Хотелось бы знать, собираешься ли ты забрать ее себе в Мальвиль?

— А что это за добыча? Тебе известно?

— Да. Мне только что сказали. Домашняя птица, две свиньи, две коровы, много сена и свеклы. Сено осталось на гумне — у бандитов все же хватило ума его не поджигать.

— Две коровы! А я думал, что в Курсежаке всего одна.

— Они припрятали вторую, чтобы не отдавать ее Фюльберу.

— Что за люди! Дети в Ла-Роке погибали с голоду, а им было плевать — лишь бы их ребятенок ел досыта! Да только счастья им это не принесло!

— Ну так что же,— сухо заговорил Мейсонье, возвращая меня к прерванному разговору.— Что ты намерен делать? Потребуешь свою долю?

— Мою долю?! Ишь нахал! Да эта добыча вся целиком принадлежит Мальвилю. Ведь именно Мальвиль одолел Вильмена!

— Слушай,— сказал Мейсонье без улыбки,— я предлагаю вот что: ты забираешь всех кур...

— Куры? На что мне куры? В Мальвиле их и так полным-полно. Прожорливая птица, на нее зерна не напасешься.

— Погоди: ты забираешь кур, обеих свиней, а остальное остается нам.

Я расхохотался.

— Мальвилю две свиньи, а Ла-Року две коровы? Это, по-твоему, называется делить поровну? А сено? А свекла??

Он молчит. Ни слова в ответ.

— Так или иначе, я не могу решать такие вопросы в одиночку,— сказал я после паузы.— Посоветуюсь в Мальвиле.

И так как он упорно молчал, сурово глядя на меня, я нехотя добавил:

— Поскольку корова у вас в Ла-Роке всего одна, придется нам, видно, поступиться коровами.

— То-то же,— сказал Мейсонье с грустью, будто это не я, а он прогадал на нашей сделке.

И снова наступило молчание. Он опять что-то медленно обдумывал. Я его не торопил.

— Если я правильно уразумел,— начал он с явным отвращением,— придется еще вдобавок соблюдать демократические формы, а стало быть, часами вести дискуссии и, что ни сделаешь, слушать, как на тебя наводят критику те, кто сам только зад просиживать умеет да языком трепать.

— Ну, это ты зря — в твоем муниципальном совете золотые люди.

— Золотые? И эта баба тоже золотая?

— Жюдит Медар?

— Она самая. Ну и язычок у нее! Кстати, что она такое?— спросил он с подозрением.— Уж не из ОСП* ли?

— Ничего общего! Из левых христиан.

Его лицо прояснилось.

— Это куда лучше. С этой частью католиков я всегда мог столковаться. Идеалисты они,— добавил он не без презрения.

Будто сам он не идеалист! Так или иначе, он совершенно успокоился. Марселя, Фожане и Дельпейру он знал. Только Жюдит была, если можно так выразиться, чревата для него неожиданностями.

— Согласен,— наконец заявил он.

Ну, раз он согласился, настал мой черед ставить условия.

— Послушай, я все же хочу, чтобы муниципальные советы Ла-Рока и Мальвиля четко договорились вот о чем: десять вильменовских винтовок и, по всей видимости, две курсежакские коровы будут не просто отданы Ла-Року, а переданы в твое личное распоряжение на все время, что ты будешь исполнять в Ла-Роке обязанности мэра.

Он окинул меня критическим взором.

— Стало быть, ты намерен забрать их обратно, если ларокезцы выставят меня за дверь?

— Именно.

— Это, пожалуй, будет нелегко.

— Ну что ж, в таком случае, винтовки и коровы войдут составной частью в общий договор.

— Выходит, это торг?— спросил он, и в тоне его прозвучал укор, правда, еле заметный.

Я все время ощущал с его стороны холодок. И даже некоторую отчужденность. Меня это огорчало. Мне было тяжело расставаться с Мейсонье вот так вот холодно, ведь именно задушевностью были проникнуты наши с ним отношения в Мальвиле.

— Ну что ж,— с наигранной веселостью заявил я,— вот ты и мэр Ла-Рока. Ну как, счастлив?

---

* Объединенная социалистическая партия преимущественно левацкого толка.

Мысль задать ему этот вопрос никак нельзя было назвать счастливой, я это почувствовал сразу.

— Нет,— сухо отрезал он.— Надеюсь, я буду хорошим мэром, но счастье тут ни при чем.

Бестактность — наклонная плоскость. Я продолжал катиться по ней.

— Даже поселившись у Мари Лануай?

— Даже,— ответил он без улыбки и ушел.

Я остался один, на душе тяжким грузом лежала его отповедь. Меня отнюдь не утешало, что я ее вполне заслужил. По счастью, у меня не было времени сосредоточиваться на моих настроениях. Дотронувшись до моего локтя, Фабрелатр вежливо, и даже на грани раболепства, просит разрешения поговорить со мной. Не могу сказать, что мне по сердцу эта бесцветная жердь, эти усики, похожие на зубную щетку, и глаза, мигающие за стеклами очков в железной оправе. Вдобавок у него еще дурно пахнет изо рта.

— Мсье Конт,— произнес он тусклым голосом.— Тут кое-кто поговаривает, что меня надо судить и повесить. Разве, по-вашему, это справедливо?

Я отстранился от него как можно дальше, не только для того, чтобы указать ему его место. И ответил холодно:

— По-моему, мсье Фабрелатр, было бы несправедливо повесить вас *до* суда.

Губы его задрожали, глаза забегали. Мне даже стало жаль эту размазню. «А все жо», как сказал бы Марсель, разве можно забыть, что он шпионил в Ла-Роке? Что пособничал тирании Фюльбера?

— Кто же эти люди?— спросил я.

— Какие люди, мсье Конт?— отозвался он еле внятно.

— Которые хотят устроить над вами суд.

Он назвал мне два-три имени и, конечно, из тех, кто во времена Фюльбера держался тише воды, ниже травы. А едва Фюльбера не стало, хотя они для этого и пальцем не шевельнули, наши размазни сразу превратились в кремень.

Бесхребетный Фабрелатр был, однако, неглуп, так как сразу угадал ход моих мыслей. И продолжал все тем же слабым голоском:

— А я что? Разве я виноват больше их? Я подчинялся приказу.

Я поглядел на него.

— А не слишком ли вы усердствовали, подчиняясь приказу, мсье Фабрелатр?

Господи, какая же он тряпка! Услышав мое обвинение, он весь съежился, извиваясь, как слизняк. А я никогда не мог раздавить слизняка, даже сапогом. Носком ноги я отбрасывал их подальше.

— Ну вот что, мсье Фабрелатр, для начала поменьше суетитесь, не заводите ни с кем разговоров и сидите себе тихонько в своем углу. Я посмотрю, что можно сделать насчет суда.

С этими словами я выпроводил Фабрелатра, рассыпавшегося в благодарностях, и обернулся к Бюру, который шел ко мне из глубины капеллы, торопливо семеня короткими ножками, поблескивая живыми, сметливыми глазами и выпятив солидное поварское брюшко.

— Уф!— сказал он, отдуваясь.— Знали бы вы, какая там каша заварилась. Пришли какие-то люди и хотят запретить Газелю читать молитвы над могилой Фюльбера. Газель просто на стенку лезет. Просил, чтобы я вас предупредил.

Это сообщение меня ошеломило. Низость и глупость людская в эту минуту показались мне беспредельными. Стоит ли так мучиться, думал я, стараясь продлить существование ничтожного и злобного рода человеческого? Я велел Бюру подождать меня, мы вместе пойдем к Газелю. А сам на ходу перехватил Жюдит и отвел ее в сторону.

Пока я с ней говорил, она, конечно, завладела моей рукой. Подчинившись неизбежному, я предоставил ей мой бицепс.

— Мадам Медар,— сказал я,— люди теряют терпение, время не ждет. Могу я высказать вам кое-какие соображения?

Она утвердительно кивнула своей крупной головой.

— Первое: по-моему, список членов муниципалитета должен представить Марсель. И сделать это дипломатично. Могу я говорить с вами начистоту?

— Само собой разумеется, мсье Конт,— ответила Жюдит, сомкнув свою широкую длань на моем предплечье.

— Есть два имени, которые вызовут недовольство ваших сограждан. Ваше, потому что вы женщина, и Мейсонье, из-за его былых связей с компартией.

— Это еще что за дискриминация!— воскликнула Жюдит.

Я перебил ее, не дав ей насладиться либеральным негодованием.

— Говоря о вас, Марсель должен подчеркнуть, какую пользу совет может извлечь из вашей образованности. А Мейсонье следует представить как специалиста по военным вопросам и человека, незаменимого для установления связи с Мальвилем. О том, что он станет мэром, пока ни слова.

— Должна признаться, мсье Конт, что я восхищаюсь вашим тактом,— сказала Жюдит, в такт своим словам сжимая и разжимая мой бицепс.

— Позвольте я продолжу. Тут есть люди, которые хотят устроить суд над Фабрелатром. Что вы об этом думаете?

— Что это идиотизм,— отрезала Жюдит с мужской прямотой.

— Совершенно с вами согласен. Достаточно открыто выразить ему общественное порицание. Кстати, еще какие-то лица — а может, те же самые — хотят запретить Газелю похоронить Фюльбера по христианскому обычаю. Короче, недоставало нам еще истории с Антигоной в новом варианте.

В ответ на эту античную реминисценцию Жюдит лукаво улыбнулась.

— Спасибо, что предупредили, мсье Конт. Если нас выберут, мы в зародыше пресечем весь этот вздор.

— И еще, наверно, следовало бы — позвольте, во всяком случае, дать вам такой совет — отменить все декреты Фюльбера.

— Разумеется!

— Отлично, а я, поскольку не хочу, чтобы ларокезцы думали, будто я оказываю на них давление во время выборов, ненадолго исчезну и пойду поговорю с мсье Газелем.

Я улыбнулся ей, и после секундного колебания она освободила мой бицепс. Этой женщине, со всеми ее маленькими недостатками, просто цены нет. Уверен, что они прекрасно поладят с Мейсонье.

По длинному лабиринту коридоров Бюр привел меня в комнату Фюльбера, где я успокоил нашу Антигону, в самом деле распалившуюся и готовую, чего бы это ни стоило, отдать поверженному врагу христианский долг. Я бросил

взгляд на тело Фюльбера и тотчас отвел глаза. Лицо его представляло собой сплошную рану. Кто-то, видно, нанес ему еще и удар книжалом, так как и грудь его была в крови. Газель, уверившись в том, что я готов его поддержать, выразил мне живейшую благодарность и, так как он начал разбирать бумаги Фюльбера — подозреваю, что в данном случае в нем говорило жгучее любопытство старой девы,— предложил возвратить мне письмо, где, ссылаясь на анналы истории, я требовал сюзеренных прав на Ла-Рок. Я согласился. То, что было уместно, когда требовалось запугать Фюльбера, теряло свой смысл при наших нынешних отношениях с Ла-Роком. Больше того, я считал, что, если это письмо останется в Ла-Роке, оно когда-нибудь может стать оружием в злонамеренных руках.

Эспланада замка, по которой я шел к темно-зеленым воротам, была щедро залита солнцем, я с наслаждением окунулся в его лучи. Муниципальный совет Ла-Рока, подумал я, должен проводить общие собрания в каком-нибудь зале замка, пусть он будет не такой красивый, как капелла, но зато не такой сырой и более светлый.

Аньес Пимон жила на главной улице над маленьким книжным и писчебумажным магазинчиком, который принадлежал ее мужу. В старинном и кокетливом домике все было крохотное, включая крутую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, так что на поворотах мне приходилось протискиваться боком. Аньес встретила меня на площадке и повела в крохотную гостиную, освещенную таким же крохотным оконцем. Настоящий кукольный домик — в былые дни этому впечатлению еще способствовала жардиньерка с геранью на балконе. Стены были обиты джутом цвета старого золота, и если, глядя на два самых низеньких и самых приземистых в мире кресла, не приходилось задаваться вопросом, как они сюда попали, то уж диван, тоже обтянутый голубым бархатом, безусловно, нельзя было втащить ни через окно, ни по лестнице. Должно быть, он очутился здесь в незапамятные времена, раньше даже, чем возвели стены. У него, кстати, был достаточно ветхий вид, хотя стиль его определить было трудно, зато дата, выбитая на огромном каменном ригеле над входной дверью, свидетельствовала о том, что сам дом построен еще при Людовике XIII.

Пол гостиной между мини-креслами и диваном был покрыт трипом, поверх которого лежал восточный ковер, из-

готовленный во Франции, а на ковре еще и шкура белого искусственного меха. Два последних предмета, как видно, достались Пимонам в наследство, и они, не зная, куда их девать в такой тесной квартирке, сочли за благо настелить один на другой. В результате ступать по полу стало мягко и приятно. И не менее приятна была мягкая приветливость Аньес, свежей, розовой и белокурой, с добрыми, прелестными карими глазами, которые всегда — я уже упоминал об этом — казались мне почему-то синими. Она усадила меня в одно из мини-кресел, такое низкое, в таком близком соседстве с белым мехом на полу, что мне казалось, будто я сижу у ног Аньес, устроившейся на диване.

Присутствие Аньес всегда вызывало у меня чувство нежности, доверия и грусти. Я едва не женился на ней, но она не только не затаила на меня обиды за свои обманутые надежды, но питала ко мне дружескую приязнь. Я уважал ее за это. На тысячу девушек вряд ли нашлась бы одна, способная вести себя так, как Аньес. А я, каждый раз встречаясь с ней, твердил себе не без сожаления: вот путь, по которому могла пойти твоя жизнь. Каким бы был этот путь? — спрашивал я себя. Пустой вопрос, ведь я не мог на него ответить. Поэтому внушал себе, что ни один мужчина не может положительно утверждать, что был бы счастлив с такой-то или такой-то женщиной, если он не отважился проверить это на опыте. А если отважился, то удачный или нет, это уже не опыт, а сама жизнь.

В одном я уверен безусловно: женись я на Аньес пятнадцать лет назад, я бы не прогадал. Аньес почти не постарела, вернее сказать, не подурнела с годами: она не увяла, не высохла, а налилась соком, но в меру. Несмотря на рождение Кристины, талия осталась соблазнительно тонкой, а грудь и бедра округлились, и при нежной розовой коже Аньес вид у нее всегда такой, будто она только-только вышла из ванны. Подкрашена, причесана — это уж она постаралась для меня. Тем лучше, это упрощает дело, ведь я понимаю, что в предстоящей беседе против меня будет весь груз исчезнувшей цивилизации.

С Аньес не нужно ни деревенских ухищрений, ни околичностей. Хотя Аньес и живет в маленьком городишке, она настоящая горожанка, даром что фразы строит не лучше Мену. Итак, я поглубже втиснулся в кресло, поглядел ей в глаза и, постаравшись подавить свои чувства, заявил напрямик:

— Скажи, Аньес, как бы ты отнеслась к тому, чтобы переехать к нам в Мальвиль?

Я сказал «к нам», а не ко мне. Но я не был уверен, уловила ли она сразу этот оттенок, потому что она вспыхнула до корней волос и, казалось, трепет волной прошел по ее телу от кончиков ног до самой груди. Настало долгое молчание. Она смотрела на меня, а я прилагал все усилия, чтобы мой взгляд был как можно менее красноречив, так я боялся ввести ее в заблуждение.

Она приоткрыла было рот (а он у нее красивый, пухлый), закрыла, проглотила слюну и, когда наконец ей удалось обрести дар речи, уклончиво ответила:

— Если это будет приятно тебе, Эммануэль.

Этого-то я и боялся: она придает вопросу личную окраску. Придется выражаться яснее.

— Это будет приятно не только мне одному, Аньес

Она дернулась, будто я ударил ее по лицу. Краска сбежала с ее щек, и она ответила вопросом, в котором слышались одновременно и разочарование, и укор:

— Ты имеешь в виду Колена?

— Не только Колена.

И так как она продолжала смотреть на меня, страшась вникнуть в смысл моих слов, я рассказал ей о Мьетте и в особенности о Кати, и о том, какой ошибкой в условиях нашей общины оказался ее брак с Тома.

Но она и тут снова перешла на личности.

— Да я бы заранее тебе сказала, Эммануэль, что Кати такая...

— Оставим Кати в покое, тут дело не в ней,— прервал ее я.— На сегодняшний день в Мальвиле восемь мужчин и две женщины. С тобой будет три. Разве имеет право мужчина владеть одной из них единолично? А если он так поступит, что скажут другие?

— А чувства, по-твоему, вообще ничего не значат?— возразила Аньес с живостью, даже с негодованием.

Чувства! Да, что и говорить, позиция у нее сильная. За ней стоят века галантной и романтической любви. Я посмотрел на Аньес.

— Ты не поняла меня, Аньес. Никто и никогда не будет принуждать тебя делать что-либо против твоей воли. Ты будешь совершенно свободна в выборе своих партнеров.

— Партнеров!— воскликнула Аньес.

Это был крик души. Она вложила в это множественное число не один, а тысячу упреков, и не только упреков — никогда еще она не была так близка к признанию в любви. Это меня взволновало, и, подхваченный волной ее чувства, я едва не дрогнул. Я не смотрел на нее. Я молчал. Я собирался с силами. Мне понадобилось довольно долгое время, чтобы пренебречь ее укором. Но я слишком хорошо понимал, что всякий иной путь опасен и супружеская чета в Мальвиле слишком скоро станет несовместимой с нашей общинной жизнью. С этой точки зрения разрыв между числом мужчин и женщин в Мальвиле, на который я охотно ссылаюсь в спорах, даже не самое важное. Просто тут надо выбирать: либо семейная ячейка, либо община, лишенная собственнических притязаний.

А ведь я даже не могу признаться Аньес, какую жертву принощу, отказываясь от нее, подумал я. Мое признание только укрепило бы Аньес в ее чувстве.

— Аньес,— сказал я, подавшись вперед,— это невозможно, хотя бы из-за Колена. Если я на тебе женюсь, он будет горько разочарован и начнет ревновать. Если на тебе женится он, я тоже не буду счастлив. Да и не только в Колене дело. А и в остальных тоже.

Колен — этот довод произвел на нее впечатление. И так как вдобавок она почувствовала, что я непоколебим, да и ей самой при всех обстоятельствах Мальвиль милее Ла-Рока, она не знала, как быть. И повела себя чисто по-женски — в конце концов, такое поведение не хуже любого другого — она умолкла и залилась слезами. Я встал с мини-кресла, подсел к ней на диван и взял ее за руку. Я ее понимал. Она, как и я, переживала сейчас минуту отречения от одной из милых ее сердцу надежд.

Когда слезы Аньес иссякли, я протянул ей свой носовой платок и стал ждать. Посмотрев на меня, она тихо сказала:

— Меня изнасиловали, ты об этом знал?

— Нет, не знал. Но подозревал.

— Всех женщин в городе изнасиловали. Даже старух, даже Жозефу.

Я молчал.

— Может, ты из-за этого...— начала она.

— Ты с ума сошла,— возмутился я.— Причина одна — та, что я сказал!

— А то это было бы уж совсем несправедливо, Эммануэль. Хоть меня и изнасиловали, я вовсе не шлюха.

— Еще бы,— с убеждением сказал я.— Ты тут совершенно ни при чем, мне это и в голову не приходило.

Я привлек ее к себе и дрожащей рукой стал гладить по щеке и волосам. В эту минуту мне следовало бы прежде всего сострадать ей, но я испытывал только одно — желание. Оно налетело на меня внезапно и напугало своей грубостью. В глазах у меня потемнело, дыхание прерывалось. У меня хватило здравого смысла лишь на то, чтобы сообразить — надо любой ценой добиться согласия Аньес, и немедленно, иначе получится, что я тоже ее изнасиловал.

Я стал ее торопить. Просил мне ответить. Оставаясь безучастной в моих объятиях, она еще колебалась, сопротивлялась, и, когда наконец сдалась, я подумал, что не столько ее убедили мои доводы, сколько ей передалось мое желание.

Мы соскользнули на белый мех, он оказался очень кстати, но я ничем не проявил свою нежность к Аньес. Я как бы запрятал эту нежность в глубины своего сердца, чтобы она не стесняла меня, и овладел Аньес властно и грубо.

Однако я тоже расплачиваюсь за свою несдержанность. Если можно быть счастливым на разных уровнях, то я счастлив лишь на самом скромном. Но после всех этих битв и пролитой крови разве может быть иное счастье, кроме сознания, что твои друзья остались в живых? Я больше не принадлежу себе — так я и сказал Аньес на прощанье, но мне было больно, что она простилась со мной довольно холодно, так же, как час назад Мейсонье.

Впрочем, Мейсонье, когда я вновь встретился с ним после собрания в сумеречной капелле, показался мне не таким натянутым и более дружелюбным. Он подошел ко мне и отвел меня в сторону.

— Где ты был? Тебя повсюду искали. Впрочем,— с обычной своей деликатностью добавил он,— это неважно. У меня хорошие новости. Все прошло без сучка, без задоринки. Они проголосовали за всех, кто был в списке, потом по предложению Жюдит избрали Газеля кюре, правда, незначительным большинством голосов. А заодно уж и тебя — епископом Ла-Рока.

Я был ошарашен. Епископский сан после свидания, которое у меня только что состоялось,— это уж чересчур. Правда, говорят, что на отсутствующих почиет благодать. Но если я должен усматривать в этом перст божий, значит,

бог проявляет к слабостям плоти терпимость, которую за ним никогда не признавали.

Впрочем, в эту минуту мысли мои занимал отнюдь не этот иронический ход судьбы.

— Меня — епископом Ла-Рока! — с живостью воскликнул я. — Но мое место в Мальвиле! Разве ты им этого не сказал?

— Да погоди ты. Они прекрасно знают, что ты не оставишь Мальвиль. Но если я верно понял, они хотят, чтобы над Газелем был кто-то, чтобы умерять его пыл. Они опасаются его чрезмерного рвения. — Он рассмеялся. — Эта мысль первой пришла в голову Жюдит, ну а я поддал жару.

— Поддал жару?

— Само собой. Во-первых, и в самом деле надо, чтобы Газель кому-то подчинялся. А потом, я подумал, что мы будем чаще видеться. — И добавил вполголоса: — Потому что, по правде сказать, расстаться с Мальвилем...

Я посмотрел на него. Он на меня. И немного погодя отвернулся. Я не находил слов. Я понимал, что́ у него на душе. Со школьной скамьи мы с Пейсу, Коленом и Мейсонье никогда не расставались. К примеру, тот же Колен — открыл лавчонку в Ла-Роке, а продолжал жить в Мальжаке.

И вот — всему конец. Братство распалось. Только теперь я это осознал. Ведь и для нас, мальвильцев, не видеть рядом с собой Мейсонье тоже горе, и немалое.

Я стиснул плечо Мейсонье и неуклюже сказал:

— Увидишь, старина, ты поработаешь здесь на славу!

Как будто это хоть кому-нибудь когда-нибудь послужило утешением.

К нам подошел Тома и поздравил меня, несколько принужденно. Потом настал черед Жаке. Я не понимал, куда подевался Пейсу. Мейсонье показал мне его — он стоял в нескольких метрах от нас с чрезвычайно занятым видом. Жюдит пришвартовалась к нему, довольная тем, что наконец-то нашелся мужчина выше ее на целую голову. Разговаривая с ним, она скользила взглядом по его атлетическим формам. Восхищение было взаимным, так как уже в Мальвиле Пейсу сказал мне: «Видал бабу? Бьюсь об заклад, этакую глыбу да себе в постель — то-то будет шуму!»

Но пока до этого еще у них не дошло. В настоящий момент Жюдит только ощупывала его бицепс. И я видел, как

мой славный Пейсу по привычке напруживает его. Здоровый бугор — это должно было быть по сердцу Жюдит.

— Ну, до скорого,— сказал Мейсонье,— не обращай внимания, просто я малость скис.

Я был глубоко растроган, что ему захотелось как-то загладить свою холодность со мной, но я снова не нашелся, что сказать, и промолчал.

— Знаешь,— продолжал он,— после засады, когда ты уехал за ребятами в Мальвиль, я еще постоял на дороге среди трупов, и такая меня взяла тоска!

— Почему?

— Ну вот, подумал я, к примеру, пришлось нам прикончить этого Фейрака... А представь, что тяжело ранят кого-нибудь из нас... Что будем делать? Врачей нет, медикаментов тоже, оперировать негде. Неужели оставить умирать без всякой помощи?

Я опять промолчал. Я сам уже думал об этом. Да и Тома тоже — я видел это по его лицу.

— Прямо как в средние века,— продолжал Мейсонье.

Я покачал головой.

— Нет. Не совсем. Положение сходное, это верно, в средние века такое случалось. Но ты забываешь одно. Наш уровень знаний неизмеримо выше. Я уже не говорю об обширных научных сведениях, заключенных в моей маленькой мальвильской библиотеке. Они ведь сохранились. А это очень важно, пойми. В один прекрасный день это поможет нам все восстановить заново.

— Но когда еще это будет!— с отвращением сказал Тома.— А сегодня все наши силы уходят на то, чтобы выжить. Грабители, голод. А завтра начнутся эпидемии. Мейсонье прав — мы вернулись к временам Жанны д'Арк.

— Да нет же,— живо возразил я.— Как это такой технарь, как ты, может так заблуждаться? Наш ум оснащен куда лучше, чем у современников Жанны д'Арк. Нам не нужны века, чтобы восстановить наш технологический уровень.

— Значит, все начинать сызнова?— спросил Мейсонье, с сомнением приподняв брови.

Он смотрит на меня. Моргает. А я — я потрясен его вопросом. Именно потому, что задал его он, борец за прогресс. И еще потому, что я прекрасно понимаю, что́ именно видится ему в будущем, в конце этого нового начала.

КОММЕНТАРИИ ТОМА

Закончить это повествование выпало на мою долю.

Сначала два слова обо мне лично. Эмманюэль написал, что после того, как линчевали Фюльбера, он прочел в моем взгляде «ту смесь любви и неприязни», какую я всегда питал к нему.

«Любовь» — слово не совсем точное. «Неприязнь» — тоже. Вернее было бы говорить о восхищении, но с некоторыми оговорками.

Хочу пояснить, что это за оговорки. Когда произошли вышеописанные события, мне было двадцать пять лет. Для такого возраста мой жизненный опыт был небогат, и ловкость Эмманюэля меня коробила. Я усматривал в ней цинизм.

С тех пор я возмужал. На меня легло бремя ответственности, и взгляды мои изменились. Теперь, наоборот, я считаю, что известная доля макиавеллизма необходима тому, кто берется руководить своими ближними, даже *если он их любит*.

Как это сплошь и рядом явствует из предыдущих страниц, Эмманюэль в основном был всегда доволен собой и находился в приятном убеждении своей правоты. Теперь меня уже не раздражают эти недостатки Эмманюэля. Они лишь оборотная сторона веры в себя, без которой он не мог обойтись, чтобы руководить нами.

А в общем я хочу сказать следующее: я вовсе не думаю, что любая социальная группа, будь то в большом или в малом масштабе, неизбежно выделяет из своей среды великого человека, который ей необходим. Напротив, бывают в истории такие моменты, когда ощущается страшная пустота — столь чаемый вождь не появился, и все рушится.

Пусть в малом масштабе, но перед нами возникла та же проблема. Нам, мальвильцам, повезло, у нас был Эмманюэль. Он поддерживал наше единство, научил нас обороняться. Под его руководством Мейсонье укрепил Ла-Рок.

Хотя, отправив Мейсонье в Ла-Рок, Эмманюэль принес его, так сказать, в жертву общественным интересам, должен признаться, что Мейсонье и вправду проделал в мэрии очень полезную работу. Он нарастил крепостной вал, и главное — в центре между двумя укрепленными воротами по его приказу возвели большую квадратную башню, третий этаж который превратили в удобное караульное помещение, даже с очагом, а снаружи пробили бойницы, от-

куда открывался широкий обзор окрестностей. Идущая по краю вала деревянная дозорная галерея соединяла квадратную башню с обоими воротами. Строительный материал для этого сооружения брали среди развалин нижней части города, а цемент заменили глиной.

Вокруг валов Мейсонье распорядился устроить зону ПКО с системой ловушек и западней по образцу Мальвиля. На холмистом, но открытом участке строить баррикаду было бессмысленно, однако Мейсонье обнаружил на складах замка мотки колючей проволоки, которая, как видно, предназначалась для строительства ограды, из нее и сплели решетку (отпирающуюся днем и запирающуюся на ночь), закрыв две дороги — бетонированную, ведущую в Мальвиль, и шоссе, соединявшее Ла-Рок со столицей департамента,— чтобы предотвратить неожиданное нападение.

С членами муниципального совета и жителями Ла-Рока Мейсонье легко нашел общий язык, отчасти благодаря Жюдит, которая высоко его ценила. Зато с Газелем у него произошла стычка на религиозной почве. Верный слову, данному Эмманюэлю, Мейсонье посещал мессу и причащался, но категорически отказывался исповедоваться. Газель же, перенявший от Фюльбера эстафету самой ярой ортодоксальности, желал объединить причастие с исповедью. Он повел себя довольно храбро и явился в муниципальный совет объясниться с Мейсонье, но, так как Мейсонье отказался пойти на какие-либо уступки, их ссора зашла очень далеко.

— Если я наделаю глупостей,— напрямик заявил Мейсонье,— я согласен публично подвергнуть себя самокритике, но я не могу понять, с какой стати я должен приберечь свою исповедь для вас одного.

В конце концов пришлось обратиться к Эмманюэлю, как к епископу Ла-Рока. Он взялся за дело осторожно и ловко, выслушал обе стороны и раз в неделю, утром по воскресеньям, ввел систему публичной исповеди. Каждый по очереди объявлял во всеуслышание, в чем он может упрекнуть себя и других, причем, естественно, каждый «обвиняемый» в свою очередь имел право ответить, чтобы возразить или признать ошибки. Эмманюэль присутствовал в Ла-Роке в качестве наблюдателя на первом из этих собраний, и оно ему так пришлось по душе, что он убедил мальвильцев принять ту же систему.

Эммануэль называл это «перемыванием грязного белья в кругу семьи».

— Здоровое начинание,— говорил он мне,— да вдобавок еще и развлечение.

Он рассказал мне, что одна из ларокезских женщин взяла слово и упрекнула Жюдит в том, что, разговаривая с мужчинами, она всегда ощупывает их бицепсы.

— Это уже само по себе было забавно,— сказал Эммануэль,— но самое забавное ответ Жюдит, которая была искренне изумлена. «Я и не замечала этого за собой,— заявила она своим хорошо поставленным голосом.— Может ли еще кто-нибудь из присутствующих подтвердить это заявление?» Вот тебе доказательство,— смеясь, добавил Эммануэль,— как полезно увидеть себя глазами других, поскольку мы сами себя не видим.

Зато об индивидуальной исповеди больше и речи не было. Пришлось Газелю отказаться от столь любезной его сердцу привилегии «прощать» или «оставлять» чужие грехи — Эммануэль же, как мы помним, считал эту привилегию «непомерной» и всегда ею тяготился.

В течение долгих дней, пока Эммануэль не нашел хитроумного выхода, положившего конец «инквизиторским» замашкам ларокезского кюре, его очень и очень беспокоила распря между Газелем и Мейсонье. Помню, он много раз заговаривал со мной на эту тему, и в частности однажды, когда мы оба сидели в его комнате по обе стороны письменного стола, а Эвелина, бледная, изможденная, едва оправившаяся от тяжелого приступа астмы (по-моему, вызванного появлением в Мальвиле Аньес Пимон), лежала на широкой постели.

— Видишь, Тома, в одном коллективе не должно быть двух руководителей — духовного и мирского. Руководитель должен быть один. Иначе начнутся трения, конфликты, и конца им не будет. Тот, кто возглавляет Мальвиль, должен быть также и аббатом Мальвиля. Если после моей смерти тебя выберут военачальником, ты непременно должен также...

— Ни за что!— воскликнул я.— Это противоречит моим убеждениям!

Он с жаром перебил меня:

— Плевать на твои личные убеждения! Они ни черта не стоят! Главное — это Мальвиль, единство Мальвиля! Пойми ты это: не будет единства — нам не выжить!

— Послушай, Эммануэль, неужели ты можешь представить себе, что я вдруг встаю и, глядя в лицо своим товарищам, начинаю читать молитвы!

— А почему бы и нет?

— Но я буду чувствовать себя смешным!

— А что здесь смешного?

Он спросил это с такой горячностью, что я осекся. Мгновение спустя он заговорил снова, уже гораздо спокойнее и не столько обращаясь ко мне, а как бы рассуждая сам с собой.

— Да и так ли уж глупо молиться? Нас окружает неизвестность! Чтобы выжить, мы должны верить в будущее, поэтому-то мы и исходим из того, что неизвестность эта благосклонна к нам, и молим ее о помощи.

Коль скоро Эммануэль не оставил нам письменных свидетельств, говорящих о том, верил он в бога или нет, на этот вопрос можно ответить двояко: и отрицательно, и положительно. Лично я не склонен обязательно выбирать одно или другое. Однако я цитирую приведенное выше высказывание, как подтверждающее отрицательный ответ.

Мне больно писать о последующих событиях, поэтому я расскажу о них кратко и сухо, не вдаваясь в подробности. К несчастью, в магию я не верю — если бы, обойдя происшедшее молчанием, можно было бы его изменить, я молчал бы до конца своих дней.

Весной и летом 1978—1979 годов объединенные силы Мальвиля и Ла-Рока уничтожили две банды грабителей. Мы установили с нашими соседями систему аудиовизуальной телекоммуникации — это давало нам возможность предупреждать друг друга о нападениях и незамедлительно являться на помощь друг другу.

Самая серьезная тревога произошла в марте 1979 года. На рассвете громко зазвонил колокол ларокезской капеллы — звонил он так долго, что мы поняли: опасность серьезная. Эммануэль оставил Жаке и двух женщин охранять Мальвиль, а остальные, за сорок пять минут отмахав весь путь по лесной тропинке, на всем скаку вылетели на опушку в ста метрах от того места, где расположился неприятель. Зрелище, представшее нашим глазам, буквально приковало нас к месту. Несмотря на западни, несмотря на колючую проволоку и на все усиливающийся огонь защитников, пять или шесть лестниц были уже приставлены к стенам Ла-Рока. Банда насчитывала не меньше пяти десят-

ков человек, настроенных весьма решительно, позже мы узнали, что человек десять уже проникли за стены Ла-Рока, когда подоспели силы мальвильцев, которые обрушились на осаждающих с тыла и, стреляя из винтовок и базуки (она как раз находилась у мальвильцев), перебили большую часть врагов, а других обратили в бегство. Эммануэль тотчас организовал преследование беглецов — они разбились на маленькие, но все еще опасные группки и попрятались в подлеске. Преследование продолжалось целую неделю, и все это время мальвильцы не сходили с коней.

Двадцать пятого марта мы удостоверились, что последний грабитель убит. В тот день, слезая со своей Амаранты, Эммануэль почувствовал острую боль в брюшной полости, у него началась рвота, и он слег с высокой температурой. По его просьбе я ощупал его живот, а потом нажал пальцами на то место, какое он мне указал. Он вскрикнул, тотчас подавил крик, бросил на меня взгляд, которого я никогда не забуду, и беззвучно сказал:

— Все ясно, это приступ аппендицита. Уже третий.

В последующие дни он рассказал мне, что у него уже было два приступа в 76-м году и к Рождеству ему должны были сделать операцию. Врач уже назначил день, в клинике была отведена палата, но в последнюю минуту Эммануэль, занятый делами и к тому же чувствовавший себя превосходно, отложил операцию на Пасху.

— Теперь приходится расплачиваться за свое легкомыслие,— добавил он, не глядя на меня.

Однако через неделю после тяжелого приступа Эммануэль был уже на ногах. Он снова начал есть. Но я обратил внимание, что он перестал ездить верхом и старается не напрягаться. К тому же ел он мало, часто ложился в постель и жаловался на тошноту. Так прошел месяц — мы надеялись, что он выздоравливает, на самом деле это была лишь временная передышка.

Двадцать седьмого мая, когда Эммануэль сидел за обедом, у него начались страшные боли. Его перенесли в спальню. Его била лихорадка, термометр показывал 41°. Живот был вздут и тугой, как барабан. В последующие дни состояние Эммануэля ухудшилось. Он жестоко страдал, и я с ужасом следил за тем, как быстро меняется его облик. Меньше чем за три дня глаза провалились, и лицо, обычно полное и румяное, посерело и осунулось. А мы ничем не могли облегчить его страданий — у нас не было даже таб-

летки аспирина. Мы бродили возле его спальни, плача от бессильной ярости при мысли, что Эммануэль умрет потому, что ему не могут сделать операцию, которая в обычные времена заняла бы всего десять минут.

На шестой день боли уменьшились. Он даже выпил полкружки молока, которую я принес ему утром, и сказал:

— Мне сорок три года. Я всегда был крепкого сложения. И знаешь, что меня особенно удивляет? Что мое тело, доставлявшее мне столько радостей, заставляет меня так дорого за них расплачиваться, прежде чем меня покинуть.

При этих словах он поднял на меня запавшие глаза, слабо улыбнулся бескровными губами и добавил:

— Впрочем, «покинуть» не то слово. Мне скорее сдается, что мы уйдем вместе.

После полудня из Ла-Рока, как всегда, пришел его навестить Мейсонье. Хотя Эммануэль был очень слаб, он стал расспрашивать Мейсонье об их отношениях с Газелем. Казалось, его очень обрадовало, что отношения улучшаются. Он был в полном сознании. К вечеру он попросил меня созвать всех мальвильцев к его постели. Когда все собрались, он по очереди оглядел нас, словно желая запечатлеть в памяти наши черты. Хотя говорить он мог, он не сказал ни слова. Может, боялся, что не справится с волнением и мы увидим его слезы. Так или иначе, он оглядел нас с надрывающим душу выражением нежности и сожаления. Потом махнул рукой, чтобы все ушли, закрыл глаза, снова открыл и, когда мы потянулись к выходу, попросил нас с Эвелиной остаться. Это были его последние слова. Около семи часов вечера он с силой сжал руку Эвелины и скончался.

Эвелина обратилась ко мне с просьбой, чтобы ей позволили первой бодрствовать у гроба Эммануэля. Так как говорила она спокойным тоном, без единой слезинки, я согласился, ничего худого не заподозрив. Два часа спустя мы нашли ее распростертой на теле Эммануэля. Она закололась маленьким кинжалом, который всегда носила на поясе.

Хотя никто из мальвильцев не одобрял самоубийства, поступок Эвелины не удивил и даже не покоробил нас. Так или иначе, он лишь немного ускорил неизбежную развязку. Несмотря на все усилия Эммануэля, в Эвелине едва теплилась жизнь, и нам всем всегда казалось, что она цепляется за существование, только чтобы не разлучаться с

Эммануэлем. Посоветовавшись между собой, мы решили почти единогласно (против был только один голос — Колена) не разлучать ее с Эммануэлем и похоронить их в одной могиле. Возражение Колена при голосовании — он оправдывал его религиозными соображениями — возмутило всех и стало причиной первых разногласий, которые начались среди нас после смерти Эммануэля.

С тех пор я много думал над отношениями Эвелины и Эммануэля, и они перестали меня удивлять. Хотя Эммануэль еще в прежние времена был настроен против моногамии и в дальнейшем отстаивал те же взгляды по причинам, которые он изложил сам, я считаю, что, несмотря ни на что, в нем никогда не угасала мечта о единственной большой любви. Эта мечта нашла свое тайное воплощение в его платонической любви к Эвелине. Наконец-то он нашел существо, которое мог любить всеми силами души. Но Эвелина еще не стала женщиной. И поэтому их союз не был браком.

Не считая двух часовых, которых Мейсонье оставил на страже на валу, все ларокезцы пришли на похороны Эммануэля, хотя кратчайший путь по лесной тропинке в оба конца составляет двадцать пять километров. Так совершилось первое по времени паломничество ларокезцев на могилу их освободителя, ставшее потом ежегодным.

По просьбе муниципального совета Жюдит Медар произнесла довольно длинную надгробную речь, некоторые выражения которой были слишком сложны для понимания слушателей. Подчеркнув гуманизм Эммануэля, она сказала о его «фанатичной любви к людям и почти животной приверженности идее продолжения человеческого рода». Я запомнил эту фразу, во-первых, потому, что она показалась мне верной, а во-вторых, потому, что, по-моему, ее не поняли. К концу Жюдит вынуждена была прервать свою речь, чтобы утереть слезы. Слушатели были ей благодарны и за ее волнение, и даже за то, что речь была не совсем понятной,— так получилось торжественнее и более подходило к обстоятельствам.

Но на этом наши беды не кончились. Примерно через неделю после похорон Мену прекратила всякое общение с окружающими, перестала принимать пищу и впала в состояние прострации и немоты, из которого ничто не могло ее вывести. Температуры у нее не было, на боли она не жаловалась, и вообще мы не замечали у нее никаких призна-

ков недуга. В постель она не ложилась. Целыми днями сидела она на скамье, сжав губы и уставившись в огонь пустыми глазами. Вначале, когда ее уговаривали встать и поесть, она отвечала, как когда-то Момо: «Отвяжитесь, ради бога!» Но мало-помалу перестала даже отвечать, а в один прекрасный день, когда мы сидели за столом, она соскользнула со скамьи и упала прямо в очаг. Мы бросились к ней. Она была мертва.

Смерть Мену нас потрясла. Мы надеялись, что ее жизнестойкость поможет ей перенести смерть Эммануэля, как помогла перенести смерть Момо. Но мы не учли, что две такие потери, одна за другой, нанесли ей слишком тяжелый удар. Наверное, мы недооценили и того, что при всей своей энергии Мену нуждалась в опоре — и этой опорой был Эммануэль.

После похорон общее собрание Мальвиля предложило избрать меня военачальником, а Колена — аббатом Мальвиля. Я отказался, сославшись на то, что Эммануэль был против разделения светской и духовной власти. Тогда мне предложили возложить на себя также и обязанности мальвильского священнослужителя. Я снова отказался. Как справедливо укорял меня Эммануэль, я еще слишком дорожил своими мелочными личными взглядами.

Это было величайшей ошибкой с моей стороны. Потому что таким образом Колен получил из наших рук двойную власть.

При жизни Эммануэля Колен был плутоватый, милый, услужливый и веселый. Но был он таким потому, что Эммануэль, искренне его любивший, всегда его опекал. После смерти Эммануэля Колен вообразил, что он второй Эммануэль. Но, не обладая ни авторитетом Эммануэля, ни его даром убеждать, он стал деспотичным, что отнюдь не снискало ему большего уважения. И подумать только, я боялся «сеньоризации» Эммануэля! Да по сравнению со своим преемником Эммануэль был сама демократичность! Едва его выбрали, Колен перестал созывать общее собрание и решил править единолично.

В Мальвиле начались почти ежедневные стычки «шефа» с Пейсу, со мной, с Эрве, с Морисом и даже с Жаке. Не признанный мужской половиной Мальвиля, Колен не сумел поладить и с женщинами. Он поссорился с Аньес Пимон, потому что пытался — без всякого, впрочем, успеха — взять под контроль ее привязанности. Не повезло

ему и в Ла-Роке — предупрежденные нами о его абсолютистских замашках, ларокезцы отказались избрать его епископом. Колена это глубоко оскорбило, он рассорился с Мейсонье и безуспешно пытался втянуть и нас в эту ссору.

Само собой, заменить Эммануэля было нелегко, но тщеславие Колена, его стремление возвеличить свое «я» граничили чуть ли не с патологией. Едва его избрали военачальником и аббатом Мальвиля, как голос его зазвучал целой октавой ниже, он стал держаться отчужденно, за столом высокомерно молчал и хмурился, когда мы осмеливались заговаривать первыми. Мы заметили, как мало-помалу он установил целую систему мелких привилегий и прерогатив и обижался, как ребенок, если кто-нибудь ее нарушал. Даже чуткость Колена, которую так любил прославлять Эммануэль, не сослужила ему в данном случае службы — он не менял своего поведения, но зато догадывался, что мы его осуждаем. Он стал считать, что его травят. И чувствовал себя одиноким, потому что сам отъединился от всех.

В Мальвиле начались постоянные раздоры. Косые, взгляды, натянутые отношения, которые трудно было выносить, и столь же непереносимое молчание. Аньес Пимон и Кати дважды заговаривали о том, чтобы вернуться в Ла-Рок. Но даже эти угрозы не смягчили Колена. Наоборот. Он перестал разговаривать со своими товарищами и только отдавал приказы. Наконец пришло время, когда Колен решил — конечно, все это был вздор,— будто ему угрожает физическая расправа. Он никогда, даже за столом, не расставался с пистолетом, который носил в кобуре на поясе. И во время еды то и дело бросал на нас затравленные и злобные взгляды.

Так как в каждом слове он усматривал оскорбительный намек, разговоры за столом вообще прекратились. Но это не разрядило обстановку в Мальвиле. И казалось, даже высокие, темные стены замка источают скуку и страх.

Колен пуще всего боялся, как бы мы не начали строить против него заговоры, и в конце концов так оно и вышло. Мы решили вопреки его воле созвать общее собрание и низложить Колена. Но мы не успели осуществить свой план. Прежде чем мы взялись за дело, Колен по собственной вине погиб в битве с маленькой группкой грабителей, насчитывавшей от силы человек шесть и кое-как вооруженной. Колен, как видно, надеявшийся каким-нибудь

блистательным подвигом вновь поднять в наших глазах свой авторитет, так же безрассудно рисковал жизнью, как когда-то в битве с Вильменом, и его застрелили в упор, всадив в грудь весь заряд охотничьего ружья. На его мертвом лице вновь появилось то ребячливое выражение и лукавая ухмылка, за которые Эмманюэль всегда ему все спускал.

После гибели Колена я согласился возложить на себя двойную власть в Мальвиле. Я восстановил дружеские связи с Ла-Роком, совсем было распавшиеся по вине Колена, и через год ларокезцы избрали меня епископом.

В 78 году мы собрали богатый урожай, а в 79 году — даже еще богаче. Не без труда я убедил ларокезцев отныне делить полученное зерно сообща пропорционально числу обитателей — две части Ла-Року, одна Мальвилю, потому что нас было десять человек, а ларокезцев около двадцати. В мирные времена эта сделка была выгоднее для нас, так как вокруг Ла-Рока простирались плодородные наносные земли. Но я разъяснил ларокезцам — и, по-моему, я был совершенно прав,— что наша холмистая местность лучше защищена от нападений, чем равнины Ла-Рока. Если однажды ларокезцы пострадают от грабителей, они еще скажут нам спасибо, когда мы выручим их из бедственного положения, отдав две трети своего урожая.

В ходе этих переговоров Мейсонье, который успел стать рьяным патриотом Ла-Рока, не шел ни на какие уступки. Но я проявил терпение и, как сказал бы Эмманюэль, «гибкость при твердости». После того как мне удалось довести переговоры до благополучного конца, общее собрание Мальвиля выразило мне свою живейшую благодарность.

— Вот видишь,— сказал Пейсу,— сам Эмманюэль не обделал бы дела лучше. Помнишь, как Фюльбер выторговал у нас корову?

Еще при жизни Эмманюэля, после того как в 77 году в Мальвиле водворилась Кристина Пимон, которой тогда было всего десять месяцев, у нас установился подлинный культ ребенка. Мы просто глазам своим не верили — среди наших старых стен ребенок казался воплощением новой жизни. Хотя девочка была, так сказать, пришлая, она стала нашим первым дитятей: мы все сообща с восторгом ее удочерили, и первые месяцы своей жизни она буквально не сходила у нас с рук. Вечно кто-нибудь ее тискал, ласкал, забавлял, развлекал, и Кристина начала называть всех

мальвильских женщин «мама» и всех мужчин «папа». Когда меня избрали главой общины, я при поддержке общего собрания решил утвердить этот стихийно возникший обычай как закон, потому что после 77 года у нас появились и другие дети: Жерар, сын Мьетты, Брижит, дочь Кати, Марсель, сын Аньес, родившийся на свет через четыре месяца после смерти Эмманюэля. По всем нам понятным и вполне очевидным причинам Аньес хотела назвать ребенка именем покойного, но мне удалось ее отговорить, и по моему предложению общее собрание Мальвиля с той поры запретило искать физическое сходство ребенка с его родителями. На мой взгляд, это не ведет ни к чему хорошему даже в обычной семье, а уж тем более в общине, подобной нашей.

После смерти Фюльбера появление в Мальвиле Аньес Пимон нарушило равновесие сил среди наших женщин. Аньес быстро вошла во вкус свободы, какую ей предоставил Эмманюэль, но никогда не дарила своей благосклонностью всех в равной мере, как Мьетта. По примеру Кати она кокетничала, капризничала и отдавала предпочтение то одному, то другому. Да и действовала она тоньше и искуснее. В объятиях Кати у тебя было такое чувство, словно ты пляшешь на вершине вулкана, пока тебя не сожжет его огнем. Аньес, «ласковая и чистая, как апрельский ручеек» (слова Эмманюэля), сначала пленяла тебя своей свежестью, а уж потом ввергала в пламень страсти.

Соперничество двух женщин, подспудное в эпоху Эмманюэля, после смерти Мену превратилось в открытую вражду. Первые недели они только бранились, а потом перешли к рукоприкладству. Но тут вмешалась Мьетта — и на глазах единственного обомлевшего свидетеля, Пейсу, «вкатила каждой по затрещине». После чего попросила у обеих прощения, расцеловала их, утешила и утвердила свою власть не столько даже силой, сколько добротой.

Колен своим деспотизмом нажил себе врагов в обеих соперницах, что в конце концов и примирило их между собой. Они объединились против Колена и сделали его мишенью своих насмешек. На беду, они пристрастились к этой забаве, поддразнивали и высмеивали всех мальвильцев подряд и ко времени гибели Колена совершенно вышли из повиновения. Мне пришлось проявить немало твердости и терпения, чтобы усмирить наших воительниц. Думаю, что в глубине души они не могли простить нам свободы, какую

мы им предоставляли, хотя ни за какие блага мира не согласились бы от нее отказаться. Думаю также, что вместе с Эммануэлем они потеряли образ некоего отца и страдали от этого лишения. До меня дошли слухи, что все три женщины собираются в комнате Мьетты, и сам я однажды застал их, когда они плакали и молились у подножия стола, на который был водворен, словно на алтарь, портрет Эммануэля. Не знаю, правильно ли я поступил или нет, но я не стал им мешать. Они привлекли к своим бдениям и ларокезок, и начался у нас с тех пор культ умершего героя, который со временем превратился чуть ли не во вторую религию.

В 79 году благодаря отчасти, как я уже говорил, двум урожайным годам, отчасти договору, который я заключил с Ла-Роком, Мальвиль можно было назвать богатым, если только изобилие зерна, кормов и скота означает богатство. В 1979 году мы лишь однажды подверглись нападению грабителей — как раз тогда, когда в стычке с ними погиб Колен. Бдительно охраняя свои владения, мальвильцы и ларокезцы задумались над тем, чем заниматься в мирное время, вернее, в те мирные промежутки, которыми нам, возможно, предстоит насладиться.

Сначала мы обсудили этот вопрос в узком кругу — Мейсонье, Жюдит и я,— а потом вынесли его на широкое обсуждение, где наши решения и были утверждены.

Собственно говоря, это был тот же самый вопрос, который встал перед Мейсонье и Эммануэлем в день, когда мы освободили Ла-Рок от тирании Фюльбера. У нас в Мальвиле была маленькая библиотека, да, кроме того, мы располагали еще библиотекой замка в Ла-Роке, весьма богатой научными трудами, поскольку мсье Лормио в свое время учился в Политехническом институте. Должны ли мы употребить все те сведения, что таятся в недрах этих книг, и наши собственные скромные познания на изготовление орудий, способных облегчить наш труд, и оружия для самозащиты? Или же, по собственному зловещему опыту зная, какие опасности несет с собой техника, мы должны раз и навсегда объявить вне закона любой технический прогресс и производство машин?

Думаю, что мы избрали бы вторую часть альтернативы, будь мы уверены, что другие группы людей, выживших во Франции и в иных странах, не выберут первую. Ибо сомнений не было: в этом случае, обладая подавляющим

превосходством в технике, они немедленно захотят нас поработить.

Вот почему мы решили вопрос в пользу научного прогресса, не обольщаясь надеждами, не питая никаких иллюзий, убежденные, что хотя наука сама по себе вещь хорошая, но человек всегда будет обращать ее во зло.

На объединенном собрании жителей Мальвиля и Ла-Рока, где обсуждался этот вопрос, Фабрелатр, назначенный в Ла-Роке кладовщиком, обратил наше внимание на то, что патроны к винтовкам образца 36-го года приходят к концу, а когда мы расстреляем последние патроны, винтовки можно будет выбросить на свалку. Тут Мейсонье заметил, что мы, несомненно, сможем изготовлять черный порох, потому что в окрестностях сохранилась старая угольная шахта. Добудем также серу, потому что поблизости есть сернистые воды, а селитру наскребем в подвалах и со старых стен. Что до металла, то его сколько угодно в скобяной лавке Фабрелатра и бывшей лавке Колена. Конечно, придется овладеть еще технологией плавки и обжимания гильз, но мы считали, что это нам по силам.

В конечном итоге общее собрание Ла-Рока и Мальвиля 18 августа 1980 года приняло решение немедля приступить к изысканиям и практическим опытам по производству пуль для винтовок образца 36-го года.

С тех пор прошел год, и могу сказать, что результаты настолько превзошли наши ожидания, что мы лелеем куда более честолюбивые замыслы в области все той же обороны. Так что отныне мы можем смотреть в будущее с надеждой. Если только к данным обстоятельствам применимо слово «надежда».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Робер МЕРЛЬ

МАЛЬВИЛЬ

Роман

Редактор *О. А. Лукьянченко*
Оформление *Н. А. Фарбер*
Художественный редактор *З. А. Лазаревич*
Технический редактор *Л. М. Криволапова*
Корректоры *А. Г. Масловская, Т. А. Чеснокова*

ИБ № 1805

Сдано в набор 28.05.87. Подписано в печать 03.12.87. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 2. Гарнитура об. новая. Фотонабор. Высокая печать. Усл. п. л. 27,72. Уч.-изд. л. 30,11. Тираж 100000. Заказ 121. Цена 4 руб.
Ростовское книжное издательство. 344706, Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23. Типография им. М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 344081, Ростов-на-Дону, Советская, 57.


Робер Мерль
МАЛЬВИЛЬ